ЛЕВ ТОЛСТОЙ



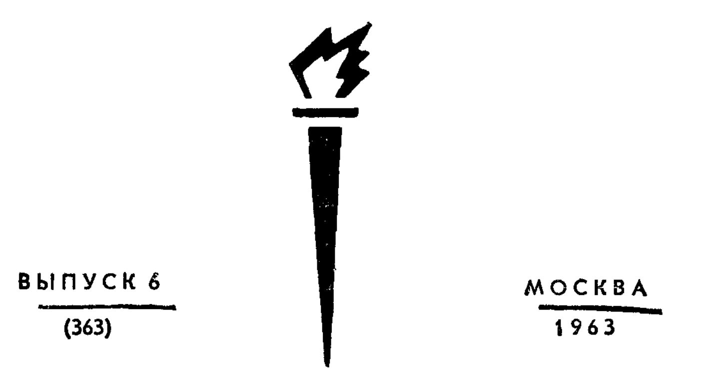
В. Шкловский

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь замечательных людей

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 6
(363)

МОСКВА
1963

В. Шкловский

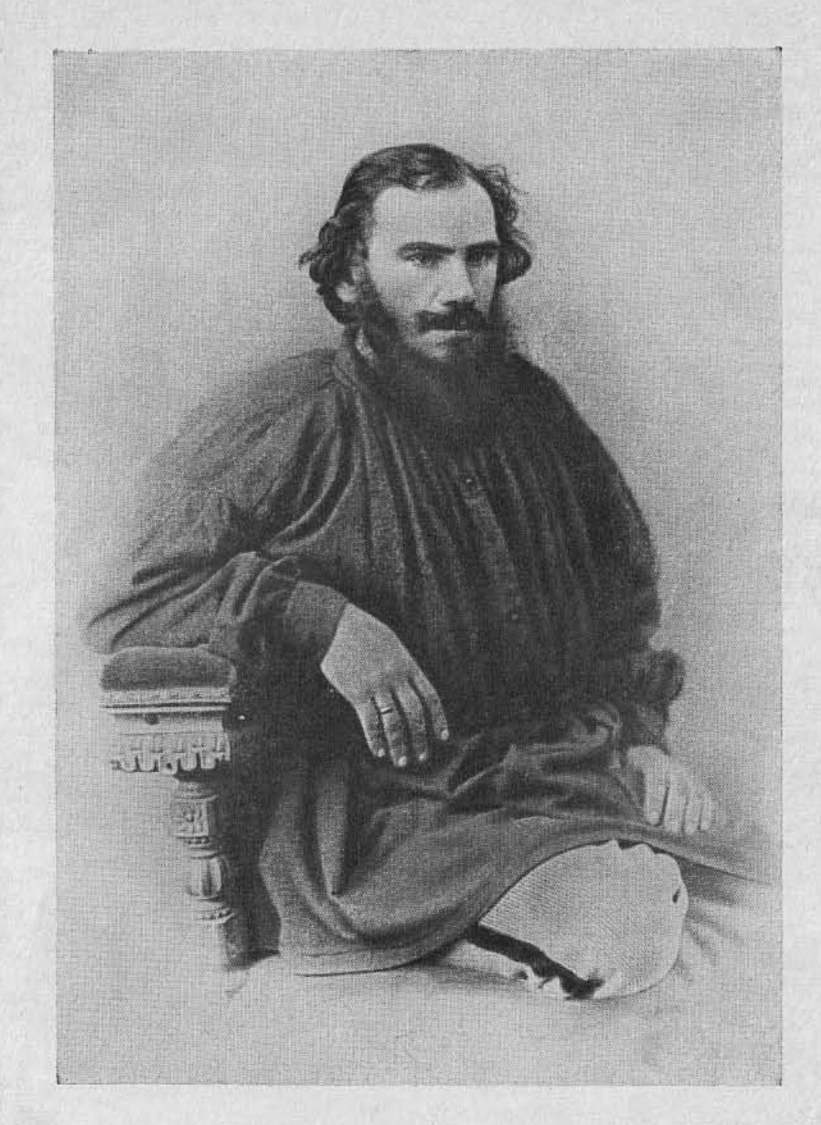
ЛЕВ ТОЛСТОЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

8Р1
Ш66

ПАМЯТИ
БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА ЭЙХЕНБАУМА

Научный редактор Л. Д ОПУЛЬСКАЯ



Левъ Толстой

— Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник.. И — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было.

Потом, глядя на меня прищуренными глазками, спросил:

— Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

— Некого.

В. И. Ленин о Л. Н. Толстом.
(Из воспоминаний М. Горького «В. И. Ленин».)

ОТ АВТОРА

По биографии Л Н Толстого сделано у нас чрезвычайно много. Собран и проверен большой материал, который прежде был недоступен исследователям. Изданы и прокомментированы дневники Толстого Изданы его письма. Опубликован целый ряд воспоминаний Редакционные статьи 90-томного Юбилейного издания представляют собой новое слово не только в деле изучения Толстого, но и в мировом литературоведении. Созданы хронологические указатели о жизни и творчестве Толстого. Публикуются составленные Н. Н Гусевым материалы к биографии Толстого, необыкновенно значительные, широкие и проверенные.

И в то же время у нас нет связной биографии Льва Толстого Последний, четвертый том биографии, составленный П И Бирюковым, вышел в 1923 году, то есть сорок лет тому назад Старые биографии были созданы людьми, непосредственно знавшими Льва Николаевича, но не располагавшими тем материалом, которым мы располагаем сейчас Кроме того, составители биографий были людьми, считавшими себя учениками Толстого, рассматривавшими его жизнь как постепенное восхождение великого писателя в деле богопонимания, или же либералами, которые заменяли анализ пышными разговорами и пытались замазать противоречия, которые так много определяли в жизни Толстого.

Руководящими вехами всей моей работы были статьи В. И. Ленина о Толстом. Первая статья — «Лев Толстой, как зеркало русской революции» — была напечатана в 1908 году и является откликом на празднование восьмидесятилетнего юбилея писателя.

Здесь впервые и навсегда деятельность Толстого была поставлена в прямую связь с эпохой подготовки первой русской революции и «кричащие противоречия» его творчества осмыслены как отражение противоречий этой эпохи.

В жизни Толстого, которой посвящена книга, эти противоречия часто высказывались в мелочных столкновениях, в странном непонимании близких, в отчаянии Толстого, в его попытках выгородить себя из семьи, жить на два этажа, ограничить свои требования. Но история вторгалась в жизнь Ясной Поляны. Толстой воспитывал учеников, надеясь, что он спасет таланты, созданные народом, а эти дети, которых он так хорошо описал, беднели, уходили из деревни или становились нарушителями границ барской усадьбы, переданной Софье Андреевне.

Хочу смягчить резкость суждений, но не могу не говорить о величайшей трагедии величайшего человека, который больше чем полвека владел мыслями всего человечества, но не мог увидеть завтрашний день, и, зная неизбежность революции, пытался закрыть глаза на завтрашний день, говоря о непротивлении.

Мне хочется показать, что и в художественных произведениях и в статьях Толстой всегда один. Но этот один человек сам внутренне противоречив, как противоречивы люди на стыке великих эпох. Он противоречив, как герои греческой трагедии.

Великий опыт гениального художника, великое его вдохновение, анализ человеческих чувств, анализ противоречий между личными чувствами и исторической необходимостью привели Толстого к великому недоверию к обычному, к срыванию всех и всяческих масок. Он достиг в реализме высочайшей ступени, и, по словам В. И. Ленина, «эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества».

Толстой принят социальной революцией, которая сделала его великие произведения достоянием всех, борясь против того строя, который осуждал миллионы и десятки миллионов на забитость, каторжный труд, нищету и невежество.

Изучение дневников Толстого и мемуаров современников невольно привело меня к свободной манере изложения. Однако нигде я не отступаю от действительных фактов и стараюсь как можно меньше отразить себя в повести о Толстом.

Мне помогли богатые материалом труды Н. Н. Гусева и полные мыслей работы Б М. Эйхенбаума, особенно последний том книги «Лев Толстой» и статья «О взглядах Ленина на историческое значение Толстого». Я широко пользовался также статьями создателей Юбилейного издания, в частности статьями Н. К. Гудзия.

Приношу благодарность товарищам, которые помогали мне советами и указаниями во время моей работы: И. Л. Андроникову, П. Г. Богатыреву, Ю. Г. Оксману, Л. Д. Опульской. Постоянную помощь при создании книги и подготовке ее к печати оказывала мне С. Г. Шкловская.

Часть I

О ЗЕЛЕНОМ ДИВАНЕ, КОТОРЫЙ ПОТОМ БЫЛ ОБИТ ЧЕРНОЙ КЛЕЕНКОЙ

Лев Николаевич Толстой любил играть в «вопросы, ответы», заводил домашние журналы. Ему и дома хотелось скорее писать, чем разговаривать.

Была у дочери его Татьяны книга вопросов: в этой книге собирались как бы анкеты об огромной семье, жившей в доме, который все время перестраивался. На первый вопрос анкеты: «Где вы родились?»—Лев Николаевич отвечал: «В Ясной Поляне на кожаном диване».

Этот диван и сейчас стоит в углу последнего кабинета Льва Николаевича.

В августе 1828 года в другом доме, от которого не осталось и фундамента, на этом диване родился четвертый сын Николая Ильича Толстого и Марии Николаевны Толстой, урожденной княжны Волконской.

Диван тогда был обит зеленым сафьяном, натянутым гвоздиками с золочеными шляпками. Он на восьми ножках, с тремя ящиками, спинки нет — вместо нее три подушки, боковики мягкие, выгнутые; в боковых стенках дивана выдвижные доски, чтобы можно было положить книгу.

Это удобная домашняя мебель, построенная из дуба, вероятно, домашними столярами. В старые време-

на диван был кожаный, а теперь он обит черной клеенкой; сделано это в мае 1907 года.

В доме Толстого хозяйство вела Софья Андреевна, любившая порядок, но не считавшая, что вещи должны оставаться в том виде, в каком они созданы, особенно если эти вещи любят.

Из всех вещей в доме Лев Николаевич любил, вероятно, больше всего кожаный диван. Этот диван должен был быть плотом, на котором от рожденья до смерти хотел плыть через жизнь Лев Николаевич Толстой. В ящиках дивана лежали те рукописи, которые он хотел сберечь от перелистывания, рассматривания близкими, но слишком беспокойными людьми. На этом диване родились братья Толстого и почти все его дети.

Что сказать еще про эту комнату, из которой больше чем пятьдесят лет назад ушел Толстой?

Стол небольшой. Мне приходилось открывать ящики этого стола: в нем лежали инструменты — слесарные инструменты человека, любящего ручной труд.

На стене фотографии и большая гравюра, изображающая Сикстинскую мадонну, и прямо на гравюре, захватывая ее часть, бедные полки с энциклопедическим словарем Брокгауза и Ефрона. Словарь не истрепан, отметки на книгах Львом Николаевичем делались карандашом и совсем тоненькими чертами; он не портил книг.

Еще столики. Бедная керосиновая лампа и полужесткие кресла из светлого и темного дуба: их в кабинете три. На одном кресле снизу небольшая выемка и пометка крестом — она сделана, вероятно, Львом Николаевичем.

В этом кресле под нижней подкладкой хранился пакет с письмами Льва Николаевича к Софье Андреевне. На конверте было написано: «Если не будет особого от меня об этом письме решения, то передать его после моей смерти С. А.». Здесь же, очевидно, лежала и рукопись «Дьявола», которую Толстой прятал от жены.

Когда Софья Андреевна в 1907 году перебивала мебель темной клеенкой, Лев Николаевич вынул серый пакет с письмами и передал его для хранения мужу дочери Марии — Оболенскому. После смерти Толстого пакет был отдан Софье Андреевне: в нем было два письма — одно она разорвала, другое сохранилось. Оно — о намерении уйти из Ясной Поляны.

Это бедная комната с истертым полом, не очень удобная и с тайником.

Это последняя комната, в которой жил, из которой ушел Лев Николаевич Толстой. Она связана со всей его жизнью, хотя он в молодости отсюда уезжал. Но это нелюбимая комната. Один писатель, который был здесь очень давно, говорил, что в этой комнате вещи выглядят, как верная, но разлюбленная собака, которая хочет умереть, потому что она не нужна больше хозяину.

О ФЛИГЕЛЕ, КОТОРЫЙ СОФЬЯ АНДРЕЕВНА ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ПЕРЕСТРАИВАЛА

Я не пишу путеводителя, а просто вспоминаю комнаты, в которых жил Толстой. Это грустные комнаты. Рядом с кабинетом большая комната с паркетным полом и с большим итальянским окном, выходящим на маленький балкон. Сборная мебель, старинные зеркала, два рояля, поблекшие, неважные портреты с неточно прочитанными датами, помещичья живопись домашней работы крепостных мастеров и рядом портрет Льва Николаевича работы Крамского.

В комнатах Софьи Андреевны кровати с бомбочками и много маленьких фотографий и много рисуночков, коробочек: так жили лет семьдесят тому назад. Здесь жила и работала, вела большое хозяйство — варила, шила, заказывала обеды; огорчалась, ревновала, мечтала о том, что будут писать сыновья, что будет писать она сама, что вернется молодость и любовь Льва Николаевича, Софья Андреевна Толстая — женщина, которая виновата только в том, что она родилась в 1844 году в доме гофмедика Андрея Евстафьевича Берса и его жены Любови Александровны, урожденной Иславиной, вышла замуж за Тол-

стого в 1862 году, рожала от него детей, мечтала и хлопотала о том, чтобы дети были счастливы, заботилась об обыкновенном счастье для Льва Николаевича и не могла быть счастливой с ним.

Она была в этом доме послом от действительности, напоминала о том, что дети должны жить, «как все», нужно иметь деньги, надо выдавать дочерей замуж, надо, чтобы сыновья кончили гимназии и университет. Нельзя ссориться с правительством, иначе могут сослать. Надо быть знаменитым писателем, надо написать еще книгу, как «Анна Каренина», самой издавать книги, как издает их жена Достоевского, и, кроме того, быть в «свете», а не среди «темных», странных людей. Она была представительницей тогдашнего здравого смысла, средоточием предрассудков времени, была она и такой, какой ее создал Толстой, старше ее на шестнадцать лет. Она его любила горестно, завистливо и тщеславно. В ней Толстой воспитал много своих недостатков, отдав их ей, как передают ключи.

Она хотела большого. Хотела сама писать книги. Принимать интересных гостей, играть на рояле. Но Лев Николаевич и на рояле играл лучше ее.

А она была очень занятая женщина. Усадьба, которая называлась Ясная Поляна, создана ею, и она ею гордилась. Была большая жизнь. Много раз Лев Николаевич — один из величайших людей за всю человеческую историю — менялся.

Много раз он охладевал и снова влюблялся в свою жену.

Он писал о ней, восторгаясь, как она сидит на старом кожаном диване, на том самом, на котором он родился. На ней было то темно-лиловое платье, которое она носила в первые дни своего замужества. Ему казалось, что он достигал счастья.

В другие времена он страдал оттого, что не в силах ни перестроить свою жизнь до конца, ни переделать свою жену.

Он не мог уйти.

Софья Андреевна гордилась домом. Один из первых биографов Льва Николаевича в конце прошлого века написал: «Искусственные пруды и парк заканчивают настоящее скромное имение, которое когда-то составляло только часть грандиозного целого. В сороковых годах нашего столетия пожар уничтожил старый барский дом, уцелели только два двухэтажных флигеля. В одном из них располагаются бесчисленные гости теперешнего владельца, графа Льва Николаевича Толстого, а другой служит скромным жилищем ему и его семейству. Этот второй флигель за последнее десятилетие много раз пристраивался и переделывался...

Пристройки были лишены изящества, так же как и главное здание... И сейчас еще отсутствие симметрии в целом указывает границы между наследственным старым и незатейливым дополнением последних лет». На это Софья Андреевна, хозяйка дома, возражает, и она права, когда говорит про имение: «Никогда оно не было более грандиозно; напротив, Лев Николаевич, прикупив земли, увеличил его и пристроил флигеля».

Софья Андреевна продолжает защищать славу ею свитого гнезда, она строила его хлопотливо, в нем просидела всю жизнь. Сама деревня ей не нравилась, потому что в ней нет фонарей. Дом, ею созданный, она любила летом. И зимой — но из Москвы.

Софья Андреевна пишет о доме: «В Ясной Поляне пожара никогда не было. При князе Волконском, деде Льва Николаевича, были построены два каменных флигеля и начат фундамент большого дома. Когда после смерти деда граф Николай Ильич Толстой женился на княжне Марье Волконской, он наскоро достроил большой деревянный дом, в котором и жила его большая семья, состоявшая из старой матери, двух сестер, жены и пятерых детей, не считая разных еще приживалок, родственниц и домочадцев. Когда Лев Николаевич был уже взрослый, лет двадцати двух — двадцати трех (на самом деле двадцати шести.— *В. Ш.*), он очень много играл в карты, и, продав несколько небольших имений и все еще не заплатив своих долгов, он написал мужу своей сестры графу Валериану Петровичу Толстому, чтоб он продал дом

на своз из Ясной Поляны. Дом был продан помещику Горохову».

Но перед этим дом разрушился в забросе.

Лев Николаевич вспоминал о догнивающем в чужом имении доме почти со слезами, хотя и не выкупил его, потому что не любил вещей Упреки в роскошной жизни, которые Толстой сам себе делал, надо принимать с учетом уровня жизни того времени и привычек Льва Николаевича, которому мало что было нужно — простыни в его дом привезла Софья Андреевна в 1862 году вместе со своим небогатым приданым. До этого Лев Николаевич спал под ситцевым одеялом, без простыни, а еще раньше братья Толстые, собираясь в своем имении, спали на соломе.

Но Лев Николаевич любил парк, поляны, деревья, которые он сам сажал и сажала его жена.

Один яблоневый сад имел шестьдесят две десятины. Он — из самых больших в Европе.

Большой парк в сто десятин состоит из остатков не прожитых молодым Толстым рощ и посадок.

Парк сильно был порублен детьми еще при жизни графа, но и сейчас велик.

Велик и стар.

О ПАРКЕ — ОСТАТКЕ ЗАСЕКИ

Около дома, где жил Лев Николаевич, растет большой вяз; на дереве висел колокол, в который звонили к обеду. Медный колокол еще цел, но висит теперь боком.

Деревья растут: вяз, разрастаясь, охватил колокол корой и начал его поглощать. Он относится к нему, как к ране. Деревья покрывают раны корой, оставляя иногда внутри себя дупла.

Это дупло будет вылужено медью.

Ясная Поляна, со всеми своими лесами, менялась в продолжение столетий. Говорят, ее называют Ясной потому, что здесь было много ясеней, и в самом деле, недалеко есть деревня Ясенки.

Леса, которые окружают Поляну, когда-то были крепостью. Лесным завалом. Это называлось засекой.

Степные черноземы неширокими пальцами входили в Тульскую губернию.

Здесь начинались сплошные леса, которые уже прорастали дернами вырубок — деревень.

Но край лесов сохранялся как преграда против татар.

Леса здесь лиственные, с хорошим подлеском. Рубили деревья, оставляя пни выше человеческого роста; дерево недорубливали, оно падало, сгибая оставленный кусок древесины, ложилось на землю извивами сучьев. Одно дерево сваливали так, чтобы легло на юг, другое — на север, третье — на восток, четвертое — на запад. Подрубив, как бы пригибали деревья: они оставались полуживыми, сквозь них прорастали орешник, ежевика, малина и молодые деревья — зеленая путаница ветвей прошивалась хворостом. Этот вал звали засекой.

Засеки были в десять и в пятнадцать километров шириной. Засеки иногда расщеплялись, обходя поляны, иногда удваивались. В тех местах, где было мало леса, копали рвы, ставили острожки.

Ясная Поляна, может быть, прерывала Козловую засеку.

За этими засеками селили крестьян и мелких дворян-однодворцев; жила засечная стража. Пробивать тропы через засеки, или собирать здесь хворост, или рубить дрова запрещалось. Зеленым жгутом лежали засеки, за ними текли реки.

На Упе стоял каменный кремль Тулы, Упа втекала в Оку, за синим поясом Оки стоял Серпухов.

Пал Очаков, занят был Крым; крымцы перестали набегать на Россию. Исчезли лесные засеки. Засеки распроданы, стали имениями, части засек сделались собственностью Тульского оружейного завода — тот лес пошел на приклады для ружей, на уголь для ручных горнов: здесь много дуба, липы, ясеня, белоствольных берез.

Среди мелколесья случайно сбереженных рощ и посадок стоит бедно придуманный дом с истертыми

полами, с библиотекой в ясеневых дешевых шкафах. Кругом шумит взлелеянный подсаженный большой сад и лес.

Дороги в степях и лесах как будто бы могут пройти где угодно, но они ложатся по водоразделам.

И там, где загородились от татар каменным Тульским кремлем и засеками перед ним, и при Толстом лежала дорога.

Она шла на юг; здесь проходили войска, проезжали со свитой императоры, брели богомольцы, ехали ямщики в дальние дороги.

Мать Толстого смотрела на все это оживление, ей для этого построили высокую беседку, а Лев Николаевич смотрел на дорогу, по которой шли и ехали простые люди, и завидовал им.

Ясная Поляна была местом с хмурым хозяином, он хотел и не мог уехать. Вяз, который стоит перед домом, для того чтобы уйти, должен был бы вырубить свои корни: один корень за другим, обрывая жизненные нити. Уйти можно было, только окровавив землю, и оставаться тоже было нельзя.

Волга течет по великому сбросу — там, где прошла извилиной трещина и сломанные слои земли легли смещенными.

Там, извиваясь по трещине, прошла великая река.

Лев Николаевич родился на великом рубеже истории. Он не знал завтрашнего дня и понимал, что сегодняшний не похож на вчерашний, он был прошлым без будущего и с великой тоской о будущем.

В конце прошлого столетия Лев Николаевич отказался от прав на литературную собственность, на все, что было им написано после 1881 года. На издание сочинений, прежде написанных, доверенность принадлежала Софье Андреевне, но пошел спор о XII и XIII томах, о «Смерти Ивана Ильича», о «Хозяине и работнике» и о других произведениях. А крестьянскую Россию снова посетил голод, и на этот раз такой голод, который показал, что по-старому хозяйничать, да еще на урезанной земле, нельзя. Голод подытоживал и приговаривал старую Россию.

Толстой знал, что благотворительность не поможет.

Около старого вяза, который назывался «деревом бедных», он принимал нищих — людей, которым он не мог помочь; благотворительность не могла спасти голодающих.

Лев Николаевич писал, что паразит не может накормить растение, соками которого он живет.

Люди умирали. А детям надо было учиться, и Софья Андреевна хотела ехать в Москву и писала про детей: «В Москве я прожила с ними две недели, кое-что покрасила, оклеила, перестроила в доме, обила мебель, наладила жизнь детей, уехала...

Левочка утром упрекнул мне, что я свезла детей в „омут"».

Лев Николаевич просил денег у жены на народные столовые, а она пишет: «...а сам только что снес на почту письмо с отречением от прав на XII и XIII том, чтоб не получать денег; вот и пойми его!»

Шли ссоры. Софья Андреевна хотела примирения: «Днем сажали за Чепыжом 2 000 елочек, завтра будут сажать 4 000 берез. Еще я взяла Никиту и Митю и сажала в саду кое-что: сосны, ели, лиственницы, березы и зубчатые ольхи...

Когда Левочка не печатал еще своего заявления о праве всех на XII и XIII том, я хотела дать 2 000 на голодающих... Теперь я ничего не знаю, что я буду делать».

Потом она уехала в Москву. Сама написала воззвание о помощи голодающим: она была хлопотлива и внимательна. Лев Николаевич написал ей 26 октября 1893 года: «Все хотел досадить твои желуди, но то была грязь и дождь, то мороз. Я думаю, выберется время, и я сделаю это».

Выросли затейливым узором деревья.

Софья Андреевна поставила на краю посадок скамейку из березовых жердочек.

Лев Николаевич в последний год своей жизни любил сидеть здесь и смотреть на муравьев.

Это было любимое место.

Подымаются посаженные деревья, а там, вдалеке, весной цветет, а осенью наливается яблоками большой сад, и пчелы летают над курчавой травой между ульями с дощатыми кельями.

Лето прозрачно.

Он здесь дома, и он отсюда уйдет.

Скамейка стоит спиной к полям — ржаным и овсяным крестьянским полоскам, пестрым от плохой пахоты деревянной сохой.

Деревья подымаются над Львом Николаевичем, шелестят листьями. Деревья повторяются знакомыми купами за полями, и там зеленое превращается в голубое.

Все тропки в лесу знакомы, изъезжены на коне.

Лев Николаевич сам сосчитал, что всего в седле за свою жизнь он просидел семь лет и все больше здесь, под Ясной Поляной.

В лесу знакомые лисы и зайцы, а рядом со скамейкой лежит выпуклоглазая собака Милка, двадцатая, вероятно, Милка, похожая на свою прародительницу. Лежит и смотрит на Льва Николаевича влюбленными желтыми глазами, а ему надо уходить неизвестно куда и неизвестно что делать: надо оставить дом и зеленый диван.

Но нельзя начинать биографию с рассказа о старости, даже славной, и о горе, хотя бы неизбежном.

Великие люди создаются противоречиями своего времени. Они уходят из старого мира или бурно, как Терек с гор Кавказа, или спокойно, как Волга.

ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Лев Николаевич по-разному вспоминал об отце и о матери, хотя любил их как будто равно; взвешивая любовь свою на весах, он окружал поэтическим ореолом мать, которую почти не знал и не видел.

Лев Николаевич писал: «Впрочем, не только моя мать, но и все окружавшие мое детство лица — от отца до кучеров — представляются мне исключительно хорошими людьми. Вероятно, мое чистое детское любовное чувство, как яркий луч, открывало мне в людях (они всегда есть) лучшие их свойства, и то, что все люди эти казались мне исключительно хорошими, было гораздо больше правда, чем то, когда я видел одни их недостатки».

Так писал Лев Николаевич в 1903 году в своих воспоминаниях. Он начинал их несколько раз и бросал, так и не закончив.

Люди как будто противоречили сами себе, воспоминания спорили, потому что они жили в настоящем.

Воспоминания обращались угрызениями совести. Но Толстой любил стихотворение Пушкина «Воспоминание»:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю

«В последней строке, — пишет он, — я бы только изменил бы так: вместо «строк *печальных...*» поставил бы: «строк *постыдных* не смываю».

Он хотел каяться и каялся в честолюбии, в грубой распущенности; в юности он прославлял свое детство. Он говорил, что восемнадцатилетний период от женитьбы до духовного рождения можно бы назвать с мирской точки зрения нравственным. Но тут же, говоря о честной семейной жизни, кается в эгоистических заботах о семье и об увеличении состояния.

Как трудно знать, о чем надо плакать, как трудно знать, в чем себя надо упрекать!

Толстой обладал беспощадной, всевосстанавливающей памятью; помнил то, что никто из нас вспомнить не может.

Он начинал свои воспоминания так:

«Вот первые мои воспоминания, такие, которые я не умею поставить по порядку, не зная, что было прежде, что после. О некоторых даже не знаю, было ли то во сне или наяву. Вот они. Я связан, мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать.

Я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик, но я не могу остановиться. Надо мною стоят, нагнувшись, кто-то, я не помню кто, и все это в полутьме, но я помню, что двое, и крик мой действует на них: они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (то есть то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого меня, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы, и жалость над самим собою. Я не знаю и никогда не узнаю, что такое это было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирал руки, или это пеленали меня, уже когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи; собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятно мне не крик мой, не страдания, но сложность, противуречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и меня мучают. Им меня жалко, и они завязывают меня. И я, кому всё нужно, я слаб, а они сильны».

В старой жизни человечества, в долгом его предутреннем сне, люди связывали друг друга собственностью, заборами, купчими, наследствами и свивальниками.

Толстой всю жизнь хотел освободиться; ему нужна была свобода.

Люди, которые его любили — жена, сыновья, другие родственники, знакомые, близкие, спеленывали его.

Он выкручивался из свивальников.

Люди жалели Толстого, чтили его, но не освобождали. Они были сильны, как прошлое, а он стремился к будущему.

Сейчас уже забывают, как выглядел прежде грудной младенец, обвитый свивальником, как мумия насмоленной пеленой.

Теперешний грудной младенец с поднятыми вверх ножками — это уже другая судьба младенца,

Воспоминание о напрасном лишении свободы — первое воспоминание Толстого.

Другое воспоминание — радостное.

«Я сижу в корыте, и меня окружает странный, новый, не неприятный кислый запах какого-то вещества, которым трут мое голенькое тельце. Вероятно, это было отруби, и, вероятно, в воде и корыте меня мыли каждый день, но новизна впечатления отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил мое тельце с видными мне ребрами на груди, и гладкое темное корыто, и засученные руки няни, и теплую парную стращенную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками».

Природы в раннем детстве мальчик не замечал, он сам был ее частью, как лист, как стебель овса.

Сад, лес, поля появились позднее, их еще закрывал гладкий край корыта, край постели.

Даже няню он не помнит: только ее руки с засученными рукавами остались в его памяти.

Воспоминания о купании — след первого наслаждения.

Эти два воспоминания — начало человеческого расчленения мира.

Толстой отмечает, что первые годы «он жил, и блаженно жил», но мир вокруг него не расчленен, а потому нет и воспоминаний. Толстой пишет: «Мало того, что пространство, и время, и причина суть формы мышления и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть большее и большее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них».

Вне формы нет воспоминания. Оформляется то, к чему можно прикоснуться: «Все, что я помню, все происходит в постельке, в горнице, ни травы, ни листьев, ни неба, ни солнца не существует для меня».

Это не вспоминается — природы как бы нет. «Вероятно, надо уйти от нее, чтобы видеть ее, а я был природа».

Важно не только то, что окружает человека, но и то, что и как он выделяет из окружающего.

Часто то, чего человек как бы не замечает, на самом деле определяет его сознание.

Когда же мы интересуемся творчеством писателя, то нам важен способ, которым он выделял части из общего, для того, чтобы мы потом могли воспринять это общее заново.

Толстой всю жизнь занимался выделением из общего потока того, что входило в его систему миропонимания; изменял методы выбора, тем самым изменяя и то, что выбирал.

Посмотрим на законы расчленения.

Мальчика переводят вниз к Федору Ивановичу — к братьям.

Ребенок покидает то, что Толстой называет «привычное от вечности». Только что началась жизнь, и так как другой вечности нет, то пережитое вечно.

Мальчик расстается с первичной осязаемой вечностью — «не столько с людьми, с сестрой, с няней, с теткой, сколько с кроваткой, с положком, с подушкой...».

Тетка названа, но еще живет не в расчлененном мире.

Мальчика берут от нее. На него надевают халат с подтяжкой, пришитой к спине, — это как будто отрезает его «навсегда от верха».

«И я тут в первый раз заметил не всех тех, с кем я жил наверху, но главное лицо, с которым я жил и которую я не помнил прежде. Это была тетенька Татьяна Александровна».

У тетки появляется имя, отчество, потом она описана как невысокая, плотная, черноволосая.

Начинается жизнь — как трудное дело, а не игрушка.

«Первые воспоминания» были начаты 5 мая 1878 года и оставлены. В 1903 году Толстой, помогая Бирюкову, который взялся написать его биографию для французского издания сочинений, снова пишет воспоминания детства. Они начинаются с разговора о раскаянии и с рассказа о предках и братьях.

Лев Николаевич, возвращаясь в детство, теперь

анализирует не только появление сознания, но и трудность повествования.

«Чем дальше я подвигаюсь в своих воспоминаниях, тем нерешительнее я становлюсь о том, как писать их. Связно описывать события и свои душевные состояния я не могу, потому что не помню этой связи и последовательности душевных состояний».

Для Толстого самое важное — связь событий, душевная логика их расположения, но он теряется в огромной жизни и говорит: «Буду продолжать как придется», — и тут же обещает: «Когда кончу эти описания, поведу уже рассказ по времени, хотя и не связно, урывками...»

СТАРЫЕ КОРНИ

Генерал-аншеф князь Волконский был одинок и в неудачах, рано он удалился в имение; его отделили от нового царствования негодование, гордость, зависть.

Он заперся за воротами, висящими между двумя белыми башнями; ворота редко для кого открывались.

Здесь, в большом саду, затеян дом-дворец с каменными флигелями и с главным корпусом, построенным, как строили тогда: низ каменный, верх деревянный, оштукатуренный. Каменные флигеля были построены, но хотя генерал-аншеф был богат, дом он успел вывести только на высоту одного этажа. Дом перешел к дочке его, Марье Николаевне.

Толстой в разное время разгадывал деда по-разному; описывая старого владельца Лысых Гор — Волхонского, Лев Николаевич в черновиках сперва рассказывал, как старик через приказчика отправил в воспитательный дом младенца, прижитого с дворовой. Это не попадает в окончательный текст.

Толстой хочет выделить Волхонского из его времени. Он дает князю ясный ум и высокомерие и в то же время во сне Волхонского показывает его жгучую

зависть к Потемкину. Князь горд и умен; крестьяне, по словам Толстого, уважали Волхонского.

Судьба деда Толстого была трудная: при Павле он попал в отставку, будучи уволен без «абшида», то есть без сохранения мундира и пенсии, потом его отправили губернатором в Архангельск, где он получил чин генерала-от-инфантерии; но послужил недолго и был уволен, уже с «абшидом». Сорока шести лет князь вышел в отставку и больше уже не служил.

Служа в Архангельске, Волконский губернаторствовал и над островом Шпицберген. Шпицберген русские мореходы называли Грумант.

Генерал-от-инфантерии, вернувшись в свое имение, назвал одну из дальних деревень — Грумант. Окрестные крестьяне переделали название в Угрюмы. Деревня Грумант по толстовскому описанию — место прекрасное, но Толстой замечал, что народные переделки слов всегда осмыслены. В старом русском языке было слово, применяемое еще Пушкиным, — «угрюмство».

Старик Волконский, как мне кажется, был полон угрюмства.

Дом строился долго, долго разрушался и недолго был целиком обитаем: он был не по росту владельцам.

Перед последней войной в Ясной Поляне хотели восстановить дом, в котором родился Лев Николаевич Толстой.

Но потом решили: дом не восстанавливать, потому что вся писательская жизнь Льва Николаевича прошла не в нем.

На месте старого дома с коричневыми колоннами выросли посаженные Толстым деревья; местами сошлись своды ветвей.

Сад стоит, как дом: пол его украшен солнцем и зеленью.

Тот дом, в котором писал Лев Николаевич, — каменные флигеля: один был пристроен — в нем жила огромная семья Толстых, а другой остался таким, каким он был построен еще дедом: здесь была школа, в ней Лев Николаевич учил крестьянских детей.

В те счастливые годы, когда Лев Николаевич занимался с ребятами в школе, иногда выплывал он с ними на середину большого, при деде выкопанного пруда. Лев Николаевич хорошо нырял; купаясь, простуды не боялся; высыхал на ветру, не вытираясь полотенцем. Была у него с детьми игра: нырял в пруд, доставал песок со дна и то же предлагал делать ребятам.

Когда пишешь биографию создавшего великие произведения, долго жившего писателя, не знаешь, как нырнуть, где взять горсть песка со дна, — ведь ныряешь не в пруд, а в море.

Вот кажется мне, что надо нырнуть и достать горсть воспоминаний о том, как жили в доме отца Льва Николаевича. Буду писать, хотя мокрый песок, может быть, прольется между пальцами, убывая.

Пушкин в «Евгении Онегине» называл помещиков своего времени равнодушными счастливцами, птенцами школы Левшина.

Левшин был тульским помещиком, теоретиком помещичьего хозяйства. Были ли ученики его, птенцы его гнезда, равнодушными, были ли они счастливы?

Старые русские усадьбы красивы, но стояли они недолго, и редко их достраивали. Помните в «Мертвых душах» описание дома Манилова?

Мебель не до конца обита, иные кресла покрыты рогожами, на столе, рядом со щегольским подсвечником, стоит позеленелый урод, весь в сале. Манилов думает, что он все закончит, но явно, что дом не будет завершен.

Старые доекатерининские постройки были просты.

Лев Николаевич в одном романе, который он не кончил, описывал старую Ясную Поляну и дом помещика Михаила Бабоедова.

«Двор у него был большой на горе, с краю, под двумя соснами. И дом на двух срубах в две связи липовые, с высоким крыльцом. Сам он не жил дома, а был на службе в полку...»

Нарядные русские усадьбы начали строиться во второй половине XVIII века, когда дворяне приехали на свои земли домой из обязательной службы.

Лев Николаевич думал, что каменный одноэтажный дом строился Волконским для дворовых. Вероятнее, что это помещичий дом старых владельцев имения. Дом-дворец Волконский не достроил, хотя успел поставить ворота, проложить аллеи, вырыть пруды, построить оранжереи, разбить сад.

Крепостной оркестр играл по утрам в центре сада во время прогулок генерала с дочерью.

После смерти старого князя музыканты разошлись: кто снова стал садовником, кто официантом. Музыка в усадьбе замолкла.

Дом еще стоял при первых наследниках.

Потом дом продали.

Продажа старого дома произошла как будто случайно, из-за проигрыша в штосс. В дневнике 1855 года 28 января Лев Николаевич записывает: «Два дня и две ночи играл в штосс. Результат понятный — проигрыш всего яснополянского дома».

Эта случайность долго подготовлялась. Дом был не по средствам внукам Волконского, хотя Лев Николаевич не хотел продавать дома; вместо него продавал за долги наследственные деревеньки, хлеб и лошадей, лес — все время в убыток себе, выпрашивая у покупщиков деньги вперед.

Но и прижатый долгами, он писал брату Сергею Николаевичу из станицы Старогладковской 28 марта 1852 года:

«Ясенский дом — не потому, чтобы я его ценил во сколько-нибудь, но потому, что он мне дорог по воспоминаниям, — я не продам ни за что, и это — последняя вещь, с которой я решусь расстаться».

Сергей Николаевич возражал против продажи деревень, советуя продолжать продавать леса и строения. Он перечисляет:

«Чепыж, овраг Грумантский, роща за почтовым двором и круглый березник, у тебя же еще останется осинник молодой, который с нуждой, но тоже можно продать, и большой дом, к которому по твоему желанию должно приступить к последнему, но мне кажется, что если он простоит без всякого ремонта еще несколько лет (а ремонт оного довольно значительный), то он действительно будет только годен как сувенир...»

Сергей Николаевич, любитель цыган и охоты, уже разлюбил сувенир. Лев Николаевич держался за дом еще три года, а потом писал тетеньке: «...Передайте ему (Валерьяну Толстому. — *В. Ш.*) от меня, что я благодарю его за продажу дома (я было потерял всякую надежду на такую удачную продажу) и за присылку денег, предназначенных на покупку лошадей и так и истраченных».

Но вернемся к прошлому.

Шел 1832 год; дом еще не был достроен и потому не нуждался в ремонте.

ОБЕД В БОЛЬШОМ ДОМЕ

Отец Льва Николаевича, разорившийся подполковник в отставке, на приданое жены дом почти достроил, но не обставил.

Об отце Льва Николаевича мы знаем довольно много; мать Толстой не помнил, он создал себе память о ней из самого лучшего, что он знал в жизни, сделал ее нежной, мечтательной, любящей.

Марья Николаевна Волконская была сентиментальна и мечтательна, но решительна; с подругами своими, сестрами-англичанками, она не только говорила о нежной дружбе, но и выдала их замуж, дав неслыханное приданое: одной пятьдесят тысяч, другой — семьдесят пять.

Денег в доме было немного, и рано начали занимать, а Николаю Ильичу нужно было выкупать проданные с торгов имения, беспутно прожитые отцом. Он вил гнездо в спорах, в судах, в запутанных сделках и в спокойной работе просто и далеко видящего хозяина.

Дом не достроен и не совсем меблирован.

Он огромен, кажется, что комнаты его никогда не сосчитаешь.

Расскажем об обычном дне этого дома, об обеде

семьи в большом зале и попутно расскажем судьбы людей.

Решим, были ли они счастливы и равнодушны.

Обеда дожидались, собравшись в гостиной. Здесь был диван и круглый стол, и кресла — одни дубовые, другие — под красное дерево. На стенах висели два трюмо. Небогатая комната в отражениях была как бы в двух кусках вставлена в резные золотые рамы.

Николай Ильич отдыхал в своем кабинете на диване, обитом зеленым сафьяном. Он выходит, обутый в мягкие сапоги без каблуков, подходит быстрыми шагами к старухе матери, смотрит на нее добрыми, красивыми и печальными глазами, отдает свою трубку лакею грациозным мужественным движением. Старая губернаторша улыбается сыну, он целует ее руку. Пелагея Николаевна целует сына в лоб.

Любимый сын, твердый хозяин — замена доброго, беспутного мужа.

Фамильная гордость Толстого как бы сосредоточивалась на памяти о роде бабушки — Горчаковых.

Она была дочерью старшего из князей Горчаковых.

Толстые были менее знатны, и Лев Николаевич историю своего рода знал неточно.

Было известно, что первый граф Толстой, Петр Андреевич, был умен и коварен, смел и неверен с друзьями; умер он в жестокой тюрьме Соловецкого монастыря, где узников смиряли битьем и голодом.

Про деда своего, Илью Андреевича, Лев Николаевич писал, анализируя жизнь его по пунктам.

«*Имущество* расстроенное, большое состояние, небрежность, затеи, непоследовательность, роскошь глупая.

Общественное. Тщеславие, добродушие, уважение к знатным».

Не будем идти последовательно за Толстым. В продолжении сказано:

«*Умственное.* Глуп, не образован совсем».

Илья Андреевич Толстой не был совсем не образован; он кончил морской кадетский корпус, служил

на флоте, потом в Преображенском полку, дослужился до бригадира — этот чин был пределом для знатного человека средних способностей.

Илья Андреевич был верен жене, любил роскошь и грандиозное добродушное гостеприимство.

В хлебосольной Москве он славился умением добывать к столу необыкновенных осетров, к которым относился эстетически. Разорился он незаметно, разорение было ускорено пожаром Москвы.

На сожженное имущество Илья Андреевич подал преувеличенный счет, который целиком не был удовлетворен.

Патриотических подвигов при оставлении Москвы как будто он не оказывал, но ни в чем дурном не был замечен.

Пришлось просить о месте: в 1815 году Илья Андреевич получил должность казанского губернатора. Карточная игра, гостеприимство, барская небрежность, ссора с губернским предводителем дворянства скоро поставили Илью Андреевича в трудное положение; говорят, что он взятки брал только с откупщика: не брать с него мзды было бы просто вольномыслие.

Пелагея Николаевна с заднего крыльца брала взятки тайно, но бестолково.

Злоупотребления Ильи Андреевича были невелики, его обвиняли только «в подозрительном небрежении в делах по местам, правлению подчиненным», а также в «явной слабости и в недостатках знания в должности».

Губернатор умер внезапно в 1820 году, под следствием.

Н. Н. Гусев в своей книге возможность самоубийства отрицает, приводя тому многие доказательства.

Сын губернатора оказался вдруг обездоленным, с избалованной матерью на руках, с наследством, которое не стоило долгов.

Ему пришлось служить хотя бы для того, чтобы не попасть в долговую тюрьму.

— Что ж не дают обедать? — кричит хозяин дома Николай Ильич, сын губернатора, умершего среди равнодушия и упреков.

Камердинер докладывает, что сейчас подают.

Открывается матовая темно-красная дверь: она не покрашена, а только прошпаклевана и подмалевана. В высокой двери показывается дворецкий — Фока Демидович, одетый в синий сюртук с высокими сборками на плечах. Фока давно служит в этом доме и в оркестре князя Николая Сергеевича Волконского играл на скрипке.

Теперь Фока Демидыч, высоко и важно подымая брови, как будто сейчас перед ним большой оркестр начинает симфонию, говорит коротко, гордо, не громко и торжественно:

— Кушанье поставлено!

Все подымаются и идут к большой зале: впереди красивая старуха с длинным подбородком, в прическе с рюшами и фиолетовым бантом на голове. Она привычно переживает восстановление торжественно-правильной жизни, прерванной безвременной смертью казанского губернатора.

Рядом с ней веселый человек с грустными глазами — Николай Ильич. Он хорошо сложен, легко движется Его жизнь начиналась военными удачами, дружбой с умными людьми. Потом все оборвалось. Слава прошла стороной, друзья погибли, но гроза тоже прошла стороной. Потом был брак — умная жена и хорошие дети.

К отцовской белой руке щекой ластится пятилетний мальчик Лева-рева. У мальчика светлые волосы, сине-серые лучистые глаза, упрямый рот и скулы, и розовые щечки.

Отец на ходу нежно и рассеянно-ласково прищемляет пальцами вытянутой руки щеку мальчика. Маленькие ноги Левы стараются не отставать и не перегонять шествие, ему хочется продлить ласку.

Лева еще маленький. С ним девочки еще играют в куклы, иногда кукла — он сам. Недавно его в этой игре называли Милашкой, качали, кутали, лечили, как куклу. Еще недавно он заснул в этой игре. А сейчас он уже собирается сесть на лошадь и учит его не тетенька, а немец, и пальцы у него в чернилах.

За старшими Толстыми, за спиной Николая Ильича, идет графиня Александра Ильинична Остен-Сакен — голубоглазая, светловолосая, грациозная тридцатипятилетняя женщина в дорогом, небрежном и запущенном платье. Она добра, религиозна, довольно богата и бездомна. Ласкова с детьми и прислугой и мечтает о монастыре.

Ее муж, граф Остен-Сакен, богатый остзейский граф, страдал манией преследования; он пытался в дороге застрелить жену, потом помирился с ней через пастора; встретившись, он обманом заставил ее показать ему язык и хотел отрезать язык бритвой. Он мучил и пугал беременную жену: ребенок их родился мертвым. Сейчас Александра Ильинична идет, как и все, — спокойно и улыбается соседке справа — Туанет.

Татьяна Александровна Ергольская держит маленькой сильной смуглой рукой белую руку Александры Ильиничны, слушает знакомый лепет соседки и не слышит ничего. Всю жизнь она прожила рядом с любимым, с Николаем Ильичом Толстым, и ни разу не могла посмотреть смело своими черно-агатовыми глазами в его милые, грустные голубые глаза. И теперь он идет впереди нее и смотрит не на нее, а на мать.

Восемь лет Татьяна Александровна прожила, не ссорясь, с Марией Николаевной Волконской-Толстой. Мария Николаевна умерла. Прошло еще шесть лет. Николай Ильич просил Татьяну Александровну выйти за него замуж, заменить мать его детям и никогда его не покидать. Им было уже по сорок четыре года. Она столько раз об этом думала, что решения приходят в секунду. Татьяна Ергольская записала: «В первом предложении я отказала, второе я обещалась исполнять, пока я буду жива».

И записка лежит в бюро в бисерном портфельчике.

За Татьяной Ергольской и графиней Остен-Сакен идут трое старших сыновей графа, не в лад стуча по новому паркету отроческими ногами в тяжелых домодельных сапогах. Их ведет Федор Иванович Рессель — саксонский немец, сильный и лысый, добрый и бездомный, незаконный сын бюргера, недоучившийся сапожник и изгнанник родины. Он будет похоронен

здесь, в Ясной Поляне, за оградой кладбища, как свой и как чужой, отделенный тысячами верст от родины и оградой от тех, с кем он прожил всю жизнь.

Идут разговаривая. Затейливый Николай, добрый Сергей и Дмитрий, заносящийся то в одну, то в другую сторону. С ними Марья Николаевна — младшая дочка Николая Ильича: мать умерла, ее родив. Сейчас она маленькая девочка — красивая, бойкая. Молодой она выйдет замуж за двоюродного брата Валерьяна Петровича Толстого, от него родит четверых детей, будет несчастна в браке, разойдется с мужем, влюбится в Тургенева, разочаруется; потом влюбится в иностранца — виконта Гектора Виктора де Клена, уедет за границу, родит еще дочь; уйдет в монастырь и проживет дворянкой при дворе-монастыре своего бога.

Кто же счастлив? Кто спокоен в этом светлом доме в солнечный летний день?

Может быть, счастлива старуха Пелагея Толстая, вечером раскладывая пасьянс рядом со своим любимым, внимательным сыном.

Счастливы дети.

В воспоминаниях Льва Николаевича время детства овеяно счастьем, но ему казалось, что счастье только что было и прошло, когда он, открыв глаза, оглянулся.

«Во всех семьях бывают периоды, когда болезни и смерти еще отсутствуют и члены семьи живут спокойно... Такой период, как мне думается, переживала мать в семье мужа до своей смерти... Никто не умирал, никто серьезно не болел, расстроенные дела отца поправлялись. Все были здоровы, веселы, дружны. Отец веселил всех своими рассказами и шутками. Я не застал этого времени. Когда я стал помнить себя, уже смерть матери наложила свою печать на жизнь нашей семьи».

Обед был торжеством и вершиной дня.

За окнами, большими и торжественными, за широко распахнутыми рамами, виден сад и цветник: кусты шиповника распыхались цветом, заграничные розаны рдеют середками цветов, бледнеют краями.

За окнами, вдалеке, виден луг — половина скошена, она светлая, серебристая; а нескошенная — буреет.

На стриженых липах аллеи зажелтелся цвет — чуть припоздал.

Там, за лугами, рожь пожелтела, ровно слиняла, за нею леса синеют, и гуще лесов синеет небо.

Меж дворов и овинов разлилась крапивно-зеленая река — конопли на старых унавоженных землях. Посредине плывет баба, и видно только ее алый платок и наплечники сарафана: должно быть, в коноплях дорожка. За коноплями гречиха наливается молоком. Пчелы, как будто составленные из пушистых черных и желто-солнечных кружков, летают среди цветов. За колоннами большого дома в синем небе зеленеют дубы Большого заказа и части засеки — рубежа, превращенного в большое барское имение.

Еще дальше белеют березы, синеет земля у берез. Все места знакомы, все видят за окнами не только то, что там есть, а все то, что спокойно исхожено, объезжено.

Все благополучно. У старой губернаторши на столе лежит золотая-табакерка с портретом обожаемого мужа, умершего в Казани, во время следствия — без позора и приговора.

Если были какие-то ошибки, то обычные, человече ские, забытые. Умерла Марья Николаевна, не слышно ее тяжелых шагов, не войдет она, не взглянет на всех лучистым своим взглядом, не подойдет к мужу тяжелой походкой, откинув свои плечи.

Умерла, оплакана, погребена, заменена, обратилась в воспоминания. Ее почти не увидел младший сын — «Милашка» — он и будет ее дольше всех помнить.

На столе постелена домотканая скатерть — грубоватая, но приятная, широкая. Солнце сверкает на тонких стаканах, в которых налит квас, желтые зайчики брошены на высокие лепные потолки. Маленькие руки детей поглаживают деревянные черенки ножей и вилок: хочется есть.

Сверкает солнце.

За бабушкой стоит Тихон — бывшая флейта в ор-

кестре дедушки, перемигивается с детьми, размахивает тарелкой.

Бабушка оглянулась. Тихон стоит, как мраморная статуя домашней работы, полуприжав к синему сюртуку желтоватую тарелку.

Милашка — совсем маленький. Он болтает усиленно под столом толстыми ножками, обутыми в белые нитяные чулки, связанные Прасковьей Исаевной. На ногах грубые башмаки, сшитые глухим Алексеем-сапожником, с шелковыми бантиками.

Все друг про друга все знают.

Кушанья самые простые и понятные: каша, картофель печеный, репа, куры с огурцами, творог со сметаной, оладьи, хворостинки — сухое печенье.

За стульями господ — лакеи: бывшие флейты, гобои, виолончели, скрипки, альты, барабаны умолкнувшего оркестра деда Волконского.

Когда окончится обед, пойдет Лева к Прасковье Исаевне в маленькую комнату.

ДЫМ ОЧАКОВСКОГО КУРЕНИЯ

Старый дом, построенный отцом Толстого, давно снят, фундамент ушел в землю, выросли большие деревья, которые кронами своими поднялись над крышей, когда-то перекрывавшей двухсветный зал.

Но Толстой любил воспоминания об этом барском доме. Вспоминал он этот дом как-то укоризненно и идиллию старого недолгого великолепия вставлял в рассказы о давних обидах дворовых людей.

Прасковья Исаевна была ключницей старого дома, и у нее всегда были приготовлены для детей сладости и рассказы. Прасковья Исаевна принимала детей, когда они приходили к ней, ласково и разговаривала с ними о старине и о храбром генерале — их деде, как ходил он под Очаков воевать турка.

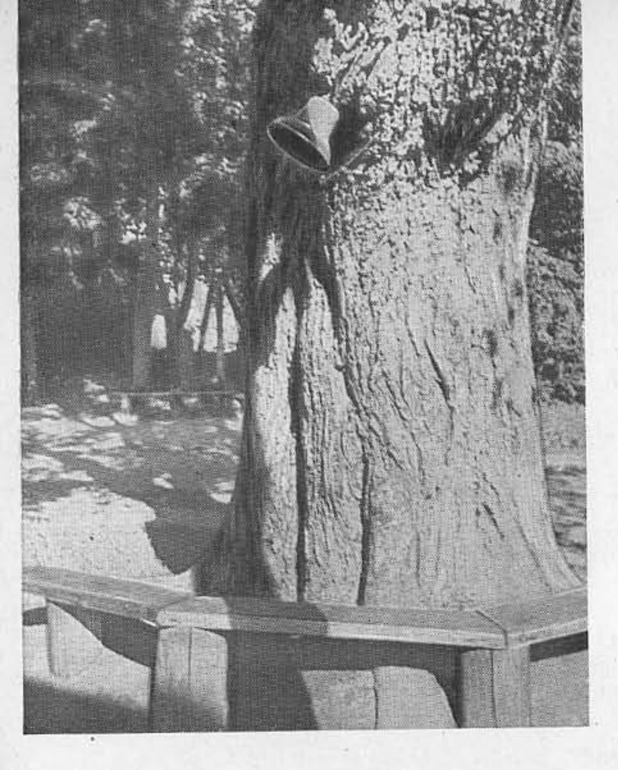
Любила когда-то Прасковья Исаевна Фоку Демидыча — это было тогда, когда играл большой дедушкин оркестр и в нем Фока был второй скрипкой.



Дом, в котором родился Л. Н. Толстой.



Въезд в Ясную Поляну.



«Дерево бедных».



Яснополянский дом.



Ходил скрипач в высоких чулках, в башмаках с пряжками и носил на голове пудреный белый парик, как и барин, а Паша пришла из деревни — была толстая, веселая. Потом получила она башмаки, приставили ее нянькой к Марье Николаевне; часто она встречалась с Фокой, полюбила его и пришла к бровастому генералу робко просить позволения выйти за Фоку замуж.

Генерал тряхнул черно-седой головой без парика, сказал Паше, что она неблагодарная, и сослал девку в наказанье скотницей в степную деревню. Через шесть месяцев вернули ее, была она опять босиком и в затрапезке, пала генералу в ноги, просила прощенья за свою дурь, и вернули ей милость и ласку. Служила она еще двадцать лет. Стала она Прасковьей Исаевной, начала носить чепец, и, когда барышня вышла замуж, дала она Прасковье Исаевне вольную и обещала пенсион ежегодный в триста рублей. Но пенсиона и вольной Паша не взяла. Она осталась в доме, где служил седой Фока, уже снявший парик. Осталась ключницей. О старой любви говорила как о дури, заперла ее и ключ забросила.

Много она видала, смотрела на то, как барышня ее стала барыней, удивлялась тому, что дарит она своей подруге-англичанке деревни с крепостными.

Добрая барыня — с хорошим, крепким характером. Деревню ей не позволили подарить родственники, так она подарила семьдесят пять тысяч рублей.

Барыням тоже жить трудно. Вот барышня Татьяна Александровна Ергольская — чем не барыня? Внучка князя Николая Ивановича Горчакова, а бедна. Не смогла выйти замуж. Хорошо, что Марья Николаевна, доброй души человек, ее держала в доме, а тоже своего счастья у Татьяны Александровны нет.

— Прасковья Исаевна, а дедушка как воевал? Верхом? — спрашивает Лева.

— Он всячески воевал — и на коне и пеший. Зато генерал-аншеф был.

А Лева смотрит на вещи, ими забита вся комната Прасковьи Исаевны, болтает свой вздор:

— Буду я генералом, женюсь на чудесной краса-

вице, куплю рыжую лошадь, построю стеклянный дом и выпишу родных Федора Ивановича из Саксонии.

А Прасковья Исаевна качает чепчиком и отвечает:

— Да, мой батюшка, да...

Потом открывает голубой сундук — мальчик видит снизу крышку, на которой внутри наклеена картинка с помадной баночки, рисунок Сережи и изображение какого-то гусара, и достает для мальчика винную ягоду и карамельку. А потом вынимает курение, зажигает от лампадки бумажку, от бумажки смолку и помахивает ею.

— Это, батюшка, еще очаковское курение, когда наш покойный дедушка, царствие ему небесное, по турку ходили — вот оттуда привезли. Вот уже последний кусочек остался... — вздыхает старуха.

Пахнет смолкой, какими-то цветами и в полумраке комнаты извивается прозрачная лента дыма, сплетается в неведомую букву. Для мальчика Левы буквы понятны — и русские и французские, а это какие — турецкие? Или арабские из сказки?

ФАНФАРОНОВА ГОРА

— Девочек на ту гору возьмем после, — шепчутся мальчики, — идти далеко.

Ее отсюда не видно.

Там живут, не прилаживаясь, не разламываясь, не пригибаясь, и никогда не шепчутся, и дверей не запирают, а говорят, сидя на зеленых диванах, все прямо.

Мужичьи избы все с трубами, и собаки всегда берут волка.

Так вечером сказал изумительный старший брат Николенька — предмет непрестанного изумления Левы. Мальчик двенадцати лет объявил всем, что у него есть тайна и, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться и все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями. Вероятно, Николенька слыхал или читал в отцовской библиотеке о моравских братьях, которые жили праведной жизнью, имея общее имущество, но в детском пересказе моравские братья обратились в муравейных. Слово «муравейные» детям нравилось; они видали, хорошо знали длинные дорожки, проложенные муравьями в траве.

Лев Николаевич до смерти своей любил смотреть на муравьев и утешался в последний год жизни, сидя на скамейке, рассматривая беспрерывную, лишенную ссор жизнь муравьиных семейств.

У детей была даже игра в муравейных братьев. Эта игра «состояла в том, что садились под стулья, загораживали их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу».

В доме Толстых старшие помнили о масонах, хотя в списках масонов потом не нашли ни имени деда, генерал-аншефа, ни имени отца Толстого. Масонство существовало под запретом императоров, которые распустили масонские ложи. В изустном предании, почти в сказке, масонские предания очистились, как очищаются быстрые реки, извиваясь среди полянок, отбрасывая мусор на берега и мелея.

Масонские правила приема в общество были сопряжены со сложными, странными и таинственными обрядами.

Дети стремились в своем живом воображении к иной жизни, полной любви к людям и доброты, к жизни, лишенной постыдных тайн, угроз, к жизни, на которую можно было бы смотреть, все понимая.

Николенька объявил, что существуют муравейные братья и есть условия приема к этим братьям. Условия приема были следующие: во-первых, надо было стать в угол и не думать о белом медведе.

Лева уже становился в разные углы в разных комнатах и все старался, но никак не мог не думать о белом медведе.

Второе условие было: пройти, не оступившись, по щелке между половицами, а третье условие — в продолжение года не видеть зайца — ни живого, ни мертвого, ни жареного на столе. Надо было еще поклясться никому не открывать тайн муравейного братства.

Когда соберутся муравейные братья, когда забудут они о белом медведе и обо всем плохом и станут хорошие, то Николенька возьмет зеленую палочку, на которой написана тайна; эту палочку все вместе отнесут на край оврага, что в Старом заказе, и там на переломе холма закопают у дороги, а сами уйдут на Фанфаронову гору жить хорошей жизнью, в которой не будет ни маленьких, ни больших и все будет говориться прямо, и никогда не будут шептаться, и не будут плакать.

Тогда можно будет выполнить любое свое желанье, а эти желанья надо было высказать заранее. Сережа пожелал уметь лепить лошадей и кур из воска. Митенька пожелал не лепить, а рисовать — все в большом виде, маленький Лева ничего не умел придумать и пожелал все уметь рисовать в малом виде.

Главное было попасть на Фанфаронову гору — там успеем еще придумать самое хорошее.

Где гора — дети не знали: вероятно, за необозримым, блестяще-желтым ржаным полем, еще дальше, за синим лесом.

Она так далеко, что хотя высока, но не подымается над лесом.

Туда можно было дойти, если идти долго всем вместе.

Лева был маленький, как муравей, и понимал только любовь и ласку. Он стал членом муравейного братства на всю жизнь, мечтал найти дорогу в детство, прижаться к людям, как к близким, ни на кого не сердиться, не думать о ненужном белом медведе тщеславия.

Откуда взял Николенька белого медведя?

Дом Толстых при Марье Николаевне был домом читающим. О белом медведе читал отец Тристрама Шенди у Стерна, у того Стерна, который станет любимым писателем молодого Толстого. Старик Стерн хотел воспитать своего сына на анализе мыслей о белом медведе. Но шутки Стерна в семье Толстого превращались в мечту о путях к новой жизни.

Марья Николаевна в письмах часто высказывала мысли, говорящие о том, что Руссо и Стерн ей известны и приучили ее к анализу отношений и к умилению перед добром. Но Марья Николаевна отличалась от своих заморских учителей тем, что она делала так, как хотела, и свою доброту превращала в резкие поступки, которые казались другим людям причудами. В этом она была истинной матерью Льва Николаевича.

То, что было нагадано, искано в чужих землях, та боль, которая уже обнаружилась в неравенстве человечества, существовала у нас, но говорили и думали о ней резче, решительнее.

Дети много разговаривали друг с другом; старшие подслушивали разговоры бывшего музыканта, крепостного дядьки Николая с Федором Ивановичем — немцем.

Уже ночь. Николай собрал детское платье, сапоги; держит на руках, собирается унести чистить; Федор Иванович надел колпак с кисточкой, посмотрел на окна· за окнами еще смеркается. Федор Иванович высекает из огнива искру на трут, от трута зажигает серничек, от серничка свечку, укладывается, укрывается до горла.

Дети спят или собираются спать. Лева уложил игрушку рядом на подушке, долго смотрит, как ей уютно, как хорошо ей спать, и потом засыпает вместе с ней.

Николай Иванович и Федор Иванович — старые друзья и любят ночью поговорить.

Целый день ходил Николай, исполняя разные приказанья. Николай добр, и все им помыкали, а вечером он начинал разговаривать, обсуждать и хвастаться. Любил он смотреть на то, как Федор Иванович выклеивает из бристольского картона разные коробочки и украшает их золотой бумагой. Любил рассказывать о том, как жил в своем имении дед Льва Николаевича, генерал-аншеф, как он разбил парк перед домом вокруг старого вяза, оставшегося от заповедных лесов. В вязе том было три обхвата. Вокруг него скамеечки и пюпитры, а кругом клиньями липовые аллеи.

Утром выходил князь Николай Сергеевич прибранным в сад с дочкой, всегда чисто бритый; батистовое белье манжет и манишки чистоты были, ныне не встречаемой, губы твердые, глаза черные, брови широкие, нос сухой.

— В оркестре восемь человек — все в камзолах, в чулках и башмаках, в париках, все с ногами, и я в ноты смотрю, потому что я флейтой был.

Кругом сирень, шиповник; все посыпано песком и разметено и никем еще не пройдено.

Разложим ноты, откашляемся.

Вот и князь выходит, и начинаем играть Гайдна. Потом расходимся — кто чулки вязать, кто в саду работать. У всех были свои должности. Я, к слову сказать, свиней кормил, был при своей работе, а теперь порядка нет, господа замешались. И охоты наш генерал не любил, а любил цветы и оранжерейные растения, и, так сказать, разве теперешние свиньи — свиньи? И мужички, должен сказать, забеднели...

Окна совсем черные, в них отражается свеча слабым рыжим сиянием. Федор Иванович рассказывает о соседских делах, о том, что у Исленьевых нехорошо: Александр Михайлович совсем заигрался, и как они дела свои поправят — неизвестно.

Шепотом говорят, что дети Исленьевых называются Иславины, а граф Козловский Софье Петровне, урожденной графине Завадовской, развода не дает и за то, чтобы записать детей Исленьевых на свое имя как законных, спрашивает за каждого по сто тысяч, а столько не соберешь, если и все имение продашь. А вот Александр Михайлович триста тысяч выиграл — опять спустил.

И у Темяшевых нехорошо — и богат, и знатен, и Горчакову родственник, а дочки его незаконные: умрет Темяшев — выгонят девочек наследники на улицу.

Горит свеча, два старика разговаривают друг с другом о чужих делах и о том, как бы они все, если бы их воля, переделали.

Дела Толстых не плохи: долги по казанскому делу были выплачены после женитьбы на богатой невесте.

Теперь шли другие наследства: в 1833 году умерла племянница матери Николая Ильича Екатерина Васильевна Горчакова, которая была замужем за Львом Алексеевичем Перовским; после нее остались два имения в Курской губернии: Неручь — триста десятин и Щербачевка — тысяча десятин.

У Толстых в доме слепой приказный, бывший крепостной Перовской, великий знаток всяких кляуз, как говорил о нем в своих воспоминаниях Лев Николаевич. Иван Митрофанович все дела Перовских лучше, чем они сами, знал, и после долгого процесса Толстой с братьями как наследники по женской линии получили наследство. На двор пришли большие возы — главная часть наследства.

Иван Митрофанович ходит по дому с мальчиком-поводырем; часто пьян, хотя тих. Его ценят как великого знатока законов: свод законов издан, но еще не разослан.

Ивану Митрофановичу хорошо в доме: ему идет полный корм. Он еще пригодится господам.

Засыпает Федор Иванович. Николай тушит свечку, уходит тихонечко. Засыпают старшие дети.

Утром, когда будут гулять, старшие расскажут о том, что они слышали, младшим. Старшие важничают, говорят непонятно. Так получается, что все кругом неправильно и идет не так, как надо. У всех процессы, и папа судится, только он гордый — не хочет принимать чиновников на дому и посылает им деньги через Фоку в конвертах. Когда господа чиновники приезжают, то папаша к ним не выходит.

Дома очень хорошо.

Но где-то лучше.

Где?

СПАЛЬНЯ БАБУШКИ

Про дедушку — бригадира и казанского губернатора рассказывали в доме мало.

Дворня была — приданое Марьи Николаевны, княжны Волконской.

Вспоминал графа сын в разговорах со старухой

матерью. Он берег ее старость и вел с ней разговоры ласково, отца не упрекая.

Дед играл в карты, играть не умея, затевал аферы и запутывался в долгах так сильно, что ему уже не приходилось экономить; отправлял стирать белье в Голландию, угощал гостей осетрами необычайной величины и был так прост, что подписывался не «бригадир», а «брегадир».

Бабушка была важная и своей породой гордилась: ее отец был старшим в роду князей Горчаковых.

Горчакова умела жить спокойно и барственно, она любила удивлять собою. Руки она мыла каким-то необыкновенным мылом, которое при мытье давало много пузырей. Дети удивлялись на пышную пену в бабушкиных руках. Бабушку так радовало их удивление, что каждый вечер в ее спальне дежурил внук, и она при нем мыла свои белые руки. Потом старуха ложилась в постель под тяжелыми окладами икон. Горели лампады, отражаясь в иконах цветными огоньками; на стене обозначалась важная бабушкина тень в ночном чепце с рюшами.

Бабушка не сразу засыпала, ее усыплял тихим разговором сказочник Лев Степанович, для этого купленный еще стариком бригадиром. Сказочник жил где-то в доме, а по вечерам приходил наверх в спальню бабушки. Спальня была в низенькой широкой комнате на антресолях. Здесь Лев Степанович садился на низенький подоконник, и ему приносили ужин с господского стола.

Большой зал дома был двухсветным.

Для того чтобы не портить фасад, окна устроили так, что казалось, будто по всему этажу идут двухсветные залы; спали на антресолях, и окна оказывались прижатыми к полу.

Ремесло рассказывать сказки было тогда распространенным. Слепцы объявляли в газетах, что они рассказывают арабские сказки. Предлагали также и русские сказки, очевидно для людей более простого звания. Арабские сказки были новостью, «Тысячу и одну ночь» недавно открыли и перевели на французский язык. На похождения принцев, терявших свои

амулеты, попадающих в плен, ищущих своих жен в высоких замках и дружащих с джиннами, удивлялись впервые.

Лев Степанович сидел на подоконнике, бабушка раздевалась, не стесняясь при слепом. Было тихо. Маленький Лева-пузырь (он был очень полный в детстве) засыпал, любуясь на свою белую бабушку. С подоконника слышался ровный, спокойный голос Льва Степановича:

— Продолжать прикажете?

— Да, продолжай.

— «Любезная сестрица, сказала она, — заговорил Лев Степанович своим тихим, ровным старческим голосом, — расскажите нам одну из тех прелюбопытнейших сказок, которые вы так хорошо умеете рассказывать.

— Охотно, — отвечала Шехерезада, — рассказала бы я замечательную историю принца Камаральзамана, если повелитель наш выразит на то свое согласие». Получив согласие султана, Шехерезада начала так: «У одного владетельного царя был единственный сын...»

И, очевидно, слово в слово по книге начал Лев Степаныч говорить историю Камаральзамана. «Я не слушал, не понимал того, что он говорил, настолько я был поглощен таинственным видом бабушки, ее колеблющейся тенью на стене и видом старика с белыми глазами, которого я не видал теперь, но которого помнил неподвижно сидевшего на подоконнике и медленным голосом говорившего какие-то странные, мне казавшиеся торжественными слова, одиноко звучавшие среди полутемноты комнатки, освещенной дрожащим светом лампады».

В 1891 году Лев Николаевич писал, что на него больше всего произвели до четырнадцати лет впечатление следующие книги: «История Иосифа» из библии — *огромное*. «Сказки Тысячи и одной ночи»: «Сорок разбойников», «Принц Камаральзаман» — *большое*». «Принц» — это та самая сказка, начало которой говорил наизусть слепец при маленьком Толстом.

ОХОТА И СТИХИ

Отца Лев Николаевич любил и помнил; он защищал его в своих воспоминаниях, хотя и ставил ниже матери.

Часто сближают Николая Ростова — героя «Войны и мира» — с Николаем Ильичом Толстым — отцом писателя. Каждое прямое сближение литературного произведения с фактами действительности, построенное так, что ждут совпадений, неправильно.

Про Николая Ильича Толстого, как мы его знаем по воспоминаниям, при всем понимании условности сравнения, должно сказать, что Николай Ильич Толстой выше, сложнее Николая Ростова.

Николай Ростов бестрепетно и по-своему самоотверженно предан власти. В конце «Войны и мира» во сне Николеньки Болконского Николай Ростов — это тот человек, который расстреливает по приказанию Аракчеева восставших декабристов.

Николай Ильич был неплохим хозяином, умел судиться, выигрывать дела; но больше всего он любил бездействие, бездействием он сохранял свою независимость.

Толстой позднее увидал эту гордость своего отца и вспоминал: «Он не только не служил нигде во времена Николая, но даже все друзья его были такие же люди свободные, не служащие и немного фрондирующие правительство. За все мое детство и даже юность наше семейство не имело близких сношений ни с одним чиновником. Разумеется, я ничего не понимал этого в детстве, но я понимал то, что отец никогда ни перед кем не унижался, не изменял своего бойкого, веселого и часто насмешливого тона. И это чувство собственного достоинства, которое я видел в нем, увеличивало мою любовь, мое восхищение перед ним».

Дела с чиновниками велись через доверенных лиц и как будто не пачкали рук, хотя они были сложны и иногда спорны.

Дома дворян были свободны.

Вернее, они были нетревожимы.

Дети приходили к отцу. Николай Ильич сидел с трубкой на зеленом диване, ласкал сыновей, иногда пускал их к себе за спину на кожаный диван, продолжая разговаривать со стоящим у притолоки двери приказчиком.

Раз, когда в гостях был Языков, отец заставил Леву прочесть выученные им наизусть стихи Пушкина «К морю» и «Наполеон».

Лев Николаевич и в детстве отличался необыкновенной памятью. В одном из стихотворений — сто двадцать строк, в другом — шестьдесят. Значит, он запомнил и прочел свободно, с пафосом сто восемьдесят строк сложного стихотворного текста.

Толстой вспоминает, что отец был поражен чувством, с каким сын прочел эти стихи. Прослушав стихи, Николай Ильич переглянулся со старым своим другом — Языковым.

Это были вести из большого мира их прошлого.

Все хорошо; сейчас друзья поедут на охоту. День мирен; ворота имения закрыты, никто не нарушит покоя, кроме воспоминаний.

Стихи, которые читал Лев, связаны с Наполеоном; стихотворение «К морю» — с Байроном. Для Николая Ильича время Наполеона, рассказ о его войнах — часть биографии.

Семнадцати лет Николай Ильич поступил на военную службу. В то время Николай Иванович Горчаков, близкий родственник матери Николая Ильича, был военным министром, брат Николая Ивановича — Андрей Иванович — генералом действующей армии. Николай Ильич был зачислен к нему адъютантом, проделал походы 1813—1814 годов, в 14-м году попал в плен к французам, жил в Париже и был освобожден нашими войсками в 1815 году.

Наполеоновская тема — это тема молодости тогдашних людей; тема Байрона, лежащая в основе стихов Пушкина — это рассказ о разочаровании, о больших надеждах, большой тоске.

Николай Ильич был связан с декабристами.

Ближайшие его друзья, Исленьев и Колошин —

декабристы. Но граф Николай Ильич всего только хороший сын и толковый хозяин.

Стихи, прочитанные Левой, говорили о другом:

Тогда в волненьи бурь народных
Предвидя чудный свой удел,
В его надеждах благородных
Ты человечество презрел

Наполеон — враг русской армии, враг побежденный. Наполеон — воспоминание юности, но он же враг революции, он против благородных мечтаний Руссо и других людей революции, книги которых стоят в шкафах большого дома.

Николай Ильич — человек добрый, но малолитературный; дворянскую культуру в доме представляет Мария Николаевна, а гордость дома — бабушка Горчакова.

Книги в доме мало читаются, и в этом отношении дом провинциальный. Но и Москва присмирела, и старые друзья Николая Ильича — декабристы не скоро вернутся из ссылки.

Маленький сын Лева читает стихи Пушкина «К морю»:

Мир опустел Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба людей повсюду та же
Где благо, там уже на страже
Иль просвещенье, иль тиран

Не думал отставной подполковник, как будет жить его маленький толстый сын Лева-рева в пустом, обставленном караулами мире.

Читает мальчик хорошо и явно имеет чувствительную душу.

За окнами хорошая погода, в воздухе блестят, летают паутины. Хорошо собрать друзей и поехать на охоту, затравить зайца или лисицу, послушать заливистые голоса собак; скакать по полю, не думая ни о чем

В границах поместья во время охоты свободен дворянин.

Чем же виновен Николай Ильич?

Он не пошел служить в николаевскую армию, он презирает людей, которые томят в Сибири декабристов, но презрение его не мешает ему жить.

Его вина была в том, что он, будучи добрым, честным и связанным, не чувствовал пут свивальника.

Лев Николаевич поэтизировал своего отца, даже его поездки и деловые хлопоты. Он писал: «Помню еще его поездки в город и тот удивительно красивый вид, который он имел, когда одевался в сюртук и узкие панталоны. Но более всего я помню его в связи с псовой охотой. Помню его выезды на охоту. Мне всегда потом казалось, что Пушкин списал с них свой выезд на охоту мужа в «Графе Нулине».

Отъезжает охота. На хороших конях едут любимые егеря отца: Петруша и Матюша — сильные и ловкие охотники. Оба они холосты, оба нелюбимы дворней, оба получили вольную, живут в нижнем этаже большого дома в отдельных комнатах. На окнах комнат стоят фарфоровые фигурки собак, лошадей, обезьян, и дети с завистью смотрят на эту потеху.

Едут Петруша и Матюша за барином по долгой деревенской улице в бойких клубах пыли, борзые, как на картинке, гнут спины.

Егеря голосом и арапником вводят порядок в оживленные своры пестрых и ретивых собак.

Но вот поле принимает охоту. Ветер дует навстречу охотникам. Живое золото овсяница под ветром треплется как бешеное — как цыганка плечами.

У леса размыкают своры. Гончие встряхиваются и бегут мелкой рысью, махая хвостами и принюхиваясь. И вот свора подает голос. Звуки постепенно становятся сильнее и непрерывнее и сливаются вдали в заливистый гул.

Голоса гончих слились в хор и ушли вдаль.

А на поле скрипят ржаные колосья, срезаемые серпами. В густой ржи согнутые спины жниц и взмахи колосьев, перекладываемых из руки в руку.

Лев Николаевич с детства и до смерти любил охоту. Только под самую старость, встретив на лесной прогулке зайца, он вместе с охотничьим жаром на сердце чувствовал ласку к зайцу и кричал на него

весело и ободряюще. А заяц бежал стремглав, так, как будто в Ясной Поляне еще стоит большой дом с колоннами, и живут там своры злобных заливистоголосистых собак, и рога егерей трубят в перелесках.

НАЧАЛО ДЕЛА О ПОКУПКЕ ПИРОГОВА

К Толстым приезжало в дом не много гостей — только соседи, самые почтенные. Бывал Александр Михайлович Исленьев — адъютант генерал-майора Орлова, человек, связанный с декабристами, богатый, неустроенный. Он станет дедом Софьи Андреевны Берс-Толстой и Татьяны Кузминской.

Приезжают в Ясную Поляну и другие почтенные люди: Н. В. Киреевский, С. И. Языков — крестный отец Льва Николаевича, человек, пропахший табаком и замечательный по своему безобразию: у Языкова на лице как будто лишняя кожа, и он ее передергивает странными гримасами.

Часто бывает Огарев, и дети не знают, что жена Огарева любовница Николая Ильича. Бывает еще богач-холостяк Темяшев, питающий к Николаю Ильичу восторженную любовь. Он привез раз из своего имения Пирогово замечательных поросят — подарок милому соседу.

Темяшев умел играть на фортепьяно какой-то плясовой мотив, он только это и умел играть, но этого было достаточно, потому что дети и Темяшев считали, что под этот мотив можно плясать любой танец.

Рассказывает Толстой: «Был зимний вечер, чай отпили, и нас скоро должны были вести спать, и у меня уже глаза слипались, когда вдруг из официантской в гостиную, где все сидели и горели только две свечи и было полутемно, в открытую большую дверь скорым шагом мягких сапог вошел человек и, выйдя на середину гостиной, хлопнулся на колени. Зажженная трубка на длинном чубуке, которую он держал в руке, ударилась об пол, и искры рассыпались, освещая лицо стоявшего на коленях, — это был Темяшев».

Темяшев и отец ушли в комнату с зеленым диваном и там совещались. В доме Толстых появился новый человек — девочка с широким, покрытым веснушками лицом, звали ее Дунечка.

У Дунечки была своя нянька — высокая сморщенная старуха.

Нянька и Дунечка были частью большой сделки между Темяшевым и Толстым.

Все дело было в дочерях Темяшева. Они были рождены дворовой, с которой барин не был венчан. Темяшев не мог детям оставить наследство обычным способом. Наследницами Темяшева являлись его сестры, им передавал он по завещанию все свои имения, но Пирогово, в котором сам жил, фиктивно продавал Николаю Ильичу.

Сделка была сложная. На Николая Ильича переводилась задолженность по имению — долг опекунскому совету — сто шестнадцать тысяч.

Кроме того, считалось, что Николай Ильич уже уплатил Темяшеву сто восемьдесят четыре тысячи наличными деньгами. Николай Ильич и Темяшев связывали друг друга различными документами; Толстой обязан был по этим документам уплатить деньги матери дочерей Темяшева.

Сделка сложная и, вероятно, была оформлена не без участия слепого Ивана Митрофановича. Сам Толстой в описании сделки неточен, но видно, что со стороны опекунов детей Темяшева протестов не было — значит, деньги были выплачены.

Не своего отца, а его ближайшее окружение описал Толстой в «Детстве». Отец Николеньки — это сосед по имению, Исленьев. Про него Толстой рассказывает:

«Он был чувствителен и даже слезлив. Часто, читая вслух, когда он доходил до патетического места, голос его начинал дрожать, слезы показывались, и он с досадой оставлял книгу... Он любил музыку, певал, аккомпанируя себе на фортепьяно, романсы приятеля своего А..., цыганские песни и некоторые мотивы из опер; но ученой музыки не любил и, не обращая внимания на общее мнение, откровенно го-

ворил, что сонаты Бетховена нагоняют на него сон и скуку.. »

Дальше говорится о любви его к цыганскому пению.

Кто такой А...?

Несомненно — автор романсов Алябьев, которого все знали по знаменитому «Соловью».

Алябьев попал в компанию игроков, которые обыграли купца; когда купец не хотел выдать на проигрыш векселя, его сперва высекли, а потом посадили в ванну со льдом.

Алябьев сам не совершил преступления, но, судя по роману «Семейство Бегичевых», какое-то отношение ко всему этому имел.

Алябьев попал в Сибирь, где и написал «Соловья в Сибири».

Исленьев был игрок почти профессиональный, и понятия о дозволенном и недозволенном у него были не слишком точные

Кроме того, нужно еще сказать, что законодательство было устарелым и всеми обходилось. Вот почему дело о пироговском наследстве могло оказаться не точно оформленным.

Исленьев был одним из держателей векселей, которые должны были обеспечить уплату пироговских денег, и уплатил деньги, так же как и Глебов — второй участник договора.

Лев Николаевич помнит, что Языков — третий участник сделки — присвоил деньги.

Все дело было выгодно: Пирогово стоило много дороже той суммы, которую за него платили, его называли в разговоре золотым дном.

В МОСКВЕ

Жизнь в Ясной Поляне продолжалась спокойная, дети вырастали. Лева перестал быть «Милашкой» — стал мальчиком, его теперь стáли называть ласково Лева-рева за чувствительность.

Дела Николая Ильича были тогда на подъеме,

и он после удачи с перовским наследством и покупкой Пирогова поехал в Москву вместе со своими сыновьями и младшей дочерью.

Выехали Толстые из Ясной Поляны в Москву 10 января 1837 года.

Лев Николаевич писал по памяти, не мог вспомнить, было ли это осенью или зимой, потому что он помнил, что Петрушка — камердинер отца — по дороге, увидав лисицу, пустил за нею борзого серого кобеля Жирана, который лисицы не взял. Но сохранилась запись Татьяны Ергольской, что дело было зимой. Ехали на семи возках — на своих и мужицких лошадях. Возок бабушки был отдельный. Бабушка боялась, что возок перевернется, и поэтому к саням были приделаны широкие отводы.

В старое время при царских поездках на отводах стояли или должны были стоять специальные люди знатного происхождения. Молодой Дмитрий Пожарский имел звание стряпчего-ухабничего. Ухабничие сберегали возки на зимних дорогах Конечно, эта должность в то же время была придворная.

У Пелагеи Николаевны на отводах стояли два камердинера папеньки.

В Серпухове ночевали. Постоялый двор имел ворота со сводом. Бабушкины важные сани не проехали в ворота, и надо было ее выводить из возка с улицы в горницу.

Приехали на другой день. Золотоглавая Москва, тихая, в еще не изъезженном снегу, полная народа, оживленна, люди по-разному одеты, дома разного роста — из них сотни с колоннами, львы на воротах, галки на крестах церквей. Далеко виден незаслоненный домами Кремль; все произвело на детей большое впечатление.

Был хороший день. Лев Николаевич помнил свое восхищение при виде московских церквей и домов. Это восхищение было как бы подсказано мальчику тоном гордости, с которой отец показывал ему Москву

В Москве сняли квартиру: это была тоже новость. Вся семья поселилась на Плющихе в доме Щербаче-

ва, против церкви Смоленской божьей матери. Дом стоял во дворе вольно, фасад его составлял острый угол к улице, улица была как будто сама по себе, а дом сам по себе.

Прожили в этом доме полтора года. Гуляли дети по Москве с Федором Ивановичем, познакомились со сверстниками.

Лев Николаевич здесь первый раз увидал людей, которые не знали, кто такой Николай Ильич Толстой и кто такие его дети.

В деревне были известны все истории и горести, которые связывали людей большого барского дома, и люди в дальней деревне тоже были известны, каждый дым из трубы подымался из знакомой избы.

Здесь никто не кланялся им на улице. Люди, которые жили рядом, тоже были неизвестны. Не знал Лев Николаевич, когда они родились, как они пишут, сколько у них детей. Неизвестно, как эти люди относятся к своим детям.

На улицах стояли дома каменные, а больше деревянные, много было дворянских особняков с садами. В то время в Москве можно было прочесть такие объявления: что сдается, мол, дом с садом, и сенокосами, и с речкой, и со всеми угодьями, но без права охоты.

Москва перебивалась купами деревьев — летом зелеными, зимой белыми. Ездили по Москве кареты, извозчичьи сани, розвальни. Множество торговцев продавали свой товар на улицах с лотков.

Бабушка требовала в доме уклада, соответствующего графскому титулу. Она предложила уволить Федора Ивановича и нанять, как в других домах положено, француза.

Лев Николаевич в «Детстве» рассказывает, как Карл Иванович подал при увольнении счет на жалованье и еще за подарки, которые он делал детям, склеивая эти подарки из картона и белой бумаги: на все у него были счета. Просил он также, чтобы ему заплатили стоимость золотых часов, которые были когда-то обещаны в подарок, но не подарены.

Составлялись счета долго, и друг немца, старик

Николай, обсуждал счета и плакал, повернувшись лицом к стенке.

Придя к барину Николаю Ильичу, немец сперва не сробел и начал высчитывать свои убытки, а потом заплакал и сказал, что согласен служить и без жалованья, потому что очень любит детей. Он остался.

История его описана и развита в книге Толстого «Детство», где Федор Иванович Рессель назван Карлом Ивановичем.

История, конечно, изменена.

Писатель, когда он пишет, отражает жизнь, но не сразу и не всегда точно. Он зеркало, отполированное жизнью. Он говорит то, что понимает, а понимать его научил опыт других людей.

Человек читает книги и, описывая, пользуется не только словами, но и опытом писателя. Он обращается к другим людям, их чему-то учит.

Лев Николаевич Толстой «Детство» писал на Кавказе, где служил волонтером.

«Детство» написано на берегу широкого и мутного Терека, который размывает дно и наносит высокие берега. На илистых отмелях берегов жили казаки, охраняли реку, охотились, пахали.

Лев Николаевич писал то, что произошло с ним пятнадцать лет тому назад. Люди, о которых писалось, еще были живы или умерли недавно, и он изменял имена. Он видел прошлое через настоящее, через новый жизненный опыт. Этот новый опыт, историю казака Ерошки — Епифана Сехина, он запишет через много лет, уже пережив Севастопольскую оборону, когда изменится вся Россия и будут говорить об освобождении крестьян. В литературе будут существовать Тургенев, Чернышевский, и Толстой будет с ними знаком. То, что он будет писать, объединит его прошлое и настоящее.

Ерошка описан человеком, который его видел, но читал про Ермолая-охотника и про Старого цыгана, который судил Алеко в «Цыганах» Пушкина.

Когда пишешь биографию, то трудно в жизни писателя отделить то, что было в таком-то году, от того, как это бывшее было понято через много лет.

Толстой вернулся к своему детству уже стариком, в 1903 году, просматривая биографию, написанную Бирюковым. Новое его описание названо «Воспоминания». Они относятся только к нему, но связаны они с новой историей Толстого. Он смотрит оглядываясь, говорит стариком о мальчике, отдыхает в своем детстве и тут же на полях пишет свои возражения, спорит сам с собой, вспоминает живое ощущение, изменяет оценки.

Видно, что детство в деревне было по воспоминаниям человечно. В городе было труднее, страшнее. В городе надо было блюсти «приличия», дети учились новым манерам, учились кланяться, увидали, как дворяне по-разному разговаривают на разных улицах.

Была тогда мода детей одевать щегольски, но по-народному, в чуйки: что-то вроде пальто в талию. Льва Николаевича на улицах иногда принимали за хорошо одетого простолюдина, и он понял, что в народе над барами смеются и называют их «господишками».

День в Москве был всегда занят. Мальчики учились на колымажном дворе верховой езде, правильной посадке — не деревенской, а городской, щегольской. Учился и Лев Николаевич, упал раз с лошади, ему сказали, что детское тело мягкое, и продолжали учить. Он эту историю впоследствии с удовольствием описал в своей «Азбуке», считая, что поступили с ним правильно.

К городу дети привыкли. Вдруг пришло известие, что Темяшев лежит в параличе и что сестра его Наталья Алексеевна Корякина подала на права Николая Ильича донос.

Сестры-наследницы утверждали, что сделка на Пирогово мнимая, безденежная, несмотря на то, что все документы оформлены купчими и заемными обязательствами. Сестра Темяшева Наталья Алексеевна Корякина в апреле 1837 года обратилась в правительственное учреждение с жалобой, что будто бы сделки с Н. И. Толстым были заключены ее братом А. А. Темяшевым, когда он был уже разбит параличом.

Прошение шло за прошением. Истица требовала произвести обыск в доме графа Толстого для того, чтобы в его бумагах найти похищенные дорогие вещи и документы, будто бы взятые из шкатулки Темяшева. Это было обвинение не только серьезное, но и позорящее.

Здоровье Николая Ильича в Москве было неважное; из горла у него шла кровь. Ехать было трудно, но из Пирогова — нового толстовского имения — шли плохие вести: управляющий имением В. С. Бобров, дядя детей Темяшева, в письме к новому своему господину извещал, что Корякина писала ему с угрозами; что Александр Алексеевич лишился языка и всех телесных сил и нельзя ожидать его возврата к жизни; что сестра велела следить за тем, чтобы у него ничего не было растрачено, а слухи о том, будто бы имение продано, ложные, и если что будет взято, за это будет взыскано, и нужно повиноваться посланному от госпожи Корякиной.

Корякина прислала своих людей к старосте и к другим людям в Пирогово. Кроме того, были присланы четыре крестьянина для присмотра за конным заводом, гумном и господским домом, как за имуществом, принадлежащим Корякиной.

Корякина подала прошение военному генерал-губернатору князю Голицыну, в бумаге написала, что Николай Ильич воспользовался болезнью брата и что деньги, показанные в документах о продаже, на самом деле уплачены не были и вся сделка на продажу Пирогова, как безденежная, должна быть признана незаконной.

В мае получено было письмо от М. П. Глебова — друга Темяшева и графа Толстого. Он говорил, что распространяется клевета, и уговаривал Николая Ильича держаться крепко: «Вы и я были самые близкие люди к Александру Алексеевичу, на нас он возложил надежду свою в исполнении священной его обязанности От нас зависит благосостояние и вся будущность его сирот, следовательно, мы должны, во всяком случае, употребить все средства к достижению этой цели и отстоять смело противу угрожающей бури нам,

тем более что ваши добродетели и никем не запятнанная репутация делают вас совершенно неприкосновенным разглашаемым клеветам».

Николай Ильич, собрав деньги, какие были в доме, отправился в Тулу объясняться с Темяшевым. Может быть, он вспомнил, что задержал какой-нибудь платеж: известно, что денег Николай Ильич забрал с собой много.

Вечером 19 июня 1837 года Николай Ильич Толстой выехал из Москвы. Были с ним его молодой егерь-камердинер Матюша и старый слуга Николай Михайлов. Ехали спешно. В дороге не ночевали. Расстояние в сто шестьдесят одну версту четверка пронеслась менее чем в одни сутки.

Утром 21 июня отставной подполковник уже ходил по разным государственным учреждениям Тулы, а вечером к нему пришли знакомые чиновники — инспектор тульской врачебной управы Т. В. Миллер и врач И. А. Войтов, и чиновники Васильев и Вознесенский. Очевидно, надо было доказывать, что документы были выданы Темяшевым в здравом уме и твердой памяти, а может быть, и получить от больного при свидетелях подтверждение законности сделки.

Очевидно, должно было произойти свидание с Темяшевым при врачах и чиновниках. Чиновник Васильев отправился в дом Темяшева и уже из дома видел, как Николай Ильич идет к старому своему другу. Слуги Темяшева видели приближающегося графа, но он упал на улице, не дойдя нескольких десятков шагов, был поднят и внесен в соседний дом регистратора Орлова. Собрались врачи, с которыми только что советовался граф по делу Темяшева.

Николай Ильич умер в тот же день. Бумаги его были описаны. Деньги остались не найдены.

Вскрытие тела было признано излишним.

Так умер отец Льва Николаевича, умер еще человеком не старым, в хлопотах об имуществе своего друга и о собственном имуществе.

Дела дворян того времени были неспокойны, находились в ведении людей недобросовестных, бумаги редко выражали истину.

Дело это считалось темным. Толстой писал об этом, вспоминая, как винили Петрушу и Матюшу: «Когда отец мой скоропостижно умер, было подозрение, что эти люди отравили его. Повод к этому подозрению подало то, что у отца были похищены все бывшие с ним деньги и бумаги, и бумаги только — векселя и другие — были подкинуты в московский дом через нищую. Не думаю, чтобы это была правда; но было возможно и это».

Подозревала камердинеров в убийстве и друг Николая Ильича Толстого Ергольская. Очевидно, с ее слов утверждала то же и сестра Льва Николаевича — Марья Николаевна. Об этом говорил внук Николая Ильича — Сергей Львович.

Н. Н. Гусев в книге «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии» все это подробно опровергает на основании документов, оставшихся в тульском суде.

Собранные Н. Н. Гусевым документы показывают, что граф Николай Ильич умер на людях, смерть его определена, как последовавшая от «кровяного удара, к чему способствовал менее суточный проезд из Москвы в Тулу и хождение его пешком по сему городу по утру, среди дня и, наконец, на гору вечером, произведшее сильное волнение крови».

В день смерти при Николае Ильиче не было Петруши и Матюши, а был только один из них — Матвей. Врачи, осматривавшие Николая Ильича, не говорили об отравлении.

Но нас занимает другое: сам Лев Николаевич, в 1903 году записывая эту историю, считает ее возможной. Что же касается документов, оставленных по этому делу, то нужно сказать, что не только сомнительные дела, но даже самые обыкновенные гражданские записи оформлялись неточно. Так, рождение сестры Толстого Марии Николаевны Толстой записано в метрической книге церкви села Кочаки задним числом, смерть матери М. Н. Толстой также помечена задним числом.

Лев Николаевич считал насильственную смерть своего отца фактом возможным и так объяснял пре-

ступление камердинеров. Он говорил: «Бывали часто такие случаи, именно то, что крепостные, особенно возвышенные своими господами, вместо рабства вдруг получавшие огромную власть, ошалевали и убивали своих благодетелей... Не знаю уж, как и отчего, но знаю, что это бывало и что Петруша и Матюша были именно такие ошалевшие люди».

СИРОТЫ

Дом на Плющихе оказался домом тревоги и горя. Шептались и обсуждали случившееся и ахали слуги в полуподвальном этаже, там, где ютились они в низких комнатах. Во втором этаже, где не ютились, а жили в высоких комнатах баре, графы, было горе. Старая графиня больше всех любила сына, который окружил ее такой заботой. Она не принимала смерти.

Софья Андреевна рассказывает, что Пелагея Николаевна приказывала отворять дверь в соседнюю комнату. Говорила, что видит своего сына, разговаривала с ним.

Это была мать, это была барыня, ей нужно было обвинять кого-нибудь в своем несчастье. Она кричала ужасные слова, проклинала бога, грозила кому-то, вскакивала, ходила по комнате и падала опять.

Дела графского семейства были запутаны. Назначена была опека: графиня Остен-Сакен, сестра Николая Ильича, и приятель Николая Ильича С. И. Языков — человек веселый, ласковый и как будто бы недобросовестный. Лев Николаевич его называл иезуитом.

Графиня Остен-Сакен, несмотря на свои сорок лет, опыт в делах имела малый и была изумлена количеством судебных дел и долгов. Кроме того, госпожа Корякина продолжала свои домогательства и говорила, руководствуясь темными слухами, что в квартире покойного графа оказалась шкатулка, в которой хранились денежные документы Темяшева, говорила, что похищены деньги, вещи. Все это было основано на раздражении наследницы и на том, что она знала, что сделка была условной и, хотя уплата обеспечена документами на имя Языкова и Глебова, документы эти на самом деле находились среди бумаг покойного Толстого.

Шли доносы, прошения появлялись во всех инстанциях. Корякина требовала обысков. Она подала прошение на имя царя, ходатайствуя о наложении ареста на Пироговское имение.

Неспокойно было в доме на Плющихе. Опека решила, что детей надо учить: пригласили француза Сен-Тома; это был человек для должности гувернера — образованный, претенциозный, самомнительный, любящий составлять правила и расписания, пишущий своим воспитанникам нарядные письма с комплиментами и угрожающий им розгами.

Федор Иванович ставил детей в наказанье в угол, хлопал линейкой по пальцам, но это были домашние наказанья. Стоять в углу было скучно; когда ударяли линейкой, было больно. Федор Иванович дрался, но он не обижал. Это был свой человек.

Сен-Тома был чужой человек и ставил в наказанье на колени, заставлял провинившегося просить у него прощения, а сам стоял, выпятив грудь.

Лев Николаевич ненавидел Сен-Тома: его сюртук, запах его духов, его красноречье, манеру ставить ударение на последнем слоге.

Лев был посажен в карцер, от него требовали, чтобы он просил прощения у гувернера. Он провел время как будто в бреду; он мечтал о славе для того, чтобы отомстить мучителю, он проклинал бога.

За запертыми дверьми продолжалась обычная, даже праздничная жизнь, как будто ничего и не произошло. Только приход прислуги, старого дядьки, утешал мальчика: бывалый крепостной говорил: «Перемелется — все мукой будет».

Но ребенку тяжело чувствовать себя зерном, которое размалывают шершавые жернова, раздирают в муку.

Лев знал, как мелют зерно гранитными жерновами. Он забывался и снова приходил в себя. В резуль-

тате он заболел, его уложили в постель. Он проспал сутки и выздоровел.

Через шестьдесят лет, 31 июля 1896 года, Толстой записывает в дневнике: «Всем хорошо. А мне тоска, и не могу совладать с собой. Похоже на то чувство, когда St. Thomas запер меня, и я слышал из своей темницы, как все веселы и смеются».

Лев не знал раньше, как он любит своего отца, и его рассеянную доброту, и устоявшийся, не совсем понятный покой большого дома.

Неволя и неравенство томили молодого графа, ребенка из несчастливой барской, разрушенной неудачами семьи.

Свивальники свивают младенца. Когда нет отца, тупая торжественная жестокость иностранца, напыщенного и чужого, заставляет тебя склониться перед тем, с чем ты не согласен.

Обиды бывают самые странные, но все равно они обиды.

Москва интересная за заборами, в просторных чужих садах видны цветы над прудами, статуи. Между Малой Бронной и Тверским бульваром был сад. Раз мальчики Толстые пошли с седовласым Федором Ивановичем и хорошенькой девочкой гувернантки Исленьевых — Юзенькой Копервейн гулять по Москве. На Большой Бронной они увидали калитку незапертой и, робея, вошли в сад. Юзенька была очень красива. Дети увидали лодочки, мостики, беседочки, дорожки, аллеи, цветы, тщательно и богато убранные.

Их встретил какой-то господин, оказавшийся владельцем сада, и покатал их на лодке. Детям это понравилось.

Они через несколько дней опять постучались в калитку. Юзеньки с ними не было. Подошел лакей, спросил, что угодно господам. Мальчики попросили передать хозяину, что графы Толстые просят разрешения войти в сад.

Слуга ушел, через некоторое время вернулся и сказал, что сад принадлежит частному лицу и посторонним вход воспрещается.

Лев Николаевич в 1905 году отмечал этот случай

как «второй опыт жизни». В дневнике же от 19 апреля 1852 года записывает: «Я вспомнил эпизоды Эсташевского сада и жалею, что не поместил их в повести» (то есть в «Отрочестве»). Таким образом, сильное бытовое впечатление и душевное переживание существовали как художественно невключенные, но непрерывно учитываемые более полстолетия.

Толстой запомнил и фамилию Копервейн, как имя, связанное с красотой и какой-то неприятностью.

В «Хаджи Мурате» император Николай I на маскараде встречается с красивой девушкой, дочерью шведки-гувернантки, вводит ее в ложу; девушка говорит, что она всю жизнь была влюблена в императора. После свидания с нею у Николая «осталась какая-то неприятная отрыжка», какое-то чувство недовольства или укора совести, что ли.

Девушка сказала свою фамилию: ее зовут Копервейн. Она просит что-нибудь сделать для своей матери. Могущественный император ходит по Петербургу недовольный, повторяя фамилию: «Копервейн, Копервейн...»

Фамилия запомнилась на шестьдесят пять лет.

Пригласили детей на рождество к Шипову. Тут же были молодые князья Горчаковы — племянники военного министра.

Это были родственники Льва Николаевича по бабушке.

Когда дети расходились, всем дали подарки. Горчаковым дали хорошие вещи, а Толстым дешевые.

Москва показывала молодым графчикам место на социальной лестнице. Они уходили с елки по широким ступеням графского дома, держа в руках дешевые вещички, которые как будто отделяли их от других, шли, шаркая ногами, считая ступени вниз.

СМЕРТЬ СТАРОЙ ГОРЧАКОВОЙ

Графиня Пелагея Николаевна Толстая, урожденная княжна Горчакова, дочь Николая Ивановича Горчакова, была женщиной недалекой, малообразо-

ванной, хорошо говорящей по-французски, хуже по-русски; была она очень избалована — сначала отцом, потом мужем

Портрет ее отца, написанный в то время, когда он ослеп, и сейчас висит в зале яснополянского дома Льва Николаевича Толстого На портрете князь Николай Иванович сидит в халате перед каким-то ящиком Предание говорит, что этот богач любил перебирать золотые монеты, а слуги понемногу заменяли золото на медь (хотя золото тяжелее меди в два раза и слепой может эту тяжесть в руке различить)

Предание это говорит о большом уважении к золоту и о представлении о богатстве, как о сокровище На самом деле, фунт золота, считая по-старому, стоил триста рублей, и те деньги, которые раздала Марья Николаевна Волконская своим подругам — сто двадцать пять тысяч, — при переводе на золото весили бы четыреста семнадцать фунтов, или, на пуды говоря, более десяти пудов Так что если деньги Николая Ивановича пропали, то больше он потерял на неумении вести свои дела Если же сравнивать людей не только по доходам, но и по долгам, то долг Николая Ильича, который, вероятно, приближался к четыремстам тысячам, мог бы в золоте возиться только на телеге, запряженной парой коней

Толстой в своих воспоминаниях перебирает свое родство и самыми полновесными кажутся ему связи с Горчаковыми Он отмечает в воспоминаниях, что у Пелагеи Николаевны бывали все Горчаковы и бывший военный министр Николай Иванович, и Андрей Иванович, и сыновья вольнодумца Дмитрия Петровича — Петр, Сергей и Михаил, которого называет Михаилом Севастопольским

Бабушка Пелагея Николаевна была окружена в доме большим уважением С ней так считались, что она ни на кого не кричала Но сердиться на кого-нибудь надо

За неудачи в пасьянсах, за плохую погоду и без всякого основания бабушка изводила свою горничную Гашу, а та, в свою очередь, будучи женщиной неспокойной, огрызалась и потом кричала на девочку, ко-

торая к ней самой была приставлена, драла за уши собственную престарелую и почтенную кошку и выкидывала ее за двери, схватив за хвост

Впрочем, Пелагея Николаевна была женщиной доброй, хотя и заносчивой, и мы должны быть ей благодарны за то, что по ее приказанию ни Льва Николаевича, ни его братьев никогда не секли Дом Пелагеи Николаевны был высокомерно-порядочный, и от высокомерия ее страдала непосредственно кошка, а отраженно дети они все время должны были оглядываться на аристократов «настоящих», аристократов, которые держались за двор и пользовались его привилегиями

Дом был все же графским В него приезжали знатные люди приехал Петр Дмитриевич Горчаков, сибирский генерал-губернатор, с адъютантом, блистающим красотой и кавалерийскими панталонами, приходили другие знатные люди, потому что бабушка была дочерью старшего Горчакова и московская знать признавала ее родовитость

Бабушка сильно старела, ей читали вслух романы Радклиф, романы были полны описаний монастырей, страшных подземелий, убийств, призраков в цепях. Развязки романов были всегда благополучны Готические ужасы романов и страшные гравюрки, которые можно было рассматривать, как будто смягчали горе старой графини.

Она сидела в глубоком кресле, нюхала тертый табак из золотой табакерки, у ног ее сидела приживалка — тульская торговка Слушала непонятную французскую речь и рассказывала бабушке все одно и то же — о том, каким красивым был Николай Ильич

Тяжело пережила смерть сына Пелагея Николаевна Почтительный и благородный сын, который пожертвовал жизнью для того, чтобы сохранить вокруг матери привычную ей обстановку, красавец сын, который был для нее ненаглядным сокровищем, для которого не было невесты достаточно прекрасной, и его похоронили без всяких почестей, а на похороны поехал только старший внук и одна тетка Разве так

хоронят?.. Разве так похоронил бы своего сына старый бригадир?..

Графиня думала о пустяках, а потом опять горевала о самом главном, о священном. Она горевала и вспоминая о Ясной Поляне: там было счастье, там для нее выкатывали в Большой заказ желтый кабриолет, вез этот кабриолет могучий лакей Фока. Фока, держась за оглобли, вкатывал легкую, высокую коляску в орешник.

Федор Иванович — немец, могучий и седой, пригибал высокие кусты орешника. Пелагея Николаевна обирала белыми руками орехи с веток с шершавыми листьями, и внуки рядом с ней маленькими руками брали орехи, а потом немец опускал ветку, и она, шумя, уходила в небо. Она была зеленая на синем фоне, и видно было, что орехов осталось еще много. Можно было подумать, что так и жизнь пройдет: и пригибали тебе ее, и давали ее тебе в руки, но она ушла — жизнь. И дети какие-то странные: внук Лева выпрыгнул, когда его наказали, со второго этажа. Хорошо, что нижний этаж полуподвальный.

Все внуки затейливые. Туанет Ергольская ненадежная, Александра Ильинична хоть и дочь, а надо сказать, еще ненадежнее, только и знает, что крестится.

К бабушке приводили внуков, они испуганно смотрели на раздутую женщину, на блестящее, с натянутой кожей лицо и слушали, не узнавая, тихую речь бабушки.

У постели стоит золотая бабушкина табакерка, а бабушка не может до нее дотянуться, подает табакерку Гаша, она при больной неотлучна.

С горничной Гашей бабушка теперь надменна и капризна, но только с ней и говорит, потому что бабушка произносит слова невнятно, а Гаша ее не переспрашивает.

Пелагея Николаевна стала называть горничную в насмешку «вы, моя милая» и требовать от нее исполнения приказаний, которых не делала, занимая перекорами и попреками время своей тягостной слабости.

Бабушка, хотя Гаша была рядом, звонила в колокольчик, призывая к себе горничную, и жаловалась:

— Что же вы, моя милая, не подходите!

Бабушка становилась все слабее, и из-за закрытых дверей все чаще, хотя тише, дребезжал требовательный колокольчик старухи и ворчливый голос Гаши.

Однажды колокольчик умолк.

25 мая 1838 года графиня Толстая, урожденная княжна Горчакова, Пелагея Николаевна, будучи от роду семидесяти шести лет, тихо почила.

Старая бабушка была человеком в доме очень уважаемым, о ней вспоминали почтительно, хотя редко. Она медленно угасала в своих апартаментах, раскладывая уже вышедшие из моды старинные пасьянсы.

Дети видели ее только в урочные часы, но казалось, что бабушка будет существовать вечно. Однажды случилось неожиданное.

Быстрыми шагами вошел белокурый маленький гувернер Сен-Тома и, не обращая внимания на то, что делают дети, сразу сказал:

— Ваша бабушка умерла.

В доме стало тихо. Появились гробовщики, привычно ходя вдоль стен и осторожно ступая на паркет, принесли гроб с глазетовой крышкой; положили в гроб бабушку высоко и почетно на толстые, жесткие подушки.

У бабушки горбатый нос, лицо строго, на седых волосах белый чепец, на шее белая, сильно накрахмаленная косынка.

Спешно всем детям из черного казинета сшили новые курточки, курточки обшили белыми траурными тесемками.

Приходили люди, шептали про маленьких графов:

— Круглые сироты... недавно отец умер, а теперь бабушка...

Дети ходили спокойные, в доме было тихо, и плакали мало. Одна Гаша плакала, убегала на чердак, там запиралась, рвала на себе волосы, проклинала себя и говорила, что только смерть теперь для нее будет единственным утешением после смерти Пелагеи Николаевны.

ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

В конце биографических записей, уже переходя к Казани, Толстой пишет: «Бросил хронологический способ изложения — думал, что будет лучше, но и этот способ мне не нравится».

И Лев Николаевич возвращается к раннему детству и к знаменитому рассказу о том, как дети мечтали о Фанфароновой горе и о зеленой палочке.

Я буду стараться писать по порядку.

В Москве в 1839 году, 10 сентября, в присутствии государя императора закладывали храм Христа Спасителя. Братья Толстые смотрели на закладку из милютинского дома. Лев Николаевич записал это событие с ошибкой на два года: он соединил закладку, произошедшую в 1839 году, с голодом 1841 года. Не память, а какая-то внутренняя поправка дала среднюю дату: «Зима 40-го года».

Теперь привожу отрывок из воспоминаний подряд: «На лето возвращение в деревню, лошадки, наступающий голодный год. Кормление лошадей мужицким овсом. Зима 40-го года. Освящение храма Спасителя. Приезд гвардии в Москву. Потеря Сюзетки. В доме Милютиных смотрим на закладку храма. В этом же году хождение в экзерсис-хауз и любование смотрами. Лето в деревне, смерть Александры Ильиничны и сломанная нога собачки».

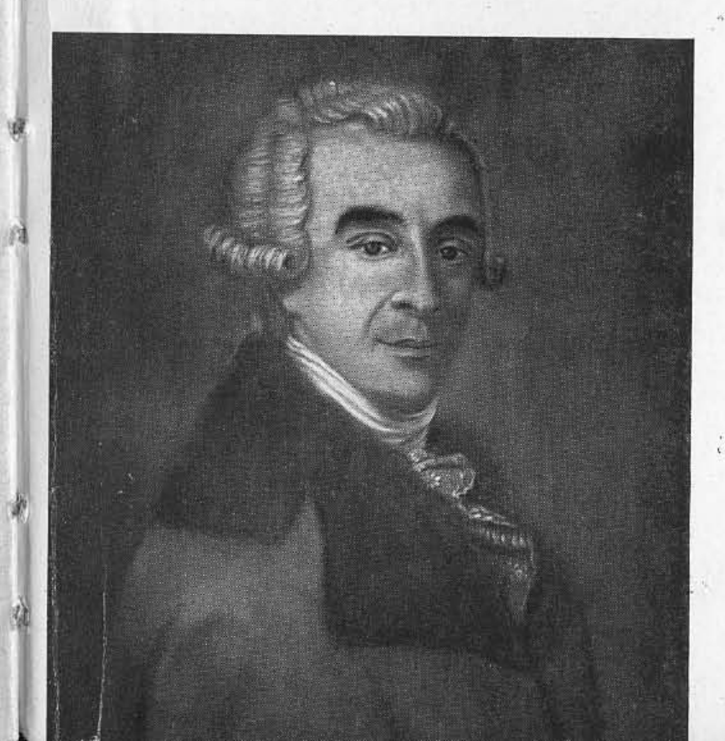
В этом отрывке, который занимает всего восемь строк, все время сталкиваются голод, парады, смерти и собаки.

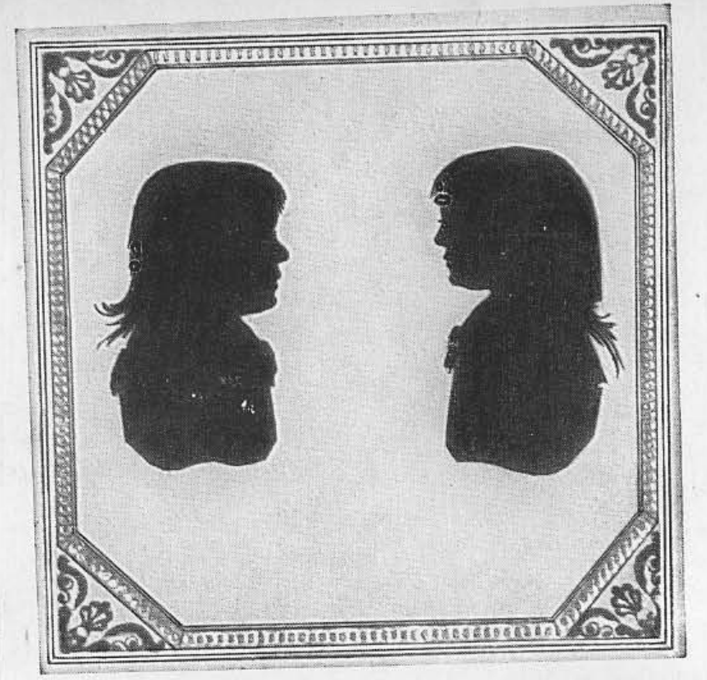
В короткой записи хронологическая последовательность заменена яркими противопоставлениями. В сущности, перед нами — конспект художественного произведения, где контрасты оправданны и обоснованны.

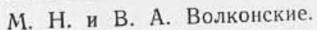
Воспоминания возрождают столкновение: голодной деревни, парадной Москвы и детского восприятия, в котором мелкое кажется крупным, что обнаруживает лживость так называемого крупного.

Храм Христа Спасителя, по проекту архитектора Витберга, должен был стать на Воробьевых, ныне


И. А. Толстой.


Н. С. Волконский.





М. Н. и В. А. Волконские.



Н. И. Толстой.

Ленинских, горах — приблизительно на том месте, где сейчас стоит величайший из университетов мира. Был составлен грандиозный план подземного и надземного храма, были свезены гранитные и мраморные глыбы и положены на крестьянские поля, потом план был оставлен, а сам архитектор сослан в Вятку, где впоследствии он был другом Герцена. Каменные глыбы не вывезли, сказав, что они сами по себе являются вознаграждением владельцев полей, на которых они оставлены.

Был создан новый план: толковый немец Тон, изучив византийские церкви, создал проект общеправославного храма для многосерийного размножения по России. Храмы эти должны были быть пятикупольными, а купола — золотыми; это не было похоже ни на Византию, ни на древние русские храмы, ни на европейские храмы, но очень походило на важную, суровую, многоранжирную, однообразную николаевскую Россию.

Расчистили на берегу Москвы-реки огромную площадь с довольно топким грунтом, свезли горы камней и горы песку, привели гвардию; надо было бы это сделать в какую-то дату после победы над Наполеоном, скажем в 1837 году, когда прошло двадцать пять лет от Бородинской битвы, но в том году устроили большие парады на Бородинском поле, и Николай I, лично командуя гвардией, показывал, как бы он разбил Наполеона, не принимая во внимание того, что войска предполагаемого противника сами не маневрировали и не стреляли. В 1839 году началась стройка огромного белокаменного храма.

Из милютинского дома было видно Замоскворечье. Полуостров, образованный изгибом Москвы-реки, тогда был явствен, потому что дома Замоскворечья еще не поднялись высоко. Только тяжелые кокоревские склады впоследствии начали заслонять Замоскворечье. Краснели крыши, желтели сады — все это было разделено пыльными улицами, тянущимися к Донскому золотоглавому красностенному монастырю. Стеклом синела, берегами желтела и зеленела Москва-река.

Подымались стены Кремля, круглокрылые орлы, расправив железные крылья, пересматривались своими парными головами друг с другом с башни на башню, золотели купола и посредине Кремля — высокий и стройный Иван Великий, воздвигнутый Борисом Годуновым, воздвигнутый голодом, во время которого надо было как-то кормить мужиков и брать с них работу, — памятник царей и голода в шапке литого золота.

Толстой записал, что в этот день у детей потерялась собака.

Долго строили храм Христа Спасителя — десятилетиями менялись художественные школы, купола расписывали изнутри уже передвижники и тот художник Пастернак, который бывал гостем знаменитого писателя Льва Николаевича Толстого.

Огромный, прочно построенный, внимательно расписанный, золотоглавый собор стоял над Москвой, противореча древним церквам и как бы соглашаясь с торговыми рядами и краснокирпичными домами.

Сирень голубым дымом подымалась весной у подножья храма.

На ступеньках храма спорили в праздничные дни раскольники с православными, и Лев Николаевич записывал эти споры. Потом подсадили к собору огромного бронзового, бородатого, похожего на битюга и ломового Александра III, который был так недоволен «Властью тьмы» и «Крейцеровой сонатой» Толстого.

Прошли годы. Приблизительно через сто лет после закладки храм Христа Спасителя взрывали. В стены заложили много некрупных зарядов аммонала, забили шурфы, очистили площадь. Был дан сигнал: раздался негромкий взрыв.

Построенный из больших глыб, скрепленный металлическими скобками, залитыми свинцом, высокий, многоколонный, десятилетьями строенный, с прилежанием и без вдохновения созданный храм, который предназначался на тысячелетия, еще стоял, и казалось, что прошла минута.

Время длилось. Потом стены упали, как будто раскрылся белый цветок, а золотой купол провалился внутрь.

Красная кремлевская стена и кремлевские соборы открылись шире.

Теперь здесь бассейн для купания.

Зимой над голубоватым кругом теплой воды стоит пар, как будто фундамент храма еще дымится пылью.

Храм Христа Спасителя убран.

Храм Казанской божьей матери, ранее построенный в Санкт-Петербурге в память и прославление той же войны, и сейчас стоит в Ленинграде на Невском, распахнув свои ширококаменные крылья с тяжелыми и редкими перьями колонн.

Но подлинным памятником великой войны — на тысячелетья — оказались не эти храмы, а книга «Война и мир» Льва Толстого, который мальчиком смотрел, как воздвигают храм из камня и подводят под него крепкий фундамент.

НОВЫЕ ОПЕКУНЫ

После смерти Пелагеи Николаевны решили ограничить расходы, которые были велики. Переменили квартиру, но жизнь была уже налажена на широкую ногу. На жалованье учителям шло более восьми тысяч. Многие расходы отмечены темно: отмечались выдачи по назначению четырехсот рублей; разъезды и подарки — тысяча двести рублей.

Разъезды производились на собственных лошадях; вероятно, расходы по назначению и подарки вместе скрывали не столько разъезды, сколько взятки.

В 1841 году в феврале уездный крапивенский суд признал покойного графа Николая Ильича в обвинениях, выдвинутых Н. А. Корякиной, невиновным.

Главные дела устроились, и Александра Ильинична Остен-Сакен поехала с горничной Гашей, которая перешла в ее ведение после смерти бабушки, в монастырь — Оптину пу́стынь. Младшие дети —

Дмитрий, Лев и Мария — с тетушкой Татьяной Александровной поселились после смерти бабушки в деревне, Николай и Сергей оставались в Москве.

1841 год был годом голода. Чтобы не разорить имение и как-нибудь сохранить крестьянскую силу, которая была нужна для того, чтобы мужики могли тянуть свое тягло, продали деревню Неручь и на эти деньги кое-как помогли крестьянам перебиться.

Кроме барского дома, все жили очень сжато, и даже господским лошадям была уменьшена выдача овса. Лев Николаевич вспоминал, как жалко было детям своих лошадей, как ходили дети на крестьянские поля и обшмыгивали руками овсяные колосья, набирали подолы зерна и скармливали своим лошадкам.

В тот год овес был пищей не лошадей, а людей. Но лошади были ближе к дому — их больше жалко. И так поступал и справедливый Дмитрий и добрый Лев, который сообразил свою ошибку через много лет.

Так жили летом все в Ясной Поляне, зимой наезжали в Москву. В Ясной Поляне было тихо, скучно, но все было понятно, а жизнь в Москве разваливалась.

Осенью 1841 года в Оптиной пустыни умерла голубоглазая тетка Александра Ильинична. В памяти Толстого этот случай связался с другими воспоминаниями: Александра Ильинична болела, Татьяна Ергольская к ней поехала, дети остались с учителем Федором Ивановичем и со странницей Марьей Герасимовной. Играли они как хотели. Была у них черная собака — мопс, сажали они эту собаку на высокое сиденье, которое называли троном.

Собаке царское место не нравилось, и она все время спрыгивала с трона. Дети смеялись. Марья Герасимовна не обращала на это внимания, монотонным голосом читая псалмы.

Раз мопс спрыгнул и завизжал, подполз под стул: оказалось, что у собаки сломана нога. Дети плакали навзрыд.

Воспоминания о сломанной собачьей лапе, о бормотании псалмов в брошенном доме переплелись у Льва Николаевича с известием о смерти любимой тетки Александры Ильиничны.

Александра Ильинична похоронена в Оптиной пустыни, и на могиле ее поставлен памятник, на котором выбиты стихи, написанные племянником Львом Николаевичем. Можно сказать, что это первое обнародованное произведение Толстого.

Вот эти стихи:

Уснувшая для жизни земной,
Ты путь перешла неизвестный
В обителях жизни небесной
Твой сладок, завиден покой
В надежде сладкого свиданья
И с верою за гробом жить,
Племянники сей знак воспоминанья —
Воздвигнули, чтоб прах усопшей чтить

Не надо думать, что первые произведения гениальных писателей сразу свидетельствуют об их высокой одаренности. И детские стихи и детские шалости в общем похожи друг на друга, и им не надо удивляться, то есть не надо на них переносить то впечатление, которое мы имеем от взрослого человека.

Только один Николай Николаевич в год смерти своей тетки был совершеннолетний, но он не мог, учась в университете, принять на себя опекунство, и это к тому же не было тогда в обычае: опекун должен быть человек немолодой. Осталась одна тетка Пелагея Ильинична, которая была выдана в Казани за Юшкова еще тогда, когда старый граф губернаторствовал в городе.

Юшков был человеком любезным, но неверным, злым шутником, человеком с причудами, любящим всякой ценой привлекать к себе внимание.

Пелагея Ильинична была женщиной доброй, религиозной, чванной, чувствительной и ленивой. Муж ее Юшков когда-то ухаживал за Татьяной Ергольской, и Пелагея Ильинична к Татьяне Александровне относилась враждебно.

Что за человек была Т. А. Ергольская?

Лев Николаевич всегда вспоминает о ее бесконечной доброте, о том, что она никогда никого не обижала, что ее любили в деревне все, но у нее есть и другие свойства, которые Лев Николаевич тоже закрепил своими записями.

Поколение отца Льва Николаевича было поколением, разбившим Наполеона, поднявшим восстание против русского императора.

Это поколение надеялось и верило, что судьба мира находится в его руках. Оно было воспитано на книгах французских энциклопедистов, которые для дедов были забавой, а для детей стали правилами поведения. Это было поколение читателей Стерна и Плутарха. Римская история считалась образцом для поведения сейчас, сегодня.

Мать Льва Николаевича воспитывала обожаемого сына Николая в правилах суровых, запрещала ему плакать над мелкими несчастьями, говорила, что излишняя чувствительность для мальчика совсем не годится. Внешность мужчины, по выпискам, которые делала Марья Николаевна из книг, должна была быть мужественной, простой, несколько строгой, выражающей силу, доброту и мыслящий разум.

Те люди, которые вывели солдат на Сенатскую площадь, считали себя учениками римлян, учились у республиканского Рима суровым добродетелям, а у Стерна и Руссо — умению понимать человеческую душу.

Человеческие слабости уже были известны и оценены, но считалось, что, когда дело идет о победе добродетели, надо преодолевать слабости. Так описал это Толстой в сне Николеньки Болконского в конце «Войны и мира».

Все мы знаем о женах декабристов, о дворянках, которые бросили свои имения и в возках поехали за своими мужьями-каторжниками и провели молодость в Сибири, у дверей тюрем.

Черноволосая, черноглазая Татьяна Ергольская могла бы быть среди них, если бы Николай Ильич Толстой не был бы спасен от участия в декабрьском восстании судьбой, отставкой и спокойным характером.

Девочки тоже читали римскую историю и увлекались тем, что старик Тредьяковский — переводчик Роленевой римской истории — называл всенародством. Мысль о подвигах, о народном решении лежала в самой основе тогдашних историй Рима; римская история была образцом для французской революции.

Конечно, Ергольская читала римскую историю по-французски. Толстой говорит: «Очень рисует ее характер событие с линейкой, про которое она рассказывала нам, показывая большой, чуть не в ладонь, след ожога на руке между локтем и кистью. Они детьми читали историю Муция Сцеволы и заспорили о том, что никто из них не решился бы сделать того же. «Я сделаю», — сказала она. «Не сделаешь», — сказал Языков, мой крестный отец, и, что тоже характерно для него, разжег на свечке линейку так, что она обуглилась и вся дымилась. «Вот приложи это к руке», — сказал он. Она вытянула белую руку — тогда девочки ходили всегда декольте, — и Языков приложил обугленную линейку. Она нахмурилась, но не отдернула руки, застонала она только тогда, когда линейка с кожей отодралась от руки. Когда же большие увидали ее рану и стали спрашивать, как это сделалось, она сказала, что сама сделала это, хотела испытать то, что испытал Муций Сцевола».

По любви к ней детей, по количеству забот, вложенных в их воспитание, Ергольская имела право остаться их воспитательницей, но она была дальняя родственница и, кроме того, на ее стороне, очевидно, не стоял Николай Николаевич. Николай Николаевич 12 сентября 1841 года обратился к Владимиру Ивановичу Юшкову с письмом, в котором просил от своего имени, от имени своих братьев и сестры:

«Мы просим все нашу тетеньку, я, мои братья и моя сестра, не покидать нас в нашем горе, взять на себя опекунство. Вы должны себе представить, дядюшка, весь ужас нашего положения. Ради бога, дя-

дюшка, не отказывайте нам, мы просим вас ради бога и покойной».

Может быть, предполагалось, что дети останутся в Ясной Поляне, тем более что Николай Николаевич учился в Московском университете на втором курсе.

Пелагея Ильинична Юшкова принять опекунство согласилась, но сказала, что детей увозит с собой, что так будет удобнее им получить образование.

Н. Н. Гусев приводит отрывок из дневниковых записей Т. А. Ергольской, хранящихся в отделе рукописей Государственного музея Толстого. Татьяна Александровна, вспоминая свои столкновения с Юшковой, 24 марта 1850 года пишет:

«С каждым днем я все больше убеждаюсь в том, что эта ненависть восходит ко времени ее брака и что она никогда не могла простить мне того, что я внушила любовь ее мужу».

Так же думает Софья Андреевна Толстая; она говорит, что Владимир Иванович в молодости делал предложение Татьяне Александровне, но та ответила ему отказом.

Пелагея Ильинична приехала за детьми сама. На реке Упе поставлены были купленные барки, туда нагрузили провизию, вещи. И поплыли крепостные души: столяры, портные, слесари, обойщики, повара вместе с толстовским имуществом по Упе на Оку, с Оки на Волгу к Нижнему Новгороду и дальше по Волге к Казани.

Татьяна Александровна писала Юшкову: «.. это варварство — желать разлучить меня с теми детьми, которым я расточала самые нежные заботы в течение почти двенадцати лет и которые были мне доверены их отцом в момент смерти его жены».

Раскаленный уголь жег сердце Татьяны Александровны и был оторван от этого сердца, когда дети поехали от деревни к деревне, из бедных русских деревень в еще более бедные чувашские деревни, где трудно было даже найти место для ночлега.

Татьяна Александровна надолго осталась одна и уехала к сестре.

ЕЩЕ О КАЗАНИ И О КАЗАНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Город Казань стоит на впадении реки Камы в реку Волгу. Здесь Волга, изгибаясь, делает почти прямой угол и направляет свои пополневшие воды на юг, к Каспию, к старым дорогам на юго-восток.

А. И. Герцен писал в очерке «Письмо из провинции» (1836 г.):

«Ежели России назначено, как провидел великий Петр, перенести Запад в Азию и ознакомить Европу с Востоком, то нет сомнения, что Казань — главный караван-сарай на пути идей европейских в Азию и характера азиатского в Европу. Это выразумел Казанский университет. Ежели бы он ограничил свое призвание распространением одной европейской *науки,* значение его осталось бы второстепенным; он долго не мог бы догнать не только германские университеты, но наши, например, Московский и Дерптский, а теперь он стоит рядом с ними, заняв самобытное место, принадлежащее ему по месту рождения. На его кафедрах преподаются в обширном объеме восточные литературы, и преподаются часто азиатцами; в его музеумах больше одежд, рукописей, древностей, монет *китайских, маньчжурских, тибетских,* нежели *европейских»*.

Казань была старым владением России; оттуда собирались двигаться дальше, здесь подготовлялись переводчики из местного населения, чтобы идти на Среднюю Азию, изучали языки для дальних планов.

Нижний Новгород и Казань были дальними пунктами связи России и Востока.

Ока, Кама, Волга через Каспийское море и с перевалами посуху через Дон и Черное море тянулись на восток голубыми дорогами.

Все это имело отношение и к потомкам бывшего казанского губернатора.

На гербе графов Толстых — сложном и запутанном — самой достоверной геральдической деталью было изображение семибашенного замка тюрьмы, возвышающейся в Константинополе.

Два раза был заключен в этой многобашенной

тюрьме русский боярин, впоследствии граф Петр Андреевич Толстой, человек коварный, но упорный, смелый в отстаивании данных ему поручений.

Путь мальчика, отправленного учиться в Казань, жить у чудаковатого дяди Юшкова, отставного полковника, сохранившего черными усы, которые переходили в широкие бакенбарды, был не случаен, хотя биографически обусловливался рядом смертей, посетивших семью. Не случаен так же, как позднейшее знакомство юноши с Кавказом.

В свое время по дороге в Арзрум Пушкин встретил тело убитого в Тегеране Грибоедова.

Судьба русских вольнолюбивых писателей и образ кавказских гор наполняют все «Путешествие в Арзрум».

Поэт узнал на краю неба облака, которые видел десять лет тому назад: «Они были все те же, все на том же месте. Это — снежные вершины Кавказской цепи».

Скоро Толстой увидит эти же горы, сперва примет их за облака, потом поразится дали мира, потом успокоит горами душу.

Путь туда, на юг, на восток, был привычным для русских дворян — как дорога войн и изгнаний. Кавказские горы стали полутюрьмой для Бестужева-Марлинского, Одоевского, Лермонтова и многих других. Константинополь был городом, дорога к которому как будто шла прямо мимо Ясной Поляны, только надо было ехать все на юг, все на юг.

В Казанском университете особенно славились факультеты математический и восточных языков.

В Казани было много знакомых; там сохранились связи бывшего казанского губернатора и какой-то отзвук славы графов Толстых.

Лев Толстой ехал в Казань с собственным дворовым Ванюшкой, подаренным тринадцатилетнему мальчику теткой Пелагеей Ильиничной, ехал, ночуя то в коляске, то в курных избах.

На привалах дворовый дружески болтал с барином по-французски. Ванюшка полудругом, полуслугой прошел через Кавказ, Севастополь, Ясную Поляну; всю жизнь он подавал Льву Николаевичу воду и полотенце, а изредка переписывал его рукописи крупным полудетским почерком.

Борис Михайлович Эйхенбаум обратил внимание на то, что в «Отрочестве» героя повести друзья его брата шутя называют «дипломатом». В «Юности» прозвище остается. Это прозвище родилось из важной болтовни бабушки, которая думала, что ее внук обратится в дипломата и будет ходить во фраке и в модной взбитой прическе.

Если можно считать случайным то, что Николай Николаевич, старший брат Льва, после неудачи на экзаменах в Московском университете перешел в Казанский университет, то не случайно то, что в Казани для четырнадцатилетнего графа Толстого наняли учителей и посадили за изучение турецкого, татарского и арабского языков.

Б. М. Эйхенбаум в журнале «Русская литература» в интересной статье «Из студенческих лет Л. Н. Толстого» писал: «С начала 40-х годов особую популярность и злободневность заново приобрел так называемый «восточный вопрос». Недаром Лермонтов собирался ввести в свою «Сказку для детей» (1840) строфу со следующими стихами:

Меж тем о благе мира чуждых стран
Заботимся, хлопочем мы не в меру,
С Египтом новый сладил ли султан?
Что Тьер сказал, — и что сказали Тьеру?
На всех набрел политики туман.

К середине сороковых годов международная острота «восточного вопроса» еще усилилась, и Николай I подготовил проект дележа «умирающей» Турции между Англией и Россией. Дело приняло настолько серьезный оборот, что весной 1844 года Николай I совершил поездку в Лондон для переговоров с королевой Викторией и министром иностранных дел графом Эбердином. Так завязался сложный дипломатический узел, втянувший потом Россию в Крымскую войну, в которой Толстой принял близкое участие, хотя и не в качестве дипломата».

На Кавказ ехали добиваться чина коллежского асессора чиновники-недоучки и там заселяли скромными памятниками тифлисские кладбища.

На Кавказ посылали ссыльных поляков, слишком влиятельных вельмож и поэтов-неудачников.

Борис Михайлович Эйхенбаум напоминает, что в это же время Чернышевский внимательно и успешно занимался татарским языком.

Казанский университет в России рекламировался. В Петербурге была издана книга на французском языке о Казани, написанная лектором английского языка в Казанском университете Э. Турнерелли. Книга называлась «Казань и ее обитатели». В книге было написано: «Кроме многочисленных профессоров... большинство которых хорошо известно в Европе и лекции которых дают теоретическое представление о восточных языках, к услугам студентов имеется то, чего недостает европейским университетам: обширное поле для практического пользования этими языками. Казань — единственный город в мире, обладающий университетом, в который стекается такое количество персов, монголов, турок, татар, армян и проч.».

Лев Николаевич в Казани подготавливался для поступления в университет два с половиной года; занимавшийся с ним турецким и татарским языками профессор Казембек удивлялся необыкновенной способности ученика в усвоении чужих языков. Экзамены по языкам, кроме латыни, Толстой сдал хорошо.

По русской словесности и по сочинению он получил «четыре», но провалился на географии.

Лев Николаевич сам утверждал, что он знал мало и не мог ответить на экзамене по географии попечителю Мусину-Пушкину, который, как знакомый дома, хотел помочь и задал юноше вопрос: «Какие во Франции есть приморские города?» Лев Николаевич не вспомнил ни одного.

Лев Николаевич не был сразу принят в число студентов, но ему дали переэкзаменовку и в результате приняли, в чем, вероятно, сказались хлопоты семьи.

Что читал будущий студент?

Приехав в Казань тринадцати лет, судя по его списку, перед этим он прочел сказку «Черная курица» Погорельского.

Сказка хорошая, но совсем детская. Черная курочка дала мальчику талисман — матовое зернышко: если держать его в кармане, то будешь знать, не уча, все уроки. Мальчик зернышко потерял. Оказывается, уроки лучше учить.

Сказка хорошая, но ее нравоучение казанскому студенту не сразу помогло.

Читал Толстой русские былины: «Добрыню Никитича», «Илью Муромца», «Алешу Поповича».

В молодости Толстого детского издания былин не было. Вряд ли ему дали сборник Кирши Данилова, потому что там есть непонятные для детей песни, вряд ли он знал сборники Сахарова, всего скорее читал Толстой не записи былин, а их прозаические пересказы. Многотомные русские сказки, куда входили и прозаические изложения былин, были неоднократно изданы. Богатырские сказки издавались и помимо сборника; выделенные из этого сборника, они продавались отдельно. Но больше всего, конечно, Лев Николаевич читал по-французски. Начинал Лев Николаевич с утра и читал все время, когда оно было свободно.

Много времени было размотано на мечты и старания быть таким, как все.

Внуки опального губернатора для казанского общества были юношами знатными и достаточно богатыми, так как долги деда не перешли на внуков, а осуждение старого графа не состоялось ввиду его смерти.

Но Лев Николаевич был в обществе угловат, несмел и в то же время странен.

Правда, он принимал участие в живых картинах — странном зрелище, мода на которое пришла к нам из Англии. В живых картинах позировала в ролях нагая красивая девушка, которая впоследствии сделалась сперва леди Гамильтон, а потом любовницей Нельсона.

У нас живые картины были как бы остановленными сценами маскарада: показом молодых людей в костюмах красивых или характерных.

Лев Николаевич позировал в костюме молодого булочника, его лицо рассматривалось, видимо, не как красивое, а как простовато-характерное.

На Восточном факультете Лев Николаевич учился плохо.

Он не увлекся арабским и турецким языками, несмотря на то, что был к языкам поразительно способен. Филологический факультет Казанского университета, который впоследствии дал знаменитую казанскую школу с Буличем, Фортунатовым и Бодуэном де Куртенэ, тогда еще не созрел. Восточные языки тогда учили так, как учили арабскому языку в дальних медресе Бухары: через язык проламывались, не считаясь с его духом, изучали так, как будто идет погоня через лес или, вернее, человек, завязший в болоте, вытаскивает с трудом свои ноги.

Рядом читал лекции молодой профессор-юрист, лекции которого привлекли молодого графа.

Он начал подготовлять свой переход на другой факультет. Для перевода пришлось разговаривать с великим математиком Лобачевским — ректором университета. Сохранились воспоминания А. В. Цингера, который был связан с домом Толстых через Ивана Раевского, близкого приятеля Льва Николаевича. Отец Цингера был профессором математики.

Цингер рассказывал Льву Николаевичу, что его отец говорит речь об основании геометрии, о неэвклидовых геометриях и так далее. Тема речи была избрана в связи с юбилеем Лобачевского.

«Я его отлично помню, — сказал Лев Николаевич. — Он был всегда таким серьезным и настоящим «ученым». Что он там в геометрии делает, я тогда ничего не понимал, но мне приходилось с ним разговаривать, как с ректором. Ко мне он очень добродушно относился, хотя студентом я был и очень плохим».

Перед переводом молодой студент на лето поехал в Ясную Поляну.

Путь по грунтовым дорогам от Казани до Ясной

Поляны, даже если имеешь собственных лошадей, не легкий и не близкий.

О длине пути дает представление тот факт, что Лев Николаевич в одной из обратных поездок в Казань прочел за дорогу восьмитомный роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Какое бы ни было у него здоровье, какие бы у него ни были тогда глаза, но читать приходилось в тряске телеги или в курных избах.

Кроме того, Лев Николаевич уезжал на лето, то есть попадал на весеннюю и осеннюю дороги с распутицами.

Но он возвращался в большой старый дом, к тетушке Татьяне Ергольской, вел с нею длинные разговоры, опять гулял по яснополянским перелескам, встречался со старыми дворовыми.

Мир вокруг него изменялся.

Получалось так, будто он закрывает глаза на деревню зимой и открывает весной. Каждый раз Ясная Поляна изменяется как будто мгновенно, как будто толчком, потому что промежутки расставания с Ясной Поляной были временем созревания.

В Ясной Поляне все потишало, посмирнело. Говорили знакомые мужики обиняками, что опекуны хуже барина и жизнь стала теснее, и в казенные леса теперь не пускают, и дров и хворосту теперь там не возьмешь. А про барский лес и говорить нечего.

Раньше в казенной засеке караул был малый и не строгий, и просеки не были проделаны, и можно было брать и орехи, и грибы, и корма для скотины тогда было много, потому что лес зарос травой и земля лучше родила.

Теперь теснота, строгость и тягло посуровее.

Дом был знаком и пуст. Татьяна Александровна жила в антресолях, в той комнате, которую раньше занимала бабушка. Комната совсем опустела: в левом углу стоит шифоньерка с бесчисленными вещицами, ценными только для самой Татьяны Александровны, в правом киот с иконами и большим, в серебряной ризе, старинным образом Спасителя; посредине диван, на котором тетушка спала, перед ди-

ваном стол; между окнами зеркало, письменный столик, у окна два кресла и еще одно — с вышивками, очень покойное, с выступами для того, чтобы можно было прислонить к ним голову, отдыхая.

Уютно и пусто.

Тетушка постарела, неохотно расспрашивает она про казанских родственников; о разных неприятностях Левушки тетушка как будто ничего не знает.

На столике у тетушки лежит роман Радклиф не на английском, а на французском языке; роман многотомный, книжки маленькие, удобные, в томиках гравюрки. Сама тетушка тоже любит рассказывать страшные истории и про истории такие племянника расспрашивает.

Любит сообщать светские сплетни про людей, которые изменяют друг другу и ломают семьи, но говорит, их не осуждая, и тут же со вздохом советует племяннику завести роман с замужней женщиной из хорошего общества, потому что это образует мужской характер, придает мужчине настоящий лоск.

Прислуживает тетке и ходит за ней Глафира, которую прежде звали Гашей; дворня уже называет старую деву почтительно — Агафьей Михайловной, и на улице ей кланяются.

Тот дом за рекой, куда дети с Федором Ивановичем и бабушкой ездили пить сливки и есть творог, на котором остался вкусный след от грубого холста, — тот домик состарился.

На пыльной улице села встретил казанский студент крестьянина своего Митьку Копылова. Сразу не узнал

У Митьки теперь борода, хотя он еще и молод. На Митьке надеты лапти, он тянет соху, перевернув ее сошником вверх: будет пахать.

Опекуны уменьшают расходы; Митьку отпустили на оброк в Тулу. Митька — хороший форейтор, служил у купцов — им сейчас тоже форейторов надо Одевали купцы своего форейтора в шелковую рубашку и бархатные штаны. Баловство!

Митькиного брата в очередь сдали на военную службу, старик отец не может тянуть два тягла,

Митька не мог оставаться на оброке, потому что землю отберут. Вернулся он в деревню и вот несет тягло — так надо.

Лев Николаевич смотрит на Митьку: серьезно живут мужики. Тетке своей студент ничего не сказал, уехал в Казань.

В 1845 году, 25 августа, из Казани, робея, Толстой пишет Татьяне Ергольской, сообщая ей решение, которое не смог выговорить лично! Надо было признаться, что два года пропали даром и он не выполнил того, за что взялся.

Семнадцатилетний Толстой пишет: «Хотя и с опозданием, а все-таки я вам пишу; себе в оправдание я мог бы много наврать, но я этого не сделаю, а просто сознаюсь, что я негодяй, не заслуживающий вашей любви. И хотя он сознает это и также всем сердцем вас любит, но у него столько недостатков, притом он такой лентяй, что не умеет доказать вам своей любви. А за нее простите его. Вот уже три дня, что мы в Казани. Не знаю, одобрите ли вы это, но я переменил факультет и перешел на юридический. Нахожу, что применение этой науки легче и более подходяще к нашей частной жизни, нежели другие, поэтому я и доволен переменой. Сообщу теперь свои планы и какую я намереваюсь вести жизнь. Выезжать в свет не буду совсем. Буду поровну заниматься музыкой, рисованием, языками и лекциями в университете. Дай бог, чтобы у меня хватило твердости привести эти намерения в исполнение».

На юридический факультет Толстой попадает к профессору Мейеру.

Профессор заметил нового своего студента и дал ему самостоятельную тему.

В 1904 году Толстой, просматривая составленную П. И. Бирюковым биографию, сделал ряд вставок и исправлений; в главу о казанской жизни он вписал несколько слов о заданной Мейером работе («эта работа очень заняла меня»), а в беседе с А. Б. Гольденвейзером (26 июня 1904 года) сказал: «... когда я был в Казани в университете, я первый год, действительно, ничего не делал. На второй год я стал

заниматься. Тогда там был профессор Мейер, который заинтересовался мною и дал мне работу — сравнение «Наказа» Екатерины с «Esprit des lois» Монтескье. И я помню, меня эта работа увлекла; я уехал в деревню, стал читать Монтескье, это чтение открыло мне бесконечные горизонты; я стал читать Руссо и бросил университет, именно потому, что захотел заниматься».

В первый раз Толстой попал под влияние большого и понятного ему человека. Мейер был связан с кругом Белинского, знаком с молодым Чернышевским. Впоследствии Чернышевский писал о Мейере. Это произошло тогда, когда в 1857 году в Казани после смерти Мейера вышли его лекции, записанные студентами. Курс лекций носил скромное и, может быть, несколько маскирующее название: «Очерк русского вексельного права».

Чернышевский писал о Мейере, сравнивая казанского профессора с одним из создателей Северо-Американских Соединенных Штатов, тогда демократичных, героем Вашингтоном.

Он говорит, что Мейер принадлежал к людям, которые представляют собою «редкое явление не только по своей непреклонной честности и великим талантам, но и потому, что одинаково ревностно исполнял свою обязанность в самых неважных положениях, между тем как, собственно, был создан только для верховного управления целой нации».

Б. М. Эйхенбаум, по статье которого я привожу эту цитату, говорит: «Последние слова в применении к Мейеру звучат несколько неожиданно, но Чернышевский сказал их недаром. «Вы говорите о героях, — пишет он дальше, — есть они и между нами. Да, есть у нас люди, которыми может гордиться земля наша. Но... зачем они погибают обыкновенно так рано? И по какому печальному совпадению обстоятельств слишком часто погибают они именно в то время, когда всего более становились полезными?»

Мейер был переведен в это время из Казани в Петербург. В Казани профессор построил юридическую

клинику, в которой в присутствии студентов разбирал реальные дела того времени, принимал посетителей для юридической консультации. Юридическая наука не академическая, а новая, живая, знающая прошлое и настоящее и борющаяся с ним, проходила перед глазами студентов.

Один из студентов Казанского университета, В. Н. Назарьев, учившийся в Казани одновременно с Толстым, писал про Мейера: «Он жил ожиданием близкого обновления нашей общественной жизни, неизбежной полноправности миллионов русских людей и пророчил множество благ от свободного труда и упразднения крепостного права».

Нужно сказать еще, что В. Н. Назарьев был человек обыкновенный и, может быть, даже недалекий — слова и образ Мейера в его описании принижены либеральным истолкованием.

От Мейера, человека широких требований, широкого понимания, еще раз возвращался Толстой в Ясную Поляну, где все было как будто тихо, только старели избы и беднели крестьяне.

На юридическом факультете юноша Толстой продолжал учиться плохо, но умный профессор обратил на студента внимание и сказал про него несколько слов, которые замечательны тем, что они появились в воспоминаниях П. Пекарского (студенческие воспоминания о Д. И. Мейере в сборнике «Братчина». Казань, 1859 г.), когда имя Толстого еще не было особенно знаменито да и сам Толстой в воспоминании обозначен одной буквой «Т».

Профессор говорил о Толстом: «Сегодня я его экзаменовал и заметил, что у него вовсе нет охоты заниматься; а это жаль: у него такие выразительные черты и такие умные глаза, что я убежден, что, при доброй воле и самостоятельности, он мог бы сделаться замечательным человеком».

Лев Николаевич и тогда мог произвести впечатление серо-голубыми глазами — небольшими, но яркими, и бровями, рано разросшимися. Лев Николаевич, прочитав в одном романе про героя, обладающего мохнатыми бровями, мальчиком натер свои брови

порохом и поджег. Брови сгорели, а потом отросли очень пышными, тогда уже, когда Лев Николаевич забыл о когда-то им любимом герое.

Я привожу это место как воспоминание потому, что, хотя оно рассказано про Николеньку — героя «Отрочества», а не про Льва Николаевича, но сестра Льва Николаевича помнила, что брат ее в детстве остриг себе брови. Мне же эта подробность кажется чертой Льва Николаевича — замечательной в том отношении, что он с детства сам как бы лепил себя.

ЭПОХА АНАЛИЗА И ПРАВИЛ

Самостоятельность, о которой говорил Мейер, пришла к Толстому неожиданно. Он получил задание от Мейера написать реферат о «Наказе» Екатерины II. Реферат этот малосамостоятельный, он состоит в сопоставлении «Наказа» Екатерины и его французских источников. Но по тому, как умел работать с книгами Толстой на Кавказе, как он умел их конспектировать, мы видим, что казанские профессора научили Толстого многому.

Университетская жизнь шла не очень по-деловому. Толстой попадал в карцер, пропускал экзамены. Начало его дневников, которые он потом вел в продолжение всей своей жизни, случайно совпало с пребыванием молодого студента в госпитале.

В госпитале Лев Николаевич первый раз остался один: при нем не было никого из дворни, и он это сразу заметил. Ведь всю жизнь до этой поры, когда Лев Николаевич снимал платье, платье уносили, чтобы почистить, утром он надевал вычищенное, выглаженное, обедал, имея за собой лакея.

Он становился на собственные ноги.

Одинаковые причины у разных людей дают совершенно разные следствия. В жизни Льва Николаевича сталкивались разные силы, как будто боролись разные магнитные поля, но главное был он сам, все переключающий по-своему. Во многом с ним случалось то же самое, что случалось с братьями, но вы-

шло из него нечто другое, как бы оспаривающее, отвергающее прошлое.

Правда, прошлое влачилось за ним, создавая противоречия. Вот с чего начинается толстовский дневник. Идет анализ, уже толстовский, хотя написанный еще другим, не сбросившим старомодности, языком.

«17 Мар<та>. Вот уже шесть дней, как я поступил в клинику, и вот шесть дней, как я почти доволен собой...

Здесь я совершенно один, мне никто не мешает, здесь у меня нет услуги, мне никто не помогает — следовательно, на рассудок и память ничто постороннее не имеет влияния, и деятельность моя необходимо должна развиваться. Главная же польза состоит в том, что я ясно усмотрел, что беспорядочная жизнь, которую большая часть светских людей принимают за следствие молодости, есть не что иное, как следствие раннего разврата души».

Так начаты были дневники Толстого. Здесь дает он и анализ «Наказа» Екатерины, то есть занимается как бы учебной работой. Но уже через неделю дневник изменился. Толстой пишет 24 марта: «Я много переменился; но все еще не достиг той степени совершенства (в занятиях), которого бы мне хотелось достигнуть».

Толстой ставит сам себе шесть правил, пока только для этой работы:

«1) Что назначено непременно исполнить, то исполняй, несмотря ни на что. 2) Что исполняешь — исполняй хорошо. 3) Никогда не справляйся в книге, ежели что-нибудь забыл, а старайся сам припомнить. 4) Заставь постоянно ум твой действовать со всею ему возможною силою. 5) Читай и думай всегда громко. 6) Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают, что они мешают; сначала дай почувствовать, а ежели он не понимает, то извинись и скажи ему это».

Молодой человек, воспитанный женщинами, не имеющий над собой никакой власти, увлекающийся картежной игрой, тщеславный, сладострастный, необыкновенно талантливый, сам себя ведет со стро-

гостью школьного учителя; опираясь только на свою необыкновенную волю, он мнет себя как глину и создает из себя иного человека, несмотря на страшные трудности.

Начинается эпоха анализа и правил.

Многие молодые люди и по многу раз ставят перед собой целые проблемы жизни, программы, которые они собираются потом проводить, но намерения Толстого отличаются тем, что у этого молодого человека была очень сильная воля. Он все время относился к себе как к ученику, ставил себе задачи, все время их проверял и даже как бы ставил себе отметки, и это продолжалось годами.

Правила Толстой создает для себя и о том, как играть в карты, и как обращаться с женщинами, и как входить в светскую гостиную, и как читать книги. Даже в недостатках — не только в работе, он живет по все время нарушаемым правилам.

Лев Николаевич Толстой прежде всего человек, необыкновенно затрудняющий свою жизнь. Он полон упреков. То, что для других — мечта и литературные рассуждения о своих недостатках, болтовня о них, для Толстого — труд.

Молодой Лев Николаевич перед целым рядом новых падений ставит себе задачи подвижника.

Его нужно судить не по ошибкам, а по тому, как он их исправлял и как он их понимал.

В это время Лев Николаевич начал серьезное чтение: он прочел двадцать томов Руссо — все, до музыкального словаря включительно. Руссо был учителем для людей буржуазной французской революции. Они учились у него самоанализу, внимательности к отдельной человеческой жизни и ощущению непрочности старого социального строя, который они воспринимали еще как непрочность старых моральных правил, при моральной требовательности к человеку.

Лев Николаевич уже давно читает Руссо, но сейчас он надевает на шею медальон с изображением Руссо. Он хочет добиться исправления мира через самоисправление.

Руссо — великий мыслитель, но он мыслитель буржуазный, видящий мир как соединение бесчисленных человеческих, как будто бы только от самих себя зависящих судеб. Это было сознание, которое само хотело переделать бытие и оплакивало свое бессилие. Это было сознание, которое не стыдилось себя и обнажало в себе самое сокровенное, выговаривало то, о чем молчали целыми столетиями. Руссо думал, что, выговорив все о постыдном поступке, его можно преодолеть.

В процессе напряженного самоанализа зреет талант будущего писателя.

Всего труднее понять, как создается гениальный писатель.

Трудно даже понять, как появляется почка на дереве, а это явление повторяется миллионы раз. Трудно понять, как появляется вообще человеческое сознание.

В «Первых воспоминаниях» Лев Николаевич писал: «От пятилетнего ребенка до меня только шаг, а от новорожденного до пятилетнего — страшное расстояние. От зародыша до новорожденного — пучина, а от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость».

От мальчика, который написал плохую эпитафию для памятника своей тетки, до Льва Николаевича Толстого, автора «Детства», «Истории вчерашнего дня», — расстояние непостижимое.

Как разделились дарования братьев Толстых, почему именно Лев Николаевич выразил гений своего народа — труднопостижимо.

Я в книге этого не решу, могу показать только, что часть этой непостижимости преодолена невероятным, ежедневным, малораскрытым, хотя и отмеченным в дневниках, ежедневным трудом.

Рассмотрим тот пучок силовых линий, которые проходят через Толстого и его изменяют. Для того чтобы увидеть это в развернутом виде, посмотрим, что Лев Николаевич говорит о своем брате.

Большеглазый, сильный, чудаковатый, не обращающий внимания на мнение о себе, Митенька, ко-

торый был старше Льва на один год, в Казань приехал четырнадцати лет. Учился Митенька хорошо, ровно. Был велик ростом, сутуловат, длиннорук и, как я уже говорил, чудаковат. То, что было для его сверстников минутной забавой или курьезом, Митенька переживал серьезно и глубоко.

Против одной из казанских квартир Толстых находился острог. В острожной церкви священник на страстной неделе вычитывал все евангелия, и церковная служба продолжалась необыкновенно долго. Дмитрий Николаевич ходил в эту церковь и охотно передавал свечи к образам или деньги на свечи, беря их от колодников.

Двадцати лет Митенька кончил университет. Когда братья делили имение, то Льву Николаевичу, по обычаю, как младшему, отдали имение, в котором жили, — Ясную Поляну. Сергей был охотником до лошадей, и поэтому ему отдали Пирогово, в котором был конный завод. Митеньке и Николеньке отдали остальные два имения: Николеньке — Никольское-Вяземское, а Митеньке курское имение, доставшееся от Перовской.

Дележ между братьями проходил полюбовно; братья Толстые любили друг друга, не жадничали: хотя сестра их по закону должна была получить одну семнадцатую часть, братья взяли ее в равную долю. Марья Николаевна получила в Пирогове девяносто четыре десятины и построила там себе дом. Так как Ясная Поляна считалась имением сравнительно не доходным, то братья приплатили Льву в дополнение выгод. Брат Сергей заплатил Льву тысячу пятьсот, а Николай — две тысячи пятьсот рублей серебром.

В то время у братьев Толстых не было представления, что владение крепостными душами безнравственно. Лев Николаевич писал об этом так: «Мысли о том, что этого не должно было быть, что надо было их отпустить, среди нашего круга в сороковых годах совсем не было. Владение крепостными по наследству представлялось необходимым условием, и все, что можно было сделать, чтобы это владение

не было дурно, это то, чтобы заботиться не только о материальном, но и о нравственном состоянии крестьян».

Митеньке было двадцать лет, и он серьезно считал, что не может не взять на себя обязанность руководить нравственностью сотен крестьянских семей.

А тюремный священник читал Гоголя: «Выбранные места из переписки с друзьями». Лев Николаевич помнит, что и Митенька читал эти письма.

Надо сказать, что позднее читал их и Лев Николаевич и ставил высокие отметки.

Митенька, кроме того, пошел наивно, прямо к высокому начальству просить для себя службы, в которой он был бы полезен для народа. Искал он себе службу прямо по адресу-календарю. Службой Митенька не остался доволен.

Дмитрий Николаевич похож на Льва Николаевича. Лев Николаевич тоже был искатель и непрерывно изменял решения, пытаясь найти себе настоящее место в жизни. То ему казалось, что надо быть таким, как все, но все — это дворяне, стало быть, надо заботиться о своем французском произношении, о том, чтобы ногти были в порядке, чтобы на улице на руках были перчатки. Это и был идеал комильфо. Но через некоторое время Лев Николаевич увлекся Руссо и, может быть, не одним Руссо. Он представил себе, что он сам тот человек, который должен все изменить. Тогда же родилась мысль об особой избранности дворян для руководства другими сословиями: дворянин должен торговать, должен принимать участие во всем, но благородное участие.

Николай Павлович хотел, чтобы все носили мундиры. Выбрав чертеж храма Христа Спасителя, он считал этот храм как бы мундиром православия и велел строить такие храмы во всех городах.

Лев Николаевич, увлекшись философией, сшил себе халат из холстины. Этот халат ночью был бельем — днем он пристегивал специальными пуговицами к халату полы, надевал туфли и считал, что это достойное облачение человека, который должен преобразовать хозяйство.

В таком настроении Лев Николаевич написал письмо тетке. Письмо сохранилось в преображенном виде — в повести «Утро помещика». Это письмо не только героя, выдуманного Толстым Нехлюдова, но и письмо ровесника героя — девятнадцатилетнего Толстого, который уходит с третьего курса университета. Правда, у Нехлюдова состояние в семьсот душ, а у Толстого триста тридцать душ уже заложены. Но, как и Нехлюдов, он считал себя обязанным, правомочным и достаточно сильным, чтобы заботиться о счастье своих людей.

«Не грех ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих из-за планов наслаждения или честолюбия? И зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается такая благородная, блестящая и ближайшая обязанность? Я чувствую себя способным быть хорошим хозяином; а для того, чтоб быть им, как я разумею это слово, не нужно ни кандидатского диплома, ни чинов, которые вы так желаете для меня».

О причинах своего ухода из Казанского университета сам Толстой рассказывал так:

«Меня мало интересовало, что читали наши учители в Казани. Сначала я с год занимался восточными языками, но очень мало успел. Я горячо отдавался всему, читал бесконечное количество книг, но все в одном и том же направлении. Когда меня заинтересовывал какой-нибудь вопрос, то я не уклонялся от него ни вправо, ни влево и старался познакомиться со всем, что могло бросить свет именно на этот один вопрос. Так было со мной и в Казани. Причин выхода моего из университета было две: 1) что брат кончил курс и уезжал; 2) как это ни странно сказать, работа с «Наказом» и «Esprit des lois» (она теперь есть у меня) открыла мне новую область умственного самостоятельного труда, а университет с своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей».

И Лев Николаевич поехал к себе в Ясную Поляну с большими планами. Дом целиком занимать он

не стал, поставил в кабинете старый кожаный зеленый диван с медными гвоздиками, два-три кресла, на улице установил брус для гимнастики и положил на стол правила. Задачи, которые он перед собой ставил, были огромны, и все время прибавлялись новые. Он занимается английским и латинским языками, изучает грамматику, кроме того, составляет программу на два года: «1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университете. 2) Изучить практическую медицину и часть теоретической. 3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. 4) Изучить сельское хозяйство, как теоретическое, так и практическое. 5) Изучить историю, географию и *статистику*. 6) Изучить математику, гимназический курс. 7) Написать диссертацию. 8) Достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи. 9) Написать правила. 10) Получить некоторые познания в естественных науках. 11) Составить сочинения из всех предметов, которые буду изучать».

Из этой программы выполнено много. Серьезно начат английский язык, музыка и работа над сельским хозяйством. Это оказалось самым сложным.

Лев Николаевич всю жизнь занимался анализами и мир анализировал через себя. Он хотел написать книгу «Четыре эпохи развития», написал «Детство», «Отрочество», начал «Юность»; у него было предположение в «Юности» использовать кавказский материал, заключенный в этом периоде анализ жизни. «Казаки» — это окончание юности. Но «Утро помещика» — это тоже юность.

Толстой думал, что надо построить роман не на любовной интриге. В предисловии к «Роману русского помещика» он писал:

«Предисловие не для читателя, а для автора. Главное основное чувство, которое будет руководить меня во всем этом романе, — любовь к деревенской помещичьей жизни. Сцены столичные, губернские, кавказские — все должны быть проникнуты этим чувством — тоской по этой жизни».

Роман должен был иметь моральный сюжет. Счастье — это добродетель, юность рождает ошибки, исправление их — счастье. В качестве побочных тем (мыслей) чувства делились на добрые и злые. Добрые: добродетель, дружба, любовь к искусству; злые: тщеславие, корысть, страсти; страсти подразделялись так: женщины, карты и вино.

В «Романе русского помещика» герой сталкивается с кулаком, который обидел его крестьянина; на этом обрывался набросок.

В «Утре помещика» помещик сталкивается с крестьянами. Столкновение основано не на борьбе зла с добром, а на том, что молодой добрый человек не может сделать добра и не знает, что такое добро.

Начинается тема, которую Толстой не выбрал: она его нашла. Молодой дворянин-аристократ в силу своего сиротства оказался в деревне вне своего общества, деревенская жизнь соприкасается с ним непосредственно, а не через его дворянскую семью.

Происходит столкновение доброго барина с крестьянами; столкновение основано на том, что барин хочет наладить и переделать крестьянское хозяйство. Он думает, что это его обязанность, что он это не только должен и может сделать, но что, кроме него, никто этого сделать не может.

Оказывается, однако, что сделать он ничего не может: даже его ближайшее окружение — те дворовые, которые перешли к нему от его отца, даже его кормилица — против него.

Дворня обычно управляет своей аристократией — хозяйством помещика, стоя между ним и крестьянами. Она выражает интересы определенной группы крестьян, более всего — зажиточных.

Об этом писали дворянские экономисты еще в XVIII веке.

Это положение не изменилось и позднее. Когда Долли Облонская приехала в разоренную свою деревню, то налаживать отношения стал синклит из ее старой няньки и семьи приказчика, которые пили чай под сиренью и согласовывали свои интересы. Конечно, няня субъективно была за барыню, вероятно жалея ее и несколько осуждая.

Хуже дело обстояло тогда, когда помещик мечтал об изменении имущественных, социальных отношений между собой и своими крестьянами.

Нехлюдов — так в этот раз называется герой, которому на время, для того чтобы освободиться от самого себя, Толстой передает часть своих интересов и сомнений. Нехлюдов живет в деревне и с записной книжкой и с деньгами выходит на деревенскую улицу. Люди, с которыми он будет сейчас разговаривать, в его распоряжении, он им может приказывать. Он от них хочет немного: он хочет поднять благосостояние бедных, помочь среднему мужику опереться на богатого мужика, вступить с ним в союз, соединить деньги богатеев со своими деньгами и прикупить землю. Стараться, чтобы мужики не занимались извозом, чтобы они жили дома землей.

Крестьянские избы разорены — падают у бедняков. Нехлюдов может дать лесу, и, кроме того, он придумал, вернее принял чужую придумку, новые избы: «каменные герардовские избы» с пустыми стенами, с засыпкой.

Между тем Иван Чурисенок — крестьянин, действительно существующий в Ясной Поляне, толстовский сосед, — просит от барина только сошек для того, чтобы подпереть падающий потолок. Разговор идет в подопрелом срубе Чурисенка; изба осела углами, порог выгнил. Когда-то и двор и изба были покрыты одной крышей, теперь видны решетник, стропила и обрывки старой гнилой соломы.

У колодца сруб развалился, от столбов и колеса мало что осталось; над колодцем стоят две старые ракиты с редкими бледно-зелеными ветвями; ракиты тоже надломлены.

Иван Чурис не стар, лицо его красиво и выразительно, темно-голубые глаза глядят умно и добродушно-беззаботно, но ноги согнуты, кожа на шее, лице и руках загрубела. Красавец сутулится. Он в белых посконных портках с синими заплатками на коленях и в грязной, расползающейся на спине и ру-

ках рубахе. Иван Чурис просит пять сошек, хотя он знает, что только тронь его избу — дерева дельного не найдешь.

Старая изба падает — сам Чурисенок говорит, что накатина с потолка «по спине как полыхнет ее (бабу. — *В. Ш.*), так она до ночи замертво пролежала».

Барин предлагает мужику переселиться на новое место и жить в избе с двойными кирпичными стенками, между которыми засыпана для тепла земля.

Барин улыбается торжествующей скромной детской улыбкой, чувствуя себя благодетелем.

Бабы начинают вой. Чурисенок сам теперь видит, что дело его пропащее.

Переселиться Чурисенок не хочет: «Конопляники у нас здесь искони навозные, а там что? Да и что там? Голь. Ни плетней, ни овинов, ни сараев, — ничего нетути».

Чурисенок держится за свое бедное житье, которое хоть «искони заведенное». Тут и гумно, и огород, и ветлы.

Чурисенок хочет, чтобы его не трогали.

Он стар. Сверстники его — он их перечисляет — все его моложе были, «а уж давно земли посложили».

Ивану тягло сложить не на кого. Барщина растет: «Тут подушные прибавили, столовый запас тоже сбирать больше стали, а земель меньше стало и хлеб рожать перестал». Приказчик «навозные земли в господский клин отрезал».

Чурисенок пропадает, хотя он мужик рабочий.

По-другому пропадает Юхванка Мудреный. Пропадает и Давыдка Белый — смирный, тихий, не могущий работать мужик.

Хорошо только в доме богатого мужика, у которого пять троек работают на извозе, и чистая изба, и пчельник.

Нехлюдов предлагает богатому Дутлову: «Купи ты со мной пополам рощу в казенном лесу, да еще землю...

Кроткая улыбка вдруг исчезла на лице старика».

Он доказывает, что купить ему не на что, что это про него злые люди говорят, а у него, кроме пятнадцати целковых, ничего нет.

Нехлюдов уходит ни с чем.

Старик по-своему прав: дать он барину может, но получить обратно от барина не сможет.

Барин захочет — отдаст, захочет — не отдаст. А если барин продаст землю, то и не выполнит уговора.

Конечно, Нехлюдов не Толстой; но Толстой где-то рядом, и Нехлюдов может оказаться Толстым. А Толстой все время пишет в эти годы братьям: в марте 1849 года он просит брата Сергея продать лошадей, да поторопить раздел пустоши Гончуровки. Тоже, вероятно, собирается продать. Тогда же он пишет приказчику о продаже леса, а в апреле брату Сергею опять о продаже. И опять тому же брату пишет недели через две: «Кончи как-нибудь с этими купцами».

В мае он просит брата продать Малую Воротынку — имение с двадцатью двумя душами, и в мае же он опять настаивает, чтобы продавали скорее землю и хлеб. В декабре следующего года он хлопочет о перезалоге и в декабре же пишет тетке Ергольской опять о деньгах.

Он горит и продает, и торопится, и путает. И как же с таким барином стать компаньоном, товарищем в деле? Деньги Дутлова могут пропасть.

Дурит барин. Ночь, месяц светит, вору острастка, ночь светла. А барин не спит, играет большими руками на пожелтевших, покоробленных костях теткиного пианино, а иногда возьмет собаку и ее желтыми собачьими лапами хлопает по клавишам.

На перекладине занимается: висит вниз головой и в таком виде с приказчиком разговаривает — дает приказанья. Хотя барин добрый, но лучше ему деньги не показывать. Вот если утихомирится или женится хорошо, как отец его, на богатой.

Дело господское. И лучше уйти в далекий извоз, на Одессу, к румынам.

Об этом мечтает не Толстой, а его Нехлюдов. Он бы хотел быть ямщиком Ильюшкой. Сны видит: «Видит Одест, и далекое синее море с белыми парусами, и город Царьград с золотыми домами и белогрудыми чернобровыми турчанками, куда он летит, поднявшись на каких-то невидимых крыльях. Он свободно и легко летит все дальше и дальше, и видит внизу золотые города, облитые ярким сияньем, и синее небо с частыми звездами, и синее море с белыми парусами, и ему сладко, и весело лететь все дальше и дальше...»

Он молод, силен, он дворянин, он скоро достанет бумагу из Герольдии на графа и, хотя он разорен наполовину, еще имеет дом и землю. Он знает музыку, говорит на разных языках, но хочется бежать отсюда, хоть на край света, хочется лететь все дальше и дальше, как тому гоголевскому бедняге, чтобы не видно было ничего, ничего...

«Садись, мой ямщик, звени, мой колокольчик...»

ТОЛСТОЙ ЧИТАЕТ

В Ясной Поляне Лев Николаевич усиленно занимался хозяйством; ему казалось, что бедность крестьян и отсутствие дохода от имения происходят потому, что люди работают неправильно — не так пашут, не так молотят, не то сеют и разводят не тот скот.

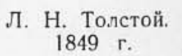
Он сам сконструировал и построил молотилку, о которой рассказывает в «Утре помещика». Молотилку опробовали при народе.

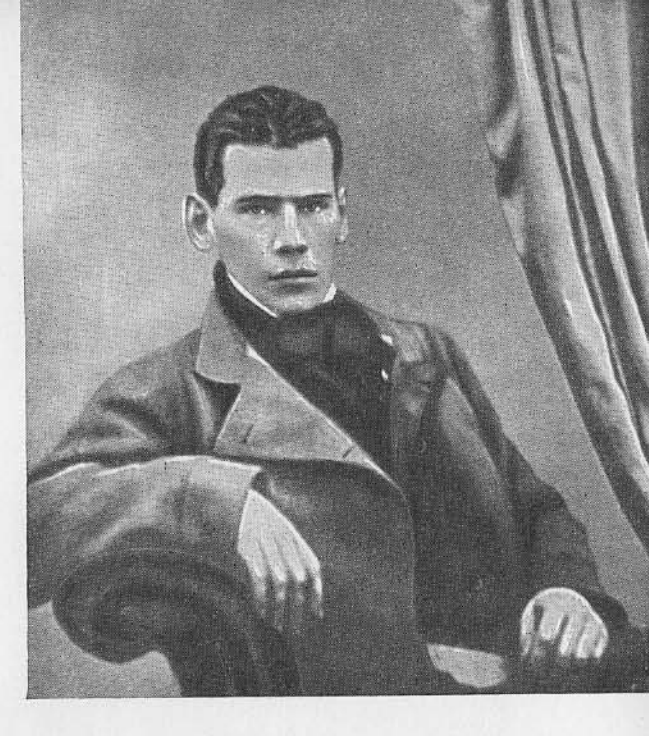
Машина шумела и свистела, но не молотила, и мужики смеялись.

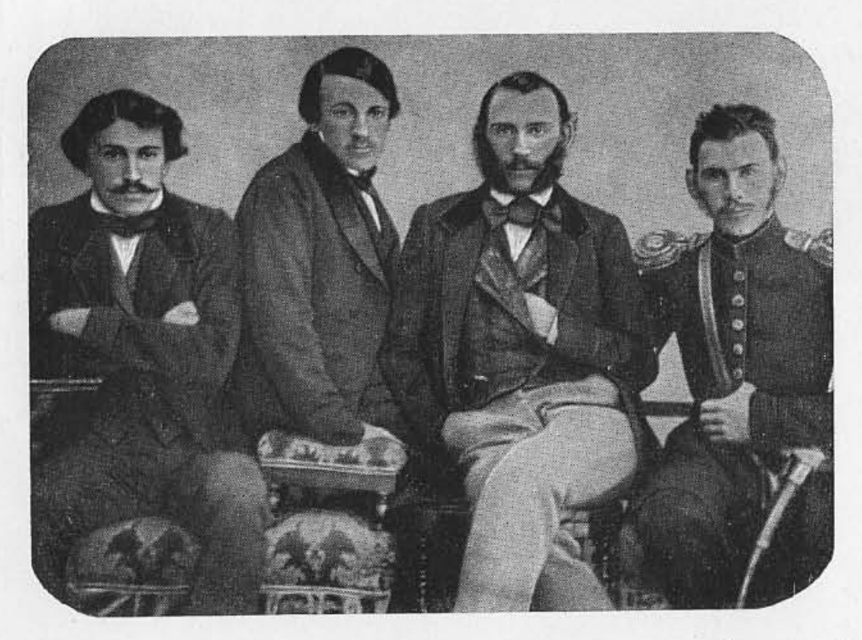
У соседа Гагарина в имении Сергиевское продавали тирольских телят.

Лев Николаевич поехал смотреть новую породу.

Бычки были прелестны — курносые, коричневые, с обводами вокруг глаз и с розовыми мордочками, от них сильно и хорошо пахло. Лев Николаевич остался ночевать у управляющего и на сон грядущий


Л. Н. Толстой. 1849 г.





Л. Н. Толстой с братьями Дмитрием, Николаем, Сергеем. Москва, 1854 г.



Толстой в группе писателей — сотрудников журнала «Современник» (Гончаров, Тургенев, Григорович, Дружинин, Островский).

попросил почитать какую-нибудь книгу или взял первую попавшуюся. Оказались стихи. Он стал читать и прочел все до конца; потом стал читать вторично сначала и так и не заснул всю ночь до самого утра. Это был «Евгений Онегин».

Случилось это тогда, когда Льву Николаевичу было восемнадцать лет.

Книга пришла вовремя, пришла к человеку уже думающему, читавшему. Молодой помещик узнал, что то, что он видит вокруг себя, не только может быть описано, но и может быть понято через анализ — описанием. Лев Николаевич, вероятно, в то время уже знал Стерна. Цитаты из Стерна идут у него не случайно; Стерн научил его распутывать нити добра и зла, которые так сплетены в жизни.

Руссо и Стерн научили Толстого дорожить человеческим чувством. Но Стерн играет с человеческим чувством, играет с описанием, обманывает читателя, кокетничает своим превосходством над читателем, искусственно тормозит действие, задерживая все на описании чувства. Он учил людей понимать чувство, но одновременно учил пренебрегать действием.

У Пушкина за чувствами Евгения Онегина, Татьяны, Ленского лежит не только человеческое чувство, но и серьезные человеческие отношения. План человеческой души как бы положен на карту страны и включен в ее историю.

Автор многократно истолковывает своего героя, принимает на себя суд над ним и наблюдает его рост.

Та ночь, которую провел Толстой над «Евгением Онегиным», была ночью нового его не читательского, а писательского отношения к литературе.

Очень рано Толстой поставил перед литературой задачи учительства. Он познает душу для того, чтобы эту душу переделывать.

Первоначально представления Толстого о своих задачах наивны.

Есть у него отрывок «Для чего пишут люди». Оказывается, люди пишут для того, чтобы их читали, а читают люди для того, чтобы быть счастливыми,

а для того, чтобы быть счастливыми, надо овладеть добродетелью, надо склонять человека к рассудительным поступкам, а не развивать его страсти, влекущие его к деяниям безрассудным. Добродетель — это подчинение страстей рассудку.

Это юношеские строки.

Это как будто бы еще XVIII век.

Великий человек, вырастая, переворачивает пласты культуры, и для него паханое поле оказывается целиной.

Лев Николаевич читал в ранней юности очень посредственную книгу воронежского губернатора Д. Н. Бегичева. Эта книга, сильно проредактированная умным журналистом и мыслителем Николаем Полевым, вышла в 1832 году и имела большой успех. Она многопланна, описывает жизнь дворянства того времени; называется — «Семейство Холмских. Некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, русских дворян».

Толстые были знакомы с Бегичевым, и Лев Николаевич по делам бывал у Никиты Степановича Бегичева — племянника Дмитрия Николаевича. Степан Никитич Бегичев был другом Грибоедова.

Платон Горич — один из героев «Горе от ума», «муж-слуга», изображает Бегичева.

Бегичев к Грибоедову относился по-разному: когда-то он был с ним близок и сам причастен к декабристскому обществу, но укатали сивку крутые горки, стал сивка толстым, седым и даже губернатором.

Роман очень неожидан: люди, которые в нем описаны, очень похожи на людей, окружавших Толстого.

Это умные люди, увлекающиеся музыкой и картами, дуэлянты, любители цыганского пения и больше всего — обиженные люди.

Некоторые герои романа носят фамилии персонажей Грибоедова.

В романе есть Чацкий — он молод, но уже генерал-кавалерист, отличившийся в войне 1812 года.

Ведь и у Грибоедова Чацкий обращается к Платону за советом снова вернуться на военную службу.

В полк, эскадрон дадут. Ты обер или штаб?

Чацкий говорит с человеком, которому могут дать эскадрон, как старший с младшим.

Затем в романе Бегичева Чацкий изображен боящимся сквозняков; он сводит счеты с человеком, упрекающим свое поколение в том, что оно потеряло задор и юношеские идеалы.

«Семейство Холмских», несмотря на очень небольшое мастерство автора, показало Толстому возможность реалистического русского романа. Дворянский роман Бегичева стоит между романом последекабрьским и романом новым — толстовским.

Какой-то физик говорил, что маргаритки зацветают сразу на всех полях.

Так и с прозой.

Искусство рождается на общей работе человечества, раскрывается сразу, оно и твое собственное и то, что ты узнал от другого. Оно использует те способы связи людей, которые были созданы раньше, и в то же время сообщает людям новое о твоей душе.

Толстой любил, скажем точнее, Толстой поразился наивной для нашего сегодняшнего восприятия повестью Григоровича «Антон Горемыка». Это была повесть о разоренном мужике, и Лев Николаевич в 1893 году, когда пришел пятидесятилетний юбилей литературной работы Григоровича, писал старому, полузабытому писателю:

«Вы мне дороги... в особенности по тем незабвенным впечатлениям, которые произвели на меня, вместе с «Записками охотника», ваши первые повести. Помню умиление и восторг, произведенные на меня, тогда 16-летнего мальчика, не смевшего верить себе, «Антоном Горемыкой», бывшим для меня радостным открытием того, что русского мужика, нашего кормильца и — хочется сказать — нашего учителя, можно и должно описывать не глумясь и не для оживления пейзажа, а можно и должно писать во весь рост, не только с любовью, но с уважением и даже трепетом».

Читал в это время Толстой «Героя нашего времени» Лермонтова, читал по-своему; вероятно, у Лермонтова он научился смело вводить в художествен-

ное произведение точное географическое описание — не романтический пейзаж и противопоставлять романтическому герою простого человека.

Русская литература дала Толстому очень много, она его научила. Он начинал писать среди большого хора великих и средних писателей.

Ему не хватало жизни, биографии.

Что же касается тирольских телят, которых хотел купить Толстой, то как будто в тот раз он их не купил, но и не раздумал покупать.

Японские поросята, новые породы коней и быков будут встречаться в письмах Толстого еще десятилетия, и в «Анне Карениной» Левин приедет в Москву на сельскохозяйственную выставку, где выставлены его телята.

В УСАДЬБЕ

Было время, когда декабристское движение магнитом прошло над железной Россией и притянуло к себе все лучшее, что было в дворянстве. Толстой справедливо отмечал, что крестьянского слоя тот магнит не коснулся.

Не сдвинули тогда дворяне — бесконечно далекие от народа — Россию. Наступило время новых утопий.

Напрасно послал Гоголь доверчивого Митеньку Толстого по деревне делать добро. Сам же он писал, что история смотрит на него лицом смотрителя почтовой станции и говорит: «Нет лошадей».

Кончилась история, остановлена; лучшие убиты.

А мечта растет.

Бестужев убит на Кавказе. Пушкинский Алеко с медведем ушел к цыганам, все дальше, чтобы не видно было ничего, ничего, дальше от неразрешимого вопроса — как быть с совестью, с Россией, с крестьянством им, молодым, добрым, сильным.

Что его гонит из родного дома, превращая в скитальца? Не долги же?

Человек, много раз самому себе изменивший, Достоевский в речи на пушкинском юбилее, вспоминая

об Алеко и Евгении Онегине, говорил, что русскому скитальцу нужно всемирное счастье.

Лев Николаевич недавно уже садился в чужую повозку, когда двоюродный брат уезжал в Сибирь. Но поехал он пока в Петербург — в феврале 1849 года.

Тихо катятся яснополянские сани, яснополянские кони по заснеженному Петербургу. Белы замерзшие глаза домов. Белы кровли. Бела Нева.

Лев Толстой живет на углу Малой Морской и Вознесенского проспекта. Ищет старых знакомых, находит новых. Отыскался в Питере старый друг Володя Милютин, который гимназистом сообщил братьям Толстым, как последнюю новость, что «бога нет». Теперь, через десять лет, он стал писателем, его хвалил В. Белинский. Милютин писал: «...совершенство, как для отдельного человека, так и для целого человечества, состоит в гармоническом, всестороннем развитии его способностей и сил и в полном удовлетворении всем законным его потребностям, данным ему природой и развитым образованностью. Другими словами, истинное призвание человечества заключается в непрерывном стремлении к счастью, к блаженству, к развитию своего благосостояния в физическом, материальном, умственном и нравственном отношениях».

Эта вера заменила веру в бога.

Под этими скромными словами скрыта закипающая мысль о социальном переустройстве.

Тогда над Россией проходил новый магнит — идея полнейшего переустройства мира, превращение городов рабства и праздности в города свободы и гармонии. Идея преобразования мира, новой любви, новых производственных отношений. Слово «социализм» появилось в России, хотя еще не точно знали, что оно значит.

В тетрадях толстовского дневника есть записи взволнованные, удивленные. Он размышляет о народном искусстве и говорит: «Пускай идет вперед высший круг, и народ не отстанет; он не сольется с высшим кругом, но он тоже подвинется».

Толстой пишет: «Зачем говорить утонченности, когда еще остается высказать столько крупных истин», — и тут же продолжает: «Искали философальный камень, нашли много химических соединений. Ищут добродетели с точки зрения социализма, то есть отсутствия пороков, найдут много полезных моральных истин».

Это об утопическом социализме, как о системе, предписывающей то, что еще не найдено.

О поисках философского камня и о химии писал в показаниях на процессе петрашевцев Ф. М. Достоевский, пытаясь убедить судей в безвредности утопий и отодвинутости их в будущее

Но об этом же говорил и Маркс: «Первые социалисты (Фурье, Оуэн, Сен-Симон и др) должны были роковым образом... ограничиваться мечтами об *образцовом обществе* будущего и осуждать все такие попытки рабочего класса, направленные хотя бы на некоторое улучшение его участи, как стачки, союзы и политическое движение. Но если мы не должны отрекаться от этих патриархов социализма, как современные химики не могут отречься от своих родоначальников, от алхимиков, то мы должны во всяком случае стараться не впасть в их ошибки, ибо с нашей стороны они были бы непростительны».

Толстой остался алхимиком, потому что его интересовал философский камень — добродетель, которая должна была превратить все в золото счастья, не трогая основ общества

Он дружит с В. А. Милютиным и пишет брату в 1849 году из Петербурга, что он в этом городе «намерен остаться навеки»; перечисляет новых своих знакомых, говорит, что они по достоинству выше московских; думает о службе и умоляет, конечно, продать Савин лес и взять еще где-нибудь деньги вперед и продать хлеб.

Он гуляет в Петербурге, кутит с Костенькой — К. А Иславиным — незаконным сыном Исленьева.

Костенька был блестяще одаренным музыкантом, но дилетантом. Многое в своей молодости Толстой делал из подражания Косте. Он записал 29 ноября

1851 года в Тифлисе: «Любовь моя к Иславину испортила для меня целых 8 месяцев жизни в Петербурге. Хотя и бессознательно, я ни о чем другом не заботился, как о том, чтобы понравиться ему».

Сам Костя, бездомный человек, не могущий занять в обществе своего положения, человек, почти завистливо называющий Сергея Николаевича Толстого «грозным владельцем трехсот тринадцати пироговских невольников», оказывается Мефистофелем Льва Николаевича И у Льва Николаевича и у Сергея Николаевича есть крепостные. У Иславина нет ничего, кроме денег, которые дает ему его отец трудными, обходными путями

Это человек толстовского круга, но уже совсем без корней. Он был дядей Софьи Андреевны — будущей жены Льва Николаевича. Впоследствии в Ясной Поляне звали его «дядя Костя».

Лев Николаевич в Петербурге обставляет комнаты мебелью, что с ним бывает редко, играет, занимает деньги, запутывается и в то же время растет и пишет.

Странное дело, Лев Николаевич начал дневник в 1847 году в Казанской клинике. Он написал приблизительно тридцать страниц печатного текста, из которых основное место заняла критика «Наказа» Екатерины. В 1850 году, 14 июня, в Ясной Поляне Лев Николаевич пишет, пропустив ровно три года без двух дней: «Опять принялся я за дневник и опять с новым рвением и с новой целью, который уж это раз — не помню».

Б М. Эйхенбаум предполагал (я думаю, не без оснований), что Толстой сжег свои дневники, относящиеся к 1848—1849 годам.

Толстой в Петербурге сдавал кандидатские экзамены, причем сдавал удачно. Как ни огромны толстовские способности, как ни была велика его память, но он должен был и заниматься. Он сдал два экзамена по уголовному праву и вдруг уехал в Ясную Поляну с немцем Рудольфом.

Пребывание Толстого в Петербурге совпало с временем деятельности петрашевцев. Арестованы петра-

шевцы были в ночь с 22 на 23 апреля 1849 года. Толстой успешно сдавал экзамены в конце апреля. В мае он начинает метаться, берет обратно документы, ищет деньги, хочет уехать юнкером на венгерскую кампанию и вместо этого забивается в Ясную Поляну.

Правдоподобно думать, что разгром петрашевцев испугал Толстого, что у него были с ними какие-то, хотя бы и далекие, связи. Эйхенбаум называет имена Милютина, Беклемишева.

Лев Николаевич попытался ворваться в жизнь в новом вооружении, преодолеть то, что Оленин называет «не гармоническим прошлым». Но попытка кончилась вместе с разгромом петербургской молодежи. Лев Николаевич вернулся в Ясную Поляну, и вот тут и началась цыганщина, и музыка Рудольфа, и в то же время, как всегда у Толстого, изучение новой музыки.

Он был сбит с ног, но не остался лежать на земле.

Пока что он составляет себе планы, как писать, и правила, как играть, не проигрывая. Ездит в Москву, мечтает попасть в круг игроков и выиграть, попасть в высокий свет и при известных условиях жениться, найти место выгодное для службы и, наконец, четвертая мечта — занять денег. Он хочет действовать.

Пока что он недовольно и ребячливо следит за собой, делает сам себе выговоры, ведет штрафную книгу о самом себе.

Надо сказать о Льве Николаевиче, что он пишет о себе тогда, когда собой недоволен. Его дневники — записи неудач, ошибок, неловких положений. О работе пишет часто, но коротко. Поэтому появление удач всегда поразительно.

Не только соседи-помещики, но и братья считают Льва Николаевича самым пустячным малым.

Немец Рудольф живет в оранжерее, которую дедушка еще, князь Волконский, построил. Там персиковые деревья, персики поспевают и продать можно в Тулу и в Москву, а цыгане их рвут.

Собрал молодой граф старых дворовых, отыскали по их квартирам скрипки, флейты, играют непонятное — хуже цыганского пения — без слов.

У Толстого в доме шумно: брат Сергей приезжает с цыганами, поют, кутят. Сергей выкупает за большие деньги из хора цыганку Машу Шишкину, долго будет с ней жить, а потом женится на ней. Чуть и брата Льва не женил на цыганке, а пока только научил говорить по-цыгански.

В ту пору многие увлекались цыганским пением. Цыганские романсы с гитарой в руках играл Аполлон Григорьев и сам создавал романсы с полупонятными цыганскими словами. Вместе с ним слушал эти песни и подпевал артиллерийский офицер, будущий великий физиолог Сеченов, учитель Павлова, создатель теории рефлексов.

В Ясной Поляне цыган любили. Большой двухсветный зал яснополянского дома наполнялся курчавыми людьми с черными блестящими глазами, с лицами темными, как будто кирпичного цвета. Старухи размахивали руками и кричали пронзительными голосами, ходили мужчины, одетые в голубые плотно стягивающие их стройные талии казакины, шаровары и сапоги, женщины в лисьих, крытых атласом, салопах, с яркими шелковыми платками на головах; они снимали салопы, осторожно клали их на стулья и оказывались в красивых и дорогих, ярких и немодных платьях.

Говорили, шумели. Командовал Сергей Николаевич. Потом цыган с длинными волосами садился, брал аккорд, подкинув ногой гитару, и плавно запевал:

Ведь ли да как ты слы-ыш-ишь...

Хор подтягивал плавно и дружно.

Пели сперва плавно, потом все живей и живей, с необыкновенной энергией и неподражаемым искусством. Хор неожиданно замолкал. Снова первоначальный аккорд, и тот же мотив повторялся нежным, сладким, звучным голоском; с необыкновенно оригинальными украшениями и интонациями голос ста-

новится все сильнее и энергичнее, и вот мотив передается в незаметно вступающий хор.

Толстой любил цыганское пение и много раз по-разному описывал его. Он сам знал несколько цыганских фраз и пел цыганские песни в дороге. Он жил в промежутках между вдохновеньем, в голосе ветра цыганской песни. Для него это была и степь и отказ от всего привычного, от всего найденного, переход через потери к широкому, свободному; он по десять раз записывал одну и ту же песню, и один и вместе с Рудольфом, и удивлялся искусству и разнообразию цыганских напевов.

Он любил, когда цыгане пели старинные, хорошие русские песни. В этом у Толстого был одинаковый вкус со своими братьями и с приятелями, но он сразу же попытался понять, что такое музыка, расчленив, какова она в сознании музыканта и в сознании слушателя.

Начинается анализ, что такое музыка «на бумаге, и на инструменте, и для нашего уха». Со своей всегдашней обстоятельностью, исследуя «отношение звуков в отношении силы», Толстой создает тут же схему изучения музыки; схема выполнена графически, она напоминает графическое изображение большого, разветвленного промышленного предприятия с рядом подсобных заводов.

Странно думать, что рядом с этой работой теоретика и схематизатора шло веселье и цыганское пение в двухсветном, плохо меблированном зале большого дома Ясной Поляны.

Цыганское пение затягивалось до утра, пока не светлели окна, ничем не завешенные.

Цыганка — о ней вспоминал Толстой в станице Старогладковской — говорила ему неверные, влюбленные слова.

Толстой вспоминает о них, переживая тоску перед вдохновеньем.

Его первый литературный замысел — «Повесть из цыганского быта». О цыганском пении он напишет вдохновенные слова пятьдесят лет спустя, в пьесе «Живой труп».

Когда жизнь не сразу тебя подымает, рождается тоска о несвершенном.

Сверстники Толстого лечили тоску цыганским пением и картами. Их веселье было невесело. Толстой мучался, смотря на веселье умного, любимого брата Николеньки.

Карты приходили, уходили, приходили в разных комбинациях, они как будто заменяли судьбу и даже давали судьбу: надежду на выигрыш. Карты становились между человеком и беспощадным временем и защищали от времени. Время смотрело на тогдашнюю молодежь большими выпуклыми глазами Николая I, и это было страшно.

Толстой и в Ясной Поляне, и на Кавказе, и в Севастополе, и в Петербурге, и за границей много играл.

Что ж, тетка его, Ергольская, раскладывала пасьянс — это тоже было утешением для человека незавершенной и неудавшейся судьбы.

Толстому забываться было трудно, потому что жил он и был несчастлив в деревне, которую очень хорошо знал.

Умолкают цыганские песни. На старых бостонных столах с инкрустациями, с углублениями для фишек лежат карты. Свечи погашены.

За парком выплывает среди сталкивающихся друг с другом и как будто остановившихся туч солнце.

В просвете между деревьями серая земляная пыль встает над сохами и весенними худыми спинами крестьянских коней. Пашут: Иван Чурисенок, Юхванка Мудреный, Давыдка Белый.

Отдельно за исправными конями ведет прямую борозду Карп Дутлов — рыжебородый и мрачный.

ТОЛСТОЙ СОБИРАЕТСЯ НАЧАТЬ ПИСАТЬ. ПИШЕТ

Шумно, бестолково, пестро сменялись дни молодого, ловкого, сильного, талантливого человека, который метался между Ясной Поляной, Тулой, Москвой, Петербургом.

Молодой Толстой колебался между кипением страстей и крайней степенью добродетели.

Будучи предоставлен самому себе, он воспитывал себя с необыкновенной строгостью и после многих неудач добился по крайней мере отчетливого знания самого себя.

Великие люди необыкновенно интенсивно используют тот материал, даже те намеки на знания, которые предоставляет им время.

В четвертой части романа Бегичева «Семейство Холмских» мудрая мачеха, воспитывая своего способного, но легкомысленного пасынка Пронского, видит, что молодой человек выбивается из колеи.

«Вступление в военную службу Пронский ознаменовал тем, что был несколько раз пьян, проиграл 20 тысяч рублей на вексель, выходил на дуэль и получил легкую рану».

Пронская читает своему пасынку очень длинную нотацию и говорит ему о необходимости «употребить методу Франклина, который над самим собою испытал всю пользу оной. Дело состоит в том, чтобы, хорошенько рассмотрев недостатки свои и пороки, составить потом еженедельные таблицы, начиная с одного воскресенья до другого. В сих таблицах, в графах надобно означать обнаруженные в самом себе недостатки и ежедневно, перед тем, как ложиться спать, отдавать самому себе отчет...»

Бегичев писал очень пространно; я вам сообщу короче: надо ставить по вечерам крестик против того порока, жертвой которого стал.

Это напоминает несколько кондуит. Но Пронская тут же предлагает десять правил Франклина, которые как бы являются исправленными заповедями Моисея, когда-то данными при большом громе и молнии на горе Синае.

Правила Франклина состоят в трезвости, в бережливости, в опрятности, в спокойствии и т. д. Пронский начал исполнять эти правила: «Он цвел здоровьем, был деятелен, исправен по должности своей...»; «...служил очень счастливо, так что 25-ти лет был уже полковником».

Эта наивная схема подкреплялась молитвой Франклина, которую стоит привести, потому что она обнаруживает необыкновенную рациональность и как бы нерелигиозность настроения этого квакера. Молитва эта начиналась так: «О Всемогущее Существо, Отец Благотворитель, Милосердный Наставник! Умножь во мне чувство познавать собственные мои выгоды быть добродетельным. Утверди намерение мое следовать сим чувствам».

Тут поразительно прямое указание на собственные выгоды молящегося.

Лев Николаевич принял эту систему потому, что она необыкновенно не подходила к нему.

С трудом он разграфил таблички, тщательно следил за своими поступками, но поступки Толстого и его знания самого себя бесконечно превышали графы франклиновского журнала.

Франклиновский журнал, однако, имел большое значение именно потому, что он заставил Толстого ежедневно подводить итоги своему поведению, как бы тормозил его безудержный характер.

В то же время толстовское самопознание и франклиновская, уже столетняя, чисто квакерская, строго американская мудрость находились друг с другом в самом кричащем противоречии. Толстой жил по одной системе, а подводил итоги по другой. Как будто бы человек взял сажень и хотел этой меркой, вытесанной из дерева, мерить движение атомов.

О Льве Николаевиче нельзя судить по его дневникам, хотя они правдивы, наименее надо верить отметкам, которые ставит себе он сам и его раскаяние.

Не надо верить слепо толстовским записям, потому что в молодости он пишет только тенями, обозначая свой путь; удачи только просвечивают, как просвечивает сильно поставленная точка, когда машинка пробила бумагу при быстром печатании.

Воля Толстого, его необыкновенная ежедневная писательская работа, которая начинается в Москве, продолжается в кавказской станице, на бастионах Севастополя, под обстрелом, на горах Альп во время

пеших экскурсий, тоже отмечается в дневниках, но обычно в виде раскаяния, что сделано мало.

Безуспешность всех хлопот Льва Николаевича поразительна. Он терпит неудачи всегда, когда хочет быть благоразумным.

В ноябре 1850 года он определился в Тульское губернское управление канцелярским служащим Тульского депутатского собрания с зачислением в первый разряд.

Условно служба по гражданской линии началась. Это было даже удачей, потому что свидетельство о выходе из университета равнялось свидетельству об окончании среднего учебного заведения и предоставляло права второго разряда.

Лев Николаевич по знакомству получил первый разряд.

Что делать дальше — оставалось непонятным. Служба в Туле для молодого графа не дело, а плохая синекура. Кроме того, графские документы не в порядке, вероятно, они сгорели у деда в московском пожаре, так как их не было и у Николая Ильича.

Льву Николаевичу приходилось выправлять их заново. Об этом было написано письмо в Тульское дворянское депутатское собрание 18 декабря 1850 года.

Прошение состояло в том, что канцелярский чиновник, граф Лев Николаевич Толстой, служащий в сем собрании, сообщал:

«Известился я, что Правительствующего Сената Временное Присутствие Герольдии до сего времени не утвердило покойного родителя моего подполковника Графа Николая Ильича Толстого и меня с братьями Николаем, Сергеем и Дмитрием в правах Графского достоинства и возвратило в оное Собрание представленную в Герольдию копию с дела о внесении нас в 5-ю часть родословной Тульской Губернии книги, для пополнения и составления родословной по форме, разосланной в 1842 году, вследствие чего считаю нужным представить при сем свидетельство, данное мне с вышеозначенными братьями от родственника нашего по третьему колену утвержденного уже в Графском достоинстве уволенного от службы Майора и кавалера Графа Валериана Петровича Толстого, на основании 59 ст IX т. св. зак. изд. 1842 г. в том, что мы по прямой линии происходим от родоначальника нашего Петра Андреевича Толстого, пожалованного в Графское достоинство с потомством императором Петром 1-м».

К прошению были приложены удостоверения многих тульских дворян, о том же знающих, и «краткая поколенная роспись графов Толстых»; в ней была допущена ошибка, вернее пропуск.

Прошение было началом долгих хлопот.

Пока что как будто оставалось одно: заниматься с Рудольфом теорией музыки, собрать из музыкантов покойного деда оркестр и быть знатным предводителем людей, потерявших место в жизни, но любящих искусство. Изредка выезжать в Москву, бывать у знатных знакомых и родственников бабушки, кончая вечера в цыганских шатрах у Сокольников, давая им деньги, если они есть.

В это время Толстой читал, писал и довершил первую свою литературную вещь — называлась она «История вчерашнего дня», была удачей, но напечатанной ей пришлось быть лишь через семьдесят четыре года в 1-м томе Юбилейного издания.

Тогда в примечаниях она была расценена только как подробная запись происшествий, случившихся 24 марта 1851 года

Но прежде нее Толстой задумал писать историю детства

Январь 1851 года для канцелярского служащего Льва Толстого прошел в хлопотах и попытках привести в порядок душевное хозяйство. За месяц было им сделано в дневник всего восемь коротких записей, которые сразу не всегда можно понять

Был план взять в аренду почтовую станцию под Ясной Поляной: овес свой, лошади свои. Толстой живет рядом

Денег нет.

Хотел взять компаньоном князя Щербатова, но тот был тоже разорившимся дворянином.

Появились планы совершенно запутавшегося человека, тщательно разбитые на параграфы.

Лев Николаевич в то время был легкомыслен, несдержан и пунктуален. Вот выписка из дневника 17 января 1851 года:

«С 14-го вел я себя неудовлетворительно. — К Столыпиным на бал не поехал; денег взаймы дал и поэтому сижу без гроша; а все от того, что ослабел характером. *Правило. Менее как по 25 к. сер. в ералаш не играть.* — Денег у меня вовсе нет; за многие же векселя срок уже прошел платить; тоже начинаю я замечать, что ни в каком отношении пребывание мое в Москве не приносит мне пользы, а проживаю я далеко свыше моих доходов. *Правило. Называть вещи по имени. С людьми, которые о денежных делах говорят поверхностно, скрывать положение своих дел и, напротив, стараться останавливать их и наводить на этот предмет.* — Чтобы поправить свои дела, из трех представившихся мне средств я почти все упустил, именно: 1) *Попасть в круг игроков и, при деньгах, играть.* 2) *Попасть в высокий свет и, при известных условиях, жениться.* 3) *Найти место выгодное для службы.* Теперь представляется еще 4-е средство, именно — занять денег у Киреевского. — Ни одно из всех 4-х вещей не противоречит одно другому, и нужно *действовать.* Написать в деревню, чтобы выслали скорее 150 р. сер., ехать к Озерову и предложить лошадь, велеть напечатать в газетах еще. Съездить к графине и выжидать, узнать о приглашениях на бал Закревских, заказать новый фрак. *Перед балом много думать и писать.* — Ехать к князю Сергею Дмитриевичу и поговорить о месте, к князю Андрею Ивановичу и просить о месте. *Заложить часы.*

Узнать у Евреинова, где живет Киреевский, и ехать к нему. В 1½ к Евреинову, а оттуда, какого рода ни был бы ответ, ехать к Николаю Васильевичу».

Из планов ничего не выходило. Вероятно, удалось

только заложить часы, но не видно, чтобы Лев Николаевич хотя бы узнал адрес человека, у которого он собирался занять деньги.

18 января Толстой записал себе программу занятий: «...быть в манеже, у Чертовой, у Горчаковых, у князя Николая Михайловича. К вечеру банк. Писать историю минувшего дня».

Но он не писал.

Влюбился. Купил лошадь, которая ему была не нужна. Зато записал правило: *«Не предлагать никакой цены за вещь ненужную»*.

Потом увлекся вдохновенной работой над «Историей вчерашнего дня». Повесть эта, только начатая, примечательна не только своей судьбой, но необыкновенным накалом, предсказывающим многое в литературе и уже отвергающим то, что будет через сто лет.

Толстой в ту пору был против современной ему литературы. Он писал: «Все описывают слабости людские и смешную сторону людей, перенося их на вымышленные личности, — иногда удачно, смотря по таланту писателя, большей частью неестественно». Он считал, что истинное наслаждение можно получить тогда, когда избавишься от ужасного ига — боязни быть смешным, от глупого страха перед этим.

В «Истории вчерашнего дня» — как будто описание визита Льва Николаевича Толстого к А. Волконскому и жене его. Книга прямо связана с толстовским дневником. Первая запись об этом в дневнике такая: «У Волконских был неестественен и рассеян и засиделся до часу...» Но нужно посмотреть этот отрывок целиком.

Среди других самообвинений в трусости, лености, в привычке спорить, в отсутствии твердости и энергии Толстой записал:

«У Волконских был неестественен и рассеян и засиделся до часу (рассеянность, желание выказать и слабость характера). *Занятия на* 25. С 10 до 11 дневник вчерашнего дня и читать. С 11 до 12 гимнастика. С 12 до 1 английский язык. *Беклемишев и Беер* с 1 до 2. С 2 до 4 верхом. С 4 до 6 обед.

С 6 до 8 читать. С 8 до 10 писать. — Переводить что-нибудь с иностранного языка на русский для развития памяти и слога. Написать нынешний день со всеми впечатлениями и мыслями, которые он породит».

День 25-го не удался. Толстой ставит себе новое задание: «Встать в 5, до 10 писать историю нынешнего дня».

26-го Толстой «встал часом позже назначенного, писал хорошо, фехтовал тоже, английским языком занимался *торопливо* и *обманывая себя»*.

На следующий день до 11 писал, но торопливо.

В конце записи урок на завтра: «С 8 до 9 писать. С 9 до 11 дела. С 11 до 1 читать. С 1 до 3 верхом ездить и ходить. С 3 до 5 обед. С 5 до 8 читать и баня. С 8 до 10 английский язык. Утром кончить описание вечера и перебелить завтра».

Что же лежит за этими поспешными и как будто виноватыми строками и перечислениями неудач?

Пишется начало книги, которую сам он расценивает как рождение нового жанра. Вот начало книги:

«Пишу я историю вчерашнего дня, не потому, чтобы вчерашний день был чем-нибудь замечателен, скорее мог назваться замечательным, а потому, что давно хотелось мне рассказать задушевную сторону жизни одного дня. — Бог один знает, сколько разнообразных, занимательных впечатлений и мыслей, которые возбуждают эти впечатления, хотя темных, неясных, но не менее того понятных душе нашей, проходит в один день.

Ежели бы можно было рассказать их так, чтобы сам бы легко читал себя и другие могли читать меня, как и я сам, вышла бы очень поучительная и занимательная книга, и такая, что не достало бы чернил на свете написать ее и типографчиков напечатать».

Книга идет одним потоком, как бы не расчленяемым даже грамматически.

Из нее умышленно удалена вся занимательность обычного типа.

Шуба литературы как будто вывернута мехом вверх.

Может показаться, что ранней весной 1851 года Лев Николаевич осуществлял то, что связывают теперь с именами Пруста, Джойса и весной 1961 года называли антироманом.

Но Толстой создает произведение, пользующееся микроскопом, который не только увеличивает мелкие события, но и показывает их связь с миром. Он вскрывает его «задушевную сторону».

Начинаем анализ. Поток сознания перебивать будет трудно. Задушевные мысли — такие мысли, в которых чувства еще не соподчинены друг другу логикой.

Молодой человек разговаривает с женщиной. Кроме этого диалога, происходит внутренний диалог между женщиной и мужчиной, а тело молодого человека имеет свою линию поведения, которая сбивает оба диалога, происходящих между героями.

Время раздвинуто, расширено, как бы удлинено: человек во время разговора успевает оценить формы иноязычного мышления и пытается за ними разгадать, что же происходит в душе женщины, с ним говорящей.

Женщина ведет рассеянный разговор, чертит мелком по ломберному столу, рисует «какую-то не определенную ни математикой, ни живописью фигуру, посмотрела на мужа, потом между им и мной. «Давайте еще играть 3 роббера!» Я так был погружен в рассматривание не этих движений, но всего, что называют charme *, который описать нельзя, что мое воображение было очень далеко и не поспело, чтобы облечь слова мои в форму удачную; я просто сказал: «нет, не могу». Не успел я сказать этого, как уже стал раскаиваться, — т. е. не весь я, а одна какая-то частица меня. — Нет ни одного поступка, который бы не осудила какая-нибудь частица души; зато найдется такая, которая скажет и в пользу: что за беда, что ты ляжешь после 12, а знаешь ли ты, что

* Очарование, прелесть.

будет у тебя другой такой удачный вечер? — Должно быть, эта частица говорила очень красноречиво и убедительно (хотя я не умею передать), потому что я испугался и стал искать доводов. — Во-первых, удовольствия большого нет, сказал я: тебе она вовсе не нравится, и ты в неловком положении; потом ты уже сказал, что не можешь, и ты потерял во мнении...

— Comme il est aimable, ce jeune homme! *

Эта фраза, которая последовала сейчас за моей, прервала мои размышления. — Я стал извиняться, что не могу, но так как для этого не нужно думать, я продолжал рассуждать сам с собой: Как я люблю, что она называет меня в 3-м лице. По-немецки это грубость, но я бы любил и по-немецки. Отчего она не находит мне приличного названия? Заметно, как ей неловко звать меня по имени, по фамилии и по титулу. Неужели это оттого, что я... — «Останься ужинать», сказал муж. — Так как я был занят рассуждением о формулах 3-го лица, я не заметил, как тело мое, извинившись очень прилично, что не может оставаться, положило опять шляпу и село преспокойно на кресло».

Итак, сознание еще не находится в самосознании человека и существует как бы разложенным.

Тут Толстой анализирует законы этого подсознания и на пути анализа приходит к пересказу снов. Ему нужен сон не таким, каким рассказывают сновиденья, проснувшись.

Толстой дает не перевод сновиденья на язык мышления бодрствующего, а сам сон. Анализируя нелогичность сна, тем самым возвращаясь в бытие, он опровергает обычное его толкование.

Толстовское бытие многопланово.

У Толстого был враг, о котором мы уже говорили, — воспитатель Сен-Тома — красивый француз, мечтавший жениться на богатой русской барыне. Сен-Тома, ломая волю мальчика, оскорбил его, что произошло в 1838 году, то есть за тринадцать лет до написания «Истории вчерашнего дня». Но Толстой

* Как он любезен, этот юноша!

вспомнит об этом в черновой редакции статьи «Стыдно», написанной в 1895 году, и в записи дневника от 21 июля 1896 года.

В описании сна он первый раз возвращается к этому случаю, ранившему душу мальчика, и одновременно создает новую теорию сна.

«Морфей, прими меня в свои объятия». Это божество, которого я охотно бы сделался жрецом. А помнишь, как обиделась барыня, когда ей сказали: «Quand je suis passé chez vous, vous étiez encore dans les bras de Morphée» *.

Она думала, что Морфей — Андрей, Малафей. Какое смешное имя!.. А славное выражение: dans les bras **, я себе так ясно и изящно представляю положение les bras, — особенно же ясно самые bras — до плеч голые руки с ямочками, складочками и белую, открытую нескромную рубашку. — Как хороши руки вообще, особенно ямочка одна есть!

Я потянулся. Помнишь, St. Thomas не велел вытягиваться. Он похож на Дидрихса. Верхом с ним ездили. Славная была травля, как подле Станового Гельке атукнул и Налет ловил из-за всех, да еще по колоти. Как Сережа злился. — Он у сестры. — Что за прелесть Маша — вот бы такую жену!

Морфей на охоте хорош был бы, только нужно голому ездить, то можно найти и жену. — Пфу, как катит St. Thomas — и за всех на угонках уже барыня пошла; напрасно только вытягивается, а впрочем, это хорошо.

Тут, должно быть, я совсем заснул. — Видел я, как хотел я догонять барыню, вдруг — гора, я ее руками толкал, толкал, — свалилась (подушку сбросил) и приехал домой обедать. Не готово; отчего? — Василий куражится (это за перегородкой хозяйка спрашивает, что за шум, и ей отвечает горничная девка, я это слушал, потому и это приснилось). Василий пришел, только что хотели все у него спросить, отчего не готово? видят — Василий в камзоле и лен-

* Когда я пришел к вам, вы были еще в объятиях Морфея.
** В объятиях.

та через плечо; я испугался, стал на колени, плакал и целовал у него руки; мне было так же приятно, ежели бы я целовал руки у нее, — еще больше».

Как всегда у Толстого, анализ широк и может быть проверен всей его биографией. Целование рук не связано с какой-нибудь эротикой, оно связано с положением Толстого в Ясной Поляне — с мужиками и с упомянутым во сне лакеем Василием, который тут появляется в форме генерала (лента).

В 1856 году в повести «Метель» Толстой еще раз описал сон. Бушует метель, спит и мерзнет барин, звучат колокольчики повозок, сбившихся в маленький обоз, который ищет дорогу. В метели показалась какая-то зубчатая стена крепости и стена дома: это и Ясная Поляна, потому что здесь упомянуты яснополянский пруд, и тетка с ее эгоизмом любви, и одновременно это белогорская крепость, потому что люди как будто заплутались в пугачевских местах — там, где заблудилась кибитка Гринева.

Мужики рассказывают друг другу сказки, курят трубки. Барин боится какого-то мужика: «Я схватываю руку старичка и с невыразимым наслаждением начинаю целовать ее; рука старичка нежная и сладкая».

Для того чтобы фрейдисты не захватили Толстого к себе, я напомню, откуда эта рука.

В тех местах Пугачев, выведший Гринева из метели, потом в образе царя сел в белгородской крепости и требовал от Гринева, чтобы тот поцеловал ему руку.

«Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени Пугачев протянул мне жилистую свою руку «Целуй руку, целуй руку!» — говорили около меня Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению»

Пугачев с усмешкой сказал:

«— Его благородие, знать, одурел от радости».

Прошли года и поколения, пришли новые поиски, но еще только во сне Толстой целует мужичью руку.

Но я вмешался в сновидение. Вернемся к основному толстовскому анализу.

«Ежели бы пришлось видеть мой сон кому-нибудь из тех, которые, как я говорил, привыкли толковать сны, вот как бы рассказан был мой сон. — «Видела я, что St. Thomas бегает, очень долго бегает, и я будто говорю ему: «Отчего вы бегаете?», и он говорит мне: «Я ищу невесту». — Ну вот посмотри, что он или женится, или будет от него письмо.

Заметьте тоже, что постепенности во времени воспоминаниям нет. Ежели вы вспоминаете сон, то вы знаете, что вы видели прежде.. Я проснулся уже утром и стал вспоминать, что я видел во сне — Видел я, будто мы ездили с братом на охоту и затравили в острове жену примерной добродетели. Нет; еще прежде, чем поехали на охоту, видел я, что St. Thomas пришел просить меня, чтобы я простил». Теперь идет обобщение.

«Во время ночи несколько раз (почти всегда) просыпаешься, но пробуждаются только два низшие сознания души: тело и чувство. После этого опять засыпает чувство и тело — впечатления же, которые были во время этого пробуждения, присоединяются к общему впечатлению сна, и без всякого порядка и последовательности. — Ежели проснулось и 3-ье, высшее сознание понятия, и после опять засыпаешь, то сон уже разделяется на две половины».

После Толстой покажет в «Войне и мире», что обобщение касается не только сна, оно охватывает и иные явления сознания. Человек не то, что он сам о себе думает, он часто настолько лжет и подыскивает себе оправдание, что как бы выходит из себя, из своего ума — «изумляется»

Истинное сознание человека, зависящее от его бытия, это не только то, что человек сам в себе выговаривает о себе. Толстой дальше показывает, что то сознание человека, которое лежит в человеческом обществе, точнее.

Человечество знает о себе больше и вернее, чем знает о себе человек.

Теперь, особенно после появления полного, 90-томного Юбилейного издания Толстого, мы знаем,

как создалась та сила Толстого, которая уже проверена временем и временем еще не исчерпана.

Тема сна и бреда, служащая для переосмысления яви, продолжала занимать писателя. Он рассказывал сон Пьера, бред Андрея Болконского, сон Пети Ростова, связанный с музыкой, сон Николеньки Болконского, в котором есть и переосмысливание декабрьского восстания, и предчувствие каких-то будущих столкновений.

Он рассказал сны Анны Карениной, которая как бы предчувствует свою трагическую судьбу, связанную с железной дорогой, но не может оторваться от рельсов своей жизни.

Сны Толстого — путь анализа, они входят в явь. Прочитав их, мы как бы просыпаемся и говорим себе:

«Ах, вот оно что!»

Есть три пути искусства.

Можно войти в себя, в себе сотвориться. Но человек продолжен в мире, его глаза, его кожа — это не преграда между человеком и миром, а средство связи. Мир все время посылает нам свои позывные и, окружая нас, становится нашей частью, а нас делает своим продолжением.

Сейчас мы создаем радиотелескопы; они получают сигналы из далеких краев вселенной, оттуда волны идут миллионы лет.

Мы раздвигаем расстояние между мачтами радиотелескопа на многие километры, этим как бы расширяем свой мозг — увеличивая угол различия.

Предмет не должен сливаться.

Путь внутрь — ограничение, восприятие не радиосигналов, а шумов внутри аппарата — помех.

Люди, с которыми мы встречаемся, реки, которые текут мимо городов в океаны, полеты ракет над океанами увеличивают нашу жизнь.

Мир можно проверить не внутри себя, а путем накладывания одного восприятия мира, одной системы сигналов, полученной от него, на другую.

Есть второй путь — он узкий.

Были литературные произведения, рассказывающие о замечательных случаях, приключениях и конфликтах.

Приключения эти повторялись из одного произведения в другое. Этим они отводят нас от нового восприятия мира, сводя изучение мира к изучению писателей как стилистов-каллиграфов.

Между тем даже в средневековье на Востоке говорили: «Все каллиграфы дураки».

Есть третий путь: расширение себя — это и есть путь создания радиотелеграфов.

Толстой, переиначивая Стерна, говорил о паутине любви, которую надо раскинуть вокруг себя, чтобы в нее ловить всех.

Вместе со Стерном он представлял, что истинная связь между людьми — это сочувствие людей друг другу. Для Стерна жизнь состояла из переплетения добра — чувствительности и чувственности, с которой он не боролся.

14 апреля 1852 года в Кизляре Лев Николаевич выписал одну цитату из Стерна:

«Если природа так сплела свою паутину доброты, что некоторые нити любви и некоторые нити вожделения вплетены в один и тот же кусок, следует ли разрушать весь кусок, выдергивая эти нити?»

Толстой предварил свою запись словами: «Читал Стерна. Восхитительно».

Эта фраза изменилась в дневниковой записи 12 мая 1856 года.

«Да, лучшее средство к истинному счастью в жизни — это: без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви и ловить туда все, что попало: и старушку, и ребенка, и женщину, и квартального».

Образ паутины потом стал частью мыслей героя «Казаков» Оленина. Но Оленин не смог поймать в свою паутину людей, которых любил: дело шло о том, что в мире есть разные отношения, основанные не только на любви, но и на совместном труде, на общей морали, на совместной ненависти.

Толстой всю жизнь старался понять законы восприятия и возможности переустройства мира. Он

знал, что мир надо сперва узнать, а потом переделать.

В молодости кажется, что это легко, но для этого Толстому надо было вновь родиться, стать взрослым; он сам с огорчением говорил, что крестьянские дети становятся взрослыми в 15 лет, а юность господ, их безответственность растягивается на десятилетия.

Так, как когда-то маленькому Леве пришлось уйти от тетки к гувернеру, так Толстой ушел из Ясной Поляны к людям. Увез его без всякого сопротивления любимый брат Николай Николаевич.

Николай Николаевич служил в 20-й артиллерийской бригаде, которая стояла тогда на Тереке под Кизляром, входя в состав Кавказского корпуса. Брат предложил поехать, терять было нечего. Дело было решено 1 января 1851 года в Покровском имении Марьи Николаевны, где гостил Николай Николаевич.

ДОРОГА НА КАВКАЗ

Не взяв в Тульском губернском управлении отставки, не выправив паспорт, не окончив дела в Герольдии, не поговорив с теткой, Лев Николаевич отправился на Кавказ. Было решено — не то проехаться, не то служить в Тифлисе по гражданской службе, а всего скорее — вступить в действующую армию.

На Кавказе готовилось большое наступление.

Русские войска от обороны переходили к попыткам разрезать силы имама Шамиля, который владел Дагестаном и Чечней

Поехали из Ясной Поляны на тарантасе.

Дороги тогда были сильно ухабисты, стальные рессоры не выдерживали; в дальние поездки помещики часто отправлялись в тарантасе. Передние и задние колеса тарантаса были далеко отодвинуты друг от друга, на грядки колес клали длинные, гибкие жерди, на жерди ставили кузов; плетеный кузов мягко покачивался на гибких деревянных лежнях:

сломается тарантас — не беда, его чинят топором, а материал найдется в любом лесу.

Была даже книга, которую сочувственно рецензировал Белинский; она так и называлась — «Тарантас»: описывала дальнюю помещичью дорогу, то, что видели помещики и как они обо всем виденном спорили. Написал ту книгу граф В. Соллогуб.

Николай Николаевич взял с собой дворового Алешу Орехова, Лев Николаевич — Ванюшу Суворова. Оба они потом служили Льву Николаевичу и ходили за ним, потому что у офицера Николая Николаевича были денщики.

На тарантасе место сзади кузова занимали сундуками, корзинами, мешками. То, что не входило, грузили перед кузовом.

В кузов взяли охотничьи ружья и дорожные поставцы с сахаром, ромом и другими припасами к чаю.

Взяли наливки, которые оба брата очень любили, еще мешки с крупами.

Оставили речку Воронку, проехали Тулу, переехали Оку, въехали в Москву. В Москве задержались на два дня

Здесь Лев Николаевич с братом снялись на дагерротип. Дагерротип был изобретен недавно человеком, фамилия которого — Дагерр. Изображение получалось на металлической пластинке и потом вытравливалось Дагерротип был несколько похож на наши клише; для сохранности обычно дагерротип серебрили. Смотреть на него было неудобно — лучше смотреть несколько сбоку.

Дагерротип был послан тетке и сохранился.

На посеребренной дощечке сидит, опершись на палку, юноша, одетый в прямую куртку. Он молод, усы еще не закрыли сильный рот, над глубокими глазами густые брови, широкий подбородок выбрит, густые волосы небрежно пострижены и торчат. Рядом сидит в сильно стянутом мундире чуть улыбающийся офицер, похожий на Льва Николаевича, несколько ироничный, уже тронутый жизнью. Он сидит немножко сзади Льва Николаевича: он вводил его в жизнь.

Из Казани Лев Николаевич написал тетке письмо, в котором рассказал о Москве: «Был на гулянье в Сокольниках при отвратительной погоде, поэтому никого из дам общества, кого хотелось видеть, не встретил. По вашим словам, что я *человек, испытывающий себя*, я отправился к плебсу в цыганские палатки».

Дам общества Лев Николаевич потому надеялся встретить в Сокольниках, что в этом сосновом лесу, который тогда был далеко от Москвы, 1 мая бывали гулянья, но вряд ли Лев Николаевич в Сокольники поехал для того, чтобы встретиться со знакомыми дамами; он поехал к цыганам.

В Москве он зашел на Кузнецкий мост в книжный магазин к Владимиру Ивановичу Готье, который продавал книги и выдавал их на прочтенье. По старому знакомству Лев Николаевич абонировался на книги. Книги, вероятно упакованные в лубяные короба, положили в тарантас.

Поехали. Кроме обычного груза и книг, в чемоданах были нарядные костюмы, за которые Лев Николаевич не уплатил французу-портному. Так как в черновиках «Казаков» и в напечатанной повести Лев Николаевич все время вспоминает о м-сье Капеле (Шапеле), которому он остался должен шестьсот семьдесят восемь рублей, то мы можем считать, что это записано точно.

Костюм Толстой надел спустя много времени в Тифлисе, а заплатил за него через четыре года.

Обычная дорога на Кавказ шла через Воронеж и землю Войска Донского, но братья выбрали дорогу обходную — через Казань.

Тарантас начал свое путешествие, которое измерялось тысячами километров и больше чем месяцем пути.

Доехали до первой почтовой станции; надо было менять лошадей, перекладываться в другую запряжку, перепрягать разномастных усталых лошадей. Привели экипаж: подмена такая звалась ездой на перекладных. Лошадей предоставляли хоть и плохих, но не без спора и не без взяток по подорожной.

До Казани братья ехали две недели; задержались здесь надолго.

Лев Николаевич чуть не сделал предложение милой Зинаиде Молоствовой, сидя с ней вечером в саду. Слова любви были и у него и у нее на губах, но они тех слов не сказали.

В Казани было хорошо; как будто вернулась юность, как будто нет позади ошибок, не зачеркнут уже ряд надежд и мало предчувствий счастья.

Пароход, а пароходов было тогда мало, должен был уйти 10 мая. Ждали, пока придет пароход. Пароход пришел и, похлопывая плицами колес по воде, завернул за угол вместе с рекой. Братья, уже ничего не дожидаясь, остались еще на пять дней.

Писали письма домой. Лев Николаевич писал сестре об ее подруге Зинаиде Молоствовой.

Следующий пароход должен был прийти не скоро.

Толстому было двадцать три года, брату его двадцать семь. Оба уже забыли тогда о зеленой палочке, не собирались идти на Фанфаронову гору, но их ждал Кавказ.

Кавказ солдаты тогда звали «погибельным». На Кавказе начиналось новое русское наступление: рубили деревья, входили в Чечню, разрушали чеченские завалы.

Кончали долго тянувшуюся войну.

На подорожной отмечали сроки. Николай Николаевич был офицер. Приходилось думать о сроках.

Нагрузили на тарантас вещи и поехали. Ехали плохой, просыхающей, но уже изъезженной дорогой. Была середина мая старого стиля.

Через пять дней тарантас прибыл в Саратов. Дорожная грязь надоела братьям чрезвычайно. Пошли смотреть Волгу. Лев Николаевич скоро записал в дорожную большую книгу:

«Вздумал я из Саратова ехать до Астрахани по Волге. Во-первых, думал я, лучше же, ежели время будет не благоприятное, проехать долже, но не трястись еще 700 верст; притом — живописные берега Волги, мечтания, опасность, все это приятно и полезно может подействовать; воображал я себя по-

этом, припоминал людей и героев, которые мне нравились, и ставил себя на их место, — одним словом, думал, как я всегда думаю, когда затеваю что-нибудь новое: вот теперь только начнется настоящая жизнь, а до сих пор это так, предисловице, которым не стоило заниматься».

Решение было принято.

Лев Николаевич вышел на московский перевоз и стал похаживать около лодок и дощаников. Тут стояли люди, по костюмам бурлаки.

— Есть ли свободная? — спросил Лев Николаевич, даже не употребив слово «лодка»; лодок здесь было больше, чем в Москве извозчиков на самом людном перекрестке.

«— А вашей милости чего требуется? — спросил старик с длинной бородой, в сером зипуне и поярчатой шляпе.

— До Астрахани лодку.

— Что ж, можно-с!»

Перекладных лошадей взяли только до московского перевоза, вкатили на руках тарантас в дощаник, погрузили чемоданы, сели сами с тремя дворовыми, подрядили двух гребцов. Вода на Волге высокая, течение несло лодку, горовой ветер надувал мохнатый парус. Когда ветер стихал, гребли гребцы.

Сперва на правом высоком берегу видны были осыпи, стада, деревни.

Под березками бульваров нагорных городков гуляли мужчины в картузах и цилиндрах, кафтанах, сюртуках, женщины в платьях с широкими рукавами.

Люди с бульваров смотрели на Волгу как будто сквозь лодку, ее не замечая. Лодок, нестройно идущих, по-разному державших паруса, на Волге было так много, как коров вечером в уездном городе, когда с поля в пыли возвращается стадо.

Люди на бульваре ждали дыма парохода.

Лодка выгребала на середину; берег перестал пестреть. Волга все ширела и ширела. Зима, накопившая снега по всей России, уходила со всеми своими сугробами в Каспий, покрывая луга, смывая берега.

Ванюша сидел на носу: смотрел на Волгу печальными глазами.

На Волге весной хорошее, синее время: время широкой воды. Баржи важные, как купцы с женами, идущими в церковь, подымались по Волге вверх, их тянули бурлаки бечевой. Баржи плыли, как будто не видя человеческого труда, спесиво подымая волну широко расправленными дощатыми грудями.

Посреди Волги плыли на многих парах весел быстрые лодки, загруженные тонким, свернутым канатом. Завозные лодки останавливались, опускали якорь. Канат оживал и уходил в воду. Через долгое время показывалась грудь баржи, потом палуба, по которой шли кони, кружась вокруг ворота, на который наматывался канат. Баржа доплывала до якоря, а в это время завозная лодка опять везла якорь, который забирали с баржи.

Так груженная многими десятками тысяч пудов товара в мочальных новых кулях баржа цапала за дно, тянулась тысячи верст до Питера.

Изредка вдали возникал пароход, рубя воду плицами колес так, как трактор сейчас рубит грунтовую дорогу шипами широких гусениц.

Шли знакомые баржи — маленькие, такие, на каких грузили толстовское добро, когда ехали из Тулы в Казань, побольше и совсем большие.

Плыли баржи смоленые.

Плыли, блестя свежим деревом, желто-белые беляны с домиками на высоких палубах.

Вечерами лодки плыли к берегу поближе. Гребцы выбирали, где переночевать. В прибрежных кустах еще пели соловьи.

Как будто пели одетые туманом и сами кусты, как церкви.

Лодка тихо плыла от соловьев к соловьям, как будто подтягивалась тонким канатом к якорю соловьиной песни.

Собрав валежник и случайные, выброшенные рекой, издалека принесенные дрова, разводили костры, ночевали у пестрого огня. Засыпали на кошмах.

Утра были холодны, солнце в тумане выкатывалось из-за Волги. Из этой долгой поездки Лев Николаевич привез на Кавказ ревматизм и долго лечил его в шипящих горячих кавказских водах, бегущих мелкими струями по камням.

Ранним утром грузились опять в лодку. Солнце согревало воду и счесывало с ее глубокой ряби туман.

Ванюшка на носу дощаника ставил дорожный самовар, вероятно старый, еще отцовский.

Его будет у Толстого выпрашивать племянник старого казака Епишки Сехина — Марка Хромой; казак напишет карандашом льстивые каракули: «Осмелюсь просить Вас, Ваше Сиятельство, что ежели милость ваша будет, т. е. насчет дорожного самовара, и вперед готов вам служить, ежели он старенькой и к надобности не потребуется».

Вероятно, Лев Николаевич подарил вещь — по широте характера, беспокойству и причудливости. В дневнике 29 ноября 1851 года он в самохарактеристике подчеркивал: «Нынче я поймал свое воображение на деле: оно рисовало себе картину, что у меня много денег, и что я их проигрываю и истребляю так, и это доставляло ему большое удовольствие».

Толстой о своем воображении пишет, как о другом, отдельном существе.

Он сам не находил себе места и Ванюшке часто приказывал подать трубку не потому, что хотел курить, «...а мне нравится, что он шевелится».

Тихо на лодке; все отдыхают. Курит граф Лев Николаевич Толстой. Все беды — большие беды; вся работа — великая работа; все впереди.

Дым от самовара подымался над Волгой голубым, привычным и знакомо пахнущим столбом.

Опять по реке плывет пароход, пуская над Волгой черный, быстро тающий дым.

Лев Николаевич о нем никогда не напишет и не написал бы, если бы и докончил свой очерк путешествия по Волге.

Лев Толстой техникой не интересовался. С изумлением помещика и с гордостью деревенского тру-



Исаакиевский собор в Петербурге.



Храм Христа Спасителя в Москве.



В. В. Арсеньева.



А. А. Толстая.

женика описывал Москву; жалея, писал о московских извозчиках; но, прожив без восемнадцати лет столетье рядом с Тулой, побывав в ней, может быть, тысячу раз, служа в ней, кутя в ней, покупая в ней, он не заметил ее, не заметил, что в Туле стоит завод, который делает ружья и тесаки на всю русскую армию, делает самовары и разную галантерею.

Плыли двадцать дней, значит двадцать раз приставали к берегу — не меньше. Пережили шторм, видали разные народы.

Все реже села, реже церкви, все ниже берег. Ночевали в Царицыне, который вытянулся вдоль Волги на много часов езды.

Плывет лодка. Сидит Николай Николаевич — спокойный, милый человек, всеми любимый, знает, что брат его везет с собой флейту и английский словарь: хочет учиться. Лева совсем пустячный малый, не будет он ни на флейте играть, ни по-английски говорить, а умный парень — с ним будет хорошо охотиться под Кизляром, только он не понимает охоту с ружьем.

Толстой сидит молодой, бритый: Ванюшка его в дороге бреет; просматривает журналы, перечитывает Тургенева, из «Современника» читает вслух брату стихи Некрасова, разгадывает глухо написанные, но понятные статьи про Францию.

Ванюша Суворов торопится увидеть новые края и ждет, что будет дальше; не решается спросить, куда же они приплывут.

Все трое на Кавказе услышат, как там не по-тульски квакают, а по-тамошнему звенят лягушки. Будут все пить: Лев Николаевич с раскаянием, Николай Николаевич — не думая ни о ком, Ванюшка украдкой, а пить будут все одно и то же — дешевый чихирь.

Ванюшка почти друг Толстого, но 8 октября 1852 года Лев Николаевич запишет в дневнике: «Вчера посылал Ванюшку в казармы за грубость».

«Послать», «отправить» — значило высечь.

Волга течет, как время, меняются берега. Едет изменяться Лев Николаевич. Пока было только пре-

дисловие к жизни. Теперь жизнь поворачивается широкими речными изгибами.

Навстречу лодке и в ту же сторону, обгоняя лодку, плывет дощатая, лубяная, смоленая и просто строганая, лыковая, мочальная Россия. В лодке никто не знает, что будет другая Россия.

Широки берега. Долог бег воды; кажется, не будет ему конца.

Рябь на реке пестрит, перебивается, как строки рукописи. Может быть, так вспомнится через десятки лет.

От ночевки к ночевке, как от тетради к тетради.

* * *

В Астрахани ночевали, слушали лягушек, писали письмо в село Покровское к сестре Маше.

В Астрахани народ пестрый: русские, татары, калмыки и есть индийцы; базар совсем другой.

Переправились через Волгу, посмотрели на камыши, которые поднялись как рощи, заслонили небо.

На перекладных тарантасом поехали по линейному тракту на Кизляр. Накатанная, изрытая дорога углублялась в степь, деревья как оборвало.

Степь сперва серая, потом серо-пепельная, потом красная. Потом клочковатая с красным песком в промежутках между кустиками травы.

Почтовые станции без крыш. Недалеко от Волги линейный тракт пересекла другая дорога. Звали ту дорогу старым именем: «Разбойничья».

Стада овец, рыжих от пыли, — огромная рыжая земля.

Ночью звезды спускаются до самой травы, как будто небо подоткнули под землю или держит небо всю степь в горсти.

Лев Николаевич утром сам перекладывал с Ванюшкой узлы и чемоданы, садился очень благоразумно — прямо и аккуратно.

Брат, глядя на него, улыбался.

Лев Николаевич все время помнил, что у него где находится: где деньги и сколько их. Казалось ему, что все это очень практично и навсегда устроено. Сосчитал он, сколько у него долгов, сильно морщился, вспоминая, как извинялся перед портным и какое у того сделалось покорное лицо.

Сосчитал, сколько надо экономить, чтобы заплатить долги, сколько надо положить на жизнь в месяц, прикинул десять рублей и восхитился порядку.

Поехали. Ямщик другой — ногаец, кони другие — помельче, покруглее, мохнатые, одномастные.

Тянутся мечты ленивые, восторженные, тянутся, бегут, перебивая друг друга, как конские ноги. Думы по книжкам, как он окажется лихим и храбрым и будет учиться английскому языку и на флейте, его полюбит черкешенка, а он ее научит говорить по-французски — говорит же Ванюша.

Крупы лошадей опускаются и подымаются все так же; полуявь, полусон, полубред. Сменяются занесенные песками плоскокрышие станции. Тарантас качается, как корыто, в котором моют младенца, или как вода в корыте; с братом говорить нечего — все знает; с Ванюшей разговоры короткие.

ГОРЫ

Толстой ехал на Кавказ в 1851 году сорок дней.

Пробыл он на Кавказе два года семь месяцев.

Писал повесть «Казаки» десять лет — с 1852 по 1862 год.

Значит, не скоро сказка сказывается.

Писать можно, только многое поняв, во многом изменившись. Лев Николаевич написал в конце концов не про себя, а про человека, на него похожего, — Оленина.

Литература — действительность, но перестроенная, освобожденная от случайности. Толстой поехал для того, чтобы писать, значит можно процитировать здесь несколько строк из «Казаков»: «Чем дальше уезжал Оленин от центра России, тем дальше каза-

лись от него все его воспоминания, и чем ближе подъезжал к Кавказу, тем отраднее становилось ему на душе».

Толстой уходил от своего общества, чувствовал освобождение от прошедшего, а прошлое ехало сзади за ним, сложенное с вещами на тарантасе.

Сменялись кони, перепрягался тарантас — память и наследство прошлого.

Начинались пески, степь то желтела, то краснела, появилась верблюжья колючка; зарядили ружья, стали встречаться вооруженные люди.

«Один раз перед вечером ногаец ямщик плетью указал из-за туч на горы. Оленин с жадностью стал вглядываться, но было пасмурно и облака до половины застилали горы. Оленину виднелось что-то серое, белое, курчавое, и, как он ни старался, он не мог найти ничего хорошего в виде гор, про которые он столько читал и слышал».

Юноша думал, что горы и облака похожи друг на друга и что все это слова, выдумка, как, например, романтическая любовь к женщине. «Но на другой день, рано утром, он проснулся от свежести в своей перекладной и равнодушно взглянул направо. Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидал — шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту, — чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба».

Кто же ехал, кто видел, кто сумел увидеть эти бесконечно далекие и близкие, нужные горы? Для чего их увидел?

Увидел их не один. Сначала увидал Ванюшка, он раньше проснулся.

«И тоже давно на них смотрю, вот хорошо-то! Дома не поверят».

Горы приближались; по утрам они видны были уже разделенными, разно-далекими. А степь все та же, может быть, стала рыжее и песчанее.

Вот и Терек бежит: по-горному быстрая, по-степному широкая река. Дорога под Кизляром обсажена высокими тополями, по бокам журчат проведенные

из Терека канавы, земляная крепость обозначена правильным пятиугольником невысоких валов и рвами, заросшими камышом.

В Кизляре не задержались; удивились на виноградники, на стаи бездомных собак.

В городе живут разные люди, и каждое племя в своем, валом обнесенном квартале. Так отделены друг от друга русские, грузины, кумыки, ногайцы, черкесы, казанские татары и персы.

Сады отцвели, но еще чуть прозрачны, доцветают виноградники, пахнет вином, дрожжами и кизячным дымом. Козы смотрят на тарантас с зеленых плоских крыш.

В Кизляре переменили лошадей.

Бежит река мутная, широкая; налево сыпучие пески, желтый и седой ковыль, направо сады, большие русские села, окопанные рвами, обнесенные земляными валами и плетеными тынами с терновой оторочкой поверху: это гребенские станицы, они вытянулись вдоль лесной полосы, они перебивают леса, как рифмы.

Станицы начинаются рогатками, воротами, будками с черно-белыми косыми полосами.

Черно-белое разделено оранжевым — это военная форма России. Но это только будки. Над воротами подымаются вышки казачьи, косматые. Часовые смотрят через Терек на Большую Чечню, на аулы — аулы подходят к самому берегу. Плоские крыши, широкие трубы.

Это Чечня замиренная, но ненадежная.

А там, дальше, подымаются увалами горы — Кочкалыковский хребет, Черные горы, еще какой-то хребет, за ними снежные бело-синие вершины с розово-желтыми отколами льда, освещенного солнцем, граненые, четкие, — там никто не был; с них бегут реки; они как будущее, которое все определяет.

Направо пески, следы оленей, волков, зайцев и фазанов. Местами размытые Тереком станицы, старые городища, брошенные сады, одичалые виноградники, и все заросло ежевикой.

Почти у воды на жердях стоят высокие караулки, как будто сады охраняют, а не стерегут немирную Чечню.

С тарантаса смотрят двое — куда это их бог привел? Николай Николаевич не любопытствует — он все это уже видал.

Этой дорогой поедет Оленин. О нем написал, отодвигая самого себя и в себя вглядываясь, Толстой после долгого рассматривания:

«Кто из нас не был молод, кто не любил друзей, кто не любил себя и не ждал от себя того, чего не дождался? Кто в ту пору молодости не бросал вдруг неудавшейся жизни, не стирал все старые ошибки, не выплакивал их слезами раскаяния, любви и, свежий, сильный и чистый, как голубь, не бросался в новую жизнь, вот-вот ожидая найти удовлетворение всего того, что кипело в душе».

Мысли декабристов о свободе, мечта, храбрость, гордость победы, гордость силы сменились для поколения Толстого новыми мечтами, которые стояли за горами, за долами; эти горы рождают реки, поят землю, реальны и не все видимы.

Видал я из-за Терека легкие горы Кавказа, их видно редко, но они главное, они рождают это небо, эту реку, этих людей.

Будущее как будто уже рождено.

В черновике Толстой писал: «Странно подделывалась русская молодежь к жизни в последнее царствование. Весь порыв сил, сдержанный в жизненной внешней деятельности, переходил в другую область внутренней деятельности, и в ней развивался с тем большей свободой и силой. Хорошие натуры русской молодежи сороковых годов все приняли на себя этот отпечаток несоразмерности внутреннего развития с способностью деятельности, праздного умствования, ничем не сдержанной свободы мысли, космополитизма и праздной, но горячей любви без цели и предмета».

Пожалеем, как своих, как близких, людей прошлого, удивимся тому, что они далеко видали и ошибались так близоруко.

Тарантас катится по мягкой пыли, гнутся и скрипят гибкие жерди. Волосы людей стали как войлок. Грязь легла на переносицы, обвела глаза, превратила щетину небритых щек в густую бороду.

День по-весеннему ясен, за пылью, за Тереком, за прибрежными зарослями, за мягко подымающимися вверх лиственными лесами стоят снежные горы, как еще не написанные и только приснившиеся гению в книге.

Юноша едет, сам не зная куда.

Толстой потом так написал про своего героя: «его положение в свете, его странное николаевское развитие — отрицать тяжело, соглашаться нельзя, жить хочется».

Очень хочется жить и понять.

Бегут кони.

В мире не было упряжки, которая влекла бы за собой не в колеснице, а в тарантасе с подушками, более драгоценный груз: Толстой ехал думать и писать.

СТАНИЦА СТАРОГЛАДКОВСКАЯ. РАЗОЧАРОВАНИЯ, УТОПИИ, ОХОТА

В «Казаках» Лев Николаевич ее назвал Новомлинской, соединив в ней черты разных станиц.

Четвертая батарея 20-й артиллерийской бригады, в которой служил Николай Николаевич, стояла в Старогладковской. В Старогладковскую прибыли 30 мая. Опрятные дома старой станицы подымались на высоких толстых столбах, тополя и акации перебивали тенями улицы, тыквы завивали плетни, мытые стекла окон сверкали.

Узорчатые крылечки, колонки, навесы от солнца — все раскрашено, вымыто, нарядно. Высокие, исправные крыши плотно и надежно прикрыты подстриженным камышом.

Все свое, но смотрит враждебно.

Толстой оглянулся вокруг и в первые дни как будто испугался.

«Пишу 1 июня в 10 часов ночи в Старогладковской станице. Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже». Это записано в дневнике.

Старогладковская обновляла тоску по дому.

Из Астрахани еще он писал Т. А. Ергольской:

«Не перестаю думать о вас и о всех наших, иногда даже упрекаю себя, что покинул ту жизнь, которая мне была дорога вашей любовью; но я только прервал ее, и тем сильнее будет радость вас снова увидеть и к ней вернуться».

Толстой надеялся, что разлука будет короткая.

Из станицы Старогладковской отправил он стихи казанскому приятелю — Александру Степановичу Оголину — жениху сестры Зинаиды Молоствовой. Толстой хотел через Оголина получить сведения о Молоствовой. Шуточная стихотворная форма скрывает смущение:

Господин
Оголин!
Поспешите
Напишите
Про всех вас
На Кавказ,
И здорова ль
Молоствова?
Одолжите
Льва Толстова.

По дневнику мы видим, Толстой любит в это время Молоствову: стремится к ней, мечтает о ней, но не может даже написать письма, потому что не знает отчества. А может быть, он нарочно поддавался судьбе, потому что отчество узнать было легко, хотя бы от Оголина.

Станица богатая, говорят по-русски, по-старинному, и очень хорошо; думают по-своему. Едят тоже по-своему. В праздник едят свинину и осетров, пекут пироги с начинкой из винограда и свинины; вино пьют ведрами. В будни кушают вареную простоквашу и караваи из запеченной просяной каши. В праздник носят шелка и платье с галунами, водят хороводы и бьют в бубны из сазановой кожи. В будни одеваются просто, но и в будни носят богатое оружие.

Все сыты, спокойны, горды.

Женщины покрывают голову канаусовыми чепцами, сверху повязывают шелковый платок — стягаш с загибом посредине.

Зимой надевают казачки шубы на беличьем или кошачьем меху с атласным верхом, с оторочкой из выдры. На ноги надевают шерстяные чулки — синие с красными стрелками.

Все добро по весеннему времени сейчас проветривается на плетнях.

Над Тереком туман. Гор не видно, тихо, но сказать, что спокойно, нельзя.

Старогладковская отделена от гор только Тереком. Была казачья пословица: «Терек бурлит — казак лежит; Терек молчит — казак не спит».

Толстой здесь не спал. Он тосковал, вспоминая Казань, как рай, Зинаиду Молоствову — как пропущенную возможность любви и цыганку Катю.

Помещенье ему сдали неохотно: поселился Лев Николаевич в доме богатого казака — Алексея Ивановича Сехина. Этот казак говорил по-городскому, но был он сутягой, высудившим сад у родного брата.

Потом Лев Николаевич переехал к брату Сехина: старика звали Епифаном — так он был записан при рождении. В станице на улице окликают его — Япишка, а в повести Толстого «Казаки» имя ему Ерошка.

Люди в станице все заняты.

Вода в Тереке подымалась летом, когда в горах таяли ледники, потом Терек спадал, и абреки переправлялись на казачий берег, который они считали своим.

Значит, опасность и на левом берегу была постоянная. Выезжали на пашни и разбивались на десятки: десять плугов обставляли себя арбами, на арбах караулили казачьи малолетки.

Пахали женщины. Женщин в сад провожали казаки с ружьями, и в садах среди высоких деревьев стояли посты.

У съезжей избы висел колокол тревоги; между станицами стояли вышки со смоляными бочками для

того, чтобы огнем ночью или дымом днем предупредить соседей об опасности.

Ночью ворота запирали, ставили караул. Из аулов на том берегу тоже никто не выходил, и только звери ночью гуляли по тихим лесам, прокладывая по росе тропы.

Жили богато, земля родила хорошо. Было много бахчей, винограда, кукурузы, проса, много скота. Хлеб часто прикупали.

Толстой в «Казаках» описал эту жизнь на узкой полосе лесистой плодородной земли, которая была во владении казаков.

«На этой-то плодородной, лесистой и богатой растительностью полосе живет с незапамятных времен воинственное, красивое и богатое староверческое русское население, называемое гребенскими казаками.

Очень, очень давно предки их, староверы, бежали из России и поселились за Тереком, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удержали и там, во всей прежней чистоте, русский язык и старую веру. Предание, еще до сих пор свежее между казаками, говорит, что царь Иван Грозный приезжал на Терек, вызывал с Гребня к своему лицу стариков, дарил им землю по сю сторону реки, увещевал жить в дружбе и обещал не принуждать их ни к подданству, ни к перемене веры. Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими, и любовь к свободе, праздности, грабежу и войне составляет главные черты их характера. Влияние России выражается только с невыгодной стороны: стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там. Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защитить его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает врага-горца, но презирает чужого для него и угнетателя солдата... Лучшее оружие добывается от горца, лучшие лошади покупаются и крадутся у них же. Молодец-казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже со своим братом говорит по-татарски. Несмотря на то, этот христианский народец, закинутый в уголок земли, окруженный полудикими магометанскими племенами и солдатами, считает себя на высокой степени развития и признает человеком только одного казака; на все же остальное смотрит с презрением. Казак большую часть времени проводит на кордонах, в походах, на охоте или рыбной ловле. Он почти никогда не работает дома... На женщину казак смотрит, как на орудие своего благосостояния; девке только позволяет гулять, бабу же заставляет с молодости и до глубокой старости работать для себя и смотрит на женщину с восточным требованием покорности и труда. Вследствие такого взгляда женщина, усиленно развиваясь и физически и нравственно, хотя и покоряясь наружно, получает, как вообще на Востоке, без сравнения большее, чем на Западе, влияние и вес в домашнем быту. Удаление ее от общественной жизни и привычка к мужской тяжелой работе дают ей тем больший вес и силу в домашнем быту. Казак, который при посторонних считает неприличным ласково или праздно говорить с своей бабой, невольно чувствует ее превосходство, оставаясь с ней с глазу на глаз. Весь дом, все имущество, все хозяйство приобретено ею и держится только ее трудами и заботами. Хотя он и твердо убежден, что труд постыден для казака и приличен только работнику-ногайцу и женщине, он смутно чувствует, что все, чем он пользуется и называет своим, есть произведение этого труда и что во власти женщины, матери или жены, которую он считает своею холопкой, лишить его всего, чем он пользуется... Женщины большею частью и сильнее, и умнее, и развитее, и красивее казаков...»

Откуда пошли гребенские казаки — мы не знаем. Они или отрасль донских казаков, или выходцы из рязанских земель.

В кабардинском посольстве к Ивану Грозному участвовала казачья делегация. Гребенские казаки ходили с царскими войсками на Шамхала Тарковского

в 1559 году. В 1567 году на Сунже была построена крепость Терки.

В нашей истории казаки появляются внезапно, как уже сложившаяся сила. Вероятно, казачество начиналось или безыменно, или под иным именем.

В летописях упоминаются бродники — беглецы, которые ходили за черту княжеств бродить в диких, еще никому не принадлежащих землях.

Гребенские казаки, вероятно, правы, когда в преданиях, пересказанных Епифаном, утверждали, что они на Кавказе жили задолго до Ивана Грозного. Казаки разговаривают в легенде с Иваном Грозным, как с могучим владыкой, но не считают себя ему подвластными.

В те времена гребенские казаки жили на том берегу Терека: на первом уступе гор — «на гребне». По уговору с русским правительством они перешли за Терек на плодородную, но опасную полосу, окаймляющую русские владения.

В легенде царь, заключив с казаками соглашение, «уходит в свою Сибирь».

Понятие о России здесь очень смутно, но, может быть, Сибирь указана потому, что завоевание Сибири связано тоже с казаками.

Может быть, поселения гребенских казаков на Кавказе и поход казаков, нанятых Строгановым, на Сибирь одновременны.

Толстой, позднее изучая русскую историю, утверждал, что недаром на Западе нас называют казаками. Народ хочет быть казаками. Царевна Софья не могла завоевать Крым, а казаки бывали в Крыму неоднократно. Азов, который Петр взял с таким трудом, казаки захватили и держали два года.

И при Петре штурм валов Азова и победа над флотом турецким принадлежали казакам.

Толстой видит в казачестве образец для всей России — крестьянство без дворян.

Такое толкование относится и к периоду завершения «Казаков» и ко времени работы Толстого в Яснополянской школе.

Яснополянские школы со свободным приходом и

уходом, без определенной программы, основанные для поиска и выращивания талантливых детей, — как бы казачьи школы, как бы продолжение идей казачества на педагогику. Эта ватага без начальства — осуществление мечты о казачестве.

Жили здесь, не боясь ни гор, ни Терека, хотя были станицы, у которых крыши при высокой воде в Тереке оказывались ниже мутной, быстрой речной волны. Вода могла прорваться и прорывалась; тогда станицы уходили от реки подальше, бросая старые виноградники и огороды.

Казаков правительство трогало мало. Старые казачьи традиции были связаны с горским укладом жизни и со старыми русскими обычаями, принявшими здесь новый характер.

На краю русской земли, за Волгой, за песками жила крестьянская община без помещиков и попов. Не было здесь бедняков, измученных женщин, оглядки на приказчика; тут никого нельзя было приказать высечь и даже трудно было кого-нибудь обласкать.

Разбитый Пугачев, говорят, хотел уйти на край русской земли к терским казакам.

Но и здесь все менялось.

Пришли войска, чиновники, появились деньги, батраки. Казак старого времени стал редкостью; Епифану Сехину теперь под восемьдесят лет, он сам говорит, что, когда у солдат была царица, так он был уже не мальчиком: значит, в конце XVIII века Епишке было уже лет за двадцать.

Толстой его описал так:

«Через несколько минут в дверях хаты показалась фигура дяди Ерошки. Тут только Оленин заметил всю громадность и силу сложения этого человека, несмотря на то, что красно-коричневое лицо его с совершенно белою окладистою бородой было все изрыто старческими, могучими, трудовыми морщинами. Мышцы ног, рук и плеч были так полны и бочковаты, как бывают только у молодого человека. На голове его из-под коротких волос видны были глубокие зажившие шрамы. Жилистая толстая шея была, как у быка, покрыта клетчатыми складками.

Корявые руки были сбиты и исцарапаны. Он легко и ловко перешагнул через порог, освободился от ружья, поставил его в угол, быстрым взглядом окинул и оценил сложенные в хате пожитки и вывернутыми ногами в поршнях, не топая, вышел на средину комнаты. С ним вместе проник в комнату сильный, но не неприятный смешанный запах чихирю, водки, пороху и запекшейся крови».

Этот могучий человек когда-то был славен по всему войску. Сейчас он говорил Лукашке:

«— Не то время, не тот вы народ, дерьмо казаки вы стали. Да и русских вон что нагнали! Засудят».

Все прошло, старый казак, который совершал невероятные подвиги, стал чудаком и посмешищем для станицы. У него нет места, где бы его слова слушали; это не Старый цыган из поэмы Пушкина «Цыганы». Только Толстой слушает Епишку; только в лесу старый охотник, который все знает, все понимает, освобождался от насмешек, от всего того, что ему не нравилось; здесь он дружил со зверями, с лесом и учил Толстого, как понимать и любить мир.

Крепостных среди казачества не было, и Толстой со своими дворовыми был для казаков явлением новым, неприятным. Про него первое время говорили плохо.

И крестьяне, которые жили дальше к Кизляру, помещиков не имели, жили свободно, ходили со стаями полуприрученных собак на кабанов, а так как ружей не хватало, то кололи кабанов штыками, привязанными на палки.

Лев Николаевич около десяти раз возвращался в станицу Старогладковскую. В первое время он жил здесь с братом; Николай Николаевич всем нравился, его любили дети, друзья, подчиненные. Он был удачлив и когда начал писать, то сразу создал прекрасные вещи. Но он ничего не хотел и прежде всего не хотел никем казаться: его увлекали вино и охота.

Охота и вино сблизили Николая Николаевича с Епишкой, и он оценил старого казака, который прекрасно знал лес, выслеживал зверя и рассказывал про зверей.

Епифан Сехин ввел Николая Николаевича в литературу. О нем написал Н. Н. Толстой замечательный очерк «Охота на Кавказе».

Про Николая Николаевича Толстого Иван Тургенев говорил, что ему не хватает только недостатков, чтобы стать великим писателем. Николай Николаевич первый описал Епишку — широко, талантливо. Очерк-повесть «Охота на Кавказе» была напечатана в 1857 году в «Современнике». Некрасов таким образом приветствовал старшего брата и младшего.

Охота описана прекрасно. Когда Епишка поэтичен, охота кажется богатырским боем. Войска тревожат звериные стаи, на линию выходят стада, кавалерия в полном составе рубит зверей.

В этом рассказе Епишка — главный герой. Фет говорил потом, что Николай Николаевич первый «выщупал» этот характер.

Охота на Тереке ружейная. Епишка ходил на охоту со старинным длинным ружьем, из которого стрелял так, как стреляют чеченцы — с посошков: со специальных упоров.

Влет птицу Епишка бить не умел, да это и нельзя было сделать из его тяжелой, старинной флинты.

Псовой охоты, которой увлекался Лев Николаевич, здесь не знали, здесь не было ни гончих, ни борзых, хотя были свои любители собак; был офицер Султанов, разведчик, который ходил к чеченцам один, а в лесу его всегда сопровождала большая собачья стая — он и любил только собак.

Другие собаки казачьей станицы жили в полудиком состоянии: они охотились сами по лесам, увязывались за охотниками пестрой толпой, были неутомимы, смелы и дики.

Толстой сперва говорил, что, привыкнув к турецкому табаку, нельзя курить простой табак Жукова и что после псовой охоты ружейная охота не интересна.

Но он втянулся в эту охоту. Она давала возможность быть одному в лесу и думать, ни с кем не разговаривая, она освобождала от иронии.

Лев Николаевич был очень одинок в станице: брат

его уехал, офицеры с ним не водились, считая его гордецом, и только огромный Епишка рассказывал ему про старое, по-своему учил жить, учил охотиться на зверей с ястребом и выслеживать оленей.

Необходимость иногда является в одежде случайности: так говорил человек, владевший умами в то время, — Гегель.

Толстой поехал на Кавказ случайно, случайно там задержался, случайно долго прослужил без чина, случайно подружился с заштатным казаком Епифаном, но все это была необходимость его жизни: он не спорил с этими случайностями.

Прежде Толстой думал, как перестроить свою жизнь, как наладить отношения с крестьянами. Случайность, которую иногда называют судьбой, привела его к гребенским казакам. Заинтересованность заставила его все время возвращаться в Старогладковскую.

История создания повести «Казаки» — история длинная. За десять лет, покамест она создавалась, происходила не смена вариантов — менялось понимание Толстым жизни, восприятие нравов вольного казачества, как новой возможности жизненного устройства для всего человечества. Он искал ключа в изображении жизни гребенских казаков: читал для этого библию, «Илиаду», но самое главное он узнал не из книг: что жизнь работающего человека сложна, а не проста, и что она и есть самое значительное. Он пытался выразить эту жизнь.

Пока Толстой скучал в станице, но не так, как Онегин скучал в своей деревне. Разница состояла в том, что станица не принадлежала Толстому так, как Онегину принадлежало его поместье.

Лев Николаевич сперва в станице жил как путешественник, который населяет новое место воспоминаниями о своем прошлом и мечтами о будущем.

Он писал письмо Молоствовой, от которой был отделен рекой и пустынями, не собираясь его отправлять: он обращал к женщине не письмо, а запись в дневнике, писал сам для себя, без надежды быть кем-нибудь прочитанным.

Он вспоминал о том, как был счастлив в Казани: «Я не сказал бы, что это потому, что я влюблен. Я не знал этого. Мне кажется, что это-то незнание и есть главная черта любви и составляет всю прелесть ее». Он продолжает: «Я ни слова не сказал ей о любви, но я так уверен, что она знает мои чувства, что ежели она меня любит, то я приписываю это только тому, что она меня поняла».

Ключ человеческой судьбы поворачивается в двери, не находя по вырезу бородки уступов в замке. «Мои отношения с Зинаидой остались на ступени чистого стремления двух душ друг к другу».

Случайно Толстой не знал отчества Зинаиды, случайно он не написал письма, необходимость судьбы провела его мимо этой женщины и влюбила в казачку.

Рядом с Зинаидой он вспоминает про цыганку: «Катины песни, глаза, улыбки, груди и нежные слова еще свежи в моей памяти, зачем их выписывать, ведь я хочу рассказать историю совсем не про то. Я замечаю, что у меня дурная привычка к отступлениям... Пагубная привычка. Несмотря на огромный талант рассказывать и умно болтать моего любимого писателя Стерна, отступления тяжелы даже и у него». Но отступления продолжаются: «Кто водился с цыганами, тот не может не иметь привычки напевать цыганские песни, дурно ли, хорошо ли, но всегда это доставляет удовольствие, потому что живо напоминает...» Отступление продолжается. Толстой, стоя у окна казачьей хаты, вспоминает Катину песню: «...песню, которую говорила мне Катя, сидя у меня на коленях в тот самый вечер, когда она рассказывала мне, что она меня любит и что оказывает расположение другим только потому, что хор того требует, но что никому не позволяет, кроме меня, вольностей, которые должны быть закрыты завесою скромности. — Я в этот вечер от души верил во всю ее пронырливую цыганскую болтовню, был хорошо расположен, никакой *гость* не расстроил меня, за то и вечер и песню эту люблю».

Так мечтал Толстой и пел цыганскую песню в ста-

нице Старогладковской. Прохожий казак принял песню за калмыцкую и смеялся над Толстым, а он-то думал, что прохожий заслушался.

Толстой записывает: «...теперь уж кончено, я не мог продолжать ни мечтать, ни петь».

Толстовское описание многопланно: тут и воспоминание о Казани, и цыганка, и общие рассуждения об отступлениях и о цыганских песнях, и во все это, как реальность, входит станица.

Долго еще будет Толстой искать у слушателей понимания, много раз он еще будет любить и не понимать, кого любит, много раз он будет отворять дверь и не находить в комнате ту, которую искал. И раз он запишет про то, как любимая казачка ответила влюбленному в нее, приехавшему из Тулы волонтеру Оленину: «Уйди, постылый».

СТАРЫЙ ЮРТ. МИСЕРБИЕВ. КНЯЗЬ БАРЯТИНСКИЙ

Толстой попал в укрепление Старый Юрт, находящийся в Терской области, куда его брата послали с артиллерией для прикрытия лечащихся. Здесь держали две роты пехоты и несколько орудий.

Толстой тосковал здесь и не мог найти причину своей тоски. Он тосковал в предчувствии большой работы, еще не зная, что он напишет, и не зная, как жить.

«Я думал прежде — это от бездействия, праздности. Нет, не от праздности, а от этого положения я делать ничего не могу. Главное, я ничего похожего на ту грусть, которую испытываю, не нахожу нигде: ни в описаниях, ни даже в своем воображении. Я представляю себе, что можно грустить о потере какой-нибудь, о разлуке, о обманутой надежде. Понимаю я, что можно разочароваться: все надоест, так часто будешь обманут в ожиданиях, что ничего ждать не будешь... Все это я понимаю, и в каждой такого рода грусти есть что-то хорошее с одной стороны. Свою же грусть я чувствую, но понять и представить себе не могу. Жалеть мне нечего, желать мне

тоже почти нечего, сердиться на судьбу не за что. Я понимаю, как славно можно бы жить воображением; но нет. Воображение мне ничего не рисует — мечты нет. Презирать людей — тоже есть какое-то пасмурное наслаждение, — но и этого я не могу, я о них совсем не думаю; то кажется: у этого есть душа, добрая, простая, то кажется: нет, лучше не искать, зачем ошибаться! — Разочарованности тоже нет, меня забавляет все; но в том горе, что я слишком рано взялся за вещи серьезные в жизни, взялся я за них, когда еще не был зрел для них, а чувствовал и понимал; так сильной веры в дружбу, в любовь, в красоту нет у меня, и разочаровался я в вещах важных в жизни; а в мелочах еще ребенок».

Старый Юрт — чеченский поселок Грозненского отдела Терской области, таков адрес Л. Толстого.

Старый Юрт находится на границе Чечни.

Сейчас воды источника у Старого Юрта иссякли. Сухие камни сереют над обрывом, внизу стоит школа имени Льва Толстого, вокруг школы чинары.

Необыкновенное трудолюбие Толстого поражает нас и здесь. Лев Николаевич узнавал язык народа, среди которого он жил, делал очень точные фольклорные записи — первые записи на даргинском языке, и это не только упражнение молодого офицера, который переживает романтическое увлечение горами, но это как бы подготовка к будущим рассказам о Кавказе. Фольклорные отзвуки, много раз проверенные, помогут Толстому создавать «Хаджи Мурата» через много десятилетий.

Здесь часто бывал молодой чеченец, Садо Мисербиев; отец его был зажиточен, но деньги у него были закопаны, и сын должен был добывать их удальством.

Он, как Толстой говорил, «рискует иногда 20 раз своей жизнью, чтобы своровать вещь, не стоящую и 10 рублей; делает он это не из корысти, а из удали».

Толстой был у Мисербиева в гостях, получил от него подарок — дорогую шашку. Отдарил его серебряными часами брата. Научил чеченца записы-

вать свои выигрыши и проигрыши: Садо все надували.

Надували и Толстого. Молодой волонтер хотел проживать не более десяти рублей в месяц и на эти деньги в Старогладковской можно было жить, но проигрывал сотни рублей, все время зарекаясь и снова начиная играть. Нас должно удивлять не обыкновенное в Толстом — он играл, как все, — а удивительная широта его интересов. Он видит природу Кавказа, казаков, своих товарищей по охоте и через патриархальную жизнь казачества по-новому понимает крестьянскую жизнь вообще.

Среди офицеров был некто Кнорринг. Им Лев Николаевич заинтересовался как объектом описания — для литературной практики. Вот презрительное описание человека, который чуть не погубил Толстого. Привычка относиться ко многим, как к второстепенным героям романа, часто делала Толстого в жизни беззащитным.

«Лицо широкое, с выдающимися скулами, имеющее на себе какую-то мягкость, то, что в лошадях называется «мясистая голова». Глаза карие, большие, имеющие только два изменения: смех и нормальное положение. При смехе они останавливаются, имеют выражение тупой бессмысленности. Остальное в лице по паспорту».

Толстой в Старом Юрте унывал: «Уже дней пять я живу здесь и одержим уже давно забытой мной ленью. Дневник вовсе бросил. Природа, на которую я больше всего надеялся, имея намерение ехать на Кавказ, не представляет до сих пор ничего завлекательного. Лихость, которая, я думал, развернется во мне здесь, тоже не оказывается».

Спокойно думал о том, что его здесь убьют. Вот дневник 2 июня 1851 года: «Как силен кажусь я себе против всего с твердым убеждением, что ждать нечего здесь, кроме смерти; и сейчас же я думаю с наслаждением о том, что у меня заказано седло, на котором я буду ездить в черкеске, и как я буду волочиться за казачками и приходить в отчаяние, что

у меня левый ус хуже правого, и я два часа расправляю его перед зеркалом. Писать тоже не могу. Судя по этому — глупо».

Дальше запись о мастерстве, написанная на французском языке, а перед этим сказано по-русски о том, как трудно переводить в «каракули» горячие, живые, подвижные мысли. И дальше восклицание: «Куда бежать от ремесла?»

Мысли о смерти были искренни, и в то же время отчаяние у него становилось частью художественного опыта. Он на Кавказе две недели и уже хочет измениться. Пока он доволен одним и записывает 13 июня не без самодовольства и самоуверенности: «Несколько раз, когда при мне офицеры говорили о картах, мне хотелось показать, что я люблю играть. Но удерживаюсь. Надеюсь, что даже ежели меня пригласят, то я откажусь».

Он занят дневником. Дневник изменяется — становится зримée, ощутимее: «Ночь ясная, свежий ветерок продувает палатку и колеблет свет нагоревшей свечи. Слышен отдаленный лай собак в ауле, перекличка часовых. Пахнет засыхающими дубовыми и чинаровыми плетьми (ветками. — *В. Ш.*), из которых сложен балаган. Я сижу на барабане в балагане, который с каждой стороны примыкает к палатке, одна закрытая, в которой спит Кнорринг (неприятный офицер), другая открытая и совершенно мрачная, исключая одной полосы света, падающей на конец постели брата. Передо мной ярко освещенная сторона балагана, на которой висит пистолет, шашки, кинжал и подштанники. Тихо. Слышно — дунет ветер, пролетит букашка, покружит около огня, и всхлипнет и охнет около солдат».

Толстой не дописал своего пейзажа и жалуется тут же, что чернил нет, но он уже все увидел. Вот в этом балагане Кнорринг обыграл волонтера.

Довольно долго Толстой удерживался. В «Хаджи Мурате» впоследствии была описана сцена проигрыша Бутлера в отряде генерала Барятинского: «Раза два Бутлер выходил из палатки, держа в руке, в кармане панталон, свой кошелек, но, наконец,

не выдержал и, несмотря на данное себе и братьям слово не играть, стал понтировать».

Толстой прямо использует свой горестный опыт — молодой человек давал слово не играть именно братьям.

«И не прошло часу, как Бутлер, весь красный, в поту, испачканный мелом, сидел, облокотившись обеими руками на стол, и писал под смятыми на углы и транспорты картами цифры своих ставок».

Несчастный игрок «...написал письмо брату, каясь в своем грехе и умоляя его выслать ему в последний раз 500 рублей в счет той мельницы, которая оставалась еще у них в общем владении».

Таким образом, мы можем точно восстановить обстановку карточного проигрыша Толстого.

Среди этой спутанной, рассеянной жизни мы видим спокойные занятия Толстого: он наблюдает казаков и читает по истории казачества. Для истории казачества ему нужна история России вообще: он делает записи ежедневного чтения, а потом подытоживает, что же интересного он узнал за неделю, за месяц.

Толстой считал, что время жизни его на Кавказе было временем его наибольшего роста. Мы можем сказать, что это было время наибольшей работы.

Самолюбивый человек, оставленный один, знающий себе цену, работает над собой в одиночестве со страшным упорством, не сосредоточивая интересы на своих переживаниях. Он не только записывает казачьи песни, но и видит законы повторения народной песни, делая научные наблюдения необыкновенной точности.

На пятьсот рублей Кноррингу был дан вексель сроком до 1 января 1852 года. Карточный долг считался долгом чести. Портному Толстой был должен около семисот рублей, но портному можно было не платить, а неплатеж денег в полку выбрасывал человека из общества.

Толстой замкнулся в себе, стал больше работать и решил уже продать Ясную Поляну, чтобы заплатить долг.

Пока оставалась надежда начать все сначала на Кавказе.

Для этого нужна служба, лучше всего военная.

Для службы нужна протекция — связи. Лучше служить так, как служили люди общества. Нужно быть, «как все» — как все свои.

Значит, нужно покровительство князя Барятинского.

Как отнесся Барятинский к Толстому, мы не знаем. Известно только, что 17 августа Толстой пишет Ергольской, уже из Старогладковской: «Две недели тому назад я расстался с Николенькой; он — в лагере при горячих источниках, а я — в его главной квартире. Вернется он в сентябре. Многие мне советуют поступить на службу здесь, и, в особенности, князь Барятинский, которого протекция всемогуща».

Это оптимистическое замечание основано было на сообщении Николая Николаевича после участия Толстого в набеге: «Кн. Барятинский очень хорошо отзывается об тебе, ты, кажется, ему понравился, и ему хочется тебя завербовать».

Толстой после проигрыша был растерян. Письма его к тетке противоречивы — он мечется из стороны в сторону, проигрыш он таит, но ему не с чем вернуться в Тулу и не с чем оставаться на Кавказе.

Толстой писал Ергольской из Старого Юрта, не получая, вероятно, новых сведений по своим хлопотам:

«Бог даст, через четыре или пять месяцев мы снова соберемся все в Ясном, и возобновятся наши мирные беседы. Вы так необходимы для нашего общего счастья, что бог вас сохранит. Я твердо решил остаться служить на Кавказе. Не знаю еще, в военной службе или гражданской при князе Воронцове, это решится в мою поездку в Тифлис».

Тут же Толстой дарит свое фортепьяно Валериану и Машеньке, то есть возвращаться действительно не собирается.

Спасение должно было прийти здесь, на Кавказе. Вернуться в Тулу без чина, без ордена — значило

окончательно потерять уважение, стать ничем. С Кавказа надо было возвратиться со славой; трудность положения Толстого была еще в том, что его на Кавказ никто не посылал — он поехал сам и завяз, надеясь на протекцию.

Но князь Барятинский не запомнил Толстого.

Проигрыш Толстого был той случайностью, которая с ним часто повторялась; попытка снискать покровительство князя Барятинского была горькой неудачей, но не случайностью.

Лев Николаевич попал в Казань совсем молодым человеком и был членом провинциального аристократического общества; у его братьев была какая-то закалка от провинциализма, но Лев Николаевич хотел быть комильфо и был убежден, что человек, который не носит на улице перчатки, — дрянь. Брат Николенька смеялся над Толстым, но Лев Николаевич говорил то, чему его научили в доме Юшковой.

Жизнь на Кавказе на положении храбреца, который ничего не боится — это было по-тогдашнему понятным романтизмом, но который, однако, не должен был затягиваться.

Лев Николаевич был убежден, что так как он говорит по-французски, так как он граф и на улице ходит в перчатках, Барятинский, с которым у него есть общие знакомые, должен ему покровительствовать. В то же время Толстой уже в это время читал Руссо, Стерна, сам писал и умел понимать людей; у него был даже кое-какой жизненный опыт в деревне, и Барятинского он презирал.

Барятинский впоследствии был описан в «Набеге» иронично и завистливо: «Через несколько минут на крыльцо вышел не высокий, но весьма красивый человек в сюртуке без эполет, с белым крестом в петличке... В походке, голосе, во всех движениях генерала выказывался человек, который себе очень хорошо знает высокую цену».

Друзья-адъютанты поставили волонтера так, чтобы генерал его увидал проходя; это было унизительно, но необходимо: «Проходя мимо отворенной двери адъютантской, генерал заметил мою немундирную

фигуру и обратил на нее свое милостливое внимание. Выслушав мою просьбу, он изъявил на нее совершенное согласие и прошел опять в кабинет».

Ирония здесь обращена и на просителя и на генерала.

Барятинский свой, или, вернее, должен быть своим, с ним связаны мечты о том общественном положении, стремление к которому долго томило Толстого; он преодолевал его в «Севастопольских рассказах», преодолевал в «Войне и мире».

Толстой не мог найти себе места в кругу Барятинского, Воронцова, Горчакова.

Рядом с ними существуют Тушины, Хлоповы, Козельцовы, реально работающие офицеры. Толстой считает, что он не должен быть с ними, хотя догадывается, что эти люди и представляют собой настоящую силу армии; это Толстой поймет в «Севастопольских рассказах», но в письмах он будет по-прежнему больше писать о князе М. Д. Горчакове, а не о Корнилове, Нахимове, которые реально противостояли Горчакову и только поэтому могли защищать город.

Случайная встреча с Барятинским задержала Толстого на Кавказе и обратила его поездку в долгую службу, проведенную в самой трудной обстановке и долго не оформленную в качестве действительной службы. Толстой был волонтером, то есть добровольцем. Мысль о Барятинском и ободряла и связывала его.

В дневнике от 3 июля 1851 года Толстой признается, как много для него значит Барятинский: «Был в набеге. Тоже действовал нехорошо: бессознательно и трусил Барятинского. Впрочем, я так слаб, так порочен, так мало сделал путного, что я должен поддаваться влиянию всякого Барятинского».

Барятинский, из-за которого он себя презирает, в то же время недостижим для Толстого того времени.

28 августа Толстому минуло двадцать три года, и он считает, что он неудачник, игрок, трус: «Имел женщин, оказался слаб во многих случаях — в простых отношениях с людьми, в опасности, в карточ-

ной игре, и все так же одержим ложным стыдом. — Много врал. Ездил бог знает зачем в Грозную; не подъехал к Барятинскому».

Толстой презирает Барятинского и продолжает сердиться на него и в Тифлисе, вспоминая о князе, все еще надеясь на благосклонность и уже видя разделяющее их расстояние.

НАБЕГ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ

В середине 1851 года Лев Николаевич, не оформив поступления в армию, участвовал в набеге русского отряда на чеченские аулы, произведенном под начальством князя Барятинского. Сам по себе «Набег» производит впечатление записок военного корреспондента. Человек идет на войну, в бой, не имея определенного военного назначения и военной задачи.

Настоящий военный, старый капитан Хлопов, который, вероятно, изображает пушкинского сослуживца, офицера, из уральских казаков Хилковского, так относится к желанию волонтера — Толстого принять участие в боевых действиях.

Волонтер говорит: «— А мне можно будет с вами идти?» Капитан Хлопов отвечает: « — Можно-то можно, да мой совет — лучше не ходить. Из чего вам рисковать?»

Хлопов уговаривает молодого человека не ввязываться в сражение:

« — Хочется вам узнать, какие сражения бывают? Прочтите Михайловского-Данилевского «Описание войны» — прекрасная книга: там все подробно описано — и где какой корпус стоял, и как сражение происходит.

— Напротив, это-то меня и не занимает.

— Ну, так что же? Вам просто хочется, видно, посмотреть, как людей убивают?.. Вот в 32-м году был тут тоже неслужащий какой-то, из испанцев, кажется. Два похода с нами ходил, в синем плаще в каком-то... Таки ухлопали молодца. Здесь, батюшка, никого не удивишь».

Штатский человек в синем плаще — это представитель военной романтики старого времени, иронически понятый. Ссылка на Михайловского-Данилевского — это официальная военная история, с которой потом Толстой будет открыто и долго полемизировать, опровергая ее в «Войне и мире».

Точка зрения самого Льва Николаевича — аналитическая. Он хочет понять, что такое храбрость, для чего сражаются люди, почему они идут на смерть.

Работая над «Набегом», который назывался первоначально «Письмо с Кавказа», Толстой записал 31 мая в дневнике:

«Не спал, а писал о храбрости. Мысли хороши, но от лени и дурной привычки слог не обработан».

Эта толстовская вещь начинается с анализа понятия «храбрость»· привлечено высказывание Платона, который определял храбрость как «знание того, чего нужно и чего не нужно бояться». И это противопоставлено определению Хлопова: «Храбрый тот, который ведет себя как следует».

Толстой считает, что определение капитана вернее, потому что в нем есть норма поведения, а не норма знания.

Следует бояться в разное время разного, то есть надо идти на разную степень риска. Аналитическое начало обычно для Толстого того времени, например, один из вариантов «Рубки леса» начинается с анализа способа ведения войны на Кавказе: «На Кавказе существует три рода войны: набеги, осада крепостей или правильнее — укрепленных аулов и постройка крепостей в неприятельских владениях».

Разобрав два первых способа ведения войны, Толстой заканчивает описание, разделяя третий — постройку крепостей — на рекогносцировку и на рубку леса, которая очень трудна, но «составляет продолжительнейшее, труднейшее и полезнейшее занятие здешних войск».

Толстой дает не снимок событий, а их анализ. Его очерки примыкают к физиологическим очеркам того времени, то есть к описательным кускам пове-

стей и статей Марлинского, Даля, Тургенева, очеркам Некрасова, но идут дальше, подготовляя широкий анализ реалистического романа.

Война, взятая как эпизод — набег, раскрывает разные типы храбрости. Храбрость Хлопова, храбрость молодого прапорщика Аланина, который гибнет сам в ненужной атаке и губит несколько солдат, хвастливая храбрость офицера Розенкранца, гордая, но показная храбрая многозначительность генерала Барятинского, который во время разрыва ядра смотрит в противоположную сторону и со спокойнейшей улыбкой говорит что-то по-французски. Все это примеры анализа человеческого поведения на войне.

Для себя, как для ведущего, Толстой выбирает позицию нейтральную, похожую на ту, в которую он поставит Пьера Безухова, штатского человека, в штатском костюме, находящегося в центре огромного сражения и видящего все, потому что он свободен от безумия официального — не народного восприятия войны, от того, что называют «здравым смыслом», а на самом деле надо называть собранием предрассудков времени — шлаком старых, еще не снятых, по инерции существующих отношений.

Распоряжения генерала уверенны и небрежны, они вызывают движение войск. Толстой говорит: «Зрелище было истинно величественное. Одно только для меня, как человека, не принимавшего участия в деле и непривычного, портило вообще впечатление, было то, что мне казалось лишним, — и это движение, и одушевление, и крики. Невольно приходило сравнение человека, который сплеча топором рубил бы воздух».

Казалось бы, что в данном частном случае это впечатление объясняется тем, что чеченцы при набегах обычно не сопротивлялись, а потом жестоко преследовали отступающие русские войска. Но этот способ описания потом применяется Толстым всегда и носит характер не сатирический, а морально-разоблачительный.

Толстой учит видеть неправильное в обычном. Анализ показывает не только жестокость войны, но и бессмысленную жестокость разрушения ею труда.

Он дает кратчайшее описание аула: «Длинные, чистые сакли с плоскими земляными крышами и красивыми трубами были расположены по неровным каменистым буграм, между которыми текла небольшая река».

Аул пуст, но он чист, красив, я бы сказал, он целесообразен и благообразен. Дано в нескольких строчках окружение человеческого жилья: «Виднелись освещенные ярким солнечным светом зеленые сады с огромными грушевыми и лычовыми деревьями, с другой — торчали какие-то странные тени, перпендикулярно стоящие высокие камни кладбища и длинные деревянные шесты с приделанными к концам шарами и разноцветными флагами (это были могилы джигитов)».

Аул спокоен, своеобразен, красив. По приказу, данному с небрежной генеральской улыбкой, начинается разгром.

Война изображена как бессмысленность. Храбрость поручика Розенкранца и мальчика Аланина основана на разных, но одинаково ложных условностях.

Толстой тщательно удалял из очерка все то, что он называл «сатирой», то, что не могло пройти прежде всего через цензуру; кроме того, он не хотел раздражать своего высокого начальника, князя Барятинского. Впрочем, его окружение в очерке уничтожено.

Мельком сказано о том, что в небольшом отряде штаб генерала состоит из тридцати человек: «Все они, судя по названию должностей, которые они занимали и которые, очень может быть, что я переврал — я не военный, — были люди очень нужные. — Никто не сомневался в этом, один спорщик капитан уверял, что все это щелыганы, которые только другим мешают, а сами ничего не делают».

Так как капитан показан подробнее всех и от него идет анализ храбрости, составляющий основу очерка, то эта оценка — окончательная.

Выпущен был кусок о разграблении аула, о пленении старика и об убийстве женщины. Выпущена

встреча с генералом, когда генерал обращает на «немундирную фигуру» рассказчика милостивое внимание.

Выпущен кусок о саксонце, который неизвестно для чего приехал сюда: «Чего же он не поделил с кавказскими горцами?» Выброшен кусок, для Толстого очень важный: «На чьей стороне чувство самосохранения и, следовательно, справедливость: на стороне ли того оборванца, какого-нибудь Джеми, который, услыхав о приближении отряда, почти голый выскочил из своей сакли, навязал пук зажженной соломы на палку, махает ею и отчаянно кричит, чтобы все знали о угрожающем несчастии. Он боится, чтобы не вытоптали кукурузу, которую он посеял весной и на которую он с трудом пустил воду, чтобы не сожгли стог сена, который собрал в прошлом году, и саклю, в которой жили его отцы и прадеды». Этот Джеми «с проклятием снимет со стены старую винтовку и с тремя-четырьмя зарядами в заправах, которые он выпустит недаром, побежит навстречу гяурам... — в бессильной злобе, с криком отчаяния, сорвет с себя оборванный зипунишко, бросит винтовку на землю и, надвинув на глаза папаху, запоет предсмертную песню и с одним кинжалом в руках, очертя голову, бросится на штыки русских».

Анализ храбрости переходит в анализ цели войны, в анализ справедливости войны.

Война не справедлива.

Ее надо было бы описать, взяв в основу чувства Джеми, защищающего свой дом.

Здравый смысл 1852 года не дает это сделать Толстому. Путь к полному верному изображению далек, и к нему надо идти, отказываясь от прошлого.

Толстой придет к новому и точному пониманию того, что он увидел в молодости, на пороге революции, не понятой и не принятой, но глубоко прочувствованной им.

Хаджи Мурат повторит судьбу Джеми; бросающегося на царские штыки. И Толстой, проповедующий несопротивление, напишет вдохновенную повесть о Хаджи Мурате, сражающемся даже тогда, когда он лишается сознания.

«Хаджи Мурат» закончен через полстолетия после написания «Набега».

В рукописи «Набега» есть такая сцена: «Генерал въехал в аул; цепи тотчас же усилили, отодвинули, и пули перестали летать.

«Ну что ж, полковник, — сказал он, — пускай их жгут и грабят; я вижу, что им ужасно хочется», — сказал он, улыбаясь.

Голос и выражение его были такие же, с которыми он у себя на бале приказал бы накрывать на стол; только слова другие. — Вы не поверите, как эффектен этот контраст небрежности и простоты с воинственной обстановкой.

Драгуны, казаки и пехота рассыпались по аулу.— Там рушится крыша, выламывают дверь, тут загорается забор, сакля, стог сена, и дым расстилается по свежему утреннему воздуху; вот казак тащит куль муки, кукурузы, солдат — ковер и двух куриц, другой — таз и кумган с молоком, третий навьючил ишака всяким добром; вот ведут почти голого испуганного дряхлого старика чеченца, который не успел убежать».

Но только через пятьдесят лет договорено то, что происходит, хотя почувствовано, лирически угадано было многое и в «Набеге».

Вот как описан разгром аула в «Хаджи Мурате». Толстой в описании разгрома использует имя человека, который когда-то ему помог — Садо: «Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галлерейки сожжены, и внутренность огажена. Сын же его, тот красивый, с блестящими глазами, мальчик, который восторженно смотрел на Хаджи Мурата, был привезен мертвым к мечети на покрытой буркой лошади. Он был проткнут штыком в спину. Благообразная женщина, служившая, во время его посещения, Хаджи Мурату, теперь, в разорванной на груди рубахе, открывавшей ее старые, обвисшие груди, с распущенными волосами стояла над сыном и царапала

себе в кровь лицо и не переставая выла. Садо с киркой и лопатой ушел с родными копать могилу сыну. Старик-дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все улья с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площади, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших.

Старики помолились и единогласно решили послать к Шамилю послов, прося его о помощи, и тотчас же принялись за восстановление нарушенного».

Бессмысленная жестокость побуждает жителей аула обратиться за помощью к Шамилю. Николай увеличивает количество врагов.

ДОРОГА К ТИФЛИСУ И ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Сентябрь месяц 1851 года Лев Николаевич прожил в станице Старогладковской. Ходил на охоту, волочился за казачками, пил, писал, переводил, выезжал в крепость Грозную и в Старый Юрт.

Но надо было определяться на службу. Николай Николаевич ехал в Тифлис, одному в станице оставаться было тоскливо.

Братья поехали вместе. Дорога дальняя — горы заняты Шамилем. В Тифлис ехали сперва на северо-запад до станицы Екатериноградской, а потом на юг через Владикавказ, Дарьяльское ущелье, Крестовый перевал. В дороге были семь суток: первые сто верст пути были неинтересны, равнина, однообразные волны Терека, знакомые станицы.

Владикавказ путешественники застали окруженным черно-зелеными дубово-буковыми лесами, спускающимися по склонам гор к предместьям города.

Терек разбросанно бежал по серым плоским голышам, вынесенным из гор Кавказа. Улицы вымощены теми же голышами и напоминали об отмелях Терека.

Дорога шла по постепенно суживающейся равнине. Терек шумел сильнее и сильнее, горы сходились, сжимая ладонями откосов быструю реку. Терек не шумел, а ревел в каменной щели. Дорога лепилась по уступам гор; она шла то по щебню, то по вырубленному камню.

Внизу быстрая, ворчащая вода, скрученная из волн, вверху небо.

Толстой ехал по следам Пушкина и Лермонтова.

В ущелье впадали другие ущелья, круглые башни замыкали их. Было тесно, черно.

На горах цеплялись кустарники, над ними белыми потеками сверкали ледники. Дорога переходила по дрожащим мостам с одного берега Терека на другой. Потом горы разомкнулись.

Селение Казбек находится на высоте тысячи семисот пяти метров над уровнем моря. Кругом горы, и среди них издали огромный, ограненный льдами Казбек. На уступе Казбека, на черной горе стоит маленький островерхий храм, и тучи, теснясь по ущелью, проходят между Казбеком и храмом, перетягиваясь через камни, перегибаясь через седловину, как белый хворост

Толстой поднялся в храм. Храм был мал, заброшен, вокруг него лежали камни, на фронтонах высечены туры.

Поехали дальше: дорога опять сузилась, снега подошли прямо к ней Дорога, изгибаясь от усилий, поднималась кверху по северному склону водораздельного хребта, к видимому кресту на Крестовом перевале.

Крест все крупнел: он каменный, большой.

Становилось все холоднее, тише. Дорога отошла от Терека, смолкли ручьи, безмолвствовали льды; воздух был прозрачен.

Вид так широк, что ухо просит звука, равного впечатлению зрения, но все было безмолвно.

Начали спускаться. Зажурчала вода, отодвинулся снег. Показалась нить рек в трехверстной глубине, горы покрылись истертой травой; по узким серым гропам-горизонталям виднеются на серо-желтой траве вереницы желто-белых овечьих стад.

Ниже показались сады и рощи.

Опять шумит вода; уже громко шумит.

И скоро люди услыхали, как щебечут птицы.

Миловидная Грузия встретила их. После Душета увидали старинный усохший от древности каменный городок Мцхет с храмом XI века.

История разрозненными страницами, исписанными неведомыми письменами, лежала под ногами Толстого.

Две реки — мутная Кура и сине-белая Арагва сливались около моста, построенного еще римлянами; наверху возвышался древний храм, описанный Лермонтовым в поэме «Мцыри».

Храм покрывал верх горы — она обнажалась внутри храма, как главная святыня: некогда вершина горы была священным местом, на котором приносились жертвы.

По каменным берегам Куры к воде спускаются дома Тифлиса.

Тихо, жарко К дальней скале прилепилась, как сокол, пестрая кирпичная крепость. Пять мостов перекинулись через быструю Куру, плавучая мельница крутит над нею деревянными колесами.

Город полон экипажами, конями, верблюдами, пестрой толпой, дома нависли над улицами широкими балконами; улицы сходятся на треугольных площадях.

Из-под куполов врытой в скале бани в русло каменной речки плоской струей течет зеленая, мутная, как будто мыльная, вода. Женщины на камнях моют ковры ногами; говорят, ковер, вымытый в этой воде, становится драгоценнее.

По узким и крутым улицам не спеша подымались ослики с перекидными корзинами.

Буйволы, закинув тяжелые головы с желтовато-голубыми рогами, тянули высококолесную арбу,

спокойно отражая большими, высоко поставленными глазами синее небо и редкие облака.

На окраинах низкие, как в Кизляре, дома с плоскими крышами. В северной части города европейские постройки с большими окнами Дворец наместника напротив театра

На базарах торгуют в открытых лавках.

Ремесленники работают в помещениях с широко раскрытыми дверьми-ставнями и прямо на земле

У моста куют, чеканят серебро, лудят огромные котлы, шьют обувь, седла.

В домах, фундаменты которых опускаются прямо в пену Куры, красят сафьян и козловую кожу, в узких переулках видны красильщики в рубахах с высоко засученными рукавами. Руки мастеровых прочно и высоко окрашены — у одних в желтый, у других в красный и синий цвета.

Пестро, богато, интересно.

Вот как описал Я. П Полонский Тифлис того времени

Вот караван-сарай, восточными коврами
Увешан пыльный вход, узоры их пестрят —
Но я иду от них сквозными воротами
На низкий дворик, устланный плитами,
С бассейном без воды, и слышу, как шумит
Волна в Куре, — куда она спешит,
Неугомонная, живая?
Не знает, что вдали от этих берегов
Ей не видать других цветущих городов,
Как не видать земного рая!
Что никогда оттуда, где шумят
Каспийские валы, гнилой камыш качая,
К решеткам караван-сарая
Не воротиться ей назад!

(«Прогулка по Тифлису»)

Никто не оглядывается на проезжих; свое интереснее

Николай Николаевич смотрит устало — все уже видел Толстой и Ванюшка жмурятся от солнца, от желтизны неопавших листьев, яркости платьев.

Не только после тихой станицы можно поразиться Тифлисом Толстой писал тетке в Тулу: «.. после

7-дневного путешествия, скучнейшего из-за того, что едва ли не на каждой станции не оказывалось лошадей, и приятнейшего из-за красоты местности, по которой мы проезжали, мы прибыли 1-го числа в Тифлис».

Наступил ноябрь: месяц фруктов, молодого вина, урожая, ссыпанного в амбары.

ХЛОПОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ НА СЛУЖБУ

Казалось бы, что устройство молодого графа, имеющего права, окончившего среднее учебное заведение, не состоявшего в тайных обществах и, кроме того, человека, который является братом офицера, служащего на том же фронте, очень просто.

На другой день по прибытии в Тифлис Толстой явился к генералу Бриммеру Эдуарду Владимировичу — начальнику артиллерии отдельного Кавказского корпуса — и представился.

Лев Николаевич был одет в костюм самого лучшего петербургского портного Шармера; кроме того, он еще купил за десять рублей в Тифлисе складную шляпу и, вероятно, был молодым человеком очень привлекательным, хотя и застенчивым.

Он предъявил свои бумаги. Генерал Бриммер с немецкой добросовестностью их рассмотрел и отказал Толстому в приеме на военную службу. Не хватало отставки со штатской службы и свидетельства из Герольдии о дворянском звании. Генерал заявил доброжелательно и вежливо, что нужно ждать документов из Петербурга. Толстой первоначально думал, что хватит тех документов, которые Николай Николаевич забыл в Старогладковской. Срок отпуска Николая Николаевича кончился, он уехал в Старогладковскую, оставивши Толстого с очень небольшими средствами.

Погода стояла прекрасная, в городе, окруженном садами и виноградниками, было тепло, несмотря на то, что уже наступала середина ноября.

Лев Николаевич подождал две недели. Казалось,

что дело не так сложно, тем более что Льву Николаевичу повезло и он встретил своего дальнего петербургского знакомого, князя Георгия Константиновича Багратиона-Мухранского.

Это был человек, имеющий тифлисские связи, но чин у него был небольшой — коллежский советник. Чин коллежского советника в Грузии давали людям и без образования. Багратион-Мухранский, вероятно, был образован, но коллежский советник в Тифлисе значил мало.

Багратион познакомил Толстого с семьей князя Чавчавадзе, где Лев Николаевич узнал знаменитую грузинскую красавицу, друга семьи Воронцовых, Манану Орбелиани, которую он описал впоследствии в «Хаджи Мурате». Знакомство было аристократическое.

Но Лев Николаевич был в Тифлисе без денег и попал в положение очень трудное; он снял на правом берегу Куры в немецкой колонии две довольно чистые комнаты за пять рублей серебром в месяц, разговаривал с хозяином своим по-немецки. Он ходил по Эриванской площади, смотрел на маленький тифлисский театр и ждал бумаг. Вернуться в Старогладковскую он не мог, потому что у него был там неоплаченный долг, поехать в Тулу он не мог, потому что он пробыл уже почти год на Кавказе, но не получил ни чина, ни креста: ему было бы стыдно перед купцом, который у него дешево купил лес, или перед соседним помещиком; ему было стыдно перед людьми, до которых ему не было дела.

Он хотел быть таким, как все: если поехал на Кавказ — надо вернуться хотя бы со скромной военной славой, с какими-то поступками.

Лев Николаевич еще не вполне знал, что он совсем не такой, как все.

Своей литературной работе он не придает большого значения. Он пишет тетке: «Помните, добрая тетенька, что когда-то вы посоветовали мне писать романы; так вот я послушался вашего совета — мои занятия, о которых я вам говорю, литературные.

Не знаю, появится ли когда на свет то, что я пишу, но меня забавляет эта работа да к тому же я так давно и упорно ею занят, что бросать не хочу».

Толстой работал над второй редакцией «Детства».

Тетка ласково утешала своего племянника и неудачника, что и это работа.

Он болел. Писал брату в Старогладковскую, что у него нет денег на аптеку и на доктора и что он не может уехать. Просил, чтобы брат прислал ему сто сорок рублей.

В это время Лев Николаевич сильно играл на биллиарде и проигрывал все, что у него было, плутоватому маркеру. Он был охвачен новой страстью так, как умел отдаваться каждому делу во всю свою жизнь.

Стыд за смешное положение, мысли о смерти и в то же время тревога о том, что левый ус у него хуже правого, мечты о том, как хорошо он будет выглядеть в новой черкеске на коне, — все это мучило очень молодого человека — ему шел двадцать четвертый год.

Друзей не было. Он познакомился со ссыльным поляком, помощником аптекаря; но тщетно надеялся, что ему поможет командующий фронтом Барятинский.

Братья не отвечали на письма или писали невнимательно. Только Ергольская отвечала внимательно и без иронии на длинные письма, полные неисполненных надежд и сомнений.

Николай Николаевич был человеком толстовского склада. Все Толстые — четыре брата и сестра — отличались странностями: были страстны, талантливы, непостоянны и совершенно не годились для деловых хлопот. Практичнее всех был Сергей Николаевич — обставлял свою охоту, увлечение цыганами и затянувшийся роман с цыганкой такой барственной легкостью и такой ясностью мысли, что даже купцы, по его просьбам, не предъявляли просроченных векселей, понимая, что Толстые не бедны — семья с запущенными делами, которые еще поправятся.

Сергея Николаевича смешила чувствительная многословность писем Толстого к тетке, он не понимал, что это внутренние монологи Толстого. Лев Николаевич спешил рассылать письма, совпадающие по содержанию, по нескольким адресам; Сергею Николаевичу не было понятно, что это для брата продолжение литературной работы, как бы тираж его мыслей.

Про себя Толстой знал, что он барин, и барин большой, родственник Горчаковых, человек, который может делать что хочет. А тут в Тифлисе он оказался в положении просителя и человека, которому постыдно не хватает денег на жизнь.

Он пишет Ергольской 15 декабря: «Только что получил ваше письмо, дорогая тетенька... скажу, что от счастья я плакал как ребенок...»

Дальше начинаются жалобы на безденежье, советы Сергею, как ему жить, и надежды, что скоро прибудут бумаги и тогда можно будет поступить на военную службу.

Брату Сергею Лев Николаевич пишет из Тифлиса 23 декабря 1851 года длинное письмо, шутя признаваясь в тщеславии, в том, что он пускал пыль в глаза подполковнику Алексееву, тут же он говорит о Багратионе и о князе Барятинском.

«Я познакомился с ним в набеге, в котором под его командой участвовал, и потом провел с ним один день в одном укреплении вместе с Ильей Толстым, которого я здесь встретил».

Дальше — слова разочарования: «Знакомство это, без сомнения, не доставляет мне большого развлечения, потому что ты понимаешь, на какой ноге может быть знаком юнкер с генералом».

Пребывание Толстого рядовым в армии похоже на положение ссыльного, разжалованного: так про него потом думали в Пятигорске.

Возможность поговорить с Барятинским, несмело и как бы случайно напомнить ему об общих знакомых домах — возвращение в свою сферу. Но Толстой не свой среди своих. Он начнет понимать это позднее.

В июле 1853 года он встретится в Пятигорске с любимой сестрой Машей и ее мужем — двоюродным братом В. Толстым. С изумлением он запишет в дневнике, что его и здесь встречают холодно, что ему трудно, и спросит себя: «Или я не для этого круга?»

Пока же он поглощен отсутствием нужных бумаг.

«Узнай в Депутатском собрании, выслан ли мой указ об отставке; ежели не выслан, то немедленно это сделать. — *Очень нужно»,* — пишет он брату Сергею.

В конце письма поклоны, несколько цыганских слов и сообщение: «...второе лицо после Шамиля, некто Хаджи Мурат, на днях передался Русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец во всей Чечне, а сделал подлость».

Позднее он изменит это мнение.

Толстой говорил, что ему не везет во всех делах, что, очевидно, существует какой-то бесенок, который ему непрерывно досаждает и разрушает все его предприятия.

Николенька бумаги переслал, но в бумагах не оказалось указа об отставке. В этом деле Николенька не был виноват, потому что Толстой не выхлопотал указа в Туле, собираясь скоро вернуться.

Генерал Бриммер, на которого Толстой надеялся, сказался больным, и Толстого не приняли. Князь Багратион начал хлопотать за Толстого у начальника главного штаба генерала Вольфа. Вольф обещался похлопотать, но по случаю праздников его канцелярия закрылась. Князь Барятинский, на которого Толстой надеялся, уехал.

Все уклонялись от хлопот по толстовскому делу.

Деньги вышли окончательно, но 3 января была получена бумага, неясно составленная, — о том, что фейерверкер 4-го класса Толстой, который больше не именовался коллежским регистратором, должен отправиться в свою батарею.

Прошение об определении на военную службу, подписанное Толстым 31 декабря 1851 года в неформенной папке, сохранилось. В папку вложили рапорт

начальника артиллерии, что Толстой согласно его прошению по выдержании экзамена «определен мною на службу впредь до рассмотрения в инспекторском департаменте Военного министерства документов о его происхождении, на правах вольноопределяющегося фейерверкером 4-го класса в батарейную № 4 батарею».

Лев Николаевич пока торжествовал. Написал брату Сергею длинное письмо, советуя и беспутному брату Митеньке ехать служить на Кавказ. Про свои дела сообщал так:

«...могу сказать, что поступил геройски — взял с бою свой приказ о зачислении, — теперь сижу целый день дома, читаю, пишу и дожидаюсь денег».

Толстой еще не знал о том, какую шутку шутил с ним бесенок дворянской нечеткости и чиновничьей уклончивости в делах.

Генерал Бриммер, по существу говоря, не принял Толстого на военную службу, а послал бумаги дальше, в военный департамент, отписавшись от докучного просителя с немецкой аккуратностью.

Толстой после этого принимал участие в серьезных боях: вместе с братом сражался в тумане под чеченским аулом, стоял около орудия, которое подбила артиллерия противника, а взвод, к которому он был прикомандирован, подбил вражеское орудие. Но не мог получить ни ордена, ни чина, потому что он не состоял на военной службе, а только «как бы состоял» «впредь до рассмотрения», пока его бумаги ходили по инстанциям, а он добивался протекции.

Через несколько месяцев Ергольская с изумлением писала Толстому, как же он опять хлопочет о приеме на военную службу, когда он уже принят, по собственным его словам.

Толстой ответил не совсем внятно.

Пока же он получил неожиданное снисхождение от своего бесенка. Брат Николай прислал письмо (6 января), в котором были вложены надорванные векселя Кноррингу. Кунак Садо Мисербиев, сыграв удачно в Старом Юрте и выиграв толстовские векселя, принес их Николаю Николаевичу и спросил:

— Как думаешь, брат рад будет, что я это сделал?

Толстой начинал свое письмо к Ергольской описанием того, что он плачет сладкими слезами, читая ее письма. Затем сообщал, что перед получением векселей он вечером горячо молился; он считал, что с ним произошло чудо.

Религиозность Толстого в то время — временами восторженная, временами скептически осторожная — не выходит из обычного отношения к религии у людей его положения и его времени.

Он молился на охоте перед выстрелом. Здесь дело было серьезнее Получалось, что бог как будто сам сидел рядом с Садо, отыгрывая векселя, у которых 1 января истекал срок уплаты.

Письмо кончалось просьбой:

«Пожалуйста, велите купить в Туле и прислать мне шестиствольный пистолет и коробочку с музыкой, ежели не очень дорого, такому подарку он будет очень рад».

Садо же обещал Льву Николаевичу, что он для него украдет лучшего коня. Брату Сергею Толстой пишет: «Тетенька объяснит, почему, когда я вернусь в Россию, тебя ожидает подарок — прекрасной кабардинской лошади от незнакомого тебе человека».

Так полны хлопотами, заботами, неудачами, надеждами тифлисские письма.

Между тем «Детство» писалось страница за страницей, глава за главой, писалось, переделывалось, и то, что сообщал о себе Толстой своим родным, было только пеной вокруг настоящей его жизни.

Это была работа непрерывная, ежедневная, идущая многими струями, отмывающая золото из золотоносного песка, становящаяся все более ясной, простой и подготовляющей другие, как будто бы не похожие на нее работы.

В начале 1852 года Толстой был почти счастлив. Он уезжал из Тифлиса с пакетом, в котором, как он думал, находился приказ о его зачислении; он мог ехать в Старогладковскую, которая для него уже стала домом.

В Старогладковской стоял лес, покрытый снегом и инеем, на берегах Терека лежал снег, снег покрывал красные пески.

В Старогладковской Толстого ждал дядя Епишка с длинным ружьем, казачки, идущие по улице спокойно, красиво, никого не боясь, ни о чем не хлопоча.

В Туле искали подарок Садо и ахали на то, что Лев Николаевич опять играет.

Револьвера не нашли, коробочку с музыкой достали с трудом. В. П. Толстой, муж Маши, отдал свою.

Лев Николаевич ее получил в конце марта 1852 года. Записал так: «Привезли коробочку, и мне стало жалко отослать ее к Саде. Глупость! Отошлю с Буемским».

Коробочка долго сохранялась в семье Мисербиевых и пропала в 1917 году, когда белые казаки напали на чеченцев и разграбили аул.

Толстого не надо осуждать, что он пожалел коробочку; он не хуже других, а лучше, но обладает способностью анализировать и закреплять свои сомнения.

В Горной Осетии, около Цея, я видал водопад. Днем падала вода, а ночью водопад висел огромный, бугристый и довольно стройный, сверкающий при луне сосулькой.

Лев Николаевич умел замораживать свои чувства, чтобы увидать, поэтому умел раскаиваться.

Он знал о каждом человеке, а значит, и о самом себе то, что мы о себе знать избегаем.

СТАРОГЛАДКОВСКИЕ ГОРЕСТИ И РАДОСТИ

14 января 1852 года Толстой вернулся в Старогладковскую.

С дороги он писал длинные письма тетеньке Ергольской и брату Сергею Николаевичу. В письмах он мечтал о Ясной Поляне, о том, как можно наладить в старом доме жизнь по-старому — как будто

время не прошло. Тетенька заменит бабушку, Агафья заменит Прасковью Исаевну, тетка будет ругать Леву, зачем он ест руками, а Николеньку за то, что у него руки не мытые.

В Старогладковской Николеньки не оказалось: он был в походе. Об этом доложили Льву Николаевичу двое из яснополянских дворовых — Дмитрий и Алексей. Сообщили они, что тетенька здорова, господа охотятся; привезли они на двух конях припасу, вероятно немного, и четырех собак: двух легавых — Катая и Позора, черную мордашку Бульку, по породе, вероятно, бульдога, и Помчишку, рода и племени которого я не знаю. Лошади в телеге были запряжены — Вороная и Пегая. Пегую Николай Николаевич уже продал за пять целковых. Значит, кони были неважные.

Дворовые поступили в распоряжение Льва Николаевича. Скажу про их судьбу, потому что она для нас не безынтересна.

Лев Николаевич — человек противоречивый, созданный и рожденный своим временем, воспитанный в дворянском доме, где крестьян не били, не мучили, но к дворовым, очевидно, относились иначе. Лев Николаевич считал, например, что в солдаты сдать всегда надо не мужика, а дворового. Он понимал, что с Фокой и Прасковьей поступили неправильно, но, уезжая в Севастополь, хотел взять с собой старого, очень уважаемого Николая Винникова — дворового, друга Федора Ивановича (Карла Ивановича «Детства»), и только сомневался, можно ли оторвать старика от семьи.

В Севастополь он после некоторого колебания взял с собой Дмитрия, который, очевидно, был слугой опытным, хотя он и имел некоторые недостатки, которые разделял с Николаем и Львом Толстыми. В Старогладковской вино было дешевое, все пили.

Лев Николаевич об Алексее написал мало, но есть отметка в дневнике от 18 апреля 1852 года: «Лень и апатия ужасные... Алешку высечь».

Дмитрий был с Толстым в экспедиции, которая описана в рассказе «Рубка леса». Потом Дмитрий

был с Толстым под Севастополем. 31 марта 1852 года Толстой записал в дневнике: «Дмитрий пьет; ежели завтра будет то же — высеку».

Лев Николаевич умилялся, читая «Антона Горемыку», плакал в письмах к тетке, но так же, как и брат его Дмитрий, считал, что старше своих крестьян и должен ими руководить всеми доступными ему средствами.

В вольной казачьей станице у полусолдата Толстого было трое дворовых. Казакам это не нравилось. Толстой записал в дневнике, что про него в станице рассказывают, будто он отдал в солдаты дворового за то, что тот задушил собаку.

Толстой с горечью говорит о клевете, и, конечно, этого не было. Его обвиняли напрасно, но сек своих дворовых он, как все.

Достоевский в речи на юбилее Пушкина говорил, что, конечно, Евгений Онегин не сек крестьян, но Алеко — наверное.

В Старогладковской, в глуши, Толстой был Алеко, а Епишка — Старый цыган; он только переучивался по-новому видеть человеческие отношения. Переучили его станица Старогладковская и Севастопольская кампания, когда он увидал, что бить солдат и крестьян нельзя, что империя, держащаяся на битье, стоит плохо, терпит позор и поражения.

Николай Николаевич был человеком умным, свободным, очень талантливым, но, извещая Толстого письмом в Тифлис, что приехали дворовые из Ясной Поляны, он их называет только по именам, а про собак пишет, что они здоровы. Уехав из Старогладковской в Ясную Поляну по получении отставки, Николай Николаевич легавых с собой взял, за что Епишка искренне называл его свиньей, потому что он только что понял, как удобно охотиться в камышах, лесах и зарослях с породистыми собаками.

Это было старое, смутное, так называемое дореформенное время, время, когда Россия не пришла еще к той революционной ситуации, которая не свергла империю, но уничтожила крепостное право, хотя бы на словах.

Бежал Терек, в инее стояли камыши, на выгоревшую траву падала пороша, морозы прихватили ягоды терновника и дикого винограда и сделали его сладким.

Толстой и Епишка вместе ходили по лесу с Катаем и Позором, с Помчишкой и белозубым, черномордым, белолапым Булькой, на которого одичавшие поджарые и могучие собаки станицы смотрели с безусловным уважением.

Шли смутные дни, как будто засыпанные снегом.

Письма Льва Николаевича за это время почти отчаянные и полны, когда они отправлены к Ергольской, сентиментальности, когда отправлены к Сергею Николаевичу — обидчивости. Сергей на правах старшего брата все время читает беспутному Льву нотации.

Толстой дружит с чеченцами, с Садо и Балтой, записывает от них чеченские песни — очень точно. Это первые записи горских песен. Служба идет кое-как; Толстого отправили с единорогом в Керзель-аул: он служил в горной артиллерии — тяжелые пушки тогда по Кавказу ходить не могли, потому что походы совершались по бездорожью. Горные пушки везли, катили на руках; снаряды горных орудий давали разрывы не сильнее разрывов современной ручной гранаты.

У горцев была своя артиллерия, присланная из Англии Ружья горцев били дальше казенных русских кремневых ружей, сохранивших конструкцию ружей петровского времени.

Казенное ружье предназначалось для выстрела залпом: оно осталось от старой линейной тактики. В горной войне ружья эти годились мало: чеченцы стреляли издали, с посошков прицельным боем на выбор, и только дисциплина русских воинов, стойкость армии и артиллерия помогали наступать.

Медленно разгорались бои. Где-то в Лондоне, в Париже говорили о наступлении России на Восток, шла борьба за проливы, за Балканы, за Ближний Восток; Шамиль удерживал большую русскую армию — связывал ее на Кавказе, оживление боев на Кавказе предвещало восточную войну — наступление Англии, Франции на Россию.

В глуши Старогладковской станицы все это воспринималось как отдельные походы, но армия становилась больше, действия энергичнее.

В феврале Толстой принимал участие в сравнительно крупной операции: большие отряды русских войск шли навстречу друг другу, прорубая просеки, разрезая непокоренную Чечню. Это были бои, бои тяжелые, орудия перекатывали через оледеневшие реки, были потери немалые.

Толстой держался в боях хорошо, но был собой недоволен: он ждал от себя чуда, а был храбрым солдатом. Он считал, что не проявил достаточно мужества.

Артиллерийская перестрелка шла в тумане, дальнобойные орудия горцев выбивали артиллеристов; одно орудие батареи Николая Николаевича оказалось подбито, убита была лошадь. Николай Николаевич не хотел оставить лошадь со сбруей и в бою добился того, что сбрую с лошади сняли под обстрелом. Николай Николаевич был спокойным, а необстрелянный Лев Николаевич волновался. Он записал о себе: «Я был горд, но гордость моя не опиралась на делах, но на твердой надежде, что я способен на все — от этого наружная гордость моя не имела уверенности, твердости и постоянства, я из крайней надменности переходил в излишнюю скромность. — Состояние мое во время опасности открыло мне глаза. — Я любил воображать себя совершенно хладнокровным и спокойным в опасности Но в делах 17-го и 18-го числа я не был таким».

Толстой решает, что уверенность в будущих делах обманчива, что можно верить себе только в том, в чем себя уже проявил.

Это было большое разочарование.

Дело о производстве тянулось, запутывалось: Толстой не мог ни уйти с военной службы, ни оставаться на ней, были случаи получить георгиевский крест — его могли бы дать, но Толстой однажды уступил его солдату, а в другой раз, заигравшись в шахматы,

пропустил парад и вместо награды попал под арест.

Все было запутано, как следы в лесу.

Толстой видел, что он несчастлив, но думал, что подлинное счастье — в самоотвержении, в том, чтобы делать добро другим.

Он жил не так, как живут другие, видел то, что другие не видели, любил так, что об этом не рассказал ни в дневнике, ни в письмах. Впоследствии он записывал и говорил жене, что на Кавказе он пережил духовную экзальтацию и был гениален

У него были свои радости, и радости большие. Однажды он пошел на охоту с легавыми и Булькой: это было 29 октября 1852 года. Кабан, когда его берут собаки, уходит в чащу, становится так, чтобы защитить свой тыл, и огрызается яростно. Это один из самых страшных зверей на ружейной охоте.

Толстой встретил кабана в зарослях, старый секач разбросал собак, распорол храброму Бульке живот. Толстой выстрелил в кабана так близко, что щетина на кабане сгорела. Он был храбр, он был доволен. Он написал своей тетке: «За 18 месяцев, которые я провел на Кавказе, я стал лучше, буду стараться провести с пользою остающиеся два года... Здоровье мое хорошо, занятия все те же, охотой наслаждаюсь попрежнему. На прошлой неделе убил кабана, и сильнее радости я еще никогда не испытывал».

Верный Булька на этот раз пережил тяжелое ранение. Впоследствии Лев Николаевич написал об этом рассказ.

ПЕРЕД УДАЧЕЙ

29 марта 1852 года Толстой фехтовал утром, пользуясь рапирой и маской, которую ему прислали из Ясной Поляны, потом обедал, писал, потом у него началось раскаяние. Его мучила мелочность его жизни, которую он имел силы презирать, он упрекал себя в отсутствии гармонии в своей натуре и в то же время надеялся, что он действительно стоит выше обыкновенных людей. Он писал:

«Я стар (ему было двадцать четыре года. — *В. Ш.*), пора развития или прошла, или проходит; а все меня мучат жажды... не славы — славы я не хочу и презираю ее; а принимать большое влияние в счастье и пользе людей. — Неужели я так и сгасну с этим безнадежным желанием? — Есть мысли, которые я сам себе не говорю, а так дорожу ими, что без них не было бы для меня ничего».

Он всегда стремился непосредственно вмешаться в жизнь, изменить ее, не знал, как ее изменить, и таил свои мысли, потому что еще не раскрыл их вполне для себя. Кажется мне, что и в дневнике Толстой скрытен; он боится того, что называл «тургеневской иронией наедине», он не додумал того, что пережил в станице Старогладковской. Боль мелочных неудач обижает его и старит в двадцать четыре года.

Ему кажется, что он пишет недостаточно хорошо: «Я писал повесть с охотой; но теперь презираю и самый труд, и себя, и тех, которые будут читать ее; ежели я не бросаю этот труд, то только в надежде прогнать скуку, получить навык к работе и сделать удовольствие Татьяне Александровне».

Он как бы скрывает от себя, как дорог ему его труд и как велики надежды. Он не находит места себе: он действительно человек без положения, без звания, потому что он, рожденный в помещичьей семье, воспитанный, как все, живший, может быть, хуже многих, в неудовлетворенности своей — человек будущего.

Вероятно, его положение тягостно и для окружающих, тем более что молодой граф резок и любит, когда его будируют.

Он охотится с офицером Султановым, которого горцы звали шайтаном, а военное начальство за разные чудачества трижды разжаловало в солдаты. Это человек, потерявший память о прошлом и даже отчаяние, хотя когда-то он дружил с Лермонтовым; теперь он бродит по лесам с собаками и если бы не любил своих собак, то был бы просто плохим человеком. Охота сохранила Султанову хоть тщеславие.

Епишка проще Толстой слушал его по вечерам после того, как кончал писать «Детство». Ему уже хочется написать коротенькую кавказскую повесть, но он сдерживается, потому что нельзя перебрасываться с одной работы на другую; он увлекается Бюффоном — старинным натуралистом, который умел писать о домашних животных с необыкновенной простотой и полнотой, никуда не торопясь, веря в заинтересованность читателя.

Дни капали, как капает оттаявший иней в лесу, прибавлялись строки за строками, сменялись строки.

Лев Николаевич решил поехать в Кизляр и лечиться. Как мальчик, он наелся изюму — у него разболелись зубы

Кизляр был весь в цветении: отцвел миндаль, зацветали яблони — розоватые и белые цветы усыпали землю города, разделенного валами на скучные квадраты

Лев Николаевич писал, читал скучные и глупые книги; они, занимая внимание, позволяли продолжать развиваться внутренней мысли. Он ходил с борзыми на охоту, но не затравил ни одного зайца и возненавидел борзых. Дошел до моря ночью, было темно, перед ним лежали темные воды, уходящие во тьму. Утром вернулся на то же место — это было болото. Пошел дальше, напился морской воды и с ружьем в руках ездил на татарском судне, разговаривая с крестьянами. Они рассказывали ему о том, как тоскуют по России; истории были патетичны, казались натянутыми. У Льва Николаевича были слезы на глазах. Старик крестьянин сорока лет не мог вернуться в Россию, он одеревенел: «Вот просто, как дерево, только сердце так и бьется, *как голубь*».

Надо было ехать в Пятигорск лечиться, посмотреть людей. Пятигорск был много раз описан. Толстой его знал по Пушкину, по Лермонтову; это — как прийти к родным, которые тебя еще не знают. Занял деньги у батарейного командира Алексеева, поехал с молодым офицером Буемским — преданным юношей, который переписывал толстовские рукописи.

Денег было мало Он снял в кабардинской слободке за два рубля квартиру из двух комнат с полным пансионом для себя и Ванюшки.

С ними был Булька, которого Толстой тщетно пытался оставить в станице Старогладковской.

В детских рассказах Толстой писал, что Булька, вырвавшись, нагнал его при отъезде из Москвы Но мы знаем, что Булька прибыл в компании с другими собаками в 1852 году, знаем, что Булька был в Пятигорске, а потом погиб. Значит, нагнать он мог только по дороге на Пятигорск.

Странное дело, что все обижало Толстого. Ему было уже физически больно надевать солдатскую шинель — такая шинель была наказаньем, а он и ее добился с трудом.

Идет молодой Толстой в солдатской шинели, черный бульдог бежит за ним, офицер ударил собаку, а солдат, граф Толстой, не имеет права ее защитить.

Он пишет день за днем, беспощадно вымарывая, ходит в Александровскую галерею, смотрит, как танцуют дамы с офицерами, а дирижирует Сашка-цирюльник из госпиталя.

Здесь, в Пятигорске, всё друг про друга знают. Он написал брату Сергею о Пятигорске длинное письмо — сатирический очерк, какой можно было бы вполне напечатать

Писать трудно, особенно Толстому. У него уже большая школа, в великом лесу литературы он ходил не по большим дорогам, а по тропинкам; знает Стерна, Бюффона, читает старые журналы, по-новому читает русскую классику, сравнивает себя с современными русскими писателями — Тургеневым, Гончаровым, может быть, с Панаевым и думает, что не равен с ними по таланту

Он увлекается то в «генерализацию», то есть в подчинение всех подробностей одной руководящей идее, то в «мелочность», то есть в увлечение подробностями. Надо найти середину; все листья в лесу — листья, и нет двух листьев одинаковых.

Мы узнаем несходство листьев, их не сравнивая. Надо описать человека, как лист. То, что это лист дуба, — это генеральное, это главное, но надо, когда

пишешь про человека, написать про одного-единственного человека, давая его в его генерализации и в его отдельности; Толстой увлекался несходством между людьми, стремился к умению соединять в одно представление различные черты

Писалась книга. Болел Ванюша. Переписывал книгу.

Мечты были очень заманчивы. Стремясь вмешаться в жизнь, Толстой усиленно обдумывает роман о русском помещике. Он писал 3 августа 1852 года, после того, как прочитал Аристотеля: «В романе своем я изложу зло правления русского, и ежели найду его удовлетворительным, то посвящу остальную жизнь на составление плана аристократического, избирательного, соединенного с монархическим, правления, на основании существующих выборов. Вот цель для добродетельной жизни».

Ефрейтор-артиллерист с невыправленными бумагами, потерявшийся в глуши, завидующий на гулянье офицерам и людям, которых он считает порядочными, так как они хорошо одеты, мечтает по-дворянски преобразовать жизнь.

Не будем удивляться. Петрашевский незадолго до своего ареста обращался к Дворянскому собранию с проектом повышения дохода в дворянских имениях при помощи создания в них фаланстеров.

Первая книга, наконец, была кончена, отправлена. Об этом Толстой сообщил Ергольской.

В мае 1852 года Толстой из Пятигорска писал ей: «. мои литературные занятия идут понемножку, хотя я еще не думаю что-нибудь печатать. Одну вещь, которую я начал уже давно, я переделал три раза и намерен еще раз переделать, чтобы быть ею довольным; пожалуй, это вроде работы Пенелопы, но это меня не удручает, я пишу не из честолюбия, а по вкусу — нахожу удовольствие и пользу в этой работе, потому и работаю».

Пенелопа, которую упомянул Толстой, — жена царя-странника Одиссея: она отказала всем женихам, говоря, что еще не соткала ткань, а сама ночью распускала то, что соткала за день. Но работа подвигалась, хотя в этот раз Пенелопа разлюбила Одиссея. Об этом услыхала тетка. В то самое время, когда Толстой опять писал о продаже своих деревень, он тут же сообщал: «Давно я не был так завален делами, как сегодня: отправка 8 писем, мой роман, который я сегодня высылаю в *Петербург, прошение и доверенность,* и, ко всему этому, сегодня же я уезжаю на железистые источники».

Но Татьяна Александровна нашла самое важное в письме и в ответ написала 26 июля: «Наконец-то, милый мой, работе Пенелопы наступил конец. Твой роман закончен и отослан в Питер. Под каким заглавием он появится и на каком языке он написан?»

Пенелопа разлюбила.

С трудом веришь, что самый близкий Толстому человек, который настолько уверен в его успехе, что сразу спрашивает, где появится только что написанная работа, не знает — по-русски или по-французски она написана.

Медленно шло время. 4 июля Толстой отправил рукопись, плохо переписанную, в «Современник» — лучший журнал того времени, к Некрасову, снабдив рукопись довольно коротким, сухим и очень определенным письмом.

«Моя просьба будет стоить вам так мало труда, что, я уверен, вы не откажетесь исполнить ее. Просмотрите эту рукопись и, ежели она не годна к напечатанию, возвратите ее мне».

Дальше шли просьбы не разделять произвольно рукопись и похвалы: «Я убежден, что опытный и добросовестный редактор — в особенности в России, по своему положению постоянного посредника между сочинителями и читателями, всегда может вперед определить успех сочинения и мнение о нем публики».

Человек, пишущий это письмо, знает себе цену, хотя и колеблется и прикладывает деньги для обратной присылки рукописи — они были вложены в письмо.

Отправив письмо, Толстой сперва поехал в Пятигорск, потом вернулся в Старогладковскую; все было очень смутно.

В Старогладковской оказалась большая смертность среди солдат. Поэтому был назначен инспекторский смотр: должен был приехать тот самый генерал Бриммер, которого так долго беспокоил Толстой и который так мало беспокоился о солдате Толстом.

Шли учения. Толстой нес дежурство.

17 августа был смотр. Он очень устал и написал в дневнике: «Дисциплина необходима только для завоевателей».

Он не хотел быть завоевателем. Он хотел быть казаком, он хотел писать и охотиться.

28 августа он записал: «Мне 24 года, а я еще ничего не сделал, я чувствую, что недаром вот уже 8 лет, что я борюсь с сомнением и с страстями. Но на что я назначен? Это откроет будущность. Убил трех бекасов».

На другой день Лев Николаевич получил письмо от Некрасова. Письмо довольно короткое, но одобрительное.

Некрасов говорит про рукопись: «Она имеет в себе настолько интереса, что я ее напечатаю. Не зная продолжения, не могу сказать решительно, но мне кажется, что в авторе ее есть талант».

Дальше идут более определенные слова: «Во всяком случае, направление автора, простота и действительность содержания составляют неотъемлемое достоинство этого произведения».

Некрасов, не зная фамилии автора, советует, однако, печатать не под инициалами, а под полной фамилией.

Толстой записывает в этот день: «Ходил с Николенькой на охоту; убил фазана и зайца».

Потом идет короткая запись о том, что получено гадкое письмо от Костеньки Иславина; «...и от редактора, которое обрадовало меня до глупости. О деньгах ни слова. Завтра писать письма: Некрасову, Буемскому — и сочинять».

Но 30 августа Толстой письма не написал. 5 сентября в дневнике указано: «Написал письмо к Некрасову», но отправлено письмо было лишь 15 сентября.

Между тем Некрасов, не дождавшись ответа Толстого, послал второе письмо от 5 сентября: это очень серьезное письмо. Рукопись уже набрана и предназначена на 9-ю книгу «Современника». Вот суждение о ней:

«..прочитав внимательно в корректуре, а не слепо написанной рукописи, нашел, что эта повесть гораздо лучше, чем показалось мне с первого раза. Могу сказать положительно, что у автора есть талант. Убеждение в том для Вас, как для начинающего, думаю всего важнее в настоящее время».

Дальше сообщается, что журнал с повестью выйдет завтра.

Толстой сообщил свою фамилию Некрасову, потому что до этого времени он писал под литерами Л. Н. Т. Он еще не понимает, что произошло. Досадует, что редактор молчит о деньгах — они нужны на завтра, потому что уже все прожито.

«Детство» было напечатано с необыкновенной скоростью. Дело, конечно, не обошлось без цензурного вмешательства. Цензура запрещала упоминать в беллетристических произведениях религиозные предметы, поэтому на кровати Николеньки в печатном тексте висел не образок, а «портрет моей маменьки». Были сделаны цензурные выкидки — в том числе выброшена вся история Натальи.

Толстой написал Некрасову необыкновенно резкое письмо, не отправил его, но дорожил этим письмом: ему казалось, что оно доказывает его самостоятельность. Он хотел в литературе сохранить независимость. Письмо, предназначенное Некрасову, было заменено вежливым письмом, а невежливое, в доказательство толстовской независимости, отправлено к брату

По службе Толстой оказался в положении невыносимом; он, несомненно, сделал ряд ложных шагов: то подавал в отставку, то брал свое заявление назад, надеясь на производство. Выручила его Ясная Поляна и старые связи с Горчаковым.

После блистательного начала литературной славы Толстого изменилось к нему отношение. Иным стал

тон писем Сергея Николаевича, который просто извинялся перед братом. Начала читать русскую литературу Ергольская: прочитала Панаева и убедилась, что ее Лева много лучше пишет.

Сергей Николаевич писал, что он боится, как бы брат не возгордился своим первым успехом: «Боюсь же, чтобы ты не возгордился, оттого, что я даже, неизвестно почему, сделался горд тем, что ты пишешь».

Он рассказывает Толстому о том, как его хвалят, признается, что прочитал повесть два раза, думал — она нравится ему потому, что он знает все «лица, в ней находящиеся», но все вокруг хвалили повесть.

Брат предлагает, что он сам приедет на Кавказ, советует Толстому, получив офицерский чин, ехать к нему, чтобы жить вместе в Москве, в Петербурге или в Одессе или, ежели пустят, то за границей. Он говорит, что все изменилось; спрашивает брата только об одном, не играет ли тот в карты?

Лев Николаевич отвечает брату, как старший, говорит, что он в карты не играет и что он не будет хуже писать, чем начал, потому что собирается вовсе не писать.

Ободрившись литературным успехом, получив письмо от Некрасова, Толстой в июле месяце 1853 года написал князю А. И. Барятинскому письмо настолько резкое, что началом оно напоминает вызов на поединок; но, вероятно, письмо не было отправлено. «Может показаться странным и даже дерзким, что я в частном письме обращаюсь прямо к вам, Генералу. Но несмотря на то, что в моих глазах, надеюсь тоже и в ваших, — я имею столько же права требовать от вас справедливости, сколько и вы от меня, я имею право, чтобы выслушали меня; — право, основанное не на вашем добром расположении, которым я пользовался когда-то, но правом на том зле, которое может быть невольно вы сделали мне».

Дальше Толстой говорит: «... я должен войти в некоторые подробности». Он излагает краткую историю своей военной службы, начиная ее упреком: «В 1851 году вы советовали мне поступить в военную службу».

Толстой оговаривается, что человек не может упрекать другого в поданном совете, но Барятинский посоветовал ему поступить на службу под начальство Барятинского.

Толстой прослужил шестнадцать месяцев, два года был в походах, неприятель подбил ядром колесо орудия, которым Толстой командовал. Взвод, которым командовал Толстой, подбил орудие неприятеля. Он был утвержден на службе, но не получил ни креста, ни чина, несмотря на двоекратное представление. Толстому приходится объяснять своим родственникам, почему он служит солдатом, его расспрашивают родные — не разжалован ли он в солдаты: «Это может казаться смешным в таком положении, как ваше, но поверьте, что я часто провожу тяжелые минуты, думая об этом».

Толстой требует отставки.

На дальнем Кавказе, бродя в лесу с Епишкой, Толстой не знал еще, кто он такой. Прошло десятилетие, пока он осознал себя, отдалив себя в Оленине, как бы поднялся над собой; для этого должны были пройти годы Севастополя, сознание неудачи николаевской армии, знакомство с кругом «Современника», с Некрасовым, с Чернышевским, недолгая дружба с Тургеневым.

Для того чтобы увидеть Кавказ, Толстой должен был вернуться к себе в Ясную Поляну, передумать все, влюбиться в крестьянку, учить детей грамоте, мечтать изменить жизнь.

Тогда он поймет Оленина как живое существо, похожее на оленя, на комара; он увидит в нем проявление жизненности и обходным путем, через лес, через оленя, отдалится от старой мысли: как быть с Горчаковыми и со своим дворянством.

Толстой десятилетиями уходил от себя и своей среды к народу, а когда пришел к народу, то отождествил себя с крестьянством.

В двадцать четыре года Толстой только начинал свой путь: еще все было в нем, он высказал одно только детство.

В отношениях с государством, с властью Толстой был, вероятно, более связан, чем недалекий Николай Ильич — тот видел декабристов, а для Толстого это было уже предание.

Шел 53-й год. Толстой ждал представления к производству, но надо было для этого ехать экзаменоваться в Петербург. Толстой хотел добиться производства на месте. Он пишет брату Сергею Николаевичу: «Нужно только попросить об этом кого-нибудь из значащих лиц в Петербурге в штабе фельдцейхмейстера, где и должно находиться мое представление. Не найдешь ли ты путь к кому-нибудь из этих господ через Горчаковых А. И. или С. Д., или через Толстых Прасковьи Васильевны».

Андрей Иванович Горчаков, троюродный брат бабки Толстого, с 1832 года был генералом-от-инфантерии, при нем одно время состоял адъютантом отец Толстого. С. Д. Горчаков был троюродным дядей Толстого (он изображен в «Детстве» под именем князя Корнакова) и был директором первого отделения экспедиции сохранной казны. С его детьми Толстой был дружен и пережил на одном из рождественских праздников унижения, когда Горчаковым подарили хорошие вещи, а Толстым плохие. Брат пошел к Андрею Ивановичу Горчакову, старик удивился, что его племянник не получает так долго производства, и обещал написать о нем, в это время Лев Николаевич уже подал рапорт об отставке.

Отставка задержалась тем, что началась война с Турцией.

Император Николай I считал себя диктатором в Европе, он «спас» Австрию от венгерского восстания, главенствовал в Священном союзе, который охранял старый режим в Европе, имел личные связи в Англии, поддерживал Турцию, когда Турция столкнулась с возросшей мощью Египта. Полагая, что между Францией и Англией должна лежать вечная вражда, так как Англия держала Наполеона на острове Святой Елены до смерти, а император французов Наполеон III был племянником Наполеона I, считая, что Пруссия и Австрия от него зависят, Николай

объявил войну Турции, защищая болгар, сербов, румын. Война началась, по-видимому, удачно: морским боем под Синопом, в котором был разгромлен турецкий флот.

Толстой знал, что командующий войсками, которые должны занять дунайские княжества, был его троюродный дядя, князь Михаил Дмитриевич Горчаков — участник Бородинского сражения, и подал ему докладную записку; в записке упоминается, что Толстой получил чин коллежского регистратора на гражданской службе, а затем, для совместного служения с братом, определился на военную службу фейерверкером 4-го класса.

Дальше указывается, что брат Толстого вышел в отставку и что теперь он, Толстой, имеет служащих родственников только в действующей армии. Назывались четвероюродные братья — Дмитрий и Александр Сергеевичи Горчаковы. Записка была составлена по всей форме и опиралась на существующий параграф военного устава.

Горчаков отозвался и отправил бумагу дежурному генералу главного штаба. В скором времени перевод состоялся. Дожидаясь его, Толстой был в отчаянии: он писал тетке 27 октября 1853 года, что производства нет, отставка невозможна и что он больше не может притворяться веселым и довольным.

15 ноября 1853 года Толстой в дневнике отмечает: «Получил доброе письмо от князя Дмитрия Горчакова и бумагу о том, что документы мои задержаны в Герольдии».

Письмо князя С. Д. Горчакова написано по-родственному и в то же время официально: «Любезный граф Лев Николаевич, сегодня получил ваше письмо из Кизляра и при нем докладную записку о переводе вашем в действующую армию».

Такое письмо можно было показать по начальству. Дальше говорится о том, что бумаги отправлены к брату Михаилу, и выражается недоумение: «Не понимаю одного, отчего ты не юнкер, а фейерверкер и то 4-го только класса».

Это уже совсем по-родственному — не на «вы», а на «ты».

26 ноября Толстой просит брата поторопить бумаги в военном министерстве и в департаменте Герольдии.

Ответа из Герольдии мы не знаем; как будто дело пока обошлось без документов Герольдии, и Толстой благодаря могущественной протекции был переведен в Дунайскую армию и одновременно произведен в прапорщики.

Часть II

«ДЕТСТВО»

Как намечалось «Детство» до Кавказа, из дневника не видно. Смена написанных вариантов началась уже на Кавказе, в станице Старогладковской. Первые наброски не похожи на ту книгу, которую мы знаем.

Книга начата как письмо человека к его близкому другу. Автор несчастлив и оправдывается. Это как будто начало эпистолярного романа. Первый отрывок его подписан инициалами — Г. Л. Н. Можно расшифровать это как небрежную подпись: Граф Лев Николаевич. Фамилии нет, потому что человек пишет для себя, помня титул, имя, отчество и подразумевая фамилию.

«Вы, кажется, не на шутку сердитесь на меня за то, что я не прислал вам тотчас же обещанных записок. — Вы пишете мне: «Неужели я не стою настолько доверия?», «Неужели любопытство мое оскорбляет вас?» При этом вы пускаетесь в рассуждения о любопытстве, говоря, что любопытство может иметь два противуположные основания: зависть — желание найти слабую (дурную) сторону, и любовь — желание видеть хорошую сторону; и мало ли еще какие тонкие рассуждения вы делаете по этому случаю. К несчастью, для меня совершенно все равно, какого рода бы ни было любопытство ваше и всех тех, кото-

рым вы можете показать эти записки; я об этом рассуждаю так, как тот невинно приговоренный к казни, который не просил оправдания; но просил только, чтобы выслушали его оправдание». В то время многие люди писали или собирались писать детство, проверяя жизнь свежими глазами детей.

Лев Николаевич задумал шире, не описание детства, а четыре эпохи развития. Он раскинул планы на десятилетия.

И в то же время он, начав со сложного событийного ряда, который должен был лечь в основу произведения, перешел к самому простому.

Белинский тогда писал, что русской литературе свойственна простота вымысла

Наши изобретения, наш способ решения вопросов в конце концов принимают вид формулы.

В обычных романах о детстве человек покидает свой дом из-за какого-нибудь несчастья, реже потому, что ищет приключений, чаще потому, что он незаконнорожденный и не имеет места за общим столом людей своего круга

Кандид, и Том Джонс Найденыш, и Оливер Твист — незаконнорожденные. И герои первого наброска «Детства» незаконнорожденные. это соседи Толстого — Иславины, они же Исленьевы — это две фамилии в одном доме: мать героев ушла к их отцу от своего законного супруга, бабушка жалеет свою дочку. Семья живет в знатном бесславии; ее положение сомнительно.

Постепенно Лев Николаевич отказался от этого традиционного решения. Незаконнорожденным остался учитель немец Карл Иванович. Семья же — самая обыкновенная. В «Детстве» описаны несколько дней обыкновенной семьи и обычные, неудаляемые несчастья, которых нельзя отвратить каким-нибудь юридическим актом.

Лев Николаевич избрал путь вокруг человека, он захотел выяснить, вернее ему понадобилось выяснить, почему несчастлива семья Толстых — четыре брата и их сестра — хорошие люди.

Он выясняет судьбу поколения.

Для того чтобы эту судьбу понять, надо было уйти в себя, произвести опыт необычайной силы.

Годы жизни Толстого на Кавказе плодотворны, но смутны.

Он был связан с Кавказом военной службой, на которой формально не находился, с ефрейторством, которого не получил. Но в то же время он был солдатом привилегированным: приятелями его были офицеры, он был выше их по своему общественному положению, хотя и не выясненному, и проигрывал им деньги немалые, хотя платил с трудом.

Он мог подойти к командующему князю Барятинскому, как к знакомому, и в то же время был солдатом.

Это странное затянувшееся положение предоставляло Толстому некоторое подобие свободы. Он редко бывал на учениях, мог разъезжать, много раз он возвращался в Старогладковскую, два раза был в Пятигорске, жил долго в Тифлисе, проводя время в безнадежных хлопотах.

Все это придает его жизни странную, трудно рассказываемую непоследовательность; человек скитается: он ищет куда бы преклонить голову или хотя бы потерять свою голову в этих лесах, где головы пропадали так легко.

Он узнавал походы, труд по выкатке орудий из ледяных речек, бои, опасность плена и странную нужду человека, который все время не знает, сколько он может потратить. Этот потерявший адрес человек, самоизгнавший себя в казачью станицу, рос тогда так, как растут деревья, когда они доберутся до настоящих годов зрелости.

Годы сомнения, самоанализа, дневниковых записей, беспрестанных сомнений в будущности — все пригодилось Толстому, когда он стал писать, на время порвав с тем, что должно было бы его окружать.

Работа, которую он за это время проделал, невообразимо велика. Он выступает в 1852 году в сентябрьской книге «Современника» как писатель, не только овладевший формой, но и по-новому выразивший свое время.

Литература отражает мир, действительность; это очевидно. В мире, кроме самого мира, другого ничего нет, и отразить и выразить что-нибудь иное можно было бы, только создав для себя мир, с другими законами физики и биологии.

Но, говоря об отражении, мы всё колеблемся в решениях — отражает ли писатель то, что с ним происходит вот сейчас, или он копит впечатления и потом отражает их, найдя для них свою форму.

Непонятно, что происходит, когда писатель пишет не о сегодняшнем дне. Что в таком случае он выражает: 1) сегодняшний день — день написания, или 2) день, изображенный в произведении, или 3) анализирует и сегодняшний день и будущее, ему самому вне искусства не раскрытое.

В биографии Льва Николаевича важно его творчество: как он работал, как он добился удачи, чему мы можем у него научиться.

Гениальности научиться нельзя; трудолюбию, систематической работе, правдивости перед собой, преодолению самого себя — можно.

Можно понять, что когда этот человек пишет о самом себе, он пишет и о нас и о других — о мире, который его создал, и о мире, который он создает своим творчеством.

Мир искусства сложно повторяет мир действительности. Законы искусства, при свободе его форм, определены историей, не только ее выражают, но и помогают ее разгадать. Помогают разгадать историю человеческой души. Поэтому они переживают не только человека, который написал произведение, а иногда переживают социальные эпохи, крушение цивилизаций, смену населений на материках и гибель Атлантиды.

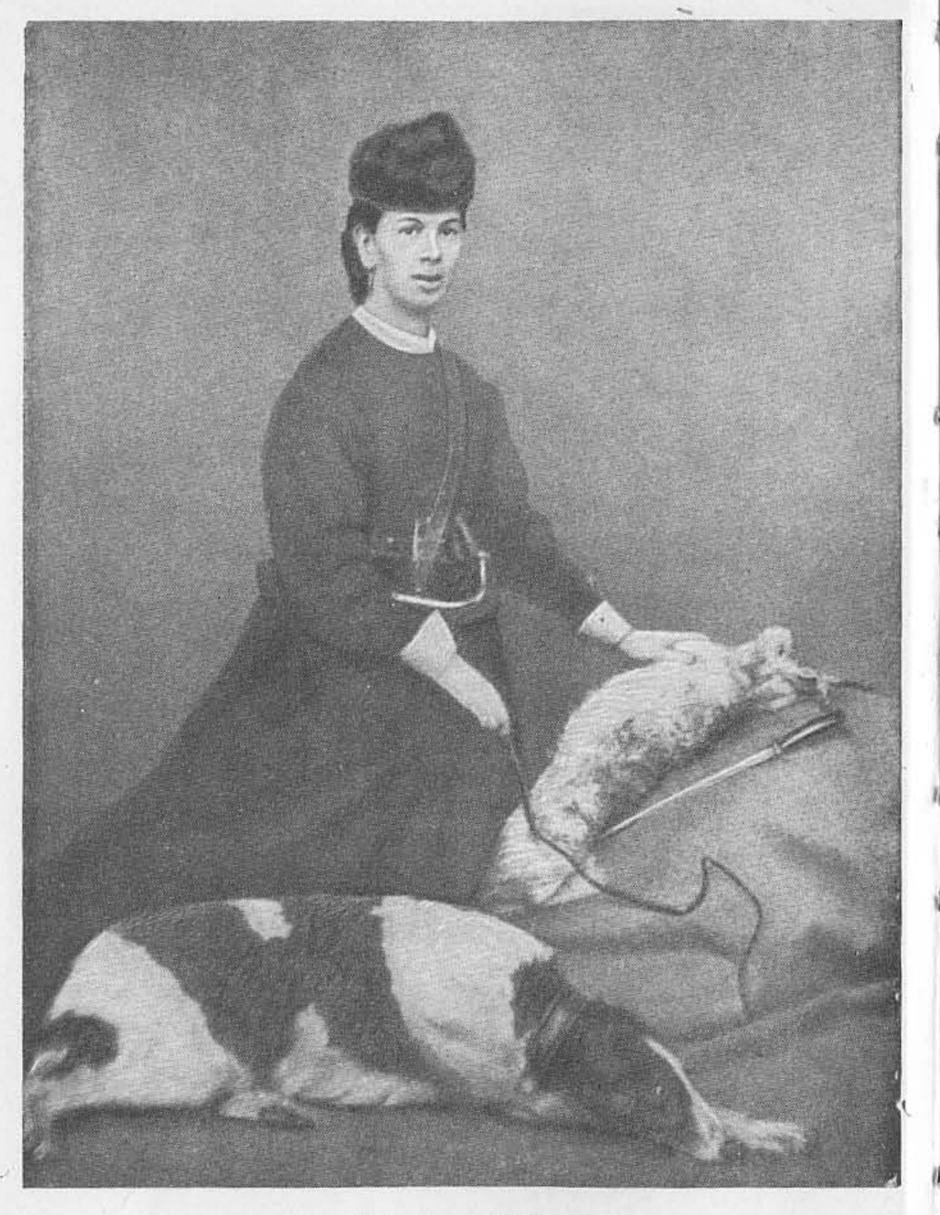
Не будем унижать злободневность. Великое искусство часто злободневно. Софокла присудили к штрафу за то, что он ввел тысячи зрителей трагедии в слезы и отчаяние, показав положение страны.

Злободневен Гораций.

Данте в «Божественной комедии» злободневен, как газета, если бы она тогда существовала. Он рассказы-



С. А. Берс. 1863 г.



Т. А. Берс. 1864 г.

вает о гибели влюбленных, переживших неведомую миру страсть. В аду осматривает огневые ямы, в которые будут ввергнуты его, еще живые, враги.

Злободневен Пушкин, и он за это заплатил скитанием.

Злободневны Лермонтов, Гоголь, за это они погибли.

В «Анне Карениной» мы можем определить месяцы, когда происходит действие, по модам, спорам, по разговорам в гостиных, по характеру неудач Левина.

То же можно сказать и о «Воскресении».

«Детство», «Казаки» производят иллюзию подчеркнутой незлободневности.

«Детство» создано тогда, когда автор в двадцать четыре года уже оплакивал свою старость, но от времени событий прошло всего десять лет.

«Казаки» закончены через десять лет после Старогладковской, в Ясной Поляне.

Где же здесь злободневность?

Но она была.

Перед тем как попытаемся объяснить неизбежность выбора темы и невозможность ее изменить, еще раз поговорим о литературном мастерстве и о том, как им овладевают, его преобразовывая.

Одно поколение учит другое говорить — учат матери, отцы, товарищи, улицы. Потом старики удивляются тому, что молодежь говорит иначе, чем прошлое поколение. Слова передвинулись для того, чтобы выразить новые понятия.

Одно поколение учит другое искусству; дальние ряды наших предков по искусству через годы времени передают нам свои достижения — неизбежно измененными.

Говорить, что какой-нибудь писатель совершенно оригинален, так же невозможно, как доказывать, что какой-то мальчик или девочка сами создали свой язык и научились читать.

Кажется, это случилось с Тарзаном.

Но кому хочется быть с Тарзаном в одном классе, стоять с ним на одной полке?

Лев Николаевич очень много читал, много слышал не вслушиваясь. Позднее он составил списки книг, которые его научили: там есть и библия, и арабские сказки, русские былины, имена полузабытых писателей.

Он хорошо знал литературу XVIII века, читал журналы, которые мы забыли Пушкина начал читать по тетрадям отца, который выписывал любимые стихотворения, узнавал русскую поэзию в цыганском пении. Ребенком он прочитал Руссо.

Руссо и Стерн раскрыли душу человека; хотя одним этим и не смогли сделать человечество счастливым.

Стерна Толстой в станице Старогладковской переводил для изучения английского языка — главу за главой.

Если один писатель изучает другого, то это не значит, что он ему подражает, что один вмешивается в творческую жизнь другого, как разряды с провода проходящего троллейбуса в работу телевизора.

Но Руссо и Стерн обозначили время, когда люди стали интересоваться своей внутренней жизнью, стали думать, что их домашние разговоры, коммерческие интересы, получение наследства, ссоры с женой — это главное. Родился семейный роман.

Было открыто чувство, оно было противопоставлено государству, старой средневековой учености, отзвукам феодального времени.

Стерн учил современников замечать, как они двигаются, как противоречивы их мысли. Он расшатал форму старого английского романа, осмеял его, разбил в тысячи отступлений. Он занял новые позиции знания.

Время отразилось в его иронии разбитым, как будто бы не имеющим течения, потому что время уже себя не уважало, а в революцию, которая приближалась, Стерн не верил.

Переводя Стерна зимой и осенью в расписной старогладковской хате, Толстой постигал свое.

Снег, тая, ложился на камыши, горы становились коричневыми, разливался и опадал Терек, влюблялся Толстой, забывая о своем доме, снова спохватывался, мечтал о бумагах из Герольдии или хотя бы о чине прапорщика, уходил в леса, охотился по пороше.

Лев Николаевич ощущал себя крепко связанным с прошлым. В книге, которую он писал, в предисловии, он обращался по-старинному к своим читателям:

«Чтобы быть приняту в число моих избранных читателей, я требую очень немногого: чтобы вы были чувствительны, т. е. могли бы иногда пожалеть от души и даже пролить несколько слез об вымышленном лице, которого вы полюбили, и от сердца порадоваться на него и не стыдились бы этого, чтобы вы любили свои воспоминания, чтобы вы были человек религиозный, чтобы вы, читая мою повесть, искали таких мест, которые заденут вас за сердце, а не таких, которые заставят вас смеяться, чтобы вы из зависти не презирали хорошего круга — ежели вы даже не принадлежите к нему, но смотрите на него спокойно и беспристрастно, и я принимаю вас в число избранных».

Это пишет аристократ, который снисходительно, за добродетель приглашает людей простого звания, но религиозных и чувствительных, вместе с ним подивиться на устройство мира

В первых набросках предисловия это признание человека, который все потерял и оправдывается перед ближайшим другом, объясняя, почему он такой: «Я несчастлив и ежели не совершенно невинен, то не более виноват в своем несчастии, чем другие, которые несчастливы».

Толстой выбросил жалобы, но оставил воспоминание — мечту. Общий тон повести — разочарование без осуждения. Тон «Отрочества» еще более горький; «Юность» не до конца удалась потому, что Толстой сам для себя не решил, за что осуждает своих героев, чем же недоволен

Он уходит из сегодняшнего дня в счастливое прошлое. В «Детстве» есть кусок, рассказанный Толстым с гордостью, но как бы чужими словами: XVIII глава — «Князь Иван Иваныч».

Князь Иван Иванович Корнаков — Горчаков, свойственник Толстого по бабушке, — описан с необыкновенным уважением, без тени критики:

«Это был человек лет семидесяти, высокого роста, в военном мундире, с большими эполетами, из-под воротника которого виден был большой белый крест, и с спокойным открытым выражением лица. Свобода и простота его движений поразили меня».

Автор не только поражается красотой Ивана Ивановича, тем, что пригласительный билет к нему служит паспортом во все гостиные города, но и гордится связью с князем:

«Я не мог наглядеться на князя: уважение, которое ему все оказывали, большие эполеты, особенная радость, которую изъявила бабушка, увидев его, и то, что он один, по-видимому, не боялся ее, обращался с ней совершенно свободно и даже имел смелость называть ее ma cousine, внушили мне к нему уважение равное, если не большее тому, которое я чувствовал к бабушке».

Князь не очень умен, поверхностно образован, не знает современной литературы, умеет молчать о ней и отделываться незначащими словами, но он, Горчаков, — высший свет.

Вспомним, что отец Толстого относился к своей матери, урожденной Горчаковой, с ласковостью, которую Толстой характеризует словом «подобострастная».

Характер Ивана Иваныча, взятый без теней и анализа, — единственный в «Детстве».

Все другие характеры «Детства» даны в их противоречивости. Никто не добр только и не зол; все злы и добры по-своему; может быть, только одна мать изображена ангелом в голубой дымке.

Человек, изображенный в повести как отец героя, раскрывается сложно.

Игрок, очаровательный человек, друг композитора А..., то есть Алябьева, «человек прошлого века..., имел общий молодежи того века неуловимый характер рыцарства, предприимчивости, самоуверенности, любезности и разгула».

Анализу характера отца целиком посвящены две главы: III и X. В III — это ласковый отец, неумелый, но старательный хозяин, которым, почтительно скучая, управляет приказчик. В X главе он раскрывается несколько иначе: «В старости у него образовался постоянный взгляд на вещи и неизменные правила, — но единственно на основании практическом: те поступки и образ жизни, которые доставляли ему счастие или удовольствия, он считал хорошими и находил, что так всегда и всем поступать должно. Он говорил очень увлекательно, и эта способность, мне кажется, усиливала гибкость его правил: он в состоянии был тот же поступок рассказать как самую милую шалость и как низкую подлость».

Но и это не последнее раскрытие характера.

Люди и даже пейзажи показаны в движении и с точки зрения заинтересованного в анализе человека.

В «Детстве» главный герой и повествователь — Николенька — добр, любит мать, привязан к слугам, но в горе над гробом матери думает о том, как выглядит со стороны.

Мир дан в его противоречиях с самого начала и сперва как бы в шутке. Маленький мальчик просыпается, потому что дядька немец, Карл Иванович, хлопушкой из сахарной бумаги убил муху над его кроваткой. Мальчик сперва обижен, потом растроган лаской старика, потом плачет, потом выдумывает сон, весь мир ребенка раскрывается в противоречии, в иронии.

Мир не только трогателен, но и жалостно бессмыслен и привычно жесток. Немец-учитель знает всего две-три книги: «Историю семилетней войны», «Трактат об унавоживании земель» и полный курс гидростатики. Он читает, кроме этих книг, только «Северную пчелу», но от чтения испортил глаза.

Разлучена с любимым горничная, служащая матери героя, и оба они состарились в доме. Они состарились разлученные, верящие, что в чем-то виноваты.

Весела и разнообразна охота; ее ведет стремянный Турка, спокойно презирающий господ. Мир устроен не господами, но они живут в нем, небрежно скучая.

Мать брошена отцом, гувернантка, вероятно, соблазнена отцом, гувернантка ненавидит немца.

Этих людей можно жалеть, но быть среди них не хочется. Хочется их переделать.

Люди раскрываются мало-помалу, как спутник на дальней дороге. Они узнаются, но не изменяются. Толстой же больше всего дорожит способностью человека изменяться и таким образом духовно расти.

Поэтому в его книге сюжет, биографические перипетии жизни героев несущественны.

Только Карл Иванович патетически и трогательно-смешно связан с историей, большим миром — событиями жизни саксонца, незаконнорожденного подмастерья, сражавшегося в войсках Наполеона, бежавшего, бездомного. Но вся эта история за пределами книги и, вероятно, выдумана самим Карлом Ивановичем.

Орудие толстовского анализа — микроскоп, который он наводит на тайны человеческой души.

Открывая мельчайшие частицы человеческого бытия, он заново постигает мир, ищет новых путей его изменения.

Не случайно книга о детстве и отрочестве аристократа была напечатана в журнале Некрасова. Здесь Толстой как будто прощается со своим прошлым, отрывается от него новым его познанием.

Суетливости, не направленной иронии Стерна у Толстого нет.

В «Сентиментальном путешествии» Стерн пародийно дробит повествование на маленькие главы. У дверей каретного сарая проходят четыре главы. Автор играет бедностью действия романа, сопоставляя его неподвижность с быстрой текучестью чувств.

Толстой в первой своей повести сделал открытие, которое потом принял навсегда: он пишет маленькими главками — каждая главка имеет своих действующих лиц, свою законченную историю и обычно новое место действия. Глава «Учитель Карл Иваныч» рассказывает о старике с точки зрения мальчика. Она наполнена разными восприятиями одного и того же человека. В ней два места действия при единстве действующих лиц: спальня и классная комната.

Глава II — «Maman» — происходит в гостиной, вводятся мать, и сестры героя, и гувернантка Марья Ивановна. Здесь выдуманный в первой главе сон Николеньки уже получил значение предчувствия гибели матери. В конце главы хозяйка «положила на поднос шесть кусочков сахара для некоторых почетных слуг» — это как бы переход к дворне.

III глава — «Папа́» — изображает разговор отца с приказчиком. Люди говорят об одном, но истинный смысл можно понять только в анализе жестов.

Здесь же мальчик узнает, что они едут в Москву. Концовка главы — Николенька целует любимую борзую собаку отца.

«— Милочка, — говорил я, лаская ее и целуя в морду — Мы нынче едем; прощай! Никогда больше не увидимся».

Четыре первые главы занимают десять страниц печатного текста. В них сменяются пять мест действия, считая террасу, на которой идет разговор с собакой Милкой.

Кроме того, дан вид из окна классной комнаты, что мы можем считать шестым переходным местом действия, так как вскоре повествование переносится из дома в сад и лес.

Явления мира сперва упоминаются, потом развертываются подробно. Мир, увиденный боковым зрением, существует и до того, как автор начинает его внимательно рассматривать. Все главки закончены и в то же время конец одной главы цепляется за начало другой, содержа звено и следующих глав.

Все это у Толстого сознательно. О величине глав и их законченности он писал в дневнике, как о своем открытии, требуя от себя законченности каждого куска:

«Манера, принятая мною с самого начала, писать маленькими главками, самая удобная. Каждая глава должна выражать одну только мысль или одно только чувство». Под этим замечанием написано крупно: «ЗАНЯТИЯ. ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРАВИЛО».

Так подытожил Толстой опыт своей первой великой удачи 1852 года.

В главках-новеллах давался свободный авторский анализ, словарно и синтаксически ограниченный связью с детским восприятием, хотя он явно превышал возможности детского восприятия.

О словаре своего произведения Толстой пишет в обращении к читателям: «По моему мнению, личность автора — писателя (сочинителя) — личность антипоэтическая, а так как я писал в форме автобиографии и желал как можно более заинтересовать вас своим героем, я желал, чтобы на нем не было отпечатка авторства, и поэтому избегал всех авторских приемов — ученых выражений и периодов»

Композиция «Детства» построена так, что повествование условно укладывается в три дня: первый день — 12 августа в деревне, потом переезд: он подготовляет появление большого мира; дальше показ одного дня в Москве; третий день — возвращение в деревню к гробу матери.

Три дня раздвинуты на семь месяцев жизни ребенка.

Главки-характеристики, как «Гриша», «Князь Иван Иваныч», «Что за человек был мой отец?», выходят из этой простой и условной хронологической последовательности.

Но отступления построены так, что они, не перебивая впечатления плавности действия, раздвигают его, рисуя прошлое.

«БЕГЛЕЦ»

Беглецом приехав в Старогладковскую, Лев Николаевич начал писать очерк «Еще день на Волге».

Толстой очень дорожил этой дорогой; он считал, что это один из лучших дней его жизни, очевидно неточно употребляя слово «день». В 1904 году Толстой говорил Д. П. Маковицкому, что «об этом можно бы написать целую книгу».

Почему он не написал этой книги? Вероятно, не было решено внутренне, как написать: сделать ли нечто вроде «Истории вчерашнего дня» — тогда это

была бы книга о человеке; одновременно это должно было быть книгой о великой реке и о стране, через которую она протекает.

Толстой еще не овладел ремеслом — очерк о путешествии начат с найма лодки; все, очевидно, должно было бы идти подряд.

В Старогладковской он увлекается новым материалом.

Он собирается писать очерки Кавказа. Дядя Епишка первоначально должен был стать человеком, дающим материал для очерков. Вещь была почти этнографической. Но он уже пишет «Детство», интересуется характерами, и Епишка вызывает у него интерес сам по себе, как необыкновенная личность.

2 октября 1852 года записано: «После обеда спал, походил, написал письмо Татьяне Александровне, любовался на Епишкv».

Дальше короткая запись: «Епишка, Сафа-Гильды, казачьи хороводы с песнями и стрельбой, шакалки и славная звездная ночь — славно. Особенный характер. Написал пол-листа — хорошо».

Все это на втором плане; главное — обширные планы романа о русском помещике, хотя им не суждено осуществиться.

13 октября написано: «Хочу писать Кавказские очерки для образования слога и денег». Это как бы особая работа бесконечно меньшего значения, чем работа над романом. «Мысль романа счастлива — он может быть не совершенство, но он всегда будет полезной и доброй книгой. Поэтому надо за ним работать и работать не переставая».

Для очерков Толстому нужен заказ: «Ежели письмо от Редактора побудит меня писать Очерки Кавказа, то вот программа их: 1) Нравы народа: a) История Саломониды, b) Рассказ Балты, c) Поездка в Мамакай-Юрт. 2) Поездка на море: a) История Немца, b) Армянское управление, c) Странствование кормилицы. 3) Война: a) Переход, b) Движение, c) Что такое храбрость?» Тут же развертывается программа романа. *«Основание Романа русского помещика:* Герой ищет осуществление идеала счастия и справедли-

вости в деревенском быту. Не находя его, он, разочарованный, хочет искать его в семейном. Друг его, она, наводит его на мысль, что счастие состоит не в идеале, а постоянном, жизненном труде, имеющем целью — счастие других. 2) Любви нет. Есть плотская потребность сообщения и разумная потребность в подруге жизни. Доказательство бессмертия души есть ее существование. Все умирают, скажут мне. Нет: все изменяется, и это изменение мы называем смертью, но ничего не исчезает. Сущность всякого существа — материя — остается. Проведем параллель с душою. Сущность души есть самосознание. Душа может измениться со смертью, но самосознание, т. е. душа, не умрет».

Займемся этим большим и как будто противоречивым высказыванием. Из плана очерков лишь параграф «с» осуществлен частично. Толстой начал писать «Поездку в Мамакай-Юрт». Начинается очерк с точного указания: «В 1852 году в июне месяце я жил на водах Старого Юрта».

Дальше идет полемика с Марлинским и Лермонтовым: с представлением о воинственных черкесах, голубоглазых черкешенках, о чинарах и т. д. Автору это когда-то нравилось, как стихи на полунезнакомом языке. Но дальше начинается анализ этой полупонятной поэмы: «...начну с того, что черкесов нет — есть чеченцы, кумыки, абазехи и т. д., но черкесов нет. Чинар нет — есть бук, известное русское дерево. Голубоглазых черкешенок нет (ежели даже под словом черкес разуметь собирательное название азиатских народов) и мало ли еще чего нет».

Толстой писал эти строки молодым писателем и человеком, недолго побывавшим на Кавказе. Он и прав и не прав. Черкесов в том смысле, как это понятие употреблялось в тогдашней литературе, нет, но черкесы, как союз племен, уже образовались. Чинара вовсе не бук: чинара — это кавказское название платана, который в Имеретии и Кахетии достигает огромных размеров. Может быть, русские офицеры на северном склоне гор Кавказа и называли ошибочно буковые деревья в лесах Большой Чечни чинарами.

Весь очерк должен был отстаивать трезвую правду.

Толстой хочет верно передать действительность и преодолеть слово: «Слово далеко не может передать воображаемого, но выразить действительность еще труднее. Верная передача действительности есть камень преткновения слова».

Русская очерковая литература к тому времени уже дала очень много. К ней относились «Записки охотника» Тургенева. Значение Тургенева в это время для Толстого велико. Но он хочет другого и большего: он хочет анализа — большого движения искусства к морали и науке.

Военная среда, в которую Толстой попадает без чина и должности, ставит его рядом с солдатом, позднее сажает рядом с солдатом перед одним костром.

Станица смотрит на безмундирного брата офицера без большого уважения. Только бражники и среди них заштатный казак Епифан Сехин сближаются с ним. Толстой в нем видит свободного человека, не связанного ложью цивилизации.

Епишка оказывается человеком, который не только много знает, не источником сведений, не сказителем, со слов которого можно многое записать, а характером, находящимся в противоречии с тогдашним, уже наступившим днем Кавказа: обострением борьбы с чеченцами и распадом самого казачества.

Епишка для Толстого значит больше, чем Старый цыган для Пушкина.

Дальние горы лежат перед писателем, они вносят в его душу покой и разлад.

Покой потому, что они как будто стирают старые его проигрыши, старые его вины.

Но одновременно возникает представление об огромных проигрышах — несведенных счетах с народом.

Любовь, которую отрицает Толстой в своем плане очерков, оказывается такой же реальной, как и горы.

Любовь, Епишка, горы, казачество, взятые в их диалектике, в их противоречивости, исследованные

движением души, заставляют Толстого, не осуществив до конца план очерков и не завершив роман, в котором догматически должны были утверждаться значение и обязанности русского помещика, начать роман «Казаки».

Это роман о любви, о Кавказе и о нем самом — Толстом. Чем дальше писался роман, тем больше Оленин становился Толстым, так как писатель начинал понимать себя в мире.

Разработка темы была начата как своеобразная баллада, в какой-то степени связанная с казачьими песнями, в ней есть героиня Марьяна и прибытие арб, на которых лежат изрубленные казаки.

Возьмем первый вариант стихотворения, прибавим, что все стихотворение кончается словами: «(Гадко). 1853 г. 16 апреля. Червленная». Червленная — это одна из терских станиц:

Эй, Марьяна, брось работу!
Слышишь, палят за горой:
Верно, наши из походу
Казаки идут домой.
Выходи же на мосточек
С хлебом-солью их встречать,
Теперь будет твой побочин
Круглу ночь с тобой гулять.
Красной шелковой сорочкой
Косу русую свяжи,
Вздень чувяки с оторочкой
И со стрелками чулки,
Вздень подшейник и монисто
Из серебряных монет,
Прибери головку чисто
И надень красный бешмет.

Еще нет героя со стороны. Все поглощено темой о возвратившихся и погибших воинах.

Толстой, пытаясь использовать стихотворную форму, говорил, что он это делает для развития слога, но почти несомненно, что неожиданность появления у Толстого стихотворной формы объясняется тем, что гребенские казаки сами показались ему песней. Недаром старые очеркисты в своих неумелых описаниях, неумело поэтичных, говорят, что гребенские

женщины похожи на корифеек оперы и двигаются точно на сцене.

Чужая, нарядная, цельная жизнь, казалось, требовала у Толстого песни. Но автор приходит в нее со своей судьбой и хочет понять то, что он видит. Он начинает расспрашивать, обращается к старикам. Ерошка (Епишка в действительности) становится как бы ведущим повести, ее диктором.

В плане герой определен как офицер. В черновых набросках он получает неустойчивую фамилию — Губков, Дубков, Ржавский. Это русский офицер, приехавший на Кавказ; таких, ищущих иной жизни или хотя бы иного пейзажа, двойного жалованья и встреч с красавицами казачками, было много.

Но Толстой хотел написать роман о «беглом казаке».

«Беглецом» роман назывался долго.

Беглецом был, конечно, Лукашка (в черновиках — Кирка), который, ранив офицера, уходил в горы; но беглецом был и Оленин, уехавший из Москвы.

В «Хаджи Мурате» из гор от тирании Шамиля бежит Хаджи Мурат, а в горы от тирании Николая хотел бы убежать старый, шпицрутенами битый солдат Авдеев — не бежит, потому что его убила шальная пуля.

Пуля эта не случайна, и не чеченцы виноваты в смерти Авдеева.

Командующий левым флангом князь Барятинский не пользовался любовью войска; но многое в «Хаджи Мурате» изменилось не только в художественном мастерстве, в глубине анализа, но и в отношении Толстого к героям.

Отряд в «Хаджи Мурате» относится к Барятинскому недружелюбно. У молодого генерала был роман с дочерью наместника — Воронцовой. Для того чтобы чеченцы не нарушили дальними выстрелами сна Воронцовой в ее суконной палатке, Барятинский приказал выдвинуть вперед секреты. Это заставляло солдат и офицеров ругать даму очень определенными словами.

В «Казаках» два главных героя — Оленин и

Ерошка. Но Ерошка — спившийся старик; ему, представителю старого казачества, нет места в новой станице.

Одно время Толстой пытался создать конфликт между Марьяной, молодым казаком Ерошкой и Олениным. Он хотел омолодить Ерошку, дать ему лет тридцать, сделать его соперником офицера.

Но время, как и Терек, не поворачивается назад.

О МОЛОДОМ ОФИЦЕРЕ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ И ОБ ИМПЕРАТОРЕ НИКОЛАЕ I

В ожидании производства Толстой ехал в Тулу с самыми радужными надеждами.

Под Новочеркасском, на земле Войска Донского, станционный смотритель посоветовал ему лучше не ехать, чтобы не проплутать всю ночь.

Небо было низко и черно, степь бела, вдали темные ветряные мельницы тяжело махали крыльями. Ветер заносил набок хвосты и гривы лошадей, дорогу переметало. Толстой все ехал и ехал.

Тут Алексей Орехов посоветовал вернуться, но сани встретили курьерскую тройку с тремя превосходно подобранными колокольчиками.

То ли звук колокольчиков был хорош, то ли соблазнился ямщик свежим следом, но поехали.

Курьерских троек было три: сзади сидели ямщики, курили, разговаривали.

Так началось долгое блуждание в снежной метели, которое потом Толстой описал в рассказе.

Молодой барин то спит, то просыпается, видит обозы, засыпает опять — видит свою усадьбу, пруд. Ямщики в метели сидят на дне саней, заслонились армяками, курят, рассказывают какую-то волшебную сказку.

Едет молодой барин, видит пушкинские сны из «Капитанской дочки», целует мужичью руку, как когда-то принуждали Гринева поцеловать руку Пугачева.

Сани занесены совершенно. Выбелены с правой

Записи в дневнике Л. Н. Толстого 6—11 марта 1855 года.

стороны кони. Бежит пристяжная. «Только по впалому, часто поднимающемуся и опускающемуся животу и отвисшим ушам видно было, как она измучена».

К утру, когда на небе показались оранжевые, красноватые полосы, а потом красный круг солнца завиднелся на горизонте сквозь сизые тучи и появи-

лась блестящая и темная лазурь, мужики доехали до кабака, вывезя Толстого.

Барин в дороге не спорил, он был покорен, кроме первых минут задора, он верил, что ямщики должны вывезти.

Так часто плутал в жизни Толстой и так с молодости он привык верить, что кто-кто, а мужик вывезет, он дорогу знает.

В феврале 1854 года Лев Николаевич попал в Ясную Поляну. В Туле его ожидало извещение о производстве в прапорщики. Поездил Лев Николаевич по соседям, посетил в имении Судаково знакомых помещиков Арсеньевых.

В Ясной Поляне состоялось свидание всех братьев. Все очень переменились.

Николай исхудал; Дмитрий вырастил большие бакенбарды и усы, одет был всех наряднее, но казался озлобленным; Сергей был, как всегда, спокоен.

Братья в большом доме ночевали по-простому, постелив на полу солому.

Потом поехали в Москву и снялись вместе на дагерротипе.

Лев Николаевич поехал в действующую армию дальней дорогой, через Курск, с заездом в имение Дмитрия Николаевича — Щербачевку, на Полтаву, Балту, Кишинев.

До Херсонской губернии стоял прекрасный санный путь. Потом потеплело; оставили сани; тысячу верст до границы ехали на перекладных по грязи. У Льва Николаевича было отличное настроение; огорчался он только тем, что много тратил. Казалось, что теперь-то история приняла правильный свой ход: праправнук Петра Толстого, посла, сидевшего в Константинополе узником в семибашенном замке, едет воевать с Турцией. Бывший студент Казанского университета, занимавшийся восточными языками, бывший фейерверкер, участвовавший в боях против Шамиля, едет доканчивать и дорешать отношения между Россией и Востоком — ведь за Шамилем всегда стояла Турция.

Говорили уже, что Франция к нам враждебна.

Сын участника победоносной войны с Наполеоном I, значит, встретится с Наполеоном III.

Все будет хорошо. Толстой едет служить под начало блистательного родственника по материнской линии — М. Д. Горчакова.

Снят солдатский мундир, можно даже не торопиться, хотя Толстой боялся опоздать к победе.

К середине марта Толстой прибыл в Бухарест. Его поразил город с французской комедией, итальянской оперой, музыкой на бульварах, с мороженым в кафе. По словам Толстого, старый князь Михаил Дмитриевич его хорошо принял, правда, он делает оговорку в письме к тетке: «Вы понимаете, что при его занятиях ему некогда помнить обо мне»; кузены, дети князя Сергея Дмитриевича, Толстому очень понравились. Про младшего он написал: «... пороха он не выдумал, но в нем много благородства и сердечной доброты».

Военные дела шли хорошо, войска перешли Дунай и взяли четыре крепости.

Лев Николаевич выписывает парадную форму, каску, полусаблю — все очень заботливо. Пока он служит адъютантом у генерала Адама Осиповича Сержпутовского; сына генерала называет Оськой и готов ему покровительствовать. Этот Оська впоследствии сделал карьеру. Он недолго служил подпоручиком лейб-гвардии конной артиллерии, потом стал флигель-адъютантом, командиром полка, генерал-майором свиты и т. д. Подымался, как легкая, хорошо начиненная порохом ракета.

Положение Льва Николаевича все еще неопределенно и сомнительно. Ему опять как будто дарят не те игрушки, как Горчаковым. Довольно скоро Толстой записывает: «Мне неприятно было узнать сегодня, что Осип Сержпутовский контужен и о нем донесено государю. Зависть... и из-за какой пошлости и к какой дряни!» Это было 6 июля 1854 года.

Через несколько дней он записывает, заканчивая свою автохарактеристику: «Я так честолюбив и так мало чувство это было удовлетворено, что часто, боюсь, я могу выбрать между славой и добро-

детелью первую, ежели бы мне пришлось выбирать из них».

И еще: «Так называемые аристократы возбуждают во мне зависть».

Ему трудно с Горчаковыми. Он связан с ними детской дружбой, ждет от них признания. Между тем приглашенный к нему Д. Горчаков, про которого Толстой записал слова, почти влюбленные: «...был вечером у меня Д. Горчаков, и дружба, которую он показал мне, произвела это славное замирание сердца, которое производит во мне истинное чувство и которого я давно не испытывал», не пришел к обеду. Обед не удался, не только Горчаков, не пришел и доктор.

Толстой почти в одиночестве съел поросенка.

Он продолжает настаивать. Уже предчувствуя славу, Лев Николаевич, с всегдашней любовью создавать правила, записывает: «1. Быть, чем есть: а) По способностям литератором, b) По рождению — аристократом».

Отношение к своему положению было болезненно, и это прозвучало во втором Севастопольском рассказе.

Но приходилось уже думать заново. В семье Толстого не любили Николая I, но верили, что в военном отношении Россия — могущественнейшее государство. Про взяточничество и казнокрадство, конечно, знали. Но про то, что империя вся ворует, что она в военном отношении отстала и уже не могущественна, а слаба, Лев Николаевич скоро узнал под Севастополем.

Вести из мира большой политики к Толстому приходили медленно; долго молодой офицер был настроен оптимистически.

Войска стояли за Дунаем под крепостью Силистрией; под стену крепости был сделан подкоп: ждали взрыва и штурма. Казалось, что дело завершится подвигами блистательной храбрости.

Толстой здесь пока видал войну издали; он пишет Татьяне Александровне Ергольской: «Расстилающаяся перед глазами местность не только великолепна,

она представляла для всех нас огромный интерес. Не говоря о Дунае, о его островах и берегах, одних занятых нами, других турками, как на ладони видны были город, крепость и малые форты Силистрии... По правде сказать, странное удовольствие глядеть, как люди друг друга убивают, а между тем и утром, и вечером я со своей *повозки* целыми часами глядел на это. И не я один».

Ждали сигнальной ракеты для взрыва.

Крепость должна была пасть, но в это время Австрия, которая занимала относительно русской армии фланговое положение и могла прервать пути русской армии, потребовала вывода наших войск из дунайских княжеств.

Император Николай I согласился и отступил, бросив на произвол судьбы болгар. Турки вернули дунайские княжества. Семь тысяч болгарских семейств пытались уйти от турок.

Толстой писал:

«По мере того, как мы покидали болгарские селения, являлись турки и, кроме молодых женщин, которые годились в гарем, они уничтожали всех. Я ездил из лагеря в одну деревню за молоком и фруктами, так и там было вырезано все население».

М. Д. Горчаков очень огорчался, принимая депутации от несчастных: лично говорил с каждым из них, убеждал, что он не может пропустить через мост беженцев со скотом и телегами, из своих денег нанимал суда для переправы на наш берег.

Пока за дипломатическую неудачу царя кровью заплатили болгары.

Перед Россией оказалась не только Турция, но и Англия, Франция и даже Сардиния при враждебном нейтралитете Австрии и Пруссии.

Ниоткуда нельзя было снять войска: они нужны были всюду. Английский флот шарил по границам России, напал, хотя и безрезультатно, на город Петропавловск-на-Камчатке, бомбардировал Соловки, показывался перед Кронштадтом, занял Аландские острова на Ботническом заливе, прошел в Черное море, произвел высадку под Евпаторией.

Для противодействия не хватало чугуна и пороха.

Люди, которые управляли армией, действительно пороха выдумать не могли.

Николай Павлович в войнах участия не принимал, но на парадах и маневрах переживал неоднократно военный восторг и однажды, врубившись в ряды, разнес палашом кожаную каску солдата; бедняга остался жив, но был несколько ошеломлен.

Нельзя сказать, что Николай Павлович не был храбр, он был горд и мечтателен. Дипломатическая неудача России его беспокоила и угнетала, он знал, что посланные в действующую армию пополнения приходят через полгода, в половинном составе; знал о воровстве, о неспособности командующих и не мог ничего переменить, потому что сам был не только творцом режима, но и его следствием.

Война подошла к Дворцовой набережной.

Не надо думать, что союзникам война с Россией была легка. Они несли большие потери не только от нашего оружия, но и от болезней. Англия боялась за свои индийские владения. Русские войска оказались стойкими, но русские генералы-аристократы необыкновенно бездарными. Кроме того, в стране все было украдено, воевать надо было на остаток.

П. В. Анненков записывал в конспекте своих воспоминаний «Две зимы в провинции и деревне с генваря 1849 по август 1851 года»: «Грабительство казны и в особенности солдат и всего военного снаряда приняло к концу царствования римские размеры».

Анненков говорит о времени падения Римской империи, когда кражи были привилегией знати. Далее перечисляются невероятные случаи, когда в русской армии было украдено сорок лошадей, стоимостью каждая по четыре тысячи, и подменены лошадьми по сто семьдесят пять рублей. Здесь же сделано примечание: «Но этот подвиг и другие, им подобные, были затемнены тем, что делали позднее в Арсенале, по провиантскому ведомству, по заготовлению лазаретных принадлежностей, по штатам и прочее».

Лев Николаевич об этом писал очень сдержанно. В дневнике он коротко говорит о «бессмысленных

учениях» и называет оружие русского солдата «бесполезным».

Армия была вооружена кремневыми ружьями времен Петра I. При Петре, при Елизавете, при Екатерине, при Наполеоне оружие русской армии и оружие иностранных армий было одинаково, но к концу царствования Николая I мы почти не имели в море паровых судов, было очень мало дальнобойных ружей (штуцеров) и совсем не было скорострельной артиллерии.

Толстой записал 2 ноября 1854 года: «...неприятель выставил 6 000 штуцеров, только 6 000 против 30 (тысяч). И мы отступили, потеряв около 6 000 храбрых. И мы должны были отступить, ибо при половине наших войск по непроходимости дорог не было артиллерии и, бог знает почему, не было стрелковых батальонов. Ужасное убийство. Оно ляжет на душе многих!»

Сражения начинались хорошо и кончались неудачей. Дело было в плохом составе высшего командования, неумении пользоваться картами и в плохом снабжении армии. Казнокрадство было официальным. Под Севастополем для того, чтобы получить из казначейства для своих частей полагающиеся деньги, командиры давали взятки восемь процентов от суммы. Взятка в шесть процентов считалась любезностью.

Армия была проедена казнокрадством, герои гибли. Гибель Корнилова иногда кажется самоубийством, потому что он в день смерти снял и отдал для передачи сыну часы.

О взятках и воровстве говорили спокойно люди, которые завтра должны были умереть.

Лев Толстой в рассказе «Севастополь в августе 1855 года» приводит отповедь, которую прочитал только что присланному из училища молодому офицеру Володе Козельцову старый артиллерийский офицер.

« — А я вам вот что скажу, молодой человек, — начал более серьезным тоном штабс-капитан. — Вы знаете ли, что когда вы командуете батареей, то у

вас, ежели хорошо ведете дела, непременно остается в мирное время пятьсот рублей, в военное — тысяч семь, восемь, и от одних лошадей. Ну и ладно. В солдатское продовольствие батарейный командир не вмешивается: уж это так искони ведется в артиллерии; ежели вы дурной хозяин, у вас ничего не останется. Теперь вы должны издерживать, против положения, на ковку — раз (он загнул один палец), на аптеку — два (он загнул другой палец), на канцелярию — три, на подручных лошадей по пятьсот целковых платят, батюшка, а ремонтная цена пятьдесят, и требуют, — это четыре. Вы должны против положения воротники переменить солдатам, на уголь у вас лишнее выйдет, стол вы держите для офицеров. Ежели вы батарейный командир, вы должны жить прилично: вам и коляску нужно, и шубу, и всякую штуку, и другое; и третье, и десятое... да что и говорить...

— А главное, — подхватил капитан, молчавший все время, — вот что, Владимир Семеныч: представьте себе, что человек, как я, например, служит двадцать лет на 200 рублях жалования, в нужде постоянной; так не дать ему хоть за его службу кусок хлеба под старость нажить, когда комиссьонеры в неделю десятки тысяч наживают?»

Это было не только написано, но и напечатано. Дело было общеизвестное. 19 мая 1855 года Толстой на речке Бельбек получил командование над взводом горной артиллерии. Он записывает, ознакомившись с системой отчетности: «...вижу, как легко красть, так легко, что нельзя не красть».

Он удержался от хорошо подготовленного соблазна и записал 12 июля: «...решил, что денег казенных у меня ничего не останется. Даже удивляюсь, как могла мне приходить мысль взять даже совершенно лишние».

Крало сперва интендантство, а за ним по нисходящим ступеням все начальство. Некоторое исключение представлял Кавказ, на котором солдаты артелями вели хозяйство и только денежный ящик был в распоряжении старшего офицера.

Толстой о положении действующей армии в подготовляемой им записке (она не была никак названа и, вероятно, не была подана) писал: «Скажу еще сравнительно: ни в одном европейском войске нет солдату содержания скуднее русского, нет злоупотреблений лихоимства, лишающих солдата половины того, что ему положено...»

Солдаты получали сукно плохого достоинства, шуб не было.

Когда в Севастополь прислали шубы, то они оказались такого плохого качества, что их сложили горой и они гниением своим заразили воздух на большое расстояние.

Все кралось бесконтрольно и безнаказанно. Украдены были кирпичи, из которых должны были быть построены укрепления с северной стороны: вместо укреплений вывели тонкую стеночку.

Украден был весь шанцевый инструмент: кирки, лопаты, ломы. Кто их украл — не доискались. Когда же инженер Тотлебен задумал и начал осуществлять свою систему укреплений вокруг Севастополя, то сперва подымали каменистый грунт деревянными лопатами. Бросились в Одессу: у частных продавцов кирок не нашли. «Лопат же отыскано у торговцев... 4 246 штук» — их повезли в Севастополь подводами.

Для того чтобы закончить эту тему о краже, напомню, что во время коронации площадь перед Кремлем покрывали красным сукном; когда император Николай умер и начались подготовки к коронации Александра II, то оказалось, что несколько десятин красного сукна было похищено со склада, и его понадобилось доставать заново.

Толстой первоначально не сознавал всей остроты положения.

16 сентября он записывает: «Высадка около Севастополя мучит меня. Самонадеянность и изнеженность — вот главные печальные черты нашей армии — общие всем армиям слишком больших и сильных государств».

Анализ сделан с точки зрения офицера, и притом привилегированного, потому что солдаты, да и кад-

ровые офицеры, как это знал Толстой по Кавказу, нисколько не были изнежены. В анализе утверждалось, что царская Россия не только большое государство, но и сильное.

Толстому и нескольким офицерам представилось полезным создать общество для содействия просвещению и образованию среди войск.

17 сентября записано: «План составления общества сильно занимает меня».

Очень скоро было решено организовать не общество, а военный журнал: сперва взяли название «Солдатский вестник», потом более скромное — «Военный листок». Целью журнала было поддержание хорошего духа в войсках; набросан был пробный номер, сделана виньетка. Толстой для журнала написал два небольших очерка: «Как умирают русские солдаты» и «Дяденька Жданов и кавалер Чернов».

Оба очерка впоследствии влились в рассказ «Рубка леса».

Денег на издание не было. Капитан А. Д. Столыпин и Толстой решили достать деньги сами. Для этого Лев Николаевич велел продать дом в Ясной Поляне. Проект журнала пошел по инстанциям, был одобрен командующим фронтом М. Д. Горчаковым, который переслал проект военному министру. В ноябре месяце министр доложил проект государю и получил резолюцию, очевидно устную, которая была переслана обратно Горчакову.

В это время дела русской армии шли плохо, и можно было ожидать, что Николай I хоть в какой-нибудь мере заинтересуется инициативой офицеров. Но для императора самое главное было — система; он сам был как бы деталью системы, мог погибнуть с ней, но не мог ее изменить.

Поэтому составлена была следующая резолюция: «Его величество, отдавая полную справедливость благонамеренной цели, с каковою предположено было издавать сказанный журнал, изволил признать неудобным разрешить издание оного, так как все статьи, касающиеся военных действий наших войск, предварительно помещения оных в журналах и газетах, первоначально печатаются в газете «Русский инвалид» и из оной уже заимствуются в другие периодические издания. Вместе с сим его императорское величество разрешает г. г. офицерам вверенных вашему сиятельству войск присылать статьи свои для помещения в „Русском инвалиде"».

Какого-нибудь запрещения кому бы то ни было помещать материал в «Русском инвалиде» никогда не существовало.

Таким образом, Толстой получил чистый отказ. Тогда он 19 декабря написал письмо Некрасову, запрашивая, когда будет напечатан в «Современнике» «Рассказ маркера» и «Отрочество». Толстой говорит, что хочет прочесть эти вещи в печати и забыть о них, потому что у него на руках новый материал: «...у меня материала гибель. Материала современного, военного содержания, набранных и приготовленных не для вашего журнала, но для Солдатского листка, о попытке основания которого при Южной армии вы слышали, может быть, в Петербурге. На проект мой Государь император всемилостивейше изволил разрешить печатать статьи наши в «Инвалиде»!»

Некрасов уже 2 ноября (письмо не дошло еще до Толстого) сообщал, что «Отрочество» вышло в свет в октябре 1854 года, хотя и очень ощипанное цензурой. Тут же Некрасов извинялся в том, что ему сначала не понравились «Записки маркера». Он перечитал рассказ в печати и убедился, как он хорош. Передается привет от Тургенева, дается адрес и говорится, что писать в редакцию «Современника» следует на имя Тургенева или Панаева.

Так случилось, что то, что Толстой хотел сделать непосредственно для армии, для обороны, для той армии не годилось, и забота о будущем России неизбежно была передана в руки людей, в благонамеренности которых правительство справедливо сомневалось.

Толстой был растерян; он не знал, как жить, для кого жить; с трудом находил он свое место в России. Может быть, это отражалось в размашистом беспорядке его тогдашнего быта.

Лев Николаевич был подавлен неудачей журнала и тем, что он видел вокруг.

Он одновременно и гордится письмом Некрасова, который хвалит «Отрочество», и приходит в отчаяние, записывая: «Все истины парадоксы. Прямые выводы разума ошибочны, нелепые выводы опыта — безошибочны».

Он должен расстаться с опытом старого времени, со своими предрассудками, с разумом. Опыт восточной войны всему противоречит.

Но писатель все еще мечтает об издании военного журнала.

10 октября запись: «Журнал подвигается медленно. Зато я начинаю немного остепеняться».

21 октября: «Дела в Севастополе всё висят на волоске. Пробный листок нынче будет готов, и я опять мечтаю ехать. Я проиграл все деньги в карты».

В конце 1854 года он уже в Севастополе, под огнем, а через несколько месяцев — на самом опасном месте, на 4-м бастионе.

Первые записи его сухи и трогательны.

Он записывает: «Вчера ядро упало около мальчика и девочки, которые по улице играли в лошадки: они обнялись и упали вместе».

Он работает. 24 июня 1855 года составляет себе правила для писания: «...составлять программу, писать начерно и перебеливать, не отделывая отдельно каждого периода. Сам судишь неверно, не выгодно, ежели часто читаешь, прелесть интереса новизны, неожиданность исчезает и часто вымарываешь то, что хорошо и кажется дурным от частого повторения». Через два дня запись: *«Кончил Весеннюю ночь,* уж не так хорошо кажется, как прежде».

Дни заняты работой совершенно вплотную; даже непонятно, как поспевает Толстой не только писать, но проверять, вычеркивать.

Его положение артиллериста в армии было таково, что он должен был состоять при определенных орудиях, но мы видим и Толстого и его друга Столыпина в отчаянных и как будто бы не нужных в военном отношении вылазках.

Толстой записывает после разговора о своих служебных неудачах: «Имел слабость позволить Столыпину увлечь меня на вылазку, хотя теперь не только рад этому, но жалею, что не пошел со штурмовавшей колонной».

Тут же он записывает: «Военная карьера не моя, и чем раньше я из нее выберусь, чтобы вполне предаться литературной, тем будет лучше».

В марте 1855 года Толстой умоляет Ергольскую прислать ему денег: «Кажется, я уже описывал вам первое время своего пребывания в Крыму. В общем я провел его приятно, будучи занят службой и охваченный общим интересом к войне; но начиная с нового года, когда я получил деньги, предназначенные на журнал, который провалился, мой образ жизни стал праздным и безнравственным».

Тут же Толстой утешает тетку, что он еще не дошел до «того положения, в котором... находился перед отъездом на Кавказ... и в которое мог снова опуститься». Он надеется пока отыграться и не только заплатить все долги, но и выкупить имение из залога; мечтает отпустить на волю крестьян.

Для Толстого тяжелы были не столько проигрыши, сколько унизительная необходимость просить деньги у родных, умолять продать что угодно, чтобы эти деньги были найдены, и выслушивать соболезнования тетки, упреки братьев и снисходительную полуготовность услужить мужа сестры Валерьяна Петровича Толстого.

Этот человек, который то отбивался картечью из маленьких своих пушек от неприятеля с открытой позиции, то жил на бастионе под плотным артиллерийским огнем, — этот человек, упрекая себя в лености и апатии, в это время работал над «Юностью», кончил «Рубку леса» и написал «Севастопольские рассказы».

Лев Николаевич вел свои дневники и потребовал, чтобы они были напечатаны без всяких сокращений. Мы знаем о нем все, что можно знать о человеке, но самое важное, что он сказал, написано в его книгах, в которых отобрано самое общее, самое чистое.

Пушкин писал князю П. А. Вяземскому в сентябре 1825 года из села Михайловского: «Презирать суд людей не трудно; презирать суд собственный невозможно».

Чернышевский, читая первые произведения Толстого, увидел в них привычку к самоанализу, огромный духовный опыт; он как бы понял необходимость толстовских дневников, о которых ничего не мог знать.

Толстой все время судил себя и не презирал суд людей и поэтому пошел на публикацию своих дневников, которые мы должны читать с глубоким уважением, как результат подвига человека.

Одновременно он писал «Севастопольские рассказы», в которых он судил не только себя и окружающих его аристократов и полуаристократов, но и всю царскую Россию, которая тогда не была достойна подвига севастопольцев.

ВЕСТИ ИЗ СТАНИЦЫ СТАРОГЛАДКОВСКОЙ

Прошлое не проходит. Молодой офицер, желавший, чтобы с ним как с равным водились Горчаковы, в то же время был другом дяди Епишки и в сердце его жили воспоминания о станице Старогладковской.

Приведу письмо А. С. Оголина, посланное к Толстому 16 сентября 1854 года. Вероятно письмо пришло уже в октябре. Я привожу его в сокращении:

«16 сентября 1854 года.

Утро. Станица Старогладковская.

Добрейший Лев Николаевич!

Весьма и весьма благодарен за письмо, оно уверяет меня, что вы не так-то скоро забываете старых товарищей. — Вы хотите знать подробности нашего житья-бытья, вот они: Алексеев строит огромный дом, с детскими, девичьими и т. д. и, как кажется, не на шутку собирается жениться. На зиму опять собирается в Москву и говорит, что поездка эта должна кончиться чем-нибудь решительным. Я теперь приехал в Старогладковскую и с утра до вечера сижу в садах и уничтожаю виноград. На днях же должен отправиться к взводу в Куринское. У нас на Кавказе ничего не предпринимается — мы теперь ведем оборонительную войну, всякие наступательные движения запрещены. Вам, думаю я, уже известно, как ловко распорядился Шамиль в Грузии: взял около 1500 человек в плен (более женщин и детей на полях во время работ), три княжеских семейства и безнаказанно возвратился домой, в виду наших 20-ти батальонов. Вон как у нас отличаются, позавидуйте нам. — Недавно чеченцы в числе 5000 человек сделали нападение на аул Усти-су (около новой просеки, которую мы рубили в 1853 г.), при них были два орудия; подойдя к аулу на картечный выстрел, они открыли огонь по нем, между прочим более 2000 кавалерии бросилось на плоскость, где пасся скот, и угнали его за Мечик.

Бабушка Улитка твердит мне на ухо (сижу и пишу письмо, а она передо мной стоит сложа руки): «Да отпиши ему, баю, как-то он поживает, да, баю, поклонись-то ему». Соболька же по-прежнему сидит в Трилиниуме <?> и искоса посматривает на нас. Славная старуха, я с удовольствием буду ее вспоминать! Я с Никитою часто говорю про вас: он уже воображает вас флигель-адъютантом, едущим с донесением о победе. Прощайте, достойный граф, извините, что намолол вам всякого вздору, прошу не забывать

Вашего старого сослуживца

А. Оголина».

Имя Улиты сохранено в «Казаках».

У нее есть дочка по прозвищу Соболька, вероятно, она связана чем-то с той женщиной, про которую Толстой не забывал никогда и описывал в повести как Марьяну.

Соболька, услыхав о молодом офицере, сражающемся на войне, только посмотрела искоса и ничего не сказала. Но даже о взгляде Собольки счел нужным написать с Кавказа Льву Толстому бывший его сослуживец.

Подпоручик горноартиллерийского взвода, находясь в Севастополе, записывает в своем дневнике, что ему грустно, что на Графской пристани тихо играет музыка, долетают звуки труб.

На набережной стоит Голицын и еще какие-то господа, облокотясь на перила.

Офицер молод. Прошла и не ушла неудачная любовь

Севастополь красив и печален. Солнце садится за английскими батареями 26 ноября 1854 года Толстой записывает. «Лейтенант Титов выходил с двумя горными единорожками и ночью стрелял вдоль их (вражеских. — *В. Ш.*) траншей Говорят, в траншее был стон такой, что слышно было на третьем и пятом (бастионах. — *В. Ш.*). Похоже на то, что скоро я отправлюсь. Не могу сказать, желаю я этого или нет».

Он был накануне новой книги — «Севастопольских рассказов»

«СЕВАСТОПОЛЬ В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ»

В результате задуманного в сентябре—октябре 1854 года кружком приятелей, офицеров-артиллеристов Южной армии, плана издания военного журнала, возникли «Севастопольские рассказы»

Первоначально очерки предназначались для военных, но в начале января 1855 года Толстой обещал Некрасову ежемесячно доставлять для «Современника» от двух до пяти листов и дал список тем, не называя авторов «Письмо о сестрах милосердия», «Воспоминания об осаде Силистрии», «Письмо солдата из Севастополя».

Предполагалось создать военный журнал с самостоятельной редакцией под обложкой «Современника» Некрасов писал Толстому 27 января 1855 года. «Письмо ваше с предложением военных статей получил и спешу вас уведомить, что не только готов, но и рад дать вам полный простор в «Современнике» — вкусу и таланту вашему верю больше, чем своему».

Из дневника Толстого мы знаем, что 27 марта было написано начало очерка «Севастополь днем и ночью» Из его начала возник очерк «Севастополь в декабре месяце», а вторая часть была отброшена и превратилась в основу рассказа «Севастополь в мае».

В очерке «Севастополь в декабре» значение темы, материала преобладает над всем. Автор прежде всего хочет показать военную обстановку. Рассказ построен как осмотр города каким-то неизвестным заинтересованным и недавно приехавшим человеком. Рассказчик не имеет собственной характеристики и является как бы ведущим в прямом смысле этого слова.

Перед нами особый вид пейзажа — очерковый, деловой пейзаж.

Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горою; темно-синяя поверхность моря сбросила с себя сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском; с бухты несет холодом и туманом; снега нет — все черно, но утренний резкий мороз хватает за лицо и трещит под ногами, и далекий неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра. На кораблях глухо бьет восьмая склянка, отмеряя время.

Этот пейзаж ощутимо повторяется с другим освещением в самом конце маленького рассказа. Сюжетное построение заменено пейзажным кольцом — подчеркнуто, что город осажден.

Уже вечереет. Солнце перед самым закатом вышло из-за серых туч, покрывающих небо, и вдруг багряным светом осветило лиловые тучи, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемое ровной широкой зыбью, и белые строения города, и народ, движущийся по улицам. По воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который играет полковая музыка на бульваре, и звуки выстрелов с бастионов, которые странно вторят им.

Противопоставление обычной жизни города, мирной жизни гарнизона, мирных интересов людей и вой-

ны проведено через весь рассказ и в заключении получает свое художественное разрешение.

Утренняя деятельность города рисуется со спокойной точностью: где прошла смена часовых, побрякивая ружьями; где доктор уже спешит к госпиталю; где солдатик вылез из землянки, моет оледенелой водой загорелое лицо и, оборотясь на зардевшийся восток, быстро крестясь, молится богу; где высокая тяжелая маджара на верблюдах со скрипом протащилась на кладбище хоронить окровавленных покойников, которыми она чуть не доверху наложена...

Толстой пишет о самом трагическом событии той эпохи и ничего не утаивает, но он строит рассказ таким образом, что военные подробности оказываются бытовыми чертами и как бы подчинены быту. Упоминание о необыкновенной упряжке маджары, везущей мертвых на кладбище, — верблюдах — как бы смягчает ужас происходящего, приводит вас к деловому и спокойному отношению к смертям.

Повествователь предупреждает читателя, что тот испытает неприятное впечатление от странного смешения лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака.

Толстой пишет о необычном как об обычном, и пишет, тщательно отбирая факты и детали. Он коротко рассказывает о фурштатском солдатике, который ведет на водопой гнедую тройку — так спокойно и равнодушно, как будто все происходит в Туле или в Саранске.

О войне говорится без страха, без суеты; в одном периоде рассказано о безукоризненных белых перчатках офицера, идущего по улице, о лице курящего матроса и о лице девицы, «которая, боясь замочить свое розовое платье, по камушкам перепрыгивает через улицу».

Война дается как будни, и в то же время она сразу показана госпиталем, ампутацией, людьми после ампутации и бредом женщины, у которой отрезали обе ноги выше колен. И только после этих последних в своей определенности раскрытий войны, после показа бреда под хлороформом, когда чело-



Л. Н. Толстой.
1862 г.

Яснополянский флигель.



Записи и чертеж, сделанные на поле Бородинского сражения.

век, подготовленный для операции, говорит, «как в бреду, бессмысленные, иногда простые и трогательные слова», после этого рассказывается про похороны — бегло и почти празднично. «Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-нибудь офицера, с розовым гробом и музыкой и развевающимися хоругвями».

Толстой сейчас же как бы стушевывает это описание, упоминая «звуки стрельбы с бастионов».

Человек введен в иной мир. Писатель утверждает: «...похороны покажутся вам весьма красивым воинственным зрелищем, звуки — весьма красивыми воинственными звуками, и вы не соедините ни с этим зрелищем, ни с этими звуками мысли ясной, перенесенной на себя, о страданиях и смерти, как вы это сделали на перевязочном пункте».

Страдания отдельных людей подчинены идее защиты Севастополя.

Повествователь проходит через город, оживленные люди сменяются предфронтовым пейзажем. И опять — точное путевое описание со словами «направо» и «вверх».

«Пройдя еще одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по большой улице. За этой баррикадой дома по обеим сторонам улицы необитаемы, вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты, где отбит угол стены, где пробита крыша. Строения кажутся старыми, испытавшими всякое горе и нужду ветеранами и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас. По дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте бомбами. По улице встречаете вы и обгоняете команды солдат, пластунов, офицеров; изредка встречаются женщина или ребенок, но женщина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в солдатских сапогах».

Повествователь видит, как рождается внезапно чувство самосохранения, — от сознания, что вы находитесь около передовой позиции.

«Недалекий свист ядра или бомбы, и в то самое время, как вы станете подниматься на гору, непри-

ятно поразит вас. Вы вдруг поймете и совсем иначе, чем понимали прежде, значение тех звуков выстрелов, которые вы слушали в городе. Какое-нибудь тихо-отрадное воспоминание вдруг блеснет в вашем воображении; собственная ваша личность начнет занимать вас больше, чем наблюдения; у вас станет меньше внимания ко всему окружающему, и какое-то неприятное чувство нерешимости вдруг овладеет вами».

Идя дальше за повествователем, читатель делает ошибку: боится и думает, что уже попал во фронтовую обстановку, но страх ошибочен.

«Как вам кажется, недалеко от себя слышите вы удар ядра, со всех сторон, кажется, слышите различные звуки пуль — жужжащие, как пчела, свистящие, быстрые или визжащие, как струна, — слышите ужасный гул выстрела, потрясающий всех вас, и который вам кажется чем-то ужасно страшным.

«Так вот он, четвертый бастион, вот оно, это страшное, действительно ужасное место!» — думаете вы себе, испытывая маленькое чувство гордости и большое чувство подавленного страха. Но разочаруйтесь: это еще не четвертый бастион. Это Язоновский редут — место сравнительно очень безопасное и вовсе не страшное. Чтобы идти на четвертый бастион, возьмите направо, по этой узкой траншее, по которой, нагнувшись, побрел пехотный солдатик».

Сам же страшный четвертый бастион оказывается не страшным и обыденным. Люди живут в Севастополе, сражаются, засовывают в карманы трубки, дожевывают сухари, прежде чем подойти к орудию, стать на место, с которого только что убрали мертвого или раненого.

Первый очерк Толстого произвел в печати впечатление необычайное и был всеми признан. Его было приказано перевести на французский язык, чтобы напечатать в брюссельской газете «Le Nord», его перепечатали в «Русском инвалиде» — правда, не целиком.

Севастопольская кампания для всех людей предстала в новом виде; прямых указаний на то, что это невиданный героизм, почти не было в очерке, но

в конце, перед заключительным пейзажем, Толстой, не описав укреплений Севастополя, говорит о том, чем держится осажденный город: «Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укреплений, не было войск, не было физической возможности удержать его, и все-таки не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю, — о временах, когда этот герой, достойный древней Греции, — Корнилов, объезжая войска, говорил: «Умрем, ребята, а не отдадим Севастополя», и наши русские, неспособные к фразерству, отвечали: «Умрем! ура!» — только теперь рассказы про эти времена перестали быть для вас прекрасным историческим преданием, но сделались достоверностью, фактом».

К старости лет (как мне рассказывали в Ясной Поляне, уже, конечно, после смерти Толстого) как-то Лев Николаевич дал перевести кусок своей прозы на французский язык, а потом перевод дал перевести на русский язык и очень огорчался тому, что текст так разошелся. Он хотел невозможного — освобождения мысли от языка. Математической точности, однозначности выражения.

«Севастополь в декабре» — книга как бы с невидимым, прозрачным автором, скрытым стилем, с погашенным ощущением выражений; художественная прелесть произведения состоит в сопоставлении понятий.

Художник принял на себя служебную роль показа чужого подвига. Такие случаи отвода авторского переживания из повествования редки.

«СЕВАСТОПОЛЬ В МАЕ»

Второй рассказ о Севастополе изображает город, уже привыкший к осаде; вступление к рассказу своеобразно. Первый абзац действенно передает время.

«Уже шесть месяцев прошло с тех пор, как просвистало первое ядро с бастионов Севастополя и взрыло землю на работах неприятеля, и с тех

НОЧЬ

ВЕСНОЮ 1855 ГОДА ВЪ СЕВАСТОПОЛѢ.

Уже шесть мѣсяцевъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ просвистало первое ядро съ бастіоновъ Севастополя и взрыло землю на работахъ непріятеля; и съ тѣхъ поръ тысячи бомбъ, ядеръ и пуль не переставали летать съ бастіоновъ въ траншеи и изъ траншей на бастіоны и ангелъ смерти не переставалъ парить надъ ними.

Тысячи людскихъ самолюбій успѣли оскорбиться, тысячи успѣли удовлетвориться, тысячи — успокоиться въ объятіяхъ смерти. Сколько розовыхъ гробовъ и полотняныхъ покрововъ! А все тѣ же звуки раздаются съ бастіоновъ, все также съ невольнымъ трепетомъ и страхомъ смотрятъ въ ясный вечеръ французы изъ своего лагеря на желтоватую изрытую землю бастіоновъ Севастополя, на черныя движущіяся по нимъ фигуры нашихъ матросовъ и считаютъ амбразуры, изъ которыхъ сердито торчатъ чугунныя пушки; все также, въ трубу разсматриваетъ съ вышки телеграфа, штурманскій унтеръ-офицеръ пестрыя фигуры французовъ, ихъ батареи, палатки, колонны движущіяся по Зеленой горѣ и дымки вспыхивающіе въ траншеяхъ; и все съ тѣмъ же жаромъ стремятся съ различныхъ сторонъ свѣта разнородныя толпы людей, съ еще болѣе разнородными желаніями, къ этому роковому мѣсту. А вопросъ нерѣшенный дипломатами все еще не рѣшается порохомъ и кровью...

Первая страница рассказа «Севастополь в мае» (в журнале «Современник»).

пор тысячи бомб, ядер и пуль не переставали летать с бастионов в траншеи и с траншей на бастионы, и ангел смерти не переставал парить над ними».

Второй абзац говорит о самолюбиях и о смертях, сталкивая оказавшиеся рядом, но далекие по своим значениям, понятия:

«Тысячи людских самолюбий успели оскорбиться, тысячи успели удовлетвориться, надуться, тысячи — успокоиться в объятиях смерти. Сколько звездочек надето, сколько снято, сколько Анн, Владимиров, сколько розовых гробов и полотняных покровов!»

Дальше идет кратчайший, сжатый пейзаж Севастополя — с точки зрения французов, и вражеский лагерь — с точки зрения севастопольцев:

«А все те же звуки раздаются с бастионов, все так же — с невольным трепетом и суеверным страхом — смотрят в ясный вечер французы из своего лагеря на черную изрытую землю бастионов Севастополя, на черные движущиеся по ним фигуры наших матросов и считают амбразуры, из которых сердито торчат чугунные пушки; все так же в трубу рассматривает с вышки телеграфа штурманский унтер-офицер пестрые фигуры французов, их батареи, палатки, колонны, движущиеся по Зеленой горе, и дымки, вспыхивающие в траншеях, и все с тем же жаром стремятся с различных сторон света разнородные толпы людей, с еще более разнородными желаниями, к этому роковому месту».

Спокойная, торжественная речь повествует о страшном, мужественном и привычно фатальном. Кончается вступление доказательством бессмысленности войны вообще. Эта бессмысленность выясняется путем предложения, чтобы с каждой стороны было выставлено по одному солдату. Пускай дерутся.

«Это рассуждение кажется только парадоксом, но оно верно. Действительно, какая бы была разница между одним русским, воюющим против одного представителя союзников, и между 80-ю тысячами воюющих против 80 тысяч? Отчего не 135 тысяч против 135 тысяч? Отчего не 20 тысяч против 20 тысяч? А отчего не 20 против 20? Отчего не один против одного? Никак одно не логичнее другого. Последнее, напротив, гораздо логичнее, потому что человечнее».

Толстовский метод входа повествователя для разрушения традиционного осмысления принятого, обычного здесь применен в первый раз. Писатель нахо-

дится вне цепи обычных рассуждений; цель его — показать войну как сумасшествие, ее неправомерность.

Если на каждое напряжение одной стороны другая сторона отвечает таким же напряжением, если безумное человечество не хочет разоружения, то почему оно не заменит гибель сотен тысяч дуэлью двух людей

Толстой пытается расщепить предрассудки, как свалявшуюся шерсть, вернуть человечеству ощущение истины, показать «здравый смысл» истории как накопление ошибок.

В художественном произведении он говорит с читателем, как взрослый человек разговаривает с подростком-задирой.

Глубоко изменилось мастерство.

В первом Севастопольском рассказе повествование велось сжато и строго; человек был скрыт в панораме повествования. Между двумя рассказами легло глубокое разочарование, суд над царской политикой. Сам повествователь изменился, сбросив с себя часть предрассудков прошлого. Опровергается сама биография Толстого.

Нельзя прямо идти от дневника писателя, его дневникового высказывания для себя, или от его письма, написанного к определенному человеку, к художественному произведению, сказанному для всех.

То, что говорят люди друг с другом и сами с собой, — для Толстого и для нас после того, как мы прочтем «Севастопольские рассказы», — неправда, хотя бы потому, что они говорят в старом мире, не гармонично построенном.

То, что они думают про себя сами, — тоже неправда, потому что вот здесь они, даже накануне смерти, думают о бессмысленном аристократизме, надеются, что выживут, прославятся и получат крестики. Это все будет в конце концов опровергнуто, и не только смертью. Толстой в рассказе подымается над собой, видя судьбу многих.

Правда этого рассказа — опровержение привычного, опровержение этой войны, этого строя. В этом

рассказе нет инертных, не действующих кусков, и я бы сказал, что в нем нет пейзажа.

Небо в нем смысловое: разное для разных действующих лиц и в то же время одно — непонятое, человеческое. Офицеры-аристократы смотрят в окно, видят ночь над Севастополем, говорят друг с другом, хвастаясь храбростью, и о небе и о войне:

«— Однако начинают попукивать около ложементов Ого! Это наша или *его*? вон лопнула, — говорили они, лежа на окне, глядя на огненные линии бомб, скрещивающиеся в воздухе, на молнии выстрелов, на мгновение освещавшие темно-синее небо, и белый дым пороха и прислушиваясь к звукам все усиливающейся и усиливающейся стрельбы.

— Quelle charmant coup d'oeil! * А? — сказал Калугин, обращая внимание своего гостя на это действительно красивое зрелище. — Знаешь, звезды не различишь от бомбы иногда.

— Да, я сейчас думал, что это звезда, а она опустилась, вот лопнула, а эта большая звезда — как ее зовут? — точно как бомба.

— Знаешь, я до того привык к этим бомбам, что, я уверен, в России в звездную ночь мне будет казаться, что это все бомбы: так привыкнешь»

В другом конце города жительница Севастополя — старуха, выселившаяся с края города, выйдя на улицу, смотрит на небо; рядом с ней стоит денщик Никита и ребенок: они говорят о войне и о небе, которое видят:

«— Звездочки-то, звездочки так и катятся, — глядя на небо, прервала девочка молчание, последовавшее за словами Никиты, — вон, вон еще скатилась: к чему это так? а, маынька?

— Совсем разобьют домишко наш, — сказала старуха, вздыхая и не отвечая на вопрос девочки.

— А как мы нонче с дяинькой ходили туда, маынька, — продолжала певучим голосом разговорившаяся девочка, — так большушая такая ядро в самой комнатке подля шкапа лежит: она сенцы, видно, про-

* Какой красивый вид!

била да в горницу и влетела. Такая большушая, что не поднимешь».

Небо освещено бомбами, звезды смешаны с бомбами; в развязке истории Праскухина звезда-бомба обращается в смерть, в реальность, в опровержение легкого разговора о войне и малой правды.

Дневниковые записи живут, но опровергнуты анализом повествования.

Дневниковые записи об аристократии, о том, кто аристократ, не присутствуют в рассказе как нечто основное, а уничтожены в прямом значении слова, то есть сделаны малыми и объяснены.

На войне продолжается обычная жизнь; продолжается ничтожным, завистливым сомнением в своей полноценности. Кто аристократ — вот что кажется важным и здесь.

«Слово *аристократы* (в смысле высшего отборного круга, в каком бы то ни было сословии) получило у нас в России (где бы, кажется, не должно бы было быть его) с некоторого времени большую популярность и проникло во все края и во все слои общества, куда проникло только тщеславие (а в какие условия времени и обстоятельств не проникает эта гнусная страстишка?) — между купцами, между чиновниками, писарями, офицерами, в Саратов, в Мамадыши, в Винницы, везде, где есть люди. А так как в осажденном городе Севастополе людей много, следовательно и тщеславия много, то есть и *аристократы,* несмотря на то, что ежеминутно висит смерть над головой каждого *аристократа и неаристократа.* Для капитана Обжогова штабс-капитан Михайлов *аристократ,* потому что у него чистая шинель и перчатки, и он его за это терпеть не может, хотя уважает немного; для штабс-капитана Михайлова адъютант Калугин *аристократ,* потому что он адъютант и на «ты» с другим адъютантом, и за это он не совсем хорошо расположен к нему, хотя и боится его. Для адъютанта Калугина граф Нордов *аристократ,* и он его всегда ругает и презирает в душе за то, что он флигель-адъютант».

Привычное, порожденное строем тщеславие ослепляет людей; оно соблазняет «...известно храброго морского офицера Сервягина. желавшего тоже присоединиться к кружку *аристократов.* И известный храбрец с радостью просунул свою мускулистую руку, не раз коловшую французов, за локоть всем и самому Сервягину хорошо известному за не слишком хорошего человека Праскухину».

Социальное неравенство подчиняет себе людей, которые могли бы вне этой мании жить и умирать достойно. Два человека — Праскухин и Михайлов, и сейчас занятые мыслями о своем неравенстве, идут с позиции и находятся уже в кажущейся безопасности. Они слышат возглас часового «Маркела!».

«Михайлов оглянулся. Светлая точка бомбы, казалось, остановилась на своем зените — в том положении, когда решительно нельзя определить ее направление. .

Михайлов упал на живот. Праскухин невольно согнулся до самой земли и зажмурился; он слышал только, как бомба где-то очень близко шлепнулась на твердую землю. Прошла секунда, показавшаяся часом, — бомбу не рвало. Праскухин испугался, не напрасно ли он струсил, — может быть, бомба упала далеко и ему только казалось, что трубка шипит тут же. Он открыл глаза и с самолюбивым удовольствием увидал, что Михайлов, которому он должен двенадцать рублей с полтиной, гораздо ниже и около самых ног его, недвижимо, прижавшись к нему, лежал на брюхе. Но тут же глаза его на мгновение встретились с светящейся трубкой, в аршине от него, крутившейся бомбы.

Ужас — холодный, исключающий все другие мысли и чувства ужас — объял все существо его; он закрыл лицо руками и упал на колена.

Прошла еще секунда — секунда, в которую целый мир чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его воображении».

Смерть рядом.

Двенадцать с полтиной уже упоминались в рассказе. Михайлов, лежащий сейчас на земле, помнил, что Праскухин, который сейчас стоит, должен ему по преферансу двенадцать рублей с полтиной и в то

же время считал, что тот аристократ относительно его.

Высокое и низкое тщательно перемешано в повествовании. Анализ переходит попеременно от Михайлова к Праскухину. Время уплотнено страхом, время реально длится. Михайлов думает:

«... перешел в пехоту, чтобы участвовать в кампании; не лучше ли было мне остаться в уланском полку в городе Т., проводить время с моим другом Наташей... а теперь вот что!» И он начал считать: раз, два, три, четыре, загадывая, что ежели разорвет в чет, то он будет жив, в нечет — то будет убит. «Все кончено! — убит!» — подумал он, когда бомбу разорвало (он не помнил, в чет или нечет) и он почувствовал удар и жестокую боль в голове. «Господи, прости мои согрешения!» — проговорил он, всплеснув руками, приподнялся и без чувств упал навзничь».

Человек как бы умер, но продолжает анализировать, и тут же идет опровержение смерти:

«Первое ощущение, когда он очнулся, была кровь, которая текла по носу, и боль в голове, становившаяся гораздо слабее. «Это душа отходит, — подумал он, — что будет *там*? Господи! Приими дух мой с миром. Только одно странно, — рассуждал он, — что, умирая, я так ясно слышу шаги солдат и звуки выстрелов...»

Кто-то взял его за плечи. Он попробовал открыть глаза и увидал над головой темно-синее небо, группы звезд и две бомбы, которые летели над ним, догоняя одна другую, увидал Игнатьева, солдат с носилками и ружьями, вал траншеи и вдруг поверил, что он еще не на том свете.

Он был камнем легко ранен в голову».

Праскухин в первую секунду считает себя контуженым и тоже переживает цепь мыслей. Это как будто уплотненные мысли Толстого, но взятые сниженно, разоблаченно. Праскухин вспоминает: долг в Петербурге, который надо было заплатить, цыганский мотив, женщину, которую он любил, человека, которым он был оскорблен пять лет тому назад и не заплатил за оскорбление (такой человек с обидой, им нанесенной, вероятно мелочной, был в памяти Толстого). Перед человеком проносится его жизнь в виде измельченного мусора; его что-то толкает со страшным треском, он бежит, спотыкается, падает и думает, что только контужен.

Мимо него бегут солдаты: «.. один, два, три солдата, а вот в подвернутой шинели офицер», — он их считает. Проносится с необыкновенной достоверностью для читателя внутренний диалог. Мы как бы переживаем перед смертью в последнюю секунду иллюзию жизни.

Сбивается счет. Мысли вытесняются телесными ощущениями. Праскухин еще жив:

«...собрал все силы и хотел закричать: «Возьмите меня», — но вместо этого застонал так ужасно, что ему страшно стало, слушая себя. Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах, — и ему показалось, что солдаты кладут на него камни; огни все прыгали реже и реже, камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше ничего не видел, не слышал, не думал и не чувствовал. Он был убит на месте осколком в середину груди».

Какая же правда заключена в судьбе человека, который так суетно живет и так обманно умирает?

Толстой стремится к ней, как никто до него; он считает, что правда — это истинный герой его произведения. Слово о правде заключает рассказ.

«Вот я и сказал, что хотел сказать; но тяжелое раздумье одолевает меня. Может, не надо было говорить этого. Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его.

Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши, и все дурны.

Ни Калугин с своей блестящей храбростью (bravoure de gentilhomme) и тщеславием, двигателем всех поступков, ни Праскухин, пустой, безвредный человек. хотя и павший *на брани за веру, престол и отечество*, ни Михайлов с своей робостью и ограниченным взглядом, ни Пест — ребенок без твердых убеждений и правил, не могут быть ни злодеями, ни героями повести

Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».

Какая же это правда и чем правда Толстого отличается от той правды, которую видел какой-нибудь другой храбрый офицер, сражавшийся в Севастополе? Каким путем Толстой делает правду героем рассказа?

Анализом и системой противопоставления. Неправда войны видна в перемирии.

«На нашем бастионе и на французской траншее выставлены белые флаги, и между ними в цветущей долине кучками лежат без сапог, в серых и синих одеждах, изуродованные трупы, которые сносят рабочие и накладывают на повозки. Ужасный, тяжелый запах мертвого тела наполняет воздух. Из Севастополя и из французского лагеря толпы народа высыпали смотреть на это зрелище и с жадным и благосклонным любопытством стремятся одни к другим».

Правдой оказывается не война, а мир, который может наступить так просто

Люди говорят друг с другом мирно и благосклонно, шутят, смеются; французы и русские пытаются понять друг друга. Офицеры разговаривают друг с другом, подчиняясь инерции или привычному для кавалерийского офицера-аристократа строю мысли, который Толстой называет «французским парикмахерским жаргоном».

Но перемирие объявлено лишь для уборки трупов.

Другая тяжеловесность — инерции прогнивших государств — ведет войну. Толстой спрашивает патетически·

«Да, на бастионе и на траншее выставлены белые флаги, цветущая долина наполнена смрадными телами, прекрасное солнце спускается с прозрачного неба к синему морю, и синее море, колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу. И эти люди — христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения, глядя на то, что они сделали, не упадут с раскаянием вдруг на колени перед тем, кто, дав им жизнь, вложил в душу каждого, вместе с страхом смерти, любовь к добру и прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, как братья? Нет!»

Но этим еще не завершается опровержение войны.

В конце рассказа — волнующая, потрясающая картина.

Десятилетний мальчик среди трупов набирает голубые полевые цветы, которыми усыпана роковая долина. Закрывая лицо букетом, ребенок идет, останавливается перед трупом, коротко, но страшно описанным, трогает ногой окоченевшую руку· «Рука покачнулась и опять стала на свое место. Мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь к крепости».

Так побеждал войну Толстой.

Так уходил он от Горчаковых, от мечты о карьере, прошлых увлечений — идиллий, прекрасно и не точно восстановленного детства Николеньки Иртеньева.

Через семь лет, в беге первых повторений ссор с молодой Софьей Андреевной, еще не уйдя в «Войну и мир», Толстой, сбрасывая с себя сети пустяков, обратится сам к себе в ночь на 18 июня 1863 года, в минуты горькой и напрасной ревности и еще не пришедшего, все покрывающего вдохновенья· «Где я, тот я, которого я сам любил и знал, который выйдет иногда наружу весь и меня самого радует и пугает?»

Человек в творчестве выходит к человечеству, понимая его опыт, труд, ошибки и вдохновенье.

Толстой радовался и пугался, подымаясь над собою, над славой, желаньями, над удачами и проигрышами.

В Севастополе он из прапорщика стал подпоручиком и одновременно великим писателем, потому что то, что он видел, в чем он принял участие, его, писателя, заставило думать, сталкивать мысли, ломать мысль об мысль, чтобы найти в середине нового героя литературы — правду.

За временными укреплениями Севастополя, за редко отвечающими на канонаду союзников русскими пушками, под звездами-бомбами рождался новый художественный метод

Он завоевал потом и мир — правдой.

Толстой шел к великому роману через севастопольский опыт и разочарования, через поиск опоры в народе и отрицание прошлого.

«СЕВАСТОПОЛЬ В АВГУСТЕ 1855 ГОДА»

Высокий, гладкокожий, еще красивый, одетый в шинель накидкой, которая скрадывала полноту, император Николай одиноко бродил по набережной города Санкт-Петербурга. Как защититься от французов, от английского парового флота, от бомб?

Какая защита от десанта, который может произойти около самого Петербурга? Лед Финского залива?

Не будем писать романов и загадывать о мыслях действующих лиц. Император устал, он не знал, как оформить свое выбытие из дворца в смерть.

Николай ходил по дворцу, который почему-то плохо топили, спал на полусолдатской постели, укрытый шинелью, спал, зная, что вся его жизнь проведена неправильно; выезжал на смотры, в манежи.

В половине четвертого дня 18 февраля 1855 года над Зимним дворцом поднялось черное знамя: император умер после тяжкой агонии. В городе одни говорили, что царь простудился, большинство считало, что он приказал себя отравить.

Так умер человек, которого Шевченко прозвал Николай Тормоз, а Толстой впоследствии — Николай Палкин.

Толстой никогда не простил этому царю его бессмысленную и холодную жестокость, развал армии, позор севастопольского поражения и растрату русской славы

Николай умер; но система в государстве не изменилась: взятки компенсировались взятками, воровство было заранее предусмотрено, не брал их, вероятно, один только Акакий Акакиевич, ходивший по морозу без шинели.

25 августа Толстой записал: «Звезды на небе. В Севастополе бомбардировка, в лагере музыка. Добра никакого не сделал, напротив, обыграл Корсакова».

Перед этим Толстой вносит в дневник несколько слов о небе, о ночи и пишет: «Господи помилуй».

Время падения Севастополя — время отчаяния Толстого.

2 сентября он записывает: «Севастополь отдан, я был там в самое мое рождение. Нынче работал над составлением описания хорошо. Должен Розену 300 рублей и лгал ему».

На его глазах совершилось большое историческое событие. Он же становился свидетелем и даже участником того, как «составлялась» история.

Ему было поручено, как литератору, написать официальное донесение о последней бомбардировке и о взятии Севастополя союзными войсками. Сводка была составлена Толстым на основании донесений артиллерийских офицеров со всех бастионов.

Лев Николаевич в заметке «Несколько слов по поводу книги «Война и мир» пишет об этих донесениях: «Я жалею, что не списал этих донесений. Это был лучший образец той наивной, необходимой военной лжи, из которой составляются описания».

Толстой полагал, что многие из его товарищей, которые составляли эти донесения, «...посмеются воспоминанию о том, как они по приказанию начальства писали то, чего не могли знать».

Бессвязность войны, сопротивление неприятеля, который не позволяет выполнить волю командования, несовпадение военной реальности с военными шабло-

нами поражали Толстого, и он говорил: «Все знают, что в наших армиях должность эту, составление реляций и донесений, исполняют большею частью наши инородцы».

Процветающий во время войны барон Берг, остзейский немец, совершающий в сражении поступки никому не нужные, но подходящие под параграфы правил о награждении, действительно превосходно написал бы эти донесения.

Толстой, отвергая эти донесения, докончил в Петербурге 27 декабря 1855 года свой рассказ.

Смерть Николая I, надежды на новые реформы, возвращение декабристов, некоторые поблажки печати приводили тогда петербургское либеральное общество в состояние столь восторженное и столь говорливое, что можно было подумать, что страна не проиграла войну, а выиграла. Принимали героев с речами, с поклонами, с обедами и быстро о них забывали.

Ждали от Толстого монументального рассказа о том, как был сдан Севастополь.

Лев Николаевич написал рассказ, но не тот, который от него ждали. Севастопольское поражение заставило его многое вспомнить, он думал о декабристах, о войне 1812 года, о войне 1805 года, он отступил глубоко назад для того, чтобы получить свободу действий.

Так в крупных войнах военачальники при неудаче не цепляются за случайные рубежи, а отрываются от преследования, переформировывают войска, проверяют рокадные дороги в тылу и готовятся к новому сопротивлению и наступлению.

«Севастополь в августе» написан с глубокой печалью, с спокойствием и какой-то внутренней откровенностью. В этом рассказе Толстой решает для себя те вопросы, которые, поостыв, он не сразу потом опять смог решить так же правильно.

В «Войне и мире» он изберет как главного героя, как Ахиллеса этой войны красивого и мудрого Болконского. Ему он постарается передать свое новое понимание военного дела, не зная тогда и, кажется,

не узнав, что такое же понимание опыта Севастополя и через него понимание истории Наполеона составил в казематах Петропавловской крепости Н. Г. Чернышевский. Его Толстой, вероятно, считал в это время врагом. А они шли к одной цели, будучи рождены одной силой, но мало знали друг о друге, хотя Чернышевский в Толстом многое уже предвидел.

В «Войне и мире» князь Болконский, как это заметил умный и трезвый Фет, не пригодился войне. Аристократ, умница и храбрец бесплоден, как военный человек, и жертвы его принесены с отчаяния.

Войну решает офицер, которого Толстой называл в черновиках Белкиным, а потом в описании Шенграбенского боя показал безыменным храбрецом, ведущим пехоту. Войне нужен скромный Тушин, настоящий артиллерист, с самостоятельным решением, находящий цель своему подвигу, не боящийся личной вины для того, чтобы сохранить армию.

Войне нужен незаметный офицер, который когда-то ходил на валы Измаила вместе с Кутузовым и Суворовым, не достигнув ничего для себя, но сохранив безудержную смелость и понимание того, когда надо нанести удар, а главное — то высокое забвение себя, которое потом так прославил Толстой.

Аристократы — не потому только, что они плохи, не потому, что они не храбры, — не решали судьбы сопротивления под Севастополем; сопротивлялись люди иной социальной сущности, рядовые офицеры, скромные офицеры моряки. Суровый Корнилов и подчеркнуто простой, сын провинциального баснописца, Нахимов.

Одиннадцать месяцев глодали соединенные армии Европы временные укрепления Севастополя, семьдесят семь часов непрерывно продолжалась бомбардировка города; 25 и 26 августа неприятель, кроме того, действовал залпами. Севастополь был оставлен, но сила союзников измотана, и война кончилась не так, как они надеялись.

«Севастополь в августе» написан человеком, не простившим поражения, в котором он не виноват.

Рассказ подготовляет «Войну и мир». Люди, ко-

торые в нем показаны, похожи на победителей 12-го года.

«Севастополь в августе» раскрывает действительность поведения, но одновременно и прославляет людей, которые, считая, что сопротивление невозможно, продолжают исполнять свой долг. Раненый офицер, сильный, здоровый, возвращается из симферопольского госпиталя в Севастополь: «Выстрелы уже слышались, особенно иногда, когда не мешали горы или доносил ветер, чрезвычайно ясно, часто и казалось близко. То как будто взрыв потрясал воздух и невольно заставлял вздрагивать, то быстро друг за другом следовали менее сильные звуки, как барабанная дробь, перебиваемые иногда поразительным гулом, то все сливалось в какой-то перекатывающийся треск, похожий на громовые удары, когда гроза во всем разгаре и только что полил ливень».

Офицер торопится, а навстречу идет обоз, доставивший провиант в Севастополь и теперь везущий оттуда солдат в серых шинелях, матросов в черных пальто, греческих волонтеров в красных фесках и бородатых ополченцев.

Офицер торопится туда, в грозу, и смотрит на встречных «...с озлобленным равнодушием».

В Севастополе показана другая сцена: гарнизонный солдат ест арбуз и говорит солдату, идущему в Севастополь: «Такая страсть, братец ты мой, что и не ходи лучше, а здесь упади где-нибудь в сене, денек-другой пролежи — дело-то лучше будет».

Солдат закуривает трубочку, приподымает шапочку и идет в Севастополь.

«— Эх, обождал бы лучше! — сказал убедительно-протяжно ковырявший арбуз.

— Все одно, — пробормотал прохожий, пролезая между колес столпившихся повозок, — видно, тоже гарбуза купить повечерять, — вишь, что говорят люди».

Вывод бытовой: перед смертью надо поесть, вообще надо продолжать жить и идти на смерть тоже надо.

На смерть идут два брата — один молодой, Володя, — Толстой неожиданно для себя сравнивает его с розаном, а другой — Михаил, похожий на отцветший шиповник. Необыкновенно мягко, по-матерински, описывает Толстой лицо молодого и склад его тела.

Володя в дороге проиграл деньги и с трудом признается в этом брату. Он проиграл восемь рублей; брат дает ему деньги, но с упреком.

Так встретились братья Козельцовы. Молча они едут. Володя считает себя обиженным, обида переходит в мечту. Мечты молодого офицера почти детские. Толстой часто прибегает к этому способу выявления действительности — сравнивая ее с мечтой, надеждой, предположением о том, как должно быть.

Вот о чем мечтает Козельцов-младший.

«Уж стрелять нельзя, и — кончено, мне нет спасения; только вдруг брат выбежит вперед с саблей, и я схвачу ружье, и мы вместе с солдатами побежим. Французы бросятся на брата. Я подбегу, убью одного француза, другого и спасаю брата. Меня ранят в одну руку, я схвачу ружье в другую и все-таки бегу; только брата убьют пулей подле меня. Я остановлюсь на минутку, посмотрю на него этак грустно, поднимусь и закричу: «За мной, отмстим! Я любил брата больше всего на свете, — я скажу, — и потерял его. Отмстим, уничтожим врагов или все умрем тут!» Все закричат, бросятся за мной. Тут все войско французское выйдет, — сам Пелиссье. Мы всех перебьем; но, наконец, меня ранят другой раз, третий раз, и я упаду при смерти. Тогда все прибегут ко мне, Горчаков придет и будет спрашивать, чего я хочу. Я скажу, что ничего не хочу, — только чтобы меня положили рядом с братом, что я хочу умереть с ним. Меня принесут и положат подле окровавленного трупа брата. Я приподнимусь и скажу только: «Да, вы не умели ценить двух человек, которые истинно любили отечество; теперь они оба пали... да простит вам бог!» — и умру».

Кто знает, в какой мере сбудутся эти мечты!»

Обычно у Толстого показано полное несоответствие мечты и реальности. В этом рассказе трагически приподнятые мечты осуществляются.

Братья Козельцовы сперва видят преступный Севастополь, обывательское спокойствие воров, которые делят добычу перед штурмом.

Штурм будет где-то далеко, а они живут так, как положено высшим офицерам. Они считают деньги и почти не характеризованы как люди; но очень много сказано об атрибутах жизни воров.

«Братья застали офицера перед складным столом, на котором стоял стакан холодного чаю с папиросной золой и поднос с водкой и крошками сухой икры и хлеба, в одной желтовато-грязной рубашке, считающего на больших счетах огромную кипу ассигнаций. Но прежде чем говорить о личности офицера и его разговоре, необходимо попристальнее взглянуть на внутренность его балагана и знать хоть немного его образ жизни и занятия. Новый балаган был так велик, прочно заплетен и удобен, с столиками и лавочками, плетеными и из дерна, — как только строят для генералов или полковых командиров; бока и верх, чтобы лист не сыпался, были завешаны тремя коврами, хотя весьма уродливыми, но новыми и, верно, дорогими. На железной кровати, стоявшей под главным ковром с изображенной на нем амазонкой, лежало плюшевое ярко-красное одеяло, грязная прорванная кожаная подушка и енотовая шуба; на столе стояло зеркало в серебряной раме, серебряная, ужасно грязная, щетка, изломанный, набитый маслеными волосами роговой гребень, серебряный подсвечник, бутылка ликера с золотым красным огромным ярлыком, золотые часы с изображением Петра I, два золотые перстня, коробочка с какими-то капсюлями, корка хлеба, и разбросанные старые карты, и пустые и полные бутылки портера под кроватью. Офицер этот заведовал обозом полка и продовольствием лошадей. С ним вместе жил его большой приятель — комиссионер, занимающийся тоже какими-то операциями».

Володя Козельцов попадает сразу на батарею, где подбиты орудия и все обстоит не так, как показывали и учили в школе. Но старый канонир-матрос обходит с молодым офицером батарею, как огород, и спокойно налаживает как будто невозможное сопротивление.

Володя изменяется перед сражением: «Детская, запуганная, ограниченная душа вдруг возмужала, просветлела и увидала новые, обширные, светлые горизонты».

После этого Толстой показывает военный уют блиндажа.

«Над блиндажом слышались беспрестанные выстрелы, но не слишком громко, исключая одной пушки, стоявшей рядом и потрясавшей блиндаж так сильно, что с потолка земля сыпалась. В самом блиндаже было тихо; только солдаты, еще дичась нового офицера, изредка переговаривались, прося один другого посторониться или огню — трубочку закурить; крыса скреблась где-то между камнями, или Вланг, не пришедший еще в себя и дико смотревший кругом, вздыхал вдруг громким вздохом. Володя на своей кровати, в набитом народом уголке, освещенном одной свечкой, испытывал то чувство уютности, которое было у него, когда ребенком, играя в прятки, бывало, он залезал в шкаф или под юбку матери и, не переводя дыхания, слушал, боялся мрака и вместе наслаждался чем-то. Ему было и жутко немножко и весело».

Толстой анализирует состояние Володи вместе с состоянием «измученного, голодного, вшивого солдата, повалившегося на голом полу николаевской батареи». Это дано в форме молитвы, как бы скрыто, заслонено религией.

Старший Козельцов на позиции как дома. Солдаты принимают Михаила Козельцова как своего, верят в его храбрость. Козельцов садится играть в карты, и начинается кутеж пьяных офицеров, которые ссорятся. Они устали, для них «одна отрада есть забвение, уничтожение сознания». И тут же Толстой, не скрывая того, что могло бы стать сюжетной неожиданностью, говорит: «На дне души каждого лежит та благородная искра, которая сделает из него героя; но искра эта устает гореть ярко — придет роковая минута, она вспыхнет пламенем и осветит великие дела»

Приближается штурм. На батарее ласково приняли Володю все, кроме одного, ненатурально патриотического офицера Черновицкого, который высказывает слишком много благородных чувств. Юнкер Вланг относится к офицеру с обожанием, не спуская с него добрых глаз. Володю по жребию отправляют на Малахов курган. Здесь он встречается со спокойной солдатской храбростью, с человеком, который под огнем утаптывает ногами землю над погребом. Володя отправляет старого солдата Мельникова спросить, что это за черная фигура. Мельников встал, «подошел к черному человеку и весьма долго, так же равнодушно и недвижимо стоял около него.

— Это погребной, ваше благородие! — сказал он возвратившись: — погребок пробило бомбой, так пехотные землю носят».

Для Мельникова важно узнать не имя человека, а его должность, его обязанность: это и есть ответ на вопрос, кто это такой.

Сидят солдаты в блиндаже, молодой курчавый солдат из евреев, подняв пулю, черенком расплющивает ее и вырезывает из свинца крест на манер георгиевского. И отдает этот крест Мельникову.

Люди не боятся. Время движется: «Ровно в 12 часов начался штурм Малахова кургана».

Коротко дается севастопольский пейзаж с недостроенной церковью, колонны, набережные с зеленеющим на горе бульваром; время как будто не существует для города. Ползет над ним черный дым от какого-то парохода и длинные белые, предвещающие ветер, облака, а по всей линии укрепления рождаются клубки густого, сжатого, белого дыма. Наконец все понимают: штурм. И на Малаховом кургане подымается французское знамя.

Михаил Козельцов за ночь проигрался; ему сообщают о штурме, он видит свою испуганную роту, и тогда у этого обыкновенного человека вспыхивает чувство героизма, он, наконец, поступает так, как мечтал поступить всю свою жизнь.

«Чувство страха невольно сообщилось и Козельцову: мороз пробежал ему по коже.

— Заняли Шварца, — сказал молодой офицер, у которого зубы щелкали друг о друга. — Все пропало!

— Вздор, — сказал сердито Козельцов и, желая возбудить себя жестом, выхватил свою маленькую железную тупую сабельку и закричал: — Вперед, ребята! Ура-а!

Голос был звучный и громкий; он возбудил самого Козельцова. Он побежал вперед вдоль траверса; человек пятьдесят солдат с криками побежало за ним. Когда они выбежали из-за траверса на открытую площадку, пули посыпались буквально как град; две ударились в него, но куда и что они сделали — контузили, ранили его, он не имел времени решить. Впереди, в дыму, видны были ему уже синие мундиры, красные панталоны и слышны нерусские крики; один француз стоял на бруствере, махал шапкой и кричал что-то. Козельцов был уверен, что его убьют; это-то и придавало ему храбрости. Он бежал вперед и вперед. Несколько солдат обогнали его; и другие солдаты показались откуда-то сбоку и бежали тоже. Синие мундиры оставались в том же расстоянии, убегая от него назад к своим траншеям, но под ногами попадались раненые и убитые. Добежав уже до внешнего рва, все смешались в глазах Козельцова, и он почувствовал боль в груди и, сев на банкет, с огромным наслаждением увидал в амбразуру, как толпы синих мундиров в беспорядке бежали к своим траншеям и как по всему полю лежали убитые и ползали раненые в красных штанах и синих мундирах».

Володя на Малаховом кургане стрелял картечью, перебегая в дыму от одной мортиры к другой, забыв об опасности. Он погибает в бою.

На этом Толстой как бы кончает историю Севастопольской обороны. Люди сделали все, что могли, они сделали даже то, о чем можно только мечтать. Но они побеждены, над их могилами невозможны речи, им нужна только любовь народа.

Некрасов говорил, что Толстой в Володе для матерей описал их погибших сыновей.

Дано приказанье очистить Севастополь, и тогда

у людей рождается страх. Страх был подавлен тогда, когда была оборона, теперь он рождается, как страх законный:

«Второе чувство было страх преследования. Люди чувствовали себя беззащитными, как только оставили те места, на которых привыкли драться, и тревожно толпились во мраке у входа моста, который качал сильный ветер. Сталкиваясь штыками и толпясь полками, экипажами и ополчениями, жалась пехота, проталкивались конные офицеры с приказаниями, плакали и умоляли жители и денщики с кладжею, которую не пропускали; шумя колесами, пробивалась к бухте артиллерия, торопившаяся убираться. Несмотря на увлечение разнородными суетливыми занятиями, чувство самосохранения и желания выбраться как можно скорее из этого страшного места смерти присутствовало в душе каждого».

Что можно сказать на геройских, но бесполезных могилах, какие слова утешения?

Толстой находит нужные слова:

«Выходя на ту сторону моста, почти каждый солдат снимал шапку и крестился. Но за этим чувством было другое, тяжелое, сосущее и более глубокое чувство: это было чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимою горечью в сердце вздыхал и грозился врагам».

Нельзя оставаться на этой высоте.

Толстой для того, чтобы подняться на нее, как бы вышел из себя. Перед ним лежал путь через обыкновенное: он должен был стать еще знаменитым писателем, иметь успехи, должен был пережить разочарование читателей. Он должен был попытаться стать таким, как все, ну, почестнее других, что не так много. Он будет еще мировым посредником, проедется по Западу, будет искать личного счастья и не скоро он подымется до того самоотречения и понимания людей, до той высоты, на которой стояли русские войска, прощаясь с горящим, не по их вине оставленным Севастополем.

ПОСЛЕ КАНОНАДЫ

Нити нежности и нити грубости, правильное и неправильное перепутаны в жизни, и нельзя вынуть одну нить, не повредив ткани системы, в которой все жизненно. Об этом знал уже Стерн, эту мысль Стерна любил Лев Толстой.

Выделение отдельных нитей в жизни Толстого очень сложно. Мы слишком увлекаемся литературными аналогиями; сперва сравниваем Толстого или другого гения с близкими ему вещами, с такими, взаимодействие которых с ним кажется (обычно только кажется) понятным. Потом мы устаем от этого, начинаем брать отношения дальние — они тоже выходят, часто даже оказываются или только кажутся еще более близкими, чем отношения привычные. Мы сравниваем мысли Толстого с мыслями Прудона, сближаем его с Рилем, Урусовым и Поль де Коком. Что же получается?

Вероятно, дело в том, что труд писателя хотя и не совместен с трудом других людей, ибо Лев Николаевич Толстой работает один, почти в келье уединенной, без секретаря даже, но он через литературу и через язык связан со всем миром. Его труд — труд всеобщий, он выражает время, и от его страницы прямо или опосредствованно можно дойти до Герцена, несколько труднее до Прудона, можно дойти до Риля, Урусова, а сам он ходил, реально ходил по тропам Руссо, но видел не только то, что увидал Руссо.

Я не буду пытаться нырять в литературу для того, чтобы доставать не столько жемчуги, сколько губки соответствий.

Само произведение является определенным построением или структурой, как любят сейчас говорить; элементы произведения могут быть оценены только в этой структуре, ею они переосмыслены; таким образом, в каждом факте важно́, как он произошел, как он существовал, изменяясь, и как он существует в данной структуре.

Только в художественной намеренности автора разгадка произведения. Оно ведь построено не пче-

лою, оно написано человеком, оно целевое произведение, законы которого то уходят в подсознательное, то возвращаются в сознание. В результате произведение существует сознательно построенным, но не осознанным до конца во всех своих истинных значениях, оно разгадывается потом в других построениях, стремящихся к познанию мира.

Нам трудно читать дневники Толстого.

В 1825 году А. С. Пушкин из села Михайловского писал князю Вяземскому:

«Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? Черт с ними! Слава богу, что потеряны. Он исповедался в своих стихах, невольно, увлеченный восторгом поэзии. В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностью, то марая своих врагов. Его бы уличили, как уличили Руссо — а там злоба и клевета снова бы торжествовали. Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением. Поступок Мура лучше его Лалла-Рук (в его поэтическом отношении) (здесь говорится о том, что поэт Мур, по преданию, сжег мемуары Байрона. — *В. Ш.*). Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции — охота тебе видеть его на судне. Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости, она в восхищении. *Он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы, — иначе! — Писать свои Mémoires заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый».

Я составляю, как умею, жизнь Толстого — по письмам, дневникам и произведениям. Сам Лев Николаевич говорил, что произведения больше открывают писателя, чем дневники. Произведения открывают цель человека.

Но биографические факты тоже нужны, они уточняют записи, регистрируют отношения и кладут жизнь человека на карту его времени, говоря о том, что было у человека его личное, а что в нем общее, но им самим пережитое.

Итак, мы возвращаемся, как говорили в старинных романах, к нашему герою. Он едет по ноябрьской, избитой войной дороге из Крыма в город Санкт-Петербург курьером.

Удивлялись ямщики, что молодой офицер едет с лакеем как барин, но жалеет коней и не велит гнать их на смерть.

Телега курьера обгоняла медленно идущие, пестрые от грязных бинтов, переполненные, изломанные, разноманерные арбы-маджары и двуколки со стонущими ранеными.

Война умолкала; но в степь не приходила тишина.

Криками, стонами, руганью и тяжелыми скрипами была пересечена земля.

Перед Петербургом Толстой заехал к брату Дмитрию, которого он уже давно привык осуждать.

Братья Толстые не были похожи друг на друга, но иногда казалось, что это один человек в разных его состояниях. Может быть, так их изобразил Толстой в своих воспоминаниях.

Старший, Николай, — талантливый, никого не осуждающий, таящий цель своей жизни. Затем Сергей — никуда не стремящийся, спокойно живущий человек. Дмитрий хочет передать прошлое; по природе аскет, хочет изменить жизнь самым коренным образом Это ему не удается, потому что сам он был страстным, жестоким и высокомерным человеком времени, правда и правила которого уже отмирали.

Все они вместе и каждый по своему — «благородное крапивенское дворянство».

Тут же рядом была Маша — невенчанная жена Дмитрия, взятая им из публичного дома, и не любимый Толстыми их троюродный брат — шурин, муж сестры Марьи Николаевны — граф Валерьян Петрович Толстой. Он тяготил Толстого; обыкновенный, нежадный, незлой, по-обычному распущенный человек — с ним Лев Николаевич встречался много раз и всегда с тяжелым чувством.

Сейчас Валерьян Петрович тосковал у постели зло умирающего шурина.

Лев Николаевич сменил Валерьяна Петровича, но и он с трудом выдерживал тяготы умирания близкого человека и скоро уехал.

Перед смертью Дмитрий затосковал, начал задыхаться. Он просил у доктора и у священника, чтобы его отвезли в Ясную. Ему дали каких-то капель. Дмитрий успокоился, попросил, чтоб его хотя бы похоронили в Ясной, заснул и не проснулся.

Машу, назвав ее Марьей Николаевной, Лев Николаевич показал в «Анне Карениной» около постели умирающего Николая Левина, которого он в романе превратил в нигилиста, мечтающего о пути к коммунизму через артель.

Из Орла через Москву по новой, еще не отпраздновавшей первого пятилетия, чугунке — так называл Лев Николаевич железную дорогу — Толстой приехал в Петербург.

Зиму 1855/56 года он прожил в Петербурге.

Питер изменился с 1849 года, когда Толстой был здесь. Над городом стоял, обнажаясь от переплета лесов, крутой, как яйцо в рюмке, молодо золотящийся на синем небе, купол Исаакия — Далматинского собора, который строили Екатерина, Павел и почти достроил Николай. Гремел под колесами ломовиков булыжник Фонтанки. Тих был Невский, недавно покрытый деревянной торцовой мостовой.

Лев Николаевич о Петербурге того времени писал в начале повести «Декабристы», подробно и с иронической пышностью.

Вступление к повести «Декабристы» огромно, как триумфальные ворота. Это начало пересмотра писателем славы императорского периода. Оно занимает две страницы и не может быть целиком процитировано — я очень советую читателям прочесть его в Собрании сочинений.

Толстой с иронией говорит об эпохе восторгов людей, которые радовались, что они освободились от тирании Николая I, так сказать, даром, не понимая, что

эта радость горько противопоставлена подвигу декабристов, которые воевали не с мертвыми.

Она противопоставлена и тем, что декабристы были победителями над Наполеоном I, а либералы — современники поражения, испытанного нами от Наполеона III.

Приведу начало вступления: «Это было недавно, в царствование Александра II, в наше время — время цивилизации, прогресса, *вопросов,* возрождения России и т. д. и т. д.; в то время, когда победоносное русское войско возвращалось из сданного неприятелю Севастополя, когда вся Россия торжествовала уничтожение черноморского флота, и белокаменная Москва встречала и поздравляла с этим счастливым событием остатки экипажей этого флота, подносила им добрую, русскую чарку водки и, по доброму русскому обычаю, хлеб-соль и кланялась в ноги».

Торжественный период все выше и выше подымается по своей интонации, и в то же время на этой волне пафоса рождаются горькие слова: «...когда грозные комиссии из Петербурга поскакали на юг ловить, обличать и казнить комиссариатских злодеев; когда во всех городах задавались с речами обеды севастопольским героям и им же, с оторванными руками и ногами, подавали трынки, встречая их на мостах и дорогах...»

Все слитнее и многословнее становятся периоды. Одна из фраз, содержащая упоминание целовальника Кокорева, прославившегося тогда своими речами и статьями, содержит около сорока строк. В этих строках тогдашние торжественные слова катятся друг за другом с насмешливым стуком, как пустые вагоны.

Все вступление кончается так: «Пишущий эти строки не только жил в это время, но был одним из деятелей того времени. Мало того, что он сам несколько недель сидел в одном из блиндажей Севастополя, он написал о Крымской войне сочинение, приобретшее ему великую славу, в котором он ясно и подробно изобразил, как стреляли солдаты с бастионов из ру-

жей, как перевязывали на перевязочном пункте перевязками и хоронили на кладбище в землю. Совершив эти подвиги, пишущий эти строки прибыл в центр государства, в ракетное заведение, где и пожал лавры своих подвигов Он видел восторг обеих столиц и всего народа и на себе испытал, как Россия умеет вознаграждать истинные заслуги... Поэтому пишущий эти строки может оценить то великое незабвенное время. Но не в том дело».

Разочарование после войны, ощущение того, что ничего не будет довершено, стыд за самого себя, горькая гордость и боль человека, рожденного народом, способным на великие подвиги, воздвигнуты в этом странном абзаце — торжественных воротах, которые открывают дорогу не к славе, а к иронии.

В романе приезжает декабрист. Зовут его Петр, жену его — Наташа. Это въезжают в свое будущее герои «Войны и мира», пропустив десятилетия ссылки. Их встречают иллюзии и поколение людей, которые ничего не испытали и все это время проговорили и прообедали.

С Сапун-горы, откуда смотрел Толстой на горящий Севастополь, увидал он горящую Москву 1812 года. Захотел все пересмотреть.

Он был молод, ему было двадцать семь лет.

В Петербурге Толстой, приехав, остановился сперва в гостинице, из гостиницы пошел утром к И. С. Тургеневу, которому посвятил «Рубку леса». Два писателя, которые хорошо знали цену друг другу, сейчас же изо всех сил расцеловались.

«Он очень хороший», — написал Толстой сестре Марье Николаевне.

В тот же день Толстой познакомился с Некрасовым, которого он знал как поэта и как редактора, приславшего в Пятигорск добрую весть.

Он увидал человека уже немолодого, желтолицего, кашляющего. «Некрасов, — записал Толстой, — интересен, и в нем много доброго, но в нем нет прелести, привязывающей с первого раза».

Тургенев уговорил Толстого переехать к нему на квартиру, на Фонтанку, недалеко от Невского — у Аничкова моста. Лев Николаевич поселился в большой квартире в первом этаже.

Некрасов написал о Толстом В. П. Боткину: «Что это за милый человек, а уж какой умница! И мне приятно сказать, что, явясь прямо с железной дороги к Тургеневу, он объявил, что желает еще видеть меня. И тот день мы провели вместе и уж наговорились! Милый, энергический, благородный юноша — сокол!.. а может быть, и — орел. Он показался мне выше своих писаний, а уж и они хороши...»

Представьте себе молодого человека, который почти три года провел на Кавказе, на войне два года, перед этим жил в деревне. Шесть лет назад в Петербурге читал журналы, восхищался «Полинькой Сакс» Дружинина, повестями Григоровича, письмами из Испании Боткина, стихами Некрасова, может быть Фета. Теперь все эти люди вдруг стали как бы его ровесниками и восхищенными товарищами.

Он видел поражения и уходил из блиндажей, в которых возились крысы, наверх под огонь неприятеля. А тут тишина Петербурга, торцовые мостовые Невского проспекта, по которому катят кареты, и сам Невский проспект, описанный Гоголем.

Он и теперь был не столько беден, сколько разорен. Толстому всегда деньги нужны были вчера, он всегда умолял прислать ему деньги, продав что угодно и как угодно. Сюда он приехал после большого проигрыша. Но он привез с собой рукописи, готовую «Метель», которая привела в восторг Некрасова, читал начало «Казаков».

Он чувствовал свою неисчерпаемость, молодость. Он печатал «Отрочество», «Рубку леса», «Севастополь в августе», «Метель», писал «Юность».

Когда Лев Николаевич сам вспоминал эти вещи, то в 1875 году они ему казались написанными в один год и сразу напечатанными.

Весть о смерти брата Дмитрия пришла по приезде, но она не сразу его ошеломила. Это должно было произойти и было затемнено славой и суетолокой.

Лев Николаевич 2 февраля записал в Петербурге: «Брат Дмитрий умер. Я нынче узнал это».

И сейчас же идут дела: «Завтра привожу в порядок бумаги, пишу письма Пелагее Ильиничне и старосте и набело «Метель», обедаю в шахматном клубе и все пишу еще «Метель» и вечером захожу к Тургеневу, утром час гуляю».

Это торопливое возвращение к делам не должно служить укором Толстому. Лев Николаевич мучил себя последовательностью, гнал себя от дела к делу. Приведу свидетельство современника. Двоюродная тетка Толстого Александра Андреевна Толстая была его новой знакомой, которую, вероятно, привлекло любопытство к славе.

А. А. Толстая жила в Аничковом дворце как воспитательница внучек Николая I. Значит, она оказалась соседкой Тургенева. Когда Лев Николаевич юношей первый раз был в Петербурге и готовился к экзаменам на кандидата, с Александрой Андреевной он не встретился. Она заметила своего родственника уже тогда, когда тот прославился. Это была еще не старая, довольно умная, очень аристократическая и сейчас заинтересованная Толстым женщина.

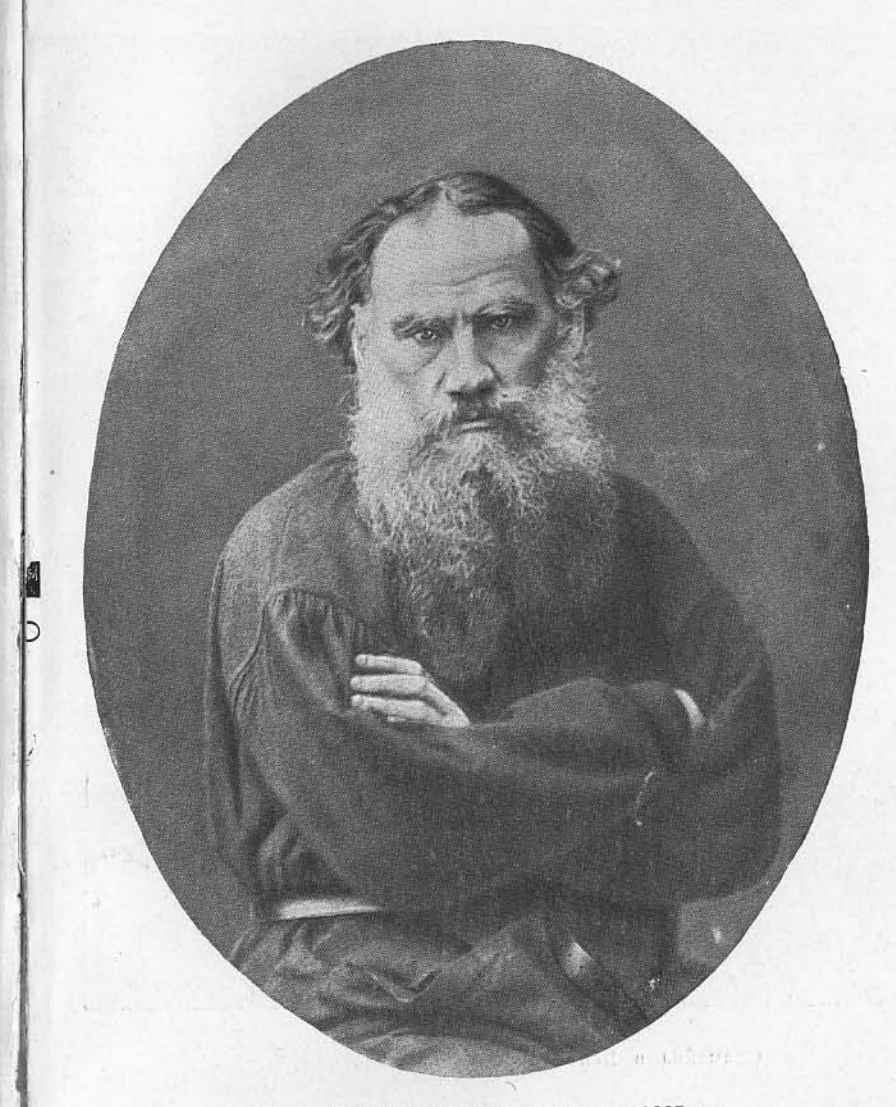
Графиня А. А. Толстая рассказывает, что в тот день, когда Толстой получил известие о смерти брата, был вечер, на который и Толстой был приглашен. Лев Николаевич известил ее, что он не приедет, потому, что у него умер брат.

Вечером он приехал: «...и в ответ на возмущенный вопрос, зачем он приехал, ответил: «Потому что то, что я вам написал сегодня утром, было не правда. Вы видите, я приехал, следовательно, мог приехать».

Кроме того, с этого вечера Лев Николаевич поехал в театр, а когда вернулся домой, у него «...был настоящий ад в душе».

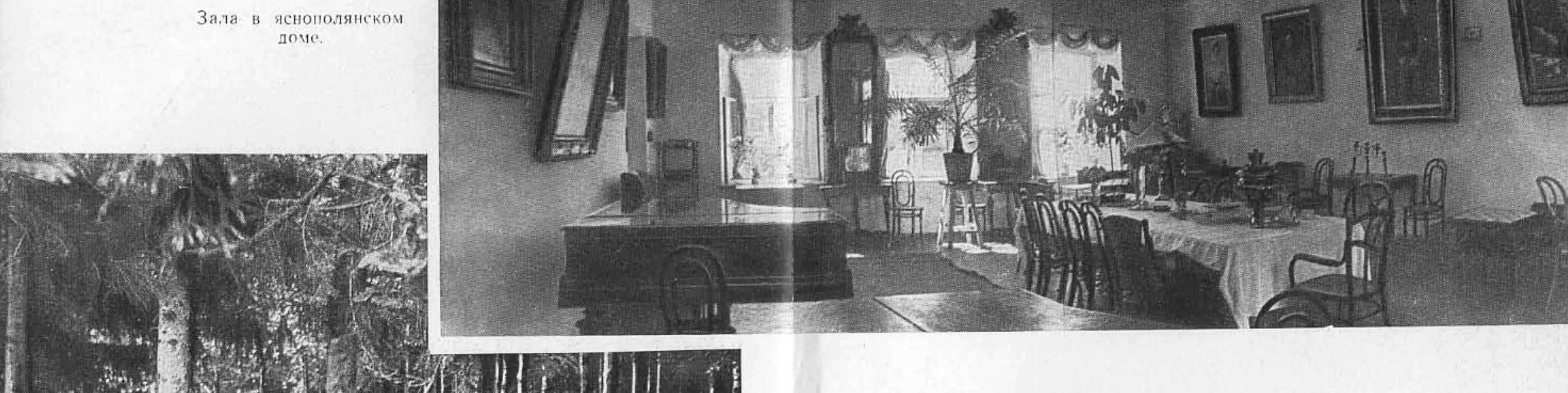
Он защищал себя от лжи, которая мешала понять то, что он уже увидел, пусть преувеличенным, беспощадностью правды.

Весь мир, который увидал Толстой при втором своем приезде в Петербург, как будто выплыл из ту-



Л. Н. Толстой. Москва, 1884 или 1885 гг.

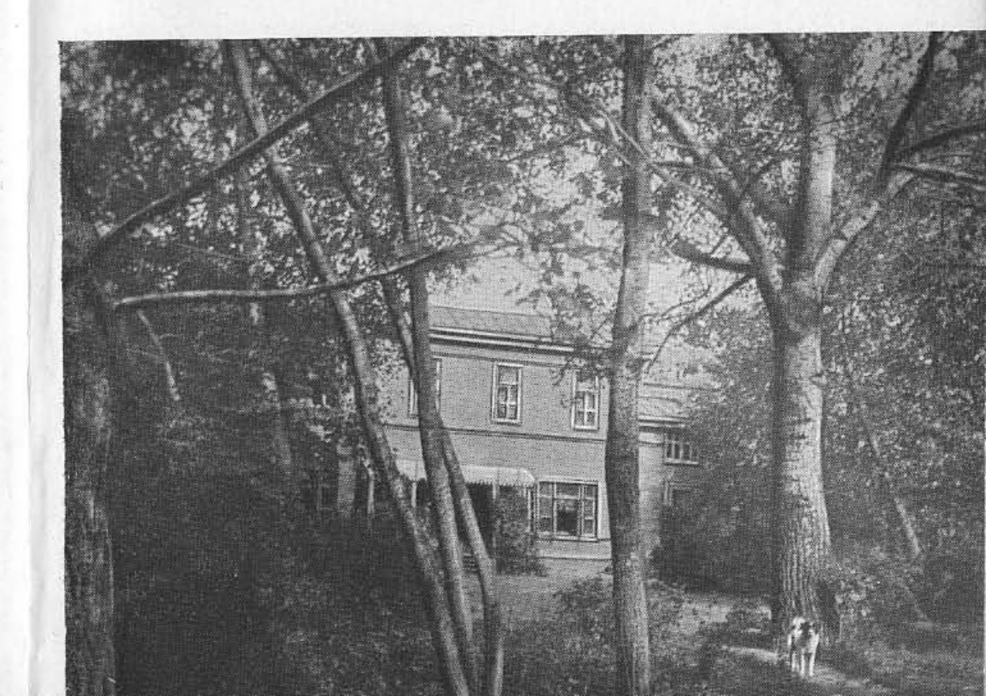
Зала в яснополянском доме.

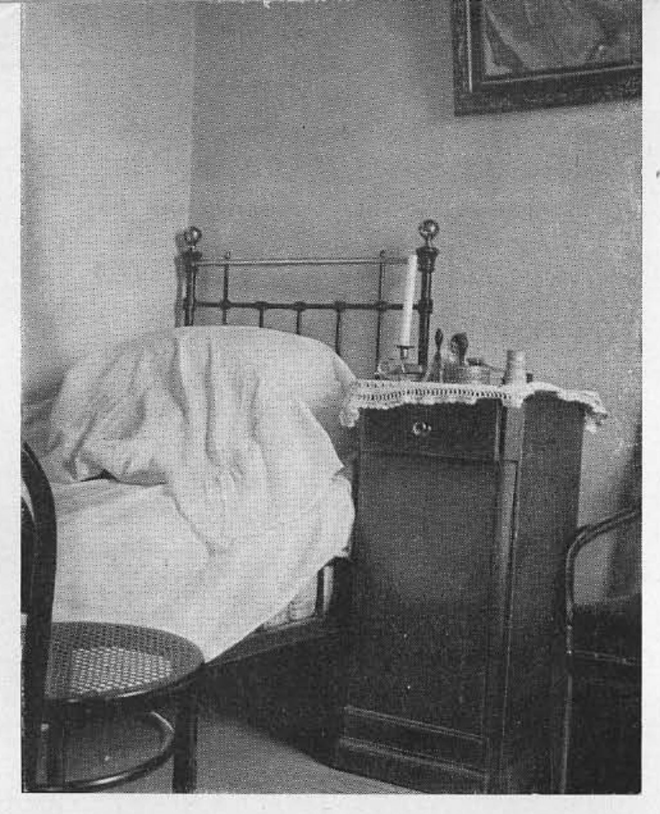




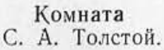
Скамейка в Яснополянском парке.

Дом в Долго-Хамовническом переулке.





Спальня Толстого в яснополянском доме.



Комната С. А. Толстой.



мана и уплотнился. Город оказался наполненным множеством интересных, знаменитых и замечательных людей. Он жил теперь так, как жили те, кому он когда-то завидовал.

Это время грандиозных вступлений; повесть «Два гусара» начиналась так же торжественно, как начаты «Декабристы».

Что будет завтра — Лев Николаевич еще не знает; может быть, он предвидит это, презирая то, что происходит.

В это же время в Петербург приехал из Дерпта небогатый офицер, еще не доказавший своего дворянского происхождения, не вымоливший еще себе у императора фамилию Шеншин, но уже прославленный по всей России под коротким именем Фет; он писал стихи прекрасные, удивительные, новые и в то же время легко входящие в музыку, ложащиеся на дрожание толстых гитарных струн. Вместе с тем Фет был человек благоразумный.

Некрасов, Панаев, Дружинин, Анненков и Гончаров решили помочь Фету в издании его стихов; Тургенев взялся проредактировать эти стихи, введя в их поэтический строй некоторую прозаическую логику. Он пригласил поэта в Петербург оформить издание его стихов — такое красивое, чтобы оно могло «лежать на столике всякой прелестной женщины».

Фет был благоразумен и поездку соединил с командировкой. Командировка эта была не трудна: нужно было закупить в Питере вино и фрукты для полкового праздника.

Талантливый и благоразумный поэт-улан явился на квартиру Тургенева. Фет описал встречу с Толстым интересно, хотя не совсем точно и несколько изменяя факты.

Нужно сказать, что Фет хочет отожествить свои весьма спокойные и консервативные убеждения с тем кипением отрицаний, которые привез Толстой в Петербург.

«Тургенев вставал и пил чай (по-петербургски) весьма рано, и в короткий мой приезд я ежедневно приходил к нему к десяти часам потолковать на про-

сторе. На другой день, когда Захар отворил мне переднюю, я в углу заметил полусаблю с анненской лентой.

— Что это за полусабля? — спросил я, направляясь в дверь гостиной.

— Сюда пожалуйте, — вполголоса сказал Захар, указывая налево в коридор. — Это полусабля графа Толстого, и они у нас в гостиной ночуют. А Иван Сергеевич в кабинете чай кушают.

В продолжение часа, проведенного мною у Тургенева, мы говорили вполголоса из боязни разбудить спящего за дверью графа...

В этот же вечер мы и познакомились с Толстым, но знакомство это было совершенно формальное, так как я в то время еще не читал ни одной его строки и даже не слыхал о нем, как о литературном имени, хотя Тургенев толковал о его рассказах из детства. Но с первой минуты я заметил в молодом Толстом невольную оппозицию всему общепринятому в области суждений».

Но не Фет, а Дружинин ненадолго овладел вниманием Толстого. Дружинин, который был только на четыре года старше Толстого, был уже человеком погашенным: он начал хорошей повестью «Полинька Сакс», которая поразила читателей, в том числе и Толстого, показом бескорыстной мужской любви. Сейчас А. Дружинин был знаменит и очень устал, потому что время ушло от него, он с ним спорил, говорил, что не надо ему этого времени, писал осведомленные и многословные статьи об английской литературе и бытовые фельетоны.

Не надо удивляться тому, что Толстой так подружился с Дружининым, человеком не столь замечательным.

А. Дружинин для Толстого был знаменитым писателем, первой повестью которого он когда-то увлекался. Дружинин долго служил в гвардейском финляндском полку, он офицер, и это тоже сближало его с Толстым. Дружинин много знал, много видел и в то же время был циником. Лев Николаевич циником не был, но у него было внутреннее ощущение превосходства над обычным отношением людей к фактам. Он ничему не верил на слово.

Как-то странно писать про то, что Пушкин, Лермонтов, Некрасов играли в карты.

Маяковский в «Бане» иронизировал над чиновником, который это пытается скрыть.

Но мы должны понять, что люди были лишены судьбы, им были запрещены поступки. Карты давали иллюзию свободы.

Некрасов не был праведником, но он ставил себе требования, которые не ставит обычный человек, и говорил о своих ошибках в своих стихах. Он говорил об обыденной жизни как о жизни преступной, и некоторые его стихи были исповедью поэта, который признается в ошибках перед народом. Биография Некрасова не была тайной для его современников, они принимали великого поэта за его слова:

Клянусь, я честно ненавидел!
Клянусь, я искренно любил!

Эти стихи написаны в 1856 году, в то время, когда Толстой, Некрасов и Фет были как будто вместе, но Фет в это время видел в Некрасове только дерзкого и удачливого игрока.

Некрасов, талантливый, бывалый, артистичный, любил Льва Николаевича, верил в его будущность больше, чем тот сам. Для него слова Толстого, что главным героем «Севастопольских рассказов» является правда — было открытие и одновременно подтверждение мыслей Чернышевского о Гоголе; он восхищался аналитической правдой Толстого, как будущностью всей русской культуры.

Но все же отношения Толстого с писателями-современниками были сложные и все время могли перейти в столкновение. Дружинина он переоценивал, а потом увидал его смертельную усталость и понял, что «искусство для искусства», которое проповедовал Дружинин — изгородь, которою окружил себя человек в лесу, чтобы меньше бояться.

Его отношения с царской официальной Россией — совсем неважные. Песня, сложенная про поражение

4 августа, великому князю известна. Толстой сильно не любим, тем более что песню узнали и солдаты.

Он переводит 1 января 1857 года сказочку Андерсена и записывает, что она В. Боткину при чтении не понравилась.

Эта сказочка, несомненно, «Голый король», потому что только эту сказку Толстой потом многократно вспоминал, говоря, что литература должна доказать, что король голый.

Старая империя с новым, еще не достроенным собором, но уже отлитым памятником императору, только что проигравшему войну, Толстому не нравится.

В апреле 1856 года он записывает: «Одно из главных зол, с веками нарастающих во всевозможных проявлениях, есть вера в прошедшее. Перевороты геологические, исторические необходимы». Близки поэтому ему и перевороты эстетические.

Он отрицает «дома с греческими колоннами», то есть тот неоклассицизм, который осуществляется в зданиях министерств и в гранитных колоннах Исаакиевского собора.

Что же начинало нравиться по-новому Толстому того времени?

2 января 1857 года он записывает: «Утром читал Белинского, и он начинает мне нравиться».

4 января пишет: «Статья о Пушкине — чудо».

6 января: «Я сказал про Белинского дуре Вяз.». Юбилейное издание прочитывает эту запись, как дуре «Вяземской», согласуя род, но Пушкин в своих письмах называет Смирдина «дурой». «Дура» в применении к мужчине — это было особое определение глупости. Вяземский, отрицавший Лермонтова, ненавидящий Белинского, полная «дура» для Толстого.

Но истина приходит к нему только в анализе искусства и во сне. Он записывает 17 октября 1856 года: «Видел во сне, что я открыл, что мнение Белинского заключалось главное в том, что социальные мысли справедливы только тогда, когда их пуссируют до конца».

Пуссировать — значит продвигать. Толстой иногда

видал сны по-французски: это был язык его детства. Он об этом говорил в старости.

Но не скоро ему удастся продвинуть свою мысль до конца, сделать свои социальные мысли справедливыми.

Они были пуссированы до конца в год его смерти, в Петербурге, в демонстрациях рабочих окраин, Невского проспекта, когда люди рвались к справедливости, к революции, забыв о компромиссах и кажущейся невозможности сопротивления.

Он еще не понимает будущего, но знает, что если не освободить крестьян, то через три месяца будет бунт, революция. Он понимает один из немногих революционную ситуацию, которая надвигается на Россию. Он, помещик, дворянин, боится революции. Она отнимает от него землю, и он думает, что ее отнимут без выкупа; в то же время он против гранитных колонн, бессмысленно поддерживающих то, что исторически прошло.

От Белинского, приемлемого для Анненкова, Боткина, Тургенева и отрицаемого Дружининым, прямой путь вел к Чернышевскому. За новое был Чернышевский, но с его новым Толстой не был согласен.

Встречаясь с Чернышевским, который печатал свои «Очерки гоголевского периода русской литературы», расколовшие тогдашнюю литературную общественность, Толстой был против Чернышевского. Но лучшая статья про Толстого на долгие годы — это статья Чернышевского: «Детство» и «Отрочество». «Военные рассказы». Сочинение Л. Н. Толстого».

Хотя Толстой еще не выражен весь, но Чернышевский предугадал всю линию Толстого, написав: «Внимание графа Толстого более всего обращено на то, как одни чувства и мысли развиваются из других; ему интересно наблюдать, как чувство, непосредственно возникающее из данного положения или впечатления, подчиняясь влиянию воспоминаний и силе сочетаний, представляемых воображением, переходит в другие чувства, снова возвращается к прежней исходной точке и опять и опять странствует, изменяясь по всей цепи воспоминаний; как мысль, рожденная

первым ощущением, ведет к другим мыслям, увлекается дальше и дальше, сливает грезы с действительными ощущениями, мечты о будущем с рефлексиею о настоящем».

Чернышевский навсегда дал точное определение творчеству Толстого, назвав его сущность «диалектикой души». Понимание человека в его развитии и явления в его противоречиях ставило Толстого в конфликт с непосредственным окружением. Он чужой для своих и свой для чужих; ненавидит Чернышевского, но слушает его со вниманием и вспоминает о разговорах через десятилетия.

О каждом периоде жизни Толстого можно написать книгу, а об этом периоде особенно. Лев Николаевич опять принялся писать «Казаков», кончил «Метель», написал «Двух гусаров», закончил «Севастополь в августе», «Юность». Он создает новый период в истории мировой литературы и в то же время сам — бездомный и очень несчастливый человек. Он не может найти себе пару, он не может полюбить ни разночинцев, которые овладевают «Современником», ни людей, которые проповедуют искусство для искусства.

Жизнь не выходила у братьев Толстых и у сестры. Дмитрий уже умер, и семья от этой потери как бы сблизилась. Лев Николаевич в марте сообщает Сергею Николаевичу, что издание «Военных рассказов» и «Детства и отрочества» даст около тысячи рублей. Можно занять еще и уехать за границу. Он сообщает, что уже написал Николеньке: «Ежели бы мы все устроились ехать вместе — это было бы отлично».

Лев Николаевич чувствует, что кончилась большая полоса его жизни: надо передумать многое сначала. Среди успехов он недоволен собой и спрашивает брата: «Как понравилась тебе «Метель»? Я ей недоволен — серьезно. А теперь писать многое хочется, но решительно некогда в этом проклятом Петербурге».

Письмо подписано почти как документ, хотя шутливо:

«Твой брат Г. Л. Толстой» — то есть «твой брат граф Лев Толстой».

ТОЛСТОЙ ПОСЕЩАЕТ МЕСТА, ГДЕ ЖИЛ РУССО И ЕГО ГЕРОИ

С чем же уезжает Толстой за границу?

Лев Николаевич начинает всегда задолго. Он пишет «Казаков», но в душе его рождается уже книга, заканчивающая многое, — «Воскресение».

Об этом я договорю в конце книги, но сейчас скажу, что тема «Воскресения» — не падение женщины, ставшей проституткой. Мир Нехлюдова до его предполагаемого воскресения — мир подлой проституции; и только Катюша находит благородный выход из подлого мира.

Руссо и Толстой умели видеть, что тот мир, в котором они живут, нехороший, не заслуживающий уважения.

Это не относится к миру Ясной Поляны. Деревня Ясная Поляна для Толстого осталась миром достойным, но разрушаемым. Миром настоящих отношений осталась для него навсегда станица, в которой Оленин разговаривал с дядей Ерошкой.

Толстой эпохи «Казаков» и знал и не знал будущие свои решения.

Исследуя Толстого, можно запутаться, перечисляя источники, которые, как в старину говорили, имели влияние в него

Конец 1856 года застал Толстого в волнении и нерешительности, он запутался в романе — главным образом эпистолярном — с Арсеньевой, разорвал с ней, начав письмо от 14 января словами холодными и неожиданными: «Любезная Валерия Владимировна, что я виноват перед собою и перед вами ужасно виноват — это несомненно». В конце письма сообщалось: «Я на днях еду в Париж и вернусь в Россию когда? Бог знает».

Толстой уезжал из России, где все перевернулось и еще ничего не улеглось, но было ясно одно: из всех крестьян Ясной Поляны много если один верит помещику.

Он уезжал и от трудностей литературной жизни.

Толстой был связан тесно и дружески с В. Битки-

ным, А. Дружининым и П. Анненковым. Эти теоретики ставили лозунг «искусство для искусства», противопоставляя его статьям Николая Чернышевского. Они были красноречивы.

В записной книжке Толстого уже под датой 4 декабря 1856 года была закреплена мысль, одновременно направленная и против этой теории и против религии.

«Мы спасаемся в искусстве для искусства. Разве это не то же таинство, не таинство религии, которого мы, как бы устав, решили на время не искать источников».

Решения противоречат. Толстой переписывается с Боткиным, с Анненковым, а про Чернышевского написал 11 января перед отъездом: «...пришел Чернышевский, умен и горяч».

Лев Николаевич уезжал, хорошо говоря по-французски, по-немецки, собираясь доучивать английский и начать изучение итальянского. Он был подготовлен к поездке, и поездка была совершенно естественна: люди вокруг ездили за границу, а он еще не был там ни разу. Поездка за границу была как бы неизбежна.

Толстой не знал только, когда он вернется и каким вернется. Он проехал через Варшаву, из Парижа написал Боткину, связав в своем письме в одну фразу два уже далеких и в то время имени.

«Вчера приехал я в Париж, дорогой друг Василий Петрович, и застал тут Тургенева и Некрасова. Они оба блуждают в каком-то мраке, грустят, жалуются на жизнь — празднствуют и тяготятся, как кажется, каждый своими распективными отношениями».

Уезжая за границу, Толстой думал, что главной темой его работы будет рассказ о музыканте Кизеветере, который потом появился под названием «Альберт».

Он думал об этой теме все время и говорил, что образ музыканта «в продолжение дороги так вырос, что уже кажется не по силам».

Париж поразил Толстого весельем, бешенством балов, музеями, в которых он «поверил в рыцарство», картинными галереями.

Ему нравилось во Франции, и он говорил, что нет ни одного человека, «на которого не подействовало бы это чувство социальной свободы, которая составляет главную прелесть здешней жизни и о которой, не испытав ее, судить невозможно».

Но скоро начались сомнения. Они затемнялись сперва изобилием работы, чтением, театром, уроками итальянского языка. Толстой ужасается на культ Наполеона I и после посещения Дома инвалидов записывает: «Обоготворение злодея, ужасно. Солдаты, ученые звери, чтобы кусать всех». Он ужасается пошлости речей Наполеона III.

Усиленно занятый писанием, он все-таки съездил с больным Тургеневым в Дижон. Тургенев записывает о работе Толстого, что тот сидит не близ камина, «но в самом камине, на самом пылу огня, — он работает усердно и страницы исписываются за страницами». Работоспособность Толстого всегда поражает не только своим высоким накалом, но и непрерывностью.

Толстой неутомимо отдается новой жизни. 6 апреля в плохую погоду он, не сознавая еще, что делает, поехал посмотреть на гильотинирование.

Лев Николаевич поехал рассеянно; впечатление, которое он получил, было трагично: «Я видел много ужасов на войне и на Кавказе, но ежели бы при мне изорвали в куски человека, это не было бы так отвратительно, как эта искусная и элегантная машина, посредством которой в одно мгновенье убили сильного, свежего, здорового человека... А толпа отвратительная, отец, который толкует дочери, каким искусным удобным механизмом это делается, и т. п. Закон человеческий — вздор! Правда, что государство есть заговор не только для эксплуатации, но главное для развращения граждан... Я же во всей этой отвратительной лжи вижу одну мерзость, зло и не хочу и не могу разбирать где ее больше, где меньше».

В дневнике Толстой записывает 6 апреля коротко: «Толстая, белая, здоровая шея и грудь. Целовал евангелие и потом — смерть, что за бессмыслица!..»

Так гильотина отрубила веру Толстого в социальную свободу и разум Запада.

7 апреля Толстой записывает: «...вдруг пришла простая и дельная мысль — уехать из Парижа».

Он прощался с Тургеневым и, уйдя от него, плакал о чем-то. Он его любил тогда. Толстой записал про Тургенева: «Он сделал и делает из меня другого человека».

Он отправился в места, которые любил Руссо Там он надеялся спастись от пережитого в Париже ужаса.

Доехал Лев Николаевич в Женеву — сперва непривычной железной дорогой. Железная дорога кончилась, он пересел в дилижанс, и вот что написал Тургеневу: «Вчера вечером, в 8 часов, когда я после поганой железной дороги пересел в дилижанс на открытое место и увидал дорогу, лунную ночь, все эти звуки и духи дорожные, всю мою тоску и болезнь как рукой сняло или, скорей, превратило в эту тихую, трогательную радость, которую вы знаете. Отлично я сделал, что уехал из этого содома Ради бога, уезжайте куда-нибудь и вы, но только не по железной дороге. Железная дорога к путешествию то, что бордель к любви — так же удобно, но так же нечеловечески машинально и убийственно однообразно».

Кларан, расположенный на берегу Женевского озера, был для Толстого местом, о котором он читал с детства. Он увидел пейзажи, которые знал наизусть, он посетил места, которые помнил, живя на Кавказе, прося у своей тетки прислать ему в станицу Старогладковскую тома «Новой Элоизы». Толстой проверял себя, удивляя друзей.

И С. Тургенев в это время в письме П В. Анненкову так характеризовал Толстого: «Действительно, Париж вовсе не приходится в лад его духовному строю; странный он человек, я таких не встречал и не совсем его понимаю· смесь поэта, кальвиниста, фанатика, барича — что-то напоминающее Руссо, но честнее Руссо — высоконравственное и в то же время несимпатичное существо. Он собирается долго прожить на берегу Женевского озера, но я полагаю увидеть его через месяц в Лондоне, куда я еду 1-го мая н. ст.».

Испорченное так, как бы испортила золотая каемка прекрасную картину, обезображенное набережной, побережье Женевского озера было прекрасно. Толстой описывал его, как бы находя новую силу голоса. Он смотрел на озеро и собирался странствовать в тех местах, по которым ходил Руссо, уже начав связывать дневниковые записи в путевые записки.

«.. голубой, ярко-синий Леман, с белыми и черными точками парусов и лодок, почти с трех сторон сиял перед глазами; около Женевы в дали яркого озера дрожал и темнел жаркий воздух, на противуположном берегу круто поднимались зеленые савойские горы, с белыми домиками у подошвы, — с расселинами скалы, имеющими вид громадной белой женщины в старинном костюме. Налево, отчетливо и близко над рыжими виноградниками, в темно-зеленой гуще фруктовых садов, виднелись Монтре с своей прилепившейся на полускате грациозной церковью, Вильнев на самом берегу, с ярко блестящим на полуденном солнце железом домов, таинственное ущелье Вале с нагроможденными друг на друга горами, белый холодный Шильон над самой водой и воспетый островок, выдуманно, но все-таки прекрасно торчащий против Вильнева. Озеро чуть рябило, солнце прямо сверху ударяло на его голубую поверхность, и распущенные по озеру паруса, казалось, не двигались.

Удивительное дело, я два месяца прожил в Clarens, но всякий раз, когда я утром или особенно перед вечером, после обеда, отворял ставни окна, на которое уже зашла тень, и взглядывал на озеро и на зеленые и далью синие горы, отражавшиеся в нем, красота ослепляла меня и мгновенно, с силой неожиданного действовала на меня. Тотчас же мне хотелось любить, я даже чувствовал в себе любовь к себе, и жалел о прошедшем, надеялся на будущее, и жить мне становилось радостно, хотелось жить долго-долго, и мысль о смерти получала детский поэтический ужас. Иногда даже, сидя один в тенистом садике и глядя, все глядя на эти берега и это озеро, я чувствовал, как будто физическое впечатление, как красота через глаза вливалась мне в душу».

В этом отрывке поражает то, что Женевское озеро названо именем Леман, в котором сохранилось старое латинское название. Пейзаж непривычно для Толстого обременен прекрасными литературными воспоминаниями и прямым использованием слов «красота», «поэтический ужас».

Больше двух месяцев прожил Лев Николаевич в этом священном для него месте, отсюда он написал Т. Ергольской 6 (18) мая из Кларана: «Только что получил ваше письмо, дорогая тетенька, которое, как я писал вам в своем последнем письме, застало меня в окрестностях Женевы, в Кларане, в той самой деревне, где жила Юлия Руссо — Не стану пытаться описывать вам красоту этой местности, особенно в эту пору, когда все в листьях, все в цвету, скажу только, что положительно нельзя оторвать глаз от этого озера, от его берегов и что большую часть времени я провожу, любуясь этой красотою, либо гуляя, либо просто из окна своей комнаты».

Лев Николаевич изъездил и исходил места вокруг Женевского озера. Из Люцерна он писал В. Боткину; письмо его от 27 июня (9 июля) полно уплотненными отголосками эпистолярного романа Руссо. Толстой любуется простым, уже исчезающим бытом швейцарцев. Боткину он говорит про «боль одинокого наслаждения»; и пишет письма, обращенные к читателям, близким по сердцу.

Подготовлялся эпистолярный роман, остатком которого является законченный рассказ «Люцерн».

Рассказ появился сперва как длинное письмо к Боткину, был перегружен пейзажами, которые потом исчезли. Конфликт рассказа — песня, спетая бродячим певцом-тирольцем, и культурное общество. Люди выслушали певца и не дали ему денег.

Толстой вмешался в эту сцену, усадил певца вместе с собой, прогнал слугу, который хотел сесть третьим.

Толстой негодует на одичание общества.

Тема «Люцерна» на время оттесняет повесть о Кизеветере. В теме «Кизеветер» есть какое-то сходство и совпадение, не случайное, а вызванное сомнениями

времени, с «Неточкой Незвановой» Федора Достоевского, уже давно написанной.

Великий художник погибает в грязи, в унижении и в то же время он самый лучший, он самый высокий, самый чистый.

Толстой в это время оправдывает художника на суде, на котором в рассказе выступают остальные герои — их представляет в бреду художник, замерзая. Он сгорел, а они не сгорают; он играет на драгоценной скрипке, сжимая ее в своих объятиях.

Музыка Кизеветера дорога была для Толстого. Такая музыка звучала когда-то и была им услышана в старых оранжереях Ясной Поляны. Он сам себя иногда чувствовал погибшим и не мог утешиться, как братья, цыганской песней. Но Толстой не пошел рядом с Кизеветером.

Он был влюблен в образ Руссо. Месяцами он паломником ходил по берегам Женевского озера, но не как Руссо.

Толстой пошел не один: он взял с собой мальчика Сашу — ребенка, который не мог даже нести груз.

Толстой шел по Альпам после того, как он прошел по предгорьям Кавказа с Ерошкой. У него нет сентиментального восторга перед природой. Он как бы проверяет восприятия Руссо, и, вероятно, у него на руках была книга.

Я советую читателю читать не только знаменитые книги Толстого, а сделать Толстого спутником своей жизни. Его путевые записки по Швейцарии — это прекрасная проза. Она оставлена, как бы забыта писателем, но в ней есть не только пейзаж, но и психология людей, которые смотрят: «Вдруг нас поразил необыкновенный, счастливый, белый весенний запах. Саша побежал в лес и сорвал вишневых цветов, но они почти не пахли; с обеих сторон были видны зеленые деревья и кусты без цвета. Сладкий одуревающий запах все усиливался и усиливался. Пройдя сотню шагов, с правой стороны кусты открылись, и покатая, огромная, бело-зеленая долина с несколькими разбросанными на ней домиками открылась перед нами.

Саша побежал на луг рвать обеими руками белые нарциссы и принес мне огромный, невыносимо пахучий букет, но, с свойственной детям разрушительной жадностью, побежал еще топтать и рвать чудные молодые сочные цветы, которые так нравились ему».

Кончается этот кусок очень печально. Толстой пишет: «Полей с нарциссами уже остается мало, потому что скотина не любит их в сене».

Толстой выбрал спутника в силу его слабости, для того, чтобы думать в дороге не о себе. Вот что он пишет: «Я убежден, что в человека вложена бесконечная, не только моральная, но даже физическая бесконечная сила, но вместе с тем на эту силу положен ужасный тормоз — любовь к себе или скорее память о себе, которая производит бессилие. Но как только человек вырвется из этого тормоза, он получает всемогущество. Хотелось бы мне сказать, что лучшее средство вырваться есть любовь к другим, но, к несчастью, это было бы несправедливо. Всемогущество есть бессознательность, бессилие — память о себе Спасаться от этой памяти о себе можно посредством любви к другим, посредством сна, пьянства, труда и т. д; но вся жизнь людей проходит в искании этого забвения — Отчего происходит сила ясновидящих, лунатиков, горячечных или людей, находящихся под влиянием страсти, матерей, людей и животных, защищающих своих детей? Отчего вы не в состоянии произнести правильно слова, ежели вы только будете думать о том, как бы его произнести правильно? Отчего самое ужасное наказанье, которое выдумали люди, есть вечное заточение?.. Заточение, в котором человек лишается всего, что может его заставить забыть себя, и остается с вечной памятью о себе».

Этот глубоко философский отрывок открывает нам очень многое и в том числе показывает, как сильно отличается Толстой от Руссо Руссо все время думает о самом себе, гордится собой и своими пороками, он видит себя как учителя людей, предлагает им правила жизни, но не тяготится своей замкнутостью; он мучится поэтому, сам того не зная, вечным заточением

в самом себе. Многое можно про него сказать, многое, что его может возвысить, но можно сказать также, что Руссо как бы предвосхитил плен в самом себе, в который попали многие крупные писатели нашего времени. Плен этот возвел почти в философскую систему Фрейд.

Руссо в молодости бродил по Альпам, по тем самым местам, по которым после него прошел Толстой. Руссо наслаждался своей молодостью и тем, что он прошел один через Альпы.

Если этот подвиг был совершен, то мы ему удивляемся. Во всяком случае, он был так описан, что люди увидали уединенного человека, который наслаждается сладкой болью своего одиночества.

Толстой сознательно шел по тем же путям, взяв с собой в спутники слабого Не из жалости, не из необходимости внешней, а для того, чтобы стать сильнее

Толстой общественен, социален. Это чудо ощущения общества дало ему детство в деревне, походы волонтером, сидение с солдатами около бивуачного костра, вытаскивание горного орудия совместными усилиями. Леса Кавказа Толстой прошел тоже не один, а с братом Николаем и с Епишкой. При них он был младшим.

Путешествие Льва Толстого и Саши продолжалось две недели, оно было сложно, трудно; путешественники видели много, ездили на лодках, разговаривали и, устав, пили воду, как козы.

Записные книжки и дневники Толстого полны описаний пейзажей, которые никогда еще не были так ярки, точны. В одном месте Толстой записывает: «17/29 мая. Жеснэ — Интерлакен. 29 мая. Гадкая постель Офицеры стучат. Бюралист успокоился. Поехали в Char de côte. В Wissbourg. Ходили на воды. Мрачно-прелестно. Саша говорит, что пейзаж не сходится и Chateau не красивы Пошли пешком от Vimmis до Spiez, бедные рыбаки, Карла тронул Сашу. В лодке до Neuhaus прелестные водопады, гроты, замки».

Я думаю, что «пейзаж не сходится» с пейзажем,

описанным Руссо, с поэтической характеристикой горного пейзажа, сделанной человеком сто лет тому назад.

Я не знаю, каким образом оказалось, что Саша помнил Руссо. Может быть, книга Руссо «Новая Элоиза» в Кларане, в ней описанном, была настольной. Может быть, Лев Николаевич нес «Новую Элоизу» с собой и показывал Саше.

Лев Николаевич ходил по следам Руссо и разошелся со своим великим предшественником.

С берегов Женевского озера Толстой увозил новое отношение к Ясной Поляне и к своим крестьянам: теперь он хотел не только учить детей грамоте, но он хотел вместе с ними, думая о них, перейти через горы времени и стать счастливым и могущественным, не думая о себе.

Мысли над Женевским озером необыкновенно высоки. Лев Николаевич заново перерешает вопрос о казачестве, о школе и в то же время это тот же нам знакомый Толстой. Вокруг знакомые люди — полусыновьи, полувлюбленные отношения к Александрин Толстой, мысли о значении искусства, точное представление о том, что западная цивилизация не может просто быть принята.

Прошлое тоже не может быть просто оставлено.

Отношения к Александрин так и остались навсегда непонятыми с обеих сторон. Люди не захотели договаривать, чтобы не поссориться. Не поняты были отношения с сестрой.

1 августа н. ст. он получил от Сергея Николаевича письмо и записал в дневнике: «Маша разъехалась с Валерьяном Эта новость задушила меня».

Марья Николаевна, любимая, очаровательная и, говорят, некрасивая сестра, разъехалась с мужем, который хотел из нее сделать первую султаншу своего гарема. Маша была настоящей сестрой Толстого, талантливой женщиной со своей судьбой, и судьбой не простой. Муж относился к ней со скрытой ненавистью, говоря ласковые слова.

В Машу влюблялся Тургенев. Говорили, что он посвятил ей повесть «Фауст», но повесть «Фауст» никому не посвящена. Вообще отношения между Машей и Тургеневым не выяснены и не могли быть выяснены: Тургенев был сильно запутан своими французскими связями. Новость о том, что Маша расходится, тоже была тяжела. Но Толстой очень занят делом. 4 августа он записывает в дороге: «Жар, пыль, один. Будущее все улыбается мне. Только не форсируй и не хвались; не рассказывай».

Толстой, молодым и гордым, много видавшим, возвращался домой. По дороге он заехал в Дрезден. Сикстинская мадонна «сразу сильно тронула» его. Он ходил по магазинам, выбирал ноты, книги, возвращался опять в пустынные галереи, ходил мимо картин. Остался холоден ко всему, кроме мадонны.

Он возвращался домой через Берлин, удивлялся разврату на улице. В Штеттине оказалось, что ему для оплаты билета на пароход не хватает талера. Выручил случайно встреченный Пущин.

Из Штеттина до Петербурга ехали три дня; качало, но спалось хорошо. 11 августа Лев Николаевич увидал Петербург и высокий, еще обшитый деревом купол Исаакиевского собора.

Утром встал. Утро туманное, сизое, росистое, березки стоят очень славно.

Он жил у Некрасова, смотрел на Авдотью Панаеву, жалел и Панаева и Некрасова, мечтал о спокойствии для Некрасова, читал Салтыкова. Поехал домой. «Бедность людей и страдания животных ужасны», — записывает Лев Николаевич в Пирогове, в имении своей сестры.

Он вернулся в Ясную Поляну к бедным и недоверчивым крестьянам, думал о смерти: «Мне все кажется, что я скоро умру. Лень писать с подробностями, хотелось бы все писать огненными чертами».

Он читал «Илиаду». Беспокоился о сестре, которая ездила к Тургеневу одна в Спасское-Лутовиново.

Ему было очень тяжело.

Он писал «Казаков».

Лев Николаевич возвращался с Запада повзрослевшим. Не только восхищался Гомером, но хотел через «Илиаду» понять то, что видел на Кавказе.

Гомер дважды был связан для Толстого с патриархальной жизнью: он читал «Илиаду», когда писал «Казаков», и вспоминал Гомера и Геродота в башкирских степях.

Для Толстого крестьянская жизнь или полускифская жизнь башкир — это и есть поэзия; обыденная жизнь Запада для него противопоэтична, безнравственна. Он возвращался в деревню, видя ее отсталость, и возвращался как в поэтическое прошлое, идеализируя ее.

Толстой вернулся в Россию в момент ее ломки, в момент гибели старого — накануне крестьянской реформы. Ленин писал в статье «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение»: «Эта старая патриархальная Россия после 1861 года стала быстро разрушаться под влиянием мирового капитализма. Крестьяне голодали, вымирали, разорялись, как никогда прежде, и бежали в города, забрасывая землю. Усиленно строились железные дороги, фабрики и заводы, благодаря «дешевому труду» разоренных крестьян. В России развивался крупный финансовый капитал, крупная торговля и промышленность.

Вот эта быстрая, тяжелая, острая ломка всех старых «устоев» старой России и отразилась в произведениях Толстого-художника, в воззрениях Толстого-мыслителя.

Толстой знал превосходно деревенскую Россию, быт помещика и крестьянина. Он дал в своих художественных произведениях такие изображения этого быта, которые принадлежат к лучшим произведениям мировой литературы. Острая ломка всех «старых устоев» деревенской России обострила его внимание, углубила его интерес к происходящему вокруг него, привела к перелому всего его миросозерцания».

ПОПЫТКА СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Толстому к тридцати годам надо было жениться. Он требовательно, хотя и непоследовательно искал, в кого бы ему влюбиться, и не мог влюбиться.

Мысль о браке, как о сделке, приходила к нему в самых различных формах; еще юношей рядом с мечтами о выигрыше в карты он собирался войти в общество и при удаче жениться на богатой. Это странно звучит применительно к Толстому, но об этом же мечтала тетка его, хорошая и чистая женщина. Времена изменились, Толстой окреп, вырос. Теперь он хотел влюбиться, подчинить себе женщину, как бы рассказать себе любовь, построить ее по плану.

Всего дольше тянулся роман с Валерией Владимировной Арсеньевой Это была молодая, темноволосая соседка по имению, сирота, жившая в Судакове, состоятельная, но не богатая; культурная, любящая музыку.

Письма Толстого к Арсеньевой наставительны и трагичны. Валерия Арсеньева выдержала шестнадцать писем Толстого, полных морализирования, которое ей так не нравилось.

Валерия Владимировна Арсеньева была человеком откровенным, она рассказывала Толстому многое так, как впоследствии Лев Николаевич все рассказал Софье Андреевне и показал невесте дневники.

Мы не знаем всех писем Арсеньевой, но они показывают, что она относилась к нему с нежной заботливостью.

Лев Николаевич хочет переделать человека, с которым сходится, и не вполне понимает, как это трудно.

В переписке он называет себя вымышленным именем — Храповицким. Он как бы пишет о полусонном, самодовольном помещике средней руки.

Странный, нравоучительный характер переписки подчеркивается тем, что у В. В. Арсеньевой есть подруга-наперсница Ж. Вергани. Иногда письма пишутся на два адреса.

Очевидно, и про другие письма предполагается, что они показываются компаньонке, которая иногда призывается как судья в конфликтах, происходящих из-за требования будущего либерального домостроя.

Толстой в отношениях с Арсеньевой зашел очень далеко, показал девушку тетке, брату, приятелям, написал шестнадцать писем, написал роман и не женился, потерявшись в анализе и оговорках.

Толстой драматизировал некоторые свои письма, как диалог «глупого человека» с «хорошим человеком».

Он не любит, когда пишет.

«Поверьте, ничто в мире не дается без труда — даже любовь, самое прекрасное и естественное чувство».

«...нам предстоит огромный труд — понять друг друга и удержать друг к другу любовь и уважение».

Толстой уверяет ее и себя: «хороший человек вполне расположен любить вас самой сильной, нежной и вечной любовью».

Начало фразы от неловкости написано по-французски.

Толстой требует от своей невесты понимания и единомыслия.

Они должны жить в деревне, создавать счастье крестьянам.

Он требует от нее работы и самоотвержения. Он называет в письмах будущих супругов, то есть себя и Валерию, Храповицкими и описывает их жизнь так. «Г-н Храповицкий будет исполнять давнишнее свое намерение, в котором г-жа Храповицкая наверное поддержит его, сделать сколько возможно своих крестьян счастливыми, будет писать, будет читать и учиться и учить г-жу Храповицкую и называть ее «пупонькой». Г-жа Храповицкая будет заниматься музыкой, чтением и, разделяя планы г-на Храповицкого, будет помогать ему в его главном деле. — Я воображаю ее в виде маленького Провиденья для крестьян, как она в каком-нибудь попелиновом платье с своей черной головкой будет ходить к ним в избы и каждый день ворочаться с сознанием, что она сделала доброе дело, и просыпаться ночью с довольством собой и желанием, чтобы поскорее рассвело, чтобы опять жить и делать добро, за которое все больше

Вставка Л. Н. Толстого в рукопись биографии, составленной П. И Бирюковым.

и больше, до бесконечности, будет обожать ее г-н Храповицкий».

Так писал по ночам Толстой до утра, излагая идиллию, связанную с какими-то мечтами позднего Гоголя и с воспоминанием о добродетельной помещице из «Новой Элоизы» Руссо.

Роману уже подходило со времени выхода к ста годам, но крестьянская идиллия, изложенная в нем, и образ добродетельной помещицы остались утопией. Утопизм старого романа все более становился нереальным.

Толстой строже своего женевского собрата. Юлия романа Руссо чувственна и смела, она нарушает законы обычной морали, любя человека не своего круга.

Валерия нового романа должна быть выше подозрений, и ее прошедшее увлечение музыкантом вспоминается Толстым все с новой досадой. Положительная же программа совпадает.

В «Новой Элоизе» Юлия воспитывала детей и разговаривала с крестьянами так, чтобы помочь им остаться в их сельской местности: «Исходя из сего правила, в Кларане, а еще более — в Этанже стремятся сделать жизнь поселян сколь возможно приятнее, но никогда не помогают им выйти из своего сословия».

Госпожа Юлия де Вольмар считает необходимым «в особенности препятствовать тому, чтобы сословие, самое счастливое из всех, а именно сословие крестьян в свободном государстве, уменьшилось в численности в пользу других».

Толстой подробно рассказывал своей невесте, как они будут жить после женитьбы — главным образом в деревне, иногда в скромном городе, как они будут экономить для того, чтобы ездить за границу и не опровинциалиться. Были сосчитаны все шляпки, которые сможет купить молодая жена; было объяснено, что шляпка требует обстановки: иногда нельзя купить шляпку, потому что нет обстановки для такой шляпки. Лев Николаевич объяснил, что такое флигель-адъютанты, какие они дураки. Он уже ездил к невесте со своим другом Дьяковым. Ревновал к Мортье.

В письме от 8 ноября 1856 года имя Мортье всплывает в самых неожиданных сочетаниях. Сперва пишется: «...я так слаб, что готов верить тому, что вы никогда не были влюблены в Мортье», но перед этим сказано, как ему сообщили, что Арсеньева влюбила в себя какого-то музыканта и даже была в переписке с ним. После говорится о том, что девушка влюбилась в Мортье, потом, что она писала к Мортье, потом—о расположении к Мортье, о том, что Мортье неприятен, о том, что она читала с Мортье «Вертера». Спрашивается: любила ли она Мортье, целовал ли он ее руки, говорится, что Толстой во сне видал, как они целовались.

Имя Мортье повторено в разных комбинациях раз четырнадцать. То же и в следующих письмах.

Вероятно, Лев Николаевич не был прав, потому что через два года — 7 января 1858 года — он записывает, может быть раскаиваясь и перекладывая вину на другого: «Мортье, свинья, сделал историю с письмами».

Значит, отзвуки увлечения Арсеньевой остались.

Уже сговорившись о свадьбе, он уехал внезапно, почти убежал.

Странный роман Толстого, его изменчивое отношение к объявленной невесте очень огорчили Ергольскую. Льву Николаевичу пришлось оправдываться.

Арсеньевой он написал письмо уже из-за границы, перед этим он запросил свою тетеньку, как поживают ее соседки — Арсеньева и ее компаньонка — и о том, «простили ли они великого преступника».

Впоследствии Толстой написал небольшой роман «Семейное счастье», в котором рассказал историю дальше: человек, увлеченный женщиной, не смог ее перевоспитать, женился на ней. Оба несчастливы.

Роман понравился Боткину, остальными был принят холодно и иронически: говорили, что от него пахнет престарелой институткой.

Сам Толстой об этом произведении писал с раскаянием.

ЛЮБОВНЫЕ СОМНЕНИЯ ТОЛСТОГО

I

Вспоминая о своих увлечениях, Толстой писал в 1851 году: «Я никогда не был влюблен в женщин. — Одно сильное чувство, похожее на любовь, я испытал только, когда мне было 13 или 14 лет».

Толстой продолжает: «...но мне хочется верить, чтобы это была любовь...» В Юбилейном издании в 46-м томе на стр. 237 редакторы в корректных ломаных скобках вставляют от себя: «не».

Но Толстой написал, что это *была* любовь; правда,

он удивляется дальше: «...потому что предмет была толстая горничная (правда, очень хорошенькое личико)». «Мне хочется верить» — писал Толстой, надеясь, что он способен к любви.

Предмет любви — горничная Маша, которую Толстой описал в «Детстве». Потом в дневнике он отметил, что надо смягчить, стереть элемент эротики в описании. «Машу сделать приличней». Глава «Маша» была сокращена.

Любовь к Маше кончилась тем, что герой «Отрочества», а может быть, и сам Толстой хлопотал о том, чтобы она стала женой Василия, которого девушка любила.

Поэзия воспоминаний о Маше сплеталась, вероятно, у Толстого с описанием богослужения в пасхальный весенний день в деревне.

Маша превратилась в Катюшу Маслову, передав ей какие-то черты своего сложения.

Толстой сам себе признался в июне 1856 года в записной книжке: «Часто я мечтал о жизни земледельческой, вечный труд, вечная природа и почему-то грубое сладострастие примешивалось всегда к этим мечтам: толстая баба с заскорузлыми руками и крепкими грудями, тоже с голыми ногами, всегда передо мной работает».

Здесь дело не в эротике, а в быте — в работе.

Оленин хотел в станице того, чего хотел Толстой в деревне: уйти из своего общества.

Если Оленин не может жениться на Марьяне, то он должен уехать из станицы. Если он может на ней жениться, то он должен жить в Старогладковской, стать таким, как Лукашка, и отбить у него женщину. Но Лукашка обязан отомстить.

Не получалась история с побегом Лукашки в горы, потому что с этого начиналась новая жизнь Оленина.

И скажу наперед, что повесть «Казаки» была не дописана не потому, что Толстому внезапно потребовались деньги, а потому, что Толстой не сумел построить для Оленина жизнь в станице.

Так сменялись решения повести.

Появлялись варианты, в которых Марьяна становится женой офицера, а Лукашка (Кирка) убегает в горы. Но в этом месте повесть перестала выходить — «Бегство в горы не выходит» (12 апреля); «Заколодило на бегстве в горы. Оттого писал мало» (13 апреля).

Вся вторая часть предполагаемого романа так и не вышла.

Получалось так, что Оленин не может стать мужем Марьяны и не может разлюбить ее.

II

Другая любовь — большая — Толстого настигла после его возвращения с Кавказа. Толстой влюбился в Аксинью Базыкину. В это время он писал «Казаков», перенеся туда и эту свою любовь.

А. Ф. Ефремов в статье «Народный элемент в языке повести Л. Толстого «Казаки» * говорит, что народный язык гребенских казаков в процессе создания повести был частично заменен языком характерно тульским.

Толстой был влюблен в крестьянку и по этому случаю не мог жениться на барышне. Идут записи.

14 января 1858 года: «Александрин Толстая постарела и перестала быть для меня женщиной».

19 января: «Тютчева занимает меня неотступно. Досадно даже, тем более, что это не любовь, не имеет ее прелести».

26 января про Тютчеву: «Холодна, мелка, аристократична».

Тут же: «...Чичерина мила».

9 февраля: «Вечер у Валерии (Арсеньевой. — *В. Ш.*). Она не дурна».

И про Аксинью: «Чудный Троицын день. Вянущая черемуха в корявых рабочих руках... Видел мельком Аксинью. Очень хороша. Все эти дни ждал тщетно.

* «Ученые записки Саратовского désinститута», вып. 3, 1938, стр. 83.

Нынче в большом старом лесу, сноха, я дурак... Я влюблен, как никогда в жизни. Нет другой мысли. Мучаюсь. *Завтра все силы»*.

Он хочет оторваться от Аксиньи.

Толстому исполняется тридцать лет. Он думал о Тютчевой: «Я почти бы готов без любви спокойно жениться на ней, но она старательно-холодно приняла меня».

Он обедал 17 сентября у Берсов: «Милые девочки!»

Наступила зима. Толстой едет на медвежью охоту.

21 декабря он убил медведя.

22 декабря раненая медведица погрызла его и оставила на его лице шрам на всю жизнь.

Об этом в дневнике две строки.

1 января 1859 года Толстой записывает: «Надо жениться в нынешнем году — или никогда».

Надо жениться, а любовь не приходит.

16 февраля Толстой записывает сон. Он заблудился: «Видел один сон — клубника, аллея, она, сразу узнанная, хотя никогда не виданная, и Чапыж в свежих дубовых листьях, без единой сухой ветки и листика».

9 мая: «Получил «Семейное счастье». Это постыдная мерзость. Я ко всему оказываюсь отвратительно холоден. О Аксинье вспоминаю только с отвращением...»

9 октября: «Аксинью продолжаю видеть *исключительно»*. В тот же день пишет: «Был у Львовых; и как вспомню этот визит — вою. Я решил было, что это последняя попытка жениться, но и то ребячество».

Той женщины, которую он хотел найти в своем кругу, не было и, вероятно, быть не могло. Шли попытки безнадежные, и безнадежность их была подчеркнута писанием «Казаков». Он одновременно искал решения судьбы Оленина и своей.

13 октября 1859 года он отмечает: «Была Аксинья».

26 мая 1860 года пишет: «Ее нигде нет — искал. Уж не чувство оленя, а мужа к жене. Странно, ста-

раюсь возобновить бывшее чувство пресыщения и не могу».

В связи с увлечением Аксиньей Толстой написал «Идиллию» и «Тихона и Маланью».

И опять шли записи о любви к Аксинье.

В «Тихоне и Маланье» любовные конфликты решаются по-человечески, просто. В жизни Толстого все запуталось, и он уезжает за границу посмотреть, как там живут, что там преподают детям. Но сны едут за ним.

23 августа 1860 года он записывает. «Видел во сне, что я оделся мужиком, и мать не признает меня».

Лев Николаевич хотел изменить жизнь, не изменяя мира, а изменяя только себя. Он решил изменить уклад мира, не переделывая жизни.

ЗА ГРАНИЦУ

Дорога на Запад была долгая, но Запад казался близким.

Лев Николаевич видал иногда сны на французском языке. В Германии его принимали за немца. Западная литература была ему хорошо известна; кроме того, он знал Запад и западных солдат по боям под Севастополем.

Он думал, что едет на Запад учиться, а ехал не соглашаться и спорить.

Почти все события в жизни Толстого кажутся не столько необъяснимыми, сколько имеющими несколько объяснений. Лев Николаевич думал долго, а решал внезапно, как будто без повода.

В России происходила школьная реформа. Доктор Пирогов выдвигал опыт германской школы. Лев Николаевич мечтал об иной школе. Он мечтал о такой школе, какую мог бы создать сам для себя крестьянин, о школе, которая не отрывала бы крестьянина от его патриархальной жизни, и в то же время, может быть, сам того не сознавая, хотел создать школу, которая давала бы ученикам поэтическое воспитание.

Он много преподавал в школе сам. Рассказывал об истории, пересказывал мифы библии, но такие, которые имеют не столько религиозное, сколько чисто человеческое значение. Он учился у безыменных старых художников, отдаленных от него тысячелетиями, как надо рассказать историю Иосифа, проданного братьями. Иосиф любит своих братьев, он их прощает. И, ставя их в затруднительное положение, принуждая их, оставив младшего брата Вениамина в Египте как бы повторить свою измену, свое предательство, — он сам уходит в соседнюю комнату, чтобы плакать.

Большой хороший писатель Томас Манн недавно заново писал историю Иосифа, обогащая ее сложностью сегодняшнего романа, археологической точностью, столкновением психологических тонкостей во многом разочарованного немца, но он не столько обогатил себя простотой старого повествования, сколько осложнил повествование опытом и иронией.

Толстой ехал на Запад, убежденный в том, что самое правильное из виденного им происходит в Ясной Поляне, и не в его доме, а на поле и в избах. Он ехал спорить и не соглашаться, ехал встретиться с большим человеком, Александром Герценом, который жил на Западе десятилетия и столько же времени спорил, не соглашался и с русским правительством, и с Западом, и с славянофилами, думавшими, что Россия определяется не своим будущим, а своей историей.

Толстой ехал за границу как разведчик в чужую страну — спрашивать, сравнивать, учиться. Он ехал учиться тому, как вернуться в народ, как понять то, что в нем происходит. Он хотел научиться тому, как избежать горя завтрашнего дня, как сделать так, чтобы в Россию не пришла Англия с ее машинами, с ее фабриками, детским трудом, с богатством немногих, с колониями. Он был утопистом, стремящимся вернуться назад, — а этот путь самый невозможный: время движется только вперед.

Патриархальность мира, из которого ехал Толстой, исчезла. Проходящее «освобождение крестьян» было ограбление их путем накладывания на крестьянскую

землю преувеличенных выкупных платежей и отрезывания от нее наиболее ценных и необходимых угодий. Капитализм, который и при Николае I входил в Россию, овладевая ею, повернулся к стране как грабитель. Старое дворянство разорялось разнообразно и поспешно, хотя первое время после освобождения оно получило большие суммы по выкупным обязательствам. Земля крестьянам была продана по ценам фантастическим, превосходящим ее настоящую стоимость. Началось быстрое разорение крестьян.

А Фет во второй части книги «Мои воспоминания», говоря против Литературного фонда и споря с И. Тургеневым, писал: «Серьезные члены-учредители не могут не знать, что литература способна быть забавой или отрадой и даже некоторым подспорьем насущному хлебу, но что чисто литературный труд в большинстве случаев так же мало способен прокормить отдельного человека, как и душевой крестьянский надел».

Так написано было в 1872 году.

А. Фет умел эксплуатировать крестьянский труд, умел прижать рабочего, которому было некуда уйти. Рабочий был связан своим наделом Невозможность крестьянину прокормиться на своей земле А. Фету кажется аксиомой; свидетельство это тем более важно, что оно сказано между прочим, между делом.

Помещики с трудом приспосабливались к новому положению. Семья Толстых по системе хозяйства была старозаветная Сергей Николаевич сохранял большую псовую охоту, держал конный завод. Свободный, умный, он иногда вызывал своей независимостью и умением жить старым барином зависть Льва Николаевича.

Сестра Льва Николаевича — Марья Николаевна все время перебивалась от одной получки денег до другой.

Все Толстые были несчастливы.

Марья Николаевна разошлась со своим мужем, была влюблена в Тургенева. Любовь сестры и ласковая нерешительность Тургенева, его эгоизм, его неумение любить раздражали Толстого. Сейчас Марья Николаевна сама не знала, как построить жизнь.

Любимый брат, с которым он вместе плыл по Волге, тот, который привез Льва Николаевича на Кавказ и там рассеянно воспитывал его, писал рядом, познакомил его с Епишкой, научил охотиться, быть самостоятельным, жить не так, как все, быть свободным, — Николай Николаевич, любимый всеми, был болен чахоткой, уже смертельно.

Недавно от туберкулеза в нужде умер мучительно метавшиися в жизни от религии к аскетической жестокости, от жестокости к влюбленности в женщину, которую взял из публичного дома, Дмитрий.

Лев Николаевич любил Николая Николаевича, как сын может любить отца.

Николая Николаевича врачи послали за границу. Марья Николаевна хотела его сопровождать, потому что нельзя было отправить больного одного, да и ей самой не с кем было оставаться. Лев Николаевич надеялся съехаться с братом, пожить с ним вместе. Николай Николаевич ехал за здоровьем. Марья Николаевна ехала потому, что ей нечего было делать дома, и потому, что надеялась встретиться с Тургеневым. Лев Николаевич ехал увидеть то, что уже давно собирался знать.

Он не был согласен с искусством времени, ему даже Тургенев часто казался банальным. Он не верил в то, что называется прогрессом. Прочитав рассказы немецкого писателя Ауэрбаха, который описывал жизнь немецких крестьян, и «Рейнеке Лиса» Гете, он записывает в своем дневнике: «Видел необычайный сон — мысли. Странная религия моя и религия нашего времени, религия прогресса. Кто сказал одному человеку, что прогресс — хорошо? Это только отсутствие верования и потребность сознанной деятельности, облеченная в верование. Человеку нужен порыв...» Куда порыв — он не дописал. Просто порыв, душевная способность к нему.

Лев Николаевич, Марья Николаевна с детьми поехали из Ясной Поляны через Тулу на Москву, на Петербург в своих экипажах. В Питере они не заста-

ли знакомых — было лето, все разъехались. Толстой показал племянницам только что построенный Исаакиевский собор, золото купола которого еще не потемнело; леса были сняты не до конца, но в соборе уже служили.

Собор блистал мрамором, гранитом и дышал пестрым холодом. Посмотрели новый памятник Николаю I за Исаакиевским собором. Мужественно-красивый царь сидел на элегантном, бронзовом, хорошо отлитом коне, моделированном прекрасным художником-анималистом бароном Клодтом. Отлитый из бронзы человек, сковавший Россию, на большой площади скакал около огромного собора, снова посмертно парадом заменяя победу.

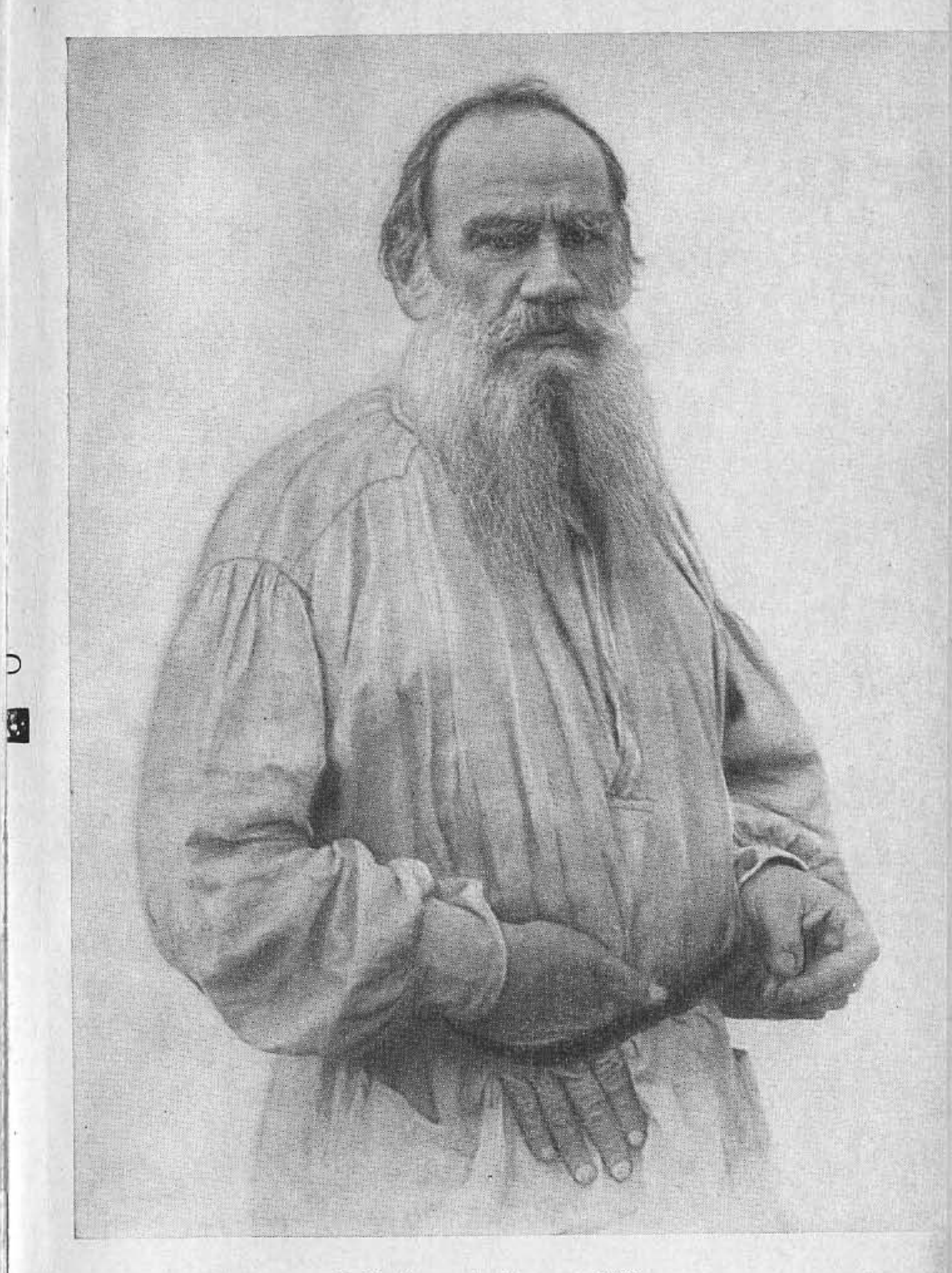
Лев Николаевич написал из Петербурга тетушке Ергольской за несколько часов до отъезда за границу: «...большие города, новые лица, знакомые мне скучны. Нет лучше жизни, как косить с шестипалым Тихоном».

2 июля 1860 года Толстой выехал на пароходе «Прусский орел» из Петербурга в Штеттин.

Балтийское море в те летние дни белесо. Солнце долго стоит над горизонтом. Волны серо-синие. Берега уходили. Скрывался Петербург. Последним в белесой синеве потонул золотой купол Исаакиевского собора. Разошлись, как створки ворот, темные берега. Вот одно только плоское серое море; чайки кричат о новостях, летя за кораблем с желто-черным прусским флагом.

В большом, еще не императорском Берлине Толстой бродил десять дней. Посетил клуб ремесленников: здесь ему понравился «вопросный ящик». Люди, которые имеют какие-то вопросы, пишут записки и бросают в ящик, ящик открывают и дальше идет то, что вы знаете по нашим лекциям, — ответы на записки. Немецкие ответы на записки были очень обстоятельны. Толстой дважды посетил клуб ремесленников, привез с собой в Ясную Поляну устав этого клуба и несколько записок из «вопросного ящика».

Толстой посещал в Германии педагогов, ученых. Они принимали его как ученого, поражаясь широкими



Л. Н. Толстой. Москва, 1892 г.

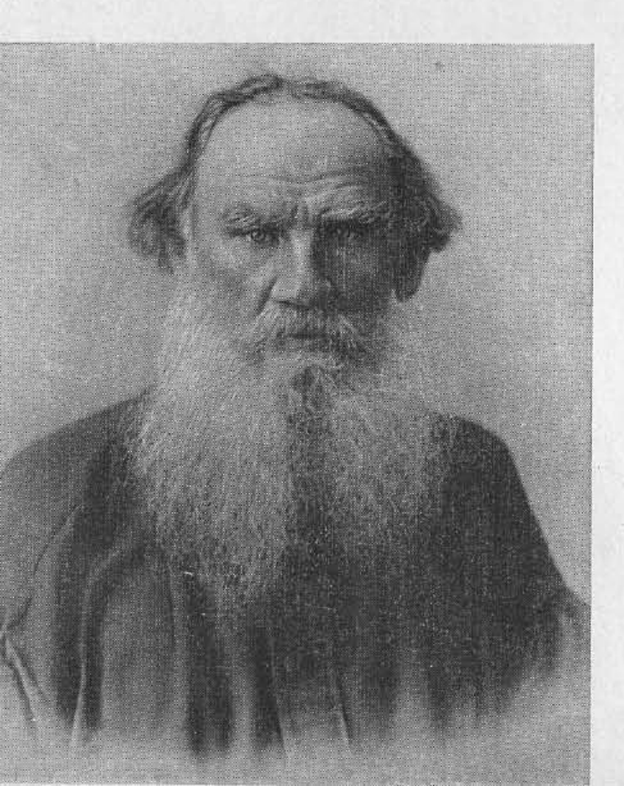
В кругу семьи и гостей.
Ясная Поляна, 1888 г.

У балагана. Москва



В. Г. Чертков.





Л. Н. Толстой.
Москва, 1896 г.

знаниями русского графа. Он интересовался сельским хозяйством и находил, что немецкие крестьяне во многом сходны с русскими.

Приехал к брату в Киссинген 12 августа и записал в дневнике: «Положение Николеньки ужасно. Страшно умен. Ясен. И желание жить. А энергии жизни нет».

Брат с сестрой поехали на юг Франции. Толстой продолжал путешествовать один. Осматривал фермы. Удивлялся, как плохо кормят поденщиков, как похожа их работа на барщину. Он разочарованно записывает 29 августа: «Пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни, а самому делать жизнь». Но как делать жизнь?

С братом Лев Николаевич снова встретился в Гиере. Это город на южном побережье Франции, недалеко от Тулона. Братья жили в пансионе, из окон которого виден был пестрый пляж, синее море; вдали остров. Машенька остановилась в другой гостинице.

«Климат здесь прекрасный, — писал Толстой Ергольской. — Лимонные, апельсиновые деревья, лавры, пальмы всю зиму с листвой, в цвету и с плодами. Здоровье Николеньки все в том же положении; но только здесь ему можно надеяться на улучшение».

Стояла прекрасная погода. Были надежды, потому что на улицах попадались больные знакомые русские, которые как-то тянули изо дня в день и так — годами.

До последней минуты Николенька сохранял надежду. Все сам делал. Старался заниматься, писал, расспрашивал брата о его планах, просил читать ему отрывки, советовал. Но все это он делал, как казалось Толстому, не по внутреннему стремлению, а по принципу. Он не хотел сдаваться. Однажды он прошел через спальню и упал от слабости на постель у открытого окна. Лев Николаевич пришел. Николай Николаевич сказал со слезами на глазах: «Как я наслаждался теперь час целый». Он умирал медленно, спокойно, тихо и мучительно. Тысячу раз повторял себе Лев Николаевич слова евангелия: «Оставим мерт-

вым хоронить мертвых» — и слова библии: «Из земли взят — в землю отойдешь». Он писал: «Но нельзя уговорить камень, чтобы он падал наверх, а не вниз, куда его тянет. Нельзя смеяться шутке, которая наскучила, нельзя есть, когда не хочется. К чему все, когда завтра начнутся муки смерти со всею мерзостью подлости, лжи, самообманывания и кончатся ничтожеством, нулем для себя. Забавная штучка. Будь полезен, будь добродетелен, будь счастлив, покуда жив, — говорят века друг другу люди да мы... а правда, которую я вынес из 32 лет, есть та, что положение, в которое нас поставил кто-то, есть самый ужасный обман и злодеяние, для которого бы мы не нашли слов (мы, либералы), ежели бы человек поставил бы другого человека в это положение».

Но Толстой этому не верил. Он решает так: «Берите жизнь, какая она есть». Как же! Я и беру жизнь, какова она есть, как самое пошлое, отвратительное и ложное состояние».

Перед смертью Николай Николаевич очнулся и сказал тихо: «Да что ж это такое?»

Он увидел смерть и ужаснул спокойным приятием смерти и страхом перед нею своего друга-брата. Он увидел поглощение себя в ничто. Лев Николаевич хотел научиться побеждать страх смерти, но увидел побеждающую смерть и мертвого брата.

Толстой остался на берегу синего моря. Ходил по улицам среди умирающих. Писал письма, чтобы погорелым мужикам дали леса из рощи на постройку, и делал все это со смертью в душе.

С лица Николая Николаевича сняли маску. Лев Николаевич заказал бюст брата. Надо жить.

И жить, кажется, можно, если забыть себя.

Уехала Марья Николаевна с детьми. У нее была своя жизнь. Лев Николаевич отпустил ее, не зная ее будущей судьбы. Сам он сел писать. Писал «Казаков», «Декабристов». Он спорил со своим временем и писал про Ерошку, про леса, про охоту, которую он видел вместе с братом, писал про женщину-казачку, о которой последний раз имел вести в 1854 году. Он пятился от смерти в воспоминания о спокойном старике, который жил долго, потому что умел смотреть в женские глаза и охотиться.

Ерошка, когда умрет, умрет, как большое старое дерево.

Лес останется.

ТОЛСТОЙ У ГЕРЦЕНА

В январе 1908 года в Ясную Поляну с чемоданчиком в руках, рассказывает П. Сергеенко, пришел сибиряк В. П. — сын зажиточных родителей, человек, считавший себя последователем Толстого, оставивший свой дом, побывавший в Японии, в Америке, живший в Лондоне. Сейчас он пришел к Толстому, как к учителю.

Разговорились. Лев Николаевич сперва пожаловался, как легко он забывает то, что было вчера, а потом начал рассказывать с точнейшими подробностями о лондонских улицах минувшего века и о литературном вечере, на котором тогда читал Диккенс.

Толстой был на одной из первых лекций Диккенса.

Чарльз Диккенс носил темные усы, зачесывал назад волосы, одевался пестро и казался Честертону, который его знал, человеком миниатюрного сложения.

Толстой же рассказывал о Диккенсе, как о могучем человеке; он увидал его крупным и так запомнил на шестьдесят лет.

Глазами Диккенса смотрел Толстой и на Лондон.

Диккенс научил видеть детали и выделять главное; показал, что значат в семейном английском доме чириканье сверчка, кипение чайника, что значат гетры Пикквика и манера Микобера чистить лимоны и по-разному размешивать сахар в кипятке в зависимости от настроения.

Нам трудно представить Лондон тех времен.

Медленно и свободно воспринимающий жизнь Гончаров так описывал Лондон средины прошлого столетия:

«Не забуду... картины пылающего в газовом пламени необъятного города, представляющейся путеше-

ственнику, когда он подъезжает... вечером. Паровоз вторгается в этот океан блеска и мчит по крышам домов, над изящными пропастями, где, как в калейдоскопе, между расписанных, облитых ярким блеском огня и красок улиц, движется муравейник».

Город сверкал желтым светом газа и показался сейчас бы нам темной пропастью. Город был тих. Гончаров говорил: «Кроме неизбежного шума от лошадей и колес, другого почти не услышишь. Город, как живое существо, кажется, сдерживает свое дыхание и биение пульса. Нет ни напрасного крика, ни лишнего движения, а уж о пении, о прыжке, о шалости и между детьми мало слышно. Кажется, все рассчитано, взвешено и оценено, как будто и с голоса, и с мимики берут тоже пошлину, как с окон, с колесных шин. Экипажи мчатся во всю прыть, но кучера не кричат, да и прохожий никогда не зазевается... Все спешат, бегут: беззаботных и ленивых фигур, кроме моей, нет».

В желто освещенном городе, в котором и днем солнце светит сквозь фильтр дыма, освещая зелень, оттушеванные дымом дома и растушеванную переливчатую грязь Темзы с лесом мачт, — в этом городе жил Диккенс. Пестро одетый, громко говорящий, ярко изображающий, вырывающий из тьмы подробности, преувеличивающий характеры людей, смеющийся, плачущий, изобретающий — он был голосом безмолвно бегущего города.

Герцен жил в предместье — в Путнее.

Толстой подошел к двухэтажному дому, стоящему в глубине небольшого двора; за домом поднимались деревья с редкой весенней зеленью, чуть обозначенной: был март. По каменным плитам, разделенным зеленым плющом густо проросшей травы, Толстой подошел к дому. Подал через лакея карточку. Через некоторое время послышались быстрые шаги: по лестнице сбежал Герцен. Он оказался небольшим, быстро двигающимся, толстым человеком, полным энергии.

Герцен, держа в руках плоскую фуражку, смотрел на пришедшего. Лев Николаевич одет в пальмерстон, в руках новый цилиндр.

Они пошли по Лондону, побывали в соседней таверне.

«Я не видал другого такого человека, — вспоминал Толстой про Герцена. — Огарев — милый и хороший человек, но далеко не то. И у Тургенева этого не было, хотя Тургенев тоже был милый и обаятельный человек», — поспешно добавил Толстой,

Лев Николаевич, рассказывая про Герцена, вспоминал, что встречал его полтора месяца каждый день; получается — сорок пять раз, но Толстой находился в Лондоне шестнадцать дней — значит, через пятьдесят почти лет эти дни по своему значению, по резкости мыслей, много раз передуманных, утроились.

Он вспоминал слова Герцена: «Когда бы люди захотели вместо того, чтобы спасать мир, спасать себя, вместо того, чтобы освобождать человечество, себя освобождать — как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человечества».

Воспоминания людей по-своему однообразны: люди вспоминают себя и о себе. Про Толстого дочь Герцена вспомнила только, что он говорил с отцом о петушиных боях и в то же время что был какой-то разговор о Севастополе и солдатской песне.

Герцен давно знал о Толстом. Он должен был приехать к нему еще при первом своем путешествии. Тургенев из Парижа в 1857 году 16 февраля писал Герцену: «Толстой тоже будет в Англии; ты его полюбишь, я надеюсь, и он тебя».

Герцен показался Толстому старым, но очень сильным, по-своему думающим человеком. Толстой показался Герцену человеком, берущим все штурмом.

Они узнали друг друга, поняли, зауважали и не сошлись, запомнив друг друга навсегда.

С Огаревым, находившимся в состоянии душевного угнетения, Толстой сошелся еще меньше, чем с Герценом, — меньшему от него научился. У Огарева и Толстого оказался общий знакомый — петербургский музыкант Рудольф Кизеветер. Это тот человек, которого Толстой в 1849 году привез к себе в Ясную Поляну. Я напоминаю читателю, что Ру-

дольф собрал старых музыкантов толстовского деда и учил их и самого Толстого тогдашней новой музыке.

Огарев же вспомнил о Рудольфе, написав стихотворение, посвященное Толстому, — «Рудольфов трапп».

Музыканты Рудольф (Альберт в рассказе и безыменный тирольский певец, осмеянный английскими туристами в Люцерне, прошли через биографию Толстого. Лев Николаевич потому их увидел, потому отнесся к ним так страстно, потому так долго писал рассказ «Альберт» (сперва он назывался «Поврежденный»), что для него эти судьбы были признаком общей судьбы — того, что капиталистическое общество враждебно искусству. Талант человека загублен в нем.

Время зверело, и художник должен был изменяться или погибать.

В диккенсовском Лондоне Альберт был бы не менее несчастлив, чем в Петербурге Некрасова.

Толстой защищал художника. Умирающий Альберт в бреду слышит спор, который ведется о чести и значении художника, о праве его на гордость.

Толстой вскоре ушел от этой темы: несогласие художника с миром входило в построение «искусства для искусства»; и Толстой не принял выхода, предложенного защитниками этого искусства: художник отгораживается, по-своему счастливый, от мира тем, что мир не принимает его искусство.

Он дорожил связью искусства с миром.

Более широкой темой Толстого, новой ступенью его гениальности явилось раскрытие противоречия общества не только с художником, но и с самой человечностью.

Это он понял еще тогда, когда, вернувшись из первого заграничного путешествия, увидал страдания России, или, как он горестно написал в письме своей тетке Александре Андреевне, — «страдания людей и животных». Увидал потерю человечности.

О чем же теперь говорили люди — очень разные?

Толстой уехал из Лондона в тот день, когда был объявлен манифест об освобождении крестьян.

В Брюсселе Толстой задержался и ждал от Герцена каких-то писем «со вложением». По совету Герцена Толстой посетил Прудона.

Прудон писал тогда свое «сочинение о праве войны» Не надо думать, что «Война и мир» Прудона подсказала Толстому мысль «Войны и мира». У Герцена была уже большая статья «Война и мир», она была переиздана в то время, когда Лев Николаевич гулял с Герценом по Лондону. Статья говорила о цезаризме, о будущих войнах, о так называемых вождях и о народе, об общем сознании, которое определяет историю; скорее герценовская мысль была основой или началом толстовского романа.

По письму из Брюсселя можно понять, о чем говорили Толстой с Герценом.

С Герценом Толстой думал о России, ее будущем и о декабризме. Они говорили друг с другом о вере и о будущем строе, о статье Герцена «Роберт Оуэн», которая была, как писал Толстой, «увы! слишком, слишком близка» его сердцу. «Правда — quand même *, — писал он Герцену из Брюсселя, — что в наше время возможно только для жителя Сатурна, слетевшего на землю, или русского человека. Много есть людей, и русских 99/100, которые от страху не поверят вашей мысли (и в скобках буде сказано, что им весьма удобно, благодаря слишком легкому тону вашей статьи. Вы как будто обращаетесь только к умным и смелым людям). Эти люди, т. е. не умные и не смелые, скажут, что лучше молчать, когда пришел к таким результатам, т. е. к тому, что такой результат показывает, что путь был не верен. И вы немного даете право им сказать это — тем, что на место разбитых кумиров ставите самую жизнь, произвол, узор жизни, как вы говорите. На место огромных надежд бессмертия, вечного совершенствования, исторических законов и т. п., этот узор ничто — пуговка на месте колосса. Так лучше бы было не давать им этого права. Ничего на место. — Ничего, исключая той силы, которая свалила колоссов.

* Несмотря ни на что.

Кроме того, эти люди — робкие — не могут понять, что лед трещит и рушится под ногами — это самое доказывает, что человек идет; и что одно средство не провалиться — это идти не останавливаясь.

Вы говорите, я не знаю России. Нет, знаю свою субъективную Россию, глядя на нее с своей призмочки. Ежели мыльный пузырь истории лопнул для вас и для меня, то это тоже доказательство, что мы уже надуваем новый пузырь, который еще сами не видим. И этот пузырь есть для меня твердое и ясное знание моей России, такое же ясное, как знание России Рылеева может быть в 25-м году. Нам, людям практическим, нельзя жить без этого.

Как вам понравился манифест? Я его читал нынче по-русски и не понимаю, для кого он написан. Мужики ни слова не поймут, а мы ни слову не поверим. — Еще не нравится мне то, что тон манифеста есть великое благодеяние, делаемое народу, а сущность его даже ученому крепостнику ничего не представляет, кроме обещаний.

Кроме общего интереса, вы не можете себе представить, как мне интересны все сведенья о декабристах в «Полярной Звезде». — Я затеял месяца 4 тому назад роман, героем которого должен быть возвращающийся декабрист. Я хотел поговорить с вами об этом, да так и не успел. — Декабрист мой должен быть энтузиаст, мистик, христианин, возвращающийся в 56-м году в Россию с женою, сыном и дочерью и примеряющий свой строгий и несколько идеальный взгляд к новой России. — Скажите, пожалуйста, что вы думаете о приличии и своевременности такого сюжета. Тургеневу, которому я читал начало, понравились первые главы».

Герои произведения Петр и Наташа, носящие фамилию Лобазовых, возвращаются в Россию из Сибири после Крымской кампании и, вероятно, во многом разочаруются. Декабризм, дворянская революционная мысль, высокая жертвенность встречаются с либералами.

Всю жизнь Толстой думал о том, как соединить декабристов, которые были далеки от народа, с самим народом; создавал сюжеты о том, как дворянский революционер или просто добрый дворянин попадает в среду крестьян, как они живут вместе и в конце концов сговариваются.

Другой силы Толстой не видал. Он ехал к себе в Ясную Поляну преподавать, возиться с ребятами, учить Мурзика — Морозова: он думает, что переделает десятки или тысячи биографий и таким путем пересоздаст мир.

Жизнь надо переделать — предлагал Толстой. В наброске статьи «О значении народного образования» Толстой писал: «Когда просунешь рассученную нитку в иглиные уши, то чем больше тянешь, тем меньше проходит нитка. Чтобы продеть ее, нужно выдернуть нитку и, вновь ссучивши, продеть ее».

Толстой сказал Прудону: «...насколько можно судить издали, в русском обществе проявилось теперь сознание того, что без образования народа никакое государственное устройство не может быть прочно. — Прудон вскочил и прошелся по комнате.—Ежели это правда, — сказал он мне, как будто с завистью, — вам, русским, принадлежит будущность».

Будущность принадлежала русским потому, что они выдернули нитку, и ссучили ее, и продели через игольное ухо целиком — не судьбу одного человека или даже многих, а всех — общественного уклада, и сшили мир заново.

Герцен ответил Толстому какими-то советами по поводу романа. Мы можем думать, что у Герцена с Толстым шли в это время разговоры о русских университетах, о русской молодежи. Время было тревожное: правительство боялось студентов, вводило плату в университеты, заставляло студентов заполнять матрикулы — книжки о сдаче экзаменов. Студенты не принимали матрикулов, рвали их. Происходили студенческие «беспорядки»: «синие фуражки» бунтовали. Так было и в Петербурге и в провинции; несколько меньше это происходило в Москве.

Герцен писал в «Колоколе», в статье «Провинциальные университеты»: «Пусть же молодежь пробивается сама, учится сама; за лишний труд она приоб-

ретет великое *право неблагодарности,* у ней не будет одолжений Петербургу, она себе и молодым труженикам науки будет обязана своим образованием. Пусть же она отрясет прах со своих ног и примет наш братский совет — идти, не останавливаясь на препятствиях, вперед и вперед!»

Здесь же Герцен сделал примечание: «Одно рекомендовали бы мы молодым ученым провинциальных университетов: они должны оставаться в своем краю, в родной среде, а не тотчас переезжать по первому зову в Петербург или в Москву. Может, это и не совсем выгодно, но теперь не до домашней экономии».

Войска и полиция окружали студентов, неарестованные студенты присоединялись к арестованным и вместе с ними шли под арест.

Вот в это время Лев Николаевич вернулся из Лондона и пригласил в качестве преподавателей в яснополянскую школу нескольких московских студентов, уволенных из университета за то, что они не взяли матрикулы.

РАСЦВЕТ ЯСНОПОЛЯНСКОЙ ШКОЛЫ

Первые занятия в школе Толстой вел в 1849 году; так он сам говорит в статье «Проект общего плана устройства народных школ». Школа никак официально не была оформлена, это были занятия молодого помещика с детьми своих крепостных. Толстому помогал Фока Демидович — его старый дворовый.

Толстой уехал на Кавказ. Прошли кавказские годы, Севастопольская кампания, пребывание в Петербурге.

Толстой уехал за границу, посетил места, где когда-то жил Руссо, мечтая о новой системе воспитания человека. В конце заграничной поездки Лев Николаевич начинает думать о народном образовании. Эти мысли появляются в дневниках и записных книжках рядом с мыслями о будущем политическом устройстве России и идут рядом с неотходящей темой: «Казак» — «Кавказская повесть»; Марьяна, Кирка (будущий Лукашка). Приведу несколько примеров.

23 июля н. ст. 1857 года Толстой в Штутгарте после посещения дворца ложится спать и думает о двух книгах: о «Казаках» и о втором замысле, которому не суждено было осуществиться, — «Отъезжее поле». «Отлично думается, читая. Совсем другое казак — дик, свеж, как библейское предание, и Отъезжее поле — комизм живейший, концентрировать — типы и все резкие».

Попытаюсь, прервав цитату, прокомментировать.

Здесь будущие «Казаки» взяты как тема высокая, лирическая, потом Толстой будет связывать ее с «Илиадой» и библией. «Отъезжее поле» — тема бытовая, так сказать, диккенсовская.

Продолжаю цитату (в начале ее обратите внимание, что Толстой отмечает приметы): «Увидал месяц отлично справа. Главное — сильно, явно пришло мне в голову завести у себя школу в деревне для всего околотка и целая *деятельность* в этом роде. Главное, вечная деятельность».

Теперь обратимся к записным книжкам. После записи 20 июля о том, что Толстой прочел «Элоизу», то есть, вероятно, перечел ее не в первый раз, после отметок к «Отъезжему полю» идет запись; сделанная в Штутгарте, она совпадает по времени с дневниковой записью к «Казаку»: «Он не стыдлив, а дик». Следующая запись: «Социализм ясен, логичен и кажется невозможен, как казались пары (паровой двигатель. — *В. Ш.*). Надо прибавить силы, встретив препятствие, а не идти назад».

Мысль о школе попала в круг построения романа о молодом человеке, пожившем в среде казачества и думавшем о перестройке общества.

Открытие школы было явлением заурядным и еще не запрещенным: добрый помещик, а еще чаще добрая помещица обычно часто учили детей грамоте. Но у Толстого это стало явлением незаурядным, потому что он поднял за ним самые важные, самые основные вопросы своего и будущего времени.

Толстой все время думает о своих героях, о цвете лица и цвете глаз Марьяны и одновременно он думает о школе.

Он думает о вопросах искусства, об отношениях России ко всему наследию классического Запада и одновременно о школе.

Он перерешает на обычном необычное.

Жизнь Толстого его умным и либеральным, очень образованным друзьям кажется слишком простой, да он и сам ее просто рассказывает.

В феврале 1860 года он уговаривает поэта А А Фета поскорее купить недалеко от Ясной Поляны имение, да лучше небольшое, и жить в деревне. Одновременно он рассказывает, что прочел роман Тургенева «Накануне» и замечает: «Вот мое мнение: писать повести вообще напрасно, а еще более таким людям, которым грустно и которые не знают хорошенько, чего они хотят от жизни».

Идет длинный разговор о литературе, который, конечно, нельзя здесь процитировать, но и Толстой сам отодвигает его: «Другое теперь нужно. Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немножко тому, что мы знаем».

Через неделю высокомерно умный Б. Н. Чичерин прислал Толстому письмо Это было письмо старшего к младшему, призыв учиться, узнавать античность, не засиживаться дома.

Толстой ответил письмом, в котором жжет мосты между собой и человеком, считавшимся близким другом: «Ежели твое письмо имело целью задрать меня на ответ, то достигло своей цели. Оно меня даже рассердило — Ты небрежно и ласково подаешь мне советы, *как надобно развиваться художнику, как благотворно Италия действует, памятники, небо...* и т. п. избитые пошлости. Как *вредно бездействие в деревне — халат, как мне надо жениться и писать милые повести и т. д.* Как ни мелка и ложна мне кажется твоя деятельность, я не подам тебе советов. Я знаю, что *человек* (т. е. существо, которое живет свободно) в каждой вещи, в каждой мысли видит свое особенное, никем не видимое, и это только одно может привязать его до самопожертвования к делу».

Мне жалко, что я не могу воспроизвести письмо целиком. Толстой пишет: счастье — когда почувству-

ЯСНАЯ ПОЛЯНА.

ГОДЪ ПЕРВЫЙ

1862.

АВГУСТЪ.

СОДЕРЖАНІЕ:

СОДЕРЖАНІЕ КНИЖКИ·

МОСКВА.

Въ типографіи Каткова и К°.

Обложка журнала «Ясная Поляна».

ешь, что то, что казалось мукой, — труд, работа — сделалось единственной сущностью жизни.

Главное для него — «пахать землю, учить молодежь быть честной».

Письмо кончается так: «Что же я делаю? — спросишь ты. — Ничего особенного, выдуманного, делаю дело, которое мне так же естественно, как дышать воздух, и вместе такое, с высоты которого, признаюсь, я часто с преступной гордостью люблю смотреть на vous autres *». Последние строки — ландшафт вокруг Ясной Поляны и условная любезность: «Тетушка ужасно тебя любит. Брат Николай поехал стрелять медведей. Прощай, пиши поскорее».

Толстой возвращался из-за границы с миром мыслей, своеобразных и радикальных. Он собирался переделать и жизнь народа и свою жизнь, причем осуществить это путем практического дела и его проповеди. В основе толстовских решений было полное неприятие того строя, который постепенно овладевал Россией. Он отрицал самое понятие буржуазного прогресса, отрицал последовательно и до конца. В 1862 году, отвечая известному педагогу Маркову, он напечатал статью «Прогресс и определение образования». В полемике Толстой быстро отказывается от анализа Запада, как бы отвергая его факты. Он пишет: «Здесь, говоря о фактах, я чувствую необходимость оставить в покое Европу и говорить о России, которая мне близко известна». Он утверждает, что верит в прогресс дворянства, купечества и чиновничества. Он говорит, что прогрессисты — это откупщики, писатели-дворяне, студенты, чиновники без мест и фабричные. Не прогрессисты — это мужики, земледельцы, фабричные, имеющие работу, и занятые чиновники. Толстой считает себя человеком занятым и потому не прогрессистом. Он против телеграфа, против книгопечатания. Хотя в школе он учит грамоте, но сочувственно цитирует Даля, который объявил, что грамотность развращает людей из народа. Он против того положения, что грамотность только потому вредна, что она исключение, и что вред ее уничтожится, когда она сделается общим правилом. «Это предположение, может быть остроумное, но только предположение».

* Вас остальных

В статье «Прогресс и определение образования» Толстой ставит широкие вопросы. Внешне статья является ответом педагогу господину Маркову, который возражал Толстому с обычных либеральных позиций веры в прогресс и в уже приближающееся процветание человечества.

Толстой отвечает развернуто, берет книгу английского историка Маколея, которая была в это время очень популярна среди русской консервативной и либеральной интеллигенции, увлекающейся процветанием Запада.

Толстой подытоживает содержание 3-й главы 1-й части истории Маколея точно, но остраненно: «Значительные факты только следующие: 1) Народонаселение увеличилось, — увеличилось так, что необходима теория Мальтуса. 2) Войска не было, — теперь оно стало огромно; с флотом то же самое. 3) Число мелких землевладельцев уменьшилось. 4) Города стянули к себе большую часть народонаселения. 5) Земля обнажилась от лесов. 6) Заработная плата стала на половину больше, цены же на все увеличились и удобств к жизни стало меньше. 7) Подать на бедных удесятерилась. Газет стало больше, освещение улиц лучше, детей и жен меньше бьют, и английские дамы стали писать без орфографических ошибок».

Толстой не заинтересован в правописании английских дам и отвечает Маколею с точки зрения «яснополянского мужика Тульской губернии».

Ему не интересно изобретение телеграфа, потому что он служит только для образованного класса. Народ слушает лишь гудение проводов и стеснен несправедливо строгим законом о повреждении телеграфа. По проволоке идет телеграмма, «...что я, русская помещица, проживающая во Флоренции, слава богу укрепилась нервами, обнимаю моего обожаемого супруга и прошу прислать мне в наискорейшем времени 40 тысяч франков».

Дальше идут еще более серьезные возражения.

Лев Николаевич в свое время считал, что, конечно, крестьяне имеют право на свободу, но земля принадлежит ему. Сейчас это дворянское мнение отошло в прошлое. Толстой пишет: «Я желал бы спросить: почему процесс об освобождении крестьян остановился на Положении 19 февраля, которое — еще не решено — улучшило или ухудшило быт крестьян, лишив их прав пастбищ, выездов в леса и наложив на них новые обязанности, к исполнению которых они оказываются не состоятельными. Я желал бы спросить: почему прогресс книгопечатания остановился на Положении 19 февраля. Всем известно, что равномерное разделение земли между гражданами есть несомненное благо. Почему же никто, кроме людей, признаваемых за сумасшедших, не говорит в печати о таком разделении земель?»

Толстой против железных дорог, против фабрик; он стоит на точке зрения патриархального крестьянства, так и выговаривая.

«...Я должен склониться на сторону народа, на том основании, что, 1-е, народа больше, чем общества, и что потому должно предположить, что бо́льшая доля правды на стороне народа; 2-е, и главное — потому, что народ без общества прогрессистов мог бы жить и удовлетворять всем своим человеческим потребностям, как-то: трудиться, веселиться, любить, мыслить и творить художественные произведения (Илиады, русские песни). Прогрессисты же не могли бы существовать без народа».

Критика Толстого серьезна и направлена на основное. Ее слабое место состоит в том, что город для Толстого — это только собрание господ. Он утопически отстаивает мир, как собрание удовлетворяющих своим домашним трудом все свои потребности деревень. Этот идеал Толстого лет на полтораста отстоит от того времени, в котором живет он сам и крестьяне Ясной Поляны.

Но разговор о выкупных платежах, об отрезках, о запрещении выпаса скота был очень злободневен, и жандармы не ошиблись, когда они вскоре сделали

налет на Ясную Поляну. Они сделали только две ошибки: 1) искали прокламаций, а мысли Толстого были заключены не в прокламации, а в опубликованные под видом педагогических политические статьи; 2) хотели арестовать мысль, а мысль не арестовывается.

Люди, делающие обыск, ищут прокламаций, привезенных по железной дороге. Но мысли Толстого не рождались прокламациями, ниоткуда не заимствованы. Толстой против железных дорог, потому что крестьянину некуда торопиться, а дороги истребляют леса, отнимают работников и уничтожают коневодство.

Толстой последовательно поддерживает мнение патриархального крестьянина, который пока считает свое положение наиболее прочным, понятным и, не желая ничего изменять, не понимает того, что перемены происходят без желаний. Толстовский идеал находится позади, а его мир считает себя неподвижным. То, что сознательно изменяет жизнь, вредно, так как естественное состояние человечества вечно.

Что же Лев Николаевич считает самым важным, что он хочет сделать сейчас?

Он открыл во флигеле разрушенного большого дома школу. В школу эту ходили дети из окрестных деревень. Лев Николаевич нанял одиннадцать преподавателей из студентов. В это время он был выбран мировым посредником. Он добивается открытия школ по всему уезду. Но яснополянская школа для него главная. О ней он написал очерки, которые названиями как будто повторяют севастопольские очерки. Это тоже описание боя, который дает Толстой ложному, по его мнению, прогрессу во имя неприкосновенности деревни. Очерк называется «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы».

Севастопольские рассказы с точным названием месяцев, после обозначения места действия, появились еще недавно. Вероятно, Толстой нарочно пошел на параллелизм названий педагогических статей и названий рассказов об обороне Севастополя, чтобы подчеркнуть, что сражение происходит на самом главном фронте.

Описание школы начинается пейзажем, очень кратким, но точным. «На крыльце под навесом висит колокольчик с привешенной за язычок веревочкой; в сенях внизу стоят бары и рек (гимнастика), наверху в сенях — верстак. Лестница и сени истоптаны снегом или грязью; тут же висит расписание». Вероятно, ни в одном описании учебного заведения истоптанная лестница не была дана как какое-то достижение. Для Толстого она подчеркивает неофициальность, неказенность школы.

«На деревне встают с огнем. Уж давно виднеются из школы огни в окнах, и через полчаса после звонка, в тумане, в дожде или в косых лучах осеннего солнца, появляются на буграх (деревня отделена от школы оврагом) темные фигурки по две, по три и по одиночке». Дети приходят сами. И занимаются, как бы выбирая свои темы. Даются портреты учеников. Описываются детские драки, потому что они в основе, по мнению Толстого, содержат представление о справедливости.

Описание школьных занятий все время переходит на художественный очерк-рассказ. Даются подготовки пейзажа, потом пейзаж используется. В школе читают «Вия» Гоголя. «...последние сцены подействовали сильно и раздражили их воображение, — говорит Толстой про детей. — Некоторые ребята в лицах представляли ведьму». После страшного рассказа ребята с учителем идут в лес. Среди них главный — десятилетний Федька, «нежная, восприимчивая, поэтическая и лихая натура». По описанию — это как бы сам Л. Н. Толстой, переживающий второе, иное детство.

Дети идут по лесу. В середину леса они не входят, это было бы слишком страшно, но огни деревни уже скрываются. Лев Николаевич рассказывает детям об абреках, о казаках, о Хаджи Мурате. Дети теснятся вокруг него, берут его за руки.

В яснополянской школе Лев Николаевич рассказал о 1812 годе и, как мы видим, подробно и взволновав слушателей, рассказал о Хаджи Мурате — повесть, которую написал только через сорок лет.

В рассказах художник проверял самого себя, рассчитывал, что необходимо в искусстве, а что можно отбросить. Он предложил детям самим написать рассказ Василий Морозов, которого Толстой в очерке называет Федькой, и Игнат Макаров (Семка) написали рассказ на тему «Ложкой кормит, а стеблем глаз колет». Выбор пословицы для рассказа — это был старый прием старой школы. Толстой описывает двух ребят. Один ребенок, Макаров — рационалист, ему важна композиция вещи, чтобы в ней было показано главное, чтобы рассказ был ясен. Федька — чистый художник, увлекающийся подробностями, которые он видит совершенно ясно. Обо всем этом Лев Николаевич написал очерк под названием «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» Федька сразу выбирает для примера нужный сюжет — мужика, который пригласил к себе нищего в дом дяди Тимофея. Семка старается насытить рассказ точными подробностями. Толстой замечает: «Единственный упрек, который можно было ему сделать, был тот, что подробности эти обрисовывали только минуту настоящего, без связи к общему чувству повести». Семка был как бы натуралистом, но высокого класса. Федька же берет только те подробности, которые характеризуют героя. Ему мало описать порванную шинель или рубашку, он сквозь них видит «худое, смоченное растаявшим снегом, тело старика». Федька не позволяет переставлять слова, он, как сказал бы писатель, строг к корректуре, тщательно ее правит. Федька дает такие подробности, в которых жизнь не столько показана, сколько как бы случайно увидена. Когда в описание входит кум, то Федька говорит, что он одет в бабью шубенку. Толстой спрашивает: «Почему же именно в бабью шубенку?» Тот отвечает: «Так похоже». Толстой спрашивает: «Можно ли было сказать, что он надел мужскую шубу?» Федька настаивает: «Нет, лучше бабью».

В крестьянской бедной избе царит внешняя безурядица, «...ни один человек не имеет ясно определенной одежды и ни одна вещь своего определенного ме-

ста». Бабья шубенка, которую надевает узкогрудый человек, сказана не случайно, а в силу художественной необходимости.

Толстой заканчивает свое описание детского творчества такими словами: «Мне смутно казалось, что я преступно подсмотрел в стеклянный улей работу пчел, закрытую для взора смертного; мне казалось, что я развратил чистую, первобытную душу крестьянского ребенка».

Далее он утверждает: «Человек родится совершенным, — есть великое слово, сказанное Руссо, и слово это, как камень, останется твердым и истинным. Родившись, человек представляет собой первообраз гармонии, правды, красоты и добра».

Толстой хорошо знал Руссо, знал его широко и знал, насколько не исполнено, не осуществлено то, о чем мечтал Руссо, человек великой точности предвидения. Руссо в романе «Новая Элоиза» писал в письме втором к милорду Эдуарду: «Человек... существо слишком благородное, чтобы служить простонапросто орудием других людей, не следует употреблять его для каких-либо дел, не спрашивая, подходят ли они ему, ведь не люди созданы для мест, а места созданы для людей, и чтобы произвести достодолжное их распределение, надобно заботиться не только о том, чтобы приставить каждого человека к такому делу, к какому он больше всего подходит, но и о том подумать, какое дело больше всего годится для сего человека, чтобы он был честным и счастливым. Никому не позволено губить душу человеческую ради выгоды других людей, обращать человека в негодяя только потому, что он нужен как слуга знатным господам».

Человек не должен быть рабом или слугой другого человека — в этом Толстой был убежден.

Надо понять перед тем, как начать переделывать детское сознание, то, является ли наше собственное сознание чем-то гармоничным, обязательным и завидным.

«Большей частью воспитатели выпускают из виду, что детский возраст есть первообраз гармонии, и развитие ребенка, которое независимо идет по неизменным законам, принимают за цель».

Человека не надо насильно переделывать. Человека нельзя перевозить в город, чтобы он становился слугой, банщиком, извозчиком. Те ребята, которых видел Толстой, были уже гармоничны, талантливы. И потому Толстой говорил: «...детский возраст есть первообраз гармонии...»

Толстой удивился своему успеху и даже испугался его, не зная, что делать с находкой.

«Мне и страшно и радостно было, как искателю клада, который бы увидал цвет папоротника: радостно мне было потому, что вдруг, совершенно неожиданно, открылся мне тот философский камень, которого я тщетно искал два года — искусство учить выражению мыслей; страшно потому, что это искусство вызывало новые требования, целый мир желаний, несоответственный среде, в которой жили ученики, как мне казалось в первую минуту».

Работа с отдельными людьми, удача в ней сразу вызывает мысль о «несоответственной среде».

Федька (Василий Морозов) может погибнуть и погиб в результате, а клад, как в сказке, ушел в землю, так как у Толстого не было заклятия — средства изменения социального строя. От Федьки остались цитаты в статье и описание, сделанное Толстым, минут вдохновения этого мальчика.

«Федька, в новой белой шубке с черною опушкой, сидел глубоко в кресле, перекинув ногу на ногу и облокотившись своей волосатой головкой на руку и играя ножницами в другой руке. Большие черные глаза его, блестя неестественным, но серьезным, взрослым блеском, всматривались куда-то вдаль; неправильные губы, сложенные так, как будто он сбирался свистать, видимо сдерживали слово, которое он, отчеканенное в воображении, хотел высказать. Семка, стоя перед большим письменным столом, с большой белой заплаткой овчины на спине (в деревне только что были портные), с распущенным кушаком, с лохмаченной головой, писал кривые линейки, беспрестанно тыкая пером в чернильницу. Я взбудоражил волоса

Семке, и толстое скуластое лицо его с спутанными волосами, когда он недоумевающими и заспанными глазами с испуга оглянулся на меня, было так смешно, что я захохотал, но дети не рассмеялись. Федька, не изменяя выражения лица, тронул за рукав Семку, чтоб он продолжал писать. «Погоди, — сказал он мне, — сейчас» (Федька говорит мне «ты» тогда, когда бывает увлечен и взволнован), и он продиктовал еще что-то».

Гармония жизни в искусстве была увидена Толстым, но он к ней не смог вернуться, потому что в жизни ничто не возвращается.

В то время Толстой говорил, что жениться на барышне — это значит погубить себя. Через год он женился на Софье Андреевне, и это помогло ему писать великие произведения.

В яснополянской школе, в небольших розовых и голубых комнатах, Толстой не был до конца прав, но был счастлив. Он не закрепил то, что не могло остаться. Он и не мог этого сделать, и ему не позволили это сделать.

Лев Николаевич в своей школе говорил с детьми о старой славе России, он рассказывал о том, как были отбиты в 1812 году иностранные войска, отмечая, как слушали его дети: «Только воспоминание Крымской войны испортило нам все дело. «Погоди же ты, — проговорил Петька, потрясая кулаками: — дай я вырасту, я же им задам!» Попался бы нам теперь Шевардинский редут или Малахов курган, мы бы его отбили».

Это был настоящий патриотизм — понятный для детей и воспитывающий в Толстом то понимание, которое привело его к «Войне и миру».

Лев Николаевич думал, что можно оградиться пока от остальной России межою Ясной Поляны. Он преподавал русскую историю, священник преподавал закон божий, но он набрал студентов — одиннадцать человек, которые все преподавали под его руководством.

Сам Лев Николаевич был против политики, но не мог быть вне политики. Он видел, что студенты преподают заинтересованней и лучше, чем семинаристы; он выбрал их сознательно как преподавателей. Но это была самая злободневная политика.

После «беспорядков» в Петербургском университете до ста человек студентов было посажено в Петропавловскую крепость и Кронштадтскую. Университет закрыт. Часть студентов была наказана ссылкой, часть — исключением из университета. После закрытия университета «Колокол» 1 ноября 1861 года в № 110 писал:

«Но куда же вам деться, юноши, от которых заперли науку?.. Сказать вам, куда? Прислушайтесь — благо тьма не мешает слушать со всех сторон огромной родины нашей: с Дона и Урала, с Волги и Днепра растет стон, поднимается ропот — это начальный рев морской волны, которая закипает, чреватая бурями, после страшно утомительного штиля. В народ. К народу, вот ваше место, изгнанники науки».

Разыскивая, что делают бывшие арестанты — студенты, III отделение добралось до Ясной Поляны.

ССОРА ТУРГЕНЕВА С ТОЛСТЫМ

Льва Николаевича Толстого с Тургеневым познакомила сестра Мария Николаевна. Но, еще будучи незнакомым с Тургеневым, Лев Николаевич посвятил ему «Рубку леса». В ответ Тургенев послал молодому писателю первое письмо от 9 октября 1855 года. В письме он желал Льву Николаевичу скорейшего возвращения с фронта и выразил надежду, что личное их знакомство окажется небесполезным для обеих сторон.

Но с первых встреч Иван Сергеевич и Лев Николаевич ссорились.

8 декабря 1856 года мы читаем письмо не о ссоре, а попытке примирения. Тургенев пишет Толстому:

«Мне остается протянуть вам руку через «овраг», который уже давно превратился в едва заметную щель, да и о ней упоминать не будем, — она этого не стоит».

В сентябре того же года Тургенев писал Толстому в другом письме:

«Кроме собственно так называемых литературных интересов — я в этом убедился — у нас мало точек соприкосновения; вся ваша жизнь стремится в будущее, моя вся построена на прошедшем. Идти мне за вами — невозможно, вам за мною также нельзя...»

Тургенев в это время был намного знаменитее Толстого, у него уже была всеевропейская слава. Он, не переставая, наблюдал и поощрял рост Толстого, и в то же время Толстой ему был, как мы видим из писем, тяжел, неприятен. Толстой позднее говорил про Тургенева, что он ему напоминает фонтан из заграничной привозной воды: все время боишься, что он кончится.

Толстой, человек нетерпимый, обращенный в будущее, пересматривающий прошлое и все время меняющийся, считал, что Тургенев недостаточно своеобычен, так сказать, иностранен. Он всегда до смерти восхищался тургеневскими пейзажами, считал, что он не может написать ничего подобного, и в то же время сердился на него. Читая Бунина и его пейзажи, он через много десятилетий как бы упрекал Бунина именем Тургенева, считая, что все это хорошо, — но для чего пишется рассказ?

Но, кроме этого глубокого спора, был спор личный. Между Иваном Сергеевичем Тургеневым и Марией Николаевной Толстой был роман. Мария Николаевна получила развод, который она начала не для того, чтобы выйти замуж за Тургенева. Она получила свободу, и брат надеялся или считал несомненным, что Тургенев должен жениться на его сестре, про любовь к которой он ей говорил и, может быть, говорил и Льву Николаевичу. А Тургенев, как Толстой говорил, не любил, а любил любить, и сейчас у него был роман с Виардо, которая его, Тургенева, не столько любила, сколько допускала жить в своем доме. Дом этот и жизнь Виардо оплачивались, так же как и жизнь мужа Виардо, деньгами Тургенева.

У Тургенева была дочь, как тогда говорили, незаконная. Он старался ее воспитывать, старался ее

устроить, но воспитывал очень неудачно. Выдал ее замуж за французского аристократа, дал состояние и имел несчастье видеть, как муж проел и разбросал приданое своей жены.

Вся линия поведения Тургенева была Толстому неприятна, хотя это была вполне обычная и достойная линия поведения русского дворянина. Тургенев был хорошим, добрым барином и освободил своих крестьян великодушно, не разорив их. Лев Николаевич впоследствии во время голода, осматривая имения, увидел, что бывшие тургеневские крепостные живут лучше других крестьян. Но это мы уже забираемся в будущее. А пока была обида, обида недоговоренная.

Лев Николаевич и Иван Сергеевич встретились весной 1861 года в имении поэта Фета, в деревне Степановке.

Вот как это описывает в своих воспоминаниях А. А. Фет:

«Утром, в наше обыкновенное время, то есть в 8 часов, гости вышли в столовую, в которой жена моя занимала верхний конец стола за самоваром, а я в ожидании кофея поместился на другом конце. Тургенев сел по правую руку хозяйки, а Толстой — по левую. Зная важность, которую в это время Тургенев придавал воспитанию своей дочери, жена моя спросила его, доволен ли он своей английской гувернанткой. Тургенев стал изливаться в похвалах гувернантке и, между прочим, рассказал, что гувернантка с английскою пунктуальностью просила Тургенева определить сумму, которою дочь его может располагать для благотворительных целей. «Теперь, — сказал Тургенев, — англичанка требует, чтобы дочь моя забирала на руки худую одежду бедняков и, собственноручно вычинив оную, возвращала по принадлежности».

— А это вы считаете хорошим? — спросил Толстой.

— Конечно; это сближает благотворительницу с насущною нуждой.

— А я считаю, что разряженная девушка, держа-

щая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.

— Я вас прошу этого не говорить! — воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями.

— Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден? — отвечал Толстой.

Не успел я крикнуть Тургеневу «перестаньте», как, бледный от злобы, он сказал: «Так я вас заставлю молчать оскорблением!» С этим словом он вскочил из-за стола и, схватившись руками за голову, взволнованно зашагал в другую комнату. Через секунду он вернулся и сказал, обращаясь к жене моей: «Ради бога извините мой безобразный поступок, в котором я глубоко раскаиваюсь». С этими словами он ушел».

Уехал и Толстой. Отъехав станцию, Толстой послал в Никольское своего слугу за дуэльными пистолетами и пулями и послал Тургеневу вызов: «Надеюсь, что ваша совесть вам уже сказала, как вы не правы передо мной, особенно в глазах Фета и его жены. Поэтому напишите мне такое письмо, которое бы я мог послать Фетам. Ежели же вы находите, что требование мое несправедливо, то известите меня. Я буду ждать в Богуславе. — Л. Толстой». После этого Толстой послал Тургеневу второе письмо: это был вызов на смертельную дуэль. Он просит приехать на опушку леса с ружьем; выражает желание стреляться по-настоящему. Тургенев извинился. Толстой послал Фету раздраженное письмо и просил Фета передать его Тургеневу «так же аккуратно, как вы передаете мне его милые изречения, несмотря на мои неоднократные просьбы о нем не говорить».

На этом переписка оборвалась. Потом Тургеневу кто-то передал, будто бы Толстой кому-то показал копию своего письма. Толстой обиделся и написал очень странное письмо: «Милостивый государь! Вы называете в письме своем мой поступок *бесчестным,* кроме того, вы лично сказали мне, что вы *«дадите мне в рожу»;* а я прошу у вас извинения, признаю себя виноватым и от вызова отказываюсь. — 8 октября 1861. Ясная Поляна». Письмо это было найдено И. С. Зильберштейном в бумагах Анненкова.

Тургенев ответил, что он это письмо уничтожил. На самом деле он имел малодушие его сохранить.

Лев Николаевич ко всей этой ссоре относился то раздраженно, то иронически. Однажды он услышал разговор своей тетушки Т. Ергольской с какой-то из яснополянских женщин. Наступила ночь, светила луна. Женщина спросила:

— А что на луне сейчас делают?

Ергольская авторитетно ответила:

— Танцуют, вероятно. Там ведь холодно.

Лев Николаевич записал в дневнике:

«Выслушав это, я сообразил, какую глупость наделали мы с Иваном Сергеевичем».

То есть ему показалось, что вся эта история с дуэлью верх нелепости, как разговор о людях на луне и об их быте.

В 1878 году Толстой написал Ивану Сергеевичу письмо о том, что он к нему никакой вражды не имеет. «Дай бог, чтобы в вас было то же самое. По правде сказать, зная, как вы добры, я почти уверен, что ваше враждебное чувство ко мне прошло еще прежде моего.

Если так, то, пожалуйста, подадимте друг другу руку, и, пожалуйста, совсем до конца простите мне все, в чем я был виноват перед вами.

Мне так естественно помнить о вас только одно хорошее, потому что этого хорошего было так много в отношении меня».

Они помирились. Иван Сергеевич побывал в Ясной Поляне. Софья Андреевна оставила об этом запись, из которой видно, что примирение имело очень трогательный вид. Софья Андреевна пишет:

«Тургенев очень сед, очень смиренен, всех нас прельстил своим красноречием и картинностью изложения самых простых и вместе и возвышенных предметов. Так он описал статую «Христос» Антокольского, точно мы все видели его, а потом рассказывал о своей любимой собаке Пегас с одинаковым мастерством. В Тургеневе теперь стала очень видна слабость, даже детская, наивная слабость характера».

Но настоящего примирения не получилось. Два

писателя очень любили друг друга, но каждый из них жил по-своему, или, как резко писал Тургенев в одном из своих последних писем к Толстому: «И вы знаете, что каждый человек сморкается по-своему, и верьте, что я именно так, как говорю, и люблю сморкаться».

Для вежливого и традиционно мыслящего Тургенева такой способ отношений был труден. Лев Николаевич умел доводить собеседника до ярости прямотой разговора и пониманием слабых мест противника. В то же время оба писателя были дворянами и даже сравнительно близкими соседями. У них был одинаковый быт, они соперничали не только в литературе, но и любили сравнивать свои сады, парки — каждый парк по-своему был очень хорош. Они были и свои люди и совершенно разные, потому что они очень далеко разошлись в своей идеологии и потому и в своей литературной манере, и каждый раздражал другого.

Иван Сергеевич чем дальше, тем больше любил Льва Николаевича как писателя, все выше его ценил, все больше боролся за его славу. А Лев Николаевич, признавая своего современника, относился к нему как-то несправедливо иронически.

ЛЕТО 1862 ГОДА

I. Отъезд в Самару

Часто в исследованиях стараются доказать, что писатель читал такую-то книгу и она повернула его мысли.

Иногда мы пишем биографии так, как будто человек в жизни своей идет по коридору и видит только себя тенью на стене; иногда мы пишем пошире. так, как будто человек живет только в своей квартире и видит только своих близких.

Книги, которых человек не прочел, тоже родились в мире, в котором он живет, и иногда встречаются совпадения изумительные и неизбежные.

Статья, которую продажный журналист написал о Черткове в повести Гоголя «Портрет», похожа на ту статью, в которой Фаддей Булгарин написал о художнике Зарянко. Можно также подумать, что блистательный и признанный, но поверхностный в своем творчестве художник и его судьба известны были Гоголю. Но статья Булгарина напечатана после того, как вышел «Портрет»; она как бы предвидена Гоголем. Известно, что Лафарг передавал мнение К. Маркса о том, как Бальзак в своих героях предвидел авантюристов эпохи Наполеона III.

С августа 1861 года Лев Николаевич усиленно работал в Крапивенском уезде в качестве мирового посредника. Дело было трудное, встречавшее сопротивление крестьянства, и еще больше — помещиков.

Кроме большого выкупа, который должны были заплатить крестьяне за надельную землю, кроме тех двух лет, когда они обязаны еще работать у своих помещиков, нарезка земли производилась таким образом, что крестьянин оказывался в ловушке: от него отрезали лес, выпасы, водопои. Все это прирезывалось к помещичьей земле. Для того чтобы жить, пасти скот, собирать хлеб в таком количестве, чтобы можно было дожить до нового урожая, крестьянин вынужден был арендовать землю у помещика и отрабатывать за нее. Барщина превращалась в аренду: отрезки прикрепляли крестьянина к помещику; значит, дворянам надо было так выделить землю крестьянам, чтобы крестьянин оказался в новой жестокой неволе. Ему, как через много лет писал Толстой, «курицу некуда было выпустить».

Сопротивление крестьянства было настолько решительно, что часто вызывали для проведения «Положения» военные команды. Страна переживала революционную ситуацию. Она отразилась и на дворянских настроениях.

Позднее В. И. Ленин писал об этом времени:

«Самый сплоченный, самый образованный и наиболее привыкший к политической власти класс — дворянство — обнаружил с полной определенностью

стремление ограничить самодержавную власть посредством представительных учреждений».

Губернский съезд тверских мировых посредников в декабре 1861 года, а затем чрезвычайное Дворянское собрание 1862 года обратилось к Александру II с адресом, в котором говорилось о «принципах уравнения сословий» и необходимости «путем правительственных мер» немедленного выкупа крестьянских наделов. Кроме того, говорилось о «собрании выборных от всего народа без различия сословий».

Тринадцать мировых посредников Тверской губернии были арестованы и посажены в Петропавловскую крепость, после пятимесячного заключения они были приговорены к двухгодичному заключению, но амнистированы по случаю «дня торжественного тезоименитствования государыни императрицы».

Лев Николаевич в феврале 1862 года заявил, что ввиду того, что его работа встречает противодействие, работать ему в качестве мирового посредника невозможно. Должность Толстого была передана «по болезни» старшему кандидату.

12 мая Толстой с учениками Василием Морозовым и Егором Черновым и старым слугой — соратником по Севастополю, Алексеем Ореховым, поехали в Москву.

В Кремле Лев Николаевич с детьми переночевал в душной квартире Берсов; Егор и Вася спали в берсовской гостиной на полу за «вырезушечной перегородкой». Молодая Соня Берс смотрела на деревенских ребят, уже ревнуя Толстого к «народу».

Потом отправились в Тверь — «ехали в третьем классе тихого поезда».

Лев Николаевич еще сам не знал, куда он едет — не то под Бугуруслан — уездный город Самарской губернии, не то еще дальше, на Эльтон — соляное озеро в Астраханской губернии.

Главной целью, а может быть, предлогом поездки было желание попробовать лечиться в степях кумысом.

Лев Николаевич в то время боялся туберкулеза. На его глазах только что умер от туберкулеза брат

Николай Николаевич на юге Франции. Перед этим, тоже от туберкулеза, умер брат Дмитрий Николаевич.

Одновременно Лев Николаевич, очевидно, захотел посмотреть верхнее и среднее течение Волги. Волгу от Саратова до Астрахани он уже видал с братом Николаем по дороге на Кавказ одиннадцать лет назад, в конце мая 1851 года.

Билеты на пароход в Твери получили не без путаницы.

Лев Николаевич записывает 20 мая: «На пароходе. Как будто опять возрождаюсь к жизни и к сознанию ее.

Вспоминаю с Москвы. — Мысль о нелепости прогресса преследует. С умным и глупым, с стариком и ребенком беседую об одном... Ребята отличные. Васька прелесть, Чернов плоше. У Берсов свободнее — меня немного отпустили на волю».

Его отпустили ненадолго, воли для него уже не было.

Волга была в разливе, селения левого берега, отодвинутые лугами в летний межень, сейчас стояли у воды, некоторые селения правого берега стояли на холмах, как на островах.

Набравши силы из великих мхов Волховского леса, тихих мест, где, быть может, когда-то княжили Волконские, Волга спешила к Каспию всеми снегами Валдая. От Твери до Ярославля вода простиралась до круч, сложенных из толстых слоев глины и кремнистой земли. За Юрьевском-Поволжским берега возвысились, до Костромы берега еще безлесны, потом начались обширные липовые леса до самого Макарьева и до Свияги. У Фокина цвели знаменитые яблоневые сады, за Сурой начались леса ясеней. Река подгоняла Льва Николаевича и детей к югу, убыстряя весну. Показались старые дубовые рощи адмиралтейского ведомства. Река все ширела, ширела.

Ночью трудно было уйти с палубы. Широкая река как будто приколота ко дну частыми звездами, сквозь отражение их, не задевая, бежала пенистая рябь.

Утром береговые огни малиновели на зелени.

Пароход шумел, торопился на юг, к весне.

Рабочие, странники, монахи, крестьяне с мешками, татары и все народы великой Волги сменялись на палубе.

А река все ширела.

Ненадолго остановились в Казани; Толстой погостил в доме усатого старика, полковника Юшкова, поехал до Самары; решил ехать в Каралык.

В Каралыке он начал пить кумыс. Все жили вместе в большой белой юрте, которая раньше была мечетью, смотрели, как состязаются в скачках башкиры, учились плавать ночью, удивляясь на степное небо, усыпанное звездами до самой земли.

Толстой попал в мир «Илиады».

Месяц он не получал писем из дому, сперва ленился, потом запрашивал, что делают студенты.

Вокруг лежали степи, они казались такими, какими их описывал еще Геродот: бродили стада, стояла некошеная трава, степь доживала последние годы своей целинности.

Толстой был спокоен.

II. Башкирские степи

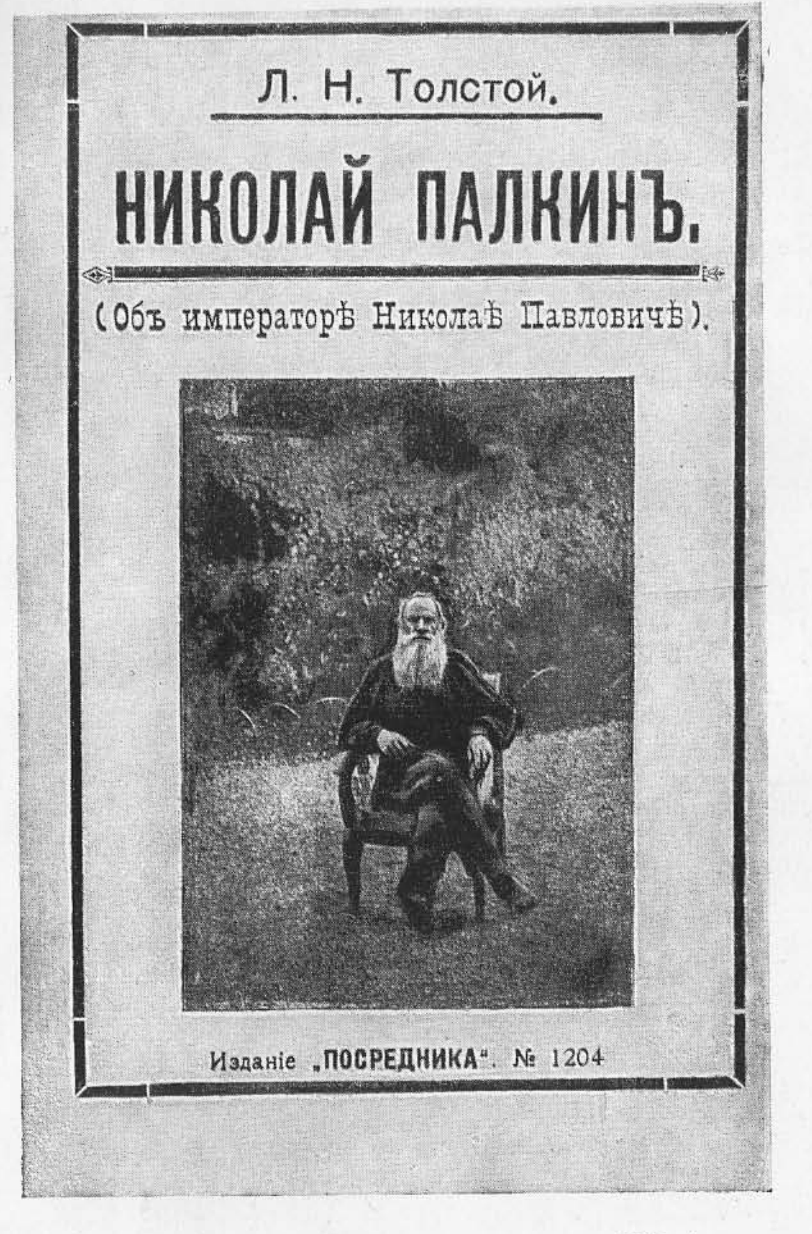
Когда-то, после пугачевского восстания, сослали на Каралык башкир, участников боев Салавата Юлаева, союзника Пугачева в войне с Екатериной. Давно прошло восстание. Осталось оно только в песнях.

Пятьдесят лет назад вооруженные луками башкирские всадники вместе с русскими полками были во Франции, сражались с Наполеоном. В далекой Франции конных башкир за их луки французы прозвали амурами.

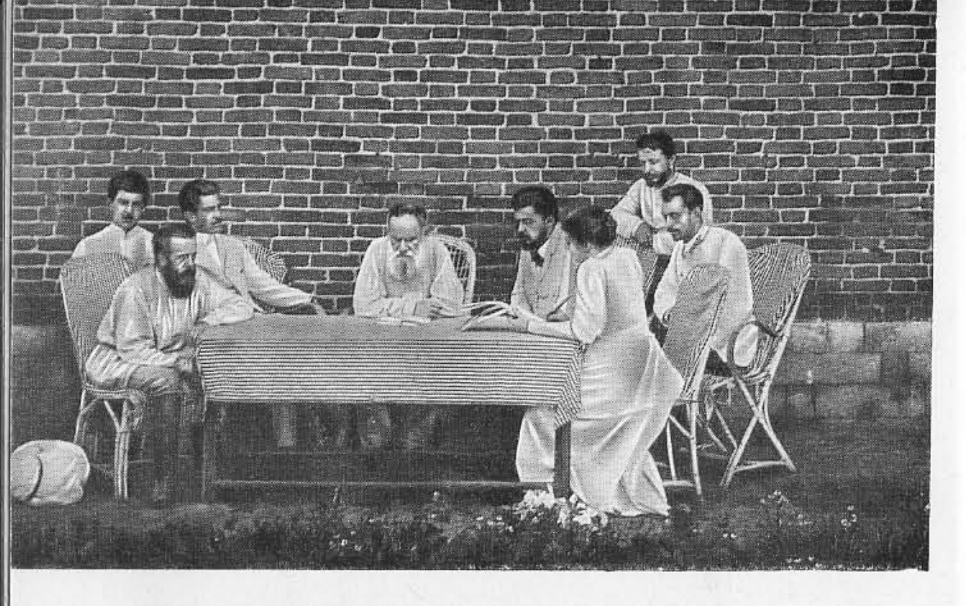
И это прошло и осталось только в песнях.

Башкирские полки были распущены, башкирские земли кругом подрезаны. Дедушка Аксакова уже покупал у башкирских старшин земли. Но степь была еще широка.

Башкирские степи неровны, волнисты, их пере-

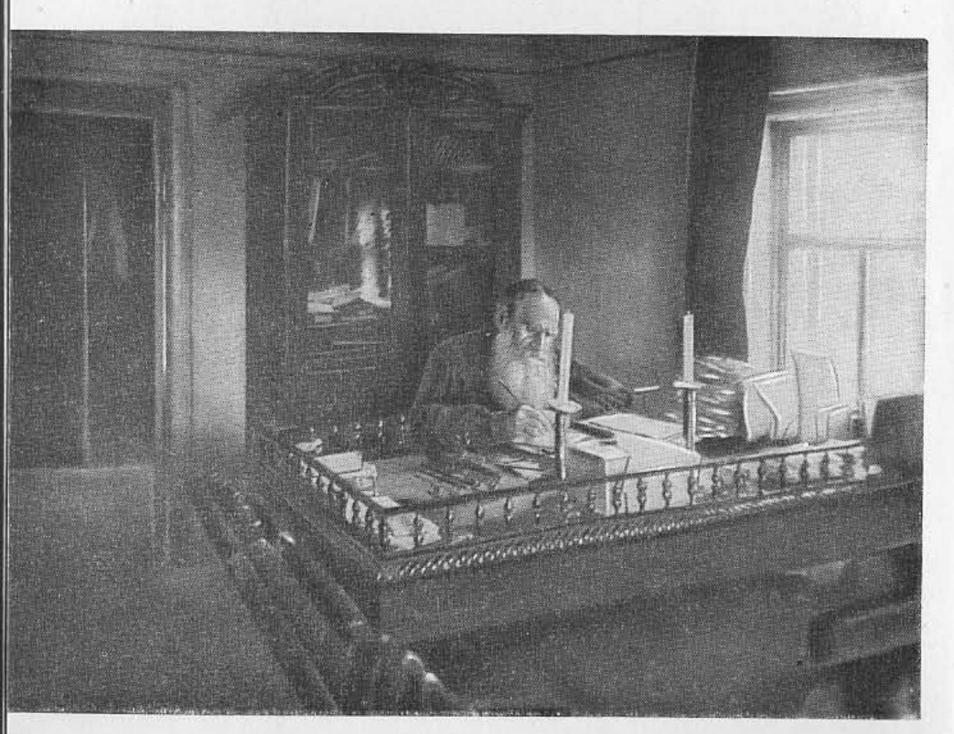


Обложка брошюры «Николай Палкин» (издание 1917 г.)



Толстой со своими помощниками в Рязанской губернии во время голода. 1892 г.

В кабинете хамовнического дома. 1898 г.



секают овраги с ручьями, степные речки, которые похожи, если посмотреть на них издали, на ожерелье с зеленой ниткой и голубыми камнями. Нитка — это узкая речка, обросшая кустарником, а голубые камни — разливы-омуты, бочары. На несколько сот верст в окружности сто лет тому назад стоял там седой ковыль, а так как корни ковыля не отмирают, то это был не только древний, а тысячелетний ковыль. Прекрасны степные места весной, особенно у речек, у озер. В хорошие годы степные сенокосы были и лучше и обильнее заливных лугов. По скатам холмов растет сизый шалфей, седая низкая полынь, чабер и богородская трава.

Воздух здесь мягкий, целебный. Каждую весну выезжали на степную кочевку башкиры с исхудалыми конями, покрытыми свалявшейся шерстью, с блеющими, грязными овцами; встречала их степь, и все изменялось.

Стоял ковыль, цвел дикий персик, цвела полевая акация, потом зацветала клубника — это уже было к лету. Потом поспевала полевая вишня.

Весной она белела озерками, над которыми гудели озабоченные стада пчел, никогда не толкающих друг друга. Золото пчел садилось на розовое серебро вишен, а к лету вишневые садки дикой вишни темнели; ковыль становился лилово-сизым. Если непривычный человек посмотрит, у него даже голова закружится от этого утомительного качания — зыби ковыля.

С весны выходили на кочи башкирцы, ставили плоские, круглоприплюснутые войлочные шатры, рассыпались в траве овечьи стада, матки ягнились в траве. Вдалеке пасутся и ржут конские табуны, а еще дальше видны какие-то черные движущиеся точки: это остроконечные шапки башкир.

Иногда приближаются они, и видны всадники, крепко сидящие на не знающих устали иноходцах. Едут всадники в соседние кочевья иногда верст за сто, будут есть баранину, пить кумыс. Никогда не бывало на кочевьях грязно, потому что когда вытаптывали траву, то перекочевывали. Смятая трава оста-

валась прибитыми кружками, потом кружки зеленели, и все опять делалось веселым и нарядным.

А там, на горизонте, косячный жеребец водит кобыл; он сам переводит свой гарем с одного пастбища на другое, сам их ведет на водопой и выбирает место ночлега.

Привольно в кочевье, пахнет кумысом в юртах, даже старики рабочие, не имеющие своего скота, мечтают.

Сейчас еда есть, а к зиме пригонит старик рабочий свою старую объевшуюся кобылу домой, зарежет и будет у него мясо.

В длинной рубашке, подпоясанной шнурком с кистями, кудрявый, бородатый, с двумя веселыми подростками, похожий на казака, ходил Толстой, гулял, ездил на коне, охотился. Тут в час можно выстрелить двадцать раз, когда идет перелет птиц. Здесь совсем кажется, что времени нет — есть только смена красок. Время бывает то зеленое, то желтое, то белое, оно изменяется, но не двигается, а лишь повторяется.

Лев Николаевич ел здесь мало, кумысу пил много. Был тихо-весел, спокоен, кашель оставил его, призрак смерти от чахотки, которая похитила брата Дмитрия и брата Николая, отступил.

Хотелось остаться здесь навсегда или ездить в Ясную Поляну только как в зимнюю кочевку.

Лев Николаевич хотел вернуться сюда скоро, но вернулся только через десять лет, когда все изменилось, когда стало меньше земли, стало теснее, голоднее, когда начали исчезать кочевья, уменьшился скот.

Он искал покоя, но сам приносил с собой беспокойство и сам принимал участие в тех великих переменах, которые не сразу украшают землю.

Пока же он был счастлив. Дела не было. Он учил Морозова плавать в быстрых холодных речках, охотился, ездил на коне и почти что забыл собственное свое имя и фамилию.

Но приближалась уже осень, птицы начали собираться в стаи, и в небе закричали журавли.

РАЗГРОМ ШКОЛЫ

I

Что в это время происходило в России?

К 1862 году общественная атмосфера была напряжена; в мае особенно тревожно стало после пожаров в Петербурге.

Русские деревянные города горели часто: одна из улиц Москвы и до сих пор по знаменитому старому пожару прозывается Палиха.

Лев Николаевич впоследствии в «Войне и мире», выясняя, почему сгорела занятая Наполеоном Москва, отрицал поджоги и говорил, что деревянный город, оставленный без внимания, должен сгореть.

Лето стояло сухое, пожары в Петербурге начались 16 мая, 22-го и 23-го числа они полыхали на Охте и на Ямской.

Я еще помню проезды конных пожарных по Петербургу и шары, которые поднимались по поводу пожаров на городской думе: пожар в городе — это всегда тревога.

В конце мая загорелся Апраксин двор; выгорел большой кусок между Чернышевым и Апраксиным переулками. Так как перед этим время было тревожное, то пошли слухи. Слухи самые разнообразные: например, была молва, что появился генерал, который ходит и трется спиной о заборы. Он уйдет, а забор загорится.

Но больше было слухов о том, что поджигают студенты.

О генерале, оставляющем на стене пятна, поговорили и перестали. О студентах говорили более настойчиво. В «Северной пчеле» в № 157 прямо было напечатано, что пожары связаны с последней прокламацией. Введены были военно-полевые суды по делам о поджогах, закрыли «Современник», «Русское слово», из славянофильских журналов «День» Аксакова. Заодно закрыли отделение Литературного фонда, которое помогало студентам. Закрыли и шахматный клуб. Ввели новые временные правила о печати,

которые не только были составлены заранее, но и высочайше утверждены 12 мая, до всяких пожаров.

Тревога росла Была паника в Летнем саду, устроенная, очевидно, мазуриками, которые вырывали серьги из ушей дам с криком «Пожар!».

Много сведений о пожарах приводится в многотомном труде Николая Барсукова «Жизнь и труды М. П Погодина» (т. 12). Там пожарным слухам и доносам посвящено страниц сорок.

М. Погодин и сам написал статью о пожарах, обвиняя в поджогах поляков и студентов О статье он совещался сперва с А. А. Краевским, а потом с Кокоревым: оба ему написали, что никаких фактов о поджогах комиссия не выяснила Нашли только какую-то бабу, которая подожгла лавку из личной мести к соседке, да еще сознался учитель Викторов, что он в пьяном виде поджег училище в Луге. Кокорев написал Погодину через его жену, что поджоги существуют в одних рассказах.

Много подробностей об этом находится в книге Л. Пантелеева «Воспоминания»; они изложены в статье «Из воспоминаний 60-х гг.» *.

В И Ленин в статье «Гонители земства и аннибалы либерализма» упоминает воспоминания Пантелеева.

«Следственная комиссия не открыла никакой связи пожаров с политикой. Член комиссии, Столбовский, рассказывал г. Пантелееву, «как удалось ему в комиссии вывести на свежую воду главных лжесвидетелей, которые, кажется, были простым орудием полицейских агентов» (325—326). Итак, есть очень веское основание думать, что *слухи о студентах-поджигателях распускала полиция.* Гнуснейшее эксплуатирование народной темноты для клеветы на революционеров и протестантов было, значит, в ходу и в самый разгар «эпохи великих реформ».

Слухи, паника, провокация были средствами политической борьбы, они были орудием борьбы и в то же время следствием ощущения непрочности положения Революционная ситуация всеми ощущалась. Провокациями старались обессмыслить цели революции, придать видимость законности арестам.

* Книга Л Ф Пантелеева «Воспоминания», в которую статья включена, переиздана в Гослитиздате в 1958 году с предисловием и комментариями С А Рейсера

Лев Николаевич плыл на пароходе, отдыхал в самарских степях, состязался с башкирцами, перетягиваясь на палке, радовался, что во всей степи был только один человек, ему равный по силе, а между тем Ясная Поляна была окружена сыщиками и школа была разгромлена.

Дороги, которые прокладывают люди с древних времен по собственной воле, всегда проходят по водоразделам, выходя к бродам рек. Человеческие судьбы тоже так выходят на большую дорогу.

И Лев Николаевич, уходя от политики, все время находился в ее центре Вот что надо помнить, когда читаешь о разгроме Ясной Поляны и о бесчинстве пьяных жандармов.

II

Что в это время произошло в Ясной Поляне, в которой не было Льва Николаевича Толстого?

За школой Толстого и за журналом, который издавался, все время шло наблюдение. В 1906 году было напечатано в качестве отдельного оттиска из июльской книжки журнала «Всемирный вестник» «Дело (1862 года. 1-й экспедиции, № 230) III отделения собственной его императорского величества канцелярии о графе Льве Толстом. Печатается с подлинных документов, хранящихся в архиве департамента полиции (С -Петербург)».

Сведения этой публикации потом были уточнены в статье Игоря Ильинского «Жандармский обыск в Ясной Поляне в 1862 году» *. Так как эта статья включает и анализ первой публикации, то дальше мы будем пользоваться ею

Статья начиналась эпиграфом «Из неопубликован-

* Статья напечатана в 1 м сборнике «Звеньев», изд «Академия» М —Л , 1932 г

ных записок Маковицкого»: «Кто хочет писать биографии русских политических деятелей, пусть только справится в архиве III отделения. Жандармы писали подробно. Слова Л. Н. Толстого из беседы о Герцене и Огареве, записанные Д. П. Маковицким 6/XI 1906 года».

В основе дела внешне лежат доносы некоего сыщика «для карманных воришек» Михаила Ивановича Шипова, бывшего дворового князя Долгорукова, но и до получения записок от этого шпика в делах III отделения уже был материал на графа Толстого. Слежка началась за поднадзорным студентом Соколовым, который приехал в Тулу. Жандармский полковник Муратов получил извещение генерала-от-кавалерии Перфильева, что необходимо проследить за деятельностью этого студента. Одновременно поступил материал от жандарма Московской губернии Воейкова, который сообщил авторитетно, серьезно и неосведомленно:

«Отставной артиллерийский офицер Толстой, очень умный человек, воспитывался, кажется, в Московском университете и весьма замечателен своим либеральным направлением; в настоящее время он очень усердно занимается распространением грамотности между крестьянами, для сего устроил в имении своем школы и пригласил к себе в преподаватели тоже студентов и особенно тех, которые подвергались каким-либо случайностям, оставили университет..., в числе таковых оказался здешний студент Алексей Соколов, состоящий под надзором за участие в издании и распространении разных запрещенных антирелигиозных сочинений».

Дело как будто и совершенно пустяковое, но оно по обстоятельствам времени оказалось типовым. Лев Николаевич ступил на минированную почву.

Действительно, преподавателями в школе были студенты, изгнанные после студенческих беспорядков. Лев Николаевич, которого впоследствии обвиняли в связи с Герценом, у Герцена бывал, от Герцена получал письма и имел на дому его фотографическую карточку.

Лев Николаевич считал себя антинигилистом и себя и свою деятельность с Герценом не связывал, но с точки зрения жандармов бывший мировой посредник, оставивший работу, потому что не поладил с дворянством своего уезда, сам был нигилистом, и школа его была подозрительна.

Секретный агент Шипов бродил вокруг толстовской школы, вокруг толстовского дома, заметил, что в доме есть комната под сводами и что есть какие-то потайные подвалы; мы знаем, что они остались от старого дома, который был продан на снос. В результате в Ясную Поляну на нескольких тройках приехали жандармы. Начался обыск, который продолжался два дня — 6 и 7 июля.

Вот что рассказывает об этом обыске Евгений Марков, учитель тульской гимназии, тот самый, с которым спорил Толстой в своих статьях; Марков, живший по неделям в Ясной Поляне, был вызван Марьей Николаевной Толстой из Тулы.

«Въезжаем во двор... смотрим, там целое нашествие! Почтовые тройки с колокольчиками, обывательские подводы, исправник, становые, сотские, понятые и в довершение всего — жандармы. Жандармский полковник во главе этой грозной экспедиции, со звоном, шумом и треском подкативший к мирному дому Льва Николаевича, к бесконечному изумлению деревенского люда. Нас едва пропустили в дом. Бедные дамы лежат чуть не в обмороке. Везде кругом сторожа, все разрыто, раскрыто, перевернуто (ящики столов, шкапы, комоды, сундуки, шкатулки). В конюшне поднимают ломом полы; в прудах парка стараются выловить сетью преступный типографский станок, вместо которого попадаются только одни невинные караси да раки. Понятно, что злополучную школу и подавно вывернули вверх дном».

Студенты были изолированы, помещены во флигель. Полицейские жандармы разделились на отряды и тщательно простукивали стены, весь дом. Тайн в доме не оказалось: это в антинигилистических романах обиталища нигилистов были полны таинственности и подполий.

Лев Николаевич, приехав, был взволнован, возмущен, хотел даже эмигрировать за границу. Для писателя того времени идея политической эмиграции, конечно, связывалась с позицией Герцена, но Толстой думал о какой-то другой позиции.

Лев Николаевич случайно избежал прямого столкновения с жандармами. Нападение на Ясную Поляну, разбойничий налет троек, пьяный обыск, перечитывание дневников и писем — все произошло не при нем. все было только рассказано ему.

Лев Николаевич написал об этом налете несколько писем к А. А. Толстой. В письме от 7 августа 1862 года он говорит о своем намерении эмигрировать — «экспатриироваться». «К Герцену я не поеду. Герцен сам по себе, я сам по себе». Но писал он совсем как в «Колоколе»: «Я и прятаться не стану, я громко объявлю, что продаю именья, чтобы уехать из России, где нельзя знать минутой вперед, что меня, и сестру, и жену, и мать не скуют и не высекут, я уеду».

Тут дело не в семье Толстого. В это время на улицах Москвы уже били, и Толстой об этом знал; то, что с ним случилось, было типично для времени.

13 октября в 12 часов дня в Москве на улицах били студентов Московского университета, на Тверской площади полиция и жандармы разгоняли студентов нагайками.

Наступало время, которое потом хорошо описал Салтыков-Щедрин.

Толстой написал письмо царю и не получил ответа.

В письме к Александре Андреевне имя Герцена упоминается несколько раз. Толстой пишет про студентов: «Каждый приезжал с рукописями Герцена в чемодане и революционными мыслями в голове и *каждый* без исключения через неделю сжигал свои рукописи, выбрасывал из головы революционные мысли и учил крестьянских детей священной истории, молитвам и раздавал евангелия читать на дом. Это факты, все одиннадцать человек делали это без исключения и не по предписанию, а по убеждению.

Я голову даю на отсечение, что во всей России в 1862 году не найдется такого двенадцатого студента».

Толстой был прав. он переубедил своих одиннадцать студентов, но двенадцатого в России не было, и в то же время Толстой был не прав, потому что на самом деле он приехал от Герцена, и Дуняша Орехова, горничная, успела выбросить в траву портфель, в котором были, вероятно, письма Герцена и его фотографические карточки с надписями. Какие-то документы были отложены при обыске и взяты той же горничной из папки жандарма

Это не значит, что Толстой и Герцен думали в это время одно и то же, но объективно они оказывались, как и школа Толстого, врагами режима. Толстой был мировым посредником, вел свою работу добросовестно — защищал крестьян. Работу же надо было вести коварно, потому что крестьян обманывали, и все дворяне — соседи Толстого — его ненавидели.

Когда-то Толстой писал своей тетке, что нельзя запереться в своем доме, нельзя быть одному хорошему среди всех плохих. Пять лет тому назад он писал:

«Мне смешно вспомнить, как я думывал и как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаянья, без путаницы жить себе потихоньку и делать не торопясь, аккуратно все только хорошее Смешно! *Нельзя,* бабушка. Все равно, как *нельзя,* не двигаясь, не делая моциона, быть здоровым. Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость».

Да, это было сделать нельзя. Но что же сделал Толстой, которому было очень трудно? Он понимал свое положение, когда получил первое письмо и писал А. А. Толстой: «Ведь все Потаповы, Долгорукие и Аракчеевы и равелины — это все ваши друзья».

А тут же он пишет, что у него ищут прокламации Герцена, «которые я презираю, которые я не имею

терпения дочесть от скуки. Это факт — у меня раз лежали неделю все эти прелести прокламаций и Колокол, и я так и отдал, не прочтя».

Письма иногда пишутся не только для того, чтобы их прочитал адресат, но и для того, чтобы их прочитали на почте, чтобы их показывали. Лев Николаевич потерпел неудачу в попытке создать свой мир, свою идиллию: создать нетронутый крестьянский край в пределах Ясной Поляны.

Он говорил своим ученикам, что женится на крестьянке, и после классов ребята выбирали ему невесту и обсуждали, что об этом будут говорить, не станут ли смеяться над графом, который так прожился, что обратился в мужика.

Ребята были совсем маленькие, и Толстой был наивен, как ребенок, когда с ними говорил о своих планах. Ребенком он был и тогда, когда надеялся, что император Александр II перед ним извинится; он даже скрыл, что такого извинения не последовало.

В воспоминаниях Т. А. Кузминской выдвигается утверждение, что царь «через своего флигель-адъютанта прислал Льву Николаевичу извинение».

Мы знаем, что Толстой жаловался царю, писал письма Александре Андреевне Толстой, чтобы она передала жалобы, и пытался лично передать письмо; 23 августа 1862 года Толстой записывает: «Подал письмо государю».

В статье И. Ильинского сообщается, что государь император сам читал еще 23 июля выписку из рапорта Дурново об обыске в Ясной Поляне. Дальше сообщается· «Наконец в производстве III отделения имеется «справка» от 31 августа 1862 года с кратким изложением обстоятельств дела Толстого и «соображениями» III отделения по поводу «полученной ныне всеподданнейшей жалобы графа Толстого на сделание обыска в его доме и у лиц, у него проживающих». Эту справку князь Долгоруков, очевидно, и докладывал Александру II в связи с жалобой Толстого. В ответ на жалобу «полагалось бы возможным», как сказано в «соображениях», «объявить» *словесно* графу Толстому через начальника Тульской губернии, что обыск вызван подозрением к молодым людям, «состоящим на замечании правительства», из коих некоторые проживают без надлежащих видов, близкими сношениями с ними Толстого и открытием школ «неизвестно на каком основании в имениях графа Толстого». «Все эти обстоятельства слишком важны, — говорится в «соображениях», — чтобы могли быть оставлены без внимания в настоящее время».

Таким образом, по этому проекту в ответ на жалобу Толстого III отделение предполагало дать все-таки объяснение. Неизвестно, как принят был всеподданнейший доклад князя Долгорукова, но, судя по письму его к тульскому губернатору от 7 ноября 1862 года, «высочайшая воля» состояла лишь в том, чтобы Толстой был освобожден от дальнейших кар, хотя проживавшие у него близкие к нему лица и оказались не имеющими «для жительства законных видов, а у одного хранились запрещенные сочинения».

«Уведомляя о таковой высочайшей воле» тульского губернатора и *«представляя* ему сообщить оную гр. Толстому при личном с ним свидании», шеф жандармов просил передать от себя, что если бы Толстой «присутствовал при обыске лично, то он, вероятно, убедился бы, что штаб-офицеры корпуса жандармов, при всей затруднительности возлагаемых на них поручений, стараются исполнять оные с тою осторожностью, которая должна составлять непременное условие их звания».

Так расценено было «высочайшей властью» это «гнусное дело».

Итак, несмотря на то, что письмо было передано через флигель-адъютанта Шереметьева, никакого удовлетворения Толстой не получил. Действия Долгорукова оказались высочайше утвержденными.

Лев Николаевич мог писать о том, что «ежели бы могло быть что-нибудь забавно, то забавно то, что студенты тут же в глазах жандармов прятали в крапиву и жгли те невинные бумаги, которые им казались опасны».

Школа была разгромлена и уже не поправилась. Путь, который выбрал для себя Толстой, оказался запрещенным, и это было, конечно, не случайным.

Вот в чем смысл и значение июльского обыска, произведенного в Ясной Поляне, если рассматривать его в связи с общим положением дел в России

Толстой требовал удовлетворения, писал царю и не получил ответа. Единственным возмездием, о котором Толстой не узнал, было то, что неудачный сыщик Шипов попал под арест и после этого в полицейских бумагах не упоминается.

Соседи по имению, помещики, обиженные работой графа Толстого как мирового посредника, были довольны. Крамола была наказана.

Вскоре Толстой женился и под влиянием своих решений и уговоров молодой жены закрыл школу. Ему казалось, что студенты-учителя смотрят с завистью на его молодоженское счастье.

Что же случилось с учениками Толстого?

Василий Морозов, описанный под именем Федьки, пробовал работать в Туле извозчиком.

Морозов сам писал о себе так: «Первые годы моей жизни в городе были для меня очень тяжелы За ненахождением себе должности я сделался босяком. Бывал голодный, холодный, ютился где попадало... И дошел я до крайности... Звали воровать. Но я решил: лучше с голоду умереть».

Думал Морозов о самоубийстве: хотел в реку броситься и считал чудом, что не умер.

Заходил к Льву Николаевичу в Ясную Поляну. Толстой, уже стариком, узнал Василия Морозова, бывшего своего ученика, и даже, утешая, записал его голос вместе со своим на фонографе, присланном Эдисоном.

В декабре 1884 года в Ясную Поляну пришел наниматься солдат. Толстой холодно отказал. «...Но он сказал мне, что он мой бывший ученик первой школы — Семка Богучаровский, — писал Толстой жене. — Это один из лучших мальчиков был. И теперь хороший, кажется, человек. Я узнал в этом солдатском лице того бутуза, очень умного мальчугана, в веснушках, с доброй улыбкой, и довольно долго поговорил с ним».

Солдата Толстой устроил управляющим в Самарском имении. Очень понравилось воспоминание.

Софья Андреевна ответила на письмо: «Описание твое деревенских детей, жизни народа и проч. ваши сказки и разговоры, все это, как и прежде, при Яснополянской школе, осталось неизменно. Но жаль, что *своих* детей ты мало полюбил; если бы они были крестьянкины дети, тогда было бы другое».

Софья Андреевна пишет не «крестьянские дети», а «крестьянкины дети», то есть дети крестьянки. Она ревнует к женщине, а должна бы ревновать к деревне.

Остальные ученики разбрелись кто куда. Один из мальчиков, Фоканов, остался работать в Ясной Поляне и, стариком, копал могилу, в которой похоронен Лев Николаевич. Потом он был при ней сторожем.

Попытка произвести чудо в Ясной Поляне Толстому не удалась. Он увидел поразительную талантливость народа, его громадные творческие возможности, увидел, что то, что он делает, может быть понятно народу, но не смог ничего сделать для народа, не переделывая самого основания государства. Случайный донос и случайный налет полиции и жандармов входили в строй жизни той империи, в которой находился Лев Николаевич. Толстой отступил — отступил полусознательно, ставши литератором, уйдя окончательно «в комнату под сводами»; уйдя надолго, спорить не перестал, потому что через него спорила жизнь.

В сентябре (7) того же года, то есть через неделю или две после происшествия, Толстой пишет своему «милому другу Александрин»:

«Какой я счастливый человек, что у меня есть такие друзья, как вы! Ваше письмо так обрадовало и утешило меня...» И дальше идет фраза о жандарме, о цензуре и «третье главное несчастье или счастье, как хотите судите. Я, старый, беззубый дурак, влюбился».

Да, он влюбился, он, наконец, нашел место для своего влюбления, выбрал человека, которому может произнести слова признания и которому может показать свои дневники, недавно так грубо просмотренные жандармами.

Толстой влюбился в Софью Андреевну Берс, девочку восемнадцати лет, и женился на ней. Он отступил в обычное — это было необходимо; надо было или действительно стрелять, или отступить, а ведь надо было писать и для этого сохранять себя.

Таким образом, в результате конец школы был ускорен и настойчивостью молодой жены.

Софья Андреевна ревновала Льва Николаевича ко всему, а не только к крестьянке, которую Толстой любил.

16 декабря 1862 года Толстая записала: «Если б я могла и его убить, а потом создать нового, точно такого же, я и то сделала бы с удовольствием».

Но нового создать она хотела не «точно такого», а похожего на себя, на Берсов вообще. Обыкновенного.

«КАЗАКИ»

Замысел «Кавказской повести» десятилетие сопровождал жизнь Толстого. К замыслу он возвращался по разным поводам.

В Женеве 14(2) апреля 1857 года он записывает: «Приходится все переделать. Мало связи между лицами».

15 апреля: «Буду писать наикратчайшим образом самое дело. Выходит страшно неморально».

17 апреля: «Кажется, окончательно обдумал Беглеца».

18 апреля: «Кажется, Беглец совсем готов. Завтра примусь».

В августе в Ясной Поляне он входит в заботы о хозяйстве и об отношениях Марьи Николаевны к Тургеневу. Пишет: «Я боюсь их обоих». Но «Казак» не покидает его. Он ищет опоры в Гомере, как прежде искал в казачьей песне.

В дневнике 15 августа 1857 года: «Целый день ничего. Читал Илиаду. Вот оно! Чудо!»

16 августа: «Илиада. Хорошо, но не больше».

Но вдохновение томит Толстого, и он продолжает запись 16 августа: «Лень писать с подробностями, хотелось бы все писать огненными чертами».

17 августа: «Только читал Илиаду и отрывками хозяйничал... Илиада заставляет меня совсем передумывать Беглеца».

18 августа: «Беда! Не заметишь, как опять погибнешь. Читал Илиаду... а Кавказской я совсем недоволен. Не могу писать без мысли. А мысль, что добро — добро во всякой сфере, что те же страсти везде, что дикое состояние хорошо — недостаточны».

В этой записи сконспектированы и оспариваются заключительные строки «Цыган» Пушкина.

В конце августа продолжаются записи об «Илиаде». Сомнения Толстого были давние, и «Илиада» их только подкрепляла.

Николай Николаевич написал прекрасные очерки «Охота на Кавказе», но Лев Николаевич написал книгу великую.

Оленин и Ерошка встречаются вместе, как Алеко и Старый цыган в «Цыганах» Пушкина. Они ищут правду, и если не находят ее, то все же отрицают неправду. Герои бродят не только по лесу, но и по самой жизни, обнаруживая ее противоречия.

Лев Николаевич как будто понимает, что ему, как помещику, не переделать жизнь народа, и понимает, когда с ним говорит Ерошка, что религия самоусовершенствования тоже не может переделать жизнь и даже дать ее понимание.

Матерый казак Ерошка не религиозен, он ни во что не верит. Он наивно верит в любовь; его любовь эгоистична, но не слепа.

В женщину, в горскую семью со многими женами и в любовь женщины, которая все несет любимому, Ерошка верит. В грех старик не верит: « — Грех? Где грех? — решительно отвечал старик. — На хорошую девку поглядеть грех? Погулять с ней грех? Али любить ее грех? Это у вас так? Нет, отец мой,

это не грех, а спасенье. Бог тебя сделал, бог и девку сделал. Все он, батюшка, сделал. Так на хорошую девку смотреть не грех. На то она сделана, чтоб ее любить да на нее радоваться. Так-то я сужу, добрый человек».

Бог старика не беспокоит: « — Я так думаю, что все одна фальшь, — прибавил он, помолчав.

— Что фальшь? — спросил Оленин

— Да что уставщики говорят... Сдохнешь... трава вырастет на могилке, вот и все »

Ерошка для Толстого — разгадка казачества, а казачество в это время ему казалось очень большим явлением в русской истории. Но Ерошка живет в своей станице осмеянным, его дразнят дети Он прошлое.

Толстой любит в станице то, что из нее уходит, хотя видит, что в станице богатое казачество живет, имея рабочих нагайцев и казачьих старшин, которые высуживают у родственников сады.

Время Ерошки и его слава прошли

Оленин в лесу развивает мысли Ерошки и как-то поразительно связывает их с мыслями людей своей культуры, которые утверждали, что страсти и пороки — только извращенные негармоническим строем свойства человека.

Утописты стремились к новой гармонии человека. Молодой герой «Казаков» — Дмитрий Оленин, как и они, в своих размышлениях выступает как философ Почти вся XX глава посвящена мыслям о счастье, происходящем от полноты ощущения человека частью природы.

Оленин думает в лесу. «А вот как мне ничего не нужно для счастья!»

И вдруг ему как будто открылся новый свет: «Счастье — вот что, — сказал он сам себе — счастье в том, чтобы жить для других. И это ясно. — В человека вложена потребность счастья, стало быть, она законна Удовлетворяя ее эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства, славы, удобств жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаньям. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастья незаконна».

Это кажется почти непонятным, это сложно. Толстому в те годы нужно то, что тогда называлось гармонией, нужна непротиворечивость счастья Мир, лежащий вокруг него, явно несчастен, надо создать новую гармонию — законность счастья.

Понятие о счастье вызывает необходимость социальной реформы. Войти просто в жизнь нельзя, надо жить иначе. Оленин бежит из Москвы не от долгов, хотя он должен, — он бежит от ложной цивилизации, хотя и увозит с собой в чемодане модный костюм с неоплаченным счетом французу-портному.

Но он беглец. Остаться там, где он был, нельзя.

Толстой в конспекте «Казаков» записывает про Оленина «Отъезд из Москвы, его положение в свете, его странное николаевское развитие. Отрицать тяжело, соглашаться нельзя, жить хочется».

Но можно еще переделать жизнь. Пытался ли ее переделать Толстой так, как пытались ее переделать Герцен, петрашевцы?

Не будем скрывать, что Оленин очень близок к Толстому. Эта близость особенно поразительна, когда читаешь те главы, которые ведутся от первого лица

Один из отрывков, который печатается в Юбилейном издании как вариант № 23, называется «Марьяна». Начало отрывка дает и путь Толстого через Кизляр и чин Толстого. все приписывается Оленину.

«В 1850 году 28 февраля была выдана подорожная по собственной надобности от Москвы до Ставропольской губернии, города Кизляра, канцелярскому служителю Т-ого Депутатского собрания, коллежскому регистратору Дмитрию Андрееву Оленину. .»

Дальше кратко описывается отъезд Оленина из Москвы от подъезда гостиницы Шевалье; едет Оленин с Ванюшкой Т-ого собрания — это, несомненно, Тульского депутатского собрания. В результате многих переделок герой изменил несколько раз фамилию, но, получив фамилию Оленин, одновременно приоб-

рел документы Толстого. Хотя в тексте сказано, что герой едет юнкером, но он едет, как Толстой, волонтером: у него паспорт штатского человека.

Путь не кончен; по новым подорожным Толстой поехал дальше.

Старогладковская станица изменила его.

Любовь к могучей красавице Марьяне появляется как определяющая конфликт тема любви.

Первоначально Толстой описывает любовь если и не счастливую, то, во всяком случае, завершенную. Офицер становится мужем казачки, покупает ей дом, хочет принять старую веру, или ждет, чтобы она приняла православие, но возвращается муж и убивает офицера.

Это увлекательно рассказано; Толстой много раз писал план, который выглядел более занимательно, беллетристично и событийно, чем напечатанная позднее повесть.

Но море существует за бортом корабля и давит на его железные стены.

Пришла любовь, про которую мы очень мало знаем, хотя явно молодая женщина станицы — Марьяной ли она звалась, или Зиной, или Соболькой — любима Толстым. Чем дальше Толстой входит в анализ любви, тем ближе он подходит к самому себе, тем автобиографичнее становится повесть.

Оленин умен, он знает много книг, мечтает о справедливости, знает русскую литературу. У него есть своя биография, свое отношение ко всему миру, но оказывается, что такого человека станица не принимает. Мальчик Белецкий понятен — это красивый молодой барин, который влюблен в казачку, но скоро уедет к своим. Оленин же, который мечтает о горах, о большой любви и новой жизни, вызывает у Ерошки жалость: он нелюбимый, чужой в станице.

Ерошка — человек, оставшийся от прошлого. Оленин стремится в будущее. Одного разлюбили, другого еще не полюбили.

Теперь скажем самое горькое о Толстом.

Толстой вряд ли любил Молоствову, не верил цыганке Кате и мало любит себя, хотя уже верит в свой

талант и силу. Уже в то время Толстой знал, что крестьянский мальчик самостоятельнее, жизненнее, чем дворянский мальчик.

Он, по словам, сказанным позднее Софьей Андреевной, любил «крестьянкиных детей».

Толстой в станице любил, собирался быть счастливым, мечтал остаться здесь навсегда. Десять лет он писал роман о рае, в котором он был и о котором с любовью вспоминал, и все придумывал, как в этом раю остаться.

Он дал Оленину свои мечты про Марьяну, он поразному решал, должна она быть богатая или бедная, он сразу знал, что у Оленина есть соперник; придумывал, что Марьяна принимает православие; предполагал, что Оленин примет старую веру.

И все это не выходило.

Писался роман, был создан план романа в трех частях, были намечены сцены, которые происходили в Тифлисе, там, где побывал Толстой. Оленин в этом городе оказался удачливей Толстого: у него были великосветские связи. Тогда Толстой осуществлял в планах романа мечты о связях с высокой аристократией.

Роман шел рядом с жизнью Толстого.

Кирка — соперник Оленина, убегает в Чечню, становится абреком, возвращается в станицу, совершает убийство; его казнят. Марьяна убивала Оленина, который был ни в чем не виноват, и, может быть, солдат, влюбленный в Марьяну, принимал на себя вину.

Но роман не был написан, потому что Толстой был реалистом, а места на свете для продолжения романа не было: это был бы уже роман о случайности.

Конец с убийствами не был осуществлен так же, как не осуществилась и утопия.

Роман менял названия: «Беглец», «Беглый казак», «Казаки».

Старый ловелас и житейски опытный человек Андрей Евстафьевич Берс не был доволен «Казаками», о чем и сообщил зятю Толстому через свою дочь.

Он считал, что писатель недостаточно знал действительность.

«Видно, мало времени пробыл в станице, недостало времени отдельно изучить какую-нибудь Марьяну, да и бог знает, стоит ли она того, чтобы изучать ее с нравственной стороны. Я думаю, они все на один лад. Их нервная система совершенно соответственна их мускулам и так же неприступна к нежным и благородным чувствам, как и их горы».

Письмо это показалось дочери врача настолько замечательным, что Татьяна Берс (Кузминская) приводит его под заглавием «Письма отца» в книге «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне».

«Казаки» были для Берсов делом чужим, дьявольским именно потому, что в них рассказывалось про любовь к крестьянке.

Эта книга вызывала ревность Софьи Андреевны.

Ревность Софьи Андреевны избирательна; вероятно, она понимает, к кому надо ревновать. Она не ревнует Толстого к Валерии Арсеньевой. Она пишет: «Перечитывала его письма к В. А. Еще молодо было, любил не ее, а любовь и жизнь семейную... И, прочтя его письма, я как-то не ревновала, точно это был не он и никак не В., а женщина, которую он должен был любить, скорее *я*, чем *В.*».

К графине Александре Андреевне Толстой, камерфрейлине двора, Софья Андреевна не ревнует, хотя, кажется, думает, что роман был. Ревность Софьи Андреевны к А. А. Толстой пришла позже, когда Софья Андреевна, разбирая в отсутствие мужа его бумаги, сопоставила письма Александры Андреевны с ответными письмами мужа, но и тогда ревность носила несколько почтительный характер.

Софья Андреевна как бы признавала аристократическое превосходство фрейлины двора над собой.

17 октября 1863 года Софья Андреевна записывает:

«Мне хотелось бы всего его охватить, понять, чтоб он был со мною так, как был с Alexandrine, а я знаю, что этого нельзя, и не оскорбляюсь, а мирюсь с тем, что я для этого и молода и глупа и недовольно

поэтична. А чтоб быть такой, как Alexandrine, исключая врожденных данных, надо быть и старше, и бездетной, и даже незамужней. Я бы не оскорбилась тем, что у них была бы переписка в прежнем духе, а мне только грустно бы было, что она подумает, что жена Левы, кроме детской и легких будничных отношений, ни на что не способна. А я знаю, что как бы я ревнива ни была, ревнива к душе его, а Alexandrine из жизни не вычеркнешь, и не надо — она играла хорошую роль, на которую я не способна... Я бы хотела с ней поближе познакомиться. Сочла ли бы она меня достойной его?»

Тут черта не подводится. Не то чувство в отношении к Марьяне и к Аксинье.

20 марта 1865 года Софья Андреевна записывает:

«Нынче опять спохватилась, читая критику на «Казаков» и вспоминая роман, что я — граница всему, а жизнь, любовь, молодость, все это было для казачек и других женщин».

В отношении к Аксинье тоже слепая ненависть и мечта о самоубийстве или убийстве.

16 декабря 1862 года запись, вызванная перечитыванием дневника Толстого от 10—13 мая 1858 года: «Мне кажется, я когда-нибудь себя хвачу от ревности. «Влюблен как никогда!» И просто баба толстая, белая, ужасно. Я с таким удовольствием смотрела на кинжал, ружья. Один удар — легко, пока нет ребенка».

Это не проходило.

14 января 1863 года запись, сделанная в Москве: «Я сегодня видела такой неприятный сон. Пришли к нам в какой-то огромный сад наши ясенские деревенские девушки и бабы, а одеты они все, как барыни. Выходили откуда-то одна за другой, последняя вышла Аксинья в черном шелковом платье. Я с ней заговорила, и такая меня злость взяла, что я откуда-то достала ее ребенка и стала рвать его на клочки. И ноги, голову — все оторвала, а сама в страшном бешенстве. Пришел Левочка, я говорю ему, что меня в Сибирь сошлют, а он собрал ноги, руки, все части и говорит, что ничего, это кукла. Я посмотрела, и

в самом деле: вместо тела всё хлопки и лайка. И так мне досадно стало».

Запись не случайная, такая расторможенность ненависти бывала у Софьи Андреевны не только во сне.

ЖЕНИТЬБА НА БАРЫШНЕ

В тогдашнем Кремле, старой крепости опального города, за тихими, мощенными булыжником двориками, жил врач с довольно хорошей практикой — Андрей Евстафьевич Берс.

Многоугольные дворики поросли травой, но были хорошо вымощены: через них ходили офицеры садиться под арест на гауптвахту — в ордонансгауз.

По воспоминаниям Татьяны Кузминской можно составить впечатление, что квартира Берсов в Кремле была очень комфортабельна, что в ней давали домашние спектакли, собирались гости. Ей изменяла память.

Софья Андреевна Толстая в записях реальных и точных вспоминает: «Раз вечером я тихонько вошла к матери за перегородку в ее спальне».

Толстой как-то раз, говоря с учителем своих детей Ивакиным, жаловался на роскошь, к которой начали привыкать люди в конце XIX века. Кстати, он вспомнил о старине:

«Прежде, например, семейство Берсов (то есть его тестя) жило, как живет самая обыкновенная чиновничья семья, как не стала бы жить теперь. Вся квартира состояла из одного какого-то коридора, дверь с лестницы вела прямо в столовую, кабинет самого владыки был — негде повернуться, барышни спали на каких-то пыльных, просиженных диванах, нынешний англичанин m-r Vater-closet назывался тогда еще по-русски. Теперь это было бы немыслимо. Немыслимо, чтобы к доктору больные ходили по животрепещущей лестнице, проваливались, чтобы в комнате висела люстра, о которую мог задеть головой даже среднего роста человек, так что больной, если не провалится на лестнице, то непременно расшибет

себе голову о люстру — все это теперь считается невозможным, а это-то и есть роскошь».

В своем низком кабинете врача сидел синеглазый хозяин дома, строгий и требовательный; одет он был обычно в черный бархатный халат. В старости, когда ему ввели после операции серебряное горло с дырочкой, он отпустил себе бороду.

Это был красивый и бывалый человек.

Андрей Евстафьевич Берс, родившийся в 1806 году, служил в должности врача на московском ордонансгаузе, то есть гауптвахте, куда сажали провинившихся офицеров.

Татьяна Кузминская — его младшая дочь, сообщает нам, что прадед Иван Берс был ротмистром австрийской армии и командирован в Петербург для обучения новому строю, как инструктор. Иван Берс прослужил несколько лет и был убит в битве при Цорндорфе. Фамилия его жены не известна. Его сын Евстафий наследовал от матери состояние и женился на Вульферт, которая, по словам Тани Берс, была состоятельной дворянкой, хорошей фамилии.

Сам Евстафий стал аптекарем. В 1812 году при пожаре Москвы он лишился своего имущества, попал в плен, потом вернулся в русскую армию и получил вознаграждение за убытки — три тысячи ассигнациями. Отсюда история начинает принимать четкие очертания.

Аптекарь отдал обоих своих сыновей на медицинский факультет Московского университета. Андрей Евстафьевич Берс, окончив университет, поехал с матерью Ивана Сергеевича Тургенева за границу; пробыл в Париже два года. Молодой врач был красив. В результате у В. П. Тургеневой появилась дочь, которая получила фамилию Богданович-Лутовинова *.

Берс имел хорошую врачебную практику, долго был «большим ловеласом», человеком, вхожим во многие дома, получил в 1845 году чин коллежского

* Об этом знали в семье Берсов, что засвидетельствовано в воспоминаниях В Микулич и напечатано в 1-м выпуске «Звеньев» в 1930 году, стр 501.

асессора и тем самым дворянство и состоял сверхштатным врачом в московских театрах.

Дом был скромным и по-чиновничьи патриотичным.

Во время Севастопольской кампании дочери врача ходили в пальто, сшитых из солдатского сукна, с солдатскими пуговицами; эти пальто, как пишет Софья Андреевна в мемуарах, назывались по-русски «патриотическими». Они представляли как бы жертву этого полунемецкого семейства на алтарь отечества.

Софья Андреевна и Татьяна Андреевна о Берсах в своих воспоминаниях пишут с уважением, но кратко и невнятно.

Длинно и подробно описывается род матери: о нем Т. Кузминская написала в книге «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» две главы, полных упоминаний императоров и графов. Глава вторая так и называется: «Прадед мой по матери гр. П. В. Завадовский».

Начало главы гласит: «Мать моя принадлежала к древнему дворянскому роду. Она была дочь Александра Михайловича Исленьева и княгини Козловской, рожденной графини Завадовской». Княгиня Козловская ушла от своего мужа к Исленьеву.

Дети были признаны незаконными. История семьи в какой-то мере легла в первую редакцию повести «Детство». Ложное положение давно прошло. Любовь Александровна в 1842 году вышла замуж за А. Е. Берса, за двадцать лет сложилась семья и могла улечься горечь предполагаемого неравенства. Но знатная родня помнилась, и дочери считали себя униженными.

Впоследствии Сергей Львович Толстой писал о своей матери: «Раннее замужество моей матери и ее полуаристократичность имели влияние на последующую жизнь нашей семьи». Сергей Львович в «Очерках былого» рассказывает, что первоначально Софья Андреевна вполне подчинялась воле своего мужа, но когда он изменил свое мировоззрение, то не могла пойти за ним. «А вследствие своего полузнатного происхождения она особенно ценила так называемое великосветское общество...»

Лев Николаевич по давним его связям с домом Исленьевых — соседей его отца по имению — удовлетворял самолюбию семьи.

Культивировалась даже легенда, что мальчиком Толстой был влюблен в мать Софьи Андреевны и ревновал тогда десятилетнюю девочку.

Н. Н. Гусев очень убедительно доказал, что все это легенда, но Берсы и Толстые были знакомы домами в Москве, приветливы и внимательны и хорошо принимали знатного знакомого.

Барышни Берс были мобилизованы своим возрастом, они считались «на выданье», как тогда говорили.

Сватался за Соню сын аптекаря, что вызвало ее аристократическое негодование. Способная девушка сама уже писала, и ей посвящали стихи. Ее репетитор, Василий Иванович Богданов, создавший известную песню «Дубинушка», начинающуюся словами: «Много песен слыхал я в родной стороне...», писал Софье Андреевне любовные стихотворения и поцеловал ей руку. Руку она вытерла платком и пожаловалась на студента матери.

У Сони был жених Митрофан Андреевич Поливанов — двадцатилетний мальчик-сирота хорошей фамилии. Молодые люди считались помолвленными, но свадьба была отложена из-за крайней молодости жениха.

Для Толстого предназначалась старшая дочь — Лиза. Умная, хорошо учившаяся барышня, которая уже напечатала в журнале «Ясная Поляна» два очерка: «Магомет» и «Лютер».

Лиза впоследствии была несчастна в браке и романах и писала по финансовым вопросам.

Вся семья напряженно и благосклонно относилась к приходам Толстого.

Фамилия Берсов в дневнике повторяется из страницы в страницу. 6 мая записано: «Забыл день у Берсов приятный, но на Лизе *не смею жениться*». 22 сентября: «Лиза Берс искушает меня; но это не будет — один расчет недостаточен, а чувства нет».

Лиза очень образованна. Между сестрами идет

соревнование. Соня сообщает своей младшей сестре Тане, что она пишет повесть.

«Какова? — думала я. — Она ведь всегда хорошо сочинения писала. И я очень заинтересовалась ее повестью».

Для того чтобы понять повесть, нужно знать, что невестой Толстого считали Лизу. Повесть носит явно семейный характер: в ней два героя — Дублицкий и Смирнов. Дублицкий — средних лет. Таня записывает — «непривлекательной наружности», но Толстой видал сам эту повесть, в ней было написано: «необыкновенно непривлекательной наружности». Он энергичен, умен, «с переменчивым взглядом на жизнь».

Смирнов — молодой, лет двадцати трех, с высокими идеалами, положительного, спокойного характера, доверчивый и делающий карьеру.

Еще героиня Наташа — тоненькая и резвая девушка. Дублицкий увлекается не Зинаидой, а Еленой — молодой девушкой с большими черными глазами — это сама Соня. Соня великодушна. Она сравнивает Дублицкого со Смирновым — ей больше нравится Смирнов. В то же время она увлекается Дублицким и в результате сложных переживаний чуть не уходит в монастырь, как в романе Тургенева «Дворянское гнездо» (роман вышел в 1859 году).

Повесть кончалась тем, что Елена устраивала брак Зинаиды с Дублицким, а через некоторое время выходила замуж за Смирнова.

Т. А. Кузминская, у которой я беру изложение повести, заканчивает главу «Повесть Сони» словами: «Жалко, что сестра сожгла свою повесть, потому что в ней ярко выступал как бы зародыш семьи Ростовых — матери, Веры и Наташи».

Таня и здесь преувеличивала.

Дело шло о том, чтобы все волки были сыты и овцы пристроены, но в порядке очереди. Так решали родители. Но Лев Николаевич влюбился в Соню. Он волновался и в 1862 году 23 августа записывает в дневнике бегло, несвязно: «Я боюсь себя, что ежели и это — желание любви, а не любовь. Я стараюсь глядеть только на ее слабые стороны, и все-таки оно. Ребенок! Похоже».

Соня передала Толстому свою повесть.

Запись 26 августа: «Пошел к Берсам (в Покровское. — *В. Ш.*) пешком, покойно, уютно. Девичий хохот. Соня не хороша, вульгарна была, но занимает. Дала прочесть повесть. Что за энергия правды и простоты. Ее мучает неясность. Все я читал без замирания, без признака ревности или зависти, но «необычайно непривлекательной наружности» и «переменчивость суждений» задело славно. Я успокоился. Все это не про меня. Труд и только удовлетворение потребностей».

Переходим к записям 28 августа: «Мне 34 года. Встал с привычкой грусти .. Поработал, написал напрасно буквами Соне».

Тут важно слово «напрасно».

Дальше подробности о том, как был проведен день и вечер. Запись кончается словами. «Скверная рожа, не думай о браке, твое призвание другое, и дано за то много».

Долгий разговор, который ведут одними буквами люди, влюбленные друг в друга, показан в «Анне Карениной».

Софья Андреевна Толстая в своих дневниках рассказывает непохожую сцену:

«Уже я была в дверях, когда Лев Николаевич меня окликнул. — Софья Андреевна, подождите немного! — А что? — Вот прочтите, что я вам напишу. — Хорошо, — согласилась я. — Но я буду писать только начальными буквами, а вы должны догадаться, какие это слова. — Как же это? Да это невозможно! Ну, пишите. — Лев Николаевич очистил щеточкой все карточные записи, взял мелок и начал писать. Мы оба были очень серьезны, но сильно взволнованы. Я следила за его большой, красной рукой и чувствовала, что все мои лучшие силы и способности, все мое внимание были энергично сосредоточены на этом мелке, на руке, державшей его. Мы оба молчали. «В. м. и п с. с ж. н. м. м. с и н. с», — написал Лев Николаевич. «Ваша молодость и по-

требность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья», — прочла я. Сердце мое забилось так сильно, в висках что-то стучало, лицо горело, — я была вне времени, вне сознания всего земного: мне казалось, что я все могла, все понимала, обнимала все необъятное в эту минуту. — Ну, еще, — сказал Лев Николаевич и начал писать. «В. в. с. с. л. в. н. м. и. в. с. Л. З. м. в. с. в с. Т.». — «В вашей семье существует ложный взгляд на меня и вашу сестру Лизу. Защитите меня вы с вашей сестрой Танечкой», — быстро и без запинки читала я по начальным буквам. Лев Николаевич даже не был удивлен».

(Действие происходит в Ивицах — имении Исленьева в Тульской губернии, в пятидесяти верстах от Ясной Поляны.)

Все разъезжаются.

Об этом же пишет Т. Кузминская, указывая, что «разговор» происходил в Ивицах при ней.

Если просмотреть письмо (неотправленное) к Софье Андреевне от 9 сентября 1862 года, то получим другую картину. Толстой действительно писал буквы, но они не были поняты.

В письме, написанном 9 сентября, то есть через одиннадцать дней после «писания букв», буквы разгадываются как не понятые: сперва рассказывается, что Толстой не влюблен в сестру Лизу, потом говорится о повести Сони. Дальше говорится: «Второе разъяснение — слова, написанные в Ивицах, след. или вроде того. Смысл тот. Я бываю мрачен, глядя именно на вас, потому что ваша молодость напоминает мне слишком живо мою старость и невозможность счастья. Это было написано тоже до чтения повести, которая и вследствие тех поэтических *отличных* требований молодости, и вследствие узнания себя в Дублицком совершенно отрезвила меня, так что я вспоминаю повесть и вас не только без сожаления, или прошедшей зависти к П., или будущей зависти к тому, кого вы полюбите, но радостно, спокойно, как смотришь на детей, которых любишь. Одно грустно, что я вообще напутал и сам запутался у вас в семействе и что потому мне надо лишить себя лучшего наслаждения, которое я давно не испытывал, — бывать у вас».

Письмо кончается неожиданно: «Я требую, чтоб меня любили так же, как я могу любить. Но это невозможно. *Л. Толстой*».

Заключение к письму: «Я перестану ездить к вам, защитите меня вы с Танечкой».

Но Толстой продолжал ходить к Берсам, несмотря на письмо и непонятые буквы.

Соня Берс видала то, что писал Толстой 28 августа, пыталась понять, но не была охвачена любовным всепониманием. Лев Николаевич из этой сцены построил другую сцену любовного вдохновенья, когда люди понимают друг друга на лету. Сцена была описана в «Анне Карениной» «Записи прошлого» Софьи Андреевны написаны в 1893 году по «Анне Карениной» — случай, который был с ней, понят по толстовскому дневнику и по роману.

В чем же разница между записями Толстого и воспоминаниями Софьи Андреевны и Татьяны Берс?

Записи Л. Толстого относятся к 1862 году. Воспоминания Софьи Андреевны о том же, напечатанные в 1-м томе «Дневников Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891 гг.» (1928 г.) под названием «Женитьба Л. Н. Толстого», написаны в 1912 году и представляют собой вторую редакцию ее дневниковой записи от 8 февраля 1893 года.

Это относится и к записи Т. Кузминской из книги «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне». Книга эта написана в 1904—1916 годах. Основана, по словам Кузминской, на дневниках, которые были сожжены так же, как некоторые письма.

Дневники Софьи Андреевны, так же как и мемуары Татьяны Андреевны, двойственны: Татьяна Берс пишет то, что она узнала Татьяной Кузминской. Впоследствии я буду говорить о том, что Лев Николаевич задумал Наташу Ростову уже в «Декабристах», где вместе со стариком декабристом приезжает его жена — уже старая женщина: это та Наташа, которую мы знаем по эпилогу «Войны и мира». Неко-

торые черты Татьяны Берс нанесены на молодую Наташу Ростову; на нее, как на натуру для иллюстраций к роману, Толстой указал художнику Башилову. Но это не значит, что она была основой характера Наташи и что Толстой уже тогда, когда он еще не был связан с семьей Берсов, угадал шестидесятилетнюю Наташу, увидав в девочке жену декабриста.

Дневники, написанные по дневникам, не документ для раскрытия жизни. Надо помнить об обоюдном подсматривании.

Лев Николаевич был влюблен в Соню Берс и в жену свою Софью Андреевну. Почти через год, 18 июня 1863 года, Толстой пишет в дневнике: «Должен приписать, для нее — она будет читать — для нее я пишу не то, что не правда, но выбирая из многого то, что для себя одного я не стал бы писать».

Между слитной проверенной правдой искусства и частной правдой, сказанной близкому человеку, есть различие. Когда жизнь человека уже как бы отобразилась в искусстве, а человек продолжает жить и ревнует к изображению и хочет быть таким хорошим и глубоким, как о нем написали, то он повторяет в своих записях и движениях то, что сказано в искусстве.

Но я отвлекся от темы. Вернемся в кремлевскую квартиру Берсов. Три дочери разбились на две партии: Соня и Таня против Лизы. Мать не спорит с Толстым и как бы согласна на его выбор. Папа, Андрей Евстафьевич, прячется в свой кабинет, как будто Толстой что-то украл. Все еще не выяснено.

«Лиза как будто спокойно владеет мной. Боже мой! как бы она была красиво несчастлива, ежели бы была моей женой». Это пишет Толстой.

17 сентября все объявлено: жених, шампанское. Лиза целует Толстого. На следующий день обед, объяснение с отцом, Берсы говорят с Поливановым.

Перед свадьбой Лев Николаевич показал свои дневники молодой Соне Берс. Со стороны Толстого это было почти жестоко. Соня Берс, уже объявленная невеста, не могла отказать своему жениху-графу. Это было преждевременно, потому что девочка

не могла понять тогда дневников, хотя хорошо и надолго запомнила их.

Начались попреки мужа его прошлым, появились обоснования ревности. Толстой наложил на свою невесту слишком большую тяжесть.

Подготовка к свадьбе не прервалась. Дом Берсов занимает позицию выжидательную: правда, старшая дочь обойдена, но все же одна из дочерей выдана. Соня переживает сомнение; она уже привыкла считать себя невестой Поливанова, но отвыкает довольно быстро. Старая любовь остается только темой для дневниковых записей в дни, когда Софья Андреевна очень недовольна своим мужем.

Что касается доктора Андрея Евстафьевича Берса, то он выразил свое недовольство тем, что Толстой женился не на Лизе, способом очень реальным: не дал Соне приданого.

Мать с трудом достала триста рублей, которые Софье Андреевне пришлось потратить на подарки в Ясной Поляне в первые же дни замужества.

Свадьба по настоянию Толстого произошла чрезвычайно быстро: 24 сентября, то есть через неделю после помолвки. Плакала мать за вырезной перегородкой, которая отделяла ее уголок от того небольшого помещения, которое Берсы звали гостиной.

Толстой записал о себе: «В день свадьбы страх, недоверие и желание бегства. Торжество обряда».

Софья Андреевна записала: «Отец был нездоров. Я пошла к нему в кабинет проститься, и он казался смягченным и растроганным».

Церковь была роскошно освещена; пели придворные певчие. Гостей в кремлевской квартире собралось немного. Привели шестерку почтовых лошадей. Впрягли их в новенький дормез, только что купленный Толстым. Деньги на это были получены от издателя Стелловского, скупающего по дешевке право на издание у хороших писателей, вгоняющего текст убористо в двухколонные большие страницы.

На переднюю пару коней сел форейтор.

Софья Андреевна рассказывает: «Осенний дождь лил не переставая, в лужах отражались тусклые

фонари улиц и только что зажженные фонари кареты».

Лев Николаевич захлопнул дверцу.

«Лошади нетерпеливо стучали копытами, а передние с форейтором тянули вперед... Зашлепали лошади по лужам, и мы поехали. Забившись в уголок, вся разбитая от усталости и горя, я, не переставая, плакала. Лев Николаевич казался очень удивленным и даже недоумевающе недовольным».

Миновали Каменный мост.

Все реже фонари. Ниже дома.

Когда выехали из Москвы, стало темно, тихо и широко.

Отсутствие за городом фонарей по-новому поразило Софью Андреевну.

Темнели в дожде еловые леса.

Софья Андреевна плакала.

Шестерка лошадей, качая карету, тянула в глубь незнакомой неуютной тьмы.

До станции Бирюлево новобрачные почти не разговаривали.

Толстой записал:

«Она заплаканная. В карете. Она все знает и просто. В Бирюлеве».

Бирюлево — это почтовая станция по дороге в Серпухов.

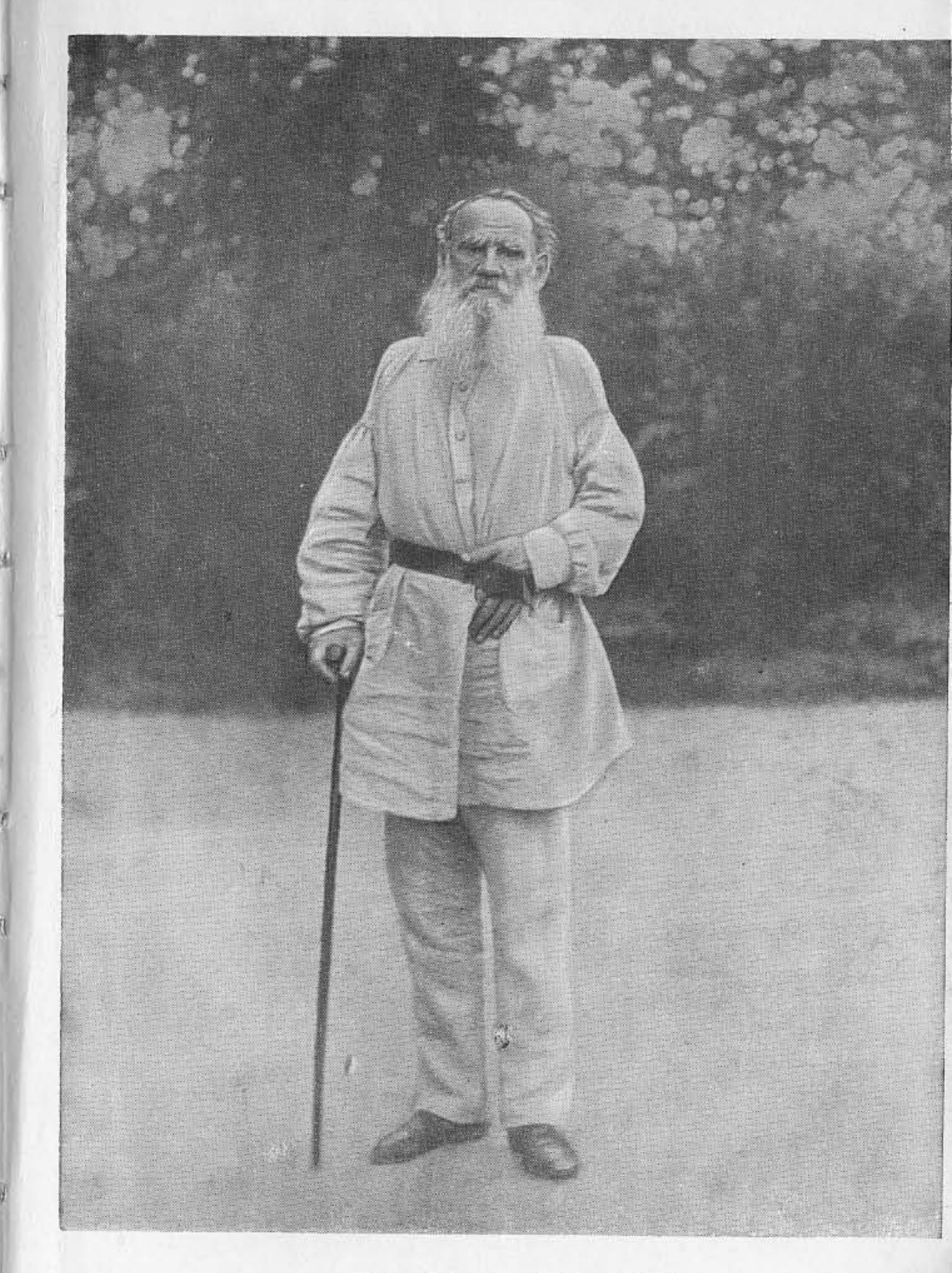
Молодой титулованной чете отвели большие, с мебелью, обитой красным трипом, царские комнаты; принесли чай. Молодую графиню это немножко утешало, но она ехала в чужой мир, в деревню, а не на дачу. Ясную Поляну она видала, но не представляла.

На второй день к вечеру за запруженной, блистающей, как зеркало ночью, незнакомой речкой показался сад с бедной, старой высокой беседкой среди облетевших деревьев.

В сумерках белели башенки.

У отворенных дверей дома стояли люди с фонарями. У фонарей желтый слабый свет. Редко желтели пятнами окна дома, потерявшегося среди белоствольных берез и толстых шершавых вязов.

На пороге стояли еще молодой, принарядившийся,



В Ясной Поляне. 1896 или 1897 гг.



На коньках в саду хамовнического дома. 1898 г.

бородатый и элегантный Сергей Николаевич с хлебом-солью и Татьяна Александровна с образом знаменья божьей матери в темно-золотой раме.

Софья Андреевна подобрала обеими руками юбку, встала на колени перед образом, поцеловала его. Желтые глазастые красивые собаки тихо смотрели на нового человека в доме.

Огромный сад пожелтел, чапыжник красный, по аллеям лежали коврами листья и не шуршали: было сыро.

Дом вытоплен жарко, окна открыты: так любил Толстой.

Лев Николаевич записывает: «Ночь, тяжелый сон. Не она». 25 сентября: «В Ясной. Утро, кофе — неловко. Студенты озадачены. Гулял с ней и с Сережей. Обед. Она слишком рассмелилась. После обеда спал, она писала. Неимоверное счастье. И опять она пишет подле меня».

26, 27, 28, 29, 30 сентября: «Ее люблю все так же, ежели не больше. Работать не могу. Нынче была *сцена*. Мне грустно было, что у нас все, как у других».

Софья Андреевна прожила в Ясной Поляне всю свою жизнь. Она была женщиной, которая здесь свила гнездо и в нем охраняла труд Толстого.

Он выбрал ту самую судьбу, которая ему была нужна, и та женщина, которая была ему нужна, была Софья Андреевна Берс.

Хорошо, что молодая хозяйка только к старости поняла смысл записи: «Не она».

Толстой говорил, что надо не изменять жизнь, а так себя размягчить, измять, чтобы приладиться к жизни: он искал компромисса и не был к нему способен.

Софья Андреевна, став женой гения, сумела построить для него обыкновенную жизнь, но не смогла создать для себя обыкновенного счастья.

Лев Николаевич создал величайшие произведения и в то же время был недоволен собой за то, что он не столкнулся с жизнью, не переделал ее.

Он пока покорился жизни, как крестьянин покоряется неудаче — неурожаю, приспосабливаясь,

урезывая себя. Истина настигла его через двадцать лет, в эпоху величайших успехов. Он понял, что он живет неправильно. Переделать жизнь было уже поздно; ему показалось, что всякие переделки надо начинать со своей души, со своей биографии, но биография-то и связала его огромной семьей.

«ДЬЯВОЛ»

Н. К. Гудзий в статье «История писания и печатания повести «Дьявол» установил, что «в конце 1880-х и в начале 1890-х гг. Толстой усиленно был занят работами над художественными произведениями и отчасти статьями на тему половой любви».

К этому времени относится «Крейцерова соната» и послесловие к ней, начало работы над «Коневской повестью» — «Воскресением», «Отец Сергий», статья «Об отношениях между полами» и «История Фредерикса» (1889 год).

Надо различать событийный ряд, который передается в художественном произведении, и авторское отношение к миру, служащее основой художественного произведения и подчиняющее приемами стиля и композиции событийный ряд.

Пишу об этом в биографической книге, нарушая хронологическую последовательность, потому что читателю должно быть интересно, как проходили первые годы семейной жизни Толстого, но Лев Николаевич выразил это художественно не столько в «Войне и мире» и «Анне Карениной», сколько в поздней повести.

Прошлое в искусстве существует иначе, чем другие явления человеческого сознания. У археологов есть способ определения эпох, в которых жил древний человек, по цветочной пыльце, которая остается в торфяниках. Она не разлагается, она — память об исчезнувших народах, деревьях, о сменяющихся лесах, о наступлении степи.

Человеческая боль, ошибки, достижения как бы

бессмертны, если они сохраняются в строках рукописи.

Фредерикс, именем которого первоначально названа повесть, существовал реально, жил в Туле, служил судебным следователем, сошелся с крестьянкой Степанидой Муницыной, муж которой работал извозчиком в Туле, потом женился на девушке из интеллигентной семьи, которая мучала мужа ревностью к Степаниде. Через три месяца после женитьбы Николай Фредерикс убил Степаниду во время молотьбы выстрелом из револьвера в живот. Его судили, он был объявлен ненормальным, но вскоре он недалеко от Тулы был найден на рельсах раздавленный поездом.

Фредерикс был близорук, под Тулой в те дни стоял мороз, Николай Николаевич был закутан в башлык, поэтому решили, что Н. Н. Фредерикс не видел и не слышал приближающегося поезда.

Такова событийная цепь, которая легла в основание вещи и как будто целиком выполнена в ней.

В повести герой убивает Степаниду во время молотьбы; в другом варианте он кончает с собой.

Герой носит фамилию Иртенев, то есть назван почти так, как герой «Детства»

Иртеньев, Оленин, Нехлюдов, Левин, Иртенев — все это имена, связанные с биографией Толстого; имя Иртенева как будто замыкает эту цепь.

Возбуждает удивление, что Лев Николаевич рукопись «Дьявола» дома не держал; она была передана Черткову и сохранялась в глубокой тайне. У Толстого первоначально дома не осталось ничего, но и Чертков рукопись держал не у себя, а у своей матери в Петербурге.

При переписке рукописи были соблюдены строжайшие правила конспирации. Лев Николаевич получил копию и держал ее у себя в кабинете под клеенчатой обшивкой старого кресла, в котором содержались и другие его тайны от дома.

Весной 1909 года Софья Андреевна нашла рукопись, и в результате произошла тяжелая сцена; Толстой записывает про Софью Андреевну: «... в ней под-

нялись старые дрожжи, и мне было очень тяжело. Ушел в сад. Начал писать письмо ей то, что отдать после смерти, но не дописал, бросил...»

Когда Толстой был молод, то ссоры с женой он замазывал, как он сам говорил, поцелуями. Это непрочная починка. Стариком он заплакал и жена заплакала. «И обоим стало хорошо».

Но рукопись напечатана была только после смерти Толстого. В последней редакции Толстой дал повести название «Дьявол».

Из-за случая, происшедшего с Николаем Николаевичем Фредериксом, Софья Андреевна не стала бы волноваться. Она волновалась о другом — о той пыли отцветшего цветка, который сохранился в рукописи. В рукописи сохранилась память о любви к одной женщине и о разочаровании в семейной жизни. Вот что огорчило Софью Андреевну через сорок шесть лет.

Я говорил уже о любви Толстого к Аксинье к женщине, от которой он оторвался с таким трудом. По повести «Тихон и Маланья» мы знаем, как она одевалась, как ходила по деревне, как была всех цветастей, всех стройнее, всех желаннее.

Лев Николаевич любил ее так, как герой «Дьявола» Иртенев любил Степаниду: «Я думал, что я ее взял, а она взяла меня, взяла и не пустила... Я обманывал себя, когда женился... С тех пор, как я сошелся с ней, я испытал новое чувство, настоящее чувство мужа».

Мы знаем эти слова, они возвращают нас к дневникам Толстого, к записи 26 мая 1860 года: «Уже не чувство оленя, а мужа к жене».

Софья Андреевна после своего замужества знала о любви Толстого. Когда очень молодая, красивая женщина, Софья Андреевна, приехала в запущенное имение, то она приказала мыть полы. Из деревни пришли бабы, какие-то женщины показали молодой хозяйке на моющую пол Аксинью и сказали, вероятно, со зла, что это «сударушка хозяина». Софья Андреевна с горечью пишет об этом в своей восьмитомной рукописи — «Моя жизнь».

Она думала об этом все время. Запись 16 декабря 1862 года, часть которой я приводил выше, она заканчивала словами: «Я просто как сумасшедшая. Еду кататься. Могу ее сейчас же увидать. Так вот как он любил ее. Хоть бы сжечь журнал его и все его прошедшее».

13 июня 1909 года записано в записной книжке: «Посмотрел на босые ноги, вспомнил Аксинью, то, что она жива, и, говорят, Ермил мой сын, и я не прошу у нее прощенья, не покаялся, не каюсь каждый час и смею осуждать других».

Лев Николаевич ошибался. Ермил — это был муж Аксиньи, а сын назывался Тимофей. И сын, очень похожий на Льва Николаевича, служил на усадьбе кучером, и дети Льва Николаевича по дворянской простоте относились к нему как к брату.

Лев Николаевич записал уже не точно — он стар; и в то же время помнит конкретно: видит босоногую, любимую женщину, глядя на свои босые ноги.

Тот случай, который он хотел забыть, замолить как-то, оказался происшедшим навечно.

Рассказывал про свою юность Толстой по-разному.

Когда Бирюков привел в биографии Толстого выдержку из книги Н. П. Загоскина «Граф Л. Н. Толстой и его студенческие годы», что «как тетушка Полина Ильинична, так и окружавшие его систематически портили юношу, ломали хорошую от рождения натуру, развращали и его ум, и его душу, и его сердце» и т. д., то Толстой на полях рукописи написал: «Напротив, очень благодарен судьбе за то, что первую молодость провел в среде, где можно было смолоду быть молодым, не затрагивая непосильных вопросов и живя хоть и праздной, роскошной, но не злой жизнью».

Н. Н. Гусев в книге «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год» пишет: «Это замечание Толстого было вызвано его желанием высказать свое несочувствие участию студенчества более поздних лет в политической борьбе

и нисколько не выражает его действительного мнения о Юшковых и окружавшем их обществе».

Замечания Н. Гусева очень категоричны. Очевидно, он считает, что действительное мнение о самих Юшковых у Толстого — протест, но в примечаниях на предыдущей странице Толстой пишет: «Никакого протеста не чувствовал, а очень любил веселиться в казанском, всегда очень хорошем обществе». Слово «веселиться» написано вместо зачеркнутого слова «танцевать».

К студенчеству же, участвующему в политической борьбе, Толстой относился скорей сочувственно.

В начале 1862 года Лев Николаевич в гостинице, расположенной в Москве на Лубянке, разговаривал с группой студентов, которые принимали участие в волнениях, начавшихся из-за вводившихся матрикулов. Волнения перешли на политическую почву. Правда, Лев Николаевич указал студентам на бесплодность этих волнений, но он пригласил их быть учителями в его школе.

Этих студентов Толстой в письмах противопоставлял семинаристам и считал их лучшими учителями.

Во всяком случае, об особом желании Толстого высказывать свое неодобрение революционному студенчеству ни в шестидесятые годы, ни в более позднее время (см. воспоминания Сереброва «Время и люди», гл. «Ясная Поляна») мы говорить так категорически не можем.

Не надо думать, что Лев Николаевич вычеркивал свои воспоминания или даже целиком их отвергал. Он жил своими воспоминаниями, они были костями и мясом художественных построений, они возникали все снова и снова, они спорили с Толстым, и он спорил за них со своими последователями.

Лев Николаевич не забыл своего увлечения, которое проще назвать любовью, и это Софья Андреевна хорошо понимала; она видала это во сне и во сне разрывала на куски чужого ребенка: внутри оказывалось не мясо, а вата; она радовалась тому, что истинное преступление было только во сне, и огорчалась тем, что месть не совершена.

Но и это не так изранило сердце Софьи Андреевны, как то, что Лев Николаевич рассказал в «Дьяволе» историю своей женитьбы совсем иначе, чем в «Анне Карениной»: дал беспощадный анализ того, что произошло и обнаружило свою ложность.

«Дьявол» повествует о лицемерии брака.

Лев Николаевич начинает повествование, показывая молодого человека, который налаживает свое хозяйство. Он сходится с женщиной, женой одного крестьянина, работающего в городе, встречи с женщиной происходят в караулке и в оранжерее — в такой оранжерее, какие бывали в крупных имениях, а в Ясной Поляне такая оранжерея осталась от большого дома. Евгений — хороший человек, добрый, хозяйственный и близорукий, как близорук Толстой; он не замечает, что в Степаниду он влюблен. Между тем ему надо жениться: «Почему Евгений выбрал Лизу Анненскую, нельзя объяснить, как никогда нельзя объяснить, почему мужчина выбирает ту, а не другую женщину».

Нельзя объяснить и почему Лиза влюбилась в Евгения, а Евгению нравились глаза Лизы. «Смысл же этих глаз был такой. Еще с института, с 15 лет, Лиза постоянно влюблялась во всех привлекательных мужчин и была оживлена и счастлива только тогда, когда была влюблена... Эта-то ее влюбленность и давала ее глазам то особенное выражение, которое так пленило Евгения.

В эту же зиму в одно и то же время она уже была влюблена в двух молодых людей, и краснела и волновалась, не только когда они входили в комнату, но когда произносили их имя. Но потом, когда ее мать намекнула ей, что Иртенев, кажется, имеет серьезные виды, влюбление ее в Иртенева усилилось так, что она стала почти равнодушной к двум прежним...»

Роман развивался дальше так: когда Иртенев сделал предложение, «она и гордилась им, и умилялась перед ним и перед собой и своей любовью, и вся млела и таяла от любви к нему».

Степаниду Иртенев любил другой любовью; он искал ее следов на траве. Это и была любовь.

Как и герой повести «Дьявол», Лев Николаевич, хотя он и говорил в школе ученикам и учителям, что «жениться на барышне — значит навязать на себя весь яд цивилизации», женился на «барышне» Софье Андреевне, либо женился бы на другой женщине того же круга, и несчастье его и несчастье ее было предопределено и не могло быть исправлено никакими усилиями великого человека.

Он хотел приладиться. Он был молод, и она была молода. Прилаживались на недели и годы, но он не мог врасти в жизнь, которую перерос. С «дьяволом» нельзя было справиться.

Память о прошлом осталась раскаяниями, снами.

Но, кроме того, она осталась как необычность пути, как сложный, горький, извилистый путь к крестьянству, к народу, хотя и понятому в его вчерашнем и тогдашнем, а не завтрашнем дне.

ИДИЛЛИЯ

«Яснополянской идиллией» называл Бирюков жизнь молодых Толстых в Ясной Поляне, правда упоминая о минутах разочарования.

Не нужно слишком верить записям, так как мы знаем, что Софья Андреевна, а может быть, и Лев Николаевич делали записи главным образом тогда, когда они ссорились и страдали.

Вообще пользоваться воспоминаниями и дневниками надо очень осторожно, если хочешь узнать правду, а не решать споры, давно погашенные смертями.

Дневники Толстого в Юбилейном издании его сочинений вместе с комментариями занимают тринадцать томов. От них нельзя отказываться, но, используя дневники, надо помнить книги. Книги — цель писателя, а дневники — это его признание. Прежде всего очень часто дневники пишут для прочтения, и это отметил Пушкин, говоря про предельно откровенные дневники Руссо.

Дневники Толстого читались его женой, и он читал ее дневники: это своеобразная беседа двух не понимающих друг друга людей. Эта беседа приводила их в отчаяние. Впоследствии, 26 марта 1865 года, Софья Андреевна записывает в своих дневниках: «Левочка поэтически любит жить и наслаждаться один; может быть, оттого, что в нем поэзия слишком хороша и слишком ее много и он дорожит ею. Это и меня приучило жить своей отдельной, маленькой жизней души. Он что-то пишет, я слышу, верно тоже дневник. Я его уже почти не читаю. Как только читаешь друг у друга, так делаешься неискренен».

Значит, и дневники Толстого, особенно после его женитьбы, — это разговор не наедине.

Строение в Ясной Поляне было не бедное, но запущенное и неудобное. Софья Андреевна только впоследствии увеличила флигель, оставшийся от большого дома, лишив постройку симметрии, но придав ей некоторое удобство.

Мы обычно преувеличиваем бытовую культуру русского дворянства. Дворяне поселились в своих усадьбах, освободившись от военной службы при Екатерине II, а начали бросать свои усадьбы в 1860-х гг.

Не нужно представлять себе обстановку дворянской усадьбы по нашим музеям, где сохранились наиболее художественно ценные вещи из богатых усадеб.

Дом Толстого был домом простым, со сборной мебелью и с потемневшими зеркалами, случайно оставшимися от отцовского дома.

Толстой себя все время упрекал за роскошь в своей жизни, но он исходил почти бессознательно из крестьянского представления об уровне жизни. Дом его был сытый, очень многолюдный, парк был очень просторен, но сам дом был прост и паркетные полы, например, были только в двух комнатах. По обстановке, в нашем теперешнем представлении, Ясная Поляна — очень неустроенный дом.

Дом был теплый, во втором этаже довольно высокие потолки, но все неудобное, проходное, суровое.

Лев Николаевич был сам человеком суровых привычек. Он спал, подкладывая под голову кожаную подушку. Софья Андреевна привезла в дом простыни,

подушки и даже завела для дворовых определенные места для сна — до этого они спали где попало, постелив на пол войлок.

Дом был суров, а сад вокруг дома прекрасный. Лев Николаевич постоянно ходил, ездил, и молодую жену он сразу повел на прогулку километров на пятнадцать, а потом повез к брату на телеге, хотя карета была, но просто ему не пришло в голову, что из деревни в деревню можно ехать в карете.

К тому же для кареты не было лошадей и упряжи, хоть сколько-нибудь ей соответствующей.

Но дело, конечно, не в этом. Лев Николаевич женился нерешительно и восторженно. В Ясной Поляне существовала легенда, записанная учителем Петерсоном, будто бы Лев Николаевич назначил уже свадьбу с соседкой Арсеньевой и убежал из-под венца, вернее не приехал на собственную свадьбу.

Вряд ли это было так, но нерешительности и расспросов невесты, за что она его, Льва Николаевича, любит, было много. На свадьбу Лев Николаевич опоздал к венцу, хотя свадьбу торопил. Ему не приготовили к свадьбе крахмальной рубашки. Впоследствии он описал такой случай в «Анне Карениной».

В небольшом, плохо освещенном доме Софья Андреевна приучалась к одиночеству хозяйства и обучалась ревности.

Она ревновала, скучала, училась бренчать на фортепьяно, читать, солить огурцы.

Лев Николаевич читал другие книги, собирался что-то писать, колебался, когда казалось, что надо писать поскорее, а не раздумывать. Лев Николаевич говорил о народе, разговаривал с мальчишками; он был свой в этой деревне. Для него солнце и луна вполне заменяли в деревне городские фонари.

Софья Андреевна написала 23 ноября 1862 года в настоящем своем, не придуманном, не после написанном дневнике следующие слова: «Он мне гадок с своим народом. Я чувствую, что или я, т. е. я, пока представительница семьи, или народ с горячей любовью к нему Л. Это эгоизм. Пускай. Я для него живу, им живу, хочу того же, а то мне тесно и душно здесь, и я сегодня убежала, потому что мне все и всё стало гадко. И тетенька, и студенты, и Н. П., и стены, и жизнь, и я чуть не хохотала от радости, когда убежала одна тихонько из дому. Л. мне не был гадок, но я вдруг почувствовала, что он и я по разным сторонам, т. е. что его народ не может меня занимать *всю,* как его, а что его не может занимать *всего* я, как занимает меня он. Очень просто. А если я его не занимаю, если я кукла, если я только *жена,* а не *человек,* так я жить так не могу и не хочу. Конечно, я бездельная, да я не по природе такая, а еще не знаю, главное, не убедилась, в чем и где дело».

Слово «кукла», очевидно, было произнесено в яснополянском доме много раз, может быть много сот раз. В следующем году Лев Николаевич написал 23 марта Татьяне Берс письмо, что его жена, Танина сестра, Соня, обратилась в фарфоровую куклу: ноги у Сони фарфоровые и стоят на фарфоровой дощечке, выкрашенной зеленой краской, рубашка на Соне тоже фарфоровая и говорит Соня, не раскрывая рта. Все похожее, все фарфоровое. Она фарфоровая куколка с комода, и она маленькая, крохотная, она может сидеть у Льва Николаевича за галстуком. Лев Николаевич пишет дальше в письме: «Вчера она осталась одна. Я вошел в комнату и увидал, что Дора (собачка) затащила ее в угол, играет с ней и чуть не разбила ее. Я высек Дору и положил Соню в жилетный карман и унес в кабинет. Теперь, впрочем, я заказал и нынче мне привезли из Тулы деревянную коробочку с застежкой, обитую снаружи сафьяном, а внутри малиновым бархатом, с сделанным для нее местом, так что она ровно локтями, головой и спиной укладывается в него и не может уже разбиться. Сверху я еще прикрываю замшей».

Старый доктор Берс, которому показали письмо, удивился и вспомнил Эрнеста Гофмана с его куклами, с его людьми, превращенными в куклы, и Овидия Назона с разными рассказами о превращениях.

Я думаю, что на след этого происшествия может нас навести собачка Дора. Лемюэль Гулливер, хи-

ругг, ставший потом капитаном, после путешествия в Лилипутию попал к добрым великанам на остров Броодингнег, на этом острове он дрался с пчелами, спотыкался об улиток. Однажды «небольшой белый сеттер, принадлежавший одному из садовников, забравшись случайно в сад, пробегал недалеко от места, где я (Гулливер. — *В. Ш.*) лежал. Почуяв меня, собака устремилась ко мне, схватила меня в пасть и принесла к хозяину, подле которого осторожно положила меня на землю, виляя хвостом».

Кукла, которую уносит собачка, — лилипутка, карлица в доме Толстого, карлица не только рядом с ним, но рядом с другими людьми в деревне. Муж носит жену в кармане — даже не в кармане сюртука, а в жилетном кармане. Но бедная кукла, ушедшая с городского комода, страдала, падала, разбивалась.

Толстой приписывал к письму: его лакей «Алексей говорит, что можно заклеить белилами с яичным белком».

Бедная кукла, ей было очень больно, у нее было человеческое сердце, она заглядывала в дневники Толстого. Софья Андреевна радовалась, когда муж уходил из дому, хотя она его очень любила, а Лев Николаевич записывал в дневнике 18 июня 1863 года: «Где я, тот я, которого я сам любил и знал, который выйдет иногда наружу весь и меня самого радует и пугает. Я маленький и ничтожный. И я такой с тех пор, как женился на женщине, которую люблю. Все писаное в этой книжке почти вранье — фальшь. Мысль, что она и тут читает из-за плеча, мешает и портит мою правду».

А Софья Андреевна в том же году, 31 июля, отвечает, или, вернее, восклицает сама для себя: «Сколько раз в душе он подумал: «Зачем я женился?», и сколько раз вслух сказал: «Где я такой, какой я был».

Но время лечит раны — вернее, оно их меняет на рубцы. Время дало Софье Андреевне детей и смягчило взаимопонимание мужа и жены. Не сразу, не до конца. Конец мы знаем. Лев Николаевич писал книги. Софья Андреевна дала ему покой, он стал занятым, и молодая женщина пишет: «Он холоден,

почти покоен, сильно занят, но не весело занят, а я убита и зла».

Лев Толстой пишет книгу. Жена читает мужа, ревнует. Она пишет 20 марта 1865 года: «Перед Левочкой чувствую себя, как чумная собака. Но я не мешаю ему, потому что он сам не обращает на меня внимания. Мне больно, я пропала для него. А во мне все то же старое, ревнивое, сильное чувство к нему. Я избаловалась».

Великий человек растет и уходит.

Луна вдохновения приходила и тянула Толстого вверх. Он записывает: «Нынче луна подняла меня кверху, но *как*, этого никто не знает».

Он думал, что он отдал себя Софье Андреевне, отдал всего; он говорил с укором: «Отдать все — не холостую, кутежную жизнь у Дюссо и метресок, как другие женившиеся, а всю поэзию любви, мысли и деятельности народной променять на поэзию семейного очага, эгоизма ко всему, кроме к своей семье, и на место всего получить заботы кабака, детской присыпки, варенья, с ворчаньем и без всего, что освещает семейную жизнь, без любви и семейного тихого и гордого счастья».

Но он отдал себя не за присыпку и, может быть, его особенность была в том, что он умел себя отдавать лишь всем людям — в творчестве.

Он любил комнату под сводами у окна, заделанного решеткой. Тяжелые кольца, как будто предназначенные для цепей, были вделаны в потолок. Когда-то на эти кольца вешали окорока. Комната, где он писал, — кладовая; стол низкий, у низкого стола стул с отрезанными ножками: Лев Николаевич был близорук, но не носил очков.

О своем яснополянском счастье он писал тетке Александре Андреевне: «Помните, я как-то раз вам писал, что люди ошибаются, ожидая какого-то такого счастья, при котором нет ни трудов, ни обманов, ни горя, а все идет ровно и счастливо. Я тогда ошибался. Такое счастье есть, и я в нем живу третий год. И с каждым днем оно ровнее и глубже. И материалы, из которых построено это счастье, самые не-

красивые — дети, которые (виноват) мараются и кричат, жена, которая кормит одного, водит другого и каждую минуту упрекает меня, что я не вижу, что они оба на краю гроба, и бумага и чернила, посредством которых я описываю события и чувства людей, которых никогда не было. На днях выйдет первая половина первой части романа «1805 год»».

И в тот же день Лев Николаевич написал Фету о себе, как о прикованном Прометее и плененном Самсоне.

Письмо кончается почти трубным возгласом. Толстой говорит, что он растет большим и будет еще больше: «но что дальше будет — бяда!!! Напишите, что будут говорить в знакомых вам различных местах, и, главное, как на массу. Верно, пройдет незамеченно. Я жду этого и желаю. Только б не ругали, а то ругательства расстраивают ход этой длинной сосиски, которая у нас, нелириков, так туго и густо лезет».

Он говорит о романе умышленно небрежно, потому что чувствует себя победителем, и цепи, которые его привязали к Ясной Поляне, кажутся ему теперь золотыми.

«ХОЛСТОМЕР»

Теперь дети, родившиеся в городах, и дети в колхозах и совхозах, только что научившись говорить, знают марки машин: вот это «Волга», а это «Москвич», а это новый грузовик выпуска Минского завода.

Таскают они за собой игрушечные машины, еще не умея говорить.

Но машины не рождаются у них на дворе рядом.

В те времена, когда дети Толстого играли в лошадки, лошади рождались дома, были своими, и их еще лучше знали, чем мы знаем машины.

Лев Николаевич подсчитал, что он на коне в седле просидел около семи лет; в Самарской губернии он собирался вывести новую конскую породу, облагородив степную лошадь.

Толстовские братья в письмах хвастались, что вот они уже упали с лошади: падение с лошади было признаком возмужания.

Сколько смотрел Лев Николаевич на коней во время долгих поездок на Кавказ, с Кавказа, в бесчисленных поездках в Москву!

Лошадь, телега, звон сбруи ему были знакомы так, как сейчас машина знакома тому человеку, который не только ездит на машине, но сам много раз разбирал и собирал мотор.

Это даже не надо доказывать, но надо напомнить, что все сравнения жизни человека с жизнью лошади для Толстого привычны Говоря о своих обязанностях в работе, в письме к А. А Толстой Лев Николаевич называет их своими хомутами. Литература тоже хомут. Работа в школе — хомут. Жениться он не собирается, потому что это было бы «пятым хомутом». Поэтому не надо считать тему «Холстомер» — книжной темой.

Лошади бегали тогда не только по книжным страницам, их показывали не только на арене цирка; были они не только натурой для парадных исторических памятников.

Б. М. Эйхенбаум в книге «Лев Толстой» подобрал много материала о значении конской темы в шестидесятых годах Разбору первоначальной истории создания «Холстомера» в книге посвящена целая глава, занимающая двадцать три страницы. Начинается история создания темы с записи в толстовском дневнике после окончания «Двух гусар». 31 мая 1856 года Толстой отмечает в своем дневнике: «Хочется писать историю лошади». Дальше у Эйхенбаума идет анализ: «Замысел этот возник у Толстого, вероятно, под влиянием знакомства с А. А. Стаховичем, владельцем большого конного завода в Орловской губернии и основателем Петербургского бегового общества».

М. А. Стахович, брат А. А. Стаховича, был писателем и собирался написать рассказ о знаменитом орловском рысаке, пробежавшем двести сажен в тридцать секунд в начале 1800-х годов в Москве. Этот конь родился пегим, а пегая масть не была «рубаш-

кой» орловской породы. Они должны были быть серыми в яблоках. Поэтому лошадь была выхолощена — она портила породу, несмотря на свой замечательный бег.

Стахович пишет (цитирую по Б. М. Эйхенбауму): «Судьба этой замечательной лошади дала мысль моему покойному брату написать повесть «Похождения пегого мерина», и брат мой рассказал мне ее план. как покупает Холстомера на хреновском аукционе богач московский купец (тут просторное поле для описания быта этих первых страстных охотников резвых орловских меринов, за которых плачивали они «большие тысячи»); потом переходит он к лихому гвардейцу времен императора Александра Павловича, который дарит знаменитого пегого столь же знаменитому Илье, главе цыганского хора. Возил Холстомер и цыганку Танюшу, восхищавшую своим пением А. С. Пушкина, потом попадает он к удалу молодцу-разбойничку, а под старость, уже разбитый жизнью — к сельскому попу, потом в борону мужика и умирает под табунщиком». Далее А. Стахович вспоминает: «В 1859 или 60-м году ехал я с Львом Николаевичем на почтовых из Москвы в Ясную Поляну. Дорогой рассказал я сюжет повести «Похождения пегого мерина», которую не успел дописать покойный брат, и мне показалось, что мой рассказ заинтересовал графа».

Здесь не все выходит. Стахович точно записал, что разговор Толстой вел на почтовых по дороге из Москвы в Ясную Поляну в 59-м или в 60-м году. Запись же Толстого — «хочется писать историю лошади» — относится к 56-му году.

Кроме того, есть еще воспоминания о том, как Толстой, увидавши старого мерина, рассказал Тургеневу историю этого мерина, на что Тургенев сказал смеясь: «Когда-нибудь вы, Лев Николаевич, были лошадью» Итак, тема существовала до разговора со Стаховичем. Кроме того, Стахович с его точными знаниями конских родословных не сделал бы ошибки: в первоначальном варианте Толстого лошадь называлась не Холстомер, а Хлыстомер, и поправка была

сделана позже, в 1885 году, со слов М. А. Стаховича — сына того Стаховича, с которым встречался Толстой двадцать пять лет тому назад.

Сложность вопроса состоит в том, что когда Софья Андреевна переписывала ранний вариант повести и написала подзаголовок «Опыт фантастического рода 1861 года», то Лев Николаевич вычеркнул эту нехорошо написанную фразу, заменил ее посвящением Стаховичу и сам прибавил сноску: «Сюжет этот был задуман М. А Стаховичем, автором «Ночного», и передан автору его братом А А. Стаховичем» *.

С новой работой о «Холстомере» Л. Опульской (в «Литературном наследстве», т. 69) я в общем согласен так же, как согласен в основном с работой Б. Эйхенбаума. Но хочется только сделать одну оговорку

Прежде всего повторим: сравнения и уподобления, взятые из «конской жизни», типичны для Толстого начала шестидесятых годов. Он пишет в день восемнадцатилетия Татьяне Берс письмо, в котором называет ее «своим стремянным», так как она ездила на лошади рядом с ним. Но надо подумать о том, для чего Толстому здесь понадобился образ лошади.

А. Башуцкий, на очерк которого ссылается Б. Эйхенбаум, в сборнике «Наши, списанные с натуры русскими» (1841 г.), переносил в Россию французскую традицию иллюстрированного очерка, чем и объясняется заглавие сборника: тут дважды подчеркнуто его местное русское происхождение — и темы наши, и авторы русские. История водовозной лошади — это вставная новелла, которая заняла у Бушуцкого три страницы. Условная биография коня похожа на все подобные биографии. Благородного коня продают, он предназначается на живодерню, но его продают по

* Должен прибавить вставка Софьи Андреевны с подчеркиванием 1861 года, как мне кажется, означала, что отказ Толстого от гонорара за вещи, созданные после 1881 года, к этому произведению не относится, и авторские права принадлежат семье Новый вариант «Холстомера» появился в печати в 1885 году

дешевке водовозу. Лошадь несчастна: «Ее презирают, над ней издеваются».

Все это похоже, но все это не так.

Вероятно, в 1885 году, обновляя воспоминания о рассказе дяди, молодой Стахович действительно передал Толстому лошадиную историю, но Толстому она еще раньше понадобилась для другого дела Его лошадиная история сигнализирует не, о том, что лошади и люди переживают свой блеск и свой век. В первом варианте «Холстомера», как заметила Л. Опульская, упоминаются лондонские моды. Серпуховской ходит на «каких-то чудных, в палец толщиной подошвах, очень, может, удобных для ходьбы по лондонской мостовой, но не для устеленных листьями дорог русской деревни».

Несомненно, здесь лондонские воспоминания.

Из Брюсселя в марте 1861 года Толстой писал А. Герцену, называя «Полярную звезду» превосходной книгой, и говорил, что это общее мнение.

Толстой пишет: «Вы все говорите — «полемику давайте». Какую полемику? Ваша статья об Овене, увы! слишком, слишком близка моему сердцу. Правда — quand même, что в наше время возможно только для жителя Сатурна, слетевшего на землю, или русского человека».

Что это за обитатель Сатурна? Это один из героев философской повести Вольтера «Микромегас», прилетевший с Сириуса на землю и осматривающий ее вместе с обитателем Сатурна с недоверием и неуважением, так как эти космические путешественники — великаны.

Рассматривание обычного с точки зрения необычного у Вольтера встречается неоднократно. Так французскую предреволюционную жизнь у него описывает Гурон, прозванный Наивным. Гурон храбр, добродетелен, но не понимает условности жизни мира.

Толстой идет дальше.

Русский человек, как он пишет Герцену, может оказаться в это время критиком универсальным, понимающим все, — как человек, прилетевший из космоса. Русский человек в то время — новичок на земле, первооткрыватель истории и социологии.

Лошадь понадобилась Толстому не для того, чтобы поплакать над ее судьбой, а для того, чтобы уже в 1861 году увидать мир большими и чужими, недоверчивыми, как будто лошадиными глазами. Прежде всего недоверие вызвала у лошади система собственности, причем в 61-м году лошадь еще удивляется на крепостное право. Мерин говорит собравшимся вокруг него лошадям «Есть люди, которые называют других людей своими, а эти люди сильнее, здоровее и досужнее хозяев» Этот кусок будет развернут в редакции 1885 года: «Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда не видели этих людей, и все их отношение к этим людям состоит в том, что они делают им зло».

Другое место: «И люди счастливы, главное, тем, когда получают исключительное право только называть какую-либо вещь своею». В редакции 1885 года тирада мерина звучит уже нравоучительнее — появились нравственные требования: «И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей *своими»*.

Интересная работа, проделанная Л. Д. Опульской, мне кажется, нуждается в дополнении, — раскрытии автобиографического подтекста в повести.

Холстомер — породистый конь, необыкновенных кровей, попал в положение рабочей скотины и примирился с этим положением; мерин жалеет табунщика, который на нем ездит, хотя тот сидит на седле криво и Холстомеру больно. Мерин думает, что старик раскуражится, как начнет курить, и будет больно от его неловкой посадки: «Впрочем, бог с ним, мне не в новости страдать для удовольствия других. Я даже стал уже находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Пускай его хорохорится, бедняк. Ведь только и храбриться ему одному, пока его никто не видит, пускай сидит боком».

Мерин прекрасен и отвратителен своей старостью. Порода сохранилась в нем, видно нечто величествен-

ное в «выражении самоуверенности и спокойствия сознательной красоты и силы».

Лошади враждебны Холстомеру: это лошади породистые, но не из самых лучших; они презирают и мучают неузнанного ими старика. Он как бы король в изгнании.

Невеселый Кавказ, хлопоты в Герольдии, долгое неудачничество, гордость от сознания своей силы, яснополянское одиночество, ссора с соседями, которые ненавидят графа-чудака, становящегося на сторону крестьян, — все есть в «Холстомере». Это тоже входит в структуру произведения.

Лев Николаевич — породистый человек, гениальный человек, но он был пегим и в жизни и в литературе; его особенную масть, особое положение в мире, его отдельность не признавали.

Поэтому так грустен рассказ и так дорог он Толстому.

В первоначальном варианте, вернее, в первоначальной структуре повести первый владелец коня, постаревший аристократ Серпуховской и люди, к которым он приехал и гостит несколько навязчиво, симпатичны — это остатки старого барства.

Серпуховской — игрок, удалой гусар, проживший-ся, но еще умеющий носить свое платье. Люди, к которым он приехал, вызывают двойственное к себе отношение. Хозяйка подана с ласковой иронией: «...На голове большие, золотые, какие-то особенные шпильки в густых русых, хоть и не вполне своих, но прекрасных волосах. На руках было слишком много браслетов и колец; но все они были прекрасны». Правда, в этом доме левретка носит необыкновенно трудное английское имя, и хозяева, не говорящие по-английски, плохо его выговаривают. Дом несколько претенциозен. Грубая хвастливость хозяев, нечистая старость Серпуховского, его сон на постели с неснятым сапогом, его большое брюхо появятся позднее. в 1885 году, когда Лев Николаевич придет к окончательным выводам о том, что значит его прежняя жизнь и вся жизнь людей его круга.

Нечистое тело Серпуховского будет описано с отвращением. Толстой расскажет, как положили это нечистое тело в ящик с четырьмя кисточками на углах, повезли в особое место, там раскопали старые гниющие кости и именно туда положили «гниющее, кишащее червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах».

Смерть же Холстомера стала величественной; он пригодился до конца, и мясо его съели не собаки, как предполагалось в первой системе повести; куски его мяса принесла своим волчатам волчица и накормила этим мясом любимых детенышей.

Холстомер прожил жизнь, использованную до конца, прожил великодушно, осмысленно — он узнал хозяина, что-то проржал ему. Хозяин в нем увидал только повод для хвастовства и не узнал неповторимых пежин и могучего сложения старой лошади.

В первой системе повести знаки, ее составляющие, означали горесть отрыва от своих и снисходительное к ним презрение.

Во второй системе Толстой, как житель иной эпохи, рассматривает ничтожное, бессмысленное существование маленьких существ, их хвастовсто богатством и фальшивой любовью.

Второй Холстомер — прощание со старым домом, из которого уже выболел его хозяин.

Старый конь — это как бы Ерошка, который говорит про господскую жизнь, что вся она одна фальшь, и проповедует среди коней новые истины.

Толстой говорит словами, которые существовали до него. Он берет литературные построения, которые до него существовали, но через старые способы сообщения по-новому сообщает нам о новых решениях.

Первый Холстомер — создание периода «Войны и мира». Великая эпопея, вероятно, и не дала времени додумать то, что было уже так близко намечено. И в первом построении «Холстомера» недорешено то, что недорешено сперва в «Войне и мире».

Лев Николаевич попробовал послать повесть, которая еще называлась «Хлыстомер», графу Соллогубу, автору знаменитого очерка «Тарантас», писателю известному и уже хорошо забытому.

В мае 1863 года Толстой сообщил Фету: «Теперь я пишу историю пегого мерина, к осени, я думаю, напечатаю». Но вещь двадцать лет пролежала до переделки.

Соллогуб присутствовал при чтении рассказа в каком-то узком кругу, где была и Таня Берс; шел легкий разговор, в котором Татьяна Андреевна высказала какое-то свое, конечно, не обязательное мнение, но мнение это было отрицательное. Это дало основание Соллогубу написать очень любезное письмо с нравоучением:

«Ваша милая бель сер, любезный граф, права. — Она не высказала того, что сама не поняла, но предугадала по женскому инстинкту, гнушающемуся всего, что оскорбляет стыдливость и нежное эстетическое чувство. — Самое слово мерин уже неприятно, как неприятно слово евнух, кастрат. — Оно прямой намек на детородные части Слова сосцы, сосунчики, картины холощения и в особенности случки маменьки-кобылки с седуктором-жеребцом могут, пожалуй, пройти для коннозаводчиков, — но непосвященная публика поморщится .. Ваш талант — талант тонкого анализа и грациозности деталей... Если бы Писемский написал вашу статью, он бы ее написал так, что ни одна женщина не могла бы ее прочитать и ни одна типография не взялась бы печатать, — но у него вышла бы штука пластично-похабная и до некоторой степени художественная. — У вас она от одного берега отстала, к другому не пристала».

В. Соллогуб, как метр, дал ряд советов. Половина одного совета оказалась принятой: «Назовите статью *именем* мерина и не повестью, а басней. — Эта кличка в прозе будет нова». Дальше идут советы, которые Толстому были не нужны:

«Описание конюха, ночи в поле, летней природы, различных лошадиных физиономий и пр. остаются как теперь и даже могут быть несколько дополнены. — Конюх захрапел у огонька — двум-трем лошадям не спится. — Начинается рассказ».

В рассказе «о несчастии, постигшем мерина за пегую шерсть, намекается только вскользь». Рассказ состоит из «портретов его различных господ... Конец рассказа Физиономии слушавших лошадей. — Заря занимается. — Конюх просыпается, закуривает трубку и начинает браниться. Конец. Это, мне кажется, будет на 4 столбах — вступление, завязка, повествование, заключение. Что ни говори, а в риторике был смысл, и закон симметрии в природе везде повторяется Следовательно, он закон прекрасного».

Риторика на самом деле никогда не бывает права, потому что она записывает простывшие следы, то, что уже не осуществляется, такие следы, по которым не надо идти, потому что никогда не найдешь добычи.

Лев Николаевич не нуждался в монтажных переходах для ведения рассказа, в умалчивании того, что считалось неприличным, и в безличном пейзаже, заключающем очерк, который бы мог быть написан молодым Тургеневым, если бы Иван Сергеевич не был бы так талантлив и если бы он не прокладывал сам для себя путей.

Лев Николаевич в своей повести дорожил другим: он понимал «вкус слез» высеченного кучера; это место Толстой считал главной удачей первого построения повести.

Покамест повесть отложена.

В Ясной Поляне тихо, казалось, что, кроме большака, по которому люди ехали мимо Ясной Поляны, а не в нее, все дороги к Толстому заросли. Он ушел в большую работу.

Он был единственным стремянным своим, единственным своим союзником.

Часть III

ПОСТРОЕНИЕ «ВОЙНЫ И МИРА» И МИР ЕЕ ГЕРОЕВ

I

«Война и мир», по общепринятому мнению, задумана или, во всяком случае, начата в 1860 году. Толстой сообщал в марте 1861 года Герцену: «Я затеял месяца 4 тому назад роман, героем которого должен быть возвращающийся декабрист».

Это указание связано с оставшимся отрывком повести о декабристе, возвратившемся в Москву. Через ряд звеньев отрывок связан с «Войной и миром» и действующими лицами эпопеи. Напомню: героями отрывка являются старик Петр и жена его Наталья.

Дальше в разработке темы произошел перерыв; занятый в яснополянской школе, Толстой рассказывал ученикам о вторжении Наполеона в 1812 году, давая краткое и художественное изложение событий, которые в его освещении вызывали патриотический восторг у детей.

Накал впечатления от рассказа готов обратиться в подвиг. «Попался бы нам теперь Шевардинский редут или Малахов курган, мы бы его отбили».

Тема прошлого обозначается как тема Крымской кампании и 12-го года. Напоминаю, что во вступлении к «Декабристам» Толстой дал развернутую картину, в которой упоминается победа 12-го и поражение 55-го года.

В 1863 году, 23 февраля, Софья Андреевна сообщает сестре, что Толстой начал новый роман. Это же мы узнаем и из воспоминаний Кузминской. 8 марта Толстой коротко сообщает своей сестре Марье Николаевне: «Пишу роман». То же известно из письма Льва Николаевича к А. А. Толстой. Толстой говорит, что он чувствует себя свободным и способным к работе: «Работа эта — роман из времени 1810 и 20-х годов, который занимает меня вполне с осени». Тема охватила Толстого, и он может говорить только о ней.

Появляются точные конспекты и характеристики действующих лиц, все время указывается их отношение к Наполеону, то есть они даны не только в личном плане, но в отношении к конфликту эпохи.

Мы видим, что Толстой долго не может решить, с какого момента начать свой роман. Сперва, очевидно, он собирался начинать с 1811 года, потом год переправлен на 1805-й.

Намеченные герои изменяют свои характеры, и Лев Николаевич постепенно приобретает свободу отношений к ним, многие характеристики снижаются: фрейлина Анна Павловна Шерер, которая начата как идеальная, искренняя, не думающая о своем общественном положении женщина, становится опытной, разговорчивой и неискренней хозяйкой салона, ничтожной партнершей князя Василия Курагина.

Другие герои углубляются вскрытиями в них противоречий. Они приобретают выпуклость, приближаются к читателю, так что он может на них смотреть с разных сторон.

Э. Зайденшнур в статье, напечатанной в № 69 «Литературного наследства», считает, что характеристика, первоначально данная Кутузову, где сказано: «Разве не было тысячи офицеров, убитых во времена войн Александра, без сравнения более храбрых,

честных и добрых, чем сластолюбивый, хитрый и неверный Кутузов?» — не является характеристикой самого Толстого. Исследователь полагает, что здесь Кутузов характеризован только с точки зрения «света», враждебного ему.

Вряд ли это так, потому что в одном из набросков князь Андрей «...поехал в Букарешт и на бале застал Кутузова, завязывающего башмачок молдаванке».

Кутузов и на Бородинском поле перед самым боем, после того, как его встретил поп с крестом, не ведет себя как идеальный и безгрешный герой.

«— Ну, теперь все, — сказал Кутузов, подписывая последнюю бумагу и, тяжело поднявшись и расправляя складки своей белой, пухлой шеи, с повеселевшим лицом направился к двери.

Попадья, с бросившеюся кровью в лицо, схватилась за блюдо, которое, несмотря на то, что оно долго приготовлялось, она все-таки не успела подать вовремя. И с низким поклоном она поднесла его Кутузову.

Глаза Кутузова прищурились; он улыбнулся, взял рукой ее за подбородок и сказал:

— И красавица какая! Спасибо, голубушка!

Он достал из кармана шаровар несколько золотых и положил ей на блюдо.

— Ну что, как живешь? — сказал Кутузов, направляясь к отведенной для него комнате. Попадья, улыбаясь ямочками на румяном лице, прошла за ним в горницу. Адъютант вышел к князю Андрею на крыльцо и приглашал его завтракать; через полчаса князя Андрея позвали опять к Кутузову».

Кутузов не идеальный герой, поэтому черты, закрепленные в нем Толстым еще в период создания плана, продолжают оставаться в осуществленном произведении. Но они становятся только частью характера.

Характер Кутузова генерализирован тем, что полководец сумел подчиниться воле народа, осознав его чувства и проникнув в настроение армии.

Чтение французского романа Кутузовым, описанное Толстым, вызвало в свое время негодование ветерана великой войны Норова, который утверждал, что на Бородине все думали только о родине.

Известный русский философ Н. Данилевский впоследствии случайно увидал книгу, принадлежавшую самому Норову; из надписи на книжке было ясно, что раненый Норов в горящей Москве читал французский роман.

Работа над книгой все время продолжалась. Произведение изменялось, оно прошло через стадию, когда вся эпопея называлась «Три поры», через стадию «Все хорошо, что хорошо кончается» и, наконец, получило название «Война и мир».

Сцена, показывающая салон Шерер и открывающая роман, давала возможность мгновенной характеристики европейского положения, данной с точки зрения разных представителей светского общества.

В диалоге между князем Андреем и Пьером была дана их самохарактеристика и обозначены конфликты героев. У Пьера — его незаконнорожденность, у Андрея — неудачный брак и неосуществленная жажда сыграть историческую роль.

Но истинные конфликты жизни этих героев в романе оказались другими.

II

Для того чтобы решить вопрос о построении «Войны и мира», надо предварительно упомянуть, что само понятие единства художественного произведения не до конца выяснено.

Когда роман Пушкина или Толстого осуществляется в продолжение многих лет и автор изменяется и переживает кризисы, по-новому понимает жизнь, когда изменяется мировая обстановка за время написания романа, то ясно, что мы имеем не статическое единство, а единство художественного процесса.

Единство художественного произведения — единство познания изменяющегося предмета.

Не надо полагать, что человек сперва все узнал, потом обдумал, потом сел и записал. Процесс созда-

ния произведения — это узнавание, определяющее процесс оформления. За случайностью судеб «Войны и мира» стоит необходимость осмысленного творчества. Толстой умел покоряться необходимости.

Произведение не имеет законченной авторской рукописи, охватывающей все от начала до конца. Множественность предисловий и множественность начал — следы усилия определить условия познания.

Границы романа изменялись, изменялась периодизация событий.

Толстой начал работу с описания того, как старый декабрист Петр и его жена Наталья вернулись в Москву.

Он встретился с темой, вернувшись из сданного врагам Севастополя, он искал корни неудачи и проверял неудачу прежними победами.

Толстой всегда обладал точным чувством времени и высекал дату на произведении упоминанием хронологически точных деталей; вместе с тем он как бы не учитывал значения самого времени.

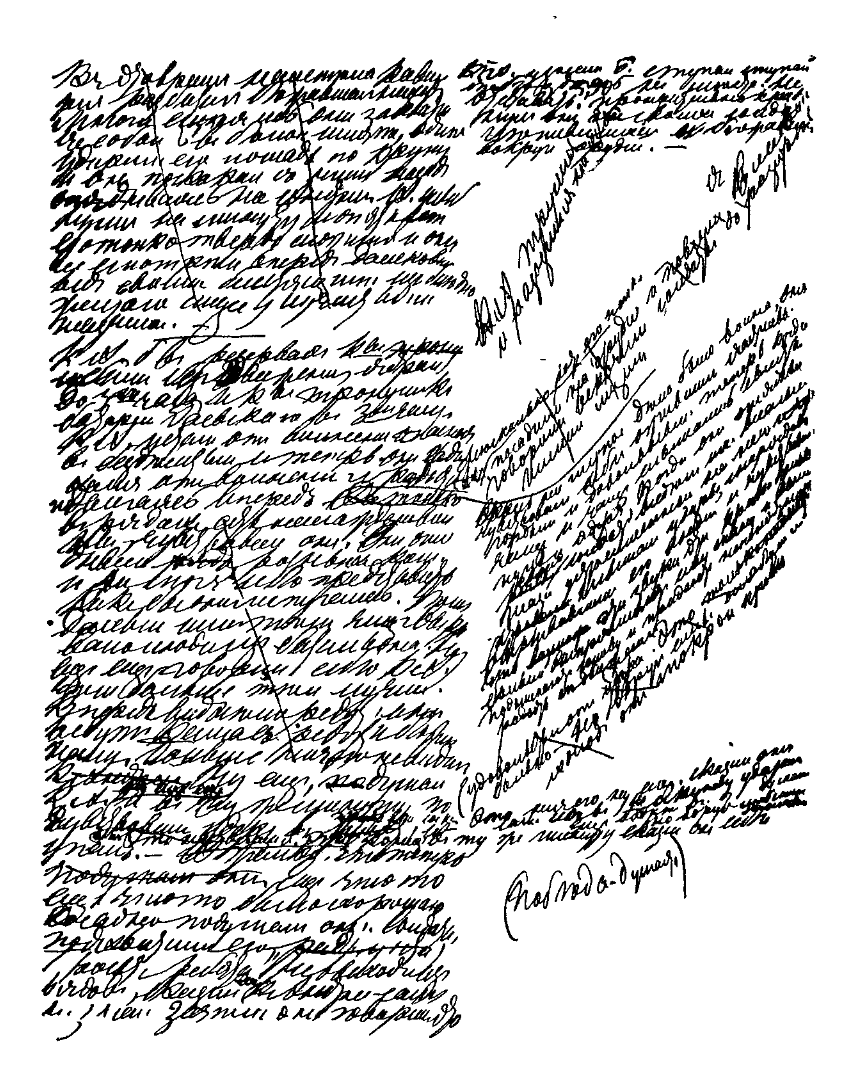
Поэтому он в рукописи передатировал отдельные сцены, не меняя их.

Это общая особенность творчества Толстого. Много раз он хотел написать произведение о том, как дворянин оказался рядом с крестьянами. Мотивировка событий — ссылка дворянина.

Первое осуществление, еще не точное, было — плен будущего декабриста: пленный барин попадает в среду солдат.

Потом была попытка показать это событие во времена Петра I и для этого исследовались родословные. Потом событие передвигалось на время Николая I и Александра II. Толстой мыслил абсолютными категориями, и специфичность времени для него, как для человека, выражающего психологию патриархального, в самой своей основе консервативного крестьянства, отсутствовала.

В то же время, хотя Толстого упрекали впоследствии, что он пропустил в показанной им эпохе элемент декабризма, все время войны показано с точки зрения потомка декабриста; все время ре-



Страница первоначальной редакции описания Бородинского сражения.

шается вопрос, что надо было делать и почему народ не пошел за декабристами.

Часто событийные связи, условные развязки, законченность романа, которые были законами для предтолстовского романа, Толстой в результате отвергает. Он отказывается от романа «с завязкой, постоянно усложняющимся интересом и счастливой или несчастливой развязкой, с которой уничтожается интерес повествования».

Ни смерть, ни свадьба не кажутся ему развязкой. Он ищет исторической развязки события, поэтому историческая часть и есть событийная.

Идея потока, захватывающего судьбы людей, появилась у Толстого только в процессе написания.

Военная философия романа вошла в «Войну и мир» в ходе работы. Роль ее в разных этапах построения различна.

Стратегические и тактические решения Кутузова, его план отступления после капитуляции австрийской армии, хитрость Багратиона, завязавшего переговоры с Мюратом, решение Багратиона атаковать французов, значение присутствия военачальника на поле битвы, решение Тушина обстрелять деревню и вызвать пожар в ней — все эти волевые решения учитываются в начале романа, как действия, имеющие определенный результат.

Идея стихийности войны, подчиненность Кутузова исторической необходимости — все это выводы второй половины романа.

Конечно, сами войны 1805 года и 1812 года разнятся по существу: по целям, по месту действия, но все же Толстой не свел решений — так же, как он, вероятно, и не принял окончательного решения, хотя и приблизился к нему.

Лев Николаевич последовательно отходил от обычных романных форм. Например, в окончательном тексте сохранилась сцена охоты, в которой принимает участие дядюшка — мелкопоместный дворянин. Он обрисован с той же точностью и неслужебностью, как главные герои.

В черновиках дядюшка появляется на Бородинском поле, подбирая раненых. Он исчезает, вычеркнутый из корректуры. То, что казалось законом в старом искусстве, Толстому не нужно.

В первой законченной черновой редакции Пьер спасал в Москве от выстрела сумасшедшего итальянского графа Пончини — молодого масона высоких степеней. Масонские знаки помогли, хотя и не сразу, Пьеру в плену. Пончини разыскивал Пьера. Пончини потом попал в плен к Николаю Ростову. Этот красивый молодой человек, глазами несколько похожий на Наташу, вел интригу — благородную и высокую: он по рассказу Пьера догадался, что Пьер любит Наташу, и наладил счастливый брак. Этот романный герой исчез вместе со своей благородной интригой и был заменен посторонним любовной линии романа Рамбалем.

Толстой отказывается от художественных принципов старого романа, где герои сталкивались многократно, и именно их столкновение создавало в своих повторах композицию романа. В завершенном тексте роман движется историческим полем, изменением силового напряжения народной мысли.

Разорение старого графа, его захудание (недаром семейство Ростовых носило фамилию и Толстые, и Простые, и Плохие, то есть захудалые) — это разорение как бы снимается. Ростовы разоряются окончательно не только вследствие проигрыша Николая, но и потому, что Наташа принимает на себя решение бросить «детское» имущество, взяв на освободившиеся телеги раненых.

Негодование князя Андрея на измену Наташи как бы снимается общим бедствием на Бородине; здесь тяжело ранены и Андрей и Анатоль.

Без переговоров, без подготовки, в силу изменения отношений с обеих сторон, приходит к бредящему князю Андрею Наташа, и все оказывается очевидно простым в новом решении.

Плен Пьера связан с пожаром Москвы; этот пожар Москвы первоначально был делом рук Долохова, который встречался с Безуховым и давал ему явку. Это выкинуто.

В последнем тексте Москва сгорает, как брошенное жилье, так, как сгорали и без поджигателей русские города летом.

В первоначальном тексте Пьер не только спасал ребенка, но и долго нес ребенка. Этот ребенок, о котором он заботился, сохранял жизнь Пьера.

Толстой повторил старый свой набросок о путешествии через Альпы с мальчиком. Пьеру надо было забыть себя, и он забывал себя, заботясь о том ребенке, которого случайно спас. Это выкинуто.

III

Человек, начавший «Войну и мир», был человеком гордым, задирчивым, он говорил и подчеркивал, что он аристократ и не знает иной жизни, аристократическая жизнь ему близка и не интересны переживания какого-нибудь семинариста, «которого в двухсотый раз ведут сечь».

Увы, секли не одних семинаристов, — во всех кадетских корпусах, в том числе и в пажеском, кадетов секли, секли часто, иногда даже по два раза в день, если после первого сечения кадет все еще не получал достаточно бравого, ободренного и обновленного вида. Вероятно, число двести и там получалось.

Это одно из бесчисленных начал романа, и оправдание ему то, что оно было отвергнуто. Но Лев Николаевич хотел сделать не только героем, но и выразителем военной теории своего романа аристократа Андрея Болконского, который вместе с Пьером должен был бы заменить старое представление о войне новым, на новых философских основаниях. В процессе создания романа, рассматривая глазами русского человека, хорошо знающего Вольтера, но лучше знающего вещи Александра Герцена, который в одном и том же произведении умел смешивать беллетристику, публицистику, философию, Лев Николаевич ввел собственный голос в роман, приняв на себя ответственность за то, как в нем решаются вопросы истории и войны.



Л. Н. Толстой и С. А. Толстая с членами семьи и гостями. Ясная Поляна. 1899 г.

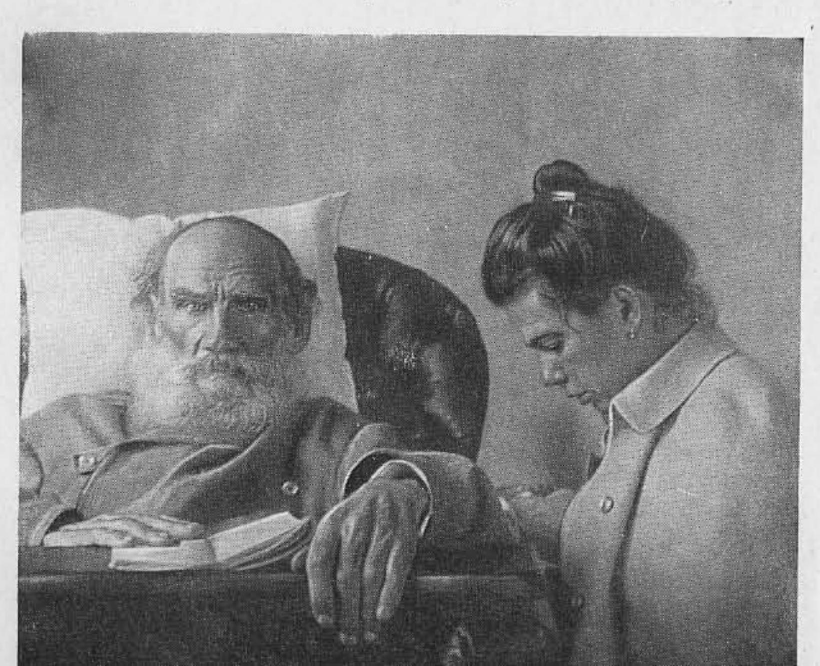
Бывшие ученики яснополянской школы.





Л. Н. Толстой и А. М. Горький. Ясная Поляна, 1900 г.

Во время болезни, с дочерью Т. Л. Сухотиной. Гаспра, 1902 г.



Исход войны зависит от таких людей, как незаметный Дохтуров, как Тимохин, храбрец, участник штурма Измаила, старый товарищ Кутузова, оставшийся после всех подвигов капитаном. Тимохин нужнее войне, чем Андрей Болконский и Николай Ростов, храбрость которого никогда не решала исхода сражения.

Войну решает скромный Тушин. В романе «Все хорошо, что хорошо кончается» Лев Николаевич хотел сделать Тушина полуаристократом, человеком, хорошо знающим языки, воспитывавшимся гувернерами, человеком, который вместе со своими братьями имеет тысячу душ и по происхождению выше всех окружающих.

В том Тушине, может быть, были какие-то черты и привычки Николая Николаевича, но прототип не пригодился. Лев Николаевич стер следы знатности у Тушина. Именно к Тушину снисходительно, как к человеку другой крови, относится Андрей Болконский.

Тушин — человек нового времени, нового образования, не замечает отношения Андрея: он не обижается, он занят войной, он имеет волю к победе и не мечтает о военной карьере.

Он другой тип образованного офицера-артиллериста, с которым встречался Толстой в Севастополе.

Переход от решения, что все то хорошо, что хорошо кончается, к другому решению, к решению «Войны и мира», — это переход к решению, что жизнь Пьера хороша, хотя она кончилась каторгой.

История вторглась в роман, который должен был показать гордую неподвижность роевой жизни, мощно вторгнулась гулом будущего восстания.

IV

Судьба создания «Войны и мира» отразилась на истории его печатания и переиздания.

Произведение под названием «1805 год, роман графа Л. Н. Толстого» было напечатано в двух но-

мерах журнала «Русский вестник» за 1865—1866 годы.

Я не занимаюсь историей текстов и не являюсь специалистом, но должен сделать одно замечание: в 1866 году Толстой приступает к написанию всего романа, исправив уже напечатанный материал и сводя все сюжетные линии. Произведение получается сравнительно небольшого масштаба. Сохранилась рукопись в триста шестьдесят три листа, исписанных с двух сторон: получается семьсот двадцать шесть страниц, отсутствуют двадцать восемь страниц, вероятно, они были вырваны, вклеены в другое место и не сохранились, будучи выброшены при переписке. Рукопись эта на девяносто процентов напечатана в Юбилейном издании, в 13-м и 14-м томах Полного собрания сочинений. Она под номером 89.

Не напечатано из рукописи то, что, по мнению редакторов, близко к окончательному тексту. Это неверное решение.

Части книги существуют не сами по себе, а в структуре произведения. Стоило потратить еще десять процентов бумаги, чтобы напечатать редакцию целиком, дополнив ее по возможности более достоверным и оговоренным изложением отсутствующих страниц Тогда бы мы увидали систему художественного мышления Толстого.

Люди, которые выполняли инструкцию, и тогда понимали, что «Война и мир» — законченное целое. Но черновой вариант романа они рассматривали как собрание кусков, а не как целое. Между тем все эти куски бессмысленны без того, что Толстой называл «лабиринтом сцеплений». Выход один: отнесясь с полным уважением к тому, что уже сделано, надо издать целиком толстовский первый вариант романа.

Роман «Все хорошо, что хорошо кончается» не достигает гениальной высоты «Войны и мира», но и там существуют прекрасные главы, которые могут быть поняты только в целом; кроме того, в них мы видим путь Толстого. Вероятно, это издание будет осуществлено так, как сейчас осуществлено академическое издание «Казаков».

ВОИНА и МИРЪ.

СОЧИНЕНІЕ

Графа Л. Н. Толстаго.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ

МОСКВА.

ТИПОГРАФІЯ Т. РИСЪ У МЯСНИЦКИХЪ ВОРОТЪ, ДОМЪ ВОЕЙКОВА

1868.

Титульный лист второго издания «Войны и мира».

О ПРОТОТИПАХ

В арабском сборнике «Тысяча и одна ночь» рассказывается о том, как один горбун подавился рыбой и потом его труп подкидывали из дома в дом, и каждый раз нашедший толкал горбуна, а потом считал, что он его убил.

Когда начали вешать одного из предполагаемых убийц, то пришли все остальные и начали говорить, что это они убили, но в результате цирюльник, на лице которого была изображена глупость, оказался настолько искусным, что вынул кость из горла горбуна, и горбун ожил.

Побочный вывод состоит в том, что глупость не препятствует умению. Главный вывод тот, что прежде чем искать причину факта, надо установить, существует ли факт. Уже давно занимаются поисками прототипов. Например, для повести Пушкина «Выстрел» Н. И. Черняев в качестве прототипа Сильвио выдвигает гетериста Софьяно; Н. О. Лернер — графа Сильверио Бролио, а также одного из героев рассказа Марлинского «Вечера на Кавказских водах в 1824 году»; Л. П. Гроссман доказывает, что прототип Сильвио — Липранди, кроме того, указывает литературную параллель в драме В. Гюго «Эрнани». Таким образом, на роль прототипа Сильвио является больше претендентов, чем на убийство горбуна в «Тысяче и одной ночи», и все приобретает сказочный характер

Академик И Ю. Крачковский в статье «Ранняя история повести о Меджнуне и Лейле в арабской литературе» проследил поиски прототипа Меджнуна

Меджнун — безумец от любви; это, вероятно, первая история незаменимой, личной любви одного человека к другому.

Может быть, звенья этой истории кончаются в драме «Ромео и Джульетта».

История Меджнуна и Лейлы входила в разные сборники, но кто этот безумец от любви, на которого удивлялись звери, ложе которого окружали травы, когда он обнял свою любимую?

Кто этот безумец — ведь ему подражал в горах другой безумец, Дон-Кихот, любящий женщину, с которой он говорил один раз через оруженосца, да и тот разговор была обманом Санчо Пансы?

Основную базу для истории Меджнуна составляет «Книга поэзии» Ибн Кутайбы (умер в 889 году н. э.) и «Книга песен» Абу-л-Фараджаал-Исфахани (умер в 967 году).

Но оказывается, что наиболее древние собиратели поэзии смеядской эпохи, еще заставшие в живых современников предполагаемого Меджнуна, отрицают существование такого человека. Айуб ибн Абайа пишет: «Я расспрашивал племя Амира род за родом о Маджнуне из племени Амира и не нашел ни одного, кто бы его знал».

В другом месте собиратель говорит, что нашел сведения не он сам: «Ту же мысль, но с любопытными подробностями передает Иса ибн Да'б, умерший в начале династии Аббасидов, в 787 году. «Спросил я одного человека из племени Амир: «Знаешь ли ты Маджнуна и передаешь ли какие-нибудь его стихи?» Тот ответил: «Разве ж мы покончили со стихами находящихся в здравом уме, чтобы передавать стихи безумных (Маджнунов)! Их слишком много!» Я возразил: «Я не этих имею в виду, а разумею Маджнуна из племени Амир, которого убила любовь». — «Куда там! — сказал он. — У племени Амир слишком груба печень для этого. Так случается только с этими йеменцами, слабыми сердцем, жалкими умом, малыми головой, а с племенами Низара — нет»

В начале IX века Ибн ал-Араби говорил, будто он со слов америтов слыхал, что их спрашивали о Меджнуне, но они не знали его и утверждали, что стихи только приписаны ему.

Другой арабский историк говорил: «Какой-то юноша из рода Мерванидов любил женщину из них же, говорил о ней стихи и приписывал их Маджнуну».

То же утверждают еще несколько ученых Правда, существуют и показания людей, знающих пезцов, похожих на Меджнуна.

Сам академик Крачковский полагает, утверждая это в очень осторожной форме, что образ Меджнуна создал Авана ибн ал-Хакам — слепой филолог.

Мне кажется, что это можно уточнить следующим образом: существовали народные песни о несчастной любви. Это были песни о безумных.

Фольклорные песни были обработаны, вероятно, в VIII веке писателями, может быть, тем самым слепым филологом, о котором говорит академик Крачковский.

При обработке появился единый герой — Меджнун, вокруг которого началась циклизация песен.

Впоследствии племя, которое создало первоначальные песни, присвоило себе и героя.

Поэтому-то и получилось такое противоречивое положение, что люди одновременно и знают и не знают Меджнуна.

Только много позднее, в X веке, племя Меджнуна начинает признавать его.

Поэмы о Меджнуне и Лейле создаются на территории нынешнего СССР великими поэтами азербайджанцем Низами и узбеком Навои. Они воплощают в образах своих поэм свою действительность. Прототип тут ничего не объяснит.

Низами и Навои по-разному рассказали эту историю, показав через нее разный быт и разную жизнь.

Меджнун великого узбекского писателя Навои — новый герой, воплотивший новую действительность.

Исследователи прототипов начинают с бесспорного положения: основой литературного произведения является окружающая художника действительность.

Но дальше уже идут ошибки. Исследователи принимают художника за фотографа — они ищут оригинал фотографии, им он должен объяснить все.

Для того чтобы говорить о прототипах, надо понять, что писатель творчески подключается к общей работе поколений, находит выход, понимая то, что не до конца поняли другие, и поэтому иногда то, что мы считаем прототипом, может оказаться впереди художественного произведения. Иногда действительность как бы осуществляет то, что предугадал, как

бы вычислил писатель. Действительность оказывается открытием того, что уже было вычислено, построено.

Лафарг в книге «Карл Маркс по личным воспоминаниям» приводит мнение Маркса о Бальзаке:

«Бальзака он [К. Маркс] так высоко ставил, что думал написать о нем критическую статью, как только окончит свое сочинение о политической экономии. По мнению великого экономиста, Бальзак был не только бытописателем своего времени, но также творцом тех прообразов — типов, которые при Людовике Филиппе находились еще в зародышевом состоянии, а достигли развития уже впоследствии при Наполеоне III».

К. А. Тимирязев в статье «Развитие естествознания в 60-е годы» писал про Тургенева, создавшего тип Базарова:

«Угадать еще в пятидесятых годах, в «молодом провинциальном враче» — одно из крупнейших течений русской мысли, вскоре на деле доказавших свою плодотворность, — такой прозорливости не обнаружил ни один русский писатель».

В примечании К. Тимирязев прибавляет: «...он угадал будущих Боткина, Сеченова и вообще все могучее движение русской науки».

Писатель отражает действительность и стремится изобразить ее точно. Он вводит в произведение свою биографию, свой опыт, открывает мир вокруг себя, но строит мир своего искусства по-новому, освобождая его от случайности.

Дело идет о самых основах творчества, а также об основах ошибок в отношении к писателю.

Лев Николаевич Толстой сидел в яснополянском кабинете, отрезанный как будто от всего мира, он писал роман, который получил потом название «Война и мир».

Еще не было названия, не было жанра, потому что произведение не было романом и не стало романом — это война и мир, мир, созданный Толстым.

Софья Андреевна хотела, чтобы Лев Николаевич писал про нее или по крайней мере про ее близких.

Близкие собирались сесть в экипаж, поданный к их крыльцу, всем семейством сесть, всем, даже с отвергнутым женихом — М. Поливановым.

С. А. Толстая сообщает сестрам 11 ноября 1862 года: «Девы, скажу вам по секрету, прошу не говорить: Левочка может быть нас опишет, когда ему будет 50 лет».

Приведу бытовую картину из многословной и отнюдь не обладающей скромностью, но занятно писавшей Т. А. Кузминской. Т. А. Кузминская описывает в письме к Поливанову, как Л. Н. Толстой в конце 1864 года читал свой роман в семейном кругу: «Про семью Ростовых говорили, что это живые люди, а мне-то как они близки! Борис напоминает вас наружностью и манерой быть. Вера — ведь это настоящая Лиза Ее степенность и отношение к нам верно, т. е. скорее к Соне, а не ко мне. Графиня Ростова — так напоминает мама, особенно как она со мной. Когда читали про Наташу, Варенька (Перфильева) хитро подмигивала мне, но, кажется, этого никто не заметил. Но вот будете смеяться: моя кукла большая, Мими, попала в роман. Помните, как мы вас венчали с ней, и я настаивала, чтобы вы поцеловали ее, а вы не хотели и повесили ее на дверь, а я пожаловалась мама? Да, многое, многое найдете в романе. Пьер понравился меньше всех. А мне больше всех. Я люблю таких. Маленькую княгиню хвалили дамы, но не нашли, с кого писал ее Левочка... На дамской половине стола, когда Левочка описал и многих называли, и Варенька вдруг громко сказала: «Мама, а ведь Мария Дмитриевна Ахросимова — это вы, она вас так напоминает». — «Не знаю, не знаю, Варенька, меня не стоит описывать», — говорила Настасья Сергеевна».

Рассказывают, что Лев Львович, написавши первую свою книгу, с трепетом дал ее отцу прочесть вечером. Утром вышел Толстой, положил на стол книжку, начал завтракать Сын, трепеща, спросил: «Ну, как?» — «Очень хорошо, — сказал Лев Николаевич, — хорошо. Вы, Берсы, все очень талантливы». (Берс — это фамилия Софьи Андреевны и Татьяны

Андреевны. Софья Андреевна тоже сама писала, и не только мемуары, и была талантлива.)

Берсы и ищут прототипов.

Но этот семейный лепет не убеждает меня. Меня не убеждает даже то, что Лев Тихомиров в своих воспоминаниях говорит, что, когда у тульского помещика Коптева читали «Войну и мир» Толстого, старая нянюшка Коптевых узнавала в героях романа семейных знакомых и сама говорила: «Вот это такой-то, этот — такой-то».

Не верю: Тихомирову не верю, няньке не верю.

Возьмем вопрос о Наташе Ростовой. Нам говорят, что Кузминская Татьяна — прототип Наташи. Прежде всего это нам ничего не дает: мы с Кузминской не знакомы, а если бы были знакомы, то не могли бы ее так понять, как, говорят, понял ее Л. Толстой

Указания на заимствования и указания на прототипы, по существу, противоречивы.

Оказывается, что Наташа Ростова заимствована из английского романа и, одновременно, что она списана с сестры жены.

Тут нет элементов логики.

Кроме того, у Толстого был другой ход в работе В набросках романа «Декабристы» он описал возвращение старого декабриста Петра с женой его Натальей. Декабрист очень изменился, это добродушный, слабый, пьющий и слегка тщеславный старик. Но это Пьер и жена его — Наташа.

Декабрист вернулся в эпоху после Крымской кампании в Москву. Завтра он увидит новых людей, сегодня с сыном он едет в баню. Он возвращается домой, и жена (Наталья), как и всегда, говорит ему привычные слова, что он такой чистый, что «даже светится».

Роман о декабристе не был кончен, не был напечатан, но сцена осталась.

В «Войне и мире» Наташа Ростова, увидав Пьера после его плена, говорит Мари:

«— Он сделался какой-то чистый, гладкий, свежий; точно из бани; ты понимаешь? морально из ба-

ни... И сюртучок коротенький и стриженые волосы; точно, ну, точно из бани... папа бывало».

Совпадение не случайно.

Содержание сцены большого ненаписанного романа превратилось в написанную сцену нового романа.

Сохранилась фраза о бане, причем она в «Войне и мире» стала метафорической, но, возможно, возникла из воспоминания о примиренном, постаревшем декабристе.

Л. Н. Толстой шел к Наташе от образа жены декабриста, поехавшей за мужем в Сибирь и там узнавшей иную жизнь.

Все эти черты могут быть сведены к сложному вопросу отношения Л. Толстого к народу.

Пьер и Наташа до того, когда мы их видим молодыми, не знающими, что они полюбят друг друга, уже существовали в сознании Толстого старыми, вернувшимися из Сибири.

Представить себе, что Толстой взял прототипом молодую девушку и начал ее описание в старости, невозможно. Между тем мы видим, в самой первой досцене есть уже куски, использованные потом в «Войне и мире».

Указания Т. Кузминской противоречивы. С одной стороны, она говорит про случаи из своей биографии, похожие на историю героини романа Толстого, с другой — в той же книге «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» — Т. Кузминская указывает на роман мистрис Браддон — «Аврора Флотт».

Лев Николаевич говорил: «Таня, а ты узнаешь себя в этом романе?» — «В «Авроре»? — ну да, конечно. Я не хочу быть такой»

Т. Кузминская сама романа Браддон не читала, но в романе, который вышел в русском переводе в Санкт-Петербурге в 1870 году, говорят, действительно можно было найти прототип Наташи. Все эти сопоставления, повторяю, можно продолжать бесконечно, но это ненужная и вредная игра, ничего не имеющая общего с истиной.

3 мая 1865 года Лев Николаевич ответил письмом Луизе Ивановне Волконской, урожденной Трусзон,

жене А. А. Волконского. Луиза Ивановна для Льва Николаевича — человек не посторонний, у нее бывал он в молодости, после посещения ее дома писал «Историю вчерашнего дня».

В той истории тоже нет прототипа, потому что она вся основана на монологе автора.

Вот что пишет старой знакомой родственнице Лев Николаевич:

«Очень рад, любезная княгиня, тому случаю, который заставил Вас вспомнить обо мне, и в доказательство того спешу сделать для Вас невозможное, т. е. ответить на Ваш вопрос. Андрей Болконский — никто, как и всякое лицо романиста, а не писателя личностей или мемуаров. Я бы стыдился печататься, ежели бы весь мой труд состоял в том, чтобы списать портрет, разузнать, запомнить... Я постараюсь сказать, кто такой мой Андрей. В Аустерлицком сражении, которое будет описано, но с которого я начал роман, мне нужно было, чтобы был убит блестящий молодой человек; в дальнейшем ходе моего романа мне нужно было только старика Болконского с дочерью; но так как неловко описывать ничем не связанное с романом лицо, я решил сделать блестящего молодого человека сыном старого Болконского. Потом он меня заинтересовал, для него представлялась роль в дальнейшем ходе романа, и я его помиловал, только сильно ранив его вместо смерти. Так вот Вам, любезная княгиня, совершенно правдивое, хотя от этого самого и неясное, объяснение того, кто такой Болконский».

Так говорит зрелый и способный уже к анализу процесса творчества Толстой.

Итак, Толстой отрицает прототип.

Тем не менее Софья Андреевна Толстая, истинная служительница теории прототипов, на обороте портрета Луизы Ивановны написала, что она прототип Лизы Болконской, жены героя романа Андрея Болконского.

Ход мысли Софьи Андреевны очень понятен. Андрей Болконский — это Волконский, а Луиза Волконская, несомненно, его жена: инициалы совпадают.

Нам надо выбирать, кому верить: Льву Николаевичу или Софье Андреевне?

Я верю Льву.

Б. М. Эйхенбаум во 2-м томе своего исследования «Лев Толстой» утверждал, что «Война и мир» родилась из мемуарной литературы. Это домашняя литература, поэтому он скреплял своей подписью мнение Поливанова, Татьяны Кузминской, Софьи Андреевны

Я не соглашаюсь с Борисом Михайловичем и не соглашался и раньше; я думаю, что Лев Николаевич залез в комнату под сводами и запер дверь в нее, спасаясь от прототипов.

Кроме того, даже такое мемуарное произведение, как «Детские годы Багрова-внука», любимое Толстым, не только выражает заинтересованность времени в мемуарах, но и родилось в результате уже существующего семейного романа. И за «Исповедью» Руссо стоит опыт английского романа. Для того чтобы познать свое сердце, надо немножко знать анатомию. Сейчас уже принято думать, что озлобленный и гордый неудачник генерал Волконский, строитель старого дома, не может быть прототипом старого князя: у него было другое общественное положение, другая биография.

Фельдмаршал Каменский, которого выдвинул в качестве прототипа Б М. Эйхенбаум, тоже не годится: Каменский происходил из нечиновных дворян — это самолюбивый военачальник, теоретик, соперник Наполеона, который удивлялся на него, встретившись с ним на позиции, подготовленной Каменским

Что касается Кутузова, то, конечно, Кутузов существовал так же, как и Наполеон, но, анализируя Кутузова и Наполеона в романе, мы всегда должны думать о Толстом, о его мировоззрении и о роли его героев в его романе.

По мнению Софьи Андреевны, живая Луиза Ивановна могла быть вдовою героя романа, Андрея Болконского.

Если мы видим Наполеона и Кутузова рядом

с Наташей Ростовой, рядом со всеми Ростовыми и Курагиными, то мы должны рассматривать их всех в системе анализа писателя; исторические герои уравнены с героями вымышленными.

О МЫСЛЯХ И ПОИСКАХ ТОЛСТОГО

I

Психологический анализ — «диалектика души» — у Толстого носит особый характер. Толстой разделяет истинные мотивы человеческих поступков от их логически-словесного обоснования

Анализ в этом смысле родился еще в эпоху писания «Детства» и первоначально в «Истории вчерашнего дня» возник с анализа снов; к психологии сна, «подделывающего причины», Толстой возвращался и в шестидесятые годы.

В «Казаках» и особенно в «Войне и мире» решения обосновываются, как мы бы сейчас сказали, не самостоятельностью сознания, но необходимостью бытия, взятого в широком смысле слова.

Людей «словесных решений» Толстой презирает: так относится он к Наполеону, Ростопчину и Сперанскому

Приводя «исторические изречения» Наполеона, Толстой прибавляет: «Из этого только следует, что слова ничего не значат и не служат выражением дела Слова эти говорились так же неизбежно, непроизвольно, как они дышали или ели и спали. Вся кажущаяся странность состоит только в том, что мы хотим разумно объяснить то, что делается неразумно».

Попытка понять сущность «неразумного» исторического процесса занимает годы работы Толстого. Как и лучшие из его современников, он подходил к решению, но не мог сформулировать его, подменяя общие законы развития человечества «роевым» — слитным поведением крестьянства, которое он считал всечеловечеством.

Четче, но не до конца, понимал законы истории Н. Г. Чернышевский, размышляя о причинах войн, соединяя опыт 1812 года и опыт Севастопольской кампании. В Петропавловской крепости Чернышевский свободно пересказывал и комментировал книгу о крымской войне Кинглека. Рукопись написана в 1862 году, я приведу отрывок из нее, потому что она как бы предваряет мысли Толстого, высказанные им в «Войне и мире»:

«Они» или «он» виноваты в том, что вышла такая ужасная война из-за таких мелочей, — вот общий голос. Мне он всегда казался нелеп. Я и в этом вопросе не хотел отречься от своего убеждения, что капризы и ошибки, страсти и недостатки отдельных лиц бессильны над ходом великих событий, что факт, подобный Севастопольской борьбе, не мог быть порожден или устранен волею отдельных людей... Не Наполеон, не его маршалы, не русские противники их представляются мне главными силами, действовавшими в этом факте, называемом войною 1812 года».

Лев Николаевич уже в годы Севастопольской кампании начинал понимать, что происходит вокруг него; но ему еще казалось, что в поражении виноваты только отдельные глупые генералы, виноват царь и сразу после смерти *этого* царя для России наступит хорошее время.

К познанию законов жизни своим путем шел Толстой и тогда, когда более чем два года писал книгу и считал, что им написано уже много.

И, как всегда, главные трудности в книге еще были впереди, хотя роман «1805 год», как часть «Войны и мира», впоследствии остался почти неизмененным.

Лев Николаевич пробирался непрерывно вперед даже тогда, когда при падении с лошади он сломал руку и на некоторое время, на несколько часов потерял представление о времени и ему показалось, что когда-то давно он ехал, когда-то давно упал.

Он скоро восстановил диктовку романа — с вправленной деревенской бабкой рукой, которую потом лечили московские доктора — лечили неудачно, оперировали, массировали.

И во время лечения Лев Николаевич, придерживая руку, в промежутках ходил по комнате и диктовал книгу, иногда кратко приказывая: «Вычеркни».

Миллионы предположений делаются во время написания книги, из них надо отобрать сотни решений, потом десятки; книги создаются записыванием и вычеркиванием, их стараются довести до одного решения.

За плечами писателя лежит пройденный человеческий путь. Он знает прежде написанные книги, знает прежние решения, испытанные способы изображать жизнь.

Работа продолжалась.

В «Русском вестнике» за 1866 год была напечатана вторая часть романа «1805 год». Уже рождался роман «Война и мир», и к маю 1866 года была написана первая черновая редакция. В этом романе Пьер женился на Наташе, Андрей Болконский и Петя Ростов оставались живыми, Элен Курагина умирала.

Но хорошо все то, что умело строится, ломается и снова начинает строиться, а кончается не по образчикам, а по правде.

Все хорошо, что создается в результате преодоления. Лев Николаевич сломал старый роман, как неверно сросшуюся руку, и писал заново, меняя вариант за вариантом; он вводил элемент романа в новые соотношения; для разгадки истории не годились старые романные отношения и шаблоны: случайные встречи, совпадения, добрые советчики, смерти, происходящие вовремя, и воскресение главных героев.

Лев Николаевич то писал своими крупными и неразборчивыми буквами вариант за вариантом, то диктовал, торопясь, но не волнуясь, то говорил «вычеркни» и разгорался для того, чтобы, введя новый элемент познания, изменить всю старую структуру.

Он то давал военные рассуждения как высказывания героев, то делал из них отступления, то груп-

пировал их в специальные военно-теоретические главы, то в издании 1873 года выбрасывал их. Но он все время и неуклонно развивал свой способ передачи видения общего через показ частностей.

Поэтому Толстому была важна локальная достоверность детали.

Впоследствии И. С. Тургенев, критикуя в письме к П. Анненкову Толстого, писал из Баден-Бадена 2 февраля 1866 года В письме есть следующее место: «...Толстой поражает читателя носком сапога Александра, смехом Сперанского, заставляет думать, что он все об этом знает, коли даже до этих мелочеи дошел, а он и знает только эти мелочи».

Толстой о 1812 годе знал чрезвычайно много. Прошло только пятьдесят лет от великих сражений; Толстому пришлось видеть и часто встречаться с непосредственными участниками боев и всей кампании, кроме того, он знал всю официальную и мемуарную литературу — русскую, французскую и много мелких книг, в которых сохранились точные, непосредственно по следам событий записанные детали, поразившие современников. Так, например, Толстой использовал книгу «Воспоминания очевидца о пребывании французов в Москве в 1812 году с видом пожара в Москве» Книга анонимная, написана она А. Рязанцевым Из этой книги Толстой взял ряд мелких деталей: ограбление семейства, срывание с женщины серег, спасение ребенка от пожара, и не упоминание об этих событиях, а черты событий. Толстой действовал методом метонимии, то есть он брал часть для того, чтобы читатель, поверив части, увидал целое как реальное. Своей манерой писания он повторял метод человеческого видения, которое видит сперва частное.

Хваля сказку Андерсена «Голый король», он в дневнике говорил, что искусство должно доказать, что король голый. Для того чтобы доказать характер 12-го года, его стихийность, его народность, величие народного подвига, для того чтобы отказаться от условного, Толстой должен был увидать Бородинское поле в реальности, до мелочей.

Лев Николаевич, от всех отрезанный, переставший писать дневники, погруженный в прошлое, пытающийся через прошлое понять настоящее, собирается поехать на реальное поле битвы, в деревню Бородино, где сотни лет пахали и убирали хлеб, косили и сушили сено крестьяне окрестных деревень, где сражались пятьдесят лет от времени написания романа французы, двигающиеся на Москву, и русские, защищающие родной город.

II

Казалось, что уже пора было приступить к переговорам о печатании книги.

В 1867 году Лев Николаевич поехал для этого в Москву и еще для того, чтобы осмотреть Бородинское поле. Он уговорил жену и, оставив больных детей, уехал

23 сентября ранним утром он приехал в старый Кремль, увидал узкие проходы, треугольные дворики, длинные дворцы и спокойные кремлевские широкоплечие многоголовые соборы.

Ему нужен был товарищ для поездки на Бородино, но все были заняты, и он поехал с 12-летним братом Софьи Андреевны, Степаном Андреевичем Берсом, которого, конечно, звали тогда Степа.

Первые десять верст от Москвы были не тяжелы, но дальше дорога пошла по гатям: ехали старой, брошенной Можайской дорогой.

К тому же забыли дома провизию и погребец, и только у Степы оказалась корзиночка винограда.

Сто верст проехали за сутки. На Бородине остановились в Спасо-Бородинском монастыре, построенном на месте гибели генерала Тучкова его вдовой. Здесь была знакомая игуменья.

Два дня Лев Николаевич ходил по этому полю, где за полстолетия до того сражались с двух сторон более двухсот тысяч человек, где пало сто тысяч бойцов с обеих сторон. Все изменилось: избы перестали быть местами для засад, изгороди уже не были препятствием для кавалерии и прикрытием для

пехоты, поля опять покрыты рожью, старые могилы уже не давали пестроты полю, земля сравнялась, была перекопана, перепахана.

Два дня ходил Лев Николаевич, искал очевидцев боя, узнал, что старый солдат, сторож одного из памятников на Бородинском поле, недавно умер. Лев Николаевич опять ходил, смотрел; Степа в монастыре играл с собакой, оставшейся от старого солдата.

Лев Николаевич хорошо знал по книгам эти места, но по дороге делал записи; первые записи он даже поручил заносить на широкую бумажку Степе. Ему казалось, что литературная работа проста и каждый может помочь. Степа записывал: Кутузов приехал на смотр, делал смотр в Цареве-Займище, поехал на Старицу и Зубцов. Он записывал, что 23 сентября — пятьдесят пять лет тому назад — была хорошая погода, что «Горки — высокий пункт». Таких отрывистых записей восемь.

Лев Николаевич потом начинает писать сам: в его записях изображения людей, детали.

Он записывает: «Коновницын подпоясан в шинели шарфом и колпаке». «Подбородок Кутузова». Потом опять запись: «Даль видна на 25 верст. Черные тени от лесов и строений на восходе и от курганов. Солнце встает влево, назади. Французам в глаза солнце».

После многих переделок в романе появилось простое и убедительное описание: «Солнце взошло светло и било косыми лучами прямо в лицо Наполеона, смотревшего из-под руки на флеши. Дым стлался перед флешами, и то казалось, что дым двигался, то казалось, что войска двигались».

«Подбородок Кутузова», одежда русских генералов — это то, что в поэтиках называли метонимией — часть вместо целого, но часть сознательно выбранная. Коновницын одет в бою не нарядно, Кутузов дан как бы случайно — не осанкой, не зорким взглядом. Он как бы уперся, он думает — выжидает.

Лев Николаевич хорошо знал исторический материал, у него дома была портретная галерея Зимнего дворца, посвященная 1812 году, — портреты этой

галереи были уже изданы шестью большими томами. У него находились книги Михайловского-Данилевского и «Походные записки артиллериста», изданные анонимно, написанные Ильей Радожицким, который впоследствии служил на Тульском оружейном заводе.

Радожицкий — смелый и толковый артиллерийский офицер, скромный, как герой «Войны и мира» Тушин, умел писать. Вот картина Бородинского боя, им оставленная, — я даю ее, конечно, кусками: «Речка Колоча протекала перед линиею, выходя слева из большого леса, и, заворачиваясь около правого фланга, впадала в Москву-реку; возвышения по правому ее берегу с нашей стороны были довольно круты и командовали левым берегом; большая дорога от Смоленска в Москву пересекала р. Колочу при с. Бородине, почти в центре позиции. Высокий курган на нашем берегу, казалось, нарочно предназначен был для обозрения Главнокомандующему всего пространства поля битвы. Отсюда цепь возвышений тянулась к левому флангу, закругляясь до большого леса, который покрывал весь этот фланг и тыл наш На этом-то пространстве, от леса до устья Колочи, почти на семь верст протяжения, расположены были Российские войска с резервами в три линии. По всему фронту на высотах, для прикрытия артиллерии, поделаны были окопы; их строили при нас, день и ночь, пришедшие ратники ополчения»

Огромное поле было украшено памятниками; стоял монастырь, леса и кусты окружали памятники, и поле как будто сдвинулось, уменьшилось. Солнце клало черные тени от лесов.

Лев Николаевич ходил по еще не вполне изглаженным редутам и следам флешей, понятных ему, как бывшему артиллеристу и участнику великой обороны Севастополя. Может быть, он вспомнил о разговоре Фигнера — знаменитого партизана — с Ильей Радожицким. Фигнер говорил, что Наполеон бросится всеми силами на левый фланг. Нужно сказать, что в донесении царю Кутузов тоже упоминал о слабости левого фланга.

Описание Радожицкого — правдиво и точно, и, может быть, Лев Николаевич по нему построил великое описание Бородинского боя и выдвинул мысль, принятую многими военными авторитетами, о том, что Наполеон еще 24 сентября 1812 года внезапно перешел Колочу и взял наш левый фланг — Шевардинский редут, но ослабел от ударов и 25-го не было сражения, а 26-го произошел бой на спешно приготовленных русскими позициях. О том, что позиции строятся московскими ополченцами, упоминает и Радожицкий: «Московские ратники оканчивали насыпи на батареях».

Таким образом, благодаря инициативе Наполеона весь бой был повернут, планы диспозиций смяты. Поэтому Толстой дал в тексте романа план сражения так, как он его осмыслил.

Сражение вырастало перед Толстым, он изменял свои решения, развертывал описание, вводил Пьера с его непониманием боя. Он писал, вернувшись в Москву: «Я очень доволен, очень — своей поездкой и даже тем, как я перенес ее, несмотря на отсутствие сна и еды порядочной. Только бы дал бог здоровья и спокойствия, а я напишу такое Бородинское сражение, какого еще не было».

Гоголь говорил: *«Передовыми людьми* можно назвать только тех, которые именно видят все то, что видят другие (все другие, а не некоторые), и, опершись на сумму всего, видят все то, чего не видят другие. .»

Генерал Драгомиров согласился с Толстым в его толковании Бородинского сражения, хотя до великого романа и не видал того, что увидал Толстой. Но главное в решении Толстого — это не вопрос о расположении фронтов французской и русской армий; он решал вопрос о значении боев, о причинах исторических событий, о значении народного самосознания в войне; он решал это путем анализа психологии солдат, Кутузова, немцев-военачальников, Пьера, Андрея Болконского и доктора, истомленного множеством ампутаций.

Это великое решение, но так решал в то же время

Чернышевский, мысли которого Толстой не знал, потому что Чернышевский писал в казематах Петропавловской крепости. Великие и непохожие умы одинаково видели мир.

Два дня ходил Лев Николаевич, пытаясь вернуть прошлое. На обратном пути Толстому попалась крупная тройка и ямщик огромного роста. Он вынес тарантас на шоссе и мчал легкую повозку во весь опор. Туман лежал на осенних листьях, высокая голубая луна сияла в небе, освещала туман и желто-синие, тоже похожие на тучи, вершины берез. Туман спускался с леса и ложился на шоссе, тень великана ямщика, и тень Толстого, и перебивающие тени конских голов бежали по туману.

Телега неслась по ухабистому небесному туману. Лев Николаевич заметил, что Степа боится, и спросил мальчика, чего он хочет в своей жизни.

Степа ответил: «Мне очень жаль, что я не ваш сын, Лев Николаевич».

Лев Николаевич знал, что дети его любят, он не удивился на ответ. Он ответил, глядя на тени, которые бежали по левой стороне дороги, перекрывая клубы тумана:

«А мне хочется, Степа, быть понятым другими. Историки описывают неверно и внешне, а надо для того, чтобы понять, угадать внутреннее строение жизни».

УЧЕНИКИ ЯСНОПОЛЯНСКОЙ ШКОЛЫ, ПЛАТОН КАРАТАЕВ И НИКОЛАЙ РОСТОВ

В 1862 году Лев Николаевич занимался педагогикой и убеждался в том, о чем когда-то писал Руссо: что в ребенке есть элементы совершенного, неповрежденного человека.

В статье «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас, или нам у крестьянских ребят?» Лев Николаевич выяснял для себя: чье самосознание выше, сильнее — у него или у крестьянского ребенка.

В одном из вариантов статьи он писал: «Представьте себе совершенный математически верный,

живой, своей силой развивающийся шар. Все части этого шара растут своею, соразмерной другим частям силой. Шар этот есть образец совершенства, но он должен вырасти до положенного ему предела величины, среди бесчисленного количества таких же свободно растущих шаров... Задача в том, чтобы довести шары до их величины, сохранивши их первобытную форму... Нарушает первобытную форму только насилие».

Мечтая о свободном человеке, Толстой видел такого человека в крестьянских детях, еще не изуродованных насилием. Крестьянский мир кажется ему соединением свободно растущих, не нарушающих свою первобытную форму живых сил.

Идеалом крестьянского мира тогда Толстой считал казачество. И здесь он входит в противоречие, потому что сам он помещик, хочет быть добрым помещиком, а казачество — это общество без помещика. Свободно развившегося человека Толстой хотел видеть в Ерошке, но мир Ерошки разрушен — уже не те казаки вокруг него. Люди судятся, оттягивают друг у друга сады: прошло казачество. Прошло патриархальное крестьянство, прошло давно.

Толстой считает, что «идеал лежит не спереди, а сзади».

Платон Каратаев принадлежит к этому идеалу.

Образ Платона Каратаева был создан Толстым во время завершения текста: в плане ни Каратаева, ни человека, за которым мы должны предполагать Каратаева, нет. Пьер в плену одинок; он бережет вынесенного им из огня ребенка.

Каратаев введен в роман небольшим и плотным описанием, занимая две главы в эпизодах плена Пьера Безухова и потом в следующей книге при описании отступления французов из Москвы еще несколько глав.

Каратаев из зажиточной семьи, в которой много взрослых мужчин.

«— Вотчина у нас богатая, земли много, хорошо живут мужики и наш дом, слава тебе богу. Сам-сем батюшка косить выходил. Жили хорошо».

После того как Платон за порубку леса вместо брата попал на военную службу, крепкая семья не пошатнулась.

«— Пришел я на побывку, скажу я тебе. Гляжу — лучше прежнего живут. Животов полон двор, бабы дома, два брата на заработках».

У Каратаева все идет к лучшему. Войны он не видит и о ней не говорит.

Строевой солдат русской армии начала XIX века был оторван от крестьянства и должен был пройти многие поля и страны, если проходил через бой.

Про русского солдата эпохи 1812 года иностранцы писали очень много. Приведу две выписки: «Русский умирает с неустрашимостью на том самом месте, на котором начальник его приказал ему умереть» *(Бюожине)*.

Это солдат стойкий, сильный, привычный к строю.

«Русские умирают в битвах, и их батальоны не просят пощады...» *(Канфич)*.

Считая, что Платон Каратаев сдан на службу 21 года — он на службе тридцать лет, во всяком случае больше двадцати пяти лет. Значит, он вступил на службу в восьмидесятых годах XVIII века. Таким образом, Каратаев — солдат суворовских времен с большим военным опытом.

Солдат эпохи походов Суворова был хорошо обучен; инициативен; понимал свой маневр.

Между тем Платон Каратаев у Толстого не солдат, а мужик, хотя сказано, что Платону Каратаеву должно быть за пятьдесят лет, судя по его рассказам о походах, в которых он участвовал давнишним солдатом

Каратаев — мужик в плену, как Пьер — барин в плену.

В то же время плен возвращает Каратаева в патриархальный быт деревни.

Это капли жидкости, принявшие, по мысли Толстого, свою шарообразную истинную форму.

«Он не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятель-

ности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла, как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал».

Толстой утверждает, что Платон Каратаев «неохотно говорил про свое солдатское время, хотя не жаловался и часто повторял, что он всю службу ни разу бит не был».

Каратаев охотно сбросил с себя все напущенное, солдатское и «невольно возвратился к прежнему крестьянскому, народному складу».

«— Солдат в отпуску — рубаха из порток, — говаривал он».

В говоре Каратаева солдатского тона нет.

Толстой подчеркивает: «Поговорки, которые наполняли его речь, не были те большей частью неприличные и бойкие поговорки, которые говорят солдаты».

Трудно поверить, что человек, тридцать лет служивший в боевой обстановке, в заграничных походах, в очень крепко спаянных русских полках, так не принял ничего военного и остался до такой степени крестьянином.

Сообразно с этим Каратаев говорит пословицами, которые он сам не замечает и даже не может повторить.

Отметим, что все эти пословицы взяты Толстым из книг.

Книжна и характеристика пословиц.

«Главная особенность его речи состояла в непосредственности и спорости. Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал и что он скажет, и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная, неотразимая убедительность».

Каратаев все умеет делать «не очень хорошо, но и не дурно».

Он любит петь, но «не так, как поют песенники, знающие, что их слушают».

То, что говорит Платон Каратаев, как бы очищено и обобщено, как бы уже издано.

Это в описании дает особый «дух простоты и правды».

Толстой эпохи написания «Войны и мира» занимался фольклором, русскими былинами, изучал пословицы; в его библиотеке был Буслаев, глубокий, но тенденциозный исследователь, преувеличивающий косность фольклора.

Буслаев в «Исторических очерках» писал: «В период эпический исключительно никто не был творцом ни мифа, ни сказания, ни песни. Поэтическое воодушевление принадлежало всем и каждому...»

В другом месте в той же статье Буслаев пишет: «Все шло своим чередом, как заведено было испокон веку... Даже минутные движения сердца, радость и горе выражались не столько личным порывом страсти, сколько обычными излияниями чувств — на свадьбе в песнях свадебных, на похоронах в причитаньях, однажды навсегда сложенных в старину незапамятную и всегда повторявшихся почти без перемен. Отдельной личности не было исхода из такого сомкнутого круга».

Буслаев говорил: «Вся область мышления наших предков ограничивалась языком. Он был не внешним только выражением, а существенною составною частью той нераздельной нравственной деятельности целого народа, в которой каждое лицо хотя и принимает живое участие, но не выступает еще из сплошной массы целого народа».

Здесь исследователь преувеличивает и идеализирует то, что Толстой называл «роевым» началом в народе.

Между тем фольклор имеет свою направленность; эту направленность впоследствии формулировал В. И. Ленин, говоря, что фольклор выражает чаяния и ожидания народа; фольклор не только создание истории, но и предчувствие будущего.

Действия Ильи Муромца в былинах не безобидны и не нейтральны; недаром он «старый казак».

Мудрость Каратаева — та детская покорность, которую Толстой в школе не встретил

Школа в Ясной Поляне была уничтожена жан-

дармами, но жандармский налет только предварил события: сам Толстой уже подрезал и пересадил себя, как яблоню, как он писал в письме А. А. Толстой, он хотел перейти в обычную колею дворянского быта. Ища путь счастья на обычных путях, Толстой женился. Он хотел быть, как все, он не хотел быть «пегим», как Холстомер, он хотел быть помещиком, аристократом, живущим в своей деревне, ни от кого не зависящим.

Это было отступление.

В писании своем, развертывая анализ, Лев Николаевич дошел до описания плена Пьера.

В плену Пьер опростился, освободился от семьи и имущества, узнал Платона Каратаева. Познание Толстой оформляет в противоречивую форму сна.

В сон входит действительность, действительность по-своему разгадывает то, что дано во сне. Разгадка эта жестока.

Во сне Толстой видит Платона Каратаева так, как он видал крестьянских детей в яснополянской школе.

События действительности соединяются со сновидениями. Пьер думает: «...жизнь есть все. Жизнь есть бог. Все перемещается и движется, и это движение есть бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания божества. Любить жизнь, любить бога. Труднее и блаженнее всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий».

«Каратаев!» — вспомнилось Пьеру.

И вдруг Пьеру представился, как живой, давно забытый, кроткий старичок учитель, который в Швейцарии преподавал Пьеру географию. «Постой», — сказал старичок. И он показал Пьеру глобус. Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею.

— Вот жизнь, — сказал старичок учитель».

Таков сон. Каратаев разлился и исчез.

— Vous avez compis, mon enfant, — сказал учитель.

— Vous avez compris, sacré nom, — закричал голос.

Сон говорил: «Ты понимаешь, дитя?»

Действительность говорит: «Ты понимаешь, проклятый?»

Оказывается, что Платон Каратаев застрелен, и его лиловая собачка перешла теперь к Пьеру Безухову.

Пробуждение жестоко, хотя Толстой принимает это пробуждение и исчезновение Платона Каратаева.

В романе есть еще один мужик — партизан Тихон Щербатый, который убил помещика, а потом оказался героем, даже с точки зрения Василия Денисова. Тихон Щербатый — в своей тенденции пугачевец, он проходит в романе как бы боком.

Платон Каратаев принят целиком Толстым, но в конце романа Пьер становится декабристом. Освобождение Пьера, которое дал ему парадоксально плен, освободивши его от богатства и немилой жены, снявши с него чувство вины, — это освобождение кончилось, но в новой семье Пьер становится декабристом, которого не одобрил бы Платон Каратаев.

Когда-то Николай Ростов вовремя прибыл в село Богучарово, в котором бунтовали мужики: ударил «зачинщика» и привел всех в повиновение. Так он стал героем и освободителем Марии Болконской.

Теперь Пьер сталкивается с Николаем Ростовым, который недовольно выслушивает его. Николай спрашивает после того, как Пьер говорит о создании нового общества:

«— Общество может быть не тайное, ежели правительство его допустит. Оно не только не враждебное правительству, но это общество настоящих консерваторов. Общество джентльменов в полном значении этого слова. Мы только для того, чтобы Пугачев не пришел зарезать и моих и твоих детей и чтоб

Аракчеев не послал меня в военное поселение, — мы только для этого беремся рука с рукой, с одною целью общего блага и общей безопасности.

— Да, но тайное общество, следовательно, враждебное и вредное, которое может породить только зло.

— Отчего? Разве тугендбунд, который спас Европу (тогда еще не смели думать, что Россия спасла Европу), произвел что-нибудь вредное? Тугендбунд — это союз добродетели: это любовь, взаимная помощь; это то, что на кресте проповедовал Христос...»

Но Денисов говорит·

«— Ну, брат, это колбасникам хорошо тугендбунд, а я этого не понимаю, да и не выговорю... Все скверно и мерзко, я согласен, только тугендбунд я не понимаю, а не нравится — так *бунт,* вот это так! Je suis vot'e homme *».

Николай не принимает улыбки Пьера и смеха Наташи, которыми они приняли эти слова Николай говорит: «. вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить — ни на секунду не задумаюсь и пойду. А там суди, как хочешь».

Николай Ростов не только на словах выступал прямым врагом Пьера. Такие люди, как он, пошли и рубили и разбили декабристов.

Разговор слушает сын Андрея Болконского, потом во сне он видит картину, в которой Толстой выразил понимание декабрьского восстания.

«Он видел во сне себя и Пьера в касках, таких, какие были нарисованы в издании Плутарха Они с дядей Пьером шли впереди огромного войска. Войско это было составлено из белых, косых линий, наполнявших воздух подобно тем паутинам, которые летают осенью и которые Десаль называл le fil de la Vierge Впереди была слава, такая же, как и эти нити, но только несколько плотнее. — Они — он и Пьер — неслись легко и радостно все ближе и ближе к цели. Вдруг нити, которые двигали их, стали

* Тогда я ваш.

ослабевать, путаться, стало тяжело. И дядя Николай Ильич остановился перед ними в грозной и строгой позе.

— Это вы сделали? — сказал он, указывая на поломанные сургучи и перья. — Я люблю вас, но Аракчеев велел мне, и я убью первого, кто двинется вперед».

Николенька в ужасе, он чувствует уничтожение Пьера, который в то же время князь Андрей. Он чувствует «...слабость любви: он почувствовал себя бессильным, бескостным и жидким. Отец ласкал и жалел его, но дядя Николай Ильич все ближе и ближе надвигался на них. Ужас охватил Николеньку, и он проснулся».

Николенька просыпается со словами любви к отцу и к Пьеру Он говорит:

«— Да, я сделаю то, чем бы даже *он* был доволен...»

Этим кончается событийная часть «Войны и мира»

Произведение кончается обещанием юноши бороться.

Через описание возвращения декабриста в Москву подошел Толстой к великому произведению и кончил его словами юноши, сверстника Герцена

За время писания романа не сохранилось дневников Толстого Сама эпопея — дневник.

СЕСТРА СОФЬИ АНДРЕЕВНЫ

Много раз описывались дочери доктора Андрея Берса.

Елизавета Берс считалась скучноватой, хотя и образованной девушкой. Впоследствии она писала и печатала вещи для народа и исследование о курсе русского рубля. Соня и Таня были дружны друг с другом и были похожи друг на друга — способны, кокетливы и не поэтичны. Про Соню Берс, будущую жену, Толстой 8 сентября 1862 года пишет: «Ничего нет в ней для меня того, что всегда было и есть в

других — условно поэтического и привлекательного, а неотразимо тянет».

Соня была кокетлива и привлекательна. «Вечером она долго не давала мне нот. Во мне все кипело. Соня напустила на себя Берсеин татьянин, и это мне казалось обнадеживающим признаком. Ночью гуляли».

Лев Николаевич еще в «Детстве», «Отрочестве» и «Юности» отмечал особенности семейного способа выражаться, своеобразное семейное арго. Таня Берс дала термин для обозначения условной кокетливой манеры.

Молодая, подвижная, переменчивая, легко входящая в чужую жизнь, умеющая верить сама себе, умеющая пересказывать по-разному свои переживания, начитанная Татьяна Андреевна, кроме того, была талантлива — очень музыкальна и обладала прекрасным контральто.

О ее личной жизни мы знаем по ее мемуарам, написанным уже в старости, с широким использованием литературных источников.

В книге «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» Татьяна Андреевна не только использует воспоминания Софьи Андреевны, но и сложно комментирует художественные произведения Льва Николаевича. Ее жизненные наблюдения и характеристики иногда оказываются цитатами.

За Татьяной Берс ухаживали Ковалевский и Анатолий Шостак. С Шостаком, по ее словам, она целовалась в лесу, и они говорили друг другу слова, похожие на слова, сказанные Анатолем Курагиным Наташе Ростовой.

Так как в лесу, кроме них, никого не было, Толстой знать эти слова не мог, скорее Татьяна Андреевна узнала их из «Войны и мира» — ей это произведение было известно со многими вариантами, так как она не раз писала под диктовку.

Тем не менее Анатолий Шостак, несомненно, существовал, но характеристику, которую ему дает мемуаристка, она, как это уже отмечалось в литературе, приводит из воспоминаний Нагорновой «Оригинал Наташи Ростовой в «Войне и мире», напечатанных в 1916 году.

Конечно, Нагорнова могла записать и высказывания самой Татьяны Берс, но мемуаристка приводит характеристику в кавычках, она как бы этими кавычками делает свои воспоминания объективно обоснованными общим мнением: «Он был самоуверен, прост и чужд застенчивости. Он любил женщин и нравился им. Он умел подойти к ним просто, ласково и смело. Он умел внушить им, что сила любви дает права, что любовь есть высшее наслаждение».

Характеристика Анатолия Шостака, вероятно, связана с характеристикой Анатоля Курагина, но Анатоль Курагин был записан Толстым раньше, чем Анатолий Шостак неудачно приехал в Ясную Поляну.

Большое место в воспоминаниях Татьяны Берс и Софьи Андреевны занимают отношения Тани со старшим братом Льва Николаевича — Сергеем Николаевичем.

Сергей Николаевич прожил почти всю жизнь в имении, занимался охотой, жил несколько архаичной жизнью, соблюдал нравы старого дворянства. Он был прекрасным братом, обладал способностью улаживать недоразумения путем личных переговоров, много раз он выручал Льва Николаевича в его молодости из денежных затруднений. Последнее время он жил в имении, охотился и читал английские романы, научившись языку самоучкой.

Татьяна познакомилась с Сергеем Николаевичем очень рано — она была ему родственница. Между ними было двадцать лет разницы в возрасте — не меньше; первоначально он к ней относился, как к девочке.

Сергей Николаевич был красив, очень спокоен, очень независим и нравился Татьяне Андреевне. Мне кажется, что он сам не стремился завязать роман; те рассказы, которые приводятся в письмах, поэтичны, но говорят о том, как старый уже человек сидит вместе с молодой девушкой, с сестрою жены брата.

Уже пятнадцать лет Сергей Николаевич был женат на цыганке Марии Шишкиной, которую он вы-

купил совсем молодой из табора. Он имел от нее детей, но еще не оформил брака.

Лев Николаевич когда-то считал, что брат должен оставить мост для отступления, и полушутя говорил, что Сергей должен жениться на дочке генерала. Семейная жизнь Сергея Николаевича ни для кого не была секретом, так как Лев Николаевич постоянно бывал у него в доме.

Но начался длинный роман — Берсеин татьянин. Вероятно, началось все с кокетства молодой девушки. Вероятно, не раз Сергей Николаевич говорил Тане ласковые слова. Раз он с нею пережидал грозу в тихой комнате своей старой усадьбы. Таня грозы боялась и попросила деверя побыть с ней.

Слово «любовь», может быть, было выхвачено с губ сурового и неопытного человека, хотя и не в тот грозовой вечер.

Татьяна Андреевна была настойчива.

Толстой писал 1 января 64-го года: «А как я смотрю на ваше будущее? Ты хочешь знать. Вот так. — Сережа обещал приехать к нам через два дня и не приезжал до сих пор. Мы узнали, что Маша рожает, но еще прежде этого я стал очень беспокоиться».

Толстой уговаривает невестку: «В душе, *перед богом тебе говорю,* я желаю *да,* но боюсь, что *нет*».

Происходили встречи. Таня ездила на охоту с Львом Николаевичем.

А Лев Николаевич часто бывал у своего брата в имении Пирогово. С этим имением было связано много воспоминаний, и там была хорошая охота.

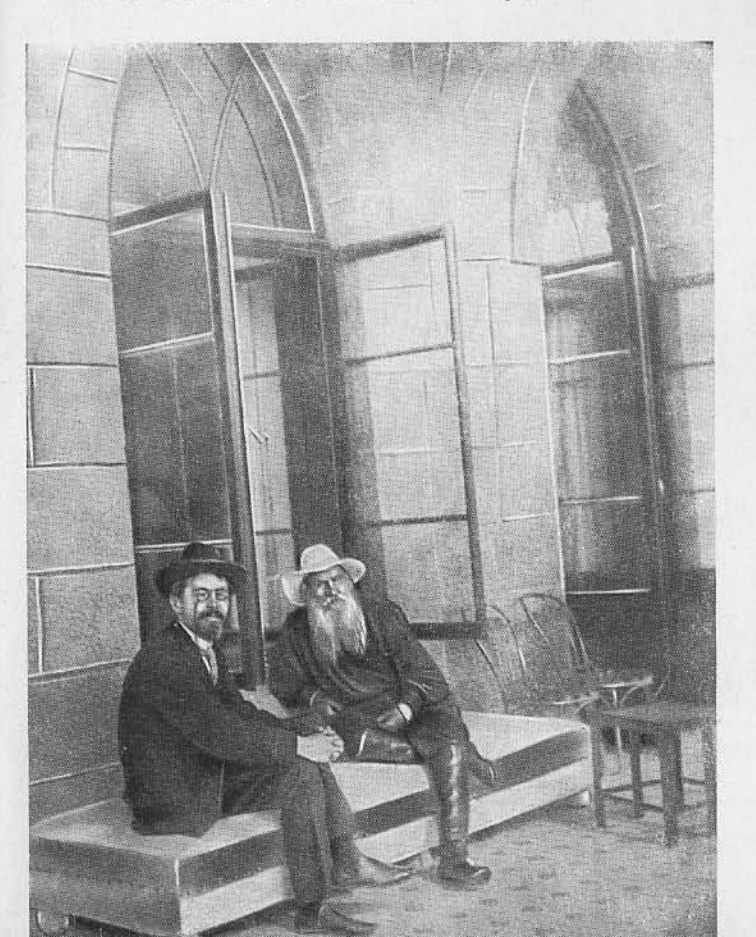
9 августа 1864 года Толстой записывает о воскресном дне в Пирогове: «Поехали мы по старой дороге. В четырех верстах забежал я в болотце и сделал промах по бекасу. Потом около Пирогова, у Иконских выселок убил дупеля и бекаса. Таня и куча мальчишек деревенских присутствовали и визжали».

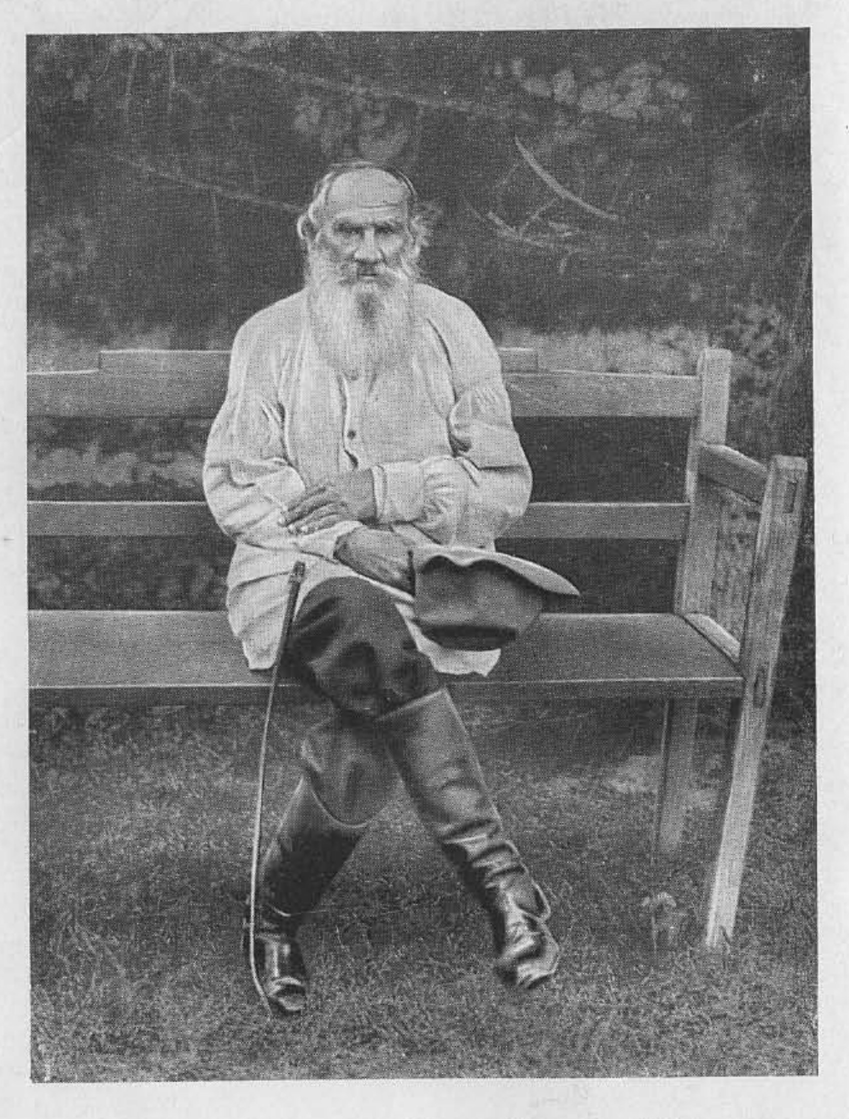
Дальше продолжалась охота. Лев Николаевич ходил по знаменитым пироговским болотам с собакой Доркой, которую он любил за то, что в ней нет



Л. Н. Толстой. Ясная Поляна, 1903 г.

Л. Н. Толстой и А. П. Чехов. Гаспра, 1901 г.





В день 75-летия. Ясная Поляна, 28 августа 1903 г.

никакого эгоизма по отношению к нему — Льву Толстому.

Спал Лев Николаевич в Пирогове во флигеле, потом записал: «У Сережи с Таней что-то было, — я вижу по признакам, и мне это очень неприятно. Ничего, кроме горя, и горя всем, от этого не будет. А добра не будет ни в каком случае».

Но в яснополянском саду по-прежнему происходили встречи, в яснополянском зале Татьяна у рояля пела романсы Фета.

Лев Николаевич слушал и беспокоился.

Татьяна Андреевна, молодая, красивая, хорошо ездившая на лошади, нравилась Сергею Николаевичу, опьяняла его вином своей молодой прелести. Охота до этого была почти единственным занятием Сергея Николаевича. Он из ребер затравленных волков делал изгородки клумб своего запущенного имения. Цыганские песни ему нравились, но уже отонравились.

Татьяна Андреевна расспрашивала людей, может ли брат жениться на сестре жены брата. По каноническим правилам это запрещалось; можно было разрешить брак только одновременно обоим парам, так как тогда они еще не оказывались родственниками до совершения обряда. Можно было найти сговорчивого священника, который обвенчает, не очень расспрашивая. Совершенный брак в таком случае не расторгался.

Дело как будто шло к свадьбе, но Сергей Николаевич в апреле 1864 года внезапно перестал бывать. Лев Николаевич написал брату письмо. В первых двух абзацах он называет его на «вы». Потом переходит на «ты». Письмо полно разговорами о Тане. В письме говорится, что про Сергея Николаевича в доме ничего не говорят такого, что нельзя сказать при нем самом.

Лев Николаевич еще до этого написал письмо Татьяне Андреевне: это письмо-предупреждение; написано оно 1 января 1864 года. Об этом же в конце января он пишет своей сестре Марье Николаевне. Содержание писем таково, что видно, что на брак

рассчитывать нечего: Сергей Николаевич любит свою жену и детей. Но Сергея Николаевича продолжали сватать.

Он сообщал сестре, что Сережа готов был ехать к ней за границу, вероятно спасаясь из запутанного положения. Но рожает Маша, и Сережа остался. Все запутанно. Толстой пишет про брата: «Он с Таней влюбились друг в друга и, как кажется, очень серьезно».

В конце письма сообщение о себе: «Я пишу роман из двенадцатых годов».

Лев Николаевич убежден, что семейная жизнь должна быть простая, что надо требовать верности, сходиться по зрелому размышлению, брать жену из подходящего общественного положения, а вокруг него все запутанно. Он хочет развести своего брата с его невенчанной женой, он пересылает своей сестре деньги от ее мужа, с которым она развелась, он знает, что у нее другой муж, и неожиданно в феврале он сообщает сестре: «Дай бог тебе самого лучшего счастья, которое дается не внешними условиями, а внутренними условиями состояния души: любви, строгости к себе и честности в отношениях жизни».

Лев Николаевич честен и проверяет свою честность в романе по сотне раз, перестраивая отношения между людьми, и одновременно пишет своей сестре про брата: «Я тебе писал о его секрете (пожалуйста, не упоминай о нем в своих письмах). Он боится, что это прочтут у него дома». Он продолжает: «Он любит Машу, чувствует свою обязанность к ней и детям и любит и любим там», и в то же время он требует, чтобы Сергей женился на Тане, потому что он уже двенадцать дней состоит ее женихом.

Татьяна Берс не была однолюбка.

Ею увлекался красивый, рослый кузен Александр Михаилович Кузминский, ей нравились многие знакомые Льва Николаевича, нравился и сам Лев Николаевич — старший друг; Сергей Николаевич был выбран в мужья с искренностью заблуждения.

9 июня 1865 года Софья Андреевна записывает: «Третьего дня все решилось у Тани с Сережей. Они

женятся. Весело на них смотреть, а на ее счастье я радуюсь больше, чем когда-то радовалась своему. Они в аллеях, в саду, я играла роль какой-то покровительницы, что самой было весело и досадно. Сережа стал мил мне за Таню, да и все это чудесно. Свадьба через двадцать дней или больше».

Но пришло известие о том, что Маша Шишкина рожает. Сергей Николаевич поехал домой и не вернулся, написав в письме, что свадьбы с Таней не будет.

Софья Андреевна записывает в дневнике:

«Ничего не сделалось. Сережа обманул Таню. Он поступил, как самый подлый человек..» Дальше опять записи: «Она его очень любила, а он обманывал, что любил.. А были уже двенадцать дней жених и невеста, целовались, и он ее уверял и говорил ей пошлости и строил планы. Кругом подлец. И всем скажу это, и пусть дети мои это знают и не поступают, как он, когда узнают эту историю».

Назревала огласка: пошли слухи, что цыганкина мать собиралась жаловаться архиерею, что свадьба незаконная.

Таня написала Сергею Николаевичу трогательное письмо с отказом. Копия была послана родителям.

Горе Берсов в Кремле после того, как они получили письмо о том, что Таня уже послала отказ Сергею, как говорится в романах, не поддавалось описанию.

Сергей Николаевич начисто отказался от женитьбы, и 25 июня 1865 года Лев Николаевич пишет брату:

«Не могу не уделить хоть малую часть того ада, в который ты поставил не только Таню, но целое семейство, включая и меня».

Девушка заболела, ее послали за границу. Одно время были у окружающих намерения выдать ее за богатого, недавно овдовевшего Дьякова; потом она вышла за Кузминского.

Когда готовилась свадьба, то произошел случай, который показался Берсам трогательным.

«Сестра моя сделалась невестой А. М. Кузминско-

го, которого с детства любила; но так как он был двоюродный брат, то надо было найти священника их перевенчать.

Совершенно независимо от них, Сергей Николаевич решил тогда вступить в брак с Марьей Михайловной и тоже ехал к священнику назначить день свадьбы. Недалеко от г. Тулы, верстах в 4—5-ти, на узкой проселочной дороге, уединенной и малоезженой, встречаются два экипажа. В одном — моя сестра Таня с своим женихом Сашей Кузминским без кучера, в кабриолете, и в другом, в коляске, Сергей Николаевич. Узнав друг друга, они очень удивились и взволновались, как мне потом рассказывали оба. Молча поклонились друг другу и молча разъехались всякий своей дорогой.

Это было прощание двух горячо любивших друг друга людей, и судьба поиграла с ними, устроив эту необыкновенную, неожиданную и мгновенную встречу в самых неправдоподобных, романических условиях».

Жизнь в кабинете, где писалась великая книга, шла сама по себе. То, что решалось рядом робко, с оговорками, с письмами к влиятельным родственникам, то, что было еще компромиссным и нерешительным, здесь перемывалось много раз, много раз перерешалось и находило решение, которое было окончательным

Отношения Софьи Андреевны и Льва Николаевича в это время были хорошие: она помогала мужу, она как будто бы начинала понимать его — ей уже нравилась «Война и мир», правда, без военных сцен, — нравилась упрощенно.

Лев Николаевич поссорился с братом. Написал ему несколько резких писем, потом помирился, невольно и ласково Отношения с домом, однако, испортились. Лев Николаевич сердился.

Софья Андреевна была беременна, она сидела у себя в комнате на полу около комода и перебирала узлы с лоскутами. Лев Николаевич вошел и сказал:

— Зачем ты сидишь на полу? Встань.

— Сейчас, только уберу все.

— Я тебе говорю — встань сейчас! — громко закричал он и вышел в кабинет.

Софья Андреевна обиделась и пошла за мужем выяснить, почему он кричал. Татьяна Андреевна, которая жила рядом с Софьей Андреевной, вдруг услыхала, что внизу бьют стекла и кричат: «Уйди! Уйди!»

Татьяна Андреевна вошла в кабинет. Сони уже не было, на полу лежала разбитая посуда и барометр, всегда висящий на стене. Лев Николаевич стоял посреди комнаты бледный, губы у него тряслись. Оказалось, что на тихий вопрос Софьи Андреевны: «Левочка, что с тобой?» — Лев Николаевич бросил об пол поднос с кофе, потом сорвал со стены барометр.

Татьяна Андреевна заключает свой рассказ так: «Так мы с Соней никогда и не смогли понять, что вызвало в нем такое бешенство. Да и как можно узнать эту сложную внутреннюю работу, происходящую в чужой душе».

СПОРЫ, ПРИЗНАНИЕ, ПОКУПКА И АРЗАМАССКИЙ УЖАС

Читательский успех «Войны и мира» был очень велик, хотя критика признала роман не сразу.

Вот отзыв довольно известного критика Н де Пуле о «Войне и мире»: «..Рассматривая беспристрастно роман графа Толстого, мы находим его далеко не совершенным Он напоминает не столько художественные романы Вальтера Скотта или Диккенса, также обильные сценами и лицами, но правильно и гармонически скомпонованные, сколько те средневековые мистерии и романические повести, где бесчисленные эпизоды громоздятся один на другой и лица сменяются, как в волшебном фонаре, являясь иногда неизвестно зачем и исчезая незнамо куда..»

Роман Л. Толстого именно потому не удовлетворил современную ему критику, что в нем Толстой поставил перед литературой новые задачи, осуществил новое построение и новую точку зрения.

Новое явление критиковали с точки зрения старой Приведу цитаты из статей 1868—1870 годов:

«...Главный недостаток романа графа Л. Н. Толстого состоит в умышленном или неумышленном забвении художественной азбуки, в нарушении границ возможности для поэтического творчества. Автор не только силится одолеть и подчинить себе историю, но в самодовольствии кажущейся ему победы вносит в свое произведение чуть не теоретические трактаты, то есть элементы безобразия в художественном произведении, глину и кирпич обок мрамора и бронзы».

«...Ошибка графа Толстого заключается в том, что он слишком много места в своей книге дал описанию действительных исторических событий и характеристике действительных исторических личностей. От этого нарушилось художественное равновесие в плане сочинения, утратилось связующее его единство».

Князь Вяземский спорил с Толстым в «Русском архиве», выступая не только как участник войны 1812 года, но и как критик. То, что он говорил, не было оригинальным: «Начнем с того, что в упомянутой книге трудно решать и даже догадываться, где кончается история и где начинается роман и обратно», — писал он.

Перед этим в «Сыне отечества» в 1868 году в № 13 написано:

«Вообще нужно сказать, что в этом томе (говорится про IV том) историческая часть застилает собой собственно романическую, и действие романа со страстями, страданиями, отношениями действующих лиц почти что не подвинулось на шаг».

Поэтому и рецензент газеты «Голос» (№ 11 за 1868 год) и Владимир Буренин в «Петербургских ведомостях» (№ 24 за 1868 год) в один голос утверждают, что сочинение Л. Толстого не роман.

Эти высказывания еще более окрепли после появления V и VI томов; кажется, никому и не приходил в голову вопрос: хотел ли Толстой написать *роман?*

Лев Николаевич освобождал искусство от старых ориентаций. Великие странствия Одиссея происходили от острова к острову. В доколумбовские времена плавание происходило вдоль берегов. Решение Колумба состояло в том, что он оставил берега и плыл поперек океана.

Звезды и компас получили новое значение.

В старых романах герои расходились и снова встречались. Теперь единство произведения состояло не в том, что в нем говорилось об одних и тех же людях, а в том, что, показывая судьбы то одних, то других людей, войны, пожары, восстановления городов, автор имел одну цель: понять отношение любой человеческой судьбы к общей истории народов и связывал все своим пониманием жизни.

Тургенев, создающий в это время произведения другого типа, не сразу принял путь Толстого и его книги.

Не надо, однако, представлять себе, что эти авторы только противопоставлены друг другу. Толстовские «Севастопольские рассказы» и многие другие рассказы не были бы написаны без работ Тургенева.

«Записки охотника» событийно связаны только тем, что праздный человек — охотник, не ища никаких приключений, идет по лесу и степи. Истинная реконструкция состоит в том, что люди труда — крестьяне, которые прежде показывались на втором плане, почти как часть пейзажа, входят теперь как основные герои и их судьбы сопоставляются. Охотник почти не показан, Ермолай, который его сопровождает, описан гораздо больше.

Шел рассказ с минимальным показом рассказчика, событийная связь казалась случайной, но была социальной связью.

Впоследствии Тургенев после ряда отрицательных оценок пришел к новой оценке «Войны и мира», он стал пропагандистом Толстого на Западе, еще задолго до примирения со старым другом, с которым был связан пониманием и высокой завистью.

Произведение было закончено. Увидено автором. В Ясной Поляне как будто настала тишина. Еще волнуется автор, ему кажется, что его не признают, он переоценивает Николая Страхова, потому что тот один из первых провозгласил произведение великим.

Не Страхов и не критики — читатели решили признание романа; везде о романе говорили, везде его читали, он разошелся в двух изданиях с невиданной в то время быстротой, и через четыре года, в 1873 году, появилось третье издание, значительно переработанное.

Удача пришла в Ясную Поляну.

После великого боя не сразу узнают, кто оказался победителем. Но вот наступила тишина победы.

Софья Андреевна опять достраивала дом.

Толстой подобрел, смягчился, поверил в себя, стал еще самостоятельнее. Он помирился с братом и начал хлопоты об усыновлении трех детей Сергея Николаевича от М. Шишкиной, с которой Сергей, наконец, повенчался к неудовольствию семьи Берсов.

Надо было устраивать судьбу подрастающих дочерей Марьи Николаевны, женщины милой, бескорыстной и взбалмошной, не очень ладящей с Софьей Андреевной. Дети эти жили пока что на птичьих правах: у Марьи Николаевны было четверо детей от двух мужей и очень небольшое имение. Племянниц Толстой прозвал Зефиротами. В слове этом есть что-то воздушное и нарушающее покой. Оно возникло случайно и не выдумано самим Толстым. Прозвище это произошло так: монахиня тульского монастыря, крестная мать Марьи Николаевны, как-то, приехав в Ясную Поляну, рассказала, что в газетах напечатано, будто прилетели в Америку не то птицы, не то люди. Поют они, и зовут их Зефироты. Зефиротов придумал и напечатал о них 1 апреля 1861 года в газете «Северная пчела» князь В. Одоевский, русский романтик.

Татьяна Берс тоже принадлежала к числу Зефиротов. Зефиротов своих Лев Николаевич и Софья Андреевна очень любили.

Толстой пишет в 1864 году, 9 августа: «Я заехал (в Пирогово, имение Сергея Николаевича — *В. Ш.*), отобедал с горьким маслом и хотел ехать, как явился Сережа. Он совсем не знал, что мы тут, просто катался со всеми Зефиротами и заехал сюда».

Софья Андреевна говорила однако, что Лев Николаевич звал Зефиротами не только детей Марьи Николаевны и Татьяну Андреевну, но и свою жену.

Зефироты оживили дом. Лев Николаевич смог каждой племяннице дать по десять тысяч: это были очень большие деньги, данные великодушным человеком, который перед этим считал десять рублей крупной суммой, а тысячу рублей — огромным займом.

До этого времени Лев Николаевич мог лишь мечтать о покупке имений. Его поместья увеличивались только долями наследств от умерших братьев. Правда, раз он прикупил рощу от казны и радовался тому, что соловьи теперь не казенные, а его, но это все было приобретение мелкое.

Во времена своей юности Толстой, проигравшись и разоряясь, продавал лес и продал дом на снос. Пришло время приобретения.

Впоследствии в неоконченной вещи «Записки сумасшедшего» Лев Николаевич вспоминал об этом времени с точностью и беспощадностью к себе.

«Меня очень занимало, как и должно быть, увеличение нашего состояния и желание увеличить его самым умным способом, лучше, чем другие... Мне хотелось купить так, чтобы доход или лес с имения покрыл бы покупку и я бы получил имение даром. Я искал такого дурака, который бы не знал толку, и раз мне показалось, что я нашел такого. Имение с большими лесами продавалось в Пензенской губернии».

Лев Николаевич тут как бы отчитывается сам перед собой и вскрывает все точно, страшно и обыденно: он рассказывает, как поехал со своим слугой, добродушным и веселым человеком. Поездка эта происходила в 1869 году. Об этой поездке есть письмо к Софье Андреевне. Из него видно, что уже тогда Толстой чувствовал себя раненым, хотя не знал глубины раны и причины беды.

Письмо начинается с расспросов: что случилось дома, казалось, что дома несчастье. «Я второй день мучаюсь беспокойством. Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было два часа ночи, я устал страшно, хо-

телось спать и ничего не болело, но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас, такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии; но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал и никому не дай бог испытать».

На другой день тоска возобновилась.

Доскажем, как через много лет Лев Николаевич снова, уже глубже ее понимая, рассказал про эту тоску. Приехали в город, все спали, зазвучали колокольчики, лошадиный топот как-то особенно отражался от домов; дома были какие-то большие, белые; гостиница была белая, и все это было очень грустно. Сергей Арбузов бойко и весело вытащил из повозки что надо было; Лев Николаевич попал в «нумерок»: «Чисто выбеленная квадратная комнатка. Как, я помню, мучительно мне было, что комнатка эта была именно квадратная. Окно было одно с гардинкой — красной. Стол карельской березы и диван с изогнутыми сторонами».

Толстой не мог спать. Он чувствовал, что от кого-то убегает, и не мог понять, отчего он убегает: «Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я, вот он, я весь тут. Ни пензенское, никакое имение ничего не прибавит и не убавит мне. А я-то, я-то надоел себе, несносен, мучителен себе».

Он спросил себя: «Чего я тоскую, чего боюсь?

— Меня, — неслышно отвечал голос смерти. — Я тут. — Мороз подрал меня по коже».

Толстой пытался стряхнуть с себя ужас. Смерть не должна быть близко, и он не думал, что сейчас умрет, он чувствовал свое право на жизнь и вместе с тем какую-то совершающуюся смерть.

Толстой пишет: «Я нашел подсвечник медный с свечой обгоревшей и зажег ее. Красный огонь свечи и размер ее немного меньше подсвечника, все говорило то же. Ничего нет в жизни, а есть смерть, а ее не должно быть».

Толстой стал думать: ничего невеселого не было, он думал о покупке, о жене, «...но все это стало ничто».

У него была тоска, такая тоска, как перед рвотой, но духовная тоска, он испытывал «...ужас красный, белый, квадратный».

Он пытался молиться.

На другой день как будто было и ничего. Поехал покупщик в имение — лес хороший, но смотрел он на этот лес и комнаты в доме и на новый блестящий, как подсвечник, медный самовар, как на чужое, как будто он какой-то урок исполняет, притворяясь, что хочет купить. Тоска начала повторяться, усиливаться. Толстой опять пытался молиться — это даже вошло в привычку, но не помогало. Он раз пошел на охоту, попал в крупный лес, шел на лыжах по глубокому снегу, пересекая прижатые снегом сучья, и вдруг почувствовал, что потерялся: «До дома, до охотников далеко, ничего не слыхать. Я устал, весь в поту. Остановиться — замерзнешь. Идти — силы ослабеют. Я покричал, все тихо. Никто не откликнулся. Я пошел назад. Опять не то. Я поглядел. Кругом лес, не разберешь, где восток, где запад. Я опять пошел назад. Ноги устали. Я испугался, остановился, и на меня нашел весь арзамасский и московский ужас, но в сто раз больше».

Толстой в «Записках сумасшедшего» говорит, что он начал читать библию — помогло мало, больше помогло евангелие и еще больше «Жития святых» — рассказы о почти обычной, но в то же время оправданной верой жизни.

Он жил, как все, опять поехал покупать имение. В имении леса не было, но оно было выгодно: «Особенно выгодно было то, что у крестьян земли было только огороды. Я понял, что они должны были задаром, за пастьбу, убирать поля помещика, так оно и было. Я все это оценил, все это мне понравилось по старой привычке. Но я поехал домой, встретил старуху, спрашивал о дороге, поговорил с ней. Она рассказала о своей нужде. Я приехал домой и, когда стал рассказывать жене о выгодах именья, вдруг устыдился. Мне мерзко стало».

В рассказе все делается сразу, быстро, но рассказ написан в 1884 году, а ужас пережит в 1869. За пят-

надцать лет произошло много. Лев Николаевич покупал, все же купил земли, и много и дешево, купил имение в Самарской губернии от башкирцев. Как это происходило, потом об этом расскажу.

Когда-то, с изумлением ссорясь с женой, которую, вероятно, любил, Лев Николаевич замазывал ссору поцелуями, понимая, что эта замазка ненадежная — она отскакивает. Ужас несправедливости мира он замазывал теперь чтением «Житий» и молитвой. Эта замазка держалась довольно крепко, но ржавчина, разъедающая жизнь под замазкой, все усугублялась и проступала через шпаклевку и краску. Пока было почти что счастье: большой дом, подрастающие дети, яблоневый сад, березовая роща, уже поднявшаяся, большая слава, которую можно было даже презирать, и неисчислимое количество задуманной работы: роман о Петре — казалось, тема правильно выбранная, потому что она разгадывала великое время России. Была другая работа — «Азбука», задуманная за год до арзамасского ужаса, в 1868 году. В этой «Азбуке» должно было быть все: арифметика, физика, история, география, литература. Все в таком виде, что могли бы читать «крестьянские и царские дети». Все и навсегда должно быть написано в «Азбуке». Это должно было быть памятником Льву Николаевичу, работой всей его жизни, восстановлением удачи яснополянской школы, воспоминанием о молодости и опытом новой литературы. Он хотел переделать всю Россию и начинал эту работу с «Азбуки», которую хотел сам написать и сам издать.

Книга должна была быть такая, чтобы ее хватило Робинзону на чтение и нравственное совершенствование, даже если бы он на необитаемом острове имел только эту книгу.

Это была нужная и как будто спокойная работа.

Но человек, который ее писал, испытывал ужас.

Белый, красный, квадратный, этот ужас нельзя было забить молитвами, и заботами об издании «Азбуки», и корректурами, и поисками хорошего шрифта для славянских текстов, чтением детям романов Жюля Верна и составлением к этим романам самодельных картинок.

А жизнь шла. Тетенька Татьяна Александровна стала сильно дряхлеть; из своей комнаты на втором этаже, что была рядом с залой, впоследствии гостиной, перешла она в нижний этаж, заняла маленькую комнату в пристройке, сказав Льву Николаевичу:

— Я сюда перешла, чтобы своей смертью не испортить вам хорошую верхнюю комнату.

Старое уходило, и между смертью и Львом Николаевичем как будто исчезала засека из старых, когда-то воспитывавших его, людей.

Дом был полон детьми: Сергею шел десятый год, Татьяне было восемь лет, Илье шесть, младшему сыну, Леве, — три года, Марии — два года.

Пока спорили, можно ли ехать с пятью детьми в самарскую степь, детей стало шестеро. В доме было вроде как и счастье.

Отец приучал уже старших мальчиков ездить на лошади, сажая их верхом без седла и стремян, чтобы они привыкали держать равновесие. Садились они на коня на одном только потнике, подвязанном ремнем.

22 июня всей семьей Толстые вместе с немцем-гувернером, Степой Берсом, нянями, Сергеем Арбузовым поехали в новое имение в Бузулукском уезде Самарской губернии. Ехали до Нижнего железной дорогой, от Нижнего на пароходе. Лев Николаевич смотрел — переменилась Волга, испестрела желтыми песчаными отмелями, закрылась дымами буксирных пароходов, прибавилось барж, прибавилось шуму от хлопанья по воде плиц пароходных колес.

Вперед семье отправили карету. Была она похожа на бабушкину карету, которую выкатывали в орешник лакеи, когда бабушка сама собирала орехи.

Карета была шестиместная, подарил ее старый приятель Льва Николаевича С. С. Урусов. Везли карету шесть лошадей — сперва в ряд четверка и впереди еще пара выносных. На одной из передних

лошадей садился форейтор. На крыше кареты стояли важи — старинные чемоданы; козлы кареты так широки, что садились на козлы трое. В карете ехали женщины с младшими детьми, остальные ехали в тележках с плетёными кузовами на длинных жердях.

Ехать надо было сто двадцать верст.

Ушла Волга, пошла степь с ковылем, пыреем, с полынью и душицами, по степи ходили и летали буро-белые дудаки, в воздухе парили белоклювые орлы — беркуты

Тихо прокладывая колею, катилась привычная к дальним дорогам карета, в траве стрекотали кузнечики, было легко и вольно.

Софья Андреевна кормила в карете младшего сына Петю. Остановились на хуторе, жили в избах, в амбаре, в кибитках. Жить было трудно, хотя вольно.

«АЗБУКА»

В мире, в котором живут люди — читатели «Азбуки», есть только мужики и господа. Живут они рядом. Мужики трудно. Вещи вокруг них привычные, привычно многое, о чем обычно не говорят, но надо привычное обобщить — это важнее оценки.

Толстой не думает, что детям надо знать только то, что он им сообщил сперва в яснополянской школе, а потом в «Азбуке». Он хочет научить русских детей видеть и обобщать, считая, что «наука есть только обобщение частностей».

«Задача педагогии есть, следовательно, наведение ума на обобщение ..»

Важны обобщения, «...которые нельзя предвидеть. Этими-то неожиданными обобщениями обогащается наука».

Для обобщения берутся басни, немногочисленные исторические записи и записи бытового, строго реалистического, иногда даже натуралистического характера, которые удивляли и огорчали рецензентов.

На первых страницах «Новой азбуки», там, где

идут упражнения для детей в чтении, в столбцах написано: «Блохи мелки. Брови черны».

Это дано как вещи обычные, без оценки, и не нравилось.

Поправляли при переизданиях «Азбуку» Толстой и другие за Толстого много раз. Приходилось добиваться официальной рекомендации книги в библиотеки и школы. 26 июля 1891 года Софья Андреевна записывала: «Поправляла весь день корректуру Азбуки. Ученый Комитет не одобрил ее ввиду разных слов, как: вши, блохи, черт, клоп, и потому, что ошибки есть, и еще предлагал выкинуть рассказы: О лисе и блохах, о глупом мужике и другие, на что Левочка не согласился».

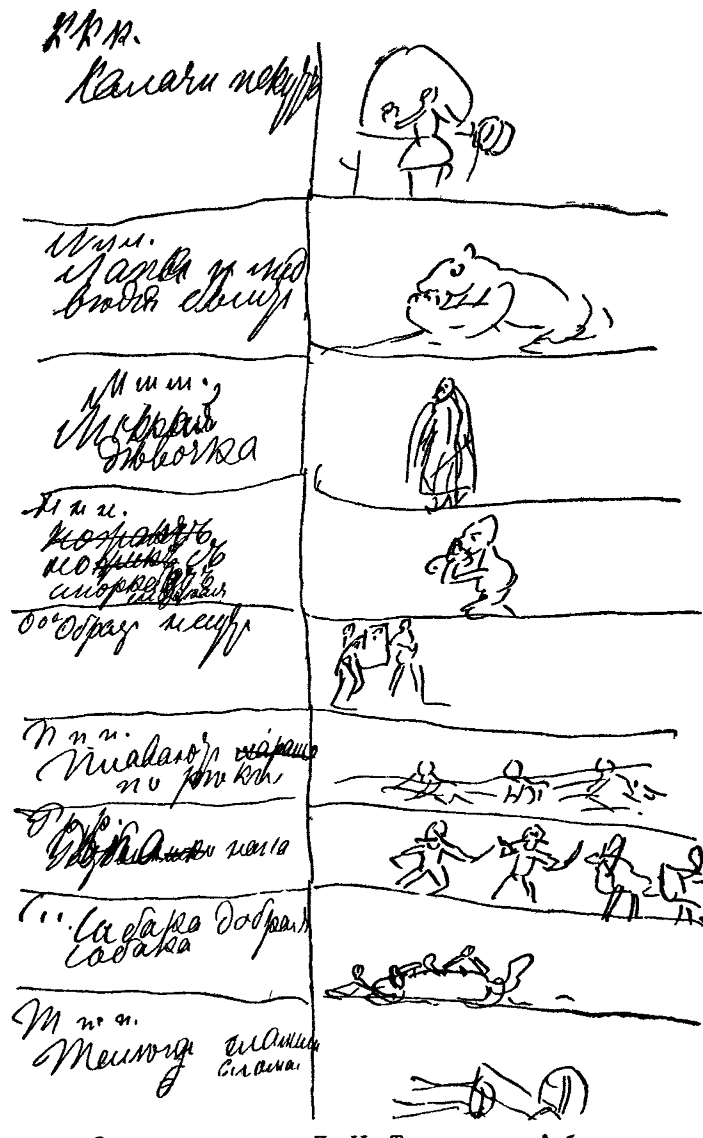
Для Толстого это быт, который часто не нравится, но еще не переделан.

В книге третьей «Азбуки» (1872 г.) напечатан рассказ о том, как мыши обгрызли внизу двести молодых яблонь, посаженных Толстым. Рядом написан рассказ «Клопы»: оба рассказа начинаются со слова — Я.

Про яблони написано совсем как про людей — жалко, что яблони росли четыре года, а потом все они погибли, кроме девяти, и все это очень хорошо объяснено: «Кора у деревьев — те же жилы у человека: через жилы кровь ходит по человеку, — и через кору сок ходит по дереву и поднимается в сучья, листья и цвет».

Про клопов рассказано почти без раздражения: человек вступает с ними в бесполезное единоборство. Толстой ставит кровать на постоялом дворе посредине комнаты и под каждую ножку кровати ставит деревянную чашку с водой и думает про клопов: «Перехитрил я вас». Но клопы прыгают на него с потолка. Барин надевает шубу и уходит на двор, решив: «Вас не перехитришь».

Эти рассказы огорчали критиков, уж очень жизнь простая и мало в ней случается: она бесхитростная и некрасивая. Кроме того, огорчало и удивляло критиков, что в «Азбуке» нет вещей других писателей — ни Гоголя, ни Тургенева. Про другую жизнь



Записи и рисунки Л. Н. Толстого к «Азбуке».

рассказано мало: есть рассказ про эскимосов, про негров, но про европейцев рассказов нет.

То, что происходит в книгах, самое простое и старое; взяты басни Эзопа и еще более упрощены. Из нового рассказано про железную дорогу и про электричество. Рассказ про железную дорогу очень интересен. Он как бы противоречит книге в ее целом — называется он «От скорости сила». Внизу подзаголовок — «Быль».

Дорога мимо Ясной Поляны пошла недавно, на паровозы люди еще дивились, паровозы были как бы худощавее, чем теперешние, и потому казались выше.

Рассказ начат так: «Один раз машина ехала очень скоро по железной дороге. А на самой дороге, на переезде стояла лошадь с тяжелым возом. Мужик гнал лошадь через дорогу, но лошадь не могла сдвинуть воз, потому что заднее колесо соскочило. Кондуктор закричал машинисту: «Держи», но машинист не послушался. Он смекнул, что мужик не может ни согнать лошадь с телегой, ни своротить ее и что машины сразу остановить нельзя. Он не стал останавливать, а самым скорым ходом пустил машину и во весь дух налетел на телегу. Мужик отбежал от телеги, а машина, как щепку, сбросила с дороги телегу и лошадь, а сама не тряхнулась, пробежала дальше».

Машинист объясняет, что так убили лошадь и сломали телегу, а если бы послушались кондуктора, то сами бы убились и перебили всех пассажиров.

Мораль кондуктора напоминает разговор Толстого с Герценом о том, что если лед трещит, то единственное спасение — идти быстрее.

Сам Толстой был смел. Из поместья в поместье, минуя мосты, ездили летом через реки бродом, зимой и весной переезжали по льду, иногда ненадежному, переправлялись и в ледоход на лодке.

Дело не только в смелости — дело в решении и в оценке быстроты. Когда говорят, что надо идти быстрее, то возникает вопрос:

Куда идти?

В «Азбуке» Толстого люди живут деревенской жизнью и идти им некуда, железная дорога с паровозом появляется неожиданно; без нее эти люди могли бы жить, пахать, заводить корову, плакать, когда корова умерла, стареть, растить детей.

Книга говорит о простой морали — неподвижной. Города в ней почти нет, есть только рассказ, мало переделанный Толстым из рассказа ученика яснополянской школы. Рассказ называется «Как меня не взяли в город».

Мальчик просился в город, а его не взяли, он заснул от огорчения, город ему приснился Потом он пошел на улицу играть, а отец приехал из города.

Есть в «Азбуке» корабли; на одном корабле сын капитана, погнавшись за обезьяной, залез в такое место, что не мог вернуться, и отец под угрозой выстрела из ружья заставил сына прыгнуть в воду. В другом рассказе купаются дети, а к ним подобралась акула, и старый артиллерист, когда увидал акулий плавник рядом со своим сыном, сумел выстрелом из пушки убить акулу.

Это все рассказы о случаях поразительных, говорящих о людской смелости и об удаче.

Корабли, конечно, парусные, и все это почти басни, хотя все это быль.

Люди занимаются своей крестьянской работой, и примеры о строении вещества доходят, в сущности говоря, только до строения дерева — объясняется, почему втулка колеса делается из березы, а не из дуба.

Чтобы не кололась.

Деревня замкнута полями, и время как будто не движется. Есть рассказы из летописи, есть отрывки из библии, есть рассказ про Ермака, про разговор Петра I с мужиком и про то, как мужики тащили брошенные вещи из сгоревшей Москвы.

История неподвижна, она делается где-то за полями и к полям не приходит.

Рассказ об артиллеристе, стреляющем из пушки, и былины, пересказанные Толстым, стоят в одном плане и произошли в каком-то общем времени.

Тут скорости нет.

Жизнь патриархальная, медленная и тем самым сильная. Толстой мог бы написать: «от неподвижности сила». Такого рассказа нет, но Толстой собирался к тому времени издавать журнал «Несовременник».

Есть еще рассказ про Пугачева: Пугачев пришел в деревню, господа убежали, маленькую господскую девочку переодели в крестьянку, она Пугачеву понравилась, и он ей дал гривенник.

Пугачев был, но что такое было с Пугачевым, из-за чего он воевал с господами, не говорится: сказано только, что были крестьяне, которые спрятали господское дитя от Пугачева.

Господа воюют, ездят на кораблях, разбивают сады и охотятся, дети их учатся ездить верхом, чтобы охотиться и воевать. Рассказано, как четверо братьев, а Толстых как раз столько и было, учились верховой езде, как били они старого коня, которого звали Вороном, показывая свою удаль, и как пристыдил дядька мальчика, который мучил старую лошадь.

Много рассказов про охоту. Семь рассказов подряд — про мордашку Бульку. Мордашками звали сильных собак, с которыми охотились на крупного зверя. Когда барин уезжал на Кавказ, то он запер Бульку, с которым ходил на медведя. Булька разбил окно и нагнал барина. Это очень хорошо описано: «На первой станции я хотел уже садиться на другую перекладную, как вдруг увидал, что по дороге катится что-то черное и блестящее. Это был Булька в своем медном ошейнике, он летел во весь дух к станции. Он бросился ко мне, лизнул мою руку и растянулся в тени под телегой».

Потом рассказывается, как Булька сражался с кабаном. Рассказывается еще, как Булька сражался с волком, как дружил с другими собаками и ревновал хозяина к ним.

Рассказы о собаках подробны, по стилю отличаются от всех других рассказов: в них нет нравоучения; они полны точных деталей.

Казалось бы, что про Бульку Толстой должен был рассказать в «Казаках»; когда Оленин идет по лесу, то сказано, как бежит перед ним собака и как ее черная спина становится лиловой от бесчисленных комаров, которые на нее насели. Но Булька в «Казаках» не назван. В «Казаках» решаются большие вопросы. Булька показался в «Азбуке» как часть быта, обыкновенного быта Толстого. Барин в «Азбуке» вспоминает про Кавказ, вспоминает Бульку, чтобы не думать об Ерошке.

Кроме Бульки, есть еще рассказ про другую собаку — Дружка, который дрался с волком. Есть большой, очень медленный, спокойный рассказ «Охота пуще неволи». В нем говорится про охоту на медведя, про зимний лес, про ночевку в лесу на еловых ветках. «Я так крепко спал, что и забыл, где я заснул. Оглянулся я — что за чудо! Где я? Палаты какие-то белые надо мной, и столбы белые, и на всем блестки блестят. Глянул вверх — разводы белые, а промеж разводов свод какой-то вороненый, и огни разноцветные горят. Огляделся я, вспомнил, что мы в лесу и что это деревья в снегу и в инее мне за палаты показались, а огни — это звезды на небе промеж сучьев дрожат.

В ночь иней выпал: и на сучьях иней, и на шубе моей иней, и Демьян весь под инеем, и сыплется сверху иней».

В 1858 году зимой обошли медведицу — поехал Лев Николаевич на медвежью охоту. Стал Толстой на свое место с двумя ружьями ждать медведицу, но не отоптал вокруг себя места. Он всегда все делал по-своему и все заново решал.

Фет это рассказывает так: «Когда охотники, каждый с двумя заряженными ружьями, были расставлены вдоль поляны, проходившей по изборожденному в шахматном порядке просеками лесу, то им рекомендовали пошире отоптать вокруг себя глубокий снег, чтобы таким образом получить возможно большую свободу движений. Но Лев Николаевич, становясь на указанном месте, чуть не по пояс в снег, объявил отаптывание лишним, так как дело

состояло в стрелянии в медведя, а не в ратоборстве с ним».

Пошли загонщики; медведица внезапно выбежала на Толстого; Лев Николаевич выстрелил; потом выстрелил второй раз, попал, но не смог схватить второе ружье, оступился в снегу, медведица навалилась на него, стала грызть голову. Толстой втягивал голову в плечи, подставляя меховую шапку в пасть зверя.

Вожак по медведям, Асташков, подбежал к медведице и, ударив ее хворостиной, закричал негромко: «Куда ты? куда ты?»

Медведица испугалась, убежала; ее убили на другой день. У Толстого была порвана щека под левым глазом и сорвана кожа с левой стороны лба.

Фет уверяет, что Толстой, встав, когда его перевязывали, произнес: «Что-то скажет Фет?»

Фет — большой поэт, но случай под рождество 1859 года рассказан им себе в похвалу: как он все хорошо предвидел и как из-за того, что его не слушались, чуть не произошло несчастье.

Толстой через четырнадцать лет рассказывает все спокойно и страшно. У него главный герой Демьян — вожак, и главное не опасность, а охота: «А Демьян, как был, без ружья, с одной хворостиной, пустился по дорожке, сам кричит: «Барина заел! Барина заел!» Сам бежит и кричит на медведя: «Ах ты, баламутный! Что делает! Брось! Брось!»

Послушался медведь, бросил меня и побежал. Когда я поднялся, на снегу крови было, точно барана зарезали, и над глазами лохмотьями висело мясо, а сгоряча больно не было.

Прибежал товарищ, собрался народ, смотрят мою рану, снегом примачивают. А я забыл про рану, спрашиваю: «Где медведь, куда ушел?» Вдруг слышим: «Вот он! вот он!» Видим: медведь бежит опять к нам. Схватились мы за ружья, да не поспел никто выстрелить, — уж он пробежал». Дальше идет подробный рассказ, как взяли этого медведя

Целый отдел из трех рассказов посвящен в «Азбуке» описанию того, как рубят деревья. Весь кусок

Рассказы для «Азбуки».

написан слитно, вместе: помещик устраивает себе сад и невольно портит природу, он хочет вырубить сушь и дичь, видит большой тополь в два обхвата, тополь окружен порослью. Барину хочется, чтобы место было веселое, ему кажется, что старый тополь заглушен молодыми. Он вырубает молодые тополя, а старый тополь засыхает. Это были его дети, которые шли от его корня, и он уже собирался передать им свою силу; человек вмешался неумело, старик тополь засох даром.

Напрасно срубает помещик и черемуху. Подрубили дерево, навалились на него. «В то же время точно вскрикнуло что-то — хрустнуло в средине дерева; мы налегли, и как будто заплакало, — затрещало в средине, и дерево свалилось. Оно разодралось у надруба и, покачиваясь, легло сучьями и цветами на траву. Подрожали ветки и цветы после падения и остановились.

«Эх! штука-то важная! — сказал мужик. — Живо жалко!» А мне так было жалко, что я поскорее отошел к другим рабочим».

Третий рассказ называется «Как деревья ходят». Помещик опять вычищает около пруда сад, нашел черемуху и помнит, что сад был чищен, а черемуха большая, толстая. Оказывается, черемуха приползла сюда из-под липы, где глохла, но она успела уже отбросить старый корень и вцепилась «сучком за землю и сделала из сучка корень».

Получается так, что человек только путается в жизни, мешает жить деревьям.

Лев Николаевич любил патриархальную жизнь, любил ароматные самарские степи, уклоны холмов, травы, по которым ходили табуны коней, здоровый, спокойный народ башкирский, так же он любил и деревню. Для того чтобы понять башкирскую жизнь, он читал старые книги, решил, что башкирцы похожи на скифов, про которых рассказывал когда-то греческий историк и географ Геродот. Как-то получилось так, что и стремление писать проще, не украшеннее, о самом главном и простом, и знание сейчас живущих и не изменивших старый быт башкир привели Толстого к изучению греческого языка.

Греческая литература, простота старого рассказа помогли Толстому написать его «Азбуку».

Но Толстой, посмотревши на башкир, купил там землю, вернее перекупил ее, и очень недорого — по десять рублей за десятину (это почти что гектар).

Потом через год увидал, что все изменилось, что нет просторов, распахана степь, и живут там крестьяне, а потом пришел голод.

Толстой любил патриархальность, но сам как хозяин нес в себе ее разрушение, и поэтому «Азбука» — это книга о старой деревне, которая исчезает.

Что будет после — неизвестно.

«Скорость есть сила», но Толстой против скорости, потому что он не знает, куда ехать и зачем ехать.

Самым большим рассказом в «Азбуке» оказался рассказ «Кавказский пленник». Сам Толстой под крепостью Грозной чуть не попал в плен к чеченцам, русских офицеров в плен тогда попадало много, их с трудом и дорого выкупали семьи. Тема «русский среди чеченцев» — это тема «Кавказского пленника» Пушкина. Толстой взял то же название, но рассказал все по-другому. Пленник у него русский офицер из бедных дворян, такой человек, который все умеет делать своими руками. Он почти что не барин. Попадает он в плен потому, что другой, знатный офицер, ускакал с ружьем, не помог ему, а сам тоже попался.

Жилин — так зовут пленника — понимает, за что горцы не любят русских. Чеченцы люди чужие, но не враждебные ему, и они уважают его храбрость и умение починить часы. Пленника освобождает не женщина, которая в него влюблена, а девочка, которая его жалеет. Он пытается спасти и своего товарища, взял его с собой, но тот несмел, неэнергичен.

Жилин тащил Костылина на плечах, но попался с ним, а потом убежал один.

Этим рассказом Толстой гордится. Это прекрасная проза — спокойная, никаких украшений в ней нет

и даже нет того, что называется психологическим анализом. Сталкиваются людские интересы, и мы сочувствуем Жилину — хорошему человеку, и того, что мы про него знаем, нам достаточно, да он и сам не хочет знать про себя многого.

Кроме упражнений в чтении и маленьких рассказов, в «Азбуке» была еще и арифметика и наставления для учителя.

Вокруг этой книги пошел большой спор. Толстой в «Отечественных записках» сам выступил со статьей. Смысл статьи в том, что обычно педагоги предполагают, будто ребенок приходит в школу, не умея мыслить, и они его обучают мышлению и счету. Между тем ребята, уже играя друг с другом, умеют считать; они уже вступили в жизнь. Та книжная мудрость и книжные разговоры, которым их обучают педагоги, не дорога вперед, а дорога назад.

Толстой считал, что логическое рассуждение и выговаривание всего полными словами — это не главное и даже не только не самое нужное, но, вероятно, не нужное вообще. Лев Николаевич отстаивал другой тип человека. Поэтому в статье «О народном образовании» идет вопрос не только об азбуке, а о том типе цивилизации, которую хотели навязывать ребятам.

Толстой говорил, что главное — знание языка, живого языка и церковнославянского — мертвого языка для понимания живого, и арифметика как основание математики. В этом Толстой был прав.

Но он был неправ, когда считал весь прогресс жизни ложным, хотел остановить его, а нужна была скорость.

Лев Николаевич считал, что «Азбуку» затравили, и очень болезненно относился к отрицательным рецензиям. Но при жизни Толстого «Азбука», несмотря на свою дорогую цену — она стоила двадцать копеек, была переделана и издана двадцать восемь раз. Софья Андреевна сама торговала книжками.

Мне рассказывал старый книжник Миронов, который еще жив, как служил он мальчиком в книжном магазине на Никольской улице, где торговали,

главным образом книгами для народа. Мальчика посылали на Хамовники в дом Льва Николаевича. В темный сад выходили амбары, открывали амбарную дверь, выносили связки. Книги продавали не по счету, а по весу, зная, сколько экземпляров идет на пуд. С мальчиком присылали деньги за пуд «Азбуки».

Иногда Лев Николаевич, уже старый, помогал мальчику поднять «Азбуку» с земли и положить на голову. Показывал, как ее легче будет нести.

От Хамовников до Никольской улицы дорога очень далекая, а конка дорогá.

СНОВА В САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ

После усиленных занятий греческим языком Толстой в июне 1871 года поехал в старые, любимые им места, в башкирские степи; обосновался в селе на реке Каралыке (приток реки Иргиза), находящемся в ста пятидесяти двух верстах от уездного города Николаевска.

Приезд Льва Николаевича был нерадостен: «Пишу тебе несколько слов, потому что устал и нездоровится. Устал я потому, что только что проехал последние 130 верст до Каралыка. Башкирцы мои все меня узнали и приняли радостно; но, судя по тому, что я увидал с вечера, у них совсем не так хорошо, как было прежде. Землю у них отрезали лучшую, они стали *пахать*, и *бóльшая* часть не выкочевывает из зимних квартир».

Что же изменилось в Башкирии за последние десять лет?

Башкирцы и прежде не были чистыми кочевниками; перед отправлением на кочевку они засевали поля, но жили они скотом.

Постепенно башкирские степи заселялись, и земля от них отходила к русским помещикам.

С. Т. Аксаков в «Семейной хронике» рассказывает про своего деда, которого он в книге называет Багровым. Багрову надоело жить в Симбирской губер-

нии: «С некоторого времени стал он часто слышать об уфимском наместничестве, о неизмеримом пространстве земель, угодьях, привольях, неописанном изобилии дичи и рыбы и всех плодов земных, о легком способе приобретать целые области за самые ничтожные деньги. Носились слухи, что стоило только позвать к себе в гости десяток *родичей отчинников* Картобынской или Кармалинской тюбы, дать им двa-три жирных барана, которых они по-своему зарежут и приготовят, поставить ведро вина, да несколько ведер крепкого ставленного башкирского меду, да лагун корчажного крестьянского пива, так и дело в шляпе: неоспоримое доказательство, что башкирцы были не строгие магометане и в старину. Говорили, правда, что такое угощение продолжалось иногда неделю и две...»

Угощение стоило недорого. После него заключали договор. Землю не мерили, а определяли ее границу, например: «От устья речки Конлыелга до сухой березы на волчьей тропе, а от сухой березы прямо на общий сырт, а от общего сырта до лисьих нор» и т. д. В таких межах «заключалось иногда десять-двадцать и тридцать тысяч десятин земли! И за все это платилось каких-нибудь сто рублей (разумеется, целковыми) да на сто рублей подарками, не считая угощения»

В 1832 году башкирцы были признаны владельцами всех тех земель, «...кои ныне бесспорно им принадлежали». Правительственное это постановление было очень двусмысленно. В Башкирии жило много русских — крестьян, убежавших на новые земли, раскольников, вернувшихся из Польши, молокан, ушедших от религиозных гонений; появились помещики.

Башкирцам было разрешено продавать землю, но с тем чтобы у них оставалось на душу от 40 до 60 десятин.

В 1869 году были изданы правила о наделе припущенников в башкирских вотчинных землях. Припущенниками звались крестьяне, которые поселились на башкирских землях с разрешения местного населения. Припущенники в результате не получили почти ничего, а возникло знаменитое дело о хищении башкирских земель, которое закончилось в 1881 году бесполезной сенаторской ревизией.

Отзвуки о хищении башкирских земель есть в «Анне Карениной»: там Каренин разбирает документы, придавая отчету правильную и, по его мнению, строго законную, бюрократическую форму.

Земли были отмерены, и предполагалось, что припущенникам дадут по пятнадцати десятин в надел, а пятнадцать десятин останется в запасе. Кроме того, считалось, что будет образован фонд свободных вотчинных земель, которые башкирцы-вотчинники смогут продавать на основании приговоров сельских сходов. Предполагалось организовать также управление запасными землями, которые должны были находиться в распоряжении, но не в собственности министерства государственных имуществ.

Я пишу эту довольно длинную историю, потому что она имеет отношение, к счастью, не совсем прямое, к делам Льва Николаевича.

Запасные земли должны были обеспечить припущенников.

Но в 1871 году были изданы правила по продаже казенных земель без торгов. Покупать имели право отставные чиновники — от ста пятидесяти до пятисот десятин, а служащие чиновники имели право брать участки от пятисот до двух тысяч десятин.

Такие участки назначались для людей «наиболее заслуженных».

Но и эти правила о размерах владения не соблюдались. Земля не мерилась, границы ее по-прежнему определялись урочищами, а в указанных границах содержалось иногда и десять тысяч десятин. Расхищение земель охватило Оренбургский край, Уфимскую губернию и, как мы увидим, частично Самарскую.

Участки земли получили все, начиная от московского генерал-губернатора и самарского губернатора до казенной повивальной бабки.





Рисунки Л. Н. Толстого к роману Жюля Верна «Вокруг света в 80 дней».

Таким путем были распроданы все запасные земли в Оренбургской губернии и триста шестьдесят тысяч десятин в Уфимской губернии. Раскуплены были лучшие земли с пристанями по реке Белой, Уфе, Симе, в эти участки попадал и строевой лес.

Десятина богатейшей земли обходилась первоприобретателю в шестнадцать и восемь копеек; конечно, банки давали сразу ссуды, в десять раз превышающие покупную стоимость земель, но для удобства покупателей платежи были рассрочены на тридцать семь лет.

Так было распродано много больше миллиона десятин.

Покупщики спешили продать хотя бы часть земли, повышая цену. Происходил грабеж неслыханный и невероятный. Некоторое представление об условиях продажи в смягченном виде можно увидать в рассказе Льва Толстого «Много ли человеку земли нужно»: там земля как раз обводится по урочищам, но покупатель не чиновник, а богатый мужик. Башкирцы потеряли в кратчайший срок всю землю, припущенники начали арендовать землю у новых помещиков, и в краю все изменилось.

Теперь переходим на письма Льва Николаевича: «С тех пор, как приехал сюда, каждый день в 6 часов вечера начинается *тоска,* как лихорадка, тоска физическая, ощущение которой я не могу лучше передать, как то, что душа с телом расстается».

Жил Толстой и Степан Берс в кочевке, нанятой у муллы, мулла переехал в юрту рядом поменьше. Пол юрты по летнему времени был застелен ковылем, в степь вела деревянная расписная дверка вместо обычной кошмы, посредине было отверстие прямо в небо, отверстие это можно было затягивать при плохой погоде кошмой.

Пили много кумыса. Считалось, что во время лечения кумысом нельзя есть мучное и овощи, можно было есть мясо, но лучше без соли. Так питались кумысники, которых наехало туда много. Для самих башкир обычной пищей была салама — тесто, кусочками сваренное в воде, и ячменная и ржаная болтушка. Были и другие кушанья: бишбармак — вареное тесто с мясом, каймак — топленое молоко со сметаной, плов и т. д. Но даже салама в бедных юртах теперь встречалась мало.

Лев Николаевич постепенно привыкал к новой жизни; к новому положению всегда надо привыкать, и ясно было, что жизнь у людей меняется.

Толстой здесь отдыхал от книг, от греческого языка. Он писал в конце июня жене из Каралыка: «Ново и интересно многое: и башкиры, от которых Геродотом пахнет, и русские мужики, и деревни, особенно прелестные по простоте и доброте народа. Я купил лошадь за 60 рублей, и мы ездим с Степой... Я стреляю уток, и мы ими кормимся. Сейчас ездили верхом за дрофами, как всегда, только спугнули, и на волчий выводок, где башкирец поймал волчонка. Я читаю по-гречески, но очень мало. Самому не хочется. Кумыс лучше никто не описал, как мужик, который на-днях мне сказал, что *мы на траве,* — как лошади...

Я встаю в 6, в 7 часов, пью кумыс, иду на зимовку, там живут кумысники, поговорю с ними, прихожу, пью чай с Степой, потом читаю немного, хожу по степи в одной рубашке, все пью кумыс, съедаю кусок жареной баранины, и или идем на охоту, или едем, и вечером, почти с темнотой, ложимся спать...»

Утро. Над отверстием вверху юрты еще стоят звезды, небо вокруг них медленно светлеет.

В огромной кибитке на кровати лежит Лев Николаевич — ему мягко. На деревянную кровать наброшено сено, сверх сена войлок, и все. Степан Берс лежит на перине, брошенной на пол. Иван на кожане в углу.

Светлеет. В дальнем углу кибитки виден большой городской, резной ореховый буфет.

Первыми просыпаются куры — их три, потом встает Иван, выходит на улицу и на костре греет воду; в кибитке просыпается Лев Николаевич, вместе с ним черный сеттер по прозвищу Верный.

Иван вносит тульский самовар. Лев Николаевич пьет три чашки чаю с молоком — одну за другой и

выходит с собакой на улицу. Горизонт розовеет. Звезда над восходом солнца синеет.

Лев Николаевич садится на буланую лошадь с деревянными башкирскими стременами и едет, держа дорогое ружье поперек седла. Черный сеттер спокойно и неторопливо нюхает утренний воздух.

С гор спускаются табуны — тысячи коней; разными кучками идут кобылы с жеребятами.

Тишина. Степь пахнет травой, ночью цветами. Степь лежит кругом. Лев Николаевич едет медленно.

Здешние степи зеленые — это луговые степи, они идут дальше к реке Каме, Белой, рыжея, спускаются к югу вдоль Уральского хребта и вновь поднимаются до Ирбита и Ишима, Омска и Колывани.

Лев Николаевич едет на далекое озеро: впереди и позади него, правее и левее идут нескончаемыми тысячами верст степи до Черного моря — до Одессы, а по Крыму до Севастополя, знакомого давнего места.

Восходит солнце. Сразу теплеет. Косая тень ложится на степь. Степь кругом, идет она до Кавказа, идет к мутному Тереку.

Степь кругом — до Венгрии, как будто вся жизнь была в степи, как будто вся жизнь прошла на коне, проехала на телеге.

Кажется Толстому, что Ясная Поляна с перелесками, с дубравами, со старой засекой — это только опушка степи, а дальше там и нет ничего.

Какие могут быть революции, какие могут быть нигилисты — их двое или трое, а степи миллиарды десятин. И она идет дальше до Гоби.

Мягко ступает конь по нетоптанной траве; поднимается солнце, небо синее, ковыль серо-синий, седой, в ковыль широкими полосками вошла спеющая пшеница, под ногами коня чернозем по сорок вершков, и он идет на миллионы и миллионы десятин.

То бурее и светлее и, переходя в пустыню, темнее опять.

Ковыль и пшеница, а там, где нет уже седого ко-

выля и пшеница пошла на перелог, вырос другой ковыль — тырса.

И степь заращивает свои раны.

Хорошо тут купить землю... И Лев Николаевич возвращается в юрту, полную жаркой сухостью, передохнуть, ест баранину вместе с другими, руками из большой деревянной чашки, пьет кумыс и в широкой соломенной шляпе выезжает в степь.

Степь придавлена солнцем. Жара.

В такую жару дрофы залегают в траву и только прячут головы. Их можно объехать, можно взять, они заморены солнцем и подпускают собаку близко.

Нет добычи прекраснее дрофы. Весит она до пуда, голова у нее цвета золы, ушные отверстия открыты, ноги толсты, у петухов по обеим сторонам головы, как у стариков, висят хохлатые бороды, а около подбородка вдоль шеи косицы.

Дрофы сторожки, боятся людей, не любят распаханных полей. На что знаменит охотник Сергей Аксаков, а ни разу не убил дрофу.

К обеду привозит Лев Николаевич в юрту, в которой Иван уже переменил ковыль на полу, тяжелого дрофа. Он устал, он дописывает письмо.

Приятно в письме вспоминать то, что уже видел, и сообщать о своих намерениях. Земля здесь продается сыном московского генерал-губернатора Николаем Павловичем Тучковым, земля жалованная: «Длинно рассказывать, как и что, но эта покупка очень выгодна. При хорошем урожае может в два года окупиться имение. 2 500 десятин, просят по 7 рублей за десятину, и, купивши, надо положить до 10 000 тысяч на устройство».

Лев Николаевич у самих башкирцев землю покупать не собирался и потому сильно переплачивал. Он писал, что «доход получается здесь в 10 раз против нашего, а хлопот и трудов в 10 раз меньше». Он писал: «Для покупки здесь имения особенно соблазняет простота и честность, наивность и ум здешнего народа».

Потом сообщалось, что можно было поехать в оренбургскую степь — там земля по три рубля де-

сятина, и поп знакомый рассказывает, что у него есть тоже земля. Не скоро пришло ответное письмо Софьи Андреевны. Она была за то, чтобы купить землю поближе к Ясной Поляне, и в то же время боялась: за землю спрашивают 90 тысяч и на уплату дают малые сроки.

Купить землю в Самарской губернии было заманчиво, но опасно, и все казалось, что этого мало.

Софья Андреевна писала в письме от 10 июля: «Что сказать тебе о покупке имения в тамошних краях? Если купить только 2 500 десятин по 7 рублей, то ты ведь сам не хотел маленького, а хотел бо́льшого имения; а тут только на 17 500 р. Если выгодно, твое дело, я никакого мнения не имею. А жить в степях без одного дерева на сотни верст кругом может заставить только необходимость крайняя, а добровольно туда не поедешь никогда, особенно с пятью детьми».

Софью Андреевну уговаривал соглашаться покупать Сергей Арбузов, который расписывал степи, как рай.

Так шли дни и недели, и дрофы уже стали все более сторожкими и собрались в большие стада, готовясь к отлету. И подули ветра, и раздвинулись ночи, и уже обозначилось, что урожай очень плох. Ночь ложилась над степями с несчастливыми звездами, доходящими до самой земли.

По звездам из киргизских степей в башкирские степи, из башкирских степей на Астрахань шли караваны.

Звезды были для них как вехи, которые никогда не заносит снегом.

Начиналась осень, собирались ярманки.

Лев Николаевич выходил на ярманку, его зазывали купцы, приехавшие торговать, раскатывали перед ним ковры, клали подушку, резали для него барана.

Он пил и ел, и давал подарки, и его одаривали конями. На ярманках, положивши на шею подушку, садился Лев Николаевич на землю перед сильным

башкирцем, у того тоже подушка на потылице, перебрасывали веревку через затылки, упирались друг в друга ногами, брались за руки, и редко кто мог перетянуть на себя и поднять отставного поручика, крапивенского дворянина, великого писателя Льва Николаевича Толстого.

Он пил кумыс, никогда не был пьян. Ему было легко, как коню на воле. Кругом были степи.

Шли слухи о том, что просо и хлеб дорожают. И счет уже пошел весь на деньги, а не на головы молодых баранов.

Лев Николаевич землю решил купить: ему понравилось, что здесь, в степях, все медленно меняется, а хлеб и просо он собирался продавать, а не покупать.

Надо было ехать в Ясную Поляну, уговаривать жену на переезд, дописывать «Азбуку».

«КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?..»

Мир отражается в искусстве не зеркально. Воображение осматривает, сопоставляет, оценивает. Вещь обдумывается, строится.

Возьмем в качестве примера творчества пушкинское стихотворение «Осень». Стихотворение не кончено и содержит двенадцать строф.

Приведу десятую:

И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться, наконец, свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей

К творцу приходят давние знакомцы — не только воспоминания, но и «плоды мечты». Одиннадцатая строфа сравнивает будущее произведение с кораблем:

Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.

XII

Плывет Куда ж нам плыть?.

. . . .

Двенадцатая строфа состоит из двух фраз неполного стиха.

Первая фраза перехватывает движение конца одиннадцатой строфы. Вся строка-строфа рассчитана на неожиданность отрыва, на поиск пути вдохновенья; отъезд описан, но дорога не найдена.

У Льва Николаевича тогда были не только разные замыслы — у него были разные направления замыслов, и в то же время замыслы эти сосуществуют, они не сменяют друг друга, а изменяют друг друга и находятся в одном потоке: писатель ищет систему выражения, новое художественное единство.

Лев Николаевич точно и строго отделяет искусство от науки. 21 февраля 1870 года в записной книжке он говорит:

«Разум выражает законы необходимости, т. е. самого себя. Сущность выразима только искусством, тоже сущностью. И потому не бывает разумного искусства».

Здесь не утверждается, что искусство бессмысленно, здесь утверждается, что сущность искусства своей структурой отражает сущность жизни. Впоследствии в письме к Н. Н. Страхову, говоря об «Анне Карениной», Толстой будет сердито удивляться на критиков, которые «теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать...».

«Анна Каренина» — сцепление картин и мыслей, и только этот лабиринт сцепления в искусстве выражает ту сущность жизни, которую хотел выразить художник.

Но понять сущность искусства можно из сущности жизни: тогда можно и определить направление корабля искусства.

У писателя пока ощущение полной свободы в выборе темы. «Куда ж нам плыть?» — осталось.

Сохранились свидетельства Софьи Андреевны, полные наивности, из тетради «Мои записи разные для справок». Тетрадка интересна тем, что здесь записывается «жизнь умственная» Льва Николаевича. Софья Андреевна пишет: «Теперь начать хорошо. «Война и мир» кончено, и ничего еще серьезно не предпринято».

Многое занимает Толстого после «Войны и мира». Постоянная работа пока — «Азбука». Собирался он писать исторический роман о времени Петра I.

Исторический роман как бы продолжает опыт «Войны и мира» — опыт огромный, создавший новую форму.

Казалось бы, что нужно найти новую историческую тему, чтобы приложить опыт, — так думает Толстой.

Но написание исторического романа не единственный поиск Толстого. Он хочет на фольклорных характерах написать роман из современной ему жизни.

Толстой читает русские сказки и былины для «Азбуки»; это наводит на мысль написать роман, взяв для романа характеры русских богатырей. «Особенно ему нравился Илья Муромец. Он хотел в своем романе описать его образованным и очень умным человеком, происхождением мужик и учившийся в университете».

В замысле сразу дано столкновение: характер взят эпический, обстановка задумана современная, происхождение героя крестьянское, а работа интеллигентская.

После этого Толстой пытается заняться драматургией, хвалит Шекспира, говорит, что у Гёте нет драматического таланта.

15 февраля записано, что Толстой начал читать Устрялова, книгу об истории Петра Великого: «Типы Петра Великого и Меншикова очень его интересуют. О Меншикове он говорил, что чисто русский и сильный характер, только и мог быть такой из мужиков».

Илья Муромец оставлен; Меншикова в былинах мог напомнить только Алеша Попович. Но противоречия мужика, который входит в великую политическую жизнь, напоминая тему Ильи Муромца, получившего университетское образование, возвращают нас к законам противоречий, которыми часто пользовался Толстой в создании темы произведения.

Потом ненадолго появляется тема Мировича. Мирович — офицер, пытавшийся освободить Иоанна Антоновича. Младенцем назначенный Анной Иоанновной в свои наследники, Иоанн Антонович был объявлен императором и прожил всю жизнь в тюрьме. При попытке освободить его был убит.

24 февраля 1870 года Толстой после разговора с Фетом, который доказывал ему, что драматический род не свойствен Толстому, оставил мысль о драме. Дальше запись Софьи Андреевны теряет свою отчетливость: «Сейчас, утром, он написал своим частым почерком целый лист кругом. Действие начинается в монастыре, где большое стечение народа и лица, которые потом будут главными».

Похоже, что эта запись о сцене в Троицко-Сергиевском монастыре: Петр убежал из села Измайлова, боясь покушения на свою жизнь. Противопоставлены Петр и Софья, показаны бояре. Развернуто сравнение с большими весами, чашки которых находятся почти в равновесии и вдруг начинают клониться в одну сторону. Сделана попытка показать, как накопления отдельных решений разных людей вдруг превращаются в историческую необходимость. Это мысли, которые не были договорены в «Войне и мире».

Кусок о молодом Петре в Троицко-Сергиевском монастыре написан был с необыкновенной силой и изобретательностью.

Пытают боярина Шакловитого, происходит это на монастырском дворе. Волы мычат у ворот: их не пускают в привычное место, и могучие мычания осмысливаются монахами как вопли пытаемых на дыбе.

Толстой не показывает прямо пытку, но он усиливает ее восприятие, вводя детали в новые связи. Он не говорит прямо про рост Петра, но он показывает нам, что перекошенное лицо Петра находится на одном уровне с лицом боярина, поднятого на дыбу. Он сопоставляет две эмоции, два чувства: страх и боль, страх, усиленный болью. Боль, поглощающую страх, и страх царя, который перерастает почти в безумие.

Рядом показана благостность быта царицы Натальи и жены Петра Евдокии; это существует не само по себе, а на фоне страха пыток и торжества.

Это начало будет оставлено.

Планов столько, что с трудом веришь в записи, и, может быть, эти записи сделаны не только для памяти, но и «по памяти». Ясно одно: замыслов много, они перебивают друг друга. Коллизия, осуществленная несколько лет спустя, — это женщина из высшего общества, потерявшая себя. Коллизия позволяет сгруппировать вокруг ситуации людей, которые были давними знакомцами писателя.

Дальше идет 9 декабря запись «...о путешествующем по России человеке, была мысль о взятом из крестьян и образованном человеке», и тут же появляется почти автобиографическая запись: «А тут теперь в том начале, которое он мне нынче прочел, опять замысел о гениально умном человеке, гордом, хотящем учить других, искренно желающем приносить пользу, и потом после нескольких времени путешествия по России, столкновения с людьми простыми, истинно приносящими существенную пользу, после разной борьбы, приходящем к заключению, что его желание приносить пользу, как он это понимал, — бесплодно, и потом переход к спокойствию ума и гордости, к пониманию простой, существенной жизни, и тогда — смерть».

Вероятно, эта тема связана с Ильей Муромцем, но теперь не указано происхождение человека, и тема, по-моему, звучит автобиографически. Толстой мучается тем, что ему хочется писать, он читает Четьи-Минеи и, вероятно, первый в России относится к ним, как к художественным произведениям.

В начале января 1873 года, решив, что «Азбука» имеет «страшный неуспех», Толстой возвращается

к сбору материала из эпохи Петра I; пока идет мозаичная работа подбора бытовых подробностей.

31 января 1873 года Толстой заявляет: «Машина вся готова, теперь ее привести в действие».

Перед нами новая попытка. Толстой начинает с описания Азовского похода. Все герои придуманы, найдены заново: нет теперь князей, нет и Натальи Кирилловны, нет описания боярской путаницы. Плывут из Воронежа к Черкасску на кораблях по Дону царские корабли. Идут описания людей. Петр, засмеявшись, теряет шляпу — она упала в воду. Гребец Щепотев, который характеризован, как человек из поповских сыновей, как бедный дворянин, прыгает в воду и в зубах приносит Петру шляпу. Он не отдает шляпу Меншикову, ведет с царем Петром шутейный, почти спокойный разговор, и судьба этого человека, которого можно назвать Алешей Поповичем в новом его осуществлении, изменяется. Он остается на царском корабле.

Щепотев как бы параллельный Меншикову человек. Получилась ситуация: полумужик рядом с царем. Эта коллизия, вероятно, была бы использована и подготовила бы восприятие другой, большей коллизии.

Почему Толстой оставил завязку в Троицко-Сергиевской лавре и перешел на завязку, развертывающуюся в Азовском походе?

То, что было написано в первом варианте, по существу, еще было не завязкой, а экспозицией: драматически рассказывалась ситуация, конфликт был в прошлом, конфликт намечался между группами бояр. Это подчеркивалось тем, что спущенный с дыбы Шакловитый с завистью смотрит на ссорившихся дворян. У Голицына есть свои сторонники и родственник-брат в лагере Петра. Переход на Азовский поход подымает вопрос о народе в очень острой форме. Народ появляется как войско и гребцы, а дальше появится как казаки. Валы Азовской крепости были взяты казаками-донцами. Петровский флот в море не вышел, турецкий флот был разбит казачьими лодками — донцами.

Предполагаемый роман должен был осуществиться как столкновение Петра с народом. Источники, которые были известны Толстому — дневник Гордона, книга Устрялова, давали для этого полный материал. Но главное, еще к 1870 году относятся записи Толстого, которые тему государства и казачества ставят прямо и точно.

Вопрос о казачестве тогда был очень остер, о казачестве и о Степане Разине писал Костомаров, который был за казаков. Против был Соловьев, который осуждал казаков, считая их виновниками так называемого Смутного времени, считая их за «людей, которые, ушедши от тяжкого труда, от надзора правительственного и общественного, начинают заниматься дурным промыслом» и «гулять, живя на чужой счет, т. е. грабя своих и чужих».

Читал о Петре Соловьев публичные лекции в 1872 году, но идеи чтения все выражены были в уже вышедших томах его истории, и с этими идеями Толстой спорил.

4 апреля 1870 года Толстой записывает: «Читаю историю Соловьева. Все, по истории этой, было безобразие в допетровской России: жестокость, грабеж, правеж, грубость, глупость, неуменье ничего сделать. Правительство стало исправлять. — И правительство это такое же безобразное до нашего времени. Читаешь эту историю и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершилась история России.

Но как же так ряд безобразий произвели великое, единое государство?

Уж это одно доказывает, что не правительство производило историю».

Грабежом называли в старой России выбивание налогов из населения: неплательщиков на улице били по икрам батогами, били очень долго. Правительство было насильническое. Толстой спрашивал: ну, а кто же работал, кто ловил соболей и лисиц, которыми дарили послов? Кто делал парчи, сукна и кто вообще кормил это правительство?

Почему украинское казачество — Богдан Хмельницкий передались не Польше, не Турции, а России?

У Толстого другой счет истории, и ему есть с кем столкнуть Петра в Азовском походе.

2 апреля 1870 года в записной книжке Толстой кратко записывает: «Вся история России сделана казаками. Недаром нас зовут европейцы казаками. Народ казаками желает быть. Голицын при Софии ходил в Крым, острамился, а от Палея просили пардона крымцы, и Азов взяли 4 000 казаков и удержали, — тот Азов, который с таким трудом взял Петр и потерял».

Тут возникает коллизия самого Толстого. Он писал в 65-м году, что русский народ отрицает собственность на землю и что фраза «собственность — это кража» *(Прудон)* — истина·

«La proprieté c'est le vol» останется больше истиной, чем истина английской конституции, до тех пор, пока будет существовать род людской. — Это истина *абсолютная,* но есть и вытекающие из нее истины относительные — приложения. Первая из этих относительных истин есть воззрение русского народа на собственность. Русский народ отрицает собственность самую прочную, самую независимую от труда, и собственность, более всякой другой стесняющую право приобретения собственности другими людьми, собственность поземельную Эта истина не есть мечта — она факт, выразившийся в общинах крестьян, в общинах *казаков.* Эту истину понимает одинаково ученый русский и мужик, который говорит. пусть запишут нас в казаки и земля будет вольная. Эта идея имеет будущность. Русская революция только на ней может быть основана».

Лев Николаевич казачество знал превосходно, для него это не утопия, и он не верит в то, что это прошлое. Коллизия же его состоит в том, что человек, который писал «Казаков» и был против земельной собственности, купил в два приема — сперва у Тучкова, потом у Бистрома в Самарской губернии больше шести тысяч десятин земли.

Трудно по черновикам, много раз переделывавшимся, определять последовательность написания вариантов художественного произведения, хотя это единственно верный путь изучения.

Нельзя рукописные варианты располагать в последовательности законченного произведения. Этим самым еще не существующее будущее художественное произведение как бы постулируется, считается уже существующим.

Между тем жизнь художественного произведения — явление очень сложное и не целиком заключенное в жизни, в жизненных знаниях и даже в намерении художника.

Поэты и прозаики употребляют выражение «муза». О музах писал Лев Николаевич другу Фету.

Фет — делец, скупающий и меняющий имения; его имение Степановка — как тарелка, полная всякого добра Посредине тарелки сидит маленькое плотное здание: в нем живет хозяин — толстый, отставной военный, с коротким кавалерийским шагом.

Фет ходит вокруг своего дома, не обойдет ни разу без того, чтобы не найти прибыли хоть на копейку.

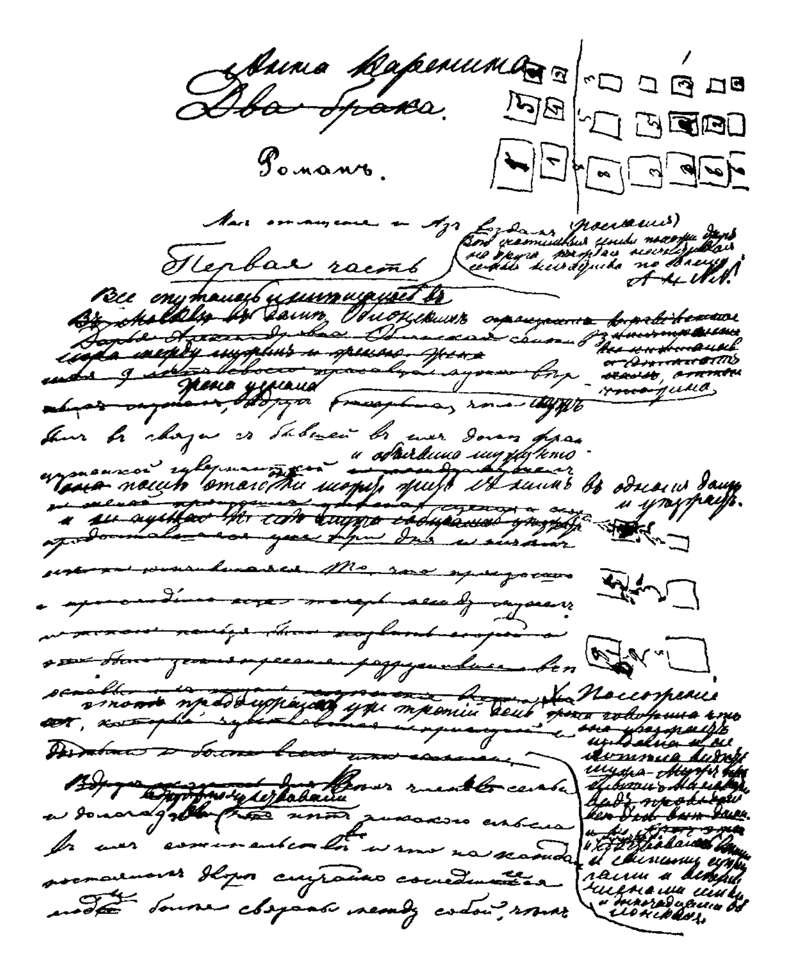
Фет — помещик нового времени, заводящий новое хозяйство на купеческие деньги Боткина и по новому купеческому правилу, как будто еще более буржуа, чем Боткин, в то же время он великий поэт. Семейная жизнь его — богатая некрасивая жена и всяческое соблюдение приличий.

Толстой писал: «Поэт лучшее своей жизни отнимает от жизни и кладет в свое сочинение. Оттого сочинение его прекрасно и жизнь дурна».

Толстой ищет поэтического решения в жизни.

Умелый хозяин Фет, составитель мемуаров «Мои воспоминания», в которых неточно цитируются письма Тургенева и Толстого, писал прекрасные стихи, которые даже трудно представить написанными отставным гусарским офицером, долго и хитро доказывавшим свое дворянское происхождение.

Стихи его поэтичны и как бы живут воспомина-


Анна Каренина
Два брака
Романъ
Первая часть

Одно из начал романа «Анна Каренина» (копия рукой С. А. Толстой с поправками Л. Н. Толстого).

нием о поэзии, великой русской поэзии, которая помогает Фету выделить из жизни самое поэтическое; но человек Фет не хочет быть поэтом, он все время доказывает, что он Шеншин, законный сын помещика.

Я потому здесь сделал отступление о Фете, что

этот умный и умело подобострастный сосед был поэтической стороной своего существа очень близок к создателю «Анны Карениной». Он и Н. Н. Страхов — в семидесятые годы самые дорогие друзья Толстого. Но Толстой видел дальше и больше их.

Надо было решать сегодняшний день для сегодняшнего человека.

Лев Николаевич думал, что история не движется, что вечно стоят деревни, лежат степи, и все, что вне деревни и вне кочевья, — это призрак.

«Войну и мир» Толстой мог написать — это недавнее прошлое. История отцов, быт крестьянский и дворянский тех лет ему понятен; его архаичность еще слабо заметна, но в то же время для Толстого является доказательством подлинности жизни.

Над историей Петра оказалось работать труднее: это более чем на полтораста лет отодвинуто, это непонятно. Лев Николаевич все время хочет приблизить историю к себе, развертывая начало действия в своей Ясной Поляне, какой она была сто семьдесят лет тому назад.

«Где теперь три дороги перерезают землю Ясной Поляны, одна старая, обрезанная на 30 сажен и усаженная ветлами по плану Аракчеева, другая — каменная, построенная прямее на моей памяти, 3-я — железная, Московско-Курская, от которой, не переставая почти, доносятся до меня свистки, шум колес и вонючий дым каменного угля, — там прежде, за 170 лет, была только одна Киевская дорога и та не деланная, а проезженная и, смотря по времени года, переменявшаяся, особенно по засеке, которая не была еще порублена, по которой прокладывали дорогу то в одном, то в другом месте».

Толстой говорит о больших переменах, но перемены, которые он перечисляет, малы и все ущербные.

Жизнь крестьянская была легка.

«Караул был малый, и за штоф водки любых дерев нарубить можно было. Теперь хлеб не родится и по навозу, а для скотины корму в полях уже мало стало, и скотину стали переводить, — много полей побросали и народ стал расходиться по городам в из-

возчики и мастеровые, а тогда, где ни брось, без навоза раживался хлеб, особенно по расчищенным из-под лесу местам, и у мужиков и у помещиков хлеба много было. Кормов для скотины было столько, что, хоть и помногу и мужики и помещики держали скотины, кормов никогда не выбивали».

История здесь дана как умаление, как упадок природы. Лев Николаевич ушел в степи к Геродоту, к башкирам, в которых видел ближайших потомков скифов. Он любовался тем, что в степи история не изменила ничего. Но история жила самим Толстым, он был ее частью, и он приводил ее в степи Самарской губернии, она приходила с ним как разорение кочевников и мужиков. Тогда он мечтал уехать с ними, уехать дальше, на окраины великой страны; он думал, что там она неподвижна.

В самарские степи, как и за тульскую засеку, история приходила разрушением патриархальной жизни, необходимостью иначе хозяйствовать и невозможностью изменить систему хозяйства. Приходил голод, который Толстой видел и точно описывал, с реализмом, другим недоступным.

Жизнь идет своим чередом, она — история, но самым прочным кажется Толстому семья, дом, нравственность. Те, кто разрушает семью, — враги, их надо уничтожать и высмеивать. Высмеивать потому, что, по мнению Толстого, их всего только несколько человек.

Они нигилисты, они живут с чужими женами или с любовницами, любовницы их несчастливы, и Лев Николаевич сам видал, как бросилась в 1872 году мучимая ревностью Анна Степановна Зыкова, дочь полковника, под поезд. Ее любовник А. Н. Бибиков сделал предложение гувернантке, приглашенной к сыну. Анна Степановна взяла узелок, перемену белья и платье, поехала в Тулу, потом вернулась в Ясенки: эта станция в пяти верстах от Ясной Поляны. Здесь Анна бросилась под товарный поезд, потом ее анатомировали. Лев Николаевич видел ее с обнаженным черепом, всю раздетую и разрезанную в ясенской казарме. Об этом записано у Софьи Андреевны под

заглавием «Почему Каренина Анна и что навело на мысль о подобном самоубийстве?».

Но эта история слишком частная, надо поднять больше. Надо приблизить к себе историю всего своего времени.

Мысли человека и мысли общества перекрестно опыляются. Темы сливаются, человек, который начинает писать и вступает в общение с музами, включается в телефонную станцию общего человеческого мышления — снимая трубку, слышит гул эпохи.

Февраль 1870 года. Ясную Поляну замело. Толстой пишет роман о Петре. В доме не получается ни газет, ни журналов. Софья Андреевна записывает: «Л. (Лева — *В. Ш.*) говорит, что не хочет читать никаких критик. «Пушкина смущали критики, — лучше их не читать».

Пушкин, прозу которого раньше он не любил, считая ее голой, лишенной подробностей, уже не современной, постоянно вспоминается теперь Толстому.

Он пишет историю борьбы Петра с Софьей, собирает сведения, придумывает, как делать экспозицию более простой и ясной, но к нему идут другие мысли. «Вчера вечером он мне сказал, — пишет Софья Андреевна, — что ему представился тип женщины, замужней, из высшего общества, но потерявшей себя. Он говорил, что задача его сделать эту женщину только жалкой и не виноватой и что как только представился этот тип, так все лица и мужские типы, представляющиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины. «Теперь мне все выяснилось», — говорил он. Давно придуманный им характер из мужиков образованного человека вчера он решил сделать управляющим».

Когда была задумана «Анна Каренина»? В 1870 ли году, когда Толстой думал о женщине-грешнице, потерявшей свое место в обществе, или когда Толстой увидал женщину, распластанную на столе в казарме, анатомированную?

Еще никогда, еще соединения нет, музы еще не пришли.

Существуют обрывки, задания, «знакомцы дав-

ние, плоды мечты моей». Человек думает, но думает не свободно, а подчиняясь миру, включенный в мир. Он пишет — книга не выходит, хотя все готово.

Заготовлено много поговорок, выяснены костюмы — летние, зимние, начато выяснение родословных, но корабль поэтического вдохновения внезапно отплывает в другую сторону, а груз материала, приготовленного для исторического романа, почти без сожаления оставлен на берегу.

Это случилось 19 марта 1873 года. Софья Андреевна записывает: «Вчера вечером Л. мне вдруг говорит: «А я написал полтора листочка и, кажется, хорошо». Думая, что это новая попытка писать из времен Петра Великого, я не обратила большого внимания. Но потом я узнала, что начал он писать роман из жизни частной и современной эпохи. И странно он на это напал. Сережа все приставал ко мне дать ему почитать что-нибудь старой тете вслух. Я ему дала «Повести Белкина» Пушкина. Но оказалось, что тетя заснула, и я, поленившись идти вниз, отнести книгу в библиотеку, положила ее на окно в гостиной. На другое утро, во время кофе, Л. взял эту книгу и стал перечитывать и восхищаться. Сначала в этой части (изд. Анненкова) он нашел критические заметки и говорил: «Многому я учусь у Пушкина, он мой отец, и у него надо учиться».

Толстой думает, что он продолжает «Петра», и сейчас же собирается писать дальше. «...Но вечером он читал разные отрывки и под влиянием Пушкина стал писать. Сегодня он продолжал дальше и говорит, что доволен своей работой».

Работа продолжалась стремительно. 4 октября 1873 года Софья Андреевна записывает: «Роман «Анна Каренина», начатый весною, тогда же был весь набросан. Все лето, которое мы провели в Самарской губернии, он не писал, а теперь отделывает, изменяет и продолжает роман».

25 марта Толстой написал Н. Н. Страхову письмо:

«Расскажу теперь про себя, но, пожалуйста, под великим секретом, потому что, может быть, ничего не выйдет из того, что я имею сказать вам. Все почти

рабочее время нынешней зимы я занимался Петром, т. е. вызывал духов из того времени, и вдруг — с неделю тому назад — Сережа, старший сын, стал читать «Юрия Милославского» — с восторгом. Я нашел, что рано, прочел с ним, потом жена принесла снизу Повести Белкина, думая найти что-нибудь для Сережи, но, разумеется, нашла, что рано. Я как-то после работы взял этот том Пушкина и, как всегда (кажется, 7-й раз), перечел всего, не в силах оторваться, и как будто вновь читал. Но мало того, он как будто разрешил все мои сомнения. Не только Пушкиным прежде, но ничем я, кажется, никогда я так не восхищался. *Выстрел, Египетские ночи, Капитанская дочка!!!* И там есть отрывок *«Гости собирались на дачу»*. Я невольно, нечаянно, сам не зная зачем и что будет, задумал лица и события, стал продолжать, потом, разумеется, изменил и вдруг завязалось так красиво и круто, что вышел роман, который я нынче кончил начерно, роман очень живой, горячий и законченный, которым я очень доволен и который будет готов, если бог даст здоровья, через 2 недели и который ничего общего не имеет со всем тем, над чем я бился целый год. Если я его кончу, я его напечатаю отдельной книжкой, но мне очень хочется, чтоб вы прочли его.

Не возьмете ли вы на себя его корректуры с тем, чтобы печатать в Петербурге?»

Письмо восторженное. Оно не отправлено — Толстой не все хочет рассказывать. 30 марта Лев Николаевич пишет человеку, который ему прислал материалы для романа о Петре, — П. Д. Голохвастову. Обращаю внимание, что это письмо тоже не отправлено: «Вы не поверите, что я с восторгом, давно уже мною не испытываемым, читал это последнее время, после вас — Повести Белкина, в 7-й раз в моей жизни. Писателю надо не переставать изучать это сокровище. На меня это новое изучение произвело сильное действие. Я работаю, но совсем не то, что хотел».

Письма не отправляются сознательно. Страхову в апреле Толстой сообщает: «...я отвечал вам тотчас же, но не послал письмо, а с тех пор прошло вот

2 недели. Не послал я письмо оттого, что писал о себе кое-что, что было преждевременно, и так и вышло. Когда-нибудь пошлю вам это письмо или покажу...

О себе, т. е. о самом настоящем себе, не буду писать, чтобы опять не не послать письмо: исполняю возложенную на меня по какому-то высочайшему повелению обязанность — мучаюсь и нахожу в этом мучении всю, не радость, но цель жизни».

Через три дня Толстой пишет Голохвастову: «Давно ли вы перечитывали прозу Пушкина? Сделайте мне дружбу — прочтите с начала все Повести Белкина. Их надо изучать и изучать каждому писателю. Я на днях это сделал и не могу вам передать того благодетельного влияния, которое имело на меня это чтение».

Толстой, по его словам, учится у Пушкина «гармонической правильности распределения предметов».

У Толстого ощущение, что он кончит роман очень быстро. 11 мая 1873 года новое письмо к Страхову: он считает теперь, что может сообщить тайну, о которой молчал.

«Я пишу роман, не имеющий ничего общего с Петром. Пишу уже больше месяца и начерно кончил. Роман этот — именно роман, первый в моей жизни, очень взял меня за душу, я им увлечен весь и несмотря на то, что философские вопросы нынешнюю весну сильно занимают меня. В письме, которое я не послал вам, я писал об этом романе и о том, как он пришел мне невольно и благодаря божественному Пушкину, которого я случайно взял в руки и с новым восторгом перечел всего».

Но не один Пушкин стал музой Толстого.

Менялась жизнь; изменились город и деревня, старая нравственность приходила в противоречие с новым бытом.

Во Франции писались романы об адюльтере, печальном и неизбежном для женщины. Обострялась вражда к уже привычному. В России суд присяжных выносил неожиданные оправдательные приговоры, которые говорили о том, что старая нравственность поколеблена, а новой нет.

Во Франции талантливый Александр Дюма-сын после пьесы «Дама с камелиями» (1852 г.), в которой была показана самоотверженная любовь падшей женщины, написал новую драму «Жена Клавдия» (1873 г.), в которой муж убивал жену-изменницу. Драма была напечатана с большим авторским предисловием. Перед этим в 1872 году Дюма издал книгу «L'homme — femme» («Мужчина — женщина»). В этой книге обсуждается вопрос: как поступать с неверной женой — убивать или прощать?

1 марта 1873 года Толстой написал Т. А. Кузминской: «Прочла ли ты L'homme — femme? Меня поразила эта книга. Нельзя ждать от француза такой высоты понимания брака и вообще отношения мужчины к женщине».

В основе нового произведения Толстого лежит новая ситуация и *невозможность* ее решения.

Толстой ищет способов преодоления конфликта. Проза Пушкина, его незаконченный фрагмент «Гости съезжались на дачу», дает первое описание подобной ситуации и стиль описания. Рукопись Пушкина обрывается. Конфликт не решен.

У Дюма-сына есть решение подобного конфликта, и поэтому Толстой заинтересовался французским драматургом.

В первоначальном построении произведения, которое потом получило название «Анна Каренина», муж дает развод жене, изменившей ему. Но он становится «привидением»: это «осунувшийся, сгорбленный старик, напрасно старавшийся выразить сияние счастья жертвы в своем сморщенном лице».

Толстой пробует использовать французское решение конфликта.

«Один раз он (муж, давший развод. — *В. Ш.*) пошел в комитет миссии. Говорили о ревности и убийстве жен. Михаил Михайлович (так зовут будущего Каренина. — *В. Ш.*) встал медленно и поехал к оружейнику, зарядил пистолет и поехал к ней».

Слова «к ней» написаны по зачеркнутому «к себе».

Разведенные супруги не могут помочь друг другу.

«Связь наша не прервана, — говорит Михаил Михайлович. — Я сделал дурно. Я должен был простить и прогнать, но не надсмеяться над таинством...»

Выстрел не раздался. Толстой уже в первом построении выбрал самоубийство женщины как единственно возможный исход.

Пушкин предостерегал от ложных развязок и переносил интерес на саму женщину, а не на ее вину.

Пушкин оказался для Толстого музой, он помог ему создать иную структуру произведения через отчетливый показ судьбы, в которой старое давалось как новое, но так, что оно оказывалось совершенной истиной.

Б. М. Эйхенбаум в книге «Лев Толстой. Семидесятые годы» сформулировал это так:

«Сходство первого наброска к «Анне Карениной» с этим отрывком Пушкина не ограничивается начальными словами: весь набросок представляет собою своего рода вариант на тему Пушкина. В отрывке (как и у Толстого) гости, собравшись за круглым столом у самовара, толкуют о странном поведении молодой женщины, Зинаиды Вольской: «Она ужасно ветрена... — Ветрена? Этого мало. Она ведет себя непростительно... — В ней много хорошего и гораздо менее дурного, нежели думают. Но страсти ее погубят». Последнее замечание звучит как эпиграф к будущему роману Толстого, как намек на него. Рядом с этим отрывком в издании Анненкова (том V) напечатан другой, относящийся к тому же замыслу и начинающийся словами: «На углу маленькой площади, перед деревянным домиком, стояла карета». Толстой, несомненно, прочитал и этот отрывок, следы чего есть в «Анне Карениной». В этом отрывке описана сцена ревности: Зинаида упрекает своего любовника, Валериана Володского, в холодности и высказывает свои подозрения; Валериан раздраженно говорит: «Так: опять подозрения! Опять ревность! Это, ей-богу, несносно». Отрывок кончается отъездом Валериана: «Валериан уже ее не слушал. Он натягивал давно надетую перчатку и нетерпеливо поглядывал на улицу. Она замолчала с видом стесненной досады. Он пожал ее руку, сказал несколько незначащих слов и выбежал из комнаты, как резвый школьник выбегает из класса. Зинаида подошла к окну, смотрела, как подали ему карету, как он сел и уехал. Долго стояла она на том же месте, опершись горячим лбом о оледенелое стекло. — Наконец она сказала вслух: «Нет, он меня не любит!», позвонила, велела зажечь лампу и села за письменный столик...» Эта сцена послужила для Толстого своего рода конспектом при описании последней ссоры Анны с Вронским: «Она подошла к окну и видела, как он, не глядя, взял перчатки... Потом, не глядя в окна, он сел в свою обычную позу в коляске, заложив ногу за ногу и, надевая перчатку, скрылся за углом.

— Уехал! Кончено! — сказала себе Анна, стоя у окна... — Нет, этого не может быть! — вскрикнула она и, перейдя комнату, крепко позвонила... Она села и написала» и т. д.

Толстой заново открыл Пушкина. Пушкин настолько был для его современников малоизвестен, что и Толстой сделал ошибку, которая не была замечена: он сказал, что начало «Гости съезжались на дачу» было найдено в «Повестях Белкина». Н. К. Гудзий в 20-м томе Юбилейного издания первый указал на то, что такого начала в «Повестях Белкина» нет. Толстой читал более позднюю пушкинскую прозу, но традиция понятие пушкинской прозы слила с «Повестями Белкина», в результате напутал не только Сергеенко и Софья Андреевна, но эта путаница долго оставалась нераскрытой.

Как же выглядит первый, круто начатый роман, который потом превратился в «Анну Каренину»?

Поиск начала продолжался довольно долго. В Юбилейном издании под № 1 было напечатано следующее: «Пролог. Она выходит замуж под счастливыми предзнаменованиями. Она едет [встречать] утешать невестку и встречает Гагина».

Этот вариант близок окончательному роману: в нем есть приезд женщины, которая налаживает дела своей невестки. Первым он признан был потому, что начинается (после пролога) фразой, ясно пе-

рекликающейся с началом пушкинского отрывка: «Гости собирались в конце зимы, ждали Карениных и говорили про них. Она приехала и неприлично вела себя с Гагиным» (будущий Вронский).

Сейчас, после работы В. Жданова «Из истории создания романа «Анна Каренина», опубликованной в «Яснополянском сборнике» (Тула, 1955 г.), началом считается то (и Н. Гудзий с этим согласен), что ранее печаталось под № 3 (рукопись № 4).

Здесь героиня называется Татьяна Ставрович. «Разговор не умолкает. Говорят о Ставровиче и его жене и, разумеется, говорят зло, иначе и не могло бы это быть предметом веселого и умного разговора».

Входят Ставровичи:

«Татьяна Сергеевна в желтом с черным кружевом платье, в венке и обнаженная больше всех.

Было вместе что-то вызывающее, дерзкое в ее одежде и быстрой походке и что-то простое и смирное в ее красивом румяном лице с большими черными глазами и такими же губами и такой же улыбкой, как у брата.

— Наконец и вы, — сказала хозяйка, — где вы были?

— Мы заехали домой, мне надо было написать записку Балашеву. Он будет у вас.

«Этого недоставало», — подумала хозяйка.

— Михаил Михайлович, хотите чаю?

Лицо Михаила Михайловича, белое, бритое, пухлое и сморщенное, морщилось в улыбку, которая была бы притворна, если б она не была так добродушна, и начал мямлить что-то, чего не поняла хозяйка, и на всякий случай подала ему чаю. Он аккуратно разложил салфеточку и, оправив свой белый галстук и сняв одну перчатку, стал всхлипывая отхлебывать».

Татьяна сидит «согнувшись так, что плечо ее вышло из платья», говорит «громко, свободно, весело». Приходит Балашев, будущий Вронский. Он почти одного роста с Татьяной: «Она тонкая и нежная, он черный и грубый». Балашеву 25 лет, Татьяне — 30; Ставрович почти старик со слабым здоровьем. Татьяна — женщина не из великосветского общества: «Ее принимают оттого, что она соль нашего пресного общества». Разговор Татьяны с Балашевым затянулся, это было неприлично: «С этого дня Татьяна Сергеевна не получала ни одного приглашения на балы и вечера большого света».

Так был начат роман. В романе участвовали нигилисты, которые считали, что все правильно. Муж Татьяны был идеальным человеком, который сразу соглашался на развод, а потом воспитывал чужого ребенка. Он принимал любовника жены у себя в доме. Характеристика Татьяны такая, что в одном месте сказано прямо: «Она отвратительная женщина».

У нее дурные манеры: она берет жемчуг в губы, разговаривает слишком громко.

В дальнейшем, как мы знаем, изменится все: Каренин потеряет свою привлекательность и станет уже не ученым, а бюрократом. Анна Каренина станет женщиной блестящего происхождения — она княгиня из рода Рюриковичей, она прекрасна и хорошо воспитана, Вронский — блестящий аристократ, а не несколько чудаковатый молодой казачий офицер, принятый в обществе. Но первые наброски и первые свойства героев не исчезнут, они не будут сняты совсем, а войдут как элементы противоречия в роман.

От пушкинского наследия останется возвышенная строгость темы: события происходят после брака, причем это не адюльтер, а большая любовь. Женщина не уличена в измене, а сама сообщает мужу о ней. Она бросает мужа.

Роман писался с ее предсказанной судьбой, он ее как будто тянул под рельсы. Но эта решенная жизнь еще не была решена в главном. Почему?

Почему происходит то, что предсказано, то, что угадано?

Жить с двумя — с мужем и с любовником — нельзя. Этого не может она, не хочет любовник, хотя муж соглашается на приличие.

Романист требует от своей героини верности. Он вглядывается в ее мужа, и муж все более изменяется под этим взглядом. Муж — петербургский

чиновник, преуспевающий бюрократ, чужой, даже не книжный, а бумажный, департаментский человек, склероз времени.

Алексей Александрович в то же время очень несчастен: он добр. Начинаются выборы тысяч решений, прилаживание, но герои не соглашаются на судьбы, им предложенные.

В стороне или прежде было много прочитанных книг о ревности. Толстой еще сам напишет книги о ревности, но ревность живет не только в книгах. Дюма-сын написал книгу, которая внезапно очень понравилась Толстому; там решается дело просто: «убей ее, убей неверную жену» — она преступница.

Это решение давнее. Его пытались подтвердить не только тем, что муж владеет домом, что власть и имущество в его руках, но и усвоенным по традиции правилом, что верность для женщины обязательна, а для мужчины нет.

Есть религия, которая требует верности, есть бог, на которого можно возложить ответственность за решение, есть не точно запомненное изречение библии: «Мне отмщение, и аз воздам».

Здесь все противоречиво, как противоречат себе обычно религиозные нормы. «Побеждай зло добром», но бог покарает, потому что ты простил, значит самое прощение есть возмездие. Но нужно ли Алексею Каренину и Алексею Вронскому возмездие и гибель Анны, и нужно ли то, во имя чего написан роман, и существует ли то, что утверждается в романе — существует ли счастье Кити и Левина?

Лев Николаевич противоречив потому, что он принадлежит к старому времени и его идеалы находятся в прошлом, и потому, что он человечен, а человеческие идеалы находятся впереди.

Он требует как будто от Анны верности Каренину и в то же время заставляет вспоминать о ее отношениях к Каренину, о том, что между ними называлось любовью, с отвращением. Каренин не плохой человек — он испорченный человек, но он, по-человечески говоря, не муж для Анны, и Толстой это очень хорошо показывает.

Анна стыдится своего положения любовницы, неверной жены, но она счастлива так, как счастлив голодный человек, который ест.

Истинная, человеческая нравственность противоречит религиозному эпиграфу, и не бог, а люди, те люди, которые ненавидели самого Толстого, бросают Анну под колеса поезда.

ПОРТРЕТ

В сентябре 1873 года Толстой, вернувшись из Самары в Ясную Поляну, пишет письмо А. А. Фету: «Я начинаю писать, т. е. скорее кончаю начатый роман, дети учатся, жена хлопочет, учит и носит и от этого хворает. У меня каждый день, вот уже с неделю, живописец Крамской делает мой портрет в Третьяковскую галерею, и я сижу и болтаю с ним и из петербургской стараюсь обращать его в крещеную веру. Я согласился на это, потому что сам Крамской приехал, согласился сделать другой портрет очень дешево для нас, и жена уговорила.

Для меня же он интересен, как чистейший тип петербургского новейшего направления, как оно могло отразиться на очень хорошей и художнической натуре. Он теперь кончает оба портрета и ездит каждый день, и мешает мне заниматься».

В Ясную Поляну Крамской пошел рано утром тропинкой по лесу.

В листве деревьев много красных клоков осенних листьев. Птиц нет. Тишина.

В лесу провал: когда-то здесь копали руду, и вот земля просела. Дуб лежит в провале, как убитый человек на спине, раскинув свои ветви.

Когда идешь в новый дом и в тот, который заранее уважаешь, всегда тревожишься очень и хочешь придумать, что скажешь, и хочешь предугадать, что увидишь.

Художник хорошо знал «Войну и мир» и представлял себе Льва Николаевича по фотографиям, думал, что граф большой, сильный, очень спокойный человек на закате. О жене графа знал по стихам Фета и по рассказам. Рассказам не верил; стихи вспоминал, идя:

Пускай терниста жизни проза,
Я просветлеть готов опять
И за тебя, звезда и роза,
Закат любви благословлять

Слева показались две белые башенки — въезд в Ясную Поляну. За башенками прошпект — желтым листом шумит березовая аллея, подсаженная елками; ели уже поднимаются и глушат березы. Дальше краснеет кленовый сад; за ним небольшой белый дом, видно пристроен. Около дома клумбы с пятнами душистого горошка, настурцией и тяжелыми георгинами, которые тянутся по высоким палкам. Много штамбовых красных роз. Земля обильно полита и черна. Цветы растут и пахнут как будто пестро и весело. Вдали другой домик, перед ним цветы — штамбовые розы. В саду много женщин, детей Где-то щелкают шары крокета; в доме играют на рояле.

На открытом балконе накрыт стол. Чистая скатерть, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб, осенние чуть покоричневевшие огурцы, яблоки. Желтый, все отражающий тульский самовар.

Пестро и беспокойно.

Крамской довольно долго ждал Льва Николаевича в тихом кабинете. Из комнаты дверь в сад. На стене оленьи рога и гравюры в тоненьких деревянных рамках.

Старинный, удобный, кожей обитый диван. Стол, на столе рукописи, перечеркнутые, исписанные крупным, неразборчивым почерком без нажима. Перед столом кресло с подрезанными ножками. Кажется, что оно стоит на полу на коленях.

Крамской ждал.

Вошел Толстой; роста выше среднего, загорелый,

сорокапятилетний, сероглазый, почти щеголеватый и, несмотря на бороду, моложавый. Рядом с креслом с подпиленными ножками Толстой казался великаном.

Крамской сообразил: значит, Лев Николаевич близорук и не носит очки; работает, низко наклонивши голову над рукописью.

Но глаза у него не близорукие: очень спокойные, не растерянные.

Лев Николаевич начал прямо с отказа. Сказал, что очень занят, пишет роман. Начинает еще роман о крестьянах-переселенцах.

Отказывал Лев Николаевич не торопясь, спокойно, как будто пользуясь случаем перечислить для самого себя, что он сам должен сейчас писать и делать. Кроме того, добавил он, самая мысль о позировании наводит на него страх.

Крамской ответил:

— Я слишком уважаю причины, по которым ваше сиятельство отказывается от сеансов, чтобы дальше настаивать. И, разумеется, должен буду навсегда отказаться от надежды написать портрет. Но все равно, портрет ваш должен быть в галерее.

— Как так?

— Очень просто. Я, разумеется, это не напишу. И никто из моих современников не напишет. Но он будет написан. Я сейчас пишу портреты знаменитых русских людей. Грибоедова я писать буду по оставшимся от его времени рисункам для галереи в красках. Потом будем искать — не видел ли кто-нибудь Грибоедова, спрашивать, похож ли. Так будет и с вашим портретом — будут жалеть, что он не был написан своевременно.

Быстро вошла дама лет двадцати шести, миловидная, большеглазая, румяная. Нижняя губа в улыбке несколько выставлена вперед. Одета строго — светлая широкая кофточка, черная юбка, не стянутая поясом: женщина беременна, молода.

Лев Николаевич представил художника жене. Софья Андреевна села, поправила широкую юбку, спокойно посмотрела на художника сквозь лорнет.

Сильно близорука.

Разговор начался сначала.

Тон разговора был такой, что Лев Николаевич ничего не понимает и всегда ошибается. Решить может она — Софья Андреевна, но не сразу.

Иван Николаевич долго служил в фотографии, много ретушировал, много писал портретов, расписывал купола и привык не уставать от разговора с заказчиками. Сейчас чем больше он смотрел на Льва Николаевича, тем сильнее хотелось написать портрет.

Иван Николаевич предложил:

— Хотите, я напишу портрет, а если он вам не понравится, я его уничтожу.

— Мы знаем вашу работу, м-сье Крамской, — сказала Софья Андреевна. — Портрет нам, наверное, очень понравится, но если нам будет жалко его отдать?

— Будем считать, — сказал Крамской, — что передача портрета в галерею будет зависеть от воли графа, — пускай портрет висит у вас.

Лев Николаевич возразил:

— Так нельзя. Портрет будет оплачен господином Третьяковым.

Софья Андреевна нашла выход:

— Вы не можете сделать для господина Третьякова копию с нашего портрета?

— Копии точной, — ответил Крамской, — нечего и думать получить, хотя бы даже от автора. Я думаю написать два портрета, и вы выберете, который вам понравится.

— Хорошо, — сказала Софья Андреевна. — Портрет нам нужен для наших детей, и мы его вам оплатим: двухсот, двухсот пятидесяти рублей, я думаю, будет довольно?

Крамской брал за портрет не менее тысячи. Краски и холст с подрамником стоили пятьдесят рублей. Но он твердо решил написать портрет, видел, что Лев Николаевич уже хочет сесть за работу и сейчас надо будет уходить.

— Я начну работать завтра, — сказал художник.

— Хорошо, — произнес тихим и сильным голосом Лев Николаевич, садясь в кресло и низко наклонив голову над рукописью.

Софья Андреевна проводила Ивана Николаевича до передней. Она была довольна потому, что много слыхала о Крамском. Была у нее мысль, что художник может отнять время у Льва Николаевича, но она считала, что у Левы времени всегда хватает, ей трудней: беременна и еще надо отучать Петю от груди.

В саду жарко, по густой липовой аллее гуляют какие-то пестрые дамы в резкой перебивке теней.

На кухне стучат ножами Из леса идет молодежь с полотенцами.

Крамской уходил, не надев шляпы и вытирая лоб платком.

Сеанс начался с утра.

Толстой сидел за столом в серо-синей блузе с выпущенным мягким белым отложным воротником. Он посмотрел на Крамского заинтересованно.

— Я сейчас пишу, — сказал он, — про живописца. У меня в романе будет художник, назову его Павлов или Михайлов, живет он в Риме, бедствует и давно пишет картину о Христе... Не очень образован, но много читает.

Крамской делал быстрый набросок на холсте, слушал Льва Николаевича.

— Мне Боткин Михаил Петрович, — продолжал Толстой, — рассказывал про художника Иванова и показывал сотни его эскизов. Они мне понятны. Мне кажется, что Иванов как будто снимал покровы с предмета. Те покровы, из-за которых предмет не весь виден. Он старался, снимая покровы, не повредить самого предмета.

— Вероятно, так работает каждый художник, — ответил Крамской. — В картине тоже всегда есть предмет — натурщик.

— Портрет, — сказал Лев Николаевич, — но ведь мы не хотим изображать в романе или картине себя или своих знакомых. Это Соня, моя жена, думает, и сестра ее, Таня, тоже, что я их описываю, и готовы поссориться из-за того, кто из них Наташа Ростова,

а кто Кити. А я знаю, что вот Иванов не копировал натурщика и не списывал природу под Римом, а писал об общем. Я и Ясную Поляну не описывал, хотя и без нее, может, хуже понимал бы Россию. Когда я вижу вдали лес, то хотя знаю, что в нем деревья из таких же листьев, какие я вижу ближе к себе, но самые листья писать не буду.

Крамской слушал. Обычно люди, позируя, скучают, и человек на сеансе как будто разговаривает сам с собой.

Этот разговор был не такой. Он ответил:

— Александр Андреевич Иванов изменил искусству мира. Есть у нас сейчас другой художник, совсем молодой, Федор Александрович Васильев. Я от него недавно письмо получил. То, что он делает, до такой степени самобытно и до того стоит вне обычного движения искусства, что я не могу даже сказать, что это хорошо. Это не вполне хорошо, но зато гениально.

Лев Николаевич ответил, не удивившись на слово «гениально»:

— А как он живет? Лишнего вокруг много?

— Он живет в лихорадочной разбросанности, с порыванием куда-то уйти, что-то сделать и от чего-то освободиться. Друзей случайных много, женщин и заброшенность...

— Вот у меня дом, в нем столько женщин и столько у них разговоров об ихних делах, что я иногда сам про себя думаю в женском роде: я проснулась или я работала, потому что все время слышу женский говор. Сбиться в жизни легко.

Помолчал, потом прибавил:

— В саду прохладно, дамы в легких платьях, около кухни мороженое на льду крутят, а мужики разоряются. Земля не родит, а это не видят, хотя тут гением быть не надо. Не видят, что у нас над головой потолочная балка тлеет. Не хотят видеть.

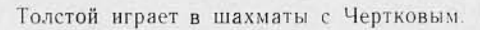
— Один писатель говорил, что человеку свойственно смотреть правильно и каждый человек как бы рожден гением. Но надо удивляться, как мало гениев.



Толстой возвращается с купанья. Ясная Поляна, 1905 г.



М. Л. Толстая.



Толстой играет в шахматы с Чертковым.



— Кто же это говорил? — заинтересовался Лев Николаевич.

Пришла Софья Андреевна с разгоревшимся лицом. Сказала:

— Китайские яблочки варили. Краски у вас уже проложены?

Посмотрела на портрет и сразу прибавила:

— Этот портрет, Левушка, мы оставим себе.

— Я завтра другой начну, — сказал Иван Николаевич, — в большем размере. А этому дам время сохнуть. Тогда будете выбирать.

— Скоро, — сказала графиня, — я для вас закажу анковский пирог.

— Это у нас такой сдобный пирог домашний, его Берсы выдумали. Очень сдобный. Пекут его для самых почетных гостей. Анке был приятель отца Софьи Андреевны. Тайный советник, а прославился в пироге.

Продолжались сеансы.

К Ивану Николаевичу уже привыкли в доме Толстого. Лев Николаевич много разговаривал с художником. Крамскому казалось, что Лев Николаевич не торопится с сеансами. Сейчас ему трудно самому писать, он о чем-то думает, что-то перерешает.

Второй, большой, портрет был уже, как говорил Крамской, поставлен на ноги. Графиня заявила решительно:

— Лучше этого, второго, сделать нельзя.

Крамской опять принялся за первый портрет. Обе вещи выходили сильно, хотя они не были окончены в живописи, а только решительно подмалеваны, но сходство уже стало поразительным.

Менялась погода, сад стал прозрачным, дали Ясной Поляны распестрились.

В конце сентября, в одно дождливое утро Крамской опоздал.

Лев Николаевич дожидался, сидя в жестком кресле у северного окна большого зала.

Крамской взял большой портрет, начал писать, потом оставил.

— Вы что, Лев Николаевич, на погоду огорчаетесь? Погода хорошая, хоть зеленя поправит, а дождю быть сегодня не долго.

— А вы что печальны? Света не хватает?

— Товарищ у меня умер, Лев Николаевич, — ответил Крамской, не назвав Толстого «граф», — Федор Васильев умер. Хоть познакомился я с ним только пять лет тому назад и он много был меня моложе, но я учился у него, а он великому князю пустяковые ширмы расписывал, все надеялся, что будут за него хлопотать влиятельные люди; в хлопотах нуждался: был человеком невыясненного положения.

— Пойдем гулять, Иван Николаевич, дождь перестал.

— Был он, — продолжал Крамской, — художником невозможной, почти гадательной высоты.

Вышли в сад.

Шли долго и твердо.

Резко белели вымытые стволы берез.

Внизу, за лугом, заголубела стальная, тихая и как будто густая река.

— У меня в романе, — сказал Лев Николаевич, — женщина под колесами умрет, оставив мужчине раскаяние. Я видел, как ее анатомировали; здесь, около Козловой засеки, в сарае на линии, поблизости вашей дачи.

Крамской молчал, шагая по пестрым листьям, покрывающим дорожку.

— Напишу про человека, — продолжал Толстой, — который виноват перед близким, раскаивается, но ничего сделать не может. Зачем мы так живем? Вот приятель ваш...

— Вы меня считаете виноватым?

— Я не про себя и не про вас, Иван Николаевич. А если меня взять. Я известный писатель, помещик, ну, еще землю куплю и буду знаменит, как Тургенев.

Лев Николаевич смотрел на дубы — такие знакомые по детству, по страницам собственной прозы, и повторил, сам с собою говоря:

— Зачем?

— Я стараюсь так не думать, Лев Николаевич.

— Я не про себя. Вот существует помещик Левин, воспитывает детей, сажает яблоневые деревья, у него молодая жена ходит с ключами, варит варенье. А зачем? Кажется ему, что один выход — понять всю глупость шутки, которая над ним сыграна, и вспомнить, что есть вода, нож, ружье и широкое место под колесами вагона.

— Вы ведь верующий, Лев Николаевич?

— Делаю всю мимику верующего и слова говорю, которые выучил. Покоряюсь преданию. Когда предание мне говорит, что я раз в год должен пить вино, которое называют кровью бога, я делаю и это, а в определенные дни ем капусту.

— Васильев, — сказал Крамской, — и фамилии не имел, паспорта не имел, дома не имел. Таким трудней, им уцепиться не за что

— А Левин, — ответил Лев Николаевич, — продолжает жить, понимая все зло и бессмысленность жизни; это выход слабости. А в душе все перевернулось и никак не может уложиться.

— Но вы пишете!

— Пишу, но не пишется.

— Мешают?

— Думаю, что художник звука, линии, цвета, слова, даже мысли в страшном положении, когда не верит в значительность выражения своей мысли, — это мешает.

— От чего это зависит?

— Любовь тревожна, вера спокойна, она то бывает, то не бывает. Я в тревоге сейчас. Когда не пишется, ищу суеты и работы; с педагогами спорю, «Азбуку» собираюсь переделывать — думаю — позирую.

— О печальном думаете, Лев Николаевич.

— Люблю очень, как и Ясную Поляну, самарские степи, а там голод.

— Читал в газете.

— Писал, с Софьей Андреевной советовался, что-

бы начальство не рассердилось и разрешило помочь.

— У нас под Осколом тоже плохо.

— Неурожай, скот продают, убавляют посевы, мужик вразброд пошел, баба осталась дома, жнет, и получается ей за день работы копеек десять. Цены упали — не за что платить.

— Как вы думаете, Лев Николаевич, — спросил Крамской, — вы это дело понимаете — что дальше будет?

— Пройдут дожди — будет урожай... А я когда-нибудь роман кончу.

— Мы этого все ждем, Лев Николаевич.

— И я жду, землю покупаю; есть две тысячи в Самарской губернии, взял у одного бездельника еще четыре. Но жизнь под корень режется. Хлеб переводится, степь распахали, вокруг Ясной Поляны чугунка леса потушила, а я пишу, все переворачиваю, сложить не могу. А у вас — хороши мои невеселые портреты. Сегодня пришел в залу рано утром, поставил два ваших портрета, посмотрел, два человека — оба похожи. Хорошо. Вот картину вашу «Христос в пустыне» — я не понял и спрашивал себя: Христос ли это?

— Я не убежден, что это Христос. Но я не умею написать иначе картину. Портреты пишу. Вот хочу написать картину «Смех»: лицо Христа, а вокруг него хохочут люди. Разные. И недоволен я.

— Чем вы недовольны?

— Ведь это же портреты будут, головы И центра у меня — Христа — нет. Это уже и для Иванова был не центр, и у него распалась картина.

— Да, я вашу картину помню. Холодное утро, пустыня каменистая, сидит человек, думает. Только почему это Христос, почему это бог? Надо ли так?

— Я не верю в непорочное зачатье, но по тогдашней человеческой логике, и особенно восточной, необыкновенный человек должен был и родиться необыкновенно. В этом нет ничего дурного.

— Это вы хорошо сказали, только снисходительно.

Красный кленовый лист на земле сменился бледным липовым.

Крамской шагал, потом, смотря под ноги, заговорил, прибавив шагу:

— Та картина началась так: однажды в Петербурге я бродил белой ночью. Тени нет, все светло, круглое — колонны, памятники, шпили. На каменной скамейке набережной перед Сенатской площадью сидел человек, длинноволосый, с пледом на плечах. Он не оглянулся на звук моих шагов, его дума была серьезна и глубока. Я шел, у меня были свои мысли Я ходил, думал об искусстве, о том, что хочу писать картину, а мне, сыну казачки и писаря, нужны в год большие тысячи, чтобы дети мои были такие, как все. И вот надо пригвождать себя к чужим куполам, выписывать ногти богов. Я ходил и думал, что искусство овладеет истиной тогда, когда будет даром даваться: даром видим, даром пишем, даром отдаем

— Хорошо бы так.

— Ходил, думал. Смотрел, как Суворов стоит, закрывая щитом императорскую корону и совсем чужую папскую тиару.

Опять пришел на набережную. Тот человек не ушел. Солнце уже подымалось за его спиной, складки пледа не изменились. Он не заметил ночи. Нельзя сказать, что он был вовсе нечувствителен к ощущениям; нет,— он под влиянием наступившего утреннего холода прижал локти ближе к телу. Я прошел рядом. Губы его как будто засохли, слиплись от долгого молчания. Он будто постарел на десять лет; но все же я догадывался, что это такого рода характер, который имеет силу, однажды решив, сокрушить всякое препятствие. Я в картине старался вспомнить этого человека и, нарисовав, почувствовал успокоение

— Но решения сегодня нет.

— А без поисков нет сегодня и России.

— Что же будет дальше?

— Я не знаю продолжения.

— Я не верю, — ответил Толстой, — в Чернышевского, особенно в его роман. И в роман, который пишу, не вовсе верю. Хочу только опростать себе досуг для другого дела. Хотел писать о Петре, императоре, — не верю в него. Но не написал еще о нем роман не потому, что его не уважаю. Я всей этой истории боюсь и ее не уважаю и не уважаю этой петербургской веры.

— Что же уважаете?

— Самарскую глушь с мужиками-земледельцами, башкирцев, о которых мог бы написать Геродот. Мужиков, о которых Гомер должен был бы писать, а я не умею. Учусь, даже греческий язык выучил для Гомера. Он и поет, и орет, и все правда. В степи приходит покой.

— А как ваш роман, Лев Николаевич?

— Не знаю. Одно верно: Анна умрет — ей отомстится. Она по-своему хотела обдумать жизнь.

— А как надо думать?

— Надо стараться жить верой, которую всосал с молоком матери, без гордости ума.

— Верить в церковь?

— Вот видите, что небо очистилось. Оно голубое. Надо верить, что это голубое — твердый свод. Иначе надо поверить в революцию.

Лев Николаевич шел устало. У куста с красными доцветающими розами стояла Софья Андреевна. Роза приколота к широкой кофточке.

Графиня улыбалась мужу и художнику робко и счастливо.

— Смотрела портреты, — сказала она. — Лев Николаевич тоже, конечно, очень доволен. Не знаю даже, который выбрать. Может быть, посоветуете нам взять большой; кажется, к нему у нас найдется рама. Ну, что вы так долго гуляли по сырости?

— А я вот разговаривал с Иваном Николаевичем, успокаивал его и обращал из петербургской в свою веру.

— Вы, Иван Николаевич, слушайтесь Левушку — он у нас счастливый и спокойный. Идемте, анковский пирог на столе!

РАБОТА НАД РОМАНОМ

Зачинают новую работу легко; рожают трудно. В радости начала и трудности перерешения замысла, в отрыве его от себя самого — великое противоречие.

Толстой писал Н. Страхову в феврале 1874 года: «Я не могу иначе нарисовать круга, как сведя его и потом поправляя неправильности при начале».

Но круг не закруглялся.

Проходили месяцы. Сменялись времена года.

Пришла осень 1875 года. Ходят бабы по мокрой земле босые. Барыня под крышей зябнет. Мрачен Толстой. Слабость. И юбки кругом, и безысходность лабиринта жизни.

С. А. Толстая ярко описала эту эпоху яснополянской жизни в дневнике от 12 октября 1875 года: «Слишком уединенная деревенская жизнь мне делается, наконец, несносна. Унылая апатия, равнодушие ко всему, и нынче, завтра, месяцы, годы — все то же и то же... Я тесно и все теснее с годами связана с Левочкой, и я чувствую, что он меня втягивает, главное, он, в это тоскливое, апатичное состояние. Мне больно, я не могу видеть его таким, какой он теперь. Унылый, опущенный, сидит без дела, без труда, без энергии, без радости целыми днями и неделями и как будто помирился с этим состоянием. Это какая-то нравственная смерть, а я не хочу ее в нем, и он сам *так* долго жить не может».

Набор «Анны Карениной» для отдельного издания был начат в марте 1874 года; сдана вначале первая часть — вторая часть переписывается. Набор остановлен в июне того же года. Толстой пишет Н. Страхову, что он остановил печатание, так как целиком поглощен педагогической деятельностью.

В конце июня 1875 года тихо умерла Т. Ергольская.

Татьяна Александровна, умирая, почти не узнавала никого. Толстого узнавала всегда, светлела, шевелила губами, стараясь произнести имя Николая Ильича; перед смертью она уже совсем неразрывно

соединяла Льва Николаевича с тем, кого любила всю жизнь.

Дом был занят своими делами: Софья Андреевна тосковала. Кто воспитает в деревне ее детей? На кого ляжет ответственность за их страдания и неудачи?

Толстой кажется равнодушным, потухшим и не рассказывает ей о своих планах.

* * *

Печатание новой редакции романа началось в первых четырех книжках «Русского вестника» за 1875 год. Здесь были напечатаны 1-я и 2-я части целиком и первые десять глав 3-й части.

После — долгий перерыв.

В 76-м году появились главы 3-й части, в них рассказывалось, как вел хозяйство и сам косил в деревне Левин; о том, как пережил Каренин признание жены в неверности; как продолжал Алексей Александрович работать по службе, отбивая атаки другого, враждебного министерства, о взаимоотношениях Анны с Вронским и опять о хозяйственных планах, сомнениях и неудачах Левина.

Ранняя весна. Лев Николаевич пишет в своем кабинете, в двух соседних комнатах заперты двери, чтобы не мешать ему. За окном голубые весенние снега. У деревьев просели чашки снега, тени деревьев на снегу синие — весенние.

Александрин Толстая с благожелательством, обновленным успехами романиста, написала ему утешительное письмо. Фрейлина двора недавно получила от Толстого краткое сообщение о смертях, происшедших в доме, и пытается по этому случаю обратить своего друга в официальную веру.

Была жестокая зима. К дому, темному и тихому, занесенному снегом, от белых башен легли следы полозьев городских саней.

Ездили доктора. Дом полон усилием не помнить о смертях.

Умерла Пелагея Ильинична Юшкова — сестра отца Льва Николаевича. Жила она после смерти

Корректурная гранка романа «Анна Каренина»

мужа сперва в Оптиной пустыни, потом в Тульском женском монастыре. В 1874 году переехала в Ясную Поляну, сохранив свою монашескую одежду, смиренные поклоны и повадки старой барыни.

Дом полон работой Толстого, прерываемой, начинающейся снова, ищущей воплощения, и тихим, безнадежным, не знающим завтрашнего дня отчаянием Софьи Андреевны.

Лев Николаевич, крепясь, пишет Александрин 8 марта 1876 года:

«Дети мои умерли вот как: После пяти и теперь живых (помилуй бог), шестой был крупный мальчик, которого жена очень любила, Петя. Году он заболел с вечера, а к утру, только что жена ушла от него, меня позвали, он умер — круп. Другой за ним, прелестный ребенок (нескольких месяцев уже видна была чудесная милая натура), тоже году, заболел водянкой в голове. И до сих пор больно, очень больно вспоминать эту ужасную неделю его умирания. Нынешней зимой жена была при смерти больна. Начало было коклюш. А она беременна. Она была при смерти и преждевременно родила дочь, которая прожила несколько часов и о которой уже гораздо позже пожалели, когда мать была вне опасности. Не успела жена встать (не было шести недель), свежая, бодрая старушка, тетушка Пелагея Ильинична Юшкова, только что в этом году переехавшая из монастыря жить к нам, слегла и в страшных мучениях скончалась. Странно сказать, но эта смерть старухи 80-ти лет подействовала на меня так, как никакая смерть не действовала. Мне ее жалко потерять, жалко это последнее воспоминание о прошедшем поколении моего отца, матери, жалко было ее страданий, но в этой смерти было другое, чего не могу вам описать и расскажу когда-нибудь».

Второй умерший младенец, Николай, не назван, о дочке сказано, что пожалели потом; письмо полно отчаяния. Оно кончается словами о героине романа: «Моя Анна надоела мне, как горькая редька, я с нею вожусь, как с воспитанницей, которая оказалась дурного характера; но не говорите мне про нее дурного или, если хотите, то menagement *, она все-таки усыновлена».

Имя Анны названо рядом с именем умершего сына, оно как будто вытесняет имена умерших. Письмо к А. Толстой по ошибке положено в конверт, отправленный С. С. Урусову, а Толстая получила урусовское письмо, которое не сохранилось; все смешалось в яснополянском доме.

Но жизнь должна продолжаться, наступит весна, зазеленеют поля, зазеленеет степь.

Толстой поедет в степи, осенью будет писать «Анну Каренину».

Через несколько дней после отправки письма к А. Толстой пишет Лев Николаевич Фету:

«Нет ли у вас жеребца старого и вообще не очень дорогого верхового, с арабской кровью, и еще нет ли кобылки или двух, трех или четырех лет, тоже не из очень дорогих. Жеребца мне нужно для случки с киргизскими кобылами, а кобыл или кобылу для забавы, для выездки».

Письмо кончается так: «У нас все по-старому. Жене было стало хуже. Но теперь сносно. — Я все мечтаю окончить роман до лета, но начинаю сомневаться».

Следующее письмо опять к Толстой. Он запрашивает о проповеднике-евангелисте Греневиле Редстоке. Характер проповедника нужен, вероятно, для романа.

Рядом с толстовскими страданиями, с его попытками понять смысл жизни, идет игра в религию.

«Как прекрасно вы мне описали Радстока. Не видав оригинала, чувствуешь, что портрет похож до смешного».

Квакерская религия с женщинами в скромных платьях, с религиозными банкирами появляется в России рядом с официальной религией и банкирами евреями.

Религия Толстого — спор, не окончательный ответ на реальные вопросы. Он заслоняется религией так,

* Щадя

как заслоняются люди рукой от взрыва; жест бесполезен, но утопающий и соломинке рад.

«Мне это радостно думать, потому что я много и мучался, и трудился и в глубине души знаю, что этот труд и мучения есть самое лучшее из того, что я делаю на свете. И эта деятельность должна получить награду, — если не успокоение веры, то сознание этого труда уже есть награда. А теория благодати, нисходящей на человека в Английском клубе или на собрании акционеров, мне всегда казалась не только глупа, но безнравственна».

Поиски решения идут в романе: там все мучения, и поэтому на вопрос о смерти детей Толстой отвечает в том письме, где он пишет о романе. Он щадит Анну в беспощадном мире горя.

А веры не получается: «Я с своими требованиями ума и ответами, даваемыми христианской религией, нахожусь в положении двух рук, которые стремились бы сложиться, но упираются пальцами».

Это похоже и на неверный жест человека, на мгновенье потерявшего управление своим движением, и на попытку взять рукой что-то, находящееся за стеклом.

Роман строился в опровержении первых решений, в поисках причин несчастья и вины. Неизбежно складывалось так, что Вронский стал стреляться: обычная система нравственности Вронского и его круга опровергнута. Толстой пишет Н. Страхову 23 апреля 1876 года воспоминания о пройденном пути: «Глава о том, как Вронский принял свою роль после свидания с мужем, была у меня давно написана. Я стал поправлять ее и совершенно для меня неожиданно, но несомненно, Вронский стал стреляться. Теперь же для дальнейшего оказывается, что это было органически необходимо».

В первых построениях романа Вронский, еще не носивший эту фамилию, был другом того человека, которого назовут Левиным. Вронский и Левин — две попытки решить жизнь того времени, они со своими правилами оба в конце концов придут к попытке самоубийства и к мыслям о смерти.

Анна умрет под колесами.

Толстой будет искать путь из этого мира, как шарит по стенам ослепленный человек, ища выхода.

Роман недаром появлялся с перерывами; это не только перерывы работы, это поиски новых решений, в которых временами человек как бы задыхается. Сердце романа тогда останавливается.

Задержки с появлением глав романа — это накапливание решений и сопоставление сцеплений; роман, подключенный к противоречивым токам времени, сталкивается своими поворотами, частными сюжетами, заключенными в маленьких главах.

Идут слухи о конце романа. Александрин Толстая спрашивает: действительно ли умрет Анна под поездом? Она находит, что это пошло.

Роман был начат с готовым решением: вычисляются, уточняются не события, а отношения героев и значение событий.

Выясняется вес героев, их истинная цена. Анна Каренина сделала в жизни неверный шаг и погибла, — так утверждалось первоначально.

Прекрасная женщина, которая могла бы быть гордостью времени, погибает потому, что она полюбила, и еще потому, что она не находит человека, достойного ее жертвы. Такое решение намечается в конце.

Вронский попал в адъютанты к здоровому, крепкому, как огурец, благополучному иностранному принцу. Вронский, в чем-то измененный своей любовью, спрашивает себя: неужели он сам похож на эту глупую говядину?

Вронский не говядина, но в его любви есть эта бычья прямолинейность, над которой скрыто смеялся Щедрин Насмешка дошла до Толстого. Смеялись около старого каменного дома в Ясной Поляне, на скотном дворе, в стойлах белая корова и черный бык — их традиционно называют Анна и Вронский.

Но это только ответ на насмешки.

Анна не менее, чем Левин, наделена авторским ощущением жизни. Это ярче всего выявлено в сцене, когда Анна едет умирать.

Женщину разлюбили, и она потеряла связь событий.

Анна любила, но она не могла оставить того, что она называла светом, потому что без этого света не мог жить Вронский. Отмщение состоит в том, что Анне для того, чтобы сохранить любимого, нужно место в ложе оперы, нужно, чтобы Вронский занимал свое место в свете рядом с ней.

Если бы она ушла из этого театра, если бы покинула его, то была бы спасена; но Лев Николаевич сам не может покинуть свое место в Ясной Поляне, он сам пленник семьи, благополучия, славы.

Счастье Анны Толстой почти скрывает. Оно как будто противоречит роману. Но то смешное, что видит Каренина, когда едет на смерть, она хотела бы рассказать Вронскому, значит она и прежде рассказывала, значит она умела и прежде видеть то, что можно рассказать любя.

То же, что называлось любовью между ней и Карениным, вызывало у нее в воспоминании содроганье.

Только ли несчастлива была Анна Каренина?

Толстой описывает ее любовь как несчастье, и в то же время он пытается ее приблизить к себе. Она его приемная дочь, и, стоя у могилы детей, он просит для Анны пощады.

Отдельно над всеми, выше всех стоит Анна Каренина, потому что она по-настоящему любит. Толстой хотел бы ее осудить, но у него это не получается. Казалось бы, любовь к Вронскому — это несчастье, позор:

«Она чувствовала себя столь преступною и виноватою, что ей оставалось только унижаться и просить прощения; а в жизни теперь, кроме его, у ней никого не было, так что она и к нему обращала свою мольбу о прощении. Она, глядя на него, физически чувствовала свое унижение и ничего больше не могла говорить... Стыд пред духовною наготою своей давил ее и сообщался ему...»

Но в то же время это любовь. И Анна говорит:

«— Я несчастлива? — сказала она, приближаясь к нему и с восторженною улыбкой любви глядя на

него, — я — как голодный человек, которому дали есть. Может быть, ему холодно, и платье у него разорвано, и стыдно ему, но он не несчастлив. Я несчастлива? Нет, вот мое счастье...»

«Мне отмщение, и аз воздам», — говорит Л. Толстой и смотрит в небо, но в этом небе для Толстого пусто.

Левин не имеет прототипа, он не Толстой, потому что он — Толстой без силы анализа, без гения. Но Левину дано видение, связанное с любовью. Он видел ослепительный мир катка, на котором каталась Кити, он видит красоту крестьянской работы, он видит красоту зимы в тот час, когда он полюбил, и Кити сказала, что она его любит.

То, что не вышло у Льва Николаевича Толстого с Софьей Берс, выходит у Левина. Лев Николаевич писал буквы, чтобы догадалась любимая, чтобы совпали их мысли, это было «напрасно».

Пришлось отправлять письмо, в котором было все досказано и подписано.

Кити в романе поняла все, и вот теперь автор дарит Левину счастье видения мира, того видения, которое доступно поэтам — Пушкину, Тютчеву, Фету. Фету в те моменты, когда он не ищет копейки, обходя свой двор, и не говорит слово «целковый» с такой мягкостью, как будто бы этот целковый уже положен в карман.

Левин видит зиму, как поэт.

Только в работе и на охоте, да еще в моменты экстаза любви Левин чувствует: жизнь прекрасна.

«И что он видел тогда, того после уже он никогда не видал. В особенности дети, шедшие в школу, голуби сизые, слетевшие с крыши на тротуар, и сайки, посыпанные мукой, которые выставила невидимая рука, тронули его. Эти сайки, голуби и два мальчика были неземные существа. Все это случилось в одно время: мальчик подбежал к голубю и, улыбаясь, взглянул на Левина, голубь затрещал крыльями и отпорхнул, блестя на солнце между дрожащими в воздухе пылинками снега, а из окошка пахнуло духом печеного хлеба, и выставились сайки. Все это

вместе было так необычайно хорошо, что Левин засмеялся и заплакал от радости». Он заплатил за восторг разочарованием.

Анна заплатила за виденье ощущением гибели. Толстой переживет сам ее гневное вдохновенье отрицания, когда будет писать «Воскресение». Когда увидит мир четким и опозоренным и надежду на мир другой.

Люди в романе разделяются на видящих и не видящих мир. Истинную реальность мира, через которую открывается счастье, знает Левин, но только тогда, когда он влюблен.

Анна едет умирать и видит мир как бы обнаженным, потерявшим привычные связи, и проклинает его.

Не может никогда увидеть мир Каренин, хотя он добр, но доброта его слепа. Только несчастье на время выбивает Каренина из искусственной жизни.

«Всю жизнь свою Алексей Александрович прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с отражениями жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самою жизнью, он отстранялся от нее. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, спокойно прошедший над пропастью по мосту и вдруг увидавший, что этот мост разобран и что там пучина. Пучина эта была — сама жизнь, мост — та искусственная жизнь, которую прожил Алексей Александрович».

Мост рухнул, и Каренин начал ошибаться, он даже стал говорить неправильно. Он сказал «пелестрадал» вместо «перестрадал», и Анна на минуту поверила в его боль.

Эта ошибка в слове была задумана Толстым задолго до последнего построения романа. Может быть, она была зерном истинного Каренина, такого, каким он мог быть в иной обстановке.

«С минуту он молчал и с тем же унылым лицом смотрел на ребенка; но вдруг улыбка, двинув его волоса и кожу на лбу, выступила ему на лицо; и он так же тихо вышел из комнаты».

Улыбка Каренина как бы раздвигает какую-то преграду.

Но преграда очень скоро воздвигается вновь.

В деле, в отношении к миру Каренин мертв.

Каренин не любил Анну и, вероятно, не видал ее и не видал своего сына — он подставлял вместо живых людей выдуманных и говорил с сыном, как с выдуманным мальчиком. Не было для него и России. Он человек из канцелярий, своеобычный тип человека в футляре.

Вот как Толстой рассказывает о работе Каренина.

«Теперь Алексей Александрович намерен был требовать: ...чтобы была назначена еще другая новая ученая комиссия, для исследования причин этого безотрадного положения инородцев с точек зрения: а) политической, б) административной, в) экономической, г) этнографической, д) материальной и е) религиозной; в-третьих, чтобы были затребованы от враждебного министерства сведения... в-четвертых, наконец, чтобы было потребовано от министерства объяснение о том, почему оно, как видно из доставленных в комитет сведений за №№ 17015 и 18308, от 5 декабря 1863 года и 7 июня 1864 года, действовало прямо противоположно смыслу коренного и органического закона, т..., ст. 18 и примечание в статье 36. Краска оживления покрыла лицо Алексея Александровича, когда он быстро писал себе конспект этих мыслей».

Судя по датам, та бумага об инородцах, которую составлял Каренин в пику враждебному министерству, вероятно, бумага о расхищении башкирских земель. Но степь и люди в ней закрыты от Каренина цифрами циркуляра. Он мертв и умерщвляет.

Бюрократ, банкир и мещанин для Толстого — главные враги.

Он почти равно ненавидит крупного чиновника Каренина и банковского воротилу Болгаринова, презирает Стиву Облонского за то, что он пошел к Болгаринову на поклон. Бездушный азарт Каренина на «заседании комиссии 2-го июля» равен его бешеной и спокойной злобе, с которой он угнетает Анну Ар-

кадьевну. У Каренина «...пронзительный, детский и насмешливый голос», он не мужчина и хотя и ревнует, но говорит с женой, пользуясь терминологией канцелярии:

«— Мне нужно, чтобы я не встречал здесь этого человека и чтобы вы вели себя так, чтобы ни *свет*, ни *прислуга не могли* обвинить вас... чтобы вы не видали его... И за это вы будете пользоваться правами честной жены, не исполняя ее обязанностей».

Тютчев сказал:

Ах, если бы живые крылья
Души, парящей над толпой,
Ее спасали от насилья
Бессмертной пошлости людской!

ПОСТРОЕНИЕ РОМАНА

Неустойчивость тех нравственных норм, нарушение которых создает конфликты, требовала особого построения романа, утверждения героини, особого для нее положения и одновременно показа обычного отношения к ней.

Роман первоначально имел раскрытое начало: мы присутствовали при разговоре Карениной с человеком, который в нее влюблен, и узнавали, что их после этого перестали приглашать в общество.

Роман закручивался стремительно быстро и шел к трагическому разрешению.

Анализируя то, что происходило вокруг, Толстой избрал иной способ экспозиции, построив как бы закрытое начало.

Степан Аркадьевич просыпается после приятного сна, он видал, что какие-то графинчики-женщины что-то пели. Все это было очень весело. Вполне проснувшись и спустив ноги с кровати, Степан Аркадьевич не нашел туфель; значит, он спит не в своей спальне, а в кабинете; значит, он поссорился с женой. Действительность возвращается к Степану Аркадьевичу, но для него это пустяковая действительность: у него не драма, а неприятности.

Лев Николаевич пишет свой роман маленькими главками — в три-четыре страницы. Обычно каждая главка имеет свою законченную тему и происходит в определенном месте.

Что изображает пробуждение Степана Аркадьевича на сафьяновом пружинном диване?

У виноватого мужа бытовое, пренебрежительно-веселое, улыбающееся отношение к супружеской измене мужчины.

Графинчики-женщины, конечно, — партнерши Степана Аркадьевича, они сближены с едой и с питьем, они совершенно бытовые: при мысли о них глаза Степана Аркадьевича весело заблестели.

Вторая глава романа первоначально не меняет места действия, лишь прибавляются действующие лица и несколько изменяется тема. Темой первой главы было отношение мужчины к его супружеской измене, тема следующих глав — отношение дома к измене отца и хозяина к жене.

Все на стороне Степана Аркадьевича.

От главы к главе исследует Толстой жизнь через лабиринты сцеплений. Он как бы разбивает ее на отдельные, изолированные моменты.

В главе IX происходит встреча Левина с Кити на катке Зоологического сада. Все празднично и несколько игрушечно: «Чистый народ, блестя на ярком солнце шляпами, кишел у входа и по расчищенным дорожкам, между русскими домиками с резными князьками; старые кудрявые березы сада, обвисшие всеми ветвями от снега, казалось, были разубраны в новые торжественные ризы».

Мать Кити холодно встречает Левина, Кити из вежливости старается загладить сухость княгини. Улыбка Кити ободряет Левина, и он едет со Степаном Аркадьевичем в ресторан «Англия».

Глава X: беседа Левина с Облонским в ресторане; кроме главного разговора об увлечении Левиным Кити, подготовляется вторая линия анализа — город и деревня. Противопоставление осуществлено на ресторанном меню и стоимости ресторанного обеда.

Опытный гурман, князь Облонский читает меню

по-русски; восторженно преданный господским интересам лакей татарин старается вставить французское название блюд. Быт подчинен Облонскому, лакей служит быту.

Левин после обеда уже не пытается перевести свою долю стоимости обеда на деревенские понятия.

Вронский более завидный и блестящий жених, чем Левин, и Кити вместе со своей матерью тянется к Вронскому. Но предложение еще не сделано.

Появляется вызванная братом Анна Аркадьевна: она должна все устроить, всех примирить. Она уже не потолстевшая, чувственная женщина — это красавица аристократка, превосходно поставленная в обществе. Она приезжает добрая, внутренне честная и примиряет супругов.

Дана высота, с которой Анна потом сойдет.

Иначе вводится и в то же время усиливается вина Анны.

Сильная Анна, почти играя, разрушает иллюзии Кити. Встреча Кити с Вронским происходит на фоне бала. Кити знала, что бархотка на ее шее прелесть, но она сама робко прелестна. Анна Каренина пренебрежительно и без труда превосходит свой костюм, она не прелестна, а прекрасна, и побеждает без напряжения ту, которая отвергла Левина.

Сильная Анна невольно вызывает страсть Вронского и, не желая того, разбивает наметившееся счастье слабой Кити.

Анна возвращается в Петербург к мужу и сыну. Она читает английский роман, сидя в купе.

«Герой романа уже начал достигать своего английского счастья: баронетства и имения, и Анна желала вместе с ним ехать в это имение, как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно и что ей стыдно этого самого». Реальность человеческих отношений вторгается в условный мир английского романа.

Поезд идет сквозь вьюгу.

Появляется Вронский.

Страсть разрушает жизнь Анны. Тема страсти связана с темой железной дороги, с колесами, под которыми погибнет Анна. Железная дорога для Толстого — это знак того, что вторглось в жизнь и развязало таившиеся страсти

Анна виновата не в том, что она любит, а в том, что она, противопоставив свою любовь обществу, в то же время хочет, чтобы общество ее признало. Казнью Анны является «афронт» — ее появление в театре, где с ней не хотят сидеть рядом дамы «приличного» общества.

В неустроенном морально обществе, среди обломков семей, Толстой, призывая имя бога, говорит о небесных карах для той, которая не захотела жить сразу с двумя — мужем и любовником. Он защищает не обычное, а сверхобычное, ту семью, для которой жертвуют свободой, которую он хочет сам создать. Мечта о женщине, которая понимала бы любую мысль, понимала бы любовное слово по одной букве, удовлетворена в романе. Кити все понимает, и все с нею достигнуто и утверждено.

В жизни Толстому пришлось все дописывать и посылать во внятном и документальном виде.

В черновиках осталось, как рядом с Анной Кити мелка. Но и в окончательном построении романа Левин чуть ли не увлекается Анной. Толстой как бы полувлюбляется в свою героиню.

Анна — женщина, которая действительно понимает все.

В сцене, когда Анна больна родильной горячкой и все уверены в ее смерти, Алексей Каренин прощает Алексея Вронского. Эта сцена подымает Каренина. Но выше обоих Анна. Она по-новому понимает мужа и видит в нем человека. Вронский пытается покончить самоубийством. Каренин не выдерживает своего человеческого достоинства и заслоняется религией.

Анна одна платит за вину обоих.

Она дочитывает книгу обмана и зла одна.

Толстой начал писать историю семьи, гибнущей из-за нарушения женщиной семейного долга, борясь с тем, что считал нигилизмом. Он пошел во внутрь драмы, как бы утверждая философски свой яснополянский дом.

Анна Каренина виновата. Первоначально Каренин не виноват — он святой, Вронский не виноват. Вопрос о его вине как-то не поднимается Толстым, так как поступок Вронского бытовой: у него роман с светской женщиной. Вронский скорее обвиняется в том, что он ухаживал за Кити без серьезных намерений. Роман вырастает: оказывается, что Каренина не виновата, оказывается, что Каренин мог быть не виноват, так как на секунду может разломать обычные представления о нравственности во имя мягкой доброты. Но мир, свет силен, не разрушен, хотя он атакуется братом Левина — Николаем. Николай умирает. Другой брат, либерал, не понимает ничего. Но существует мир со своей нравственностью реального бытия — переворотившаяся Россия, хозяйство, вопрос о социальном переустройстве. Идет разговор на сеновале, о котором с таким волнением говорил Достоевский в «Дневнике писателя» за 1877 год. Социальное переустройство оказывается важнее личной истории.

Гибнет Каренина, уезжает умирать Вронский. Левин реконструирует старого бога для того, чтобы жить в старом мире.

Все элементы сцепления строго вымерены, в то же время они не только подчиняют себе читателя, они подчинили себе писателя, который покоряется силе сцепления так, как ученый подчиняется фактам, выявленным на специально поставленных опытах.

Толстой во время написания романа, или, вернее, в начале написания, считает линию Левина правильной, он хочет подкрепить семью и хозяйство Левина эпиграфом из библии, но сам Левин не верит. Он только хочет заставить, заслонить свои условные, компромиссные решения религиозными. Он подставляет под свой быт церковные верования, или, как он пишет в дневниках, он больше не хочет сгибать жизнь, он сгибает и умягчает самого себя.

«И ему теперь казалось, что не было ни одного из верований церкви, которое бы нарушило главное, — веру в бога, в добро, как единственное назначение человека. Под каждое верование церкви могло быть подставлено верование в служение правде вместо нужд».

Неожидан самый словарь: Левин предлагает «подставлять», то есть подменять одно другим, подменять для того, чтобы принять само верование, причем это уже не вера, а попытка.

Левин смотрит на небо и думает: «Разве я не знаю, что это — бесконечное пространство и что оно не круглый свод? Но как бы я ни щурился и ни напрягал свое зрение, я не могу видеть его не круглым и не ограниченным, и, несмотря на свое знание о бесконечном пространстве, я несомненно прав, когда я вижу твердый голубой свод, я более прав, чем когда я напрягаюсь видеть дальше его...

Неужели это вера? — подумал он, боясь верить своему счастью».

Что такое это «прищуривание», которым занимается Левин? Что это слово значит в словаре Толстого?

В одном из первых набросков романа писатель говорил о Карениной:

«Она именно умела забывать. Она все эти последние медовые месяца как бы прищуриваясь глядела на свое прошедшее, с тем, чтобы не видать его всего до глубины, а видеть только поверхностно. И она так умела подделаться к своей жизни, что она так поверхностно и видела прошедшее».

Страсть, дошедшая до отчаяния, открыла глаза Анны. Необходимость заставит Левина заново увидать мир, который не может быть обновлен религией. Гибель Анны описана в шести последних главах седьмой части. Это почти монолог, перебиваемый только встречей Анны с Кити и Долли. Ничто не может спасти Анну, кроме возвращения Вронского. Но он вернется не тем, каким она его любит, и он таким уже не возвратился. Уже все не нужно: нужно одно — наказать его.

Вронский уходит, не боясь угроз, он лжет Анне так, как она когда-то лгала Каренину. Он уезжает: «Она слышала звуки его шагов по кабинету и сто-

ловой. У гостиной он остановился. Но он не повернул к ней, он только отдал приказанье о том, чтоб отпустили без него Войтову жеребца. Потом она слышала, как подали коляску, как отворилась дверь, и он вышел опять. Но вот опять вошел в сени, и кто-то взбежал наверх. Это камердинер вбегал за забытыми перчатками».

Вронский сел в коляску, не глядя в окно. Он уехал. Анна посылает ему записку, но все бесполезно. Она едет к Кити, которая ее почти что не принимает. Ответа на записку нет. Анна вернулась домой. Она спускается к смерти все ближе. Анна передумывает всю свою жизнь с начала до конца, она пересчитывает ее.

Мир, который она видит, безобразен, он распался, ничего не нужно, но она делает попытку ехать к Вронскому. Идет внутренний монолог Карениной и разрозненные впечатления мира. Она с отвращением перелистывает последние страницы жизни, видит грязное мороженое и скотское отношение людей друг к другу.

Станция.

Чем-то знакомый мужик в фуражке прошел мимо окна, нагибаясь к колесам вагона. Анна вспоминает сон. Она выходит на станцию, где ей передают послание любовника. «Очень жалею, что записка не застала меня. Я буду в 10 часов», — небрежным почерком писал Вронский.

Надо торопиться уйти от унижения.

Быстрыми легкими шагами спускается Анна к полотну железной дороги. «Туда! — говорила она себе, глядя в тень вагона, на смешанный с углем песок, которым были засыпаны шпалы. — Туда, на самую середину, и я накажу его и избавлюсь от всех и от себя».

Толстой тормозит действие, передавая логику безумного решения, фиксируя последнюю ненужную целесообразность движения. Анна бросается на рельсы и легким движением, как будто готовясь сейчас же встать, опускается под вагоном на колени.

Наступает конец.

«Мужичок, приговаривая что-то, работал над железом. И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла».

Может быть, это страшная арзамасская свеча, освещающая белый квадратный ужас обыденного.

Левин пытается преодолеть этот ужас хлопотами и разговорами о вере

Московский Художественный театр поставил в инсценировке Н. Д. Волкова «Анну Каренину». Нужно отметить, что то, что Ленин считал очень важным в романе, — рассказ о том, что в России все перевернулось и никак не может уложиться, выпало из инсценировки.

Выпало потому, что выпал Левин и вся его история с неудачным хозяйством и с попытками быть праведником, сохраняя за собою имение. Первоначально Толстой задумал «Анну Каренину» как повесть о падении женщины из общества, не развертывая всей широты вопроса, но постепенно оказывалось, что нравственность богатых умерла, ее нельзя предлагать как какую-то безусловную нравственность.

Роман начинался так. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

Дальше был рассказ о том, как несчастлива семья Облонских, но скоро мы узнали, что семья Карениных тоже несчастлива. Попытка Анны создать семью с Вронским — неудачна.

Возникает вопрос: счастлива ли семья Левина, то есть счастлив ли Левин с Кити?

Левин и Кити повенчались, у них есть дети, но если Кити и счастлива, то только потому, что она мелка, как об этом писал сам Толстой. Во всяком случае, она молода. Она не знает своей судьбы. Семья Левина несчастлива по-своему, и несчастье этой семьи помогает нам понять биографию самого Толстого.

Толстой пишет про жизнь Левина: «Но это не только была неправда, это была жестокая насмешка ка-

кой-то злой силы, злой, противной и такой, которой нельзя было подчиняться.

Надо было избавиться от этой силы. И избавление было в руках каждого. Надо было прекратить эту зависимость от зла. И было одно средство — смерть.

И, счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что спрятал шнурок, чтобы не повеситься на нем, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться.

Но Левин не застрелился и не повесился и продолжал жить».

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТОЛСТОМ И РЕЛИГИИ

Трудность понимания религии Толстого состоит в том, что он вкладывал в слова «религия», «бог» в разное время, а иногда и в одно и то же время различные значения.

Толстой в «Исповеди» писал: «Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей и с детства и во все время моего отрочества и юности. Но когда я 18-ти лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили».

Сам Толстой комментирует, что он и до восемнадцати лет не верил, а имел только «доверие» к тому, чему его учили.

Но в то же время религиозные привычки и даже религиозное умиление при сознательном отречении от вероучения не было у Толстого связано с прямыми отрицаниями. В отрицаниях своих он осторожен, оговаривает проблемы, которых не хочет касаться.

На Кавказе Лев Николаевич со своей привычкой все приводить в порядок выясняет самому себе вопрос о традиционной вере и в то же время молится богу, чтобы тот избавил его от искушений.

В июне 1853 года Толстой размышляет о своем поведении: «Благодарю бога за такое настроение и прошу Тебя — поддержи его».

А в июле того же года он пишет: «Не могу доказать себе существование бога, не нахожу ни одного дельного доказательства и нахожу, что понятие не необходимо. Легче и проще понять вечное существование всего мира с его непостижимо прекрасным порядком, чем существо, сотворившее его».

От размышлений о догматах Толстой отказывается, не желая спорить с верой предков.

Но все равно воззвания к богу, благодарность ему соседствуют с отрицанием.

Существует у Толстого другая вера — она соответствует не тому миру, который он видит, а тому, который он хочет построить. Мы можем закрепить время и место ее появления: это Севастополь, время — март 1855 года. Умер Николай I, войска принимают присягу новому императору; Толстой записывает: «Великие перемены ожидают Россию. Нужно трудиться и мужаться, чтобы участвовать в этих важных минутах в жизни России».

Толстой рад, что его покровитель М. Д. Горчаков назначен вместо Меньшикова; составляет свой проект о переформировании армии, причащается и записывает:

«Вчера разговор о божественном и вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. — Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле. — Привести эту мысль в исполнение я понимаю, что могут только поколения, сознательно работающие к этой цели. Одно поколение будет завещать мысль эту следующему, и когда-нибудь фанатизм или разум приведут ее в исполнение. Действовать *сознательно* к соединению людей с религией — вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня».

Это была мысль о новой религиозной реформации; она умерла и потом воскресла в новом виде. Она связана для Толстого не с резким изменением

порядков жизни, а с реформою сознания, она либеральна.

Художественное ощущение жизни отвергало либеральное толкование.

Падение Севастополя, работа в «Современнике», разочарование в Боткине, Чичерине, Дружинине, деревенская жизнь, работа в школе с крестьянскими детьми изменили Льва Николаевича и изменили его религиозные убеждения.

В школе закон божий преподавал священник. Толстой рассказывал детям отрывки из библии, но они воспринимали его рассказы как трогательную повесть об интересных происшествиях и больше всего любили историю Прекрасного Иосифа, проданного в неволю своими братьями.

У него была двоюродная тетка Александра Андреевна Толстая. Вероятно, между племянником и теткой, которая была его старше всего на девять лет, был и полуроман, потому что Толстой впоследствии с огорчением пишет, что Александрин постарела и не действует на него уже как женщина.

Имен в длинной переписке Александра Андреевна имела много: он называл ее Александрин, Сашей. Но в то же время называл Александру Андреевну и ее сестру, Елизавету Андреевну, бабушками.

Александра Андреевна состояла при дочери Николая I — Марии Николаевне, а потом была воспитательницей дочери Александра II. Толстой написал ей сто девятнадцать писем и относился к ней дружески. Он писал ей откровенно. Она писала ему несколько нравоучительно, критикуя его произведения с точки зрения правил своего круга. Александра Андреевна была очень религиозна.

В большом письме, написанном 1 мая 1858 года графине А. А. Толстой, Лев Николаевич, разговаривая с религиозным человеком, сперва комментирует свой рассказ «Три смерти»; начинается разговор с анализа чувства собственности, что для Толстого того времени очень интересно.

Толстой только что купил у казны довольно большой лесной участок, что было нелегко: пришлось задержать срочные платежи. Лес куплен. Напоминаю, что в рассказе «Три смерти» в конце говорится о смерти дерева.

«Вчера я ездил в лес, который я купил и рублю, и там на березах распустились листья и соловьи живут, и знать не хотят, что они теперь не казенные, а мои, и что их срубят. Срубят, — а они опять вырастут, и знать никого не хотят».

Дальше начинается как будто религиозный разговор: «Не знаю, как передать это чувство, — совестно становится за свое человеческое достоинство и за произвол, которым так кичимся, — произвол проводить воображаемые черты и не иметь права изменить ни одной песчинки ни в чем — даже в себе самом. На все законы, которых не понимаешь, а чувствуешь везде эту узду, — везде — Он».

Можно подумать, что Он — это бог христиан, но Толстой продолжает: «Совершенно к этому идет мое несогласие с вашим мнением о моей штуке. Напрасно вы смотрите на нее с христианской точки зрения. Моя мысль была: три существа умерли — барыня, мужик и дерево». Барыня жалка и гадка, потому что она лжет, и христианство — здесь Толстой делает оговорку, ставя в скобках «как она его понимает», — не решает для барыни вопроса жизни и смерти.

«Мужик умирает спокойно, именно потому, что он не христианин». Он видел рождения и смерти, сеял и косил рожь, видал, как умирают старики, как рождаются дети, и смотрит на жизнь прямо и просто. «Дерево умирает спокойно, честно и красиво».

При чем же тут христианство? Толстой отвечает, что в нем есть христианское чувство, но есть и другое: «Это чувство правды и красоты... Как это соединяется, не знаю и не могу растолковать; но сидят кошка с собакой в одном чулане, — это положительно».

Вот это пребывание в одной душе двух неосознанных, несовместимых начал характерно для Толстого. Если продолжать его аналогию, то кошка привыкла к месту — она живет по привычке. Толстовское

миропонимание — это миропонимание мужика, а толстовский идеал своего положения в мире — это дерево. Недаром, кроме рассказа «Три смерти», он написал в «Азбуке» три рассказа о том, как умирают и не хотят умирать деревья. Барин рубит черемуху, а черемуха оживает и как будто переползает на другое место. И в самом конце жизни, в момент высочайшего вдохновения, своего героя Хаджи Мурата Лев Николаевич сравнивал с чертополохом-татарином, которого раздавили колесом, а он все встает, живет.

Это мироощущение Толстой получил на Кавказе и сохранил надолго; эта безрелигиозность была более характерна для него, чем религиозность. Религия была как бы уступкой боязни договорить. Вот что Толстой пишет той же фрейлине императрицы Марии Федоровны, своей двоюродной «бабушке» А. А. Толстой; но пишет как бы для себя:

«Ребенком я верил горячо, сентиментально и необдуманно, потом, лет 14, стал думать о жизни вообще и наткнулся на религию, которая не подходила под мои теории, и, разумеется, счел за заслугу разрушить ее. Без нее мне было очень спокойно жить лет 10. Все открывалось перед мной ясно, логично, подразделялось, и религии не было места. Потом пришло время, что все стало открыто, тайн в жизни больше не было, но сама жизнь начала терять свой смысл. В это же время я был одинок и несчастлив, живя на Кавказе. Я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать. У меня есть мои записки того времени, и теперь, перечитывая их, я не мог понять, чтобы человек мог дойти до такой степени умственной экзальтации, до которой я дошел тогда. Это было и мучительное, и хорошее время. Никогда, ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал *туда,* как в это время, продолжавшееся 2 года. И все, что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением. Я не могу иначе. Из 2 лет умственной работы я нашел простую, старую вещь, но которую я знаю так, как никто не знает, я нашел, что есть бессмертие, что

есть любовь и что жить надо для другого, для того, чтобы быть счастливым вечно. Эти открытия удивили меня сходством с христианской религией, и я вместо того, чтобы открывать сам, стал искать их в Евангелии, но нашел мало. Я не нашел ни бога, ни искупителя, ни *таинств,* ничего; а искал всеми, всеми, всеми силами души, и плакал, и мучился, и ничего не желал, кроме истины».

Толстой религиозен, но религией он называет свое ощущение мира, отодвинувшее обычные представления о своем и чужом.

Он пишет женщине, которая его понять не может: «Жизнь у меня делает религию, а не религия жизнь».

Фрейлина писала что-то, связанное с обычными представлениями двора, при котором она состояла, и со многим другим, что Толстой в том же письме называл вздором.

Толстой одинок. Он пишет: «Вы смеетесь над природой и соловьями. Она для меня проводник религии. У каждой души свой путь и путь неизвестный, и только чувствуемый в глубине ее».

Соловьи не могут спасти Толстого, потому что они поют в собственном его лесу, в природе, которая принадлежит ему по купчей крепости. Соловьи не знают о нем, и они, конечно, не его крепостные, но они его временнообязанные — так называли крестьян после освобождения. Толстому не поможет религия, даже им самим созданная, очищенная от догматов, от чудес, потому что она станет между ним и тем, что он хочет понять.

Соловьи вернутся, они будут петь в «Хаджи Мурате», когда герой, изрубленный, встанет для того, чтобы довершить подвиг, для того, чтобы сражаться в силе, не помня ничего, кроме подвига, когда Хаджи Мурат встанет так, как встает согнутое дерево, распрямляясь. Срубленным падает Хаджи Мурат, но тут запевают соловьи — не чеченские, не русско-императорские — соловьи, понятые художником, соловьи оправдания, которое приходит к подвигу, хотя бы и совершенному в темноте.

В повести «Отец Сергий» монашескую веру затворника будут отрицать соловьи, жуки, природа.

К приятию религиозной веры идет Левин в «Анне Карениной». Но к вере этого умного помещика с законным недоверием отнесся искушенный жизнью Федор Михайлович Достоевский.

«Анна Каренина» — роман очень сложный, и хотя Левин как будто очень близко связан с самим Толстым, но то, что выражает роман, не равно нравоучению, которое выводит из всего происходящего Левин. Левин пятится перед широтой и глубиной вопросов, которые перед ним раскрываются. Видя увлечение людей войной за освобождение славян, Левин думает про себя, но молчит. Вот о чем он молчит: «Ему хотелось еще сказать, что если общественное мнение есть непогрешимый судья, то почему революция, коммуна не так же законны, как и движение в пользу славян».

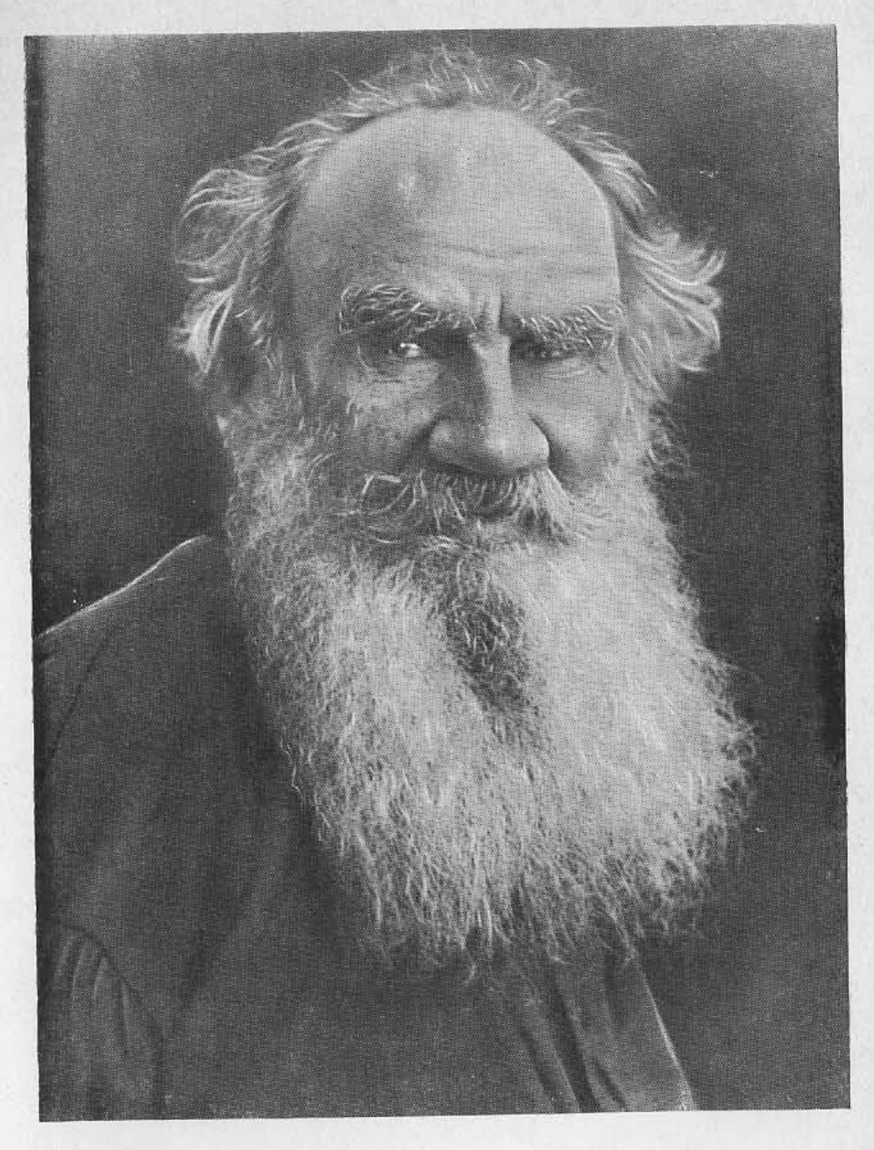
Так промолчал Левин, но на сеновале ему уже приходилось говорить о социализме; пока Левин защищается от будущего именно религией.

Впоследствии сам Толстой, придя к новому пониманию того, что происходит в России, попытается сохранить религиозной верой мысли о несопротивлении, свое неучастие в борьбе. Пока же идет защита самой религии.

Левин в «Анне Карениной» принужден исповедоваться и причащаться перед свадьбой: он выполняет определенную повинность, стараясь не обидеть старика священника, вразумляющего его. С обеих сторон чувства вежливости и затаенного превосходства.

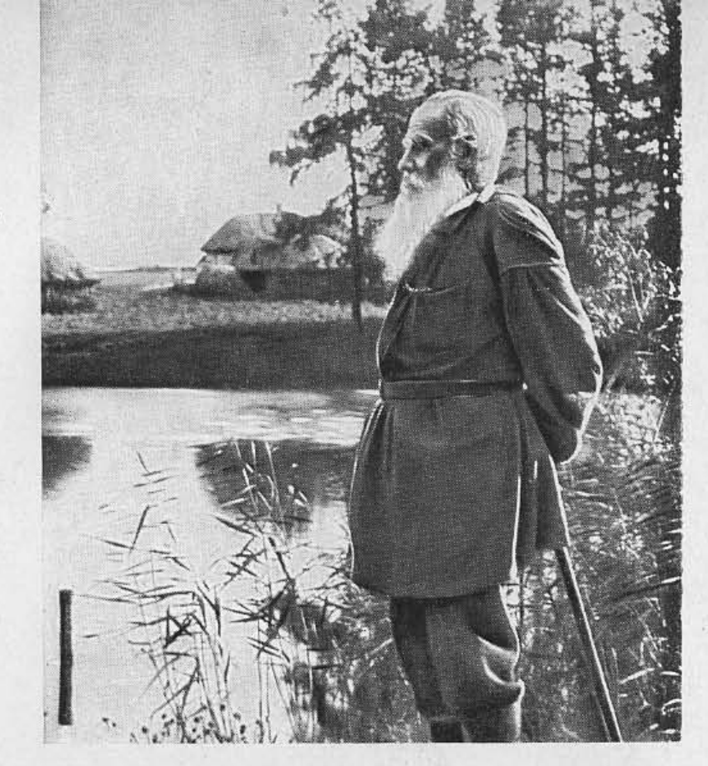
В конце романа Левин хочет жить, не изменяя основ жизни: остаться с Кити, с ребенком, который только что родился в имении, принадлежащем еще деду; ищет нового равновесия в религии, которая должна сблизить его с мужиками.

Левин пытается отказаться от гордости мысли. Его вера — это не поиск мыслителя, а работа человека, который заслоняет (подставляет) одно понятие другим, идет на компромиссы.



Л. Н. Толстой. Ясная Поляна. 1906 г.

Л. Н. Толстой. Ясная Поляна 1907 г.



В кабинете яснополянского дома. 1908 г



После этой веры и несмотря на нее он переживает отчаяние.

Пока Левин размышлял: «Разве я не знаю, что звезды не ходят? — спросил он себя, глядя на изменившую уже свое положение к высшей ветке березы яркую планету. — Но я, глядя на движение звезд, не могу представить себе вращение земли, и я прав, говоря, что звезды ходят».

Звезды ходят, так сказать, образно.

Этими мыслями Левин защищается от самоубийства, от ужаса, но ему кажется, что он может уйти от этих мыслей, как можно уйти от пчел, чтобы они не мешали ему. Он верит в бога, как в небесный свод, которого не существует, но Левин вместе с Толстым знает, что, сколько ни прищуриваться, небо, как картина, как впечатление, существует, и он останавливает свой анализ.

В этой вере очень много недоверия к себе; если сделаешь еще один шаг, то и вера исчезнет, а Коперник восторжествует.

Бог принят как пейзаж, как часть мира, который существует в видении, в восприятии. «При каждой вспышке молнии не только Млечный путь, но и яркие звезды исчезали, но, как только потухала молния, опять, как будто брошенные какой-то меткой рукой, появлялись на тех же местах».

В результате Левин достигает какого-то равновесия, но лишь тогда, когда он относится к новым своим религиозным убеждениям как к хрупкому предмету. Это не столько убеждения, сколько осторожно сохраненные заблуждения, поддержанные не мыслью, а сравнением.

ПОЧЕМУ РОМАН «АННА КАРЕНИНА» НЕ СЕМЕЙНЫЙ РОМАН

В. И. Ленин пишет: «Главная деятельность Толстого падает на тот период русской истории, который лежит между двумя поворотными пунктами ее, между 1861 и 1905 годами. В течение этого периода

следы крепостного права, прямые переживания его насквозь проникали собой всю хозяйственную (особенно деревенскую) и всю политическую жизнь страны».

Крестьяне «вели устарелое, первобытное хозяйство на старых крепостных наделах, урезанных в пользу помещиков в 1861 году. А, с другой стороны, земледелие было в руках помещиков, которые в центральной России обрабатывали земли трудом крестьян, крестьянской сохой, крестьянской лошадью за «отрезные земли», за покосы, за водопои и т. д. В сущности, это — старая крепостническая система хозяйства».

Вот в это время вел в деревне свое хозяйство Константин Левин, сдавал покосы крестьянам из третьего стога — два себе, один за работу, в этот период стремился он наладить свое и крестьянское хозяйство, а рядом щеголял хозяйством на европейский манер Вронский. В это время Стива Облонский продавал лес купцу и искал места в банке; Каренин, склонив голову набок, говорил в комитете об ошибках другого министерства в деле устройства жизни инородцев.

Наступило время страха перед будущим, надвигающимся с невиданной скоростью. Боялись разного, боялись непохожие друг на друга люди.

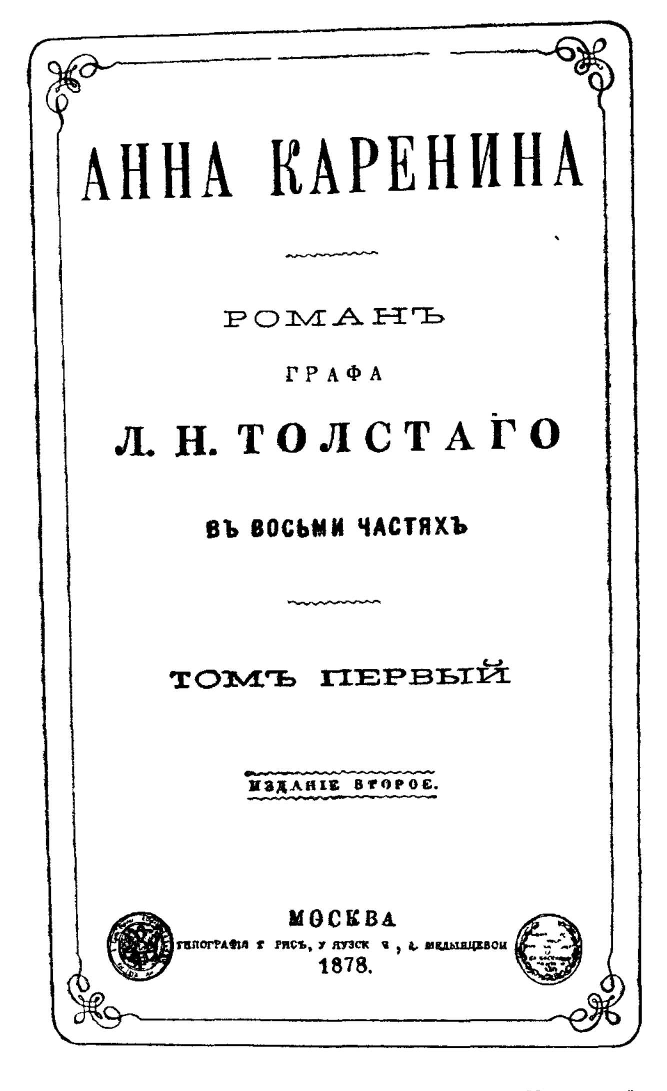
В «Анне Карениной» Вронский во сне видит страшного мужика-обкладчика: он «...маленький, грязный, с взъерошенною бородой что-то делал нагнувшись и вдруг заговорил по-французски какие-то странные слова».

И Анна Каренина видела сон: «... я вижу, что это мужик с взъерошенной бородой, — маленький, страшный Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком и руками что-то копошится там».

Мужик во сне говорил по-французски, грассируя. «Надо ковать железо, толочь его, мять...»

«Скорость есть сила» — это было ясно для Толстого.

Но скорость толкла и мяла не только железо, но и весь мир Толстого.


АННА КАРЕНИНА

РОМАНЪ

ГРАФА

Л. Н. ТОЛСТАГО

ВЪ ВОСЬМИ ЧАСТЯХЪ

ТОМЪ ПЕРВЫЙ

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ.

МОСКВА

ТИПОГРАФІЯ Т. РИСЪ, У ЯУЗСК. Ч., Д. МЕДЫНЦЕВОЙ

1878.

Титульный лист отдельного издания «Анны Карениной»

Железо становилось мягким перед бегом истории.

То было время напряженное, время, когда люди думали о самом главном.

В 1869 году писал Салтыков-Щедрин:

«Роман (по крайней мере, в том виде, каким он являлся до сих пор) есть по преимуществу произведение семейственности. Драма его зачинается в семействе, не выходит оттуда и там же заканчивается. В положительном смысле (роман английский) или в отрицательном (роман французский), но семейство всегда играет в романе первую роль.

Этот теплый, уютный, хорошо обозначившийся элемент, который давал содержание роману, улетучивается на глазах у всех. Драма начинает требовать других мотивов; она зарождается где-то в пространстве и там кончается. Покуда это пространство не освещено, все в нем будет казаться и холодно, и темно, и бесприютно. Перспектив не видно; драма кажется отданною в жертву случайности. Того пришибло, тот умер с голоду — разве такое разрешение может быть названо разрешением?.. Но эта драма существовала несомненно и заключала в себе образцы борьбы гораздо более замечательной, нежели та, которую представлял нам прежний роман. Борьба за неудовлетворенное самолюбие, борьба за оскорбленное и униженное человечество. наконец, борьба за существование — все это такие мотивы, которые имеют полное право на разрешение посредством смерти. Ведь умирал же человек из-за того, что его милая поцеловала своего милого, и никто не находил диким, что эта смерть называлась разрешением драмы... Тем с большим основанием позволительно думать, что и другие, отнюдь не менее сложные определения человека тоже могут дать содержание для драмы весьма обстоятельной. Если ими до сих пор пользуются недостаточно и неуверенно, то это потому только, что арена, на которой происходит борьба их, слишком скудно освещена. Но она есть, она существует и даже очень настоятельно стучится в двери литературы. В этом случае я могу сослаться

на величайшего из русских художников, Гоголя, который давно провидел, что роману предстоит выйти из рамок семейственности».

В романе Толстого изображены не только любовные истории, но и подробно рассказаны хозяйственные затруднения страны. В этом романе странным на первый взгляд образом соединены и любовные неудачи и рассказы о неудаче земельного собственника. Но вопрос о семье и земельной собственности в один узел связал уже Фурье.

К концу книги «Происхождение семьи, частной собственности и государства» Ф. Энгельс делает следующее примечание:

«Я сначала собирался привести рядом с моргановской и моей собственной критикой цивилизации блестящую критику цивилизации, которая встречается в различных местах произведений Шарля Фурье. К сожалению, у меня нет времени заняться этим. Замечу только, что уже у Фурье моногамия и земельная собственность служат главными отличительными признаками цивилизации и что он называет ее войной богатых против бедных. Точно так же мы уже у него находим глубокое понимание того, что во всех несовершенных, раздираемых противоречиями обществах отдельные семьи (les familles incohérentes) являются хозяйственными единицами».

Толстой увидал в жизни связанность этих двух явлений — истинный антагонизм, терзающий общество. Хозяйственная деятельность Левина — это не деталь романа, а то, что открывает основы романа.

В. И. Ленин писал в статье «Л. Н. Толстой и его эпоха»:

«Устами К. Левина в «Анне Карениной» Л. Толстой чрезвычайно ярко выразил, в чем состоял перевал русской истории за эти полвека.

...«Разговоры об урожае, найме рабочих и т. п., которые, Левин знал, принято считать чем-то очень низким, ...теперь для Левина казались одни важными... «Это, может быть, неважно было при крепостном праве, или неважно в Англии. В обоих случаях самые условия определены; но у нас теперь, когда все

это переворотилось и только укладывается, вопрос о том, как уложатся эти условия, есть единственный важный вопрос в России», — думал Левин».

Вопросы о найме рабочих и о земельной собственности в романе Толстого переплетаются с историей семей Карениной и Левина, и обе темы взаимно обусловливаются.

Рядом с Левиным умирает брат Николай. Николай — больной, чахоточный, опустившийся человек, мечтающий о создании артели.

«— Так видишь, — продолжал Николай Левин, с усилием морща лоб и подергиваясь. Ему, видимо, трудно было сообразить, что сказать и сделать. — Вот видишь ли... — Он указал в углу комнаты какие-то железные бруски, завязанные бечевками. — Видишь ли это? Это начало нового дела, к которому мы приступаем. Дело это есть производительная артель...

Константин почти не слушал... Он видел, что эта артель есть только якорь спасения от презрения к самому себе. Николай Левин продолжал говорить:

— Ты знаешь, что капитал давит работника, — работники у нас, мужики, несут всю тягость труда и поставлены так, что, сколько бы они ни трудились, они не могут выйти из своего скотского положения. Все барыши заработной платы, на которые они могли бы улучшить свое положение, доставить себе досуг и вследствие этого образование, все излишки платы — отнимаются у них капиталистами. И так сложилось общество, что чем больше они будут работать, тем больше будут наживаться купцы, землевладельцы, а они будут скоты рабочие всегда. И этот порядок нужно изменить, — кончил он и вопросительно посмотрел на брата».

Общество, в котором находился Николай Левин, женщина, которую он выкупил из публичного дома, чтобы сделать ее подругой своей жизни, его друзья — все напоминает нам о революционных демократах того времени. Константину Левину кажется, что он их не слушает; на самом деле он очень хорошо слышит Николая, и потом, начавши думать по-своему,

он собирается писать книгу, которая должна была решить сразу все — «не только произвести переворот в политической экономии, но совершенно уничтожить эту науку и положить начало новой науке — об отношениях народа к земле...»

Но понять законы новой жизни помогли Толстому те разговоры в комнате Николая, которые Константин будто бы слушал невнимательно. В этом диалоге Толстой беседует сам с собой. После разговора Левин едет в поезде — и тут появляется слово, которое мы не слыхали в самом разговоре, слово «коммунизм»:

«...разговор брата о коммунизме, к которому он тогда так легко отнесся, теперь заставил его задуматься. Он считал переделку экономических условий вздором, но он всегда чувствовал несправедливость своего избытка в сравнении с бедностью народа и теперь решил про себя, что для того, чтобы чувствовать себя вполне правым, он, хотя прежде много работал и нероскошно жил, теперь будет еще больше работать и еще меньше будет позволять себе роскоши. И все это казалось ему так легко сделать над собой, что всю дорогу он провел в самых приятных мечтаниях».

Но все оказывается не таким простым, и, приехавши через несколько времени в имение к брату, Николай издевается над новым увлечением Левина:

«...Николай вызвал брата высказать опять ему свой план и стал не только осуждать его, но стал умышленно смешивать его с коммунизмом...

— Ты только взял чужую мысль, но изуродовал ее и хочешь прилагать к неприложимому».

Левин оправдывается, хотя тщетно, потому что он не отрицает собственности, капитала и наследственности.

«— То-то и есть, ты взял чужую мысль, отрезал от нее все, что составляет ее силу, и хочешь уверить, что это что-то новое, — сказал Николай, сердито дергаясь в своем галстуке».

Левин — строгий хозяин, учитывающий у рабочего кусок хлеба, отказывающий прибавить еду в трудные рабочие дни.

«Он знал, что нанимать рабочих надо было как можно дешевле; но брать в кабалу их, давая вперед деньги дешевле, чем они стоят, не надо было, хоть это и было очень выгодно. Продавать в бескормицу мужикам солому можно было, хотя и жалко было их; но постоялый двор и питейный, хотя они и доставляли доход, надо было уничтожить. За порубку лесов надо было взыскивать сколь возможно строже, но за загнанную скотину нельзя было брать штрафа...» Петру, платившему ростовщику десять процентов в месяц, нужно было дать взаймы, чтобы выкупить его; но нельзя было спустить и отсрочить оброк мужикам-неплательщикам. «...Нельзя было простить работнику, ушедшему в рабочую пору домой потому, что у него отец умер, как ни жалко было его, и надо было расчесть его дешевле за прогульные дорогие месяцы; но нельзя было и не выдавать месячины старым, ни на что не нужным дворовым».

Дальше идут такие же очень условные и очень твердые правила.

Удается чисто крепостнически-ростовщическое хозяйство. Сосед-помещик рассказывает:

«...Мое хозяйство все, чтобы денежки к осенним податям были готовы. Приходят мужички: батюшка, отец, вызволь! Ну, свои все соседи, мужики, жалко. Ну, дашь на первую треть, только скажешь: помните, ребята, я вам помог, и вы помогите, когда нужда — посев ли овсяный, уборка сена, жнитво, ну и выговоришь, по скольку с тягла...»

Но Левин, хотя это и выгодно, не пользуется таким способом получения рабочего. В то же время он видит, что рабочему невыгодно хорошо работать на его земле:

«...интересы его были им не только чужды и непонятны, но фатально противоположны их самым справедливым интересам...»

Он хочет сделать рабочих пайщиками в своем имении и даже собирается написать об этом книгу. Но пока что он отдает покос крестьянам из третьего стога, увеличив свою долю: прежде они получали сено исполу.

«В нынешнем году мужики взяли все покосы из третьей доли, и теперь староста приехал объявить, что покосы убраны...»

Толстой с необыкновенной поэтичностью рассказывает о том, как крестьяне после покоса проходят мимо помещика. Он должен был бы чувствовать себя перед ними правым, потому что они его обманывают, неправильно выкладывая сено в стога, а чувствует он другое:

«Бабы с песнью приближались к Левину, и ему казалось, что туча с громом веселья надвигалась на него. Туча надвинулась, захватила его, и копна, на которой он лежал, и другие копны и воза и весь луг с дальним полем — все заходило и заколыхалось под размеры этой дикой развеселой песни с вскриками, присвистами и еканьями. Левину завидно стало за это здоровое веселье, хотелось принять участие в выражении этой радости жизни. Но он ничего не мог сделать и должен был лежать и смотреть и слушать. Когда народ с песнью скрылся из вида и слуха, тяжелое чувство тоски за свое одиночество, за свою телесную праздность, за свою враждебность к этому миру охватило Левина...»

Левин не ростовщик, но его хозяйство держится только на том, что у соседей-крестьян нет покосов и они должны косить на Левина и поступать к нему в батраки по дешевой цене.

Ново в романе Толстого не только точное ощущение изжитости земельной собственности, но и то состояние неуверенности, которое охватило Левина.

Спасаясь от этой неуверенности, Толстой хотел вернуться к своей детской вере, «к верованию церкви». Впоследствии он захотел иной религии, стремясь «поставить на место попов по казенной должности попов по нравственному убеждению» *(В. И. Ленин)*.

Ему надо было «или объяснить свою жизнь так, чтобы она не представлялась злой насмешкой какого-то дьявола, или застрелиться».

Левин не сделал ни того, ни другого. Анна Каренина покончила с собой, но коллизия романа этим никак не разрешена.

Небо пусто. Мир цветет, как липа, он ясен, желанен, но жить в нем нельзя. В нем умерла правда, и это показал первым в мировой литературе Толстой.

Общество отвергло Анну. Кити, которая когда-то отвергла Левина из-за лучшего жениха — Вронского (хотя, может быть, и любила Левина), не хочет выйти к Анне, потому что та ушла от Каренина к Вронскому.

Новизну романа Толстого увидал Достоевский; он понял, насколько важны для Толстого, всей русской литературы и всего мира те разговоры о справедливости и о строе будущего, которые ведут между собой на сеновале герои Толстого.

Ф. Достоевский включил свои рассуждения о романе в «Дневник писателя» (1877 г., гл. II, февраль). Сперва он отмечает сцену между Вронским и Карениным у постели больной Анны, потом пишет: «Затем опять потянулся роман, и вот, к некоторому удивлению моему, я встретил в шестой части романа сцену, отвечающую настоящей «злобе дня», и, главное, явившуюся не намеренно, не тенденциозно, а именно из самой художественной сущности романа».

Толстой в письме к Н. Страхову сообщал, что он собирается написать роман «в легком роде» и что он глубоко увлечен. Того же Страхова напечатанный роман поразил строгостью, даже суровостью тона.

Это обычное противоречие любви и искусства. Романы начинаются не так, как они развертываются.

Толстой, осажденный темной нищающей деревней, хотел уйти в освещенную комнату и рассказать о том, как надо жить в его кругу, хотел разоблачить ошибку тех, которые хотят переделать жизнь. И он, как художник Михайлов, им описанный, начал снимать покров за покровом с предмета, который хотел увидеть, он пытался открыть сущность предмета.

Каренин оказался не столько обманутым мужем, сколько мертвым человеком, заслонившим правилами и циркулярами истинную жизнь. Он пробуждается только тогда, когда страдает, но и от страдания он уходит в выдуманную веру выдуманного бога.

Левин ушел в деревню, начал работать, он бежал от мира бюрократа Каренина, но остался в мире несправедливости, владельцем земли, которую другие для него обрабатывают.

Он получает досуг, может любить Кити, может растить детей, но он не получает счастья, и тогда он, щурясь, придумывает себе бога, подставляет под старые религиозные навыки новые понятия и ими заслоняется от жизни.

Но жизнь существует, и помещики-охотники в крестьянской риге говорят о социальной несправедливости. Стива Облонский согласен жить, примиряясь с этой несправедливостью, так как она в его пользу; Левин не хочет несправедливости и пытается оправдаться.

Достоевский в «Дневнике писателя» первый обратил внимание на этот разговор, заметив, что в нем подняты основы основ и один из главнейших современных вопросов. «Всякое приобретение, несоответственное положенному труду — не честно», — приводит Достоевский слова Левина. Левин хочет быть не виноватым. Достоевский вспоминает свою жизнь, вспоминает Сен-Симона, Фурье, людей, которые когда-то первыми это сказали.

Позднее в речи о Пушкине Достоевский вспомнит Алеко из «Цыган» Пушкина, Евгения Онегина и всех русских скитальцев.

Он идет той дорогой, по которой прошел Толстой, прочитавши «Цыган» на Кавказе. Оказывается, что дорога эта неизбежна.

Достоевский попытается найти новое русское религиозное решение социальной несправедливости. Это будет пытаться сделать и Толстой. О поисках его мы расскажем.

СЕМЬИ ВОКРУГ АННЫ КАРЕНИНОЙ И ДОМА ЕЕ АВТОРА

Вопрос о степени виновности Анны Карениной очень сложен. В XX главе седьмой части Степан Аркадьевич попадает в Москву, хлопоча о новой службе. Он встречается с княгиней Мягкой, которая

так характеризует положение дел, говоря про Анну: «Она сделала то, что все, кроме меня, делают, но скрывают, а она не хотела обманывать и сделала прекрасно».

Развод не удается потому, что ясновидящий иностранец, усыновленный графом Беззубовым, в своем настоящем или мнимом сне дает совет не согласиться на развод.

Это одна из бытовых мотивировок, которой не было в первых построениях романа. Она не главная. Толстой отрицает возможность развода, его целесообразность даже для Анны — все равно Сережа будет знать, что у его матери два мужа, и все равно Вронский будет привязан к Анне не любовью, а долгом, обязанностью, только иначе выраженной.

Нарушено таинство. «Таинство брака» показано в романе подробно и торжественно. Богослужение трогает Левина, до Кити оно доходит в другой, бытовой четкости.

«И по выражению этого взгляда он заключил, что она понимала то же, что и он. Но это была неправда; она совсем почти не понимала слов службы и даже не слушала их во время обручения. Она не могла слушать и понимать их: так сильно было одно то чувство, которое наполняло ее душу и все более и более усиливалось. Чувство это была радость полного совершения того, что уже полтора месяца совершилось в ее душе и что в продолжение всех этих шести недель радовало и мучало ее. В душе ее в тот день, как она в своем коричневом платье в зале арбатского дома подошла к нему молча и отдалась ему, — в душе ее в тот день и час совершился полный разрыв со всею прежнею жизнью, и началась совершенно другая, новая, совершенно неизвестная ей жизнь, в действительности же продолжалась старая».

Кити помнит, что она дала согласие на брак тогда, когда было надето коричневое платье, она сохраняет приметы согласия, обозначающие для нее совершение какой-то тайны, но таинства нет. «Это новое не могло быть не страшно по своей неизвестности; но страшно

или не страшно, — оно уже совершилось еще шесть недель тому назад в ее душе; теперь же только освящалось то, что давно уже сделалось в ее душе».

Толстой растроганно отдыхает в описании свадьбы, как человек, спасшийся от кораблекрушения, описал бы сгоряча остров, до которого он доплыл с усилиями и страданиями.

«Улыбавшиеся губы», которые целует Левин во время венчания, описаны трогательно.

Но вокруг Ясной Поляны жило много венчанных и невенчанных пар.

Брат Толстого Сергей Николаевич двенадцать лет жил с цыганкой М. М. Шишкиной и имел от нее детей, не оформляя брака; брат Дмитрий Николаевич был в связи с женщиной, взятой из публичного дома; сестра Марья Николаевна, разойдясь с В. П. Толстым, находилась в гражданском браке с виконтом Виктором де Кленом. У Берсов, помимо сложных семейных отношений бабушки Софьи Андреевны, С. П. Козловской-Завадовской, внебрачных связей отца А. Е. Берса (о чем мы говорили выше), неудачными, приведшими к разводу были первые браки сестры Софьи Андреевны — Лизы Берс и брата — Александра Андреевича.

Крепкая семья во всем окружении Толстого была у самого Толстого. Что касается вымышленных отношений в романе, то крепкая семья — дом Левина. Долли живет с мужем, который ей изменяет, подруги Карениной по свету изменяют своим мужьям, мать Вронского, по словам Левина, в молодости жила со всеми. Мы знаем, что она в начале романа мечтала о том, чтобы ее сын имел роман с блестящей светской женщиной, потому что это формирует характер молодого человека.

Подруги Анны Аркадьевны изменяют своим мужьям В первоначальном наброске романа то самое общество, которое шокировано разговором Карениной с Гагиным, говорит все время о семейных несчастьях: «... об этих лицах говорят зло, иначе говорить было бы нечего, так как счастливые народы не имеют истории».

Толстой начал свой роман в его окончательном строении с фразы, что «Все счастливые семьи похожи друг на друга». Раньше он говорил, что счастливые народы не имеют истории, счастливые семьи, стало быть, внеисторичны, и можно сказать, что они баснословны.

Для того чтобы говорить про нарушение верности Анной Карениной, надо было дать фон — счастливую семью. Предполагается, что такой семьей окажется семья Левина, но Левин мечтает о самоубийстве. Так что можно говорить только о счастье Кити.

Толстой хотел расширить счастливый фон, поэтому начал описывать еще одну сестру Кити и ее семью.

Натали вышла замуж за Львова. Львов и Левин — обе эти фамилии происходят от имени Лев. Семья самого Толстого как бы удвоилась.

Но если история увлечения Кити Вронским и сложность положения Левина создали истинную романную линию, то Львовы просто не запоминаются в романе. Без справки по книге можно сказать только, что у Львовых болели дети — больше ничего не запоминается.

УЗОРЫ НА СТЕКЛАХ

Дворянский дом, особенно помещичья усадьба, был тем самостоятельным владением, в которое власть государства вторгалась редко и почтительно.

Принимая служащего, нанимая гувернера, дворянин не спрашивал у него свидетельства о благонадежности, выбирая человека по собственной надобности.

Воспитатель молодого графа Строганова оказался потом членом Конвента, гражданином Ромом, и воспитанник, попав во Францию, тоже принял в революции горячее участие. Воспитатель Евгения Онегина был французским эмигрантом, «убогим аббатом», пережидающим в холодном Петербурге время революции.

Воспитателем Герцена оказался революционер-эмигрант, который объяснил своему воспитаннику, что короля Людовика правильно казнила революция, потому что король изменил народу.

Люди, изгнанные из Петербурга и Москвы, тоже иногда находили себе горький приют в усадьбах.

В усадьбе Голицына, воспитывая молодых князей, Иван Крылов прятался от погрома конца екатерининского времени.

Вопросы воспитания, обсуждаемые на страницах «Анны Карениной», перед Толстым стояли и практически.

В усадьбе графа Толстого подрастали дети. Сперва Лев Николаевич сам преподавал им. Он читал детям романы Жюля Верна, узнавая из фантастических романов, что мир собирается очень измениться.

Читал романы Александра Дюма, пропуская то, что считал для детей вредным.

В русском обществе шла жестокая борьба по вопросам воспитания. В романе Каренин представляет реакционные силы. Он говорит в доме Облонского: «Мне кажется, что нельзя не признать того, что самый процесс изучения форм языков особенно благотворно действует на духовное развитие. Кроме того, нельзя отрицать и того, что влияние классических писателей в высшей степени нравственное, тогда как, к несчастью, с преподаванием естественных наук соединяются те вредные и ложные учения, которые составляют язык нашего времени». Он сторонник классического образования: предполагалось, что греческий язык задержит приход в школу «кухаркиных детей», детей разночинцев, мелких служащих. Трудная школа должна была сократить появление демократической интеллигенции и была способом усмирения молодежи.

Женский вопрос и вопрос о классическом образовании сливаются дальше в один вопрос и в одну борьбу — борьбу с нигилистами.

Нигилисты в романе не показаны, но сама жизнь

ставит Левина перед отрицанием, приводит к мечте об уходе или смерти.

В «Анне Карениной» старый мир показан защищающимся. Но, кроме Каренина, мало кто верит в этом мире в свою правоту.

Каренин прав — «всегда прав», как с ужасом и отвращением говорит о нем Анна.

Многие не выдерживали борьбы и срывались.

Брат знаменитого русского реакционера, редактора «Московских ведомостей» Михаила Никифоровича Каткова — Мефодий Никифорович — стрелял 11 сентября 1874 года в соиздателя «Московских ведомостей» Павла Михайловича Леонтьева, одного из яростных защитников классической системы образования и директора лицея имени цесаревича Николая II. Леонтьев, как филолог, был человеком безнадежно устаревшим, министра просвещения Д. Толстого он вдохновлял на борьбу с «язвой матерьялизма» при помощи изучения греческой грамматики и мифологии.

Мефодий Катков не был революционером, но пытался мстить за своих замученных ребят

Немного позднее Чехов рассказывал, как родители, отдавшие детей в школы, запугивали и били их, принуждая преодолевать бесконечную и бессмысленную трудность тогдашней школы.

Дети аристократические от этой напасти были избавлены тем, что для них были корпуса разной степени привилегированности и училища — такие, как «правоведения», не очень обремененные наукой и свободные от греческого языка.

Толстой хотел отдать детей в университет.

В Ясной Поляне появились гувернеры, гувернантки, француженки, немцы, англичане, преподаватели русского языка, преподаватели греческого языка и закона божьего. Та система обучения, которая воцарилась в яснополянском доме, имела очень мало общего с той, которую проповедовал Лев Николаевич в журнале «Ясная Поляна». Всем руководила Софья Андреевна. Она желала, чтобы ее дети были не хуже других детей аристократического круга — рвалась

в Москву. Домашние учителя были компромиссом. Она относилась к казенным экзаменам с набожностью и сама бы выучила греческий язык, если бы это помогло детям. Даже Агафья Михайловна — родовая экономка толстовского дома — в день экзамена зажигала перед иконой свечу.

Но любые пути, открывавшие посторонним людям вход в Ясную Поляну, были опасны.

Преподаватели бывшей яснополянской школы для крестьянских детей принимали участие в студенческих беспорядках, читали Герцена. Умный Петерсон — любимый преподаватель Толстого, когда-то учитель школы в Пензе, был даже в одном кружке с Каракозовым.

С сыном Сережей в 1877 году Лев Николаевич сам занимался греческим языком, переводя с ним «Анабазис» Ксенофонта. Но у Сергея таких способностей, как у Льва Николаевича, не было — он был обыкновенным мальчиком. Кроме того, и сам Лев Николаевич не знал школьной греческой грамматики, а выучил греческий язык, читая Гомера.

Льву Николаевичу нужны были люди, понадобился преподаватель русского языка и управляющий для самарского имения. Людей ему рекомендовала тульская акушерка, принимавшая у Софьи Андреевны младших детей. В Ясную Поляну приехали Василий Иванович Алексеев и Алексей Алексеевич Бибиков — молодые люди из бедных помещиков.

Отец Алексеева, бывший николаевский офицер, женился на крестьянке, имел от нее восемь детей, управлял домом сообразно домострою и строевому уставу николаевского времени.

Сын его Василий попал в Петербургский университет на математический факультет. Жил бедно, учился хорошо, мыслил смело.

Он попал в революционный народнический кружок. Преподавал в школах для рабочих. Вскоре начало выясняться, что делать-то в России ничего нельзя. Но В. Алексеев университет успел окончить.

По окончании курса в университете он получил место директора технического училища с жалованьем

в две тысячи рублей. Ученики молодого директора любили, материальное положение его было блестяще.

В это время Василий Алексеев сблизился с народником А. К. Маликовым, побывавшим в тюрьме и ссылке, а потом ставшим проповедником богочеловечества. Это мистическое учение предлагало облагородить социальные и международные отношения людей христианской этикой. Для того чтобы обосновать возможность жить по новой этике, решено было провести пробу нового устройства социальной жизни.

Одна курсистка дала деньги, молодые люди поехали в Америку, купили ферму в Канзасе. Пятнадцать человек русских, в том числе Маликов и Алексеев с братом, основали здесь коммуну: первый год принес удачу, на второй год был плохой урожай, и коммуна, в которой начались ссоры, распалась.

Разочаровавшись в Америке, Василий Иванович вернулся в Россию с женой Елизаветой Александровной, которая ушла к нему от Маликова с дочерью Лизой и сыном Колей. Но без свидетельства о политической благонадежности на государственную службу устроиться Алексееву было нельзя, и он голодал. В Ясную Поляну, однако, он пришел неохотно. Был он среднего роста, узок в плечах, белокур, голубоглаз, казался человеком робким и хорошего воспитания, но умел не бояться высказываться и настаивать.

Василий Иванович поселился в доме одного из дворовых, приходил в усадьбу преподавать, дети его полюбили, он сошелся с Львом Николаевичем, который начал его уговаривать поверить в православие. Сам Лев Николаевич в ту пору считал себя строго православным, стараясь через религию освободиться от сомнений и стать ближе к народу.

Однажды сидели Василий Иванович и Лев Николаевич против замерзшего окна. Сквозь морозный узор проходило солнце. Василий Иванович видал много на своем веку и умел разговаривать с разными людьми. Он сказал Толстому, что не понимает, как граф, с его искренностью и образованием, может

посещать церковь, молиться, поститься. Толстой выслушал Василия Ивановича и ответил, показав на замерзшее окно:

«Мы видим только изображение солнца на этих узорах, но знаем вместе с тем, что за этими узорами есть где-то далекое, настоящее солнце, источник того света, который и производит видимую нами картину. Народ в религии видит только это изображение, а я смотрю дальше и вижу, или по крайней мере знаю, что есть самый источник света. И эта разница нашего отношения не мешает нашему общению, мы оба смотрим на это изображение солнца, только разум наш до различной глубины проникает его».

С Василием Алексеевым Лев Николаевич говорил очень много и подружился.

П. Бирюков в биографии Толстого (книгу эту Толстой внимательно просматривал) утверждает, что Алексеев оказал влияние на Льва Николаевича, потом обратившись в одного из первых толстовцев.

Через несколько лет, по требованию Софьи Андреевны, Алексеев был уволен: ей не нравилось его влияние на Толстого (он советовал Льву Николаевичу отправить царю письмо о казни первомартовцев); он уехал в самарское имение Толстых.

Алексей Алексеевич Бибиков, друг В. И. Алексеева и А. К. Маликова, так же как и они, считался нигилистом. Был он коренаст, силен, красив, ходил в поддевке, высоких мягких сапогах, носил окладистую бороду и по внешности походил на крестьянина. По происхождению он был сыном довольно богатого помещика, окончил курс естественного факультета в Харьковском университете, служил мировым посредником; после покушения Каракозова шесть месяцев просидел в крепости, восемь лет пробыл в ссылке, а потом получил разрешение на право жить в собственном небольшом имении Тульской губернии, носящем название «Малый конь», но без права выезда. В имении своем Бибиков отдал почти всю землю крестьянам, женился на крестьянке, потом, разойдясь, сошелся с другой, имел нескольких детей

Полицейский надзор над ним был ослаблен, и в глуши Самарской губернии Алексей Алексеевич имел право жить. Бибиков согласился взять на себя управление самарским имением Толстого.

К обществу нигилистов, собравшихся в Ясной Поляне, вскоре прибавился еще один неожиданный человек.

Лев Николаевич искал в Москве гувернера и в январе 1878 года привез француза, называвшегося Ниеф.

Сергей Львович рассказывает, что это был человек из родовитой французской семьи, чуть ли не виконт. Ниеф принимал участие в Парижской коммуне и, спасаясь от ареста, скрывался в России под чужим именем.

Кем был на самом деле этот француз — Толстой знал, так как знал это и Сергей Львович.

Однажды ученик завел разговор с преподавателем о франко-прусской войне. Подросток — Сергей Львович сказал, задирая учителя:

— Хороши французы! Устроили междоусобную войну в то время, когда под Парижем стояли немцы.

Коммунар спокойно ответил:

— Я запрещаю вам говорить об этом моменте французской истории.

Ниеф охотно разговаривал с Львом Николаевичем, брал у него французские книги и разыскал в библиотеке сочинения Прудона, привезенные графом еще в 1860 году. Книга называлась «О справедливости в революции и в церкви».

Ниеф был убежденным, добродушным и вспыльчивым человеком. О нем И. С. Тургенев, познакомившись с ним в Ясной Поляне, сказал, что это типичный рядовой коммунар.

Француз прожил в Ясной Поляне до амнистии участников коммуны и уехал в Тунис.

Обломки революции привлекали Толстого несогласием с обычной жизнью.

Лев Николаевич говорил, что для народа странники заменяют газеты, они сообщают те новости, которые интересуют простого человека.

Бибиков, Алексеев и позже Ниеф — странники, принятые в Ясную Поляну беспокойным хозяином дома. Толстой принимал их, потому что сам выходил на другую дорогу, вырывался из житейского круга, в котором прожил долго, всегда сомневаясь.

ДОРОГИ ВОКРУГ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

Зимой и летом он много ездил верхом.

Утром работал, пил кофе, потом выходил на двор, привычно забирал в одну руку гриву коня около холки вместе с поводами, подымался в стремя, перекидывал ногу через коня, садился свободно и легко.

Крамской говорил, что Толстой на лошади — самый красивый мужчина из всех, кого он знал.

Ездил Толстой по десять-пятнадцать верст, перебираясь через крутые овраги, заставлял коня прыгать через ручьи. Привычно нагибался, когда дерево низко отставленной ветвью преграждало дорогу на запущенной лесной тропе.

Оборот рубки в те годы был многолетний. Были такие кварталы в засеке, которые никогда еще не рубили.

Дубы в засеке были не особенно толсты, но высоки. Родившись в непрореженной лесной чаще, они, поборов другие породы — осину, липу, березу, вытянулись вверх, и там, в небе, раскинули ветви, как зеленые облака.

Там, где дубы вырубали, вырастала густая поросль — липы, клены, ясени, и все это прорастало орешником, калиной. Водились здесь куницы, барсуки, зайцы, лисицы; еще недавно были дикие козы, где-то в стороне ходили и ломали ветви огромными рогами тяжелые лоси.

Лев Николаевич знал в лесу все тропинки, из глуши выезжал на поляны, в новых местах узнавал старые.

Говорят, что однажды, после женитьбы Льва Николаевича, Аксинья стала на его дороге, поднявшись на камень, чтобы барин увидал ее; Лев Николаевич, издали увидав знакомую домотканую пеструю юбку, подъехал. Были они как будто одного роста — один на коне, другая на камне. О чем они говорили или как молчали, в деревне Ясная Поляна рассказывали по-разному.

Весной дороги в лесу тяжелые. Весной выходил Лев Николаевич пешком на шоссе или на старую тридцатисаженной ширины скотопрогонную дорогу. Пролегала она около ворот Ясной Поляны.

При Екатерине обсадили дорогу березами, до постройки шоссе здесь проезжали телеги, брички, тарантасы, возки и сани, проходили обозы. Ездили здесь и на долгих и на перекладных. Проезжал здесь Пушкин, провезли здесь тело мертвого Александра I из Таганрога. Из беседки на краю усадьбы смотрела на ту процессию мать Льва Николаевича, урожденная княгиня Волконская.

По обочинам дороги прогоняли тяжелых, сивых украинских волов в Москву на убой. Недавно запретили гнать скот, — говорят, от него зараза. Может быть, это железнодорожники выхлопотали, чтобы был у них лишний груз. Казенную полосу земли около дороги заняли помещики, отдали ее в аренду крестьянам. Земля была хорошо унавожена.

В то время мужики после освобождения звали помещиков землеедами. Одного помещика, рассказывал Тургенев, поймали мужики, он у них все время обрезывал угодья; заставили они барина съесть восемь фунтов чернозема, отчего барин и умер.

Жизнь дороги ушла на шоссе, шоссе часто чинили, сидели на нем, скорчившись, мужики, с ногами, обернутыми в тряпки; ногами держали камни и стучали по ним тяжелыми молотами: били щебенку. На старой дороге спокойней.

Дорогу Лев Николаевич называл большим светом: это было место, где он встречался с людьми. Пересказы и обрывки дорожных разговоров занимают многие страницы записных книжек.

Записи народных слов и выражений в записной книжке Л. Н. Толстого

С мешками, обутые в чуни — плетенные из пеньки лапти — брели богомольцы и странники из Москвы в Киев, из Киева в Москву. Брели, кучами останавливались на постоялых дворах, опустевших и принимавших теперь и невыгодных постояльцев, брели, делая верст по 30 в день, разговаривали и все больше об одном и том же — о разорении.

Стало меньше земли, отрезали выгоны, деревня заголодала, скот переводится, люди ожесточились, ну и уходят в город.

Бредут старики, участники Севастопольской кампании, люди эти старше Льва Николаевича, потому что на флоте и в пехоте служили тогда подолгу; матросы рассказывают, как били линьками, положив на пушку, вспоминают, как ставили в бурю паруса, показывают на деревья и колокольни, объясняя, как выглядели волны.

Рассказывали солдаты, как били шпицрутенами, прогоняя через строй. Но больше всего жаловались на новое время. Мелеют и желтеют от песка реки — скорее, чем седеют бороды. Переводится скот в деревнях — скорее, чем уходит у людей сила.

Нищает земля. Все больше становится неустроенного, бродячего народа. Куски, которые подают нищим, мельчают, и дорога пустеет.

Лев Николаевич говорил, что мало кто ходил тогда на богомолье из благочестия; шли весной в разные стороны — в Киев и в Соловки, и в Троицкую лавру, и в Оптину пустынь, и к Тихону Задонскому. Идут. В дороге хоть оглянуться можно.

О своих религиозных сомнениях Толстой теперь пишет не тетке Александрин Толстой, представительнице светского православия. Он жалуется Н. Н. Страхову на борьбу разума с преданием — предрассудком, на то, как предание нарушает законы совести

«Также я в известные дни ем капусту, а в другие мясо, но когда мне предание (изуродованное борьбой разумной с различными толкователями) говорит: будемте все молиться, чтобы побить побольше турок, или даже говорит, что тот, кто не верит, что это настоящая кровь, и т. п., тогда, справляясь не с разумом, но с хотя и смутным, но несомненным голосом сердца, — я говорю: это предание ложное. Так что я вполне плаваю, как рыба в воде, в бессмыслицах и только не покоряюсь тогда, когда предание мне передает осмысленные им действия, не совпадающие с той основной бессмыслицей смутного сознания, лежащего в моем сердце».

Много еще у Толстого будет борьбы даже с сердцем, а не только с преданием.

В это время Вера Засулич убила генерала Трепова, который приказал высечь революционера Боголюбова (Архипа Емельянова). Присяжные ее оправдали.

Фрейлина двора ее императорского величества А. Толстая написала Льву Николаевичу: «Политика черна, как чернила милейшего Аксакова».

Лев Николаевич ответил ей: «..а по-моему, она красна, как кровь отвратительного Трепова».

Уже многое выяснялось.

Приближалась пасха. В это время в яснополянском доме соблюдался строгий пост; особенно держали пост первую неделю и в страстную неделю.

Графиня Софья Андреевна посты соблюдала. Заставляла есть постное слуг, гостей и детей. Заметила она, что Лев Николаевич последнее время занимается богословскими книгами и читает евангелие. Считала она и сестре писала, «что без христианства спокойнее», и была недовольна, видя, что дело идет к написанию новой книги, которую вряд ли много будут читать

Подсолнечное масло тогда еще было в малом употреблении, готовили всё и на льняном, и на конопляном, и на ореховом масле. Все в доме ели постное, кроме В. Алексеева и гувернера француза. Алексеев объяснял графине, что в Канзасе был у него друг Фрей — позитивист и вегетарьянец, который приучил Василия Ивановича к постному маслу. Француз любезно говорил графине, что он очень любит оливковое масло. Их сажали рядом и строго и аккуратно ставили им на стол пищу скоромную.

В канун пасхи стекла домов по-праздничному вымыты. Солнце освещает старые, много раз грубо реставрированные семейные портреты, новый портрет Льва Николаевича работы Крамского.

Рояль, покрытый чехлом, отражается в тусклом, еще из старого дома, трюмо. За окнами уже глянцевеют по-весеннему тропинки, бегут между деревьями, еще голыми, но уже пестреющими на синем небе почками. Через высокие окна, выходящие на юго-восток, стол со стеклянными жбанами кваса, с тарелками, полными огурцов и капусты, освещается солнцем.

Подали Алексееву и Ниефу скоромные котлеты; лакей отставил блюдо на окно.

Лев Николаевич сказал сыну:

— Ильюша, дай-ка мне котлету!

Сын подал. Лев Николаевич с аппетитом поел и с тех пор перестал есть постное. Софья Андреевна не возражала: она знала, что у мужа слабый желудок.

РАЗВЕТВЛЕНИЯ КОРНЕЙ ОДНОЙ ТЕМЫ

Лев Николаевич осенью 64-го года, поехав на неспокойной лошади Машке, увидал зайца и, гоняя его, упал, получил вывих, который неудачно вправили; пришлось прибегнуть к хлороформу.

Когда человека хлороформируют, он бредит, плачет, ругается, говорит о самом заветном, чаще всего о тревожном недовольстве своем.

Толстого решили оперировать под хлороформом. Т. А. Кузминская вспоминает: «Возились долго. Наконец, он вскочил с кресла, бледный, с открытыми блуждающими глазами; откинув от себя мешочек с хлороформом, он в бреду закричал на всю комнату:

— Друзья мои, жить так нельзя... Я думаю... я решил... — Он не договорил».

Одна тема у Толстого часто покрывала другую, потом появлялась снова.

Может быть, самая основная и тревожная тема Л. Толстого была о том, как уйти к народу.

Откуда уйти?

Из благополучного, прославленного дома.

Дубу уйти трудно. Надо пронести крону среди мелколесья; надо вырвать корни из места, где они рождались, переплетаясь с землею, ее пересоздавая. Человеку еще трудней. Нужно уйти из комнаты, где стоит диван, на котором ты и твои дети родились. Из мира, тобой рожденного и описанного. Из мира, с которого ты снимал покровы лжи и привычности.

В доме и в хозяйстве все было задумано надолго: сажались леса, береглись леса.

Софья Андреевна говорит, что леса — приданое дочерей.

Растут дочери, растет лес, и дочери безмятежно богатеют, надо только охранять их богатство.

Перестраивался дом.

Сажался и вырос большой яблоневый сад, при нем основывалась большая пасека. Она распалась на сотни роев. Покупались имения для сыновей, и Лев Николаевич увлекался покупкой.

И в то же время отсюда он хотел уйти; он еще не знал, почему уйти, что мешает жизни.

Мешало то новое, что разоряло деревню, мешало то, что мелели реки, тощал скот, заваливались избы, грустнел и озлоблялся народ.

Самарские черноземные степи были в какой-то мере тоже уходом от нищеты Центральной России.

Там жили башкиры и мужики, которые никогда не были крепостными. К Льву Николаевичу там относились не столько как к барину, сколько как к богатому хуторянину. Но Лев Николаевич уходил на вольные земли, крепостя их купчими крепостями. Так завелись гербовые бумаги на владения землею.

По степям ходили табуны, охраняемые злыми жеребцами, к осени они смирнели и становились похожими на коней, на которых пахали в Ясной Поляне.

Но коней было много, говорят, в одной Башкирии — до шестисот тысяч голов, степь была широкая, дальше шли калмыки, киргизы, стада, степи, пустыни, стада и горы, на которые летом подымались из выгоревшей степи табуны.

Было так просторно и так спокойно, как будто бы и не дома Лев Николаевич звал к себе жену, но не очень настаивал на том, чтобы она приехала, а Софье Андреевне в степях было трудно. Ни магазинов, ни лавочек, ни знакомых, лошади без упряжи и тюльпаны не в клумбах.

Лев Николаевич, описывая плен Пьера в «Войне и мире», в сущности говоря, писал тоже об уходе барина из обычной обстановки жизни, к мужикам.

Только тот уход был обусловлен насилием. Еще в 76 м году он задумал новый роман; об этом есть записи Софьи Андреевны. Он говорил ей: «Чтоб произведение было хорошо, надо любить в нем главную, основную мысль. Так в «Анне Каренине» я люблю мысль *семейную,* в «Войне и мире» любил мысль *народную,* вследствие войны 12-го года; а теперь мне так ясно, что в новом произведении я буду любить мысль русского народа в смысле *силы завладевающей».* И сила эта у Льва Николаевича представляется в виде постоянного переселения русских на новые места на юге Сибири, на новых землях к юго-востоку России, на реке Белой, в Ташкенте и т. д.

Много разных сведений слышно со всех сторон о переселенцах. Так, например, в прошлое лето жили мы в Самаре и поехали раз вдвоем к казакам, верст 20 от нашего Самарского хутора Встречаем мы целый обоз, несколько семейств, дети, старики, все веселые. Мы остановились и спросили старика: «Куда вы?» — «Да на новые места едем из Воронежской губернии Наши уже давно ушли на Амур, а теперь пишут оттуда, вот и мы едем туда же»

Это очень взволновало тогда и заинтересовало Льва Николаевича ..

И вот мысль будущего произведения, как поняла ее я, а кругом этой мысли группируются факты, типы, еще не ясные даже ему самому».

Тема о дальнем переселенчестве — реальная· когда Пржевальский в самом сердце азиатской пустыни исследовал озеро Нор и блуждающую реку Тарим, то и здесь в местах, где водятся дикие лошади, нашел он развалины русского селения.

Но тема Льва Николаевича — это не только тема ухода крестьян, но и его ухода с крестьянами из дому, к ним.

Уже герой «Утра помещика» — Нехлюдов мечтал перемениться участью со своим крестьянином — извозчиком Илюшкой. Правда, в мечте Нехлюдова Илюшка счастлив и свободен лишь во сне.

Этот сон — мечта, но она рождена завистью к трудовому путешествию по далекой дороге.

В «Анне Карениие» мучается и завидует мужичьему труду Левин, но дом Кити так крепок, что смерть кажется более легким исходом, чем уход.

В самарских степях в 1875 году появилась новая тема — уход к переселенцам, куда-то далеко, туда, где мужики свободнее и барин перестанет быть барином.

Лев Николаевич готовился к исполнению нового романа годами и учился на нем по-новому видеть мир. Он начал вести дневник записей картин природы. Я не говорю пейзажей и неправильно говорю картин: это записи о том, как выглядит природа, увиденная глазами землепашца, деловая; она все время дает новые задачи, ставит упреки, делает предостережения.

В то время Лев Николаевич еще не восстановил писания дневников Записи делались в записной книжке

В 1877 году, 8 мая, Толстой делает запись с точным обозначением, для чего она делается.

Он как бы начинает новую упряжку своей работы.

«К *следующему* после «Анны Карениной». Мужики Ладят сохи, бороны покупают. Загнуть. Пашут. Первая пахота, сыро. Жеребята, махая хвостами, на тонких ногах бегают за сохами.

Выросла трава. Поехали в ночное. Бабы за травой. Цыплята. *Умерла наседка, горе.* Запустил пахоту, проросла. С травой не расскораживается. — Телки Ягнята».

Записи идут одна за другой, не всегда можно понять их будущее сюжетное место, но оно уже намечается.

Природа, весна оцениваются как результат предыдущей работы. «Старик ходит смотреть овсы в мае — конце — вылезает щеткой. На закате зелень желта, стволы лиловые. Эх, дурно пахал».

И дальше, очевидно, он же: «Старик до 20 чисел мая давно не видал ржей — матово-сизое перо, кусти-сты, высоки— столбик торчит, как шапочка».

Таких записей, перемежаемых замечаниями о самостоятельности женщин, о том, как выглядит рожь рядом с овсом, как идет вымытый мужик после косьбы и как стоит тихая, черная, глянцевитая вода, как пробуют отбитые косы, — очень много.

Это большая подготовка, которая идет с 77-го года на 78-й и перебивается записями о религии и о декабристах. Все это, сменяя друг друга, и все это запашки одного посева.

Лев Николаевич рассказывает о том, как уходят под натиском нового, сохраняя свое старое, неизменное, патриархальное, мужики; но оформляется новое, обосновывается по-разному: то это Петр, то это время декабристов, то это совсем близкое время Хивинского похода Перовского, когда снежные бури в степи погубили русское войско. В сохранившихся набросках этого времени из романа о Петре Толстой приближает все действие к Ясной Поляне. Это происходит тут, рядом, хотя не сейчас.

Рождается князь, и рождается слуга его, подкидыш-мужик.

Повествование пойдет двумя реками, и потом сойдутся эти реки где-нибудь на краю земли, где барин перестанет быть барином — так, как Пьер освободился от своего графства в плену.

Для того чтобы приблизить эту историю к себе, от себя ее увидеть, Толстой расспрашивает знакомых об истории своих предков, о хитром Петре Андреевиче Толстом, первом графе, который был потом сослан в Соловки.

Он ищет ссыльных и пропавших в роде Горчаковых. Он ищет пробелы в истории дворянских родов, разыскивает записи о людях, которые пропали неизвестно куда, думая, что они оказались где-то на краю русского мира вместе с мужиками.

Больше всего поисков мы видим вокруг Перовского — эта эпоха близкая. Весь поход произошел как будто вчера. Лев Николаевич расспрашивает о ней Александрин Толстую.

«Странно и приятно думать, что то время, которое я помню, 30-е года — уж история. Так и видишь, что колебание фигур на этой картине прекращается и все устанавливается в торжественном покое истины и красоты».

Но покой был мечтой.

Мечтой было и то, что можно будет писать, не сердясь даже на Николая I. Этот император приобрел в конце концов в «Хаджи Мурате» истинное свое изображение.

«У меня давно бродит в голове план сочинения, местом действия которого должен быть Оренбургский край, а время — Перовского. Теперь я привез из Москвы целую кучу материалов для этого. Я сам не знаю, возможно ли описывать В. А. Перовского и, если бы и было возможно, стал ли бы я описывать его; но все, что касается его, мне ужасно интересно, и должен вам сказать, что это лицо, как историческое лицо и характер, мне очень симпатично. Что бы сказали вы и его родные? Не дадите ли вы и его родные мне бумаг, писем? с уверенностью, что никто, кроме меня, их читать не будет, что я их возвращу, не переписывая, и ничего из них не помещу. Но хотелось бы поглубже заглянуть ему в душу», — писал он в начале 1878 года А. А. Толстой.

Василий Алексеевич Перовский, генерал-адъютант, был близким знакомым А. А. Толстой. В 1833 году он был назначен оренбургским военным губернатором и командиром отдельного Оренбургского корпуса. После неудачного похода на Хиву в 1842 году вышел в отставку. С 1851 и до 1857 года снова оказался оренбургским генерал-губернатором. Был он одним из ближайших друзей поэта В. А. Жуковского и его «Светланы» — А. А. Воейковой. Попытку осуществления замысла, о котором говорит здесь Толстой, мож-

но видеть в отрывке «Князь Федор Щетинин» (см. т. 17); прототипом Щетинина явился, по-видимому, В. А. Перовский.

Сведения в письмах начали поступать. Писем несколько. Рядом с Перовскими появляется фамилия дальнего родственника князя Горчакова.

«У меня к вам просьба: нет ли биографии, хотя самой краткой, Льва Алексеевича Перовского? Мне нужно знать, где он служил и находился с 16-го по 33-й год. А главное, мне бы очень нужно было знать, когда и как и где он женился на Катерине Васильевне Уваровой (вдове Дмитрия Петровича Уварова), рожденной княжны Горчаковой. Я знаю, что она очень дурно жила с ним и умерла в 33-м году, но всякие подробности о его женитьбе и сношениях с нею были бы для меня драгоценны».

Сведения об опальных Горчаковых собираются отовсюду.

Толстой пишет Н. Н. Страхову:

«Вот в чем дело: у князя Николая Ивановича Горчакова, моего прадеда, умершего в 1811 году, было 3 сына· Михаил, Василий (генерал-майор, женат на Стромиловой От него дочь Катерина, замужем за Уваровым и Перовским) * и Александр. Один из этих Горчаковых за какие-то дурные дела судился и был сослан в Сибирь... Нельзя ли найти о нем дело».

Поиски трудны.

Он пишет своему дяде И. А. Толстому:

«Мне при моей работе понадобились сведения о двоюродном деде моем князе Горчакове, сыне Николая Ивановича Горчакова, судившемся, как мне известно, за какие-то дела и разжалованном и сосланном в Сибирь. Как звали этого деда, я не знаю; знаю только, что он был один из трех братьев моей бабки, которых звали Михаил, Василий и Александр».

Разыскиваются и другие люди толстовского круга, внезапно исчезнувшие. В письме к П. Н. Свистунову Толстой справляется об одном из таких героев, Ф. А. Уварове, и его жене *.

Толстой ищет путей бегства и собирает воспоминания о бегстве.

Мир Толстого рухнул вместе с патриархальной деревней, вместе со старым укладом, еще недавно крепким и понятным, вместе с бестолковым, но привычным миром помещичьей усадьбы: из него надо бежать. Уйти, потеряться — вот что становится темой Толстого, все более определяясь.

Все герои новых повестей, хотящие остаться живыми, уходят.

Уходит император Александр, становясь старцем Федором Кузьмичом. Лев Николаевич будет собирать сведения и расспрашивать великого князя Николая Михайловича, можно ли верить легенде и кем мог быть старец Федор Кузьмич, если он не был императором. Не мог ли он быть, например, Уваровым?

Уходит в повести «Отец Сергий» князь Касатский — сперва в монастырь, а потом в бродяги. Касатский бросает мир из-за обиды и гордости. Самое трудное из искушений его то, когда он стариком стоит на дороге и о нем в коляске говорят по-английски, а он не может вступить в разговор, сказать о том, как далеко он ушел от этих людей.

Уходит мужик, Корней Васильев, бросив свое сбитое кулацкое хозяйство.

Бежит, симулируя самоубийство, и прячется среди городских бродяг Федя Протасов.

Уходит за Катюшей Масловой Нехлюдов.

Бежит от тирана Шамиля к тирану Николаю сын кузнеца, бывший мужик Хаджи Мурат. К нему на-

---

* Василий Николаевич Горчаков (род в 1771) должен был стать центральной фигурой задуманной тогда Толстым повести «Труждающиеся и обремененные», один из сохранившихся отрывков которой имеет дату «1879. 15 генваря»

* Федор Александрович Уваров (род. в 1780) — полковник, участник наполеоновских войн, товарищ декабриста М С Лунина по кавалергардскому полку, женатый на его сестре Екатерине Сергеевне. 7 января 1827 года в Петербурге он ушел из дому и больше не возвращался Все поиски остались безрезультатными. Официально было признано, что Уваров покончил с собой, утопившись в Неве, так думала его жена, но были также толки, что он скрылся за границу или в Сибирь

встречу хотел убежать битый солдат Авдеев, но случайная пуля ранила его и отвела от греха.

Главная тема — уход от мира, безумие которого обнаружено, в крестьянство или хотя бы даже в городскую бедноту.

В «Хаджи Мурате» герою уйти некуда, он показан изгнанником, не знающим истины, но гордо гибнущим в борьбе за справедливость.

Собираясь описывать двор Николая I, Толстой хотел в романе о Перовском никого не обвинять и показать светлую фигуру Жуковского.

В «Хаджи Мурате» ненависть к насилию, воплощенному в Николае, — центр описания

Толстой уже давно понял ошибку «Истории» Соловьева, то есть ошибку каждой буржуазной истории. Описываются войны, преступления, и совершенно непонятно, что же едят эти люди и откуда являются те соболя и лисы, которые дарят богачи друг другу. Кто создает материальные ценности? Кто создает дружбу народов и почему вдруг Украина соединяется с Россией?

Он понимает, что история народа — это история трудящихся. Для Толстого это история крестьянства. Он хочет рассказать, как создавалось великое государство, как крестьяне дошли до Тихого океана, запахали великие поля.

Но Толстой хочет вписать самого себя, свою судьбу в эту великую историю и все время пытается рассказать о том, как ссыльный дворянин оказался вместе с крестьянами и жил вместе с крестьянами, но ссыльный человек — это человек, лишенный прав состояния. Дворянин для того, чтобы оказаться с крестьянами, должен был перестать быть дворянином.

Толстой берет один и тот же конфликт, перенося его в разные эпохи, и не может его написать. Он не может войти как бы в ту историю, необходимость и святость которой он признает.

То, что мы называем бегством Толстого, — это и было его возвращение домой, в тот мир, который он считал единственно законно существующим.

Часть IV

1881 — ПЕРЕЛОМНЫЙ ГОД

I

Летом жили в Ясной Поляне.

Лев Николаевич записывает в дневнике 6 июля 1881 года: «Революция экономическая не то, что может быть. А не может не быть. Удивительно, что ее нет.

Курносенкова родила, воспаленье. И хлеба нет. Приходила Анисья Морозова.

Щекинской чахоточный мужик. Хлеба нет».

Он считал крестьянскую революцию неизбежной, нравственно оправданной. Но видел ее в возвращении к патриархальной жизни. И чувствовал невозможность возвращения и пытался преодолеть невозможность религией.

К 1881 году Толстой был могучим и хотящим все изменять человеком. Это боец, не уставший, часто обращающий в утверждение то, что прежде надо было бы доказать.

Широко и точно знал он деревенскую Россию, понимал ее неустойчивость, видел необходимость и невозможность перемен. Его ощущение жизни можно сопоставить со словами Достоевского, который говорил о «невозможности неизбежного», подразумевая под неизбежностью социальную революцию.

Достоевский бился в противоречиях неизбежности и невозможности, полагая, что выхода нет (кроме сомнительного — смирения и страдания).

Толстой считал, что он уже нашел путь для преодоления невозможности: он думал по каратаевской пословице, что если покориться беде, то она тебе сама покорится, и хотел преодолеть зло несопротивлением. Рожденный в деревне, видящий отдельные замкнутые хозяйства, из которых каждое могло бы существовать само по себе, он думал о превращении каждого человека: хотел создать новый мир, изменив его слагаемые. Он держался крепкими руками за старую соху, пахал землю по-старому, но сумел по-новому ее перепахать, хотя и не знал, что в поле посеяно.

Мир Толстой знал широко, но не полно.

Короленко в статье «Лев Николаевич Толстой», говоря об изобилии персонажей в романах Толстого, замечает: «Однако есть в этой необыкновенно богатой коллекции и один существенный пробел: вы напрасно станете искать в ней «среднего сословия», интеллигента, человека свободных профессий, горожанина, — будь то чиновник на жаловании, конторщик, бухгалтер, кассир частного банка, ремесленник, заводский рабочий, газетный сотрудник, технолог, инженер, архитектор...»

В этом отрывке перечислено восемь профессий людей интеллигентного труда, но только одно упоминание «ремесленник» и одно «заводский рабочий».

О сапожниках и городской бедноте Толстой писал. О заводских рабочих он только упоминал, так же как и Короленко. Шел спор о значении капитализма для России. Для Короленко-народника заводский рабочий был случайностью в России. Важен для Короленко крестьянин и интеллигент. Он считает, что для Толстого важны «два полюса крепостной России: деревенский дворянин и деревенский мужик. Нашего брата, горожанина-разночинца, чья жизнь вращается между этими полюсами, великий художник не видит, не хочет знать и не желает с нами считаться».

Для Короленко существенно важным кажется горожанин-разночинец как потенциальный революционер, который должен освободить народ.

Толстой в эту революцию не верит.

Но одного человека среднего сословия Толстой знал хорошо.

Софья Андреевна была дочерью врача — дворянина по выслуге, все свои идеалы эта женщина строила как идеалы городские и чиновничье-дворянские.

Она не принимала новых идей мужа.

Она хотела быть тем, чем стала по венцу, — графиней и помещицей.

Рядом с Толстым жила тридцатисемилетняя, уже много рожавшая, говорливая жена, еще сохранившая красоту, энергичная, преданная мужу, но не видящая его, все время проявляющая себя, старающаяся все время доказать себе свою необходимость для графа, свою полноценность. Она вся наполнена мыслью о себе, о семье графа Толстого, об их ценности. Дети Софьи Андреевны, смеясь, рассказывали, что их мать, покупая в Туле отрез ситца, успевала купцу рассказать всю свою биографию. В начале восьмидесятых годов женщина была довольна успехами мужа, семьей, достатком, славой, но боялась за мужа, за его смелые мысли, за его способность спорить и за противоречивость его решений.

Время было трудное: от каракозовского выстрела до бомбы Желябова шла война царя с революционерами, борьба непонятная; полуаристократка, преданная мысли о знатности, Софья Андреевна мечтала о дворянской жизни в Москве, о том, как она приедет туда, откуда уехала дочерью скромного врача, титулованной женой знаменитого мужа, матерью «красивого семейства». Мечтала о хорошем месте в старой жизни, которую считала единственно возможной для себя, и хотела этого не только для себя. Муж ее счастлив; она искренне удивлялась, чем же он недоволен.

А Лев Николаевич в 1881 году начал книгу под названием «Записки христианина»; в книге упоминается «Исповедь», уже написанная, в рукописи за-

черкнуто упоминание о том, как он «чуть было не повесился».

Он чуть не повесился после того, как написал одиннадцать томов сочинений, среди них роман, небрежно пересказанный, «как дама одна полюбила одного офицера», и другой — «о величии России».

Он старается стать христианином.

Людей, которые называли себя христианами, было тогда много в высшем обществе.

Приезжие английские проповедники, как лорд Редсток, и у них появлялись русские ученики из среды самой крупной аристократии.

Это христианство требовало веры, но не изменения условий жизни.

Вождь нового христианства Пашков был полковником кавалергардского полка.

Христианство Толстого было во многом иное.

Лев Николаевич длительное время хотел верить и верить по-старому, он долго держался за православие. Так человек, сорвавшийся с обрыва, держится окровавленными руками за колючие ветки шиповника.

Но он был замечателен не верой, а своим неверием: он разжал руки, потеряв надежду в старые опоры.

В молодости им были прочитаны книги Вольтера, Юма. Он знал, как убедительно они отрицали христианство; и сам был неверующим десятки лет, изредка надевая на себя церковную одежду, как надевают фрак или другую официальную одежду — привычную и обязательную. Вера и неверие, по его собственным словам в письме к А. А. Толстой, жили в его душе, как кошка и собака в одном чулане.

Великий писатель вошел в литературу, не забыв и не отвергнув свой жизненный опыт, не забыв о том, что видел в деревне. Так пришел он и на военную службу волонтером. Он верил в землю, обыкновенный суглинок, в тот, который пахали в Ясной Поляне, верил, что если эту землю распахать и на ней посеять, то вырастет урожай. Верил в обычный разум — разум крестьянина, трудового человека, и

смотрел на мир через открытые двери избы, хотя сам жил в заброшенной усадьбе, которую потом так долго Софья Андреевна хотела преобразовать в жилье, похожее на городское.

Поговорочное искусство — заново говорить общеизвестные истины — все это было у него не дворянское, а мужичье.

Говоря о любви, о труде, о войне, выходя на дальние дороги, мерил все пядями и стопами.

Для него крестьянин недавнего прошлого — всечеловек, который был и будет.

Еще в 1879 году ездил он к учителям церкви, к епископам, к митрополиту Макарию — составителю книги «Догматическое богословие». Сейчас он жадно и недоверчиво раскрыл эту тогда знаменитую книгу.

Толстой хотел верить в бога, который бы обеспечил счастье людям, спокойную жизнь в деревне, труд, урожай, любовь. Книга «Догматическое богословие» в условных и натянутых выражениях, нарочно запутанных, говорила о таинствах, о догматах, а Толстой хотел открыть тайну истины.

Богословы говорили о том, как сложились вероучения, и подменяли доказательства историей. А он хотел не разбираться в истории, а думать вместе с людьми, которые выросли вокруг него в деревне.

Ему говорили про троичность бога, и это хитроумное сооружение, основанное на спорах, компромиссах, на неточном употреблении терминов, на сознательных и несознательных подлогах, разрушалось при чтении писателем, привыкшим к точному слову. Он повторял старые слова, вслушивался в них, наклонивши большие, уже поросшие волосами уши, и слышал, что слово лжет, приходил в негодование и выносил приговоры более резкие, чем когда-нибудь слышали от кого-нибудь церковники.

Сперва он удивлялся: «Я не предполагал еще, чтобы учение было ложное; я боялся предполагать это, ибо одна ложь в этом учении разрушала все учение». Скоро стал ужасаться, увидев, что «...так называемые кощунственные сочинения Вольтера,

Юма...» не порождают «...того несомненного убеждения в полном безверии человека, как то, которое я испытывал относительно составителей катехизисов и богословий».

Ему говорили путаные слова, которые все были направлены на сохранение неправды.

Толстой отвечал богословам: «Да идите и вы к отцу своему, диаволу. Вы, взявшие ключи царствия небесного, и сами не входящие в него, и другим затворяющие его».

С большим негодованием, горечью и презрением к старому он начал громоздить новое богословие. Он употребил все свое остроумие и силу своего анализа, чтобы пересказать евангелие без чудес, истолковав дело так, что легенды о чудесах явились из неточного перевода.

Здесь надо снова напомнить о В. И. Алексееве — человеке, разочаровавшемся в утопическом социализме. Приведу о нем рассказ П. Бирюкова, так как это показание просмотрено самим Львом Николаевичем.

«Мы уже упоминали о присутствии в доме Л. Н-ча учителя В. И., со вниманием и любовью следившего за религиозным процессом, совершавшимся во Л. Н-че, отчасти кротко влиявшего на него и самого воспринимавшего на себя его могучее влияние.

В. И., прочитав работу над евангелием, был поражен новым, открывшимся ему смыслом учения Христа. Первым, непосредственным желанием В. И. было переписать себе это удивительное произведение и увезти его с собой, чтобы поделиться этими новыми мыслями со своими друзьями, так как срок пребывания его в доме Л. Н-ча уже кончался. Но, сообразив размеры этого труда и остающееся ему время, В. И. решил, что он не может успеть переписать всего евангелия, и тогда он решил списать только перевод самых евангельских текстов. Сделав эту работу, В. И. дал ее на просмотр Л. Н-чу, который снова прочел и проредактировал эти тексты и написал новое предисловие и заключение к этому списку. Таким образом появилось новое произведение Л. Н-ча, под заглавием «Краткое изложение евангелия», получившее едва ли не наибольшее распространение из всех его религиозных произведений и известное в читающей публике и в критике под именем «Евангелия Толстого».

Это было евангелие без чудес и пророчеств, евангелие эпохи великого разочарования. Христос этого евангелия как бы сошел с картины Крамского.

Толстой говорил, что воскресение не только невозможно, но и бессмысленно, не стоило воскресать для того, чтобы сказать то немногое, что Христос сказал своим ученикам после так называемого воскресения. Книга, написанная Толстым, печальна и реалистична.

От В. Г. Короленко сохранилось несколько скрепленных листков, вырванных из записной книжки-блокнота. Вся рукопись состоит из двух отрывков. Написаны они во времена начала якутской ссылки Владимира Галактионовича (1881—1882 гг.). Это как бы рецензия современника на это «евангелие».

«Евангелие Толстого — это блестящий роман из жизни Христа, написанный не только рукой художника-созерцателя; это образ, набросанный вдохновенной кистью художника экзальтированного, и какой захватывающий образ! Вспомните критическую минуту, когда неверные язычники обращаются к Христу с просьбой проповедать им истину. Христос смутился. Он человек. Он чувствует, что в борьбе торжество склоняется на его сторону... Соображения времени и условий исторической минуты требуют оппортунизма и компромисса. И он после столь естественного в человеке колебания отдает предпочтение высшей идее вечной правды...

«Я заповедал вам, — говорит он в другой раз ученикам, — не брать с собой запасов, не носить с собой оружия (это было в ночь после тайной вечери, когда Иуда ушел, чтобы предать Христа мести господствующих партий). Но теперь — прискорбна душа моя до смерти, я говорю другое. Берите запасы — мы скроемся, берите оружие — мы будем защищаться». Это вопль человека, это восстание плоти против требований духа, против неизбежного результата поднятой во имя идеи борьбы с торжествующей

силой. Он молится во мраке скорбной ночи, призывая силу великой идеи, он горько выговаривает ученикам их слабость: «Я нуждаюсь в поддержке, в ободрении, я ищу их у вас, но вы унываете!» Он один со всем величием своей скорби, он один во мраке скорбной ночи борется и побеждает. «Решено, — говорит он ученикам, — я спокоен». Он победил два соблазна, — толкует Толстой, соблазн страха и соблазн противления...»

Толстовская вера и толстовский бог — конечно, религия, потому что это довод, на котором кончается анализ. Впоследствии Толстой говорил, что формула «искусство для искусства» тоже как бы ссылка на бога: после этого кончается анализ — круг замкнут.

Толстой ограничил пределы цитат; он принимает евангелие, но не библию. Евангелие он пересказывает, пытаясь сперва оправдать для себя пересказ как перевод. Его очень обрадовал специалист по греческому языку, репетитор сына Ивакин, который сказал, что слова, которыми начинается евангелие от Иоанна, которые всегда переводят словами «В начале было Слово», — можно перевести «В начале было Разумение». Получается, что этот предполагаемый бог — Слово — важен и нужен потому, что он усилие познания, постижение, попытка понять мир.

Это толкование вызвало спор Толстого с Фетом, который не был согласен с Толстым по вопросу о справедливости совести, но предпочел спорить о точности перевода.

Фет писал Толстому 18 октября 1880 года.

Возражение Фета начинается с того, что слово «логос» переводилось раньше как «слово», пытались его переводить словом «разум», а Толстой предлагает новый перевод — «разумение». «.. Разумение человека, — пишет Фет, — составляющее лишь мгновенное звено в цепи причинности явлений и заведомо коренящееся на недосягаемой тайне жизни, не только невозможная точка опоры для целого мира — в себе самом, но и противоречивая».

Бог Толстого — это попытка уразуметь мир, обосновать разумные и гуманные нормы поведения, противопоставить их безумию обычного.

В том, что утверждал Толстой, нового было не много, но сила разрушения была бесконечно велика. Толстой видел нелогичность мира, лишал слова ложного значения; он не верил тому, что подразумевается под словом, выпрямлял значение слова и лишал мир ложной логичности.

Толстовская критика в основе не была религиозной, в своих поисках осмысления мира он шел, как от базиса, от старой деревни, он хотел видеть поля этой деревни более плодородными, избы крепкими, семьи мирными, людей сытыми; его идеал был в прошлом, но, стоя на почве прошлого, он разрушал временное, то, что хотя и существовало, но должно было быть разрушено.

Короленко впоследствии упрекал Толстого в том, что писатель не видит подвига интеллигентов, которые, «... как ослепленный филистимлянами Самсон, сотрясали здание, которое должно было обрушиться и на их головы».

Толстой сам, как библейский Самсон, сотрясал и разрушал то же здание.

Но деревенский, деревянный, соломой крытый храм Толстого, по его мнению, нельзя было разрушить. Он был по всей земле.

Он не верил в террор, отрицал его целесообразность, так как это было не крестьянское дело, а дело интеллигентов, но понимал негодование революционеров.

Он победил соблазн страха, но не преодолел соблазн несопротивления. Много раз разбитые крестьянские восстания, восстания людей, которые, объединившись на несколько недель, опять становились покорными, возвращаясь к своим сохам, приводили к мысли, что сопротивление невозможно. Он выбрал себе в спутники людей, потерпевших неудачу в сопротивлении.

Толстого искушали вопросами, что он будет делать, если на него нападет «дикий зулу» или если он увидит, что мать засекает своего сына. Он отве-

чал, что и тут не надо вмешиваться, что все равно зулу нельзя победить, а надо перевоспитать, мать же, убивающую ребенка, нужно жалеть.

Люди, которые спрашивали Толстого, думали не о матери, убивающей собственного ребенка, и не о зулу — они думали о самодержавии: «зулу» был цензурным обиняком.

Толстой искал своей дороги и оторвался от близких, стал им непонятен, стал странным и в кругу литераторов.

Уже во время пушкинских торжеств в мае 1880 года Ф. М. Достоевский писал жене. «О Льве Толстом и Катков подтвердил, что, слышно, он совсем помешался».

II

В. И. Ленин в «Философских тетрадях» конспектировал лекции Гегеля по истории философии. Гегель писал: «Этот здравый человеческий рассудок есть такой способ мышления какой-либо эпохи, в котором содержатся все предрассудки данного времени». Ленин формулировал на полях:

«Здравый смысл — предрассудки своего времени».

Толстой боролся со здравым смыслом своего времени.

Гибнущее патриархальное крестьянство переживало такие острые коллизии, что приходило к ряду открытий и обнажений бессмысленности того мира, который наступал на него со своим здравым смыслом, утверждаемым законами, газетами и полицией.

Толстой не заболевал, а выздоравливал от сумасшествия обыденной жизни. Как выздоравливающий, он заново учился ходить и разговаривать.

Осознание безумия жизни приходило с болью.

Так ощущение восстановленного движения крови в отмороженных руках первоначально кажется болью.

Все знали, что в большом мире тревожно, что революционеры борются с царем; мужики ждут новой, настоящей воли, дворяне недаром ждут, что та

новая экономическая власть, которую они получили над мужиками, будет подкреплена законом.

А благоразумная инерция быта и здравого смысла продолжалась: в Ясной Поляне собирались переехать в Москву.

Толстой не спорил; он смотрел на переезд как на горе, которое необходимо перенести, и не видел другого исхода, кроме терпения и несопротивления.

Давно Россия ожидала революции, но происходили только крестьянские волнения, выступления террористов не смогли поднять народ.

Царь и его судьба не возбуждали в Ясной Поляне сочувствия, и его здоровьем здесь не были очень озабочены.

Сергей Львович вспоминает: «Однажды вечером отец прочел в газетах о покушении А. К. Соловьева на жизнь Александра II и телеграмму об этом стал переводить на французский язык для М. Nief'a. В фразе «Но господь сохранил своего помазанника» он запнулся, забыв, как перевести слово «помазанник». — Mais Dieu conservé son... son... — говорил он, ища слова.

— Son sangfroid *, — неожиданно сострил М. Nief, и все мы невольно рассмеялись».

1 марта 1881 года был убит Александр II. В Ясной Поляне об этом узнали 2 марта от нищего мальчика итальянца, забредшего в усадьбу. Он сказал на ломаном французском языке:

— Дела плохие, никто не подает, император убит.

— Как, когда, кем убит? — допрашивали мальчика.

Но он ничего не знал. Вечером 2-го числа в поместье пришли газеты.

Мартовские письма Толстого 1881 года не дают представления о его внутренней жизни — мы видим только, как он молчал в это время. Молчание было прервано письмом, которое Толстой написал новому императору Александру III, письмо на нескольких страницах. В нем рассказывается о ненависти рево-

* Свое хладнокровие.

люционеров к Александру II как о «страшном недоразумении» и в то же время говорится о них следующее:

«Что такое революционеры? Это люди, которые ненавидят существующий порядок вещей, находят его дурным и имеют в виду основы для будущего порядка вещей, который будет лучше. Убивая, уничтожая их, нельзя бороться с ними. Не важно их число, а важны их мысли. Для того чтобы бороться с ними, надо бороться духовно. Их идеал есть общий достаток, равенство, свобода. Чтобы бороться с ними, надо поставить против них идеал такой, который бы был выше их идеала, включал бы в себя их идеал. Французы, англичане, немцы теперь борются с ними и также безуспешно».

Инициатором письма, вероятно, был Василий Иванович Алексеев, вероятно, он и придумал послать это письмо царю через Победоносцева. Дело в том, что Победоносцев помог Александру Капитоновичу Маликову — крестьянину по происхождению, кончившему университет, работавшему судебным следователем и арестованному в 1866 году в связи с делом Каракозова, потом высланному, потом привлеченному в 1874 году по делу о пропаганде в тридцати шести губерниях («Процесс 193-х»); эмигрировавшему вместе с Чайковским, Алексеевым и Орловым в Америку, где их группа революционеров хотела создать земледельческую колонию. Колония распалась, Маликов стал создателем нового учения о богочеловечестве.

Л. Н. Толстой 18 мая 1881 года записал свой разговор с домашними· «Вечером рассказал, что Маликов делает больше для правительства, чем округ жандармов».

Победоносцев это цинично понимал.

Вероятно, этим и объяснялось, что Маликов был помилован.

Впоследствии он отошел от своего примиренческого настроения.

Разговор В. И. Алексеева с Толстым шел тайно, за закрытыми дверьми, но его услыхала Софья Андреевна. Вот что рассказывает о дальнейшем сам В. И. Алексеев:

«Вдруг дверь отворяется, выбегает взволнованная графиня и с сердцем, повышенным голосом говорит мне, указывая пальцем на дверь:

— Василий Иванович, что вы говорите!.. Если бы здесь был не Лев Николаевич, который не нуждается в ваших советах, а мой сын или дочь, то я тотчас же приказала бы вам убираться вон...

Я был поражен таким выступлением графини и сказал:

— Слушаю, уйду...»

За обедом С. А. извинилась, но положение в доме создалось такое, что Лев Николаевич отступил. Алексеев уехал в самарское имение.

Возникала новая утопия — вести в самарском имении хозяйство так, чтобы на вырученные деньги помогать бедным крестьянам. Это была иллюзия, в которой Толстой быстро разочаровался. То же, что он видел рядом с собой в Ясной Поляне, не давало ему возможности успокоиться.

Лев Николаевич в это время писал «Записки христианина»; книга была начата как своеобразная автобиография и начиналась разговором о вере; но вдруг она перебивается точными рассказами о быте крестьян в Ясной Поляне. Берутся совершенно определенные люди: бывший артиллерист Ларион — человек способный и сперва удачливый, но потом прошедший через суд, тюрьму и нищенство. Рядом с ним гибнет сосед его Костентин, который вручает Толстому свое жизнеописание. Начинается оно так: «Жизнь дирnamely диривенского мужика. Адинокава Костюши бедняка».

«Диривенский мужик» рассказывает о своей гибели так:

«А астались дитей у нас только двоя, но она и по етих кажный день воя, что галодная судьба на нас настала, что у нас хлеба куска ни достала вот *те-та* года. Я, Кастюша, проживал нужды и горя крепка нивидал. — А теперя Абносился кажный день. А буваю лапти разбиты, А галавашки полны снегом

набиты, кажнию ночь тирпеть мне насила вмочь, кашляю — перхаю. А у нох своих угману ни знаю: так ломють, что ноги мои крепка простужены. Живу так богата, что ни дай бог никому: босаты имею и нагаты навешаны полны шосты. А холоду и голоду полны Анбары, но буду помнить осмидесятый год: даже нечева паложить в рот чють *нисчиво* проглядишь, то день и два ни емши сидишь. А *исче* у стале хлеба ни чюишь, то ни ужинамши *начюешь»*.

Вокруг дома Толстого в те годы распадается хозяйство деревни. Приведу несколько мест из дневника за 1881 год.

К Толстому в Ясную Поляну не только идут, но и ползут на руках прямо через поле, минуя деревню, чтобы не задрали собаки, бедняки: «Дмитрий Кузмин Чугунов приполз во 2-ой раз. Ноги засохли. Как насекомое ползает на руках. Бритый, с усами, неприятный. Я нажрался простокваши. Хотел отделаться. Начал с азартом усовещевать его, зачем иструб в 55 р. Оказалось, он женат и 2 детей. 3 года, как отсохли ноги (с глазу, на камне). Изба завалилась».

Этот человек погиб, потому что бил щебень на дороге. Погибает он не один — погибает вся деревня: как вытекает вода из бочки, когда разошлись обручи.

28 июня 1881 года Толстой записывает:

«Пошел к Константину. Он неделю болен, бок, кашель. Теперь разлилась желчь. Курносенков был в желчи. Кондратий умер желчью. Бедняки умирают желчью! «От скуки» умирают.

У бабы грудница есть, три девочки есть, а хлеба нет. В 4-ом часу еще не ели. Девочки пошли за ягодами, поели. Печь топлена, чтоб не пусто было и грудная не икала».

Это эпическая картина бедствия: горит печь, пусто; но дети поверят, что еда будет. Только этим обманом на час может отсрочить отчаяние детей их мать в погибающей деревне.

«У нас обед огромный с шампанским. Тани наряжены. Пояса 5-рублевые на всех детях. Обедают, а уже телега едет на пикник промежду мужицких телег, везущих измученный работой народ».

Что же делать? — спрашивает Толстой. Он верит первое время в благотворительность и, конечно, разочаровывается, он не верит в возможность революции, вернее ее боится.

Он укрепляется в мысли о несопротивлении злу. Надо оставить оружие, не надеяться на силу — надеяться на правду, убедить людей не защищать зло. Зло сильно непониманием, оно разрушится, когда люди поймут его бессилие.

Лев Николаевич узнавал и прочитывал людей быстро, как тоненькую книгу, он очаровывал и разочаровывал, умел забывать.

От Алексеева и Бибикова, которые отдали ему много лет, много надежд, он отказался не легко и не сразу — после долгих разговоров с женой. В 1883 году он ликвидировал свое самарское хозяйство. Для них это было бедствием. Бибиков построился на земле Льва Николаевича: ему пришлось оставить постройки. Алексеев арендовал землю у Толстого, и ему было трудно уехать. Он сперва поступил к одному толстовскому знакомому домашним учителем, потом служил контролером на железной дороге, инспектором сельскохозяйственного ремесленного училища, директором коммерческого училища. Жизнь его наполнилась семейными заботами. Бибиков тоже нашел крупную работу.

С Толстым редко кто мог идти целиком. От него многие уходили, так как путь его был необычен и спутником он был неверным.

Оставались немногие, среди них были и хроникеры, и люди, связанные с Толстым родством и старой дружбой и происхождением. Таков Константин Иславин — друг молодости, человек, определивший первые неудачи Толстого. Он его жалел, кормил, когда рядом не было Софьи Андреевны, хлопотал, чтобы достать ему работу, и одалживал ему свой сюртук, чтобы тот мог пойти к Каткову или в другое какое-нибудь место просить работы. Сюртук же был новый, малоношеный: Лев Николаевич обыкновенно носил блузы Неудачник Костенька Иславин с болтовней

об аристократизме для Толстого был отдыхом. Его можно было накормить.

Помогать можно было озлобленной, многодетной нищенке, которую в деревне прозвали Ганька-воровка; можно помочь пьющему отставному поручику Александру Петровичу Иванову — дерзкому толстовскому переписчику; вот, кажется, и все.

Мало в мире писателей, которые бы видели столько разнообразных представителей человеческого рода и так охотно с ними беседовали.

Через душу Льва Николаевича, как через дорогу, как через океанский путь, прошли сотни тысяч человеческих судеб, если считать встречами и письма.

Не будем же обвинять великого человека в том, что он не был верным другом. Люди должны были сменяться вокруг него.

Только спутники его старости не были заменены, потому что пришла смерть.

Василия Ивановича Алексеева Лев Николаевич любил, долго писал ему дружеские письма.

После разлуки Лев Николаевич писал своему другу в ноябре 1882 года, что он видит его во сне, что он скучает по нему и что он «любовно завидует» его трудной судьбе. Он жаловался другу на семью с глубокой печалью

Но время шло, сменялись люди, сменялись боли, привязанности. Время требовало отречений.

Ликвидируя самарское хозяйство, Толстой распорядился земли сдать крестьянам в аренду и тогда же писал Софье Андреевне, что половина долгов крестьян — около 5 тысяч — «пропащие».

Теперь он хотел, чтобы деньги за аренду пошли на помощь нуждающимся крестьянам. Он пишет в июне 1884 года Алексееву и Бибикову: «Прошу вас обоих иметь наблюдение над тем, чтобы земля пахалась по установленному порядку и деньги платились бы в сроки. Надеюсь, что вы ни тот, ни другой не откажете мне в этом. — Для облегчения вашего в этом деле скажу еще следующее. я давно уже решил, что деньги эти — аренда за землю — должны поступить на пользу населения тех деревень, которые

снимают эти земли, — на помощь нуждающимся, на школы, на учреждение зимних заработков (мысль, очень занимающая меня последнее время). И это... будет сделано с тои поры, когда я перестану встречать в этом препятствия семьи Надеюсь дожить до этого... Если бог захочет, платежи эти пойдут на дело».

Но Лев Николаевич не сумел отстоять свое решение перед женой

Вот письмо от декабря 1884 года: «Дорогой Василий Иванович, письмо ваше грустное, а не должно бы так быть Вы спите Первое и главное — жизнь наша внешняя всегда и вся отвратительна, как отвратителен акт деторождения, если страсть наша не освещает его особенным светом, так и вся материальная жизнь — она ужасна и отвратительна, начиная от еды и испражнения до требования труда других людей для себя».

В следующем письме Толстой пишет «Это же относится и к вашему обязательству к земле, называемой моею. Вы знаете так же, как и я, что все эти мои земли и имущества суть мои и чужие грехи, соблазнявшие меня и теперь пытающиеся спутать меня».

В это же время Софья Андреевна в письмах к Бибикову требовала, чтобы деньги были аккуратно собраны и посланы ей.

Лев Николаевич в декабрьском письме писал очень грустно: «Горе в том, что мы, не признающие собственности, лжем перед собой».

Лев Николаевич сдался.

Для своей семьи он тщетно предлагал такой неисполнимый план: «Жить в Ясной. Самарский доход отдать на бедных и школы в Самаре по распоряжению и наблюдению самих плательщиков. Никольский доход (передав землю мужикам) точно так же. Себе, т. е. нам с женой и малыми детьми, оставить пока доход Ясной Поляны, от 2-х до 3-х тысяч... Взрослым троим предоставить на волю: брать себе от бедных следующую часть самарских или никольских денег, или, живя там, содействовать тому, чтобы

деньги эти шли на добро, или, живя с нами, помогать нам. Меньших воспитывать так, чтобы они привыкали меньше требовать от жизни. Учить их тому, к чему у них охота, но не одним наукам, а наукам и работе. Прислуги держать только столько, сколько нужно, чтобы помочь нам переделать и научить нас и то на время, приучаясь обходиться без них. Жить всем вместе: мужчинам в одной, женщинам и девочкам в другой комнате. Комната чтоб была библиотека для умственных занятий, и комната рабочая, общая. По баловству нашему и комната отдельная для слабых. Кроме кормления себя и детей и учения, работа, хозяйство, помощь хлебом, лечением, учением. По воскресениям обеды для нищих и бедных и чтение и беседы. Жизнь, пища, одежда — все самое простое. Все лишнее фортепьяно, мебель, экипажи — продать, раздать. Наукой и искусством заниматься только такими, которыми бы можно делиться со всеми. Обращение со всеми, от губернатора до нищего, одинакое. Цель одна — счастье, свое и семьи, — зная, что счастье это в том, чтобы довольствоваться малым и делать добро другим».

«ВЫХОДИТ СРЕДНЕЕ»

Он хотел выслушать всех, как бы всех поставить перед лицом совести.

В начале июня 1881 года со слугой Арбузовым и учителем яснополянской школы Виноградовым пешком пошел он в Оптину пустынь от деревни к деревне, искать народного понимания веры, проверять в последний раз то, что называется православием.

Об этом путешествии Лев Николаевич написал дневник, занявший десять страниц.

Старик в лаптях видит мир так, как должны его видеть странники. Рассказывают крестьяне о побоях, о военной службе, о преступлениях. В Оптиной пустыни пешеходов приняли плохо, поместили в номер с клопами и соседом, который мешал спать храпом.

В монастырской лавочке евангелия не было, продавали разные монашеские, плохо и лениво написанные книжонки.

В монастыре через монаха, бывшего крепостного Толстых, узнали, что старик в пеньковых чунях — граф Толстой. Все изменилось: повели Льва Николаевича к самому старцу Ювеналию, до которого простому человеку добраться невозможно. Келья Ювеналия в четыре комнаты, устланы они половиками для мягких молитв. Монах самоуверен, неточно знает писание, говорит о покорности властям. Царство небесное, как он себе его представляет, похоже было на прямое отражение России с генералами, с губернаторами и поместьями. Между тем Ювеналий — настоятель Оптиной пустыни, учился в Михайловской артиллерийской академии. Ювеналию казалось, что он ушел от мира в монастырь, а он в монастыре на самом деле был на постое, как офицер. Пошли к старцу Амвросию, его дожидалась толпа. Спрашивали посетители у Амвросия о делах: можно ли открыть кабак, ехать ли в Иерусалим, можно ли поминать человека, который опился на крестинах и умер? Сидели у Амвросия два часа, было очень скучно. После приема у Амвросия перевели Толстого в первоклассную гостиницу, где все было обито бархатом. В монастыре только старец Пимен, который, подобрав рясу, бегом через сад убегал от благочестивых богомолок и засыпал на стуле во время религиозных разговоров, поразил Льва Николаевича простотой и наивностью.

В Москве хлопотливо меблировала и обеспечивала теплом дом Софья Андреевна.

По-своему была права Софья Андреевна, устраивая гнездо для огромной своей семьи. Не права она была только в том, что дети в результате невнимательности отца и бестолковости матери вырастали нехорошими, эгоистическими. Она удивлялась на то, что Илья пьет с лакеем, не хочет заниматься. Удивлялась на холодность Сергея, но все надеялась на то, что хоть ее малыши будут лучше.

Лев Николаевич между тем поехал в самарское

имение пить кумыс, встретился там с В. И. Алексеевым, познакомился со степенным исследователем сектантства и раскольничества А. С. Пругавиным. Ездил с ним и с Алексеевым к молоканам. Эти люди не признавали старой деревни, отказывались идти на военную службу, терпели за это гонения, жили в далеких степях, высылались в гиблые места Кавказа, а все жили, и жили хорошо, по-кулацки — сказали бы мы, так как держали молокане батраков.

Лев Николаевич записывает 20 июля: «Воскресенье. У молокан моленье. Жара. Платочками пот утирают. Сила голосов, шеи карие, корявые, как терки. Поклоны. Обед: 1. холодное, 2. крапивные щи, 3. баранина вареная, 4. лапша, 5. орешки, 6. баранина жареная, 7. огурцы, 8. лапшенник, 9. мед».

Живут сытно. Толстой как будто не осуждает это подчеркнутое изобилие. Рядом он пишет о том, что молоканин судится с работницей.

Лев Николаевич не знает до конца сам, чего требовать от семьи, и пишет жене 2 августа такое письмо: «Ты нынче выезжаешь в Москву. — Ты не поверишь, как меня мучает мысль о том, что ты через силу работаешь, и раскаяние в том, что я мало (вовсе) не помогал тебе. Вот уже на что кумыс был хорош, чтобы заставить меня спуститься с той точки зрения, с которой я невольно, увлеченный своим делом, смотрел на все. Я теперь иначе смотрю».

Это не первое письмо. Еще в конце июля Толстой писал жене. «Когда вернусь, буду работать с тобой, и не для того, чтобы только тебе облегчить, а с охотой. Очень мне тебя жаль и тяжело без тебя».

6 августа Лев Николаевич пишет жене совсем покаянное письмо: «Ничто не может доказать яснее невозможность жизни по идеалу, как жизнь и Бибикова с семьей, и Василия Ивановича. Люди они прекрасные, всеми силами, всей энергией стремятся к самой хорошей, справедливой жизни, а жизнь и семьи стремятся в свою сторону, и выходит среднее. Со стороны мне видно, как это среднее, хотя и хорошо, как далеко от их цели. То же переносишь на себя и научаешься довольствоваться средним. — То же среднее в молоканстве; то же среднее в народной жизни, особенно здесь. — Только бы бог донес нас благополучно ко всем вам благополучным, и ты увидишь, какой я в твоем смысле стану паинька».

ПОИСК ПОСТОЯННОГО ДОМА ДЛЯ ЖИЛЬЯ И ПОИСК СМЫСЛА ЖИЗНИ

Инерция старой жизни сохранялась.

Еще тогда, когда старшие дети начали подрастать, Толстые решили переехать в Москву. Сергея, старшего сына, готовили дома в университет, Илью и Льва — в гимназию. Татьяне Львовне шел восемнадцатый год — нужно было начать вывозить ее в свет; она должна была посещать балы, ездить в театры, чтобы познакомиться с каким-то будущим своим женихом, человеком неведомым, но про него твердо знали, что он будет из хорошего общества и довольно состоятельным.

В юности Татьяна Львовна сломала ключицу, отец сам повез ее в Москву к лучшему хирургу и спрашивал, не останется ли после сращения ключицы каких-нибудь следов, не будет ли заметно утолщение тогда, когда девушка в открытом бальном туалете при ярком свете свечей выйдет танцевать на паркет московского Дворянского собрания.

Толстой мало говорил с детьми, он писал свое и дома отмалчивался; но еще в 1877 году жаловался Николаю Страхову, как безобразно то, чему учат священники детей, преподавая катехизис.

Еще тогда Толстой начал перечитывать, пересматривать то, во что прежде просто верил.

В доме явственно обнаруживалось расхождение Толстого с семьей. Как будто в тихом яснополянском доме незаметно, но изо дня в день тлела балка и начинало пахнуть гарью. Но огонь пока не вспыхивал

Уступил и в этот раз Лев Николаевич. Было решено ехать в Москву.

Неполных двести верст от Тулы до Москвы.

Сама же Тула была похожа на глухие улицы Москвы.

Толстой и Тулы не любил, в городе этом бывал нехотя. Все, что он находил хорошего в Туле, — это то, что тульские цыгане поют лучше московских.

Москва в то время была не столицей, как Петербург, а дворянским городом: сохранилось многое сближающее ее с жизнью старых усадеб. Купцы давно поснимали дворянские особняки, построились в Москве фабрики, но старого в городе оставалось много.

Долго искала Софья Андреевна, быстро ходящая, жаждущая событий, дом для жилья в Москве.

В июле месяце 1881 года она пишет: «Дома продажные или огромные, около 100 тысяч, или маленькие, около 30-ти. Квартиры и дороги, и неудобны; кроме того страх, что холодны, а спросить не у кого». Один дом около Арбата в Хлебном переулке продавался за 26 тысяч, и Софья Андреевна забеспокоилась: «... я уверена, что в этом доме что-нибудь да не то, уж слишком дешево продается и так удобен. Завтра буду узнавать о нем в лавочках, у жильцов и разными путями, и, если одобрят, надо взять». И другой дом был, но «...без прачечной и подозрительный для теплоты».

Искать и расспрашивать по лавочкам не легко: Софья Андреевна и тогда была беременна. Но вот нашла она дом на Пречистенке в Денежном переулке — княгини Волконской. Дом продавался за 36 тысяч, сдавался за 1 550 без мебели.

Место на Пречистенке хорошее. Стояло тогда там много прочных, целиком деревянных или деревянных на каменном первом этаже, хорошо построенных, украшенных колоннами дворянских особняков.

В доме была большая комната с окнами во двор. Софья Андреевна определила ей стать кабинетом Льва Николаевича. Этот кабинет впоследствии приводил в отчаяние Льва Николаевича тем, что был слишком просторен и слишком роскошен. Стала Софья Андреевна покупать «пропасть мебели, посуду, лампы», утеплять пóлы войлоком, стараясь во всем угодить мужу.

Сыновей Илью и Льва стали определять в гимназию; справились об условиях приема: оказалось, что казенная гимназия требует у родителей подписки об их «благонадежности».

Толстой возмутился сказав:

«Я не могу дать такую подписку даже за себя. Как же я ее дам за сыновей?»

Недалеко от дома Волконских была частная гимназия Льва Ивановича Поливанова, где преподавал старый тульский знакомый Евгений Львович Марков. Детей Толстого после легкого экзамена у Поливанова с охотой приняли сверх комплекта.

Дочь Таню отдали в художественную школу.

5 октября Толстой пишет в дневнике: «Прошел месяц — самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву. — Всё устраиваются. Когда же начнут жить? Всё не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные! И нет жизни.

Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное. Мужики на это ловчее. Бабы дома, мужики трут полы и тела в банях, возят извозчиками».

Для Толстого в городе живут господа — дворяне, а еще полотеры, извозчики и банщики, ими угнетенные и обслуживающие их. Рабочих он не видит.

Лев Николаевич в это время еще раз проверял старую жизнь; по-новому встречался с Фетом, спорил с ним о христианстве, отвечал Н. Страхову по поводу «Писем о нигилизме».

Он теперь относился к старому другу иронически. Н. Страхов утверждал в это время православие, самодержавие и народность. Это была та официальная триада, на которой, как на трех китах, должна была устоять царская Россия.

Страхов говорил, что злодеи двадцать лет гонялись за добрым царем и убили его. Толстой писал:

«Нет злодеев, а была и есть борьба двух начал, и, разбирая борьбу с нравственной точки зрения, можно только обсуживать, какая из двух сторон более отклонялась от добра и истины; а забывать про борьбу нельзя».

Толстой выговаривал Страхову: «Ведь это так глупо, что совестно возражать. Я буду утверждать, что я знаю Страхова и его идеалы, потому что знаю, что он ходит в библиотеку каждый день и носит черную шляпу и серое пальто. И что потому идеалы Страхова суть хождение в библиотеку и серое пальто, и страховщина Случайные две, самые внешние формы — самодержавие и православие, с прибавлением народности, которая уже ничего не значит, выставляются идеалами».

Толстой знал, что, если вдуматься, должно было бы выходить совсем обратное тому, что написано Страховым про нигилистов. «То были злодеи; а то явились те же злодеи единственными людьми верующими — ошибочно, — но все-таки единственными верующими и жертвующими жизнью плотской для небесного, т е. бесконечного».

Так искал он правду, отвергая то, что прежде казалось приемлемым или не замечалось.

ТОЛСТОЙ И СЮТАЕВ

Толстой считал себя представителем народа, который смотрит на жизнь снизу, но смотрит правильно Надо было найти в народе учителя. Он хотел учиться у народа. В это время многие думали, что сектантство воплощает лучшие мечты крестьянства.

О Сютаеве Толстой услышал от А. С. Пругавина — человека, специально занимающегося расколом и сектантством Вера молокан и субботников не удовлетворила Толстого; они все время ссылались на

библию, «мямлили», как характеризовал эту систему мышления Толстой.

Он искал главным образом не религии, а этики. Ее он надеялся найти у крестьян, но не зараженных буквальным пониманием библии и евангелия.

Весть о Сютаеве Толстого обрадовала.

Вот что Пругавин рассказал о Сютаеве. Сютаев и сын его отказались от военной службы и после тюремного заключения, вернувшись в деревню, опять крестьянствовали.

Лев Николаевич в 1881 году поздней осенью поехал в Торжок — маленький город недалеко от Твери — к Сютаеву.

Он искал праведника. В Москве он нашел одного праведника — библиотекаря Николая Федоровича Федорова, но Федоров был одинок, путь его был фантастичен, единствен; идеал невероятен — физическое воскрешение мертвых. Сютаев проповедовал житие святых сейчас.

Что же увидел Толстой у Сютаева?

Сютаев жил с сыновьями большой неразделенной семьей Он пас деревенское стадо, добровольно избрав эту должность, потому что жалел скотину и говорил, что у других пастухов скотине плохо, а он водит ее по хорошим местам и наблюдает, чтобы стадо было сыто и напоено.

Вероятно, служба пастуха давала Сютаеву какие-то деньги, которые помогали ему вести хозяйство, в общем натуральное, а деньги в восьмидесятых годах уже были нужны. Все в семье Сютаева было общее, даже бабьи сундуки были общие.

Лев Николаевич увидал на невестке Сютаева платок и, желая провести границу между личным и общим в этой общине, спросил:

— Ну, а платок у тебя свой?

Молодка ответила:

— А вот и нет... платок не мой, а матушкин, свой не знаю, куда задевала.

Можно было бы много говорить о семейной собственности в крестьянской неразделенной семье, но

Толстой ответ понял так, что своего здесь нет ничего, его и не ищут.

Церковных обрядов и того, что в православной церкви называлось таинствами, Сютаев не признавал. Когда он выдавал свою дочку замуж, то свадьбу провел так: собрал людей вечером, дал молодоженам наставление, постелили им постель, положили их спать вместе, потушили огонь и оставили их одних.

Сютаев повез Толстого обратно к помещикам Бакуниным, у которых Лев Николаевич остановился, приехав туда на своей телеге. Ехали долго, потому что Сютаев кнута не признавал и лошадь не подгонял. Ехали, разговаривали и так заговорились, что забыли о вожжах, потеряли дорогу и опрокинули телегу. Впечатление у Толстого было большое. Толстой про Сютаева в письме к Энгельгардту писал: «Вот вам безграмотный мужик, — а его влияние на людей, на нашу интеллигенцию больше и значительнее, чем всех русских ученых и писателей со всеми Пушкиными, Белинскими, вместе взятыми, начиная от Тредьяковского и до нашего времени».

В конце января 1882 года Сютаев приехал к Толстому в Москву и поселился на его квартире в Денежном переулке. К нему в Москве отнеслись как к пророку и диковинке.

В это время Лев Николаевич только что принял участие во всероссийской переписи, ходил с портфелем и блокнотом по домам, записывал у людей, как их зовут, сколько им лет, чем они занимаются. Ему говорили, что этого требует наука — статистика. Он хотел увидеть жизнь. Он выбрал место около Дорогомиловского моста на Арбате: тут стояли бедные дома, которые срыты сейчас при расширении улицы. Здесь, в хамовнической части между береговым проездом и Никольским переулком, стояли дома, называемые все вместе Ржанов дом, или Ржановская крепость. Здесь жили люди разоренные, потерявшие службу, много распутных женщин. Жили здесь и мелкие торговцы. До этого Лев Николаевич хорошо знал деревенскую бедноту, а теперь увидал бедноту

городскую. Он хотел помочь этим людям, накормить их, устроить, но увидал, что дело, которое он затевал, «...не может состоять в том только, чтобы накормить и одеть тысячу людей, как бы можно было накормить и загнать под крышу 1 000 баранов, а должно состоять в том, чтобы сделать доброе людям. И когда я понял, что каждый из этой тысячи людей такой же точно человек, с такими же страстями, соблазнами, заблуждениями, с такими же мыслями, такими же вопросами, такой же человек, как и я, то затеянное мною дело вдруг представилось мне так трудно, что я почувствовал свое бессилие».

Испытав это бессилие, он обратился к Сютаеву, который еще гостил у него в Денежном переулке.

Вот как записал беседу сам Толстой:

«Я сидел у моей сестры, и у нее же был Сютаев, и сестра расспрашивала меня про мое дело. Я рассказывал ей, и, как это всегда бывает, когда не веришь в свое дело, я с большим увлечением, жаром и многословием рассказывал ей и то, что я делаю, и то, что может выйти из этого; я говорил все: как мы будем следить за всей нуждой в Москве, как мы будем призревать сирот, старых, высылать из Москвы обедневших здесь деревенских, как будем облегчать путь исправления развратным, как, если только это дело пойдет, в Москве не будет человека, который бы не нашел помощи. Сестра сочувствовала мне, и мы говорили. Среди разговора я взглядывал на Сютаева. Зная его христианскую жизнь и значение, которое он приписывает милосердию, я ожидал от него сочувствия и говорил так, чтобы он понял; я говорил сестре, а обращал свою речь больше к нему. Он сидел неподвижно в своем, черной дубки, тулупчике, который он, как и все мужики, носили и на дворе, и в горнице, и как будто не слушал нас, а думал о своем. Маленькие глазки его не блестели, а как будто обращены были в себя. Наговорившись, я обратился к нему с вопросом, что он думает про это.

— Да все пустое дело, — сказал он.

— Отчего?

— Да вся ваша эта затея пустая, и ничего из этого добра не выйдет, — с убеждением повторил он.

— Как не выйдет? Отчего же пустое дело, что мы поможем тысячам, хоть сотням несчастных? Разве дурно по-евангельски голого одеть, голодного накормить?

— Знаю, знаю, да не то вы делаете. Разве так помогать можно? Ты идешь, у тебя попросит человек 20 копеек. Ты ему дашь. Разве это милостыня? Ты дай духовную милостыню, научи его; а это что же ты дал? Только, значит, «отвяжись».

— Да ты знаешь ли? — сказал я. — Их в Москве, этих голодных, холодных, я думаю, тысяч 20. А в Петербурге и по другим городам?

Он улыбнулся.

— Двадцать тысяч! А дворов у нас в России в одной сколько? Миллион будет?

— Ну так что же?

— Что ж? — и глаза его заблестели, и он оживился. — Ну, разберем их по себе. Я не богат, а сейчас двоих возьму. Вон малого-то ты взял на кухню; я его звал к себе, он не пошел. Еще десять раз столько будь, всех по себе разберем. Ты возьмешь, да я возьму. Мы и работать пойдем вместе; он будет видеть, как я работаю, будет учиться, как жить, и за чашку вместе за одним столом сядем, и слово он от меня услышит и от тебя. Вот это милостыня, а то эта ваша община совсем пустая.

Простое слово это поразило меня, я не мог не сознать его правоту».

Дело шло далеко не только о городской благотворительности.

Город — вообще зло, так думали в умирающей деревне. Город для Сютаева — грех и беспокойство. Рассказывает сын Сютаева — И. В. Сютаев. Шел раз Василий Кириллович Сютаев с сыном из Вышнего Волочка домой. «Около постоялого стояли лошади с возами. Зашли в помещение, где пьют чай; сидят мужики, человек семь. Мы заказали чай. Отец спросил:

— Откуда, братцы?

Мужики сказали, из села Горки. Отец и спрашивает мужиков:

— Что, братцы, в город едете?

— Да, в город, хлеб везем продать.

Отец и говорит:

— Не божье дело вы делаете, хлеб везете продавать, города расширяете, а города надо нарушить, вы везете, другие везут, только купцов больше родится, купцы по городу ходят, руки потирают, вас дожидают. А вы хлеб не повезете в город, другие не повезут, в городе не будет хлеба, купцы должны идти на землю работать своими руками, как господь бог заповедал...»

Так стал думать Толстой. Он решил, что преодоление нужды придет через устранение города.

Слова Сютаева обнадежили Толстого своей простотой, хотя Сютаев не был и, конечно, не мог стать путеводителем его жизни. Но пребывание Сютаева на квартире прославленного писателя обратило внимание московских властей, и к Толстому по распоряжению генерал-губернатора князя В. А. Долгорукова явился сначала жандармский ротмистр, а затем чиновник генерал-губернаторской канцелярии. Толстой обоих принял резко и отказался с ними разговаривать. Сютаев уехал из Москвы.

После смерти Сютаева старшие его сыновья поехали в город. они были рабочими-мраморщиками. Община Сютаева оказалась крестьянской, патриархальной семьей, которая держалась больше личным влиянием Сютаева, чем его религиозною проповедью. Сютаевская жизнь с «общими головными платками» была только идиллией, созданной упорным человеком. Лишь сын Иван, верящий своему отцу и Толстому, пытался остаться в деревне. Выдержавший два с половиной года заключения в старой тюрьме на маленьком холодном острове у истока Невы, видавший из окна каземата два с половиной года тихий Шлиссельбург с робкими огнями, холодную медленную Неву или вьюгу на холодном льду, вынесший пять месяцев сумасшедшего дома, полтора года уго-

воров принять присягу, он с трудом переносил деревню, поехал в Петербург и поступил артельщиком в издательство Черткова, издававшего толстовские книжки. Но здесь выдержал только год и вернулся в деревню. Как он жил в деревне потом — не знаю; но у него было там хозяйство.

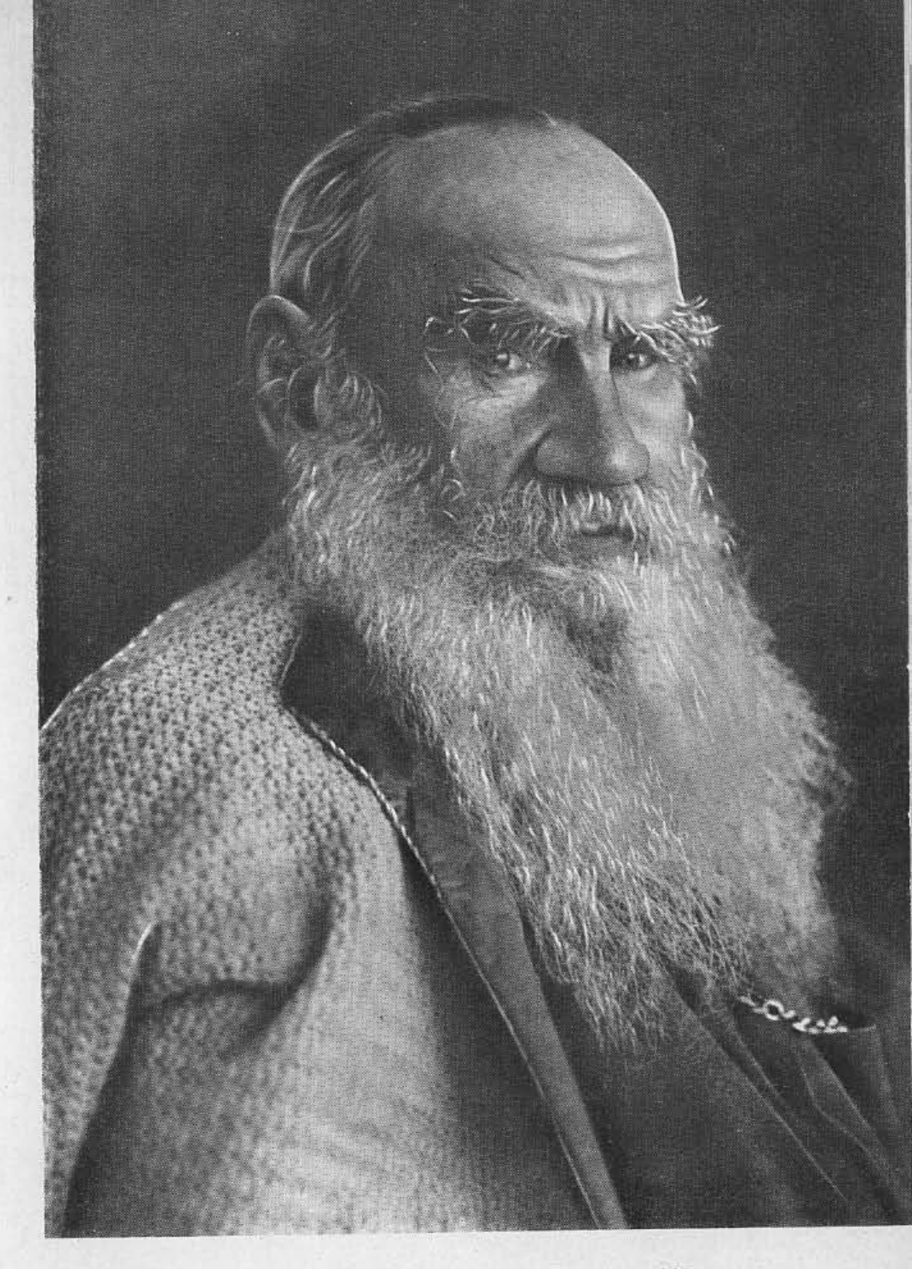
Люди, которые отправились бы по сютаевскому совету в деревню, могли бы стать в ней только батраками.

Сютаев мечтал о том, чтобы в деревне завести хотя бы общее куриное хозяйство, чтобы у хозяек были руки развязаны и ссор между ними не было, но думал он об этом так: «А придет осень, мы возвратим все хозяевам: и куры будут целы, и цыплята целы, и яйца целы».

Где-то вдали были идеи создать и общую жизнь. Но в то же время Сютаев надеялся на царя. Вот что пишет об этом В. В. Рахманов: «Летом 1888 года Сютаеву пришла мысль пойти к царю Александру III и попросить его, чтобы он «для блага народа велел толковать Евангелие согласно пониманию Сютаева». Мне известно, что, придя в Петербург, Сютаев посетил Н. С. Лескова, который старался отговорить его от этого шага. Но Сютаев его не послушался и пошел. Около входа во дворец он был арестован и по этапу отправлен на родину. «Не допустили, — рассказывал он. — А если бы допустили, то ли бы теперь было!»

Эти мечты, как мы видим, относятся к 1888 году, но надежды на царя пережили Сютаева, и даже сам Толстой писал из Гаспры письма Николаю II, уговаривая его отдать землю крестьянам.

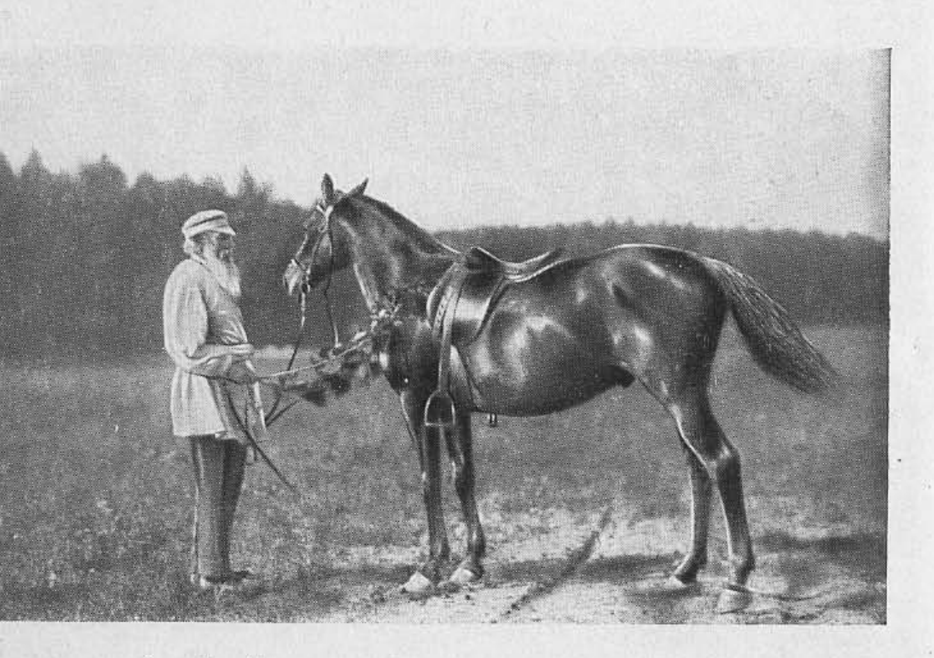
В статье «Лев Толстой, как зеркало русской революции» Ленин писал, что и в революции 1905 года только меньшая часть крестьянства боролась хоть сколько-нибудь организованно «и совсем небольшая часть поднималась с оружием в руках на истребление своих врагов, на уничтожение царских слуг и помещичьих защитников. Большая часть крестьянства плакала и молилась, резонерствовала и мечтала, писала прошения и посылала «ходатаей», — совсем в духе Льва Николаича Толстого!».



Л. Н. Толстой. Ясная Поляна, 1907 г.



В поле за деревней. Ясная Поляна, 1908 г.



С любимой лошадью Делиром. Ясная Поляна, 1908 г.

СУПРУГИ

Тяжело представлять себе жизнь Толстого того времени по мрачным и судорожно восторженным записям Софьи Андреевны; говорят, что если бы мы во сне всегда бы видали одно и то же, если бы сны имели свою непрерывность или последовательность, то мы считали бы сны явью. К несчастью, столкновения Софьи Андреевны с Львом Николаевичем не только были последовательны, но и логичны, рождаясь не из характеров людей, а из их бытия. Софья Андреевна была в доме как бы представительницей реального мира, его требований. Первоначально Софья Андреевна была отходчива. Вот супруги поссорились: Софья Андреевна уже мечтает о смерти и представляет, как будут ее жалеть после смерти. Потом она идет в лес и несколько часов с детьми собирает грибы и вполне успокаивается.

Вот столкновение снова возвращается, и тогда ошибочно кажется, что, кроме этого, в жизни Толстых ничего не было.

Софья Андреевна стремилась в Москву для того, чтобы жить в ней так, как жили другие дворянские семьи зимой.

Конечно, она считала, что будет жить совсем рядом с мужем. Но Лев Николаевич томился, снял во флигеле вместо роскошного кабинета две маленькие комнаты, уходил за Москву-реку, пилил там дрова, бродил по Москве, участвовал в переписи, возвращаясь, рассказывал о том, что волновало Софью Андреевну. Она не была злой женщиной и соглашалась помогать бедным людям — понемногу и тем, кого видишь.

Но Лев Николаевич рассказывал после посещений ночлежных домов и кварталов, где жила мелкота, потерпевшая жизненные неудачи, что эти люди боятся переписи — они не верят, что их не будут арестовывать и высылать, как зайцы не поверили бы собакам, если бы собаки сказали, что сегодня не бу-

дут ловить и убивать зайцев, а только считать и переписывать.

Заставляли думать обо всей жизни робкие, озябшие, больные ночлежники, мечтающие о том, чтобы согреться сбитнем, соснуть, одетые в какие-то тряпки, безнадежно напуганные.

Поражали рассказы о проститутках — шестнадцатилетних, четырнадцатилетних и даже двенадцатилетних. Об этом зле в полиции говорили почти весело. Но всего страшнее было то, что женщины, продающие себя, спокойно говорили о своем положении — так же, как разговаривали окружающие Софью Андреевну люди о своем жалованье, о своих поместьях.

Софья Андреевна соглашалась ужасаться, но ненадолго. Ее охватывал презрительный ужас — она думала, что это совсем другие люди, которые иначе голодают, иначе холодают, иначе спят. Тем самым она становилась чужим человеком для Льва Николаевича, который видел человеческое во всех и поэтому отвечал за то, что человек находится в таких страшных условиях.

Не надо представлять Софью Андреевну плохим человеком; она была обыкновенным человеком — способным, энергичным, работящим. Но относилась она к людям так, как к ним другие относятся: она принимала мир целиком, со всей его грамматикой и словарем, поправляя только то, что казалось ей случайными ошибками.

Сютаев ей тоже нравится постольку, поскольку нравится и другим.

Вот письмо Софьи Андреевны сестре от 30 января 1882 года (цитирую по Бирюкову):

«...Вчера был у нас чопорный вечер: была кн. Голицына и дочь ее с мужем, была Самарина с дочерью, Мансуров молодой, Хомякова, Свербеевы, и пр., и пр. Вечера подобные очень скучны, но помогло присутствие мужика — раскольника Сютаева, о котором вся Москва теперь говорит и возят его повсюду, а он проповедует везде. О нем есть статья в «Русской мысли» Пругавина. Действительно, он

замечательный старик. Вот он начал проповедовать в кабинете, все и переползли из гостиной туда, и вечер тем закончился». Далее Софья Андреевна рассказывает, что Репин одновременно с Татьяной Львовной пишет в кабинете портрет Сютаева, а кругом весь большой свет и нигилисты, и «кого, кого еще я не видаю».

В перечне на первом месте какая-то Голицына, вероятно за то, что она княгиня: все это суетно. Внезапно оказывается, что Сютаев — это не только великосветская сенсация *; обнаруживается, что вечерами домом Толстого интересуются жандармы, оказывается, что назревает какая-то борьба. Софья Андреевна прежде всего хочет, чтобы муж ее в этой борьбе не участвовал.

У Софьи Андреевны была мания благонадежности.

Толстой не просто хотел помогать людям, он с их судьбой вторгался в мир, который, по мнению близких людей, принадлежал им, — мир богатых. Толстой писал не о личных несчастьях отдельных людей — это можно было бы перенести: говорил всегда о системе взаимоотношений людей и сравнивал жизнь проститутки с той жизнью, которая его окружала.

Он был против строя, который его окружал, хотя и не мог его разрушить.

Как больной, не знающий, где бы ему улечься, чтобы ему заснуть наконец, он то уезжал из Москвы в Ясную Поляну, то из Ясной Поляны в Москву. В Ясной Поляне было немножко легче, но здесь он получал письма с Денежного переулка: «Маленький мой все нездоров и очень мне мил и жалок. Вы с Сютаевым можете не любить особенно *своих* детей, а мы, простые смертные, не можем, да, может быть, и не хотим себя уродовать и оправдывать свою нелюбовь *ни к кому* какою-то любовью *ко всему миру*.

Я думала получить сегодня от тебя письмо, но ты

* Портреты Сютаева продавались в магазине Аванцо на Кузнецком мосту.

вчера не побеспокоился написать и успокоить меня насчет тебя. Впрочем, чем мне беспокойнее, тем лучше. Скорей сгорит моя свечка, которую теперь приходится очень сильным огнем жечь с двух сторон».

А в это же время Толстой писал жене, объясняя столкновение: «Главное зло города для меня и для всех людей мысли (о чем я не пишу) это то, что беспрестанно приходится или спорить, опровергать ложные суждения, или соглашаться с ними без спора, что еще хуже. А спорить и опровергать пустяки и ложь — самое праздное занятие, и ему конца нет, потому что лжей может быть и есть бесчисленное количество».

Перед этим Толстой писал:

«Упиваюсь тишиной. Просителей избегаю. Мне очень хочется написать то, что я задумал.

В доме топят, в тетенькиной комнате. Перейду только, если будет совсем теплый и легкий воздух. Пробуду я, как бог на сердце положит и как ты напишешь».

Старый дом был тих и наморожен. В теплой комнате Марья Афанасьевна и Агафья Михайловна пили чай и беседовали тихо.

Толстой ждал и жаждал примирения.

Софья Андреевна на это письмо ответила по-своему растроганно и миролюбиво:

«Почему городская жизнь вызывает *споры* — этого я не понимаю: какая кому охота проповедовать и убеждать? Это просто неопытность и глупость — делать это, и надо это предоставлять неопытному и наивному Сютаеву».

Это голос человека, умеющего не удивляться.

Софья Андреевна считала обычную жизнь людей своего круга вечной. Жизнь людей вне ее круга — находящейся где-то далеко и ее не касающейся. Мысли Толстого — случайными и чудаческими. Двадцать девять лет ждала она, правда довольно нетерпеливо, когда же, наконец, Лев Николаевич станет такой, как она.

А Лев Николаевич продолжал жить в Москве рядом с Софьей Андреевной, но отдельно от нее. Он видел свою Москву — совсем другую.

Толстой пишет 27 марта 1884 года В. Черткову:

«В это же утро нынче пришел тот, кто мне переписывает, один поручик Иванов. Он потерянный и — прекрасный человек. Он ночует в ночлежном доме. Он пришел ко мне взволнованный. «У нас случилось ужасное: в нашем номере жила прачка. Ей 22 года. Она не могла работать — платить за ночлег было нечем. Хозяйка выгнала ее. Она была больна и не ела досыта давно. Она не уходила. Позвали городового. Он вывел ее. «Куда ж, — она говорит, — мне идти?» Он говорит: «Околевай где хочешь, а без денег жить нельзя». И посадил ее на паперть церкви. Вечером ей идти некуда, она пошла назад к хозяйке, но не дошла до квартиры, упала в воротах и умерла». Из частного дома я пошел туда. В подвале гроб, в гробу почти раздетая женщина с закостеневшей, согнутой в коленке ногой. Свечи восковые горят. Дьякон читает что-то вроде панихиды. Я пришел любопытствовать. Мне стыдно писать это, стыдно жить. Дома блюдо осетрины, пятое, найдено не свежим. Разговор мой перед людьми мне близкими об этом встречается недоумением — зачем говорить, если нельзя поправить».

В статье «Так что же нам делать?», в которой примеров было много, написано все мягче. Очевидно, Толстой надеялся провести статью сквозь цензуру.

Он построил статью на скорбном удивлении человека перед собственной своей жизнью.

Несчастную, голодную, богатую, распутную, дешево платящую за погубленные жизни Москву увидел Толстой. Он узнал после голода деревни голод города.

А жизнь продолжалась.

В библии сказано: враги человеку домашние его. Это неправда. Человек переносит на домашних свою робость, собственную нерешительность: они — его оправдание и его гибель, если он не переделает жизнь.

ТРУДОЛЮБИЕ, ИЛИ ТОРЖЕСТВО ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

I

Разобрать городских обездоленных людей по крепким крестьянским хозяйствам, то есть сделать то, что Сютаев предлагал Толстому, было нельзя. Крепкие хозяйства уже были хозяйствами кулацкими, о чем подробно писал самому Толстому Энгельгардт — сын известного общественного деятеля и публициста, человека очень осведомленного и хорошо знающего деревню.

Михаил Александрович Энгельгардт (1861—1915 гг.), высланный в деревню за участие в студенческих «беспорядках», увидел в деревне то, что на самом деле в ней происходило, и говорил то, что видел, а не то, что ему подсказывали со стороны.

М. Энгельгардт видит в деревне распад общины.

«В настоящее время положение вещей, как известно, такое: масса крестьянства поставлена в самые тяжелые экономические условия — земли мало, податей много, и рядом огромные пространства земли пустуют. Постоянная нищета, вечная необходимость биться из-за куска хлеба не дает крестьянину времени одуматься, оглядеться, задать себе вопрос о смысле его жизни, ожесточает его: тут уж не до других — было бы самому живу. Развиваются эгоистические наклонности, а тут перед носом пустующие земли — лакомый кусок; каждому думается: удайся мне заарендовать или купить кусок земли — и вот я пан. И действительно, наиболее ловким, умным, способным личностям удается захватить себе земли и подчинить остальную массу крестьян в качестве батраков. Таким образом, люди вовсе не колупаевского пошиба, люди, как говорится, с искрой божьей, выделяются из общины в качестве эксплуататоров, община разрушается. Крестьянин наш не превратился еще в сознательного буржуа, засевшего на принципе собственности, как на каменном фундаменте, с которого его никакими рычагами не сдвинешь; но он все же не видит в общине единственно справедливого и разумного строя; иначе он давно перешел бы к общинной обработке земли. Он не видит ничего дурного в батрацком хозяйстве: «Поломай хрятку с мое, и ты станешь богат; я своим трудом добро нажил, не воровством, не грабежом...»

М. Энгельгардт предполагал, что нужно помешать распадению старого крестьянства при помощи пропаганды и для этой пропаганды использовать сектантство. Поэтому он и написал Толстому как человеку, который бы мог переосмыслить сектантское движение.

Письмо М. Энгельгардта — утопия.

Сектантство не могло переделать деревню, так как оно само создавалось на ее распаде и в то же время было архаично.

Ответ Энгельгардту поражает чувством одиночества, которое тогда переживал Толстой. Он говорит с незнакомым человеком, как с близким и знакомым. Значит, ему не с кем говорить дома.

Это чувство одиночества, вероятно, и создало впоследствии то исключительное положение, в которое попал Чертков: человек, умеющий выслушивать и отвечать в тон, стал главным другом.

Письмо Энгельгардта, если пользоваться толстовским словарем, разморозило его душу. Ответ относится к концу 1882 года или к началу 83-го года. Начинается он трагически: «Вы верно не думаете этого, но вы не можете и представить себе, до какой степени я одинок, до какой степени то, что есть настоящий «я», презираемо всеми окружающими меня».

Письмо занимает двенадцать страниц по печатному тексту Юбилейного издания. И полно спокойных и печальных не жалоб, а констатаций.

Толстой пишет о пьяном угаре, который втянул в разврат восемнадцатилетнего сына, очевидно Илью. Он пишет, утешая себя евангельскими текстами. За многословием лежит реальное горе и незнание, как переделать жизнь.

Он предлагает вместо взрывов, выстрелов, типографий веру в Христа, отказ от присяги, отказ от военной службы. Хочет в это верить. Христианство для Толстого — это пять заповедей.

Эти пять заповедей уже в числе семи высеченных на скрижалях Моисея ничего не изменили. У Толстого они сократились.

Пять «не». Но что же делать?

«Да» — очевидно, дом, село, пашня, труд и равенство, состоящее в том, что все трудятся одинаково: носят себе воду, убирают горницы и пашут. Вот почему таким открытием для Толстого явилась рукопись Т. М. Бондарева, о которой он узнал из статьи Глеба Ивановича Успенского, поместившего в «Русской мысли» за 1884 год, в № 11, изложение учения Бондарева под названием «Трудами рук своих». Об этих надеждах и утрате их мы будем говорить сейчас.

II

В статье Глеба Успенского рассказывалось о сибирском крестьянине, который считает, что хлебный, мозольный труд — это основа жизни. Лев Николаевич начал искать имя этого крестьянина и узнал, что крестьянина зовут Тимофей Михайлович Бондарев и что живет он в Минусинском крае. Лев Николаевич начал искать рукопись и списался с дальним своим единомышленником. В 1885 году в середине июля он пишет Тимофею Михайловичу: «Доставили мне на днях вашу рукопись — сокращенное изложение вашего учения, я прежде читал из нее извлечения, и меня они очень поразили тем, что все это правда и хорошо высказано, но, прочтя рукопись, я еще больше обрадовался. То, что вы говорите, это святая истина, и то, что вы высказали, не пропадет даром; оно обличит неправду людей».

Всего Лев Николаевич написал Бондареву девять писем, из которых девятое уже не застало Бондарева в живых.

Рукопись Бондарева он хотел издать, но цензура не пропускала ее нигде. Неудачна была попытка в «Русском богатстве», не удалось напечатать вещь и в «Русской старине», ее напечатал журнал «Русское

дело» в 1888 году (№12 и 13), но номера были конфискованы.

В результате статья Бондарева появилась за границей на французском языке в Париже в 1890 году и на английском языке в 1896 году.

Предисловие Льва Николаевича к рукописи Бондарева появилось на русском языке (в приспособленном для цензуры виде) в XIII томе Собрания сочинений Толстого (Москва, 1890).

До этого сам Бондарев рассылал свои рукописи в разные стороны по разным начальственным адресам.

Содержание рукописи состоит в том, что все человечество должно пахать землю и если все будут пахать землю, хотя бы сорок дней в год каждый, то будет прекращена всякая нужда, потому что прекратится тунеядство.

Бондарев считает, что пахать должны все. Но поодиночке. Он не понимает, почему не принят его совет. И обращается за помощью к царю и его слугам.

В 1883 году он послал свою рукопись с прошением министру внутренних дел; в прошении было написано:

«...я изобрел и написал до 250 вопросов, под названием «Торжество земледельца», это настолько сильное и полезное для них врачество, что если довести его до сведения всякого человека, то не более как через четыре года, без понесения трудов и без напряжения сил, избавятся все они от тяжкой нищеты и от нестерпимого убожества; тогда глупый сделается умным, лентяй — трудолюбивым, пьяница — трезвым, бедный — богатым, бездомник — прочным хозяином, злодей — честным человеком, и будет как на них, так и на столе их Велик-День, и без всякого противления или закоснелости сольется вся вселенная в одну веру в бога».

Мысли Бондарева были очень архаичны, и не случайно источником их было то, что уже в церковной практике называлось Ветхим заветом.

Архаичен был и способ пропаганды, рассылки рукописи по начальству. Послана была рукопись и царю с просьбой напечатать сочинение «О трудолюбии и тунеядстве». Прошло время; Бондарев был из-

вещен, что на просьбу «соизволения не последовало по причине неосновательности его ходатайства».

Лев Николаевич уговаривал Бондарева, что рассылка рукописи разным высокопоставленным людям делу не поможет: «Насчет того, получил ли министр вашу рукопись, я не мог узнать, но и узнавать это бесполезно, потому что, по всем вероятиям, он ее даже и не читал, а бросил куда-нибудь в канцелярии; а если бы и прочитал, то только бы посмеялся».

Толстой объясняет Бондареву то, что иногда становится непонятным самому Толстому: то, что закон трудолюбия невыгоден для тунеядцев. Дальше он пишет:

«Я спрашиваю себя: каким образом могли люди скрыть от себя и других первородный закон?

Каким образом могли уволиться от исполнения его? И на это отвечаю: что одни люди взяли власть над другими (избрание на царство Саула) и вооружили одних людей, и подчинили их себе. Вот эти-то люди, начальники, солдаты, и отступники первые от первородного закона. Они стали сплошь брать хлеб, а потом деньги, и им можно было не работать хлебный труд».

Толстой понимал, что через министерство внутренних дел и даже через царя ничего сделать нельзя и не следует. Но его собственные иллюзии были близки к иллюзиям Бондарева.

Толстой и Бондарев мучаются в кругу одних и тех же вопросов. Бондареву кажется, что люди просто не понимают, как надо жить, а если им хорошенько разъяснить, то они убедятся и изменят свою жизнь.

Но сам Толстой всю жизнь уговаривал, и объяснял, и думал, что мир управляется мнениями, что его можно переубедить и тем исправить.

В 1886 году Толстой писал 4 мая своей жене про голод, про то, что крестьянские дети ложатся спать без хлеба «Помочь семенами, хлебом тем, кто просят, можно, но это не помощь, это капля в море, и кроме того сама по себе эта помощь себя отрицает».

Чем же помочь?

«Только одним: доброй жизнью. Все зло не от

того, что богатые забрали у бедных. Это маленькая часть причины. Причина та, что люди и богатые, и средние, и бедные живут по-зверски, — каждый для себя, каждый наступая на другого. От этого горе и бедность».

О Бондареве Толстой писал всем своим друзьям. Он убеждал В. С. Лебедева, получив через редакцию «Русской мысли» рукописи Бондарева, что вся русская мысль «...не произвела с своими университетами, академиями, книгами и журналами ничего подобного по значительности, силе и ясности тому, что высказывали два мужика — Сютаев и Бондарев. Это не шутка и не интересное проявление мужицкой литературы, а это событие в жизни не только русского народа, но и всего человечества».

По просьбе Семена Афанасьевича Венгерова Лев Николаевич отправил ему свою заметку о Бондареве, где говорил:

«...сочинение Бондарева... переживет все те сочинения, которые описаны в этом лексиконе, и произведет большее влияние на людей, чем все они, взятые вместе...»

Дальше Толстой писал:

«...Никто не делает того, что делает Бондарев, признавая хлебный труд основным религиозным законом жизни. И он делает это... потому, что он гениальный человек».

III

Сам Бондарев рассказывал о себе так:

«Я был Новочеркасской области помещика Чернозубова крепостной раб, на хребте которого помещик ездил и удила в рот закладал, и я эту чашу горести, скорби, печали и воздыхания до дна выпил... потому признал меня колдуном и чародеем и в том же году отдал меня в солдаты на 37 году жизни моей, и я изнурен сухоядением, денными и ночными работами, старик уже был и по тогдашним Николаевским законам на 25 годов; четверо детей маленьких, а пятое за поясом остались с одной матерью при крайней

бедности и в его же тигрских когтях, и покровительства и защиты ни с какой стороны и ниоткуда не было. Да и бог, как видно, в те веки закрылся облаком, что не доходила к нему молитва наша».

В Бондареве, в этом крестьянине, сочетается и архаичное и для нас понятное. «Посредник» в 1906 году издал книгу «Торжество земледельца, или трудолюбие и тунеядство».

Рукописи Бондарева полны гордости трудящегося человека, земледельца.

«Я работник вот какой: когда косят на крюк хороший хлеб, такой, что двум хорошим работникам едва успеть вязать снопы за одним косарем, а я, несмотря на то, что мне 65 лет, один успеваю, да притом чисто, а снопы крепкие...»

«Из всего сказанного мною видно то, что как у вас в великосветском классе высшая степень генерал, в нашем же — заслуженный земледелец.

...Теперь видел ты, читатель, кто я. Не имею я права говорить и писать о трудолюбии и тунеядстве? Полное право имею, вот и говорю».

Но Бондарев — религиозный сектант, держащийся за букву библии и в то же время свободно ее перетолковывающий. На военной службе под влиянием сектантов-субботников он перешел в эту иудействующую секту, назвал себя Давидом Абрамовым, попал в Минусинский уезд, в село Иудино, куда ссылали иудействующих. Там еще раз он прочитал в библии «Книгу судей» — рассказ о народе, живущем без царей, о времени, когда все пахали и возделывали землю. Предание об этой патриархальной жизни показалось сосланному крестьянину вестью о мозольном рае, и он начал пытаться восстановить рай, который будто бы существовал три тысячи лет тому назад, но записан так невнятно.

Библию Бондарев перетолковывал; для него в библии главный праведник Каин, он перворожденный человек, потому что Адам и Ева не рождены, а сотворены. Каин первый ступил на землю ногою, он был земледелец, как об этом написано в 4-й главе книги «Бытия». Его род создал искусство кования и скотоиспытателей, то есть ветеринаров. Поэтому Бондарев писал в письме к Душану Маковицкому:

«...первородный Каин всех святых святей и всех праведных праведней. Это я не иносказательно говорю, а буквально, что Каин оправдался перед богом».

В селе Иудине Бондарев создал хорошее хозяйство, а потом бросил его; жил на собственном дворе в маленькой избушке, как бы в изгнании. Ссыльные крестьяне вокруг него разбогатели и не понимали своего мужика-пророка, потому что он говорил вещи бунтарские.

«О, какими страшными злодеяниями и варварствами переполнен белый свет. По всей Россеи всю плодородную при водах землю, луга, леса, рыбные реки и озеры все это... от людей отобрали и... отдали на вечное время. А людей подарили в жертву голодной и холодной смерти».

Одиноким, непризнанным жил Бондарев среди своих односельчан; сидел перед низким столом на низкой скамье; сперва писал на обрывках бумаги о мозольном труде, писал всюду — на поле, в дороге, дома; потом начал, не веря тому, что написанные слова дойдут до читателя, высекать слова на камне: достал большие плиты очень прочного известняка и годами высекал на них зубилом увещания, обращенные к потомкам.

Он рассказывает людям, которые придут через долгие десятилетия на могилу, о своем одиночестве, называет свою жизнь «многострадальною и великого оплакивания достойной».

На камнях было еще высечено:

«Вот как я писал главнейшему правительству, при жизни моей: как ты, правительство, меня, Бондарева, признаешь... А я признаю сам себя... верным и нелицемерным ходатаем о блаженстве всего мира без различия звания, веры и происхождения, т. е. разыскиваю возможность, чем и как избавиться им от тяжкой нищеты, а это дело немаловажное, его не вдруг и не сразу, не всякий и не каждый сделает, чем его избавить от этого порока... Все великие мыслители всех веков и при всех своих усилиях не могли добиться этой

возможности. Что ему сделаешь, как избавишь от тяжкой нищеты? Дай ему рубль и два, сто и тысячу рублей, и он в короткое время израсходует, а сам, как нищий был, так нищим и останется. Пьяница ли он? нет, трезвый, но нет никаких мер избавить его от сказанного бедствия, это от нищеты. Да на что же я ходатай, избавляющий их от бедности, и на что же вы правители и путеводители их ко всем благам света сего? Да неужели ты, главное правительство, способно только одних здоровых овец пасти, это помещиков и подобных им, а слабых овец оставлять на съедение кровожадных зверей».

Бондарев верил, что будущий человек, сейчас в нищете погрязший, «не удвоит и не утроит, а удесятерит охоту к трудам... и все эти труды будут казаться ему легкими, усталости этот человек чувствовать не будет...»

Дальше Бондарев высекает на камне, что он двадцать два года просил выслушать его, а теперь лежит в гробе, как пшеница созрелая, вовремя сжатая, для нового посева готовая.

Слова Бондарева не всегда внятны. Он был могучим утопистом, но утопия его вся в прошлом. Тщетно высекал Бондарев на гробнице, обращаясь к будущим читателям:

«...я к вам не приду, а вы все ко мне прийдете».

В ДОЛГО-ХАМОВНИЧЕСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

Лев Николаевич не умел в мелких делах быть до конца самостоятельным. Софья Андреевна ему писала не без основания: «Ты сам виноват, слишком много дал мне воли».

Ему иногда хотелось, чтобы кто-нибудь за него решал и принимал ответственность. И в то же время общее, целое, жизненные принципы он все решал сам. В дневниковой записи 1882 года в декабре Толстой записал· «Опять в Москве. Опять пережил муки душевные ужасные. Больше месяца. Но не бесплодные». Запись довольно длинная — приведу отрывки: «Станешь смотреть на плоды добра — перестанешь его делать, мало того — тем, что смотришь, портишь его, тщеславишься, унываешь. — Только тогда то, что ты сделал, будет истинным добром, когда тебя не будет, чтобы портить его. Но заготовляй его больше. Сей, сей, зная, что не ты, *человек,* пожнешь. Один сеет, другой жнет. Ты, человек, Лев Николаевич, не сожнешь. Если станешь не только жать, но полоть — испортишь пшеницу».

Вероятно, полоть посев — значит доделывать все до конца, поставив перед собой требования не только сказать, но и добиваться выполнения.

Толстой в Москве искал деревенскую усадьбу, что уже означало уступку: сохранение быта.

Он в городе искал деревню.

М. Н. Загоскин писал в своих очерках «Москва и москвичи»:

«Вы найдете в Москве самые верные образчики нашего простого сельского быта, вы отыщете в ней целые усадьбы деревенских помещиков, с выгонами для скота, фруктовыми садами, огородами и другими принадлежностями сельского хозяйства. Один из моих приятелей, П. Н. Ф...в, нанимал по контракту в Басманной улице дом господина К...го. Я сам читал этот контракт. В нем, между прочим, сказано, что постоялец имеет в полном своем распоряжении весь сад, принадлежащий к дому, за исключением, однако ж, *сенокоса и рыбной ловли*».

Очерки написаны в сороковых годах, но дом, купленный Толстым вместе со старым садом в 1882 году, построен в 1808, еще до московского пожара, принадлежит к допожарной, догрибоедовской Москве.

Лев Николаевич сам в апреле месяце нашел усадьбу И. А. Арнаутова в Долго-Хамовническом переулке, д. 15, и в июле месяце совершил на этот дом купчую крепость. Переулок находится недалеко от Новодевичьего монастыря, Льву Николаевичу понравилось уединенное положение дома, запущенный сад размером почти в два гектара.

В саду липы, вязы, клены, березы, сирень белая и лиловая. Тихо, хорошо, деревья шумят; непохоже на

город. Похоже — и это отмечали все, кто бывал у Толстого в то время, — на пригородную помещичью усадьбу. Помещики и в Москве жили, как у себя в имениях, переносили с собою свою усадьбу, как улитка перетаскивает раковину.

Дом был мал для большой семьи. Восемь детей: старшие — Сергей и Татьяна, Илья, Лев, младшие — Мария, Андрей, Михаил и Алексей, а сколько еще учителей и слуг!

Решено расширить дом. Помещики любили строиться, обстраиваться, выдумывать, как пристроить под крышу антресоли, не трогая крышу; не боялись нарушить симметрию для того, чтобы жить удобно.

Нижний этаж остался в прежнем виде, а во втором этаже были построены три высокие комнаты с паркетными полами. К ним вела парадная лестница. Для своего жилья Лев Николаевич выбрал неперестроенные низкие комнаты старого дома. Ход к ним шел из парадной комнаты, как в подвал: три ступеньки вниз. Создавался дом вдохновения, творчества и компромисса.

Толстой вошел в дом на Долго-Хамовническом переулке могучим — пятидесятичетырехлетним человеком.

В последний раз он посетил этот дом в сентябре 1909 года.

Жил он здесь долго; написал «О переписи в Москве» (1882 г.), «Так что же нам делать?» (1882—1885 гг.), «Смерть Ивана Ильича» (1882—1886 гг.), «Власть тьмы» (1884—1886 гг.), «Плоды просвещения» (1886—1889 гг.), «Крейцерову сонату» (1887—1889 гг.), «Народные рассказы» (1882—1887 гг.), «Воскресение» (1889—1899 гг.), «Хозяин и работник» (1894—1895 гг.), «Что такое искусство?» (1897 г.), «Живой труп» (1900 г.), «Хаджи Мурат» (1896—1904 гг.). Но нужно сказать, что основное ядро своей последней великой повести Толстой написал в Гаспре в промежутке между двумя тяжелыми болезнями.

Старый ученый Иван Никанорович Розанов, показывая мне свою замечательную библиотеку, когда-

то развернул коллекцию непохожих портретов великих людей: нарядно одетого Шевченко, молодого Мусоргского, Тютчева с пледом на плечах и многих других. Традиция выбирает из портретов великих людей один и закрепляет романтического Пушкина, а Шевченко в смушковой шапке. Мы знаем много портретов Толстого, но помним его стариком — глубоким стариком. Для того чтобы восстановить, какой же человек устраивал хамовнический дом, приведу словесный портрет художника И. Е. Репина, который в этом доме познакомился с Толстым в апреле 1884 года:

«Вырубленный задорным топором, он моделирован так интересно, что после его, на первый взгляд грубых, простых черт, все другие покажутся скучны». Дальше Репин начинает разбирать лицо Толстого как художник-портретист, отмечает надбровные дуги — большие, низко поставленные уши, широкий, смело очерченный рот, с энергичными углами, спрятанными под львиными усами. Середина губ плотно и красиво сжата. «Внешние манеры военного, даже *артиллериста.* Склад его тела: кости — отростки мыщелков — прикрепление сухожилий; рабочие руки большие, несмотря на длинные пальцы, были *«моторными»* с необыкновенно развитыми суставами — признак мужицкий: у аристократов в суставах руки пальцы *тоньше* фаланг... цвет толстой кожи — терракоты, прозрачность аристократической кожи, белизна, синеватые жилки — все эти признаки чистого аристократизма отсутствовали».

Московским домом Толстой тяготился, но в нем долго жил, работал и состарился.

Прожито здесь с выездами в Ясную Поляну восемнадцать горьких и трудовых лет.

Начата была стройка легко. Лев Николаевич обо всем заботился сам, отпустив жену. Она присылала ему письма о печках, о форточках, напоминала, что балясины на лестнице надо поставить погуще: чтобы ребенок не мог выпасть; писала о том, когда надо красить полы, чтобы это не попало на осень. Лев Николаевич жил с сыном Ильей и старым Константи-

ном Александровичем Иславиным. Когда-то Иславин руководил Львом Николаевичем, казался ему образцом элегантности; был Иславин прекрасным знатоком музыки, великим любителем цыганского пения, потом стал родственником Толстого: он брат матери Софьи Андреевны.

Теперь он неудачник, бедняк и бездельник. У него нет даже паспорта исправного.

К. А. Иславин был «незаконнорожденным», приписан к купеческому сословию, вид должен был получить из купеческой управы, но это ему казалось обидой. Долгое время проживал по удостоверению, выданному по знакомству епифанским уездным предводителем дворянства В. Д. Оболенским, а сейчас Лев Николаевич хлопотал о таком же документе у председателя Крапивенской уездной управы А. Н. Бибикова, хотя, казалось бы, не все ли равно, по какому документу жить старому, бездомному человеку, которого никто не беспокоит.

Костенька играл на рояле, рассказывал разные великосветские истории, давал советы, объяснял Илье Львовичу, что паркет желтый с черными полосками, который кладут в зале, это «самый шик». Хозяйки не было, кухарки не было, мебель была сбита в одну комнату. Варили мясо, кашу, жили привольно Робинзонами. Софья Андреевна завидовала в письмах легкой жизни мужчин, давала наставления и ревновала Льва Николаевича к дяде.

Кроме Костеньки, бывал здесь еще один человек, переживший кораблекрушение, — это отставной поручик Александр Петрович Иванов, человек спившийся, живущий по ночлежным домам и обладающий хорошим почерком. В ночлежных домах попадалось немало переписчиков; почерк — последнее, что оставалось у интеллигентного человека. По почерку жена лорда узнавала своего пропавшего мужа в старом хорошем романе Диккенса «Холодный дом». Потом она отыскивала могилу мужа и находила одичавшего мальчишку, последнего друга мужа, который показывал на могилу через решетку палкой от метлы. Из могилы выходила крыса.

Александра Петровича никто не разыскивал, и жил он еще долго, но Толстой был привязан к нему, как и к Костеньке и к кучеру Лариону. Александр Петрович был Вергилием Льва Николаевича по аду Москвы, проводником без лаврового венка, без древней славы и без упрека — с одним вопросом: «Так что же нам делать?»

Средневековый ад, описанный Данте, считался созданным дьяволом. Московский ад, который осматривал Толстой, был явно создан людьми, такими же, какие ходили в гости в парадные комнаты дома на Долго-Хамовническом переулке.

В парадных комнатах Александра Петровича не бывало. Часто бывал этот опустившийся и не боящийся ничего человек в комнатах Льва Николаевича.

Собственных комнат Толстого две: рабочая комната и кабинет. В рабочей комнате умывальник — жестяной, крашенный масляной краской, и ведро. Это бедный обычный умывальный прибор того времени. В этой же комнате Лев Николаевич занимался сапожным делом: тут была у него железная лапка, молоток, рашпиль, сапожные гвозди. Рядом со столом у окна стояло венское буковое кресло, на некрашеном рабочем столе лежала оловянная грелка. Тут же стояла маленькая керосиновая печка с вытяжкой в окно: Лев Николаевич сам варил себе на ней овсянку и подогревал сапожный вар.

Кабинет Льва Николаевича — угловая, довольно просторная комната почти в двадцать метров. В кабинете стоял ореховый стол, по тогдашней моде с низенькой загородочкой вокруг, чтобы, перекладывая книги или отодвигая бесчисленные черновики и копии, не уронить их. На столе традиционный письменный прибор, не нужный: Лев Николаевич писал, прямо макая перо в баночку с чернилами. В той же комнате два кресла, два стула, диван — все покрыто темно-зеленой клеенкой под кожу.

Потолки в комнате низкие — $2^3/_4$ метра.

Лев Николаевич жил в собственном доме как бы отдельно. Можно было пройти к нему отдельной черной лестницей через девичью, если в зале гости.

Помещение удобное, все сделано по-своему.

Перед столом кресло с подрезанными ножками; мы говорили уже, что Лев Николаевич был близорук, во время работы очки не надевал, а низко склонялся лицом над рукописью.

Владимир Ильич Ленин, утверждая 6 апреля 1920 года Декрет об объявлении дома Льва Николаевича в Москве государственной собственностью, говорил, что надо сохранить образ дома: «. в доме все сохранить по-прежнему. Массы должны знать, как жил Лев Николаевич «на два этажа». Он сам отразил это в своих произведениях».

Этот дом с его разделением Лев Николаевич построил не для себя, но по-своему

Он наблюдал, как перестилают полы, как перекладывают печи, заботился о том, чтобы устроили подвалы для хранения яблок, которые перевозились сюда из Ясной Поляны Сам придумал, чтобы покрыли лестницу сукном. Софья Андреевна была довольна, потому что в Ясной Поляне нашлось сукно и его не надо было покупать.

Это был дом компромисса и примирения, жилье «на два этажа».

Лев Николаевич ходил на Сухаревку, покупал мебель дополнительно к той, которая куплена была самой Софьей Андреевной. В доме появлялась недорогая сборная мебель, комнаты становились похожими на яснополянские.

Лев Николаевич был доволен садом. Отремонтировали конюшни, флигеля, покрасили, хотя и с опозданием, полы. В прихожей поставили диваны-лари и вешалки — все из ясеневого дерева, на двери стенного шкафа большими белыми кривыми буквами написали грозное слово: «Керосин».

Керосин был новинкой, его боялись, с ним не умели обращаться.

Тем не менее в передней в грозном соседстве с керосином ставили самовар — это помещичья традиция.

Комнаты семьи обставлены разнокалиберно. Много гнутой и дорогой венской мебели. На верхнем этаже есть паркетные полы. В гостиной хороший рояль. Татьяна Львовна стала художницей: появились картины и гипсовый бюст Антиноя. Дом по московским, того времени, понятиям — средней руки.

Лакей внизу был, однако, в белых перчатках.

Рядом с комнатами Толстого — комнаты слуг и кладовая.

Роскоши, в которой себя обвинял Толстой, не было. Здесь, в старомосковских заново построенных комнатах, Толстой начал создавать новые свои произведения и новую религию

Много есть рассказов о том, как жил Лев Николаевич в Долго-Хамовническом переулке Прожил он здесь долго, стараясь жить в четыре упряжки; занимался писанием, физическим трудом, умственным трудом, общением с людьми.

Упряжки все были тяжелые Он привозил воду на весь дом, колол дрова, шил сапоги Над этим иронизировал Фет, и, кажется, на этом друзья окончательно разошлись. Фет хотел сделать из пары сапог, сшитых Толстым, достопримечательность, взяв удостоверение о том, кто их сшил, а Лев Николаевич писал об этом грустно: он когда-то любил этого человека.

В. Короленко в статье «Великий пилигрим» пишет: «С. Н. Кривенко . в своих очерках («Культурные скиты») сделал ядовитое замечание, что Л. Н. Толстой принялся пахать и шить сапоги «после того, как другие уже отшились и отпахались» Правда состоит в том, что Толстой всегда стремился к опрощению жизни, увлекался всякой непосредственностью.. Теперь эти инстинктивные стремления углубились и окрепли. И, когда другие отпахались, Толстой остался на брошенной ниве...»

Другие — это народники.

Лев Николаевич начал шить и пахать тогда, когда они уже отпахались и отшились. Но «упряжки» Льва Николаевича, его беспокойство — было беспокойством общим: как жить в перевернувшейся России, как быть не виноватым, что противопоставить насилию?

Лев Николаевич считал, что нужно прежде всего упростить свою жизнь, брать меньше для себя, самого себя обслуживать, не стыдиться выносить свой горшок и не лениться самому убирать свою комнату. Он не решался переделать жизнь семьи, хотя когда к Льву Николаевичу приехал романист Петр Боборыкин, то они вместе вспоминали Прудона. П. Боборыкин говорил легкомысленно, что Прудон сумел бы переделать быт семьи: «...он не стал бы отговариваться тем, что не желает никакого насилия над близкими людьми, а заставил бы их отказаться от дарового пользования земными благами, которые они сами не зарабатывали; не только не позволил бы он им проживать то, что сам имел, да и их-то наследственной собственностью запретил бы им пользоваться, считая ее узурпацией и воровством».

Толстой согласился, по словам Боборыкина, с ним, но вряд ли этот популярный беллетрист был прав. Прудон был по складу жизни своей французским крестьянином; когда он обедал, то жена не садилась за стол и стоя прислуживала. Но Прудон не этим знаменит и не этим был грозен многим людям во Франции и в России. Изменение личной жизни при участии в жизни семьи не изменяет строя мира — это только своеобразный монастырь, это отгораживание себя.

Свою комнату легче подмести, чем переделать мир.

Лев Николаевич пока что убирал и переделал свою комнату, не трогая комнат детей, но он с такой точностью описывал несправедливость мира и так искренне переделывал сам себя, что был упреком своему времени.

В России, задавленной после 1881 года, Лев Николаевич как будто стучал во все двери, говоря: «Не спите, горят балки в вашем доме, тлеет ваша судьба. Придет возмездие. Люди рядом с вами несчастны, и это вы их ограбили».

Изо дня в день он писал статью, которая превращалась в книгу-дневник. Называется она «Так что же нам делать?». В ней рассказывается о том, как живут люди в Москве, как они дичают от голода и как равнодушны к ним другие, сытые люди.

Лев Николаевич не нашел покоя в окруженном садом доме. Дом стоял среди маленьких фабрик: на одной — ближайшей — делали чулки, на другой ткали шелк, третья фабрика была парфюмерной, на четвертой варили пиво, и на каждой гудели гудки. Гудки гудели настойчиво: в пять часов утра, в восемь часов — это полчаса передышки, в двенадцать часов третий гудок — это час на обед, в восемь часов — четвертый гудок — это шабаш.

Человек, привыкший утром слышать, как перекликаются петухи, как встречают они утро — первый, второй и третий перекличкой, слушал перекличку фабричных гудков.

В гудках светлело утро. Фабричные гудки перекликались сперва рядом с Толстым, потом начинали кричать далекие гудки. Утро заглядывало в маленькие окна толстовского кабинета, гудки, затушеванные шумом города, пели; солнце обходило угол дома и светило с другой стороны сквозь деревья; наступал вечер, и небо за деревьями было красным; гудели гудки.

Не помогало шить сапоги, возить воду; воду вез Толстой через кварталы зимней Москвы от водокачки или от проруби на реке, видел бедность, грубость, опьянение. А гудки были для него счетом вины.

«Можно слышать эти свистки и не соединять с ними другого представления, как то, что они определяют время: «А вот уже свисток, значит пора идти гулять»; но можно соединять с этими свистками то, что есть в действительности: то, что первый свисток, — в 5 часов утра, — значит то, что люди, часто вповалку — мужчины и женщины, спавшие в сыром подвале, поднимаются в темноте и спешат идти в гудящий машинами корпус и размещаются за работой, которой конца и пользы для себя они не видят, и работают так, часто в жару, в духоте, в грязи, с самыми короткими перерывами, час, два, три, двенадцать и больше часов подряд. Засыпают, и опять поднима-

ются, и опять и опять продолжают ту же бессмысленную для них работу, к которой они принуждены только нуждой».

Ныли гудки. Лев Николаевич думал, что люди города должны разойтись — должно было прекратиться производство того, что он называл роскошью. Только пивному заводу он прощал его существование, потому что пиво могло вытеснить водку. Остальные заводы, казалось ему, делают только предметы роскоши; дальних грозных гудков заводов, которые лили железо, строили паровозы, прокатывали рельсы, — он не слыхал.

В Ясную Поляну, правда, он ездил по железной дороге, но не любил вагонов с чужими городскими людьми и трижды ходил из Москвы в Ясную Поляну пешком.

Рассказ Боборыкина, много пишущего, интересно и невнимательно записывающего, и здесь интересен

Лев Николаевич открещивался в то время от «Анны Карениной», от «Войны и мира» и не писал беллетристику. Боборыкин сообщает· «Когда я выразил сожаление насчет строгого запрета, наложенного им на себя, он выразился приблизительно так:

— Знаете, это мне напоминает вот что: какой-нибудь состарившейся француженке ее бывшие обожатели повторяют: «Как вы восхитительно пели шансонетки и придерживали юбочки!»

При этом он перед словом «француженка» употребил крепкое русское словцо».

Лев Николаевич считал, что история о том, как Анна Каренина любила Вронского, не заслуживает того, чтобы на нее тратить время. Он как бы забывал о том, что в этом же романе написана история неустроенной души Левина, споры о социализме; рассказано о России, в которой все переворотилось и никак не может уложиться.

Быт Толстого и проповедь Толстого пришли в противоречие.

Все дневники полны разговорами о компромиссе. Средний путь, о котором говорил Толстой и жене, — это путь компромисса.

Но Лев Николаевич каждый день художественно оживлял неправду жизни людей и каждый день он и его семья осуществляли эту неправду. Быт помещика, зимующего в Москве с семьей, противоречил словам Толстого.

Лев Николаевич велел положить на лестнице недорогое сукно Зимой лошади его выезда покрывались попонами Так было принято делать в кругу Толстого. Но Толстой в статье «Так что же нам делать?» писал, что в то время, когда мы покрываем сукном полы и лошадей, рядом ходят голые люди. Он укорял не только других, но и себя. Он строил дом, смотрел, как перекладывают печи, покупал мебель, создавал обычную обстановку состоятельного человека.

Но в то же время он создавал книгу, которую дописал несколько позднее, — «Смерть Ивана Ильича».

Иван Ильич тоже налаживал жизнь, снимал квартиру, вешал портьеры. Случайный удар пробудил в нем таящуюся болезнь. Он заболел раком и, лежа в постели, увидел свою прошлую жизнь. Иван Ильич шел по своим следам обратно, так идет человек, ищущий потерянную вещь; потеряна была жизнь.

Человек поет или кричит, а дальние горы отбрасывают от себя звук, и эхо, возвращаясь, противоречит тому, что говорится потом.

Эхо совести Толстого проверяло его жизнь. Комнаты его дома были обставлены не только недорогими вещами, но и раскаянием.

Скажем еще несколько слов об этом старом доме.

Он имел парадную широкую лестницу и черную, очень узкую.

Как старинный дворянский экипаж, с ящичками и баулами, он был полон комнатами и комнатками, слугами и детьми.

Здесь жил студент, и ученица художественной школы, и гимназисты, и малыши.

У Толстого здесь умерло два сына: Алексей — пяти лет и Иван — семи лет. Ванечка родился здесь 31 марта 1888 года. Друзья Толстого сидели внизу с детьми; роды происходили наверху в гостиной. По лестнице тихо спустился Толстой, заплаканный, но радостный, сказал: «А было очень страшно».

Он позвал Бирюкова к роженице, как бы желая похвастаться мужеством матери, перенесшей страдания без малейшего крика и даже стона.

Софья Андреевна лежала на диване в гостиной, покрытая до головы одеялом, глаза ее сияли: рядом с ней копошилось завернутое красненькое существо.

Жизнь последнего сына много изменила в жизни Льва Николаевича. Ему показалось, что в мир вошел человек, который будет потом довершать толстовское дело, хотя в младенце еще не было видно ничего. Но дом перевернулся — изменилось расположение комнат. Татьяна Львовна начала жить наверху; в скромную комнату, похожую на комнату гувернантки, переехала Марья Львовна. Кабинет Льва Николаевича наверху остался, но спальня переместилась вниз.

В проходной комнате за ширмами стояли две сдвинутые рядом кровати — Льва Николаевича и Софьи Андреевны, с гарусными покрывалами, связанными Софьей Андреевной. У окна мебель сборная и скорей бедная, чем богатая, и очень красивый рабочий столик, когда-то подаренный Софье Андреевне Татьяной Ергольской.

За дверьми другая, довольно большая, бедно обставленная комната; кровать ребенка, кровать няньки. Нянькины платья на стене. Клетка с чижиком висит на окне, бедный столик, венские стулья. В этой комнате жила поздняя любовь Софьи Андреевны и Льва Николаевича, соединенная в жизни ребенка, Ивана Львовича Толстого, который и по разделу получил Ясную Поляну, потому что в доме Толстых считали, что Ясная Поляна должна принадлежать младшему: так она принадлежала младшему сыну Николая Ильича — Льву Николаевичу.

Ваня болел — это был хрупкий мальчик. Им Софья Андреевна была беременна тринадцатой своей беременностью. Родители были стары. Иван Львович был одним из всех, кто получал долю толстовского наследства при жизни отца, его интересы защищала Софья Андреевна.

Смерть Ванечки, семи лет от роду, была непосильна Софье Андреевне. Она сломилась на этой смерти. И после этого уже с трудом тянула жизнь, не знала, как жить.

Умер Ваня от скарлатины в 11 часов вечера 23 февраля 1895 года. Смерть его на некоторое время опять горем связала родителей.

В. Г. ЧЕРТКОВ. ЗНАКОМСТВО

О том, как появился в доме Толстого В. Г. Чертков, Павел Бирюков в биографии Толстого рассказывает обстоятельно, но со слов Черткова.

В словах, которые мы приведем, обращает на себя внимание их спокойное высокомерие. Чертков настаивает на самостоятельности своего духовного развития, на первоначальной своей независимости от проповеди Толстого. Думаю, что он прав и что Толстого и Черткова нельзя смешивать

Павел Бирюков пришел ко Льву Николаевичу, как к автору «Анны Карениной» и «Войны и мира». Чертков хотел прийти в дом Толстого как религиозный реформатор, заключающий блок с другим реформатором

«Не только духовное мое рождение, но и главный перелом в моей внешней жизни произошли до моего знакомства со Л. Н-чем или какими-либо из его религиозных писаний. В 1879 году я решил оставить военную службу, но по желанию отца взял 11-ти месячный отпуск, который провел в Англии. Потом 80-й год, опять по настоянию отца, я еще провел на службе в конной гвардии и как раз после 1 марта

уехал в имение родителей в Воронежскую губернию для сближения с кормящим нас крестьянским населением и деятельности в его интересах. Там я прожил подряд несколько лет, изредка навещая родителей в Петербурге. И вот во время этих поездок я стал все чаще и чаще слышать от встречаемых мною собеседников, что Толстой, автор «Войны и мира», стал исповедовать точь-в-точь такие же взгляды, какие высказываю я. Это, разумеется, возбудило во мне потребность лично познакомиться с ним, что я и сделал проездом через Москву в конце 1883 года...

Когда я ему поставил свой обычный вопрос и он в ответ стал мне читать из лежащей на его столе рукописи «В чем моя вера?» категорическое отрицание военной службы с христианской точки зрения, то я почувствовал такую радость от сознания того, что период моего духовного одиночества, наконец, прекратился, что, погруженный в свои собственные размышления, я не мог следить за дальнейшими отрывками, которые он мне читал, и очнулся только тогда, когда, дочитав последние строки своей книги, он особенно отчетливо произнес слова подписи: «Лев Толстой».

Насколько мне известно, он также нашел во мне первого своего единомышленника. Понятно, что при этих условиях сразу завязавшаяся между нами тесная духовная связь должна была иметь совсем особенное для нас обоих значение: для него — в смысле оценки и поддержки в нем со стороны другого того, что он сознавал в себе наилучшего и высшего, а для меня — еще и в том отношении, что я в нем обрел ничем не заменимую помощь в моем дальнейшем внутреннем развитии».

Чертков подчеркивает, что он пришел к Толстому «... проездом через Москву». Он заявляет даже, что узнал о новых взглядах Толстого от собеседников, которые удивлялись главным образом тому, что Толстой «...высказывает точно такие же взгляды», самостоятельно до них дойдя.

Кавалергард не отличался скромностью; предшественников своих он не признает.

В. Г. Чертков стал руководителем того, что получило название толстовства.

Берем из 85-го тома Юбилейного собрания сведения о Владимире Григорьевиче Черткове, считая, что они им самим проверены. (Письма Толстого к Черткову выделены были самим Чертковым в отдельные тома.)

Родители Черткова принадлежали к высшему кругу петербургского аристократического общества, соприкасавшегося с царским двором. Один из представителей рода, Александр Дмитриевич Чертков, был археологом, историком и создателем чертковской библиотеки, на основе которой потом было начато издание «Русского архива». Мать Черткова происходила из семьи декабристов Чернышевых. В семейной жизни она была несчастлива; за границей познакомилась с последователями лорда Редстока, основателя евангелистского учения, и на всю жизнь сделалась строгой евангелисткой. Во время приезда Редстока в Петербург она познакомила с ним мужа своей сестры В. А. Пашкова, полковника кавалергардского полка, человека чрезвычайно высокого общественного положения. Пашков содействовал возникновению русской организации евангелистов, так называемых «пашковцев».

В. Г. Чертков вырос в атмосфере религиозных интересов, но, как рассказывается в 85-м томе Юбилейного издания, очевидно по сведениям, полученным от самого Черткова, «...вследствие тяжелой болезни, явившейся результатом солнечного удара на охоте в воронежских степях, ему были строго запрещены усиленные умственные занятия. Тогда он поступил вольноопределяющимся в конногвардейский полк и вскоре был произведен в офицеры».

Возможности у Владимира Григорьевича были большие. Чертковы имели богатые имения, много крепостных; крепостным Чертковых был, между прочим, дед Антона Павловича Чехова.

В. Г. Чертков пытался организовать в полковом клубе чтения, но начальство этому препятствовало; он видел жестокость по отношению к больным

в военных госпиталях, куда он попадал по обязательным дежурствам, как младший офицер. Чертков решил уйти с военной службы, что произошло в 1879 году по окончании войны с Турцией.

В. Г. Чертков одиннадцать месяцев провел в Англии. Потом он служил еще год, поехал в свое имение Лизиновку и в «своей слободе Лизиновке, имевшей до 5 000 жителей, стал насаждать ремесла, основав там ремесленную школу... что давало крестьянам дополнительный заработок...».

С таким прошлым в 1883 году пришел аристократ и богач Чертков в декабре месяце к Толстому. До этого он написал Льву Николаевичу письмо о разных религиозных вопросах.

Для понимания письма надо сказать, что вместе с письмом была послана пачка книг и журналов: «Присоединяю еще один номер «Expositor» из-за статьи о воскресении Христа, которая меня очень заинтересовала. Мне захотелось ею с вами поделиться, хотя я и далеко не уверен, что она вам понравится».

Ответ Льва Николаевича благожелателен, но ироничен.

«О воскресении мне не нравится. Чем больше это доказывают, тем больше сомнений. Да и доказательства, как, напр., правдивости свидетелей, которых не было, уже слишком плохи; но главное — зачем доказывать. Я верю, что когда я надену подштанники навыворот, то будет неприятность; и не могу отделаться от этой веры... Но доказывать истинность этой веры я никому не стану... Но ваша рекомендация прочесть о воскресении огорчила меня. Неужели вас интересует этот вопрос?»

Чертков написал матери о впечатлениях от первых свиданий с Толстым: «...В наших личных представлениях о боге мы, кажется, значительно расходимся».

Мне кажется, что утверждение Черткова о самостоятельности своего мышления и его представление о своем духовном росте, как о чем-то параллельном с развитием мышления Толстого, ошибочно.

Чертков был хорошим, благоразумным организатором, хорошим пропагандистом, хотя пропагандировал он не полностью то, что пропагандировал Толстой.

Лев Николаевич, обосновывая свое учение, все время в качестве примера приводил факты из жизни России. Его отрицательные характеристики существующего имели огромное пропагандистское значение. Толстой разоблачительно выступал против всего строя жизни; недаром в это время он увлекался Герценом и считал Герцена и самым талантливым русским писателем и самым необходимым. Во время пребывания Черткова за границей Толстой все время советовал ему руководствоваться в издательской деятельности опытом Герцена. Герценовская разоблачительная сила ожила в Толстом, и толстовское слово, распространяющееся путем рукописным и путем привоза заграничных изданий, имело далеко не только значение проповеди обновленной религии, в отрицаниях сказалась вся сила толстовского художественного видения.

Проповедь Черткова религиозна. Если Толстой восходит к Герцену, то Чертков идеологически связан с полковником кавалергардского полка Пашковым. Вместе с Чертковым в жизнь Толстого вошел П. Бирюков. Он приведен к Толстому Чертковым.

Павел Иванович Бирюков стал одним из ближайших друзей Толстого — первым его биографом. Происходил он из семьи костромских дворян, обучался сперва в пажеском корпусе, потом в морском училище и морской академии. Разочаровался в военной службе, познакомившись с Чертковым, ушел с военной службы, служил одно время в главной физической обсерватории, потом вместе с Чертковым был руководителем издательства «Посредник». Работал с Толстым на голоде. В 1897 году был выслан, жил в Англии, потом в Швейцарии.

В семье Толстого звали его Пошей и очень любили.

Чертков и друг его Бирюков были толстовцами нового типа, которые стали рядом со старыми тол-

стовцами, сменив выходцев из разгромленных народнических организаций. Сам Чертков считал себя первым толстовцем.

Что же привело Толстого к Черткову, почему он придавал работе и дружбе Владимира Григорьевича такое значение?

Чертков и Бирюков по происхождению и рождению были близки Толстому. Первое время к Черткову в семье Толстого относились хорошо, он не был «темным». Те люди, которых Толстой считал своими учителями, — Сютаев и Бондарев — были людьми далекими.

Чертков занимался утверждением толстовства. В годы отчаяния его болезненная работоспособность, европейская отчетливость, отсутствие увлечений производили на Толстого впечатление, как бы подчиняли его. Чертков больше всего значил для Толстого в последнее пятилетие жизни.

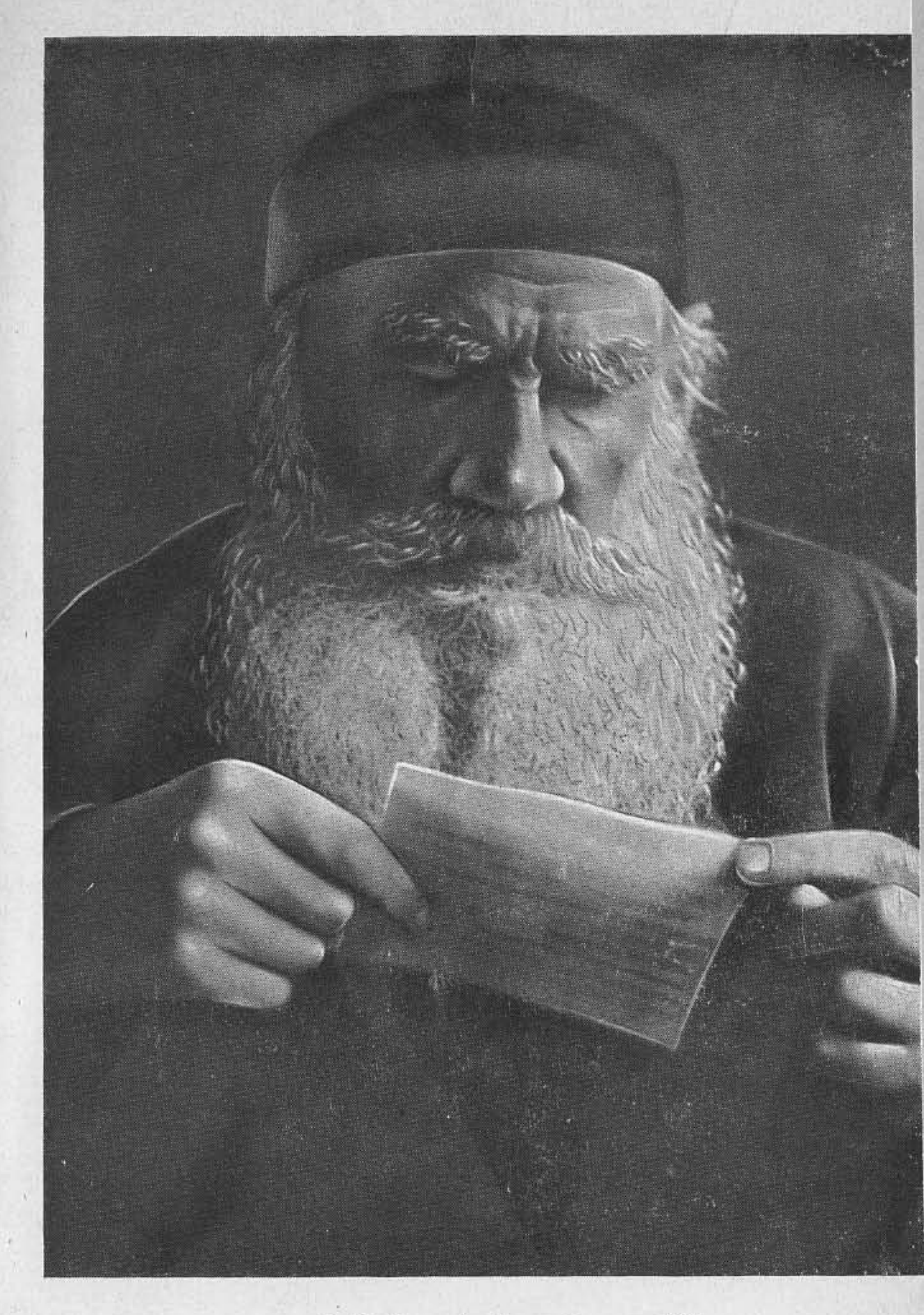
Если говорить об отношениях Черткова с Софьей Андреевной, то нужно сказать, что первоначально они были со стороны Софьи Андреевны восторженные, и мы по ее письмам можем понять, как выглядел Чертков для обитателей дома Толстого.

Софья Андреевна приехала в 1885 году зимой в Петербург хлопотать о напечатании 12-го тома Полного собрания. Это была заря новой хозяйственной деятельности Софьи Андреевны. Она хлопотала по цензуре. У одной своей дальней родственницы Екатерины Николаевны Шостак в Институте для благородных девиц видела императрицу: «... я очень была взволнована, но не растерялась». Все это очень укрепило Софью Андреевну в ее собственных глазах.

В этот же приезд видела она Черткова: «Сегодня видела Черткова, он опять придет завтра вечером. Он мне очень тут понравился; такой простой, приветливый и, кажется, веселый».

Происходит почти что семейная идиллия.

В том же году в марте из Москвы Софья Андреевна пишет мужу, поехавшему в Крым с Урусовым: «Получила сегодня милейшее письмо от Черткова».



Л. Н. Толстой. Ясная Поляна. 1907 г.



Л. Н. Толстой и И. Е. Репин. Ясная Поляна, 1908 г.

Л. Н. Толстой. Ясная Поляна, 1908 г.



Через некоторое время осенью Чертков побывал в Ясной Поляне. Там он всем тоже очень понравился и как светский человек. Приняли его радушно. Приехал Чертков вместе с Бирюковым. В письме к князю Урусову Толстой пишет:

«Вчера уехал только Чертков с Бирюковым. Они приезжали на 3 дня... Он мне очень помог в семье. Он имел влияние на наш женский персонал. И, может быть, влияние это оставит следы. Меня же он раззадорил писать для народа — тем бездна, не знаю, что выбирать». Об этом же он пишет несколько раз.

19 августа Толстой сообщает жене: «Чертков с Бирюковым остались нынче утром, до ночи... Я его просил поговорить с тобой о подписке и помочь через Сытина, все это знающего. Они очень милы и, кажется, для всех не тяжелы — просты». 20 августа Лев Николаевич сообщает об успехе Черткова в доме: «Гости уехали. Чертков имел успех и влияние на девочек. Турнюры опять сняты, и разные хорошие планы».

Прибавлю еще одно: Чертков часто давал художественные советы Толстому, например он советовал смягчить развязку рассказа «Свечка», выкинув гибель приказчика. Он позднее мягко и настойчиво рекомендовал переделать характеристику революционеров в «Воскресении», сделать ее более критической. Он был инициатором послесловия в «Крейцеровой сонате».

Чертков был не только организатором народного издательства «Посредник», он хотел создать вокруг Толстого что-то вроде организации. Одно время чертковцы думали даже о съезде толстовцев, но Толстой иронически сказал: «И меня выберете генералом и какие-нибудь кокарды сделаете?»

Очевидно, он иронизировал над Армией спасения, которая тогда процветала в Англии и Америке.

Не будем переносить на крутые плечи Черткова все блуждания Толстого, но в сухости «народных рассказов» и в запретности широкого творчества для Толстого Чертков виновен.

В художественных вещах Толстого было сложное

сочетание мысли, то, что Лев Николаевич сам называл «лабиринтом сцеплений». Он исследовал жизнь, пробовал разные развязки и в результате приходил к долго существующим, человечески ценным решениям. Иногда Толстой унижал свой дар, пренебрегая им для того, чтобы говорить прямо и черство, как Чертков.

В 1885 году, в самый расцвет чертковско-сытинского издания «народных рассказов», Лев Николаевич написал в Крым другу Л. Д. Урусову, что он, Толстой, считает дар слова «воображаемым...». «Такого дара у всех людей вообще никогда не было и нет. И изречение дипломата, что слово дано людям для того, чтобы скрывать свои мысли, совсем не шутка, а ужасная правда. Я прибавил бы только еще то, что оно употребляется людьми для того же, для чего употребляется птицами-соловьями: для удовольствия сочетаний звуков и формальных образов, для личного удовольствия, но никак для сообщения мыслей».

В Толстом здесь черствое, так сказать чертковское, борется с реалистически художественным. Толстой стремится к прямоговорению, отрицая искусство как исследование жизни при помощи выяснения взаимоотношения понятий.

Художественное словесное изображение создает цепь сцеплений; оно пользуется общечеловеческим опытом и тем самым оно в какой-то мере самопроверяется: может быть, отчасти этим объясняется то, что греческие трагедии, поэмы Данте, русские народные песни и романы Толстого остались нужными для человечества.

Для Черткова нужны прямые, черство сказанные слова.

Может быть, отчасти этим объясняется то, что, несмотря на отдельные удачи, толстовские «народные рассказы» не были приняты народом. Сам же Толстой в романе «Воскресение», в повести «Хаджи Мурат», выясняя жизнь, вернулся к «сочетанию звуков и формальных образов» и не только для «личного удовольствия».

Мы должны уважать волю Толстого, который так уважительно относился к Черткову, но для того, чтобы читать письма Черткова о несопротивлении, надо совершать насилие над собой.

НАРОДНЫЕ РАССКАЗЫ

Лев Николаевич все и всегда принимал со спором. Во время первого заграничного путешествия он несколько раз посетил Лувр.

3/15 марта 1857 года в Лувре он отметил только портрет Рембрандта и картины Мурильо. Через день с Орловым еще раз пошел в Лувр и записал: «Все лучше и лучше». Был в Лувре он еще в конце марта.

Лувр для Льва Николаевича оказывается предметом спора и исследования, но Лувр Толстой запомнил.

Летом в Люцерне Толстой описывает своих соседей по столу: «В окно, на черном фоне тополей, смотрят ползущие, освещенные свечкой лозы винограда».

Через несколько дней Толстой записывает: «Артиста жена — луврская мадонна, но улыбки il n'y a pas».

Толстой все видит и запоминает, но в споре не соглашается. Невнятное для него, по его мнению, не нужно народу. Но, может быть, дело обстояло иначе. Толстой считал недоступное народу ненужным и ему, Льву Николаевичу.

Он отрицал Рафаэля и утверждал лубок.

Б. Н. Чичерин рассказывает, что в Париже Толстой покупал раскрашенные литографии какого-то Гренье и восхищался им; в ответ на ироническое замечание Чичерина, собиравшего тогда гравюры старых мастеров, Толстой писал ему: «Когда Рафаэль с картофельно-шишковатыми формами мне противен, а картинки Гренье приводят меня в умиление, я ни единой минуты не сомневаюсь, что Гренье выше Рафаэля».

Вероятно, цветные гравюры Гренье были не так плохи, как думал Чичерин, но важна тут толстовская характеристика Рафаэля.

Толстой не только пользовался лубочными картинками начала XIX века как историческим материалом при написании «Войны и мира», но и умел находить в них эстетику. Однако неправильным было бы считать, что лубок и гравюра родились в мыслях Толстого сами по себе. Толстой считал так, потому что именно лубок был на стенах изб.

В черновиках одной статьи в 1862—1863 годах Лев Николаевич говорил о том, что «уже давно в Европе и у нас пишутся книги для поучения народа труду и смирению (которого терпеть не могут поучающие), а народ, по-старому, читает не то, что мы хотим, а то, что ему нравится: читает Дюма, Четьи-Минеи, Потерянный рай, путешествие Коробейникова, Францыля Венциана, Еруслана, Английского Милорда — и своим особенным путем вырабатывает свои нравственные убеждения».

Уже тогда Лев Николаевич думал о том, какие книги издавать для народа, и считал, что народу надо дать то, что он требует: «Все это мы написали только для того, чтобы не ввести в заблуждение критика, встретившего в наших книжках, очень может быть, переделки Ермака с плясками и танцами или Английского Милорда Георга».

Лев Николаевич считал, что народ неподвижен и в неподвижности своей заключает истинную систему нравственности и нормы эстетической оценки.

Через много времени, в восьмидесятых годах, Лев Николаевич говорил в московской частной квартире речь о народных изданиях. Она была произнесена в 1883 году в квартире Митрофана Павловича Щепкина — земского деятеля и публициста.

Митрофан Павлович был и организатором переписи 1882 года, в которой участвовал Толстой и в которой он так много увидал.

Связан был со Щепкиным Владимир Николаевич Маракуев, который в 1882 году создал издательскую фирму — «Народная библиотека». Маракуев в речи на съезде земских учителей говорил: «Едва ли у лучших наших авторов действительно найдется много такого, что понравится народу. Ведь странно же забывать, что наши изящные авторы творили под влиянием болезненных общественных явлений, не понятных народу. Для народных масс понятны только *вечные действительные идеалы,* понятна только правда. Странно поэтому сетование газетных писак на то, что народ не знает Жуковского «Анна Каренина», «Дворянское гнездо» — для нас вещи хорошие, но для народа они равняются нулю».

В этом обществе, в котором участвовали и другие люди — Н. И. Стороженко, А. Н. Веселовский, И. И. Янжул, и произнес свою речь Лев Николаевич. Черновик речи пришел к нам из архива М. П. Щепкина. Она очень любопытна во всей своей несведенности. Толстой говорил о бездарности и глупости церковных изданий, о бесполезности пашковских изданий Полковник-аристократ и родственник Черткова проповедовал спасение верой: человек мог верить в Христа, а жить, как хотел.

Лев Николаевич утверждал, что писатели невежественны и знают только то, что выдумала кучка людей. Что же они выдумали?

«Мы предлагаем народу Пушкина, Гоголя, не мы одни: немцы предлагают Гете, Шиллера; французы — Расина, Корнеля, Буало, точно только и свету что в окошке, и народ не берет».

Толстой говорил, что надо найти настоящую пищу для народа. «Если мы найдем ее, то всякий голодный возьмет ее».

Планы весьма большие: создать книги для голодных миллионов Книги особые.

Надо было немедленно написать для народа что-нибудь понятное и нравственное. Нужен ли большой талант для того, чтобы писать простое и понятное, сам Толстой еще не решил и предлагал в письме к анонимным тифлисским барышням, которые просили его совета, что делать для народа, начать переделывать книги для народа, заново редактировать лубочную и другую литературу.

Лев Николаевич знал, что бывший дворовый Матвей Комаров, написавший во времена Екатерины «Обстоятельные и верные описания жизни, всех дел и

странных похождений Российского мошенника, вора, разбойника; и бывшего Московского сыщика Ваньки Каина, с предуведомлением о причине сочинения, также с приобщением песен, в которых имя его упоминается и с вынесенными на поле доказательными примечаниями...» и книгу «Повесть о приключении Английского Милорда Георга», стал народным писателем, и книги этого Комарова читаются народом, хотя они, по мнению Толстого, плохо написаны и безнравственны.

Лев Толстой решил вытеснить эти книги облагороженным старым лубком, своими сказками, переделками из житий святых.

Хороший организатор, Чертков взялся организовать такое издательство и этим навсегда привлек к себе Толстого.

Когда издание книг было передано в ведение Сытина — превосходного знатока рынка лубочной литературы, книги пошли.

Матвея Комарова они не вытеснили, хотя чертковское издательство «Посредник» выпустило своего Георга, как бы подделав Комарова, но эта какой-то доброй душой написанная книжка не обладала той поразительностью, той наджизненностью, которая пленяла читателей у Комарова. «Английский милорд Георг» Комарова издавался до 1917 года по старому, неправленому тексту (см. мою книгу «Матвей Комаров. Житель города Москвы», изд-во «Прибой», 1929).

Всех народных рассказов сам Толстой написал двадцать два. Среди них есть такие, как надписи к картинам — «Искушение господа нашего Иисуса Христа» (к картине Н. Ге «Тайная вечеря»). Это произведение Толстого состояло из тридцати пяти параграфов XIII главы евангелия от Иоанна, которые должны были быть напечатаны вверху картины Ге. Внизу объясняется сама картина: главный смысл ее по Толстому в том, что Иисус показывает пример любви к врагу и спасает предателя Иуду от гнева учеников.

Многие народные рассказы представляют переработку житий святых.

Наиболее интересна «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах».

Это целиком толстовская сказка. Иван-дурак — это крестьянин, Семен-воин — это воин-дворянин, Тарас-брюхан — купец, старый дьявол, работающий головой и соблазняющий Ивана, — интеллигент.

«Сказка об Иване-дураке и его двух братьях» не имеет в основе заимствования из народного источника. Из фольклора перешли сюда только троичность братьев и симпатия к третьему — младшему брату, которого считают дураком.

В народной сказке три брата равны по своему социальному положению, по своим желаниям — они крестьяне и все стремятся к удаче, которая сказочно воплощается в женитьбе на царской дочери.

У Толстого старший брат Семен-воин — это солдатчина, николаевщина с марширующими одинаковыми, как колосья, обезличенными солдатами, связанными в снопы-полки.

Второй брат — Тарас-брюхан, в некоторых рукописях Тарас-кулак — это капиталистический строй, власть денег. Деньги эти Иван-дурак натирает из дубовых листьев.

Солдатчина, военное государство, деньги, купеческое государство — это два искушения, которые поставили черти перед крестьянами. Ивану-дураку все это чуждо, ненужно. Солдаты для него — это музыка и песни, золотые деньги — бляшки для подарка детям. Иван-дурак признает только мозольный труд. Этот мозольный труд является в данном случае синонимом хлебного труда.

Иван-дурак, как в народной сказке, вылечил царскую дочку, царская дочка его полюбила. Она женщина, полная покорности, и когда муж, получивший царство, остается все-таки мужиком, то она тоже становится мужичкой. Старый дьявол не может соблазнить Иванова царства, на него никто не хочет работать. Мужики Толстого противопоставляют деньгам и солдатам несопротивление и прощение.

Когда старшие братья Ивана перестали быть царями, Иван-дурак стал их, как предлагал Сютаев, кормить Головная работа дуракам не нужна: они работают руками и горбом.

Так произошло в сказке; ее напечатали на скоропечатных машинах, сброшюровали новыми машинами, развезли по железным дорогам, но ничего она не изменила — мозольный труд не стал легким.

Толстым же написана и сказка «Свечка»; история этой сказки любопытная, но сперва передадим ее содержание. Начинается все эпиграфом· «Вы слышали, что сказано· око за око, и зуб за зуб. А я говорю вам· не противься злому».

Дальше начинается такой ввод: «Было это дело при господах. Всякие были господа. Были такие, что смертный час и бога помнили и жалели людей, и были собаки, не тем будь помянуты. Но хуже не было начальников как из крепостных, как из грязи да попали в князи! И от них-то хуже всего житье было».

Ввод этот, конечно, правильный, но все же ответственность перенесена на исполнителей. Один из таких исполнителей приказал крестьянам пахать в пасху. Они отказывались, но среди них был божий человек Петр он приладил на соху свечу пятикопеечную и начал боронить. Борону он и изворачивал и отряхал, а свеча его не тухла. Остальные мужики ругались и говорили про приказчика: «Чтоб у него пузо лопнуло и утроба вытекла».

Угроз приказчик не испугался, а чудо с нетухнувшей свечкой его поразило Поехал он смотреть на поле, увидел — пашет Петр, поет песню. Заскучал приказчик, поехал домой. Слез сам с коня, отворил ворота и стал опять садиться Лошадь испугалась, и приказчик перевалился пузом на частокол: «И пропорол себе брюхо, свалился наземь».

В отличие от большинства народных рассказов основа «Свечки» взята не из Прологов и Четьи-Миней, а из фольклора.

Рассказ этот сразу вызвал почтительно-настойчивые возражения В. Г. Черткова.

Вся сказка Черткову понравилась, но случай с приказчиком его огорчил, и начал он с Толстым переписку — мирную, спокойную, настойчивую.

Он заметил, что сам рассказ отрицает эпиграф. Приказчик все же погибает, исполняется желание не Петра, а злых мужиков.

Свечка сама по себе, а месть сама по себе. Чертков писал:

«Эта ужасная смерть приказчика, как раз после того, как он сознал торжество добра над злом и признал себя побежденным . все это ужасно тяжело напоминает мне ветхозаветный рассказ о пророке, отомстившем смертью детям, смеявшимся над ним... И кто ни читает этот рассказ из лиц, вполне разделяющих наши взгляды, и из лиц, только симпатизирующих им, — все в один голос находят, что рассказ и по форме и по содержанию прекрасен, только вот конец все портит» (письмо 7 ноября 1885 года). «Не знаю, как вы отнесетесь к моему предложению .. но... было бы боязливо и недобросовестно с моей стороны не сделать еще попытки убедить вас согласиться на маленькое по форме, но мне кажущееся весьма важное по существу изменение конца».

Чертков пишет сладостно; изменение конца, по его мнению, маленькое. Толстой ответил 11 ноября 1885 года: « ..я ...начинал писать и написал другой конец Но все это не годится и не может годиться. Вся историйка написана в виду этого конца. Вся она груба и по форме и по содержанию, и так я ее слышал, так ее понял и иною она не может быть — чтобы не быть фальшивою».

Толстой не согласился, но послушался. Он переделал сказку; все кончалось в ней благополучно; приказчик покаялся; название у произведения получилось такое: «Свечка, или как добрый мужик пересилил злого приказчика».

Так она была напечатана в издании «Посредника» в 1886 году, но тогда же вышла XII часть сочинений графа Толстого — произведения последних годов, и здесь заглавие было «Свечка», и приказчик погибал на колу.

То понимание мира, которое выражал Толстой в народных рассказах, не случайно, но неправильно. Гений и искренность в результате не спасали Толстого от компромиссов и противоречий.

Толстой восторгался Гомером, Геродотом, Вольтером, Руссо, Стерном, Пушкиным, Тютчевым, Лермонтовым, Чеховым и сотнями других книг, то принимая, то отвергая их, и пытался найти или создать иное искусство в короткий срок. Он отвергал историю искусства, желая дать ей иную развязку, основанную на религии.

Невозможность этого так же очевидна, как то, что у одного рассказа «Свечка» не может быть двух развязок. Ошибка Толстого была в том, что он думал, что народу нужно что-то особо простое, примитивно понятное, и Гомер — это не для народа, а только для Толстого, и сам Толстой не для народа, исключая народные рассказы, «Кавказский пленник» и «Азбуку».

Все это неправильно. Толстой напрасно утверждал Комарова и отвергал себя.

Он не признавал истории, а история в результате трудов и подвигов все время изменяла пределы понимания и доступности Толстого.

Вот что писал Ленин в статье «Л. Н. Толстой»:

«Толстой-художник известен ничтожному меньшинству даже в России. Чтобы сделать его великие произведения действительно достоянием *всех,* нужна борьба и борьба против такого общественного строя, который осудил миллионы и десятки миллионов на темноту, забитость, каторжный труд и нищету, нужен социалистический переворот».

О ЛЮБВИ И О СМЕРТИ ЛЮБВИ

Мы знаем, что искусство отражает жизнь.

Но иногда мы думаем, что искусство отражает жизненные происшествия.

Вот это неверно. Искусство отражает жизнь не зеркально, не непрерывно; оно воспроизводит жизнь,

исследуя мир на основании опыта предшествующих поколений, и часто оно, давая отражение, вскрывает то, что не видно глазу, смотрящему прямо на предмет.

Искусство имеет свою систему знаков, при помощи которых оно записывает жизнь и записывает опыт человечества.

Оно отражает жизнь, познанную трудом человечества, и человек, призванный в искусство, пережив то, что называется вдохновением, отрывается часто от обычного, потому что он от своего обычая уходит к обычаям человечества, пользуясь его опытом, перерешает свою жизнь.

Не будем поэтому думать, что в «Крейцеровой сонате» Лев Николаевич изобразил какую-то историю своей ревности к жене, какой-то случай ее неверности или хотя бы свои подозрения. Часто думают, что в «Крейцеровой сонате» описан случай, происшедший в Ясной Поляне и в Москве между Софьей Андреевной Толстой и большим русским музыкантом, композитором и теоретиком Сергеем Ивановичем Танеевым, что вызвало ревность Толстого.

Для того чтобы выяснить отношения биографии к творчеству, поговорим об этом столкновении в доме Толстого.

Сергей Иванович Танеев в первой половине девяностых годов часто бывал в московском доме Толстых на Долго-Хамовническом переулке, как знакомый среди знакомых. Весной 1895 года Танеев приехал искать дачу под Тулу и снял флигель в яснополянском доме. Жил он со своей няней и со своим учеником Юлием Померанцевым, писал по теории музыки, играл на фортепьяно, купался, гулял с молодежью, играл в теннис, играл в шахматы с Львом Николаевичем. Танеев вел дневник, и мы знаем, как он жил. Женщинами он не увлекался совершенно.

Софья Андреевна переживала в это время большое горе — смерть сына Ванечки. Она увлеклась музыкой, бывала в концертах, слушала в Ясной Поляне игру Сергея Ивановича и как бы перенесла свою любовь к музыке и свое отчаяние на композитора.

Письмо с признанием в любви к Танееву Софья Андреевна написала в 1904 году. Письмо композитор уничтожил.

Лев Николаевич не очень любил Танеева и считал, что он в его доме находится на положении «общего баловня».

Самое слово «общий» означает увлечение семьи.

«Крейцерова соната» связана с вопросами любви и брака, с вопросом значения искусства в тогдашнем обществе, но не связана с определенным случаем в жизни Толстых.

Вообще трудно сообразить, когда начинается какое-нибудь художественное произведение, где момент рождения его конфликта. Измена жены, мысль о том, что измену надо казнить смертью — эти мысли очень стары, они есть, между прочим, и в «Анне Карениной», в ее черновиках.

У Льва Николаевича давно возник замысел «Убийца жены», записан он на двух полулистах писчей бумаги, сложенных в четверку. По бумаге, по ее печати, по водяным знакам думают, что запись относится ко второй половине шестидесятых годов. Человек убивает жену, сам заявляет о преступлении и не находит спокойствия даже в тюрьме. К убийце в тюрьме относятся вежливо, потому что он дворянин и отставной ротмистр, допущенный к нему камердинер плачет, а убийцу томит бессилие понять, что случилось.

Я не буду следить за всеми переменами этой темы, потому что она в основном отражает не столько ревность, сколько жизнь двух людей в браке, а о браке Толстой много и скорбно писал.

Конфликт «Крейцеровой сонаты» также не основан на ревности. Дело идет о неволе, о непонимании, о вечном соперничестве. Муж скажет про собачью выставку, что собака получила золотую медаль, жена поправит — почетный диплом.

Собака не их, но все равно они поссорятся.

В основе ссоры со стороны мужа лежит представление о необходимости повиновения ему. Жена сопротивляется то мелочным спором, то обманом.

Жизнь стареющей Софьи Андреевны была тяжела, она проходила в листах меню, подаваемых ежедневно старым поваром; меню за меню, суп за супом, счет за счетом.

Правда, были еще листы рукописи Толстого — великие, недоступные, повторяющиеся, изменяющиеся, уходящие в сторону. Она не любила их теперь и даже прямо отказывалась переписывать, потому что в них критиковались правительство и православная церковь.

Были стихи Фета — пять-шесть; была любовь, грубая, мужичья, неутомимая, непонятная, глубокая — любовь Толстого.

Были комнаты на Долго-Хамовническом и весна в Ясной Поляне. Она не любила деревни, она не любила весны. Была и радость, были дети — разные, они рождались, их было больно кормить, они вырастали, учились, грубили.

Лев Николаевич горевал в кабинете и писал, он пускал свое горе в большой поток работы, и горе уходило куда-то в большой мир. Лев Николаевич горевал в лесу, когда ехал по лесным дорожкам на быстром, близоруком, пугливом и дерзком коне Делире.

Софья Андреевна горевала одна.

Уже после того как «Крейцерова соната» была размножена на гектографе, издана и к ней было написано послесловие, во флигеле яснополянской усадьбы появился и прожил два года (1895—1896) Танеев.

Теперь Лев Николаевич ревновал. Софья Андреевна не понимала музыки, но увлекалась мечтой о музыке, как об иной жизни — жизни для себя.

«Крейцерова соната» не может быть отражением будущей истории с Танеевым. Других прямых оснований для ревности Толстого, относящихся ко времени написания повести, тоже нет.

Мне кажется, что и убийство жены — это не главное в конфликте повести. В этом отношении «Крейцерова соната» вряд ли является продолжением темы «Убийца жены», темы шестидесятых годов.

«Крейцерова соната» — повесть о браке, как о неволе.

В сентябре 1889 года Толстой записывает мысль героя «Крейцеровой сонаты»: «Я 20 раз желал ей смерти, мечтал о своей свободе».

Убийство жены — это реализация бытовой мечты об освобождении, раскрытие внутренней преступности отношений.

Муж и жена в повести «Смерть Ивана Ильича» — чужие друг другу. Умирающий Иван Ильич вызывает жалость только у буфетного мужика Герасима. После смерти Ивана Ильича жена его спокойно разговаривает о пенсии; тут она уже совсем не виновата в измене, но виновата, если тут бывают виновные, в смерти любви.

КАК РОЖДАЛАСЬ КНИГА

Кроме власти капитала, которую Толстой представлял как власть денег, была еще другая власть, которую надо было победить, — власть плоти: любовь, ревность. К этой теме Лев Николаевич подошел не сразу.

Читая черновики произведений, часто видишь, как трудно определить начало замысла. Отрывки появляются как будто еще не направленные, переадресовываются, соединяются.

Иногда только по названию можно проследить, о чем думает писатель. Иногда сплетение начал, попыток, записей не расплетается, потому что не видишь, на чем кончил сам писатель, что он выбрал.

В 1888 году Лев Николаевич в хамовническом доме слушал сонату Бетховена, посвященную Крейцеру; играл скрипач Ю. Лясотта, аккомпанировал С. Л. Толстой.

Среди слушателей был художник Репин и актер Андреев-Бурлак. Было решено передать впечатление от сонаты средствами, доступными трем видам искусства. Репин ничего не начал. Андреев-Бурлак умер в мае 1888 года. Лев Николаевич написал первую редакцию «Крейцеровой сонаты». В Юбилейном издании набросок этот занимает семнадцать страниц, то есть мог быть прочтен актером за один раз.

Форма произведения — монолог с незначительными репликами слушающих. Герой говорит о ревности; сперва Позднышев начинает рассказывать про кого-то другого, а потом признается, что это он сам тот человек, который убил жену.

Вещь лишена широты обобщения поздних редакций. Вся вина сосредоточена на муже. Он женится для того, чтобы «...дома, вместо пыли, скуки, прелесть, грация, изящество, красота, наслаждение».

Происходит другое: «Случилось, как это всегда случается, что-то подобное тому, что вы бы испытали, если бы вы завели себе удобство — кресло у камина, чтоб отдыхать, и вдруг кресло поворачивается кверху ножками и заявляет свои желания — какие? — поиграть, отдохнуть. Вы удивляетесь, как может кресло чего-то для себя желать. Ведь оно — кресло. Вы поворачиваете кресло, хотите сесть, а оно опять свое. Вот то же со всеми бывает. И начинается разлад, ссоры».

Женщина в результате любит другого и сияет от этой любви: «Так сияет, как сияют только от любви, от зверской». Муж убивает жену кинжалом. Жена просит, умирая, прощения. Мужа «...оправдали, скоты». Кончается монолог так: «Только на ее одре я полюбил. Как полюбил! Боже мой, как полюбил!

Он зарыдал.

— Да, не она виновата. Будь она живая, я бы любил не ее тело и лицо, а любил бы ее и все простил бы. Да если бы я любил, и нечего бы прощать было».

Разбираясь в лабиринте сцеплений жизни, обычно Толстой видит всегда то, что он считает пороком, запрещенным, но могущественно человечным и правильным. Особенно это ясно в «Воскресении».

Но из всех книг, в которых Толстой написал про любовь или про то, что этим именем называют люди, самая безнадежная — «Крейцерова соната». Поэтично в этой повести название и сама мысль о музыке,

которая вызывает в человеке стремление, ранее затоптанное. Но страсть, рожденная музыкой, отвратительна: музыка преступна, потому что нельзя совершать то, к чему она ведет. В повести сказано:

«И оттого музыка так страшна, так ужасно иногда действует. В Китае музыка государственное дело. И это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих и потом бы делал с ними что хочет? И главное, чтобы этим гипнотизером был первый попавшийся безнравственный человек.

А то страшное средство в руках кого попало. Например, хоть бы эту Крейцерову сонату, первое престо. Разве можно играть в гостиной среди декольтированных дам это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне. Эти вещи можно играть только при известных важных, значительных обстоятельствах, и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке важные поступки. Сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка».

Значит, не надо музыки. Марш, про который говорил Позднышев, вызывает желание идти и под марш ходят, но музыка Бетховена вызывает другие, очень сложные желания. Музыка развязывает желания — страсти, и потому, очевидно, ее не надо совсем. Между тем Лев Николаевич очень любил музыку и без нее не мог жить.

Он ревновал музыку — поэзию к прозе брака.

«Крейцерова соната», как я уже говорил, это не только повесть о ревности, это повесть о буржуазном браке, и Лев Николаевич одно время собирался переделать повесть. Варианта, в котором не было бы ревности, не сохранилось, но была попытка развязать конфликт без убийства. 20 сентября, в связи с работой над «Крейцеровой сонатой», Толстой записывает в дневник: «Писал мало». На следующий день записывает: «Писал немного. Окончательно решил переделать, не надо убийства». В следующий день запись: «Стал заниматься «Крейцеровой сонатой», которая уж совсем не «Крейцерова соната». Все клонится

к тому, чтобы убийство было просто из-за ссоры. Прочел историю убившегося мужа и жены, убившей детей, и это еще больше подтвердило».

История писания и печатания «Крейцеровой сонаты» подробно разработана Н. К. Гудзием, у которого я беру материал. Он указывает на источник записи: в Одессе повесился учитель Заузе, жена его после этого зарезала троих детей и выбросилась с четвертого этажа. Об этом случае Толстой прочел в № 38 газеты «Неделя» от 17 сентября 1889 года.

Лев Николаевич 4 июля 1889 года записывает в дневнике: «Утром и вчера вечером много и ясно думал о Крейцеровой сонате. Соня переписывает ее, ее волнует, и она вчера ночью говорит о разочаровании молодой женщины, о чувственности мужчин, сначала чуждой, о несочувствии к детям».

Софья Андреевна часто упрекала Толстого в том, что он не любит своих детей. Это неверно.

Сам Толстой в том же отрывке как бы вообще оправдывается перед женами: «Она несправедлива, потому что хочет оправдываться, а чтобы понять и сказать истину, надо каяться. Вся драма повести, все время не выходившая у меня, теперь ясна в голове. Он воспитал ее чувственность. Доктора запретили рожать. Она напитана, наряжена, и все соблазны искусства. Как же ей не пасть? Он должен чувствовать, что он сам довел ее до этого, что он убил ее прежде, когда возненавидел, что он искал предлога и рад был ему.

Да, вчера мужики подтвердили, что кликушество *бывает только у баб*, а не у девок. Стало быть, справедливо, что происходит от половых эксесов».

Убийство по ничтожному поводу, но приготовленным оружием — дамасским кинжалом, мысль об измене с библейскими цитатами о женской хитрости, воспоминания о жене Урия, которая хотела переспать с мужем, чтобы скрыть от него свою возможную беременность от любовника, — все эти хитрости и подозрения — реализация простого желания освободиться. Недаром католики в Италии убийство жены называют иногда «разводом по-итальянски».

Муж убивает жену, как бы мстя за несвободу, такова необходимость негодования.

Толстой анализирует супружеские споры, как бы восстанавливая свои дневниковые записи. Первое время Толстой описывал женщину, которая превосходит мужчину, но потом он переходит в нападение. Женщина угнетена, и она хочет властвовать, заплатить за угнетение. «А, вы хотите, чтобы мы были только предмет чувственности, хорошо, мы, как предмет чувственности, и поработим вас», — говорят женщины.

Об особенностях женской одежды говорится много: «От этого эти джерси мерзкие, эти нашлепки на зады, эти голые плечи, руки, почти груди».

Толстой сравнивает костюмы «высших светских барынь» с костюмами проституток. Потом Позднышев повторяет: «Да, так вот меня эти джерси и локоны и нашлепки поймали».

А. А. Толстая в воспоминаниях так рассказывает о распространении «Крейцеровой сонаты» и «Власти тьмы» сейчас же после того, как эти произведения стали известны в рукописях: «Трудно себе представить, что произошло, например, когда явились «Крейцерова соната» и «Власть тьмы». Еще не допущенные к печати, эти произведения переписывались уже сотнями и тысячами экземпляров, переходили из рук в руки, переводились на все языки и читались везде с неимоверною страстностью; казалось, подчас, что публика, забыв все свои личные заботы, жила только литературой графа Толстого... Самые важные политические события редко завладевали всеми с такой силой и полнотой».

Во время написания повести Чертков, знавший об этих спорах в публике, непрерывно подавал советы. Они шли очень далеко, главное, этот редактор хотел отделить рассуждения от монолога, дать мораль вещи впрямую. Тут же он предлагал прислать Толстому экземпляр повести «с разметками тех мест, которые следовало бы выделить», и настаивал на необходимости написать послесловие.

Споры перешли в правительственные круги. Указывают, что Александр III был доволен повестью, а царица шокирована.

Ю. Г. Оксман в архиве Е. М. Феоктистова нашел письмо Победоносцева о «Крейцеровой сонате» (26 февраля 1890 года).

Действительный тайный советник и статс-секретарь писал своему другу доверительно:

«Что сказать вам, почтеннейший Евгений Михайлович? Прочел я первые две тетради: тошно становилось — мерзко до циничности показалось. Потом стал читать еще (сразу все читать душа болит), и мысль стала проясняться. Только в три приема прочел все — и задумался...

Да, надо сказать — ведь все, что тут писано, — правда, как в зеркале, хотя я написал бы то же самое совсем иначе, а так, как у него написано, хоть и зеркало, но с пузырем и — от этого кривит. Правда, говорит автор от лица человека больного, раздраженного, проникнутого ненавистью к тому, от чего он пострадал, но все чувствуют, что идея принадлежит автору. И бросается в глаза сплошь почти отрицание. Положительного идеала автор почти не выставляет, хотя изредка показывает его проблесками...

Произведение могучее. И когда я спрашиваю себя, следует ли запретить его во имя *нравственности*, я не в силах ответить *да*. Оболживит меня общий голос людей, дорожащих идеалом, которые, прочтя вещь негласно, скажут: «А ведь это правда...»

Старое восклицание «Убей ее!», которое было когда-то одним из истоков замысла «Анны Карениной» и потом было отвергнуто, хотя заменено самоубийством Анны, возвращается.

Писатель колеблется; не сразу он решает, что действительно измена совершена. Женщина то виновата, то виновата ревность мужчины. Книга наполнена отчаянием, в ней реализуются горькие рассуждения автора, внесенные в записную книжку: «Женщины унижены сладострастием. Тем же отплачивают, от того их власть.

Во время беременности я мучил ее нервы и поползновения ревности, потом при некормлении по-

пытка убить». Есть запись: «Арапка царица», то есть униженная женщина — негритянка подчиненная — царствует.

Есть запись: «Настоящая пытка и белый медведь под конец». Белый медведь — это тема, которая жила в семье Толстого как обозначение навязчивой мысли. Для того чтобы достичь счастья муравейных братьев, мальчик Николай предлагал братьям встать в угол и не думать о белом медведе. Эта тема белого медведя восходит к «Тристраму Шенди» Стерна — нелепость, которая все время лезет в голову, именно потому, что она запрещена. Но у Толстого белый медведь существует: «Пытка чтоб кончилась — вызвало убийство. Тщеславие ее, но до предела: любуйтесь и завидуйте только».

Человек с опытом публичного дома имеет рядом с собой подчиненную ему женщину и не верит ни одному ее слову.

Повесть читалась в рукописи. Существует восемь ее редакций, она обсуждалась дочерьми Толстого; они говорили, что нет двух плохих девушек и нет ни одной счастливой семьи.

Не надо удивляться тому, что Лев Николаевич, будучи в эпоху написания «Крейцеровой сонаты» человеком религиозным, утверждающим, что у человека должна быть одна жена и первая женщина, с которой он сойдется, и должна стать его женой навсегда, в то же время был мужем-собственником. Вспомним заповеди Моисея, которые казались Толстому столь простыми, особенно в их отрицательной части, там, где сказано, чего не надо делать. В главе 20-й книги «Исход» написано: «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего».

Это было произнесено с горы Синай в сопровождении грома, пламени, дыма и трубного звука.

Жена попала между домом, рабом, но прежде скота: это заповедь о том, что собственность не должна быть нарушена. Во время написания «Казаков» и «Идиллии» Толстой был свободнее и жил легче.

ТОЛСТОЙ ИЩЕТ СЕБЕ ОПОРУ В ГЕРЦЕНЕ

Что делать Толстому в обстановке реакции — было неясно. Он продолжал писать, продолжал отвечать на письма, которые становились все менее интересны. Ответы Толстого тоже становились трафаретными и часто ограничивались советом, что надо читать такие-то, прежде изданные Толстым книжки.

Но часто Лев Николаевич находил в себе силу. Он увеличил герценовскую силу, разрушая самодержавие, показывая с негодованием и ядовитой иронией его беззаконность, случайность, ничтожество того, что называется присягой и законностью власти.

Чертков не смог переделать Толстого или утаить его силу.

Сила Герцена рано стала понятна и близка Толстому.

Он возвращается к Герцену много раз.

13 февраля 1888 года в письме к художнику Н. Н. Ге Лев Николаевич пишет: «Все последнее время читал и читаю Герцена и о вас часто поминаю. Что за удивительный писатель! И наша жизнь русская за последние 20 лет была бы не та, если бы этот писатель не был скрыт от молодого поколения. А то из организма русского общества вынут насильственно очень важный орган».

Толстой свою любовь к Герцену связывает с идеями патриархального крестьянства.

В письме к Черткову Лев Николаевич пишет 9 февраля того же года, предлагая начать заграничное печатание запрещенных в России вещей. «Статью Бондарева и предисловие теперь хочу печатать за границей... Читаю Герцена и очень восхищаюсь и соболезную тому, что его сочинения запрещены; во-первых, это писатель, как писатель художественный, если не выше, то уж наверно равный нашим первым писателям, а во-вторых, если бы он вошел в духовную плоть и кровь молодых поколений с 50-х годов, то у нас не было бы революционных нигилистов. Доказывать несостоятельность революционных теорий — нужно только читать Герцена, как казнится всякое

насилие именно самым делом, для которого оно делается».

Герцен очень бы удивился, если бы ему пришлось прочесть Бондарева и в то же время узнать, что Толстой считает его союзником Бондарева.

По высказываниям Толстого, Герцен важен как человек, который боролся «с западноевропейскими революционными теориями». Это толстовское толкование: он хочет сделать Герцена своим попутчиком. Но именно в позднем периоде своего творчества он включает черты герценовского художественно-публицистического метода в свое мастерство и продолжает своей критикой его дело.

«Герцен как бы... начал с увлечения западной философией Гегеля и западноевропейскими революционными теориями, а в конце концов обратился к общинному складу жизни русского народа и в нем увидал спасение. Я думаю, что для России большое несчастье, что Герцен не жил здесь и что писания его проходили мимо русского общества. Если бы он жил в России, его влияние, я думаю, спасло бы нашу революционную молодежь от многих ошибок», — говорил Толстой.

У Герцена учился Толстой, как бороться с самодержавием и насилием.

Толстой шел за Герценом, иногда это ясно обнаруживая.

Лев Николаевич написал статью, которая называлась «Чингисхан с телеграфами» (впоследствии эта статья была названа «Пора понять»). Первоначальное название статьи взято из письма Герцена к императору Александру II (по поводу книги барона Корфа), напечатанного в 1857 году в «Колоколе»: «Если б у нас весь прогресс совершался *только* в правительстве, мы дали бы миру еще небывалый пример самовластья, вооруженного всем, что выработала свобода... Это было бы нечто вроде Чингисхана с телеграфами, пароходами, железными дорогами, с Карно и Монжем в штабе...»

Глубоким стариком Лев Николаевич вновь перечитывал Герцена. Он читал вслух «Колокол», восхищаясь описанием парада, на котором присутствовал Николай I. «...Описание смотра войск, на котором были австрийский император и Николай I... неизменно приводившие Л. Н-ча в восхищенье, он при мне читал вслух несколько раз...» — вспоминает А. Б. Гольденвейзер.

Герцен был не только прочтен, но он положил основание творческой манере наиболее запомнившихся народу статей Толстого, построенных на точной художественной детали, на конкретности, публицистическом пафосе и широком обобщении.

СТАТЬЯ «ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?» И ПОВЕСТЬ «СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА»

В двухэтажном доме тихого московского переулка и в двухэтажном доме, окруженном тихим яснополянским парком, плохо жили.

К статье, разросшейся в целую книгу, — «Так что же нам делать?» — есть эпиграф. В нем написано про Христа: «И спрашивал его народ: что же нам делать? И он сказал в ответ: у кого есть две одежды, тот отдай неимущему; и у кого есть пища, делай то же».

Этого сделать нельзя было. Те богатые, которых видал Толстой, имели имущество как будто неразделимое: нельзя отдать ползавода, полпарохода, половину железной дороги, и даже платье богатых людей было сшито так, что его нельзя было разделить. И Лев Николаевич это очень хорошо понимал и описал.

«Если бы богатый человек носил обыкновенное платье, только прикрывающее тело от холода — полушубки, шубы, валеные и кожаные сапоги, поддевки, штаны, рубахи, ему бы очень мало было нужно, и он не мог бы, заведя две шубы, не отдать одну тому, у кого нет ни одной; но богатый человек начинает с того, что шьет себе такую одежду, которая вся состоит из отдельных частей и годится только для отдельных случаев и потому не годится для бед-

ного. Чем богаче человек, тем труднее добраться до него, тем больше швейцаров между ним и небогатыми людьми, тем невозможнее провести по коврам и посадить на атласные кресла бедного человека.

То же с способом передвижения. Мужику, едущему в телеге или на розвальнях, надо быть очень жестоким, чтобы не подвезти пешехода, — и место, и возможность на это есть. Но чем богаче экипаж, тем дальше он от возможности посадить кого бы то ни было. Даже прямо говорят, что самые щеголеватые экипажи — эгоистки».

Выросла другая жизнь, и Лев Николаевич подробно рассказывал об этой жизни, но не все мог напечатать.

Александр Петрович Иванов привез его в бедную ночлежную квартиру, где умерла прачка.

«В той ночлежной квартире, в нижнем этаже, в 32-м номере, в котором ночевал мой приятель, в числе разных переменяющихся ночлежников, мужчин и женщин, за 5 копеек сходящихся друг с другом, ночевала и прачка, женщина лет 30-ти, белокурая, тихая и благообразная, но болезненная... Последнюю неделю она вовсе не ходила на работу и только отравляла всем, особенно старухе, тоже не выходившей, жизнь своей перхотой. Четыре дня тому назад хозяйка отказала прачке от квартиры: за ней уже набралось шесть гривен, и она не платила их, и не предвиделось надежды их получить, а койки все были заняты, и жильцы жаловались на перхоту прачки.

Когда хозяйка отказала прачке и сказала, чтобы она выходила из квартиры, коли не отдаст денег, старуха обрадовалась и вытолкала прачку на двор. Прачка ушла, но через час вернулась, и у хозяйки не хватило духа выгнать ее опять... «Куда же я пойду? — говорила прачка. Но на третий день любовник хозяйки, человек московский и знающий порядки и обхождение, пошел за городовым. Городовой с саблей и пистолетом на красном шнурке пришел в квартиру и, учтиво приговаривая приличные слова, вывел прачку на улицу.

Был ясный, солнечный, неморозный мартовский день. Ручьи текли, дворники кололи лед. Сани извозчиков подпрыгивали по обледеневшему снегу и визжали по камням. Прачка пошла в гору по солнечной стороне, дошла до церкви и села, тоже на солнечной стороне, на паперти церкви. Но когда солнце стало заходить за дома, лужи стали затягиваться стеклышком мороза, прачке стало холодно и жутко. Она поднялась и потащилась... Куда? Домой, в тот единственный дом, в котором она жила последнее время. Пока она дошла, отдыхая, стало смеркаться. Она подошла к воротам, завернула в них, поскользнулась, ахнула и упала».

Прачка умерла в воротах и лежала там долго, ее принимали за пьяную.

Прачку внесли в квартиру. Достали гроб; поставили его на стулья.

Мертвая лежала. Хозяйка квартиры, когда к ней пришел Толстой, испугалась, что ее в чем-нибудь обвинят; потом разговорилась и рассказала о своих квартирных неприятностях и судьбе прачки.

Толстой пишет с силой, необычной даже для него:

«Проходя назад, я взглянул на покойницу. Все покойники хороши, но эта была особенно хороша и трогательна в своем гробу: чистое бледное лицо с закрытыми выпуклыми глазами, с ввалившимися щеками и русыми мягкими волосами над высоким лбом; лицо усталое, доброе и не грустное, но удивленное. И в самом деле, если живые не видят, то мертвые удивляются».

Живые не видят. Рядом с Толстым в комнате его сына Сергея работали две женщины:

«Худая, желтая, старообразная женщина, лет 30-ти, в накинутом платке, быстро, быстро что-то делала руками и пальцами над столом, нервно вздрагивая, точно в каком-то припадке. Наискосе сидела девочка и точно так же что-то делала, точно так же вздрагивая. Обе женщины, казалось, были одержимы пляской св. Витта. Я подошел ближе и вгляделся в то, что они делали. Они вскинули на меня глазами и так же сосредоточенно продолжали свое дело.

Перед ними лежал рассыпанный табак и патроны. Они делали папироски. Женщина растирала табак в ладонях, захватывала в машинку, надевала патроны и просовывала и кидала девочке. Девочка свертывала бумажки и, всовывая, кидала и бралась за другую. Все это делалось с такой быстротой, с таким напряжением, что нельзя описать этого».

Это Сергей Львович на деньги отца велел им набивать папироски за два рубля пятьдесят копеек за тысячу. Он хорошо живет, играет на рояле, встает в двенадцать часов, курит, и для этого женщина и девочка должны превратиться в машину и набивать ему папиросы.

Так Лев Николаевич описывал свой собственный дом. Софья Андреевна протестовала, что он позорит дом. А правительство не давало напечатать книгу, которая, может быть, все равно бы ничего не переделала, но учила живых удивляться. Она разрушала обычное, портила жизнь. Но Лев Николаевич делал и больше.

В это время он писал повесть «Смерть Ивана Ильича».

Поводом к написанию книги был случай: один знакомый Толстого в Туле, судейский чиновник, умер от рака. По этому случаю говорят о прототипах. Но болезни и смерти не сопровождают человека — они находятся в ткани его жизни, и они, и воздух над нами, и земля под нами — не прототипы.

Лев Николаевич и не писал о смерти Ивана Ильича — он писал о жизни Ивана Ильича. Повесть начинается с того, что люди узнают о смерти знакомого, с которым они привыкли играть в карты. Они идут в его квартиру, видят обыкновенного покойника, которого Толстой описал так: «Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, помертвецки утонувши окоченевшими членами в подстилки гроба, с навсегда согнувшеюся головой на подушке, и выставлял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб с взлизами на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу».

Лицо красивое, значительное, в нем какой-то упрек и напоминание для живых, и это показалось пришедшему сослуживцу покойного «неуместным или, по крайней мере, до него не касающимся».

Того, что мы называем занимательностью, здесь нет. Мы наперед знаем, что Иван Ильич умер. Он умер до того, как мы его узнали. Рассказывается не столько об ужасе смерти, сколько об ужасе жизни. Иван Ильич умер в то время, когда он устраивал свою квартиру, бегал покупать вещи, радовался, что у него квартира, как у всех; у него была дочь, которую он хотел выдать замуж, и сын — гимназист с синяками под глазами, происхождение которых Иван Ильич знал, и полная жена, и слуги. Но жизнь была бессмысленна, и бессмысленность этой жизни была очень похожа на бессмысленность жизни в доме № 15 по Долго-Хамовническому переулку.

Мы все устраиваемся, и все собираемся жить, но если мы не добьемся иного, большого, то мы не добьемся самой жизни, и смерть будет не только болезненна, но и завершит бессмысленнейшее существование.

Так и начинается вторая глава: «Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная».

О простом, обыкновенном и ужасном писал в это время Лев Николаевич Толстой, и это и было его основным делом, хотя он хотел бы писать нравоучения, пересмотреть политическую экономию, переделать жития святых. Нет, его судьба была делать из ночи день и показывать людям, что они в ночи живут благоразумно и ужасно.

Лев Николаевич начал эту вещь в 1881—1882 годах, а в 1884 году Софья Андреевна сообщает сестре своей Тане: «На днях Левочка прочел нам отрывок из написанного им рассказа, мрачно немножко, но очень хорошо... Назвал он это нам: «Смерть Ивана Ильича».

Дописана была повесть в 1886 году.

Как всегда, должны были начаться споры, где

печатать новую вещь и как — задаром или за деньги.

Не надо осуждать в споре Толстого с женой слабейшую сторону, Софью Андреевну. Лев Николаевич думал иначе, он знал и свою вину

27 октября 1889 года по поводу одной присланной ему книги Толстой пишет: «Биограф знает писателя и описывает его! Да я сам не знаю себя, понятия не имею. Во всю длинную жизнь свою, только изредка кое-что из меня виднелось мне».

Биографию писателя всю до дна написать нельзя, и когда пишешь, надо об этом помнить

Видит себя писатель тогда, когда пишет, когда освобождается от себя, от памяти о себе, переносит себя в ряд исследуемых явлений действительности, сопоставляет их, обобщает, находит им новое объяснение, ставит их в новые ряды.

В семье Толстых шла глухая и безнадежная для обеих сторон борьба.

То, что в других семьях казалось обыденным, неизбежным или даже желательным, в доме Толстого осознавалось хозяином как преступное. Он жил зрячим среди слепых.

Есть у Толстого среди «народных рассказов» рассказ «Крестник». Грешник, хотящий спасти свою душу, идет по миру, чтобы увидать, как же надо спасти душу, и знает, что все, что он увидит, это притчи. Видит он, что телка из хлева выгнать насильно нельзя — хлеб истопчешь; вызвать его можно ласковым словом, тогда «и мужики рады, баба рада и телушка рада». Вымыть стол грязным ручником нельзя, надо ручник выполоскать. Согнуть ободья нельзя — надо сперва укрепить стул, чтобы была в нем держава. Если нет упора, то как ни парить обод, он не согнется, будешь только вместе с ним кружиться.

Лев Николаевич пытался действовать на семью лаской, старался очистить свое сердце, но не мог согнуть ободья, потому что та опора, которую он вбивал в стул для держания обода, сама двигалась.

Лев Николаевич хотел думать, что можно очистить жизнь одной семьи или одной крестьянской общины. Вероятно, и эта иллюзия связана с крестьянской разобщенностью: каждый крестьянский двор когда-то мог жить сам по себе.

Толстовцы потом собирались в общины, старались жить без греха. Общины выдерживали два-три года и распадались, потому что они не могли быть нравственными среди общества, которое не меняло своих устоев. Они не могли уйти из истории. Лев Николаевич тоже иногда это понимал и писал своим ученикам, что не надо делать «новые монастыри»; он надеялся на преобразование мира, но думал, что это преобразование произойдет потому, что он или другой учитель всех уговорит делать добро.

Сам Лев Николаевич сознавал, что победа нового строя — дело мировое; но высказывал он это в выражениях, говорящих о семейном быте. Он писал Татьяне Кузминской 17 октября 1886 года: «У нас все благополучно и очень тихо. По письмам вижу, что и у вас также и во всей России и Европе также. Но не уповай на эту тишину. Глухая борьба против анковского пирога не только не прекращается, но растет, и слышны уже кое-где раскаты землетрясения, разрывающего пирог. Я только тем и живу, что верою в то, что пирог не вечен, а вечен разум человеческий».

Толстой хотел перестроить жизнь через убеждения и прежде всего перестраивал себя; переделав себя, он надеялся переделать людей, но как это сделать? Надо учить, иметь последователей, издавать книги.

Лев Николаевич взял у одной работницы народного просвещения, умной и влиятельной женщины, А. М. Калмыковой, рукопись «Греческий учитель Сократ»: это была биография Сократа. Калмыкова была живым человеком, принимала участие в деятельности комитета грамотности при Петербургском вольном экономическом обществе, работала в народных и воскресных школах, в издательстве «Посредник», потом примкнула к марксистам, издавала журнал «Начало», потом «Жизнь», помогала издавать за

границей газету «Искра». В 1900 году была выслана из Петербурга, уехала за границу, находилась в личном общении и в переписке с Владимиром Ильичем Лениным.

Она была из тех людей, которые отрицали анковский пирог.

Лев Николаевич называл книжку, которую она писала, — «Жизнь Сократа», — превосходной и начал помогать в работе. Это заставило Толстого перечитать книги по греческой философии. Многие места рукописи А. Калмыковой написаны заново. Изменена характеристика Сократа: Сократ демократизирован; реальный исторический Сократ был скульптором, Лев Николаевич делает его каменотесом, рабочим. Толстовский Сократ воюет против рабства, против эксплуатации человека человеком, против того, что «...все думали только о том, как бы нагнуть другого да на нем ехать».

Толстой вписал в «Жизнь Сократа» отдельную главу «Как жить в семье».

«Когда Сократ стал отрываться от своей каменотесной работы, чтобы ходить на площадь, учить народ, жена его обиделась, думала, что убытки будут; но когда стало собираться к Сократу много народу, утешилась, подумала: «За ученье хорошо платят, учителя живут в довольстве; будем так жить и мы». А Сократ думал не так. Он думал: «Не могу я брать платы за ученье, — я учу тому, что мне голос бога говорит, учу праведности. Как я за это деньги буду брать?» Хоть и много собиралось народа слушать Сократа, но он ни с кого не брал денег. А на содержание семейства зарабатывал своим мастерством: только бы хватало на необходимое. Жене Сократа жить бедно казалось и тяжело, и стыдно. Часто роптала она на то, что муж за ученье не берет денег. Доходило дело иногда и до слез, и попреков, и брани. Жена Сократа — звали ее Ксантипа — была женщина вспыльчивая. Когда рассердится, то рвет и бросает все, что под руки попадается...»

Эти традиционные строки — автобиографическое признание. Лев Николаевич жил литературным трудом, но существовал раздел: прежде, до 1881 года, написанные художественные произведения оплачивались, входили в собрания сочинений, а печатание народных рассказов и статей было не ограничено, безвозмездно: рукописи в «Посреднике» и редакционная работа Толстому не оплачивались.

Разгорался семейный разлад во имя анковского пирога. Было непонятно, почему в одном доме нельзя есть анковский пирог, а в другом доме литературный труд продается и за него получают деньги.

Так как народные рассказы были невелики, на статьях зарабатывать нельзя было, то борьба сосредоточилась на новых художественных произведениях. Как это ни странно, но наибольшее негодование в доме и вражду вызывало каждое возвращение Толстого к художественному творчеству, вернее факт напечатания произведения.

Лев Николаевич в своих требованиях к семье был нерешителен. Вопросы о том, где и на что жить всей семье, что делать с имением, чему учить детей, оставались вопросами. Действовала Софья Андреевна; Лев Николаевич спорил, подавая реплики и живя в своем этаже. Записи в дневнике накапливаются. Лев Николаевич спорил с женой и старшим сыном Сергеем Львовичем — хорошим, образованным, посредственным дворянином того времени.

4/16 июня Толстой записывает: «Сереже я сказал, что всем надо везти тяжесть, и все его рассуждения, как и многих других, — отвиливания: «повезу, когда другие». «Повезу, когда оно тронется». «Оно само пойдет». Только бы не везти. Тогда он сказал: я не вижу, чтоб кто-нибудь вез. И про меня, что я не везу. Я только говорю. Это оскорбило больно меня. Такой же, как мать, злой и не чувствующий. Очень больно было. Хотелось сейчас уйти. Но все это слабость. Не для людей, а для бога. Делай, как знаешь, для себя, а не для того, чтобы доказать. Но ужасно больно. Разумеется, я виноват, если мне больно. Борюсь, тушу поднявшийся огонь, но чувствую, что это сильно погнуло весы. И в самом деле, на что я им нужен? На что все мои мученья?»

Жизнь дома не выходила и не выходила, потому что ничего не решалось. Лев Николаевич пытался перевоспитать семью, выходил работать с детьми на помощь крестьянам. Дети сперва по новинке выходили, потом начали отставать.

Но Толстой продолжал свои безнадежные попытки. 23 июня/5 июля утром, «...не дожидаясь народа, работал с Блохиным». Блохин был сумасшедший крестьянин, который сошел с ума на том, что он сам знатный барин — богач и вельможа. Предложение Толстого работать ему показалось смешным. «Он говорит: «Это будет очень затруднительно. Крестьяне это все должны исправить. Для развлечения времени — можно». Шел по саду, и ему понравилось в аллеях, захохотал. «Н-да! Прекрасно для разгулки». Без всяких шуток, чем он более сумасшедший, чем все наши семейные?»

Лев Николаевич продолжал стараться. Он пишет: «С крокета все вместе снесли чай и тем *насмешили* людей». Дело не двигалось.

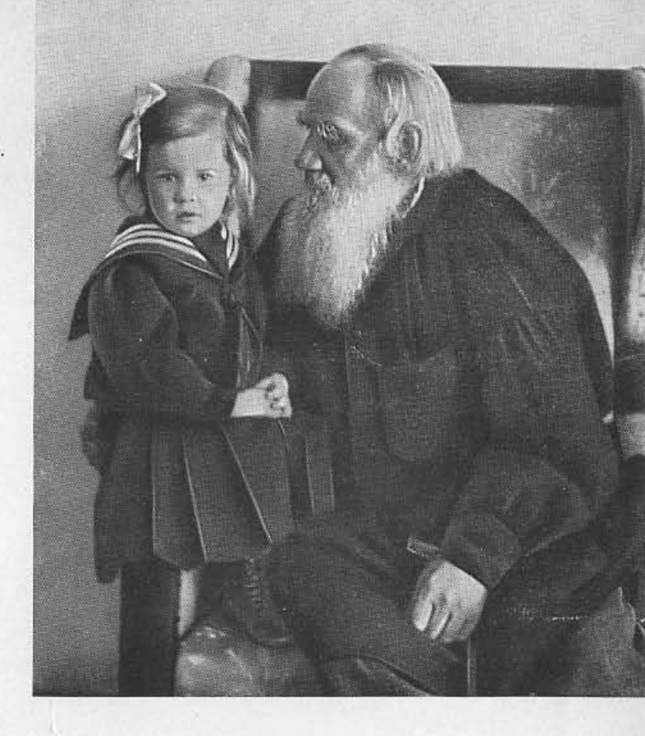
Крестьяне работают свою невыдуманную работу. А в банках чистенькие служащие щелкают счетами и, моча пальцы о губку, считают деньги. Дворянские, купеческие.

Дело было безнадежно, и основывалось оно на обоюдном непонимании. Лев Николаевич выдал Софье Андреевне полную доверенность, включающую в себя исключительное право на издание сочинений мужа, написанных до 1881 года. Она считала себя вправе пользоваться для себя и семьи доходами с изданий. Имения давали небольшой доход. Яблоневый сад сдавался в аренду, и через этот сад не то что крестьяне не смели пройти, но даже домашние Льва Николаевича войти, чтобы взять яблоко, не могли.

Деньги любили счет, их считали, их общелкивали резинкой, вносили в банк, стараясь устроить так, чтобы они приносили побольше процентов.

Отчуждение от своих домашних все нарастало. Лев Николаевич сам писал: «Слишком много пресного, дрожжи не поднимаются. Я это постоянно чувствую на моей Маше».

С внучкой Т. М. Сухотиной. Ясная Поляна, 1909 г.



Л. Н. Толстой рассказывает внукам С. А. и И. А. Толстым сказку об огурце. Крекшино, 1909 г.



Л. Н. Толстой и Д. П. Маковицкий с крестьянскими детьми у «дерева бедных».



Среди крестьянских детей и крестьян. Ясная Поляна, 1909 г.



Л. Н. Толстой среди учеников Тилевских вечерних курсов для рабочих. Ясная Поляна, 1909 г.

На платформе ст. Крекшино, 1909 г.



Поднять человека в одиночку, переделать его, не изменяя жизни вокруг него, не могут никакие дрожжи.

18 июня 1884 г. Толстой пишет о том, что он косил, купался: «Вернулся бодрый, веселый, и вдруг начались со стороны жены бессмысленные упреки за лошадей, которых мне не нужно и от которых я только хочу избавиться. Я ничего не сказал, но мне стало ужасно тяжело. Я ушел и хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу».

Вернулся: на балконе дома играют в винт бородатые мужчины — два старших сына — Сергей и Илья.

Если бы они были крестьяне, то у них были бы семьи, они давно бы вели хозяйство.

Толстой хотел заснуть с горя, но не мог. В третьем часу ночи пришла жена, разбудила: «Прости меня, я рожаю, может быть, умру». Начались роды; родилась дочка — Александра, а радости, счастья нет.

Толстой пишет: «Если кто управляет делами нашей жизни, то мне хочется упрекнуть его. Это слишком трудно и безжалостно».

И 4 июля думает Толстой о том, что его мучения никому не нужны и что надо уходить из своей усадьбы. И опять не уходит. И ночью с 11-го на 12-е «не спал до 5 часа от тоски» и опять не уходит.

После этого Лев Николаевич и решает выдать жене полную доверенность на ведение хозяйственных дел. Перед этим он записал: «Разрыв с женою уже нельзя сказать, что больше, но полный».

А Софья Андреевна об этом не знает, она думает, что мужу нехорошо потому, что у него расстроен желудок от вегетарианского питания, и велит повару тайком подливать в вегетарианский суп мясной бульон. Ей кажется, что это поможет.

Столкновения, сцены идут при детях. Люди перестают владеть собой. Софья Андреевна хочет по-своему помочь мужу. У Льва Николаевича в сказке «Об Иване..» черт научил Ивана-дурака, который надел его на вилы, тереть золото из дубовых листьев

и делать солдат из снопов. Солдаты Софье Андреевне не нужны были, она была верноподданная, ее устраивала русская армия. Деньги ей были очень нужны. Она писала мужу про печатные листы Полного собрания сочинений, что она натрет из этих листьев, как Иван-дурак, сколько угодно золота и муж сможет заниматься благотворительностью.

Софья Андреевна поехала опять в Петербург, поговорила с Анной Григорьевной Достоевской — вдовой Федора Михайловича. Та утешила Софью Андреевну, сказав ей, сколько стоит издание, где покупать бумагу, научила, как меньше давать комиссию в книжный магазин и рассказала, что она за два года получила тридцать семь тысяч рублей чистыми деньгами. Это были очень большие деньги по тому времени. И вот чистоган ворвался в семью Толстого. Софья Андреевна завела контору, повесила объявление, завела бланки своего издательства, по газетным объявлениям начали приходить конверты с деньгами. Денег оказалось много, и они приходили все время. О них знали сыновья. Они просили денег, у них тотчас появились новые требования.

Ксантипа, о которой не любила вспоминать Софья Андреевна, была очень замкнута и деятельно убирала дом, пряла шерсть, ткала полотно и кормила мужа. Софья Андреевна шила на мужа и на детей. Кроме того, она занималась издательством, вела корректуры, рассчитывала расходы, выбирала тип изданий.

Все время происходили столкновения с мужем.

В быту бывают драмы, как будто нарочно придуманные. «Смерть Ивана Ильича» — грустный рассказ о том, как человек погубил себя, живя, как все, и притворяясь благополучным. Но в то же время это рукопись, которую можно напечатать, подарить. Может быть, смягчая горечь книги, Лев Николаевич подарил рассказ Софье Андреевне ко дню ее рождения — она всегда говорила, что бывает очень рада, когда Лев Николаевич пишет художественное. Подарок обрадовал Софью Андреевну. Наконец-то Лев Николаевич опять занялся делом. Но рукопись в то же время денежная ценность, ее можно напечатать; если она попадет в журнал раньше Полного собрания сочинений, то стоимость рукописи уменьшится.

Когда в другой раз Лев Николаевич отдал свой рассказ («Хозяин и работник») в «Северный вестник», Софья Андреевна отчаянно заревновала. Редактором там была Любовь Гуревич, но Софья Андреевна ревновала не к женщине, не за себя, а за то, что обижают детей в пользу какого-то другого человека. Выбежала, накинув на рубашку халат, зимой на улицу, взяв с собой деньги, бегала по переулку, поехала на вокзал, потом вернулась домой, простудившись.

При ссорах Софья Андреевна выбегала в сад или даже на улицу неодетой, а улицы тогда были тихие и графиню все знали, и это было неудобно. Это все было способом надавить на сознание мужа, и в то же время это были страдания.

Софья Андреевна была кликуша, как называли в народе баб, сорвавшихся от тяжелой жизни и выкрикивавших в церкви на народе свои семейные несчастья, горести и позор.

«ПОСЛЕСЛОВИЕ»

В мире, в котором жил Толстой, занимая дом на Долго-Хамовническом переулке, счастливый брак был невозможен, потому что брак был связан с той самой собственностью, которая, по мнению самого Толстого, губила чистоту всех человеческих отношений. Надо сказать, что счастливых браков и не было вокруг Толстого: я говорил уже при анализе «Анны Карениной», что в общем все браки вокруг семьи Толстого были несчастны. И тогда Лев Николаевич с обычной, но невероятной своей последовательностью написал послесловие к повести, в котором объявил, что брака не должно быть вообще и что безбрачие есть идеал. Продолжение человеческого рода обеспечивалось тем, что люди будут идеал нарушать.

9 ноября 1889 года Лев Николаевич делает запись, в которой прямо связывает вопросы брака и вопросы собственности.

Здесь вина лежит на мужчине, он экономически порабощает женщину. Ненависть и осуждение перенесено на женщин путем введения мотива измены

Ревность Позднышева исторически отличается от ревности Отелло.

Отелло, как говорил Пушкин, не ревнив, а доверчив. Позднышев — собственник, он воспитал свою жену так, как хотел; погибла не любовь, а украдена собственность. В записях Толстого содержатся монологи героя, и герой этот — собственник.

Писал Толстой «Послесловие» трудно, как бы принуждая себя. Писал по параграфам: «Хотел я сказать, *во-первых...», «Второе* то...», *«Третье* то...», и так пять пунктов. Но после ответа на все пункты самодопрос продолжается

Первый пункт — утверждение того, что половое общение не необходимо, а напротив, «что воздержание возможно и менее опасно и вредно для здоровья, чем невоздержание ..» — это утверждение адресовано к мужчинам: сказано о пользе воздержания.

Второй пункт говорит о том, что плотская любовь не есть « ..поэтическое, возвышенное благо жизни.. ».

Третье о том, что нельзя употреблять никаких средств против деторождения.

Четвертый говорит о воспитании детей, о том, что ложное воспитание разжигает их чувственность; далее снова повторяется утверждение, что «наряды, чтения, зрелища, музыка, танцы, сладкая пища, вся обстановка жизни, от картинок на коробках до романов и повестей и поэм, еще более разжигают эту чувственность...».

В пятом пункте говорится, что напрасно все, что соединено с плотской любовью, « ..возведено в высшую поэтическую цель стремлений людей, свидетельством чего служит все искусство и поэзия нашего общества...»

Во всем послесловии отрицается поэзия любви и искусство, поскольку оно связано с любовью.

Далее утверждается, что «христианского брака быть не может и никогда не было...».

Толстой говорит о том, что на самом деле нравственность нарушается и вне брака и в браке и что так называемое христианское общество еще безнравственнее нехристианского.

Выход — целомудрие. Не надо бояться, что при полном целомудрии прекратится род людской, так как это недостижимый идеал.

Надо уметь руководиться идеалом, как компасом. «Законного наслаждения» нет — надо смотреть на «первое падение как на единственное, как на вступление в неразрывный брак».

Люди женатые должны «стремиться вместе к освобождению от соблазна, очищению себя и прекращению греха ».

Если Н. Федоров говорил об идеале науки как о достижении не только бессмертия, но и воскрешения отцов, то Лев Толстой говорил об идеале праведности — «полное половое воздержание...».

Об этой сверхневозможной утопии Толстой писал в послесловии к «Крейцеровой сонате» поэтично и образно: «Плавающему недалеко от берега можно было говорить: «держись того возвышения, мыса, башни» и т. п.

Но приходит время, когда пловцы удалились от берега, и руководством им должны и могут служить только недостижимые светила и компас, показывающий направление. А то и другое дано нам».

Мечта о компасе неожиданно связана с отказом от продолжения того человечества, которое создало мечту. Толстой не признавал истории, видя бедность и разврат, преодолевая путы семейных ограничений, уходя от самого себя, он смело правил по звездам в пустоту уничтожения.

Судьбы утопий иногда бывают ироничны. Послесловие было напечатано в XIII томе Полного собрания сочинений вместе с «Крейцеровой сонатой», и о праве напечатать это послесловие хлопотала благоразумная Софья Андреевна, защищая денежные интересы семьи Толстых.

Измены не было. Была жажда романтической любви с другим и чувство собственности к мужу.

Софья Андреевна не знала, что Танеев вообще не интересовался женщинами; очевидно, не знал этого и Толстой, который одновременно и уважал Танеева, хотя не любил его как музыканта, и презирал его как городского человека, и ревновал жену, и стыдился за нее.

Софья Андреевна не понимала, что ее не любят, ей временами казалось, что Танеев боится Толстого или бережет его. Она ходила на все концерты, старалась сидеть рядом с Сергеем Ивановичем в партере, а он убегал от нее.

Она писала возмущенные письма. Танеев вежливо отвечал ей, что музыкант имеет право на концерте сидеть где угодно.

Софья Андреевна однажды записывает, как цыганка сказала ей на улице: «Любит тебя блондин, да не смеет; ты дама именитая, положение высокое, развитая, образованная, а он не твоей линии... Дай 1 р. 6 гривен, приворожу... Приворожу, будет любить как муж...»

Мне стало жутко и хотелось взять у ней приворот».

Мечты Софьи Андреевны были путаны и противоречивы. Она мечтала о другой любви и в то же время жила собственностью, считая, что каждый листик, написанный Толстым, принадлежит семье.

Ревность и собственность сталкивались.

Лев Николаевич хотел дать в «Северный вестник» введение к одной переводной статье. Софья Андреевна в это время переживала жажду ревности, обостренную борьбой за самостоятельность. Она сказала Толстому: «...что его отношения к Гуревич так же мне неприятны, как ему мои к Танееву. Я взглянула на него, и мне стало страшно. В последнее время сильно разросшиеся густые брови его нависли на злые глаза, выражение лица страдающее и некрасивое».

Софья Андреевна не хотела бросить свою мечту о Танееве, она поехала в Киев, потом встретилась с сестрой Таней, потом поехала в Селище к Масловым. Место красивое — брянские леса, сосновые с дубом. Течет речка Навля. Здесь в гостях жил Танеев. Он сыграл Шуберта, Генделя. На другой день ездили в лес, фотографировали Софью Андреевну в дупле одной из вековых лип, а потом она вернулась в Москву.

Лев Николаевич был в ярости. Он написал письмо, озаглавленное им так: «Диалог». Письмо он хотел отправить к Татьяне Андреевне: «Нынче ночью был разговор и сцена, которая подействовала на меня еще гораздо более, чем последняя ее поездка. Для характеристики разговора надо сказать, что я в этот день только что приехал в 12-м часу ночи из поездки за 18 верст для осмотра именья Маши. Я не говорю, что в этом был труд для меня, это было удовольствие, но все-таки я несколько устал, сделав около 40 верст верхом, и не спал в этот день. А мне 70 лет».

Лев Николаевич надеялся, что все сойдет на нет, как уговаривала его Татьяна Андреевна. Но Софья Андреевна начала разговор сама:

«О. ...с Таней сестрой говорил?

Я. Да.

О. Что ж она говорила?»

И начался длинный разговор, который Лев Николаевич по привычке записал. Это пять страниц диалога. Лев Николаевич требует ответа, упрекает за поездку, говорит о ее влюбленности. Софья Андреевна раздражается.

Разговор кончается так: «Ты злой, ты зверь. И *буду любить добрых и хороших, а не тебя. Ты зверь».*

Потом были угрозы, что если Лев Николаевич напечатает «Воскресение», то Софья Андреевна напечатает свои повести.

Потом был истерический припадок с фразами, которые Толстой знал. Он поцеловал ее в лоб. «Она долго не могла вздохнуть, потом начала зевать, вздыхать и заснула и спит еще теперь».

Надо сказать, что ничего не было — не было измены; была неудовлетворенность женщины жизнью, отношениями, была мечта, была злоба.

Диалог, про который я только что говорил, попал в руки Софьи Андреевны. Она готовила в своем дневнике оправдание. «Не помню хорошенько, что со мной было, но кончилось какой-то окоченелостью». Потом запись о том, что она лежала полтора суток в постели. Кончается так: «Сейчас толкнула стол, и на пол упал портрет Льва Николаевича. Так-то я этим дневником свергаю его с пьедестала, который он всю жизнь старательно себе воздвигал».

К сожалению, дневник предназначался к опубликованию.

Лев Николаевич был чужим для этой женщины, которая могла его любить приливами.

А дом все подтачивался. Так в хорошей деревянной стройке, если фундамент сделан без продухов, заводится домовый гриб: он растет на балках, мокнет и плачет, разрастается, врастает в древесину, жует ее, и бревна становятся футлярами, наполненными трухой. Дом должен рухнуть. Бегите из такого дома.

Лев Николаевич не мог уйти из старой своей жизни, взяв с собой жену. Он ничего не переделал. Продолжалась старая жизнь: Софья Андреевна издавала книги, сыновьям нужны были деньги. Их нужно было все больше и больше. Появилось чувство независимости, росло упрямое право на обыкновенную жизнь. Сыновья играли в карты и подбирали лошадей в масть.

ЧИСТОГАН И БОРЬБА С НИМ

Жизнь вокруг Ясной Поляны изменялась: деревня разорялась, все иллюзии, что можно через школу или через проповедь создать островок старой деревни, хотя бы вокруг Ясной Поляны, и оттуда распространить ее шире — все это исчезало.

Жизнь продолжалась по-старому, но это старое уже было иным.

Лев Николаевич издавал и прежде сам свои произведения.

Это давало небольшой доход. Он отдавал свои книги издателям, с ним заключали грабительские договоры, он как бы проигрывал свои вещи. Но изменилось время: слава Толстого возросла, изменился сам книжный рынок, количество читателей, и издание вещей Толстого становилось довольно крупным предприятием.

Софья Андреевна включилась в хозяйственную работу; ей казалось, что она получила выход энергии, сможет своей работой обогатить семью, всех удовлетворит. Дети станут богаты, а Лев Николаевич сможет помогать бедным и, наконец, начнет писать художественные произведения, которые будут опять издаваться без конца. Софья Андреевна не очень много понимала в литературе, и когда сын ее Лев Львович написал и напечатал в журнале «Родник» первые рассказы и получил за них двадцать и шестьдесят пять рублей, то она была рада — не первым деньгам, заработанным сыном, а тому, что когда уже не будет Льва Николаевича, в доме останутся те же художественные интересы, те же разговоры. Разница между качеством работы Льва Львовича (а он писал ниже посредственного) и произведениями Льва Николаевича была для нее не очень ясна. Ей и самой хотелось писать, печататься. Она и себя считала подавленным талантом и в этом отношении была искренней.

Сейчас ей казалось, что происходит чудо: она обнаружила в себе деловой талант и сможет, как она сама писала мужу, натирать из его печатных листов золото, как Иван-дурак натирал золотые деньги из дубового листа.

Казалось, что в Ясной Поляне наступает золотая осень.

Но чудес не бывает, и деревня Ясная Поляна вокруг беднела, хотя сама Софья Андреевна готова была помогать, благотворительствовать.

В результате работы Черткова и Бирюкова у Софьи Андреевны появился конкурент — издатель-

ство «Посредник». Произведения Льва Николаевича, написанные после 1881 года, имели право печатать все, первое же право получало издательство «Посредник», оно было не коммерческого типа, но Чертков отстаивал свою привилегию первого издания, а Софья Андреевна хотела иметь привилегию для Собрания сочинений. Первоначально столкновения были не резкие, но дальше начались трагедии. Лев Николаевич мучительно осознавал свои новые решения и превращал их в художественные произведения. Вокруг него боролся чистоган.

Появились «Дьявол», «Отец Сергий», «Фальшивый купон», «Хаджи Мурат» и другие вещи. Они не должны были рождаться. Лев Николаевич боялся их. Он решил не издавать совсем «Хаджи Мурата», он не мог дописать «Нет в мире виноватых», потому что это не только было признанием правоты революционеров и вины богачей, которые только не сознавали свою вину, но это были золотые листы, которые рождали в семье алчность, рождали немыслимые ссоры, мучения.

Все это было еще впереди. Все это было в рождении. Пока Софья Андреевна была занята. В доме был относительный покой.

Издательская деятельность сперва утешила Софью Андреевну: работы было много. Трудно даже представить, что почти единоличным редактором и корректором двенадцатитомного издания оказалась одна женщина, которая в то же время вела хозяйство огромной семьи, она же была бухгалтером издательства, она же принимала подписку на издание. Надо по справедливости учесть, что тот воз, который повезла Софья Андреевна, был чрезвычайно тяжел.

Но Софья Андреевна работала охотно. Впоследствии она писала дочери, что ушла в работу так, как мужики уходят с горя в кабак.

Она стала запойным работником, она думала, что ее разлюбили.

Дневники Толстого не предназначались, как и письма его, для того, чтобы их все читали. Но в то

же время они стали исповедью для всех. Лев Николаевич делал вырезки, выбрасывал, но выброшенное сохраняли, письма переписывали, дневники копировали, машинистки снимали копии с самых интимных документов и добросовестно, бескорыстно передавали тайны.

Трудно и как-то совестно писать о семейных делах Толстого. Он оставил следы своего горя, и Софья Андреевна все записывала. Может получиться впечатление, что есть люди, которые лучше Льва Николаевича: нет, они только его бессознательнее, они его без совестней, в прямом, еще раздельном значении этих слов.

Не нужно думать, что издание сочинений графа Л. Н. Толстого было затеяно вне воли Льва Николаевича. Для того чтобы издавать, надо было потратить какие-то деньги на первое обзаведение: на бумагу, набор. Лев Николаевич помог найти эти деньги, заняв их у Стаховича. В ноябре 1885 года он писал жене: «Деньги от Стаховича получили, вексель отдали, нынче Сережа везет. Стахович не взял 8%, а только то, что он получал на бумагах, что выходит на 240 рублей меньше 8%».

При издании Софья Андреевна после долгих трудов и, конечно, не без ведома Толстого, добилась того, что в 12-м томе цензура пропустила статью «Так что же нам делать?».

Одновременно Софья Андреевна дала объявление, что 12-й том продается только подписчикам на новое издание Толстого. Теперь читатель уже не мог купить 12-й том и прибавить его к старому салаевскому изданию 1880 года. Это вызвало ропот у покупателей.

Софья Андреевна издала сперва три тысячи томов, но сразу же понадобилось издать еще двадцать тысяч. Стало ясно, что появился новый читатель — новый читатель другой России и другого интереса к Толстому.

В распределение денег, полученных от изданий, Лев Николаевич не вмешивался. Он писал Софье Андреевне длинные письма и не дописывал их. Уез-

жая к Олсуфьевым, Толстой оставил письмо в Москве. В начале автографа пометка С. А. Толстой: «Не отданное и не посланное письмо Льва Николаевича к жене». Письмо не отдано, сохранено, но не подписано. В письме почти десять печатных страниц.

В письме указаны цитаты из «Исповеди», причем они не приведены: «Вот что я писал: 56, 57, 58, 59 стр. отчеркнуты». Рядом с письмом, очевидно, лежала книга, выпущенная за границей Элпидиным в 1884 году. Письмо мучительное, статейное, не очень личное, утверждающее толстовское учение, и в то же время это исповедь, исповедь перед собой.

Вырваться из хода жизни было тяжко, почти невозможно.

Вырастали дети, чуждые отцу. Лев Николаевич считал иногда, что вина лежит на Софье Андреевне, которая считала переворот, происшедший в нем, «чем-то неестественным, случайным, временным, фантастическим, односторонним».

В самом конце 1885 года Софья Андреевна в письме к сестре пишет о неожиданности — произошла она 18 декабря, письмо было отправлено 20-го. Лев Николаевич плакал, пробовал говорить, сбивался на утешения, но все же горе оказывалось неожиданным, оно не доходило до сознания много работающей, быстро двигающейся, шумящей шелковой юбкой Софьи Андреевны. Она считала, что все это уже было, и писала сестре: «Случилось то, что уже столько раз случалось: Левочка пришел в крайне нервное и мрачное настроение. Сижу раз, пишу, входит; я смотрю — лицо страшное. До тех пор жили прекрасно; ни одного слова неприятного не было сказано, ну ровно, ровно ничего. «Я пришел сказать, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, еду в Париж или в Америку».

Софья Андреевна стала собирать сундук, чтобы уехать к Кузминским.

Лев Николаевич стал плакать.

Самое страшное, что все это было не в первый раз и не в последний раз.

Это было навсегда, и в то же время это не совершалось, не кончалось.

Лев Николаевич решил, что настоящие двери для решения вопросов открываются «только вовнутрь», что так происходит во всех вопросах, всегда; наружу открывается дверь в бучило, в омут, но «дверь вовнутрь» не открывалась, она была приперта благоразумием. Софья Андреевна жила, как все.

В сказке об «Иване-дураке и его трех братьях» жена Ивана-дурака, по словам Толстого, ей в похвалу сказанным, — она была тоже дура — сказала про себя, как про жену: «Куда иголка, туда и нитка», — и потянулась за мужем в простую жизнь.

Толстой восхищался повестью Чехова «Душечка». Женщина стала женой антрепренера и восхищалась оперетками, потом она была женой лесопромышленника, и ей тогда снились доски и бревна; потом стала любовницей ветеринара и говорила только о болезнях животных, потом она воспитывала мальчика, думала только об уроках и мыслила, как гимназист третьего класса.

Лев Николаевич считал, что Чехов, желая унизить женщину, необыкновенно прославил ее; для него, Толстого, «душечка» — идеал женщины. Он изменялся, а жена с семьей должны были сказать: «куда иголка, туда и нитка», и переменяться вместе с ним. В нем старая жизнь жила, как эхо; Толстой любил музыку и Ясную Поляну со старыми деревьями и с фундаментом отцовского дома. Это тоже было в сознании, но горячее и ближе было другое — горе и ломка всего уклада жизни патриархального крестьянства. Изменила сознание Толстого, показала ему невозможность компромисса русская революция, изменившая сознание народа. Она еще в будущем, но натяжение земной коры — предвестник землетрясения — уже существовало: существовало недовольство народа, еще не до конца всеми в народе понятое, еще закрытое иллюзиями.

Софья Андреевна была средним человеком, обладающим здравым смыслом, то есть суммой предрассудков своего времени. Будущее для нее не су-

ществовало. Она считала поместья, титул, право на землю, на литературную собственность вечными и с осуждением относилась к сомнениям совести Толстого.

В одном доме жили люди с разным самосознанием.

Софья Андреевна уставала работать, она была поставлена в положение вечно виноватой. Она была виновата перед мужем в том, что обращала его мысли в деньги. Она была виновата перед сыновьями, что денег все время не хватало.

Она была поставлена в положение вечного «бича»: она всех ограничивала. От нее все требовали и не понимали, что она не играет в работу и не суетится только, а работает — занята. Иногда она замыкивалась так, что теряла представление о пространстве.

В октябре 1885 года она покупала вещи на Сухаревке, потом книги, потом отправилась еще на Смоленский рынок: «В этой суете я задумалась и вдруг опомнилась, что я взад и вперед три раза прошла бог знает зачем, куда, и совсем забыла, где я. Мне стало страшно, что я схожу с ума, и чтоб проверить себя, начала разговаривать с разносчиком. Потом села на конку и поскорей вернулась домой. Потом я поняла, что я ходила озабоченно — воображая, что я *дело делаю*. А уж давно ничего не нужно было».

К исканиям мужа она относилась со спокойствием непризнания, не видя силы и основы непризнания. Между тем отрицалась и она сама со всеми ее заботами. Но отрицалась непоследовательно.

Софья Андреевна в большом видела малое и спорила по пустякам.

Лев Николаевич хотел вместе с семьей делать крестьянскую работу. Софья Андреевна позволяла Льву Николаевичу косить, а дочерям сгребать сено, но запрещала им возить навоз.

Дом жил в нескольких этажах взаимного непонимания. Дочери тянули сторону отца, хотя по-разному. Сергей Львович вел жизнь чиновника, Илья Львович целыми днями охотился или кутил, Андрей Львович кутил и переживал романы, Лев Львович ревновал своего отца к литературной славе, и все они не имели опоры в своих решениях.

Лев Николаевич думал, что надо переделать сознание и потом сознание переделает бытие. Пусть не сразу. Сперва загорятся растопки, а потом дрова. Он начал с помощью дочерей строить для бедных крестьян избы.

Маша и Таня, разувшись, месили глину. Избы строили несгораемые. Приблизительно такие, какие строил при помощи крепостных молодой Нехлюдов в «Утре помещика». Изба, построенная лично Толстым, все же сгорела, но дело не только в ее технических качествах, а в том, что, как говорил яснополянский сумасшедший Блохин, считавший себя большим барином, достигшим всех чинов, работа эта была хороша скорее «для разгулки времени».

Лев Николаевич полагал, что его окружающие и даже он сам похожи на Блохина.

Блохинский бред отличался от положения семьи Толстого тем, что у них привилегии поддерживались случайностью рождения, которое обеспечивало им покровительство закона. Освобождение должно было прийти через то, что люди перестали бы верить в нелепость — в привилегии.

Большинство должно было перестать служить меньшинству. Но большинство приходило в сознание единицами, и эти единицы гибли.

Общее решение большинства, отвергающее старое, называется революцией, но революция — это насилие, а насилия Толстой не признавал.

Постройка изб, мешание ногами глины и долгие часы косьбы, в которой Толстой равнялся с мужиками, не приводили к победе мозольного труда.

Толстой знал, что зло в том, что один человек пригибает другого и заставляет его работать на себя, как бы съедает его, но не мог найти выход из противоречия.

Трагедия Толстого происходила не в его доме, она обнаруживалась в его доме. Можно было отказаться

от имущества, раздать все, уйти жить в избу, но Лев Николаевич хорошо знал уровень жизни деревни; отказавшись от всего, надо было отказываться даже от сухой соломы на постели, потому что нужда не имела пределов.

Надо было наливать воду в бочку без дна.

От такого безысходного горя помогает изменение всей жизни.

Пока Толстой жил компромиссами.

СОФЬЯ АНДРЕЕВНА У ЦАРЯ АЛЕКСАНДРА III

I

В марте 1891 года Софья Андреевна поехала в Москву хлопотать о выпуске задержанной XIII части Собрания сочинений. Сперва она заехала в цензурный комитет к Феоктистову, который принял ее сухо.

В разговоре оказалось, что Феоктистов не знает даже оглавления XIII части, и уверял в то же время, что запрещены главы «Так что же нам делать?». На самом деле эти главы уже были пропущены в XII части Собрания сочинений.

Софья Андреевна заехала в театральный комитет и спросила относительно пьес Толстого. Дело шло о «Плодах просвещения». Директор императорских театров Всеволожский ставил перед Софьей Андреевной ряд условий: она должна была выдать удостоверение, что пьесы не будут играться на частных сценах. Софье Андреевне с ее напористостью и толковостью удалось добиться благоприятного ответа.

Но главное было — прием у царя. При дворе был траур, дело задерживалось.

13 апреля Софья Андреевна узнала от Стахович, что ее приглашают на прием в Аничков дворец к половине двенадцатого.

В черном платье, в черной кружевной шляпе с крепом приехала Толстая в начале двенадцатого часа. Швейцар не знал о приеме, но появился скороход — «молодой, благообразный человек в ярком красное с золотом одеянии». Сообщил, что о графине Толстой уже спрашивали, и побежал докладывать. Быстрота его бега была, так сказать, этикетная: он, скороход, бежал с поручением. Растерянная Софья Андреевна сама побежала за скороходом и задохнулась. Несколько минут ей казалось, что она умрет на этом ярко-зеленом некрасивом ковре. Скороход исчез. Толстая прошла в гостиную, села, не могла отдышаться, развязала незаметно под лифом корсет, походила, вспоминая, как водят загнанных лошадей, и опять села, думая о том, как примут дети известие о ее смерти.

В это время пришел опять скороход и провозгласил: «Его величество просит ее сиятельство графиню Толстую к себе!»

Александр III встретил графиню у дверей, подал руку, извинился, что заставил ждать.

Для Софьи Андреевны это была наивысшая точка ее общественного восхождения. Она описывает царя так: «Рост очень большой; государь скорее толст, но крепок и, видно, силен... Он мне напомнил немного Владимира Григорьевича Черткова, особенно голосом и манерой говорить».

Вероятно, у человека, выросшего в придворной среде, бывшего кавалергарда Черткова, в самом деле было что-то общее с тогдашним образцом великосветскости. Софья Андреевна заранее приготовила свою речь и произнесла эту речь — не мудреную, но хитрую.

Лев Николаевич в то время мечтал о новом большом романе, куда бы вошли старые замыслы о переселенцах на новые земли, о ссыльном дворянине, и начал писать «Воскресение». Толстая надеялась, что Лев Николаевич вернется к художественной деятельности, но не представляла себе ее; она по своей оптимистичности наивно предполагала, что это произведение по своему содержанию удовлетворит императора.

Софья Андреевна была наивно-преданной верноподданной из семьи чиновника, получившего дворян-

ство по выслуге. Она вместе со своими сестрами в последние годы царствования Николая I носила «патриотическое пальто» из грубого сукна. Сердце ее и сейчас было в придворном платье патриотической дамы.

Софья Андреевна сказала: «Ваше величество, последнее время я стала замечать в муже моем расположение писать в прежнем художественном роде, он недавно говорил: «Я настолько отодвинулся от своих религиозно-философских работ, что могу писать художественное, и в моей голове складывается нечто в форме и объеме «Войны и мир». А между тем предубеждение против него все возрастает. Вот, например, XIII часть арестовали, теперь нашли возможным пропустить. «Плоды просвещения» запретили, теперь велели играть на императорских театрах. «Крейцерова соната» арестована...

На это государь мне сказал:

— Да ведь она написана так, что вы, вероятно, детям вашим не дали бы ее читать.

Я говорю:

— К сожалению, форма этого рассказа слишком крайняя, но мысль основная такова: идеал всегда недостижим; если идеалом поставлено крайнее целомудрие, то люди будут только чисты в брачной жизни».

Два человека хитрили друг перед другом.

Александр III был царем и знал свое ремесло; он помнил также, что Толстой написал статью «Николай Палкин», что статья эта не только унижает деда, но и раскачивает престол. Но Толстой был очень сильным противником, и о том, что такое Толстой, Александр III знал лучше Софьи Андреевны.

Графиня сказала: «Как я была бы счастлива, если бы возможно было снять арест с «Крейцеровой сонаты» и в Полном собрании сочинений. Это было бы явное милостивое отношение к Льву Николаевичу и могло бы очень поощрить его к работе».

В дневнике Толстой вписано другими чернилами перед словами «могло бы» слова: «кто знает». «Государь на это сказал смягчаясь:

— Да, в Полном собрании можно ее пропустить, не всякий в состоянии его купить, и большого распространения быть не может».

Царь в той же беседе выразил сожаление «о том, что Лев Николаевич отстал от церкви». На это Софья Андреевна ответила:

«Могу уверить ваше величество, что муж мой никогда в народе, ни где-либо не проповедует ничего; он ни слова не говорил никогда мужикам и не только не распространяет ничего из своих рукописей, но часто в отчаянии, что их распространяют. Так, например, раз один молодой человек украл рукопись из портфеля моего мужа, переписал из дневника его и через два года начал литографировать и распространять».

При этом сообщении фамилии Софья Андреевна не называла.

«Государь удивился и выразил свое негодование».

Софья Андреевна на вопрос царя, как дети относятся к учению отца, ответила: «что к тем высоконравственным правилам, которые проповедует отец, они не могут относиться иначе, как с уважением, но что я считаю нужным воспитывать их в церковной вере, что я говела с детьми в августе, но в Туле, а не в деревне, так как из наших священников, которые должны быть нашими духовными отцами, сделали шпионов, которые написали на нас ложный донос.

Государь на это сказал: «Я это слышал». Затем я рассказала, что старший сын — земский начальник, второй — женат и хозяйничает, третий — студент, а остальные дома».

II

Теперь, как говорилось в старых романах, оставим наших героев и расскажем о том, что могло послужить основанием к их разговору, то есть способствовать решению дать аудиенцию.

Эти основания вряд ли были вполне ясны Софье Андреевне, но, конечно, вполне были ясны Александ-

ру III, который видел в Софье Андреевне как бы своего представителя в семье Толстого.

8 мая 1890 года в «Новом времени» было напечатано извлечение из всеподданнейшего отчета обер-прокурора Святейшего синода. Печаталось оно со следующим введением, делающим его официальным документом:

«Во всеподданнейшем отчете г. обер-прокурора Св. Синода за 1887 год мы встречаем следующие интересные строки, относящиеся до графа Л. Н. Толстого».

Приводим документ с сокращениями:

«В 1887 году граф Толстой проживал большею частью в Москве, а не в Ясной Поляне, как в ближайшие предшествовавшие годы, и, следовательно, для личного своего влияния на яснополянских крестьян располагал меньшим временем, нежели прежде. К тому же и самые отношения его к этим крестьянам значительно изменились. Правда, он пахал и косил наравне с крестьянами, при случае оказывал помощь бедным своими трудами, например, покрывал хаты соломою, смазывал печи и т. п., стараясь производить все подобные работы преимущественно в праздничные дни; но он уже не имел возможности в прежних размерах оказывать крестьянам денежную или материальную помощь из своего имения, так как старшие его сыновья начали ограничивать его расточительность и преследовать проступки крестьян против его собственности и уже не дозволяют крестьянам хищнически хозяйничать в его имении <...>.

В настоящее время главным средством пропаганды идей Толстого осталась бесплатная раздача крестьянам мелких изданий известной фирмы «Посредник» («Новое время», 8 мая 1890 года).

Сообщение это вызвало ответ.

С. Л. Толстой в «Толстовском ежегоднике» (1913 г.) рассказал о том, как составлялось опровержение.

Газетное сообщение было прочитано сыновьями тогда же. Опровержение задумали Илья и Лев:

«Брат Лев даже написал редакцию такого опровержения».

Что стало с редакцией Льва Львовича, Сергей Львович не пишет и продолжает так:

«Я тогда составил нижеизложенное письмо и решил поместить его в газеты. Но как и куда? Сообразив, что скорее всего его напечатает «Новое время», я отправился к А. С. Суворину. Он меня принял и откровенно сказал, что охотно поместил бы мое опровержение, если бы не боялся за судьбу «Нового времени», в то время уже имевшего за собой два предостережения.

— Впрочем, вот что, — сказал мне Алексей Сергеевич, — я спрошу самого Константина Петровича (Победоносцева), не встречает ли он препятствий к напечатанию вашего опровержения.

Оставив Суворину свое письмо, я ушел в уверенности, что оно напечатано не будет, однако, к моему удивлению, вскоре оно появилось в «Новом времени». Обращался ли А. С. Суворин к Победоносцеву или нет, я не знаю».

Вероятно, опровержение было составлено коллективно или по крайней мере было согласовано с братьями. Вероятно, оно напечатано после согласования с Победоносцевым: А. Суворин был осторожен.

Опровержение чем-то удовлетворило Победоносцева. Вот оно:

«М. Г. г. редактор! В «Новом времени» от 8 мая было помещено извлечение из всеподданнейшего отчета г. обер-прокурора Св. Синода за 1887 г. относительно «распространения в Кочаковском приходе миросозерцания и нравственных убеждений графа Л. Н. Толстого», в котором мы прочли между прочим, что граф Толстой «уже не имел возможности в прежних размерах оказывать крестьянам помощь из своего имения, так как старшие его сыновья начали ограничивать его расточительность и преследовать проступки против его собственности и уже не дозволяют хищнически хозяйничать в его имении».

Заметив, что отец признает действительною лишь

помощь, оказываемую *личным трудом,* а при таком воззрении нет места расточительности (это видно из его сочинений, а также из отчета г. обер-прокурора, где говорится, что граф Толстой при случае оказывал помощь бедным *«своими трудами»*), и не касаясь всего прочего в отчете, мы, старшие сыновья гр. Л. Н. Толстого, считаем своим долгом печатно заявить, что мы не только никогда не позволили бы себе ограничивать расточительность отца, — на что мы не имеем никакого права, — но что мы сочли бы неуважительным всякое с нашей стороны вмешательство в его действия.

Надеемся, что газеты, поместившие извлечение из всеподданнейшего отчета г. обер-прокурора, не откажут перепечатать настоящее письмо.

Примите и проч.

Старшие сыновья графа Л. Н. Толстого
С е р г е й, И л ь я, Л е в Т о л с т ы е».

Обер-прокурорский отчет носил провокационный характер. По царским законам над «расточителем» по заявлению родных могла быть назначена опека. Отчет как бы вызывал наследников к действию.

Угроза была реальна, нападение было хорошо задумано.

Правительство, вероятно, хотело отвести от себя упреки мировой общественности, выдвинув заслоном требование семьи, или же сделать семью как бы надсмотрщиком над Толстым.

Сыновья не пошли на провокацию, но в их опровержении буквально курсивом подчеркивался *трудовой* характер толстовской благотворительности. Несмотря на искренние заявления об уважении к отцу, этот курсив уже как бы ограничивал его деятельность.

Это опровержение предваряло отказ Толстого от имущества и, может быть, побуждало его совершить это.

При всей своей лояльности к отцу опровержение свидетельствовало о том, что семья Толстого не поддерживает его и только «не вмешивается в его действия» Этого показалось достаточным для того, чтобы письмо было напечатано.

Сведения о хозяйственных столкновениях кого-то с крестьянами, которые «хищнически хозяйничают в его (Толстого. — *В. Ш.*) имении», тоже были точны; столкновения эти все возрастали.

Всеподданнейший отчет обер-прокурора Священного синода содержал еще одно место, не приведенное в «Новом времени», но переданное П. Бирюковым в «Биографии Л. Н. Толстого».

«...вред Л. Н-ча парализуется благонадежным состоянием семьи Л. Н-ча, которую графиня ведет в духе православия и которая не дает Л Н-чу вести свою тайную пропаганду». В перепечатку «Нового времени» эти слова не попали, не попали они и в опровержение сыновей, которые остались в пределах отрывка, напечатанного в «Новом времени».

Софья Андреевна в опровержении не упомянута.

Правительство принимало Софью Андреевну не только как милую даму, но и как своего возможного союзника.

Софья Андреевна этого не опровергала.

III

Вернемся в зал императора.

Разговор шел в самых благоприятных тонах.

Царь спросил о здоровье детей и, узнавши, что у младшего ветряная оспа, сказал, что это не опасно, только бы не простудить.

Софья Андреевна была обласкана.

Все это было очень благонадежно. Софья Андреевна на вопрос царя о «Крейцеровой сонате» ответила, что Лев Николаевич не переделает повесть, потому что она «ему противна стала».

Кроме того, был еще разговор о том, что Толстой сильно влияет на молодежь. На это Софья Андреевна ответила:

«— Все это почти те люди, которые находились на ложном пути политического зла, и что Лев Нико-

лаевич обратил их к земле, к непротивлению злу, к любви. И что во всяком случае, если они не в истине, то на стороне порядка».

Разговор продолжался. Царь спросил о Черткове — сыне Григория Ивановича и Елизаветы Ивановны: это были люди, близкие ко двору. Софья Андреевна нашлась и стала защищать Черткова.

«— Черткова мы более двух лет не видали. У него больная жена, которую он не может оставлять. Почва же, на которой Чертков сошелся с моим мужем, была сначала (это слово вписано другими чернилами) не религиозная, а другая».

И тут Софья Андреевна рассказала о том, что Толстой «дал мысль Черткову преобразовать народную литературу, дав ей нравственное и образовательное направление».

Софья Андреевна даже попросила царя стать самому цензором вещей Толстого. Неосторожная женщина готовила Толстому участь Пушкина; время изменилось, и дело Толстого уже не могло поместиться в личной канцелярии его императорского величества, хотя Александр III и сказал милостиво:

«— Я буду очень рад; присылайте его сочинения прямо на мое рассмотрение».

Потом было прибавлено:

«— Будьте покойны, все устроится».

После этого Софья Андреевна была милостиво допущена к императрице. Перед покоями императрицы стоял «немолодой лакей с иностранным лицом и выговором... С другой стороны стоял негр в национальном мундире».

Софья Андреевна была в ажиотаже: она путала слова и условно-национальный костюм назвала мундиром.

Сама царица описана графиней не без литературного блеска. «Тоненькая, быстрая и легкая на ногах, подошла ко мне навстречу императрица. Цвет лица очень красивый, волосы удивительно аккуратно прибраны, точно наклеены, красивого каштанового цвета, платье черное шерстяное, талия очень тонкая, так же руки и шея... Голос поражает своими гортанными и громкими звуками». Разговор был очень милостивый. Императрица уже слыхала, что у графа крадут и печатают, не спрося, его рукописи.

Дальше разговор перешел на детей.

Толстой 18 апреля 1891 года записывает в дневнике: «Соня приехала дня три тому назад. Были неприятны ее заискивания у государя и рассказ ему о том, что у меня похищают рукописи. — И я было не удержался, неприязненно говорил, но потом обошлось».

Только казалось, что «обошлось».

Из этого посещения Софья Андреевна вынесла уверенность в себе, и аудиенция эта, вероятно, немало способствовала остроте столкновений в семье Льва Николаевича.

РАЗДЕЛ ЗЕМЛИ. ПИСЬМО ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЛИТЕРАТУРНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Лев Николаевич находился в положении безвыходном. Ясная Поляна, как имение и как деревня, существовала в его сознании и как настоящее и как прошлое. Прошлое иногда казалось более важным, более действительным, он сам писал об этом в дневниках — воспоминания как бы очищали прошлое, делали его поэтичным.

В воспоминаниях жила патриархальная деревня с большими неразделенными семьями, со стариками, которые управляли сыновьями и внуками, с веселыми ямщиками, с песнями на дорогах.

Нехлюдов в «Утре помещика» всего этого уже не видел или видел в мечте.

В конце столетия деревня разорялась. Крестьяне были освобождены на немыслимых условиях: крестьянский надел был оценен много выше своей тогдашней настоящей цены, выше той цены, которую можно было заплатить, работая на этом наделе. Надел не был равен той земле, которую прежде пахал на себя мужик. Надел был изуродован отрезками, причем резали так, чтобы мужик не мог жить без барина;

если он хотел выпустить хоть куренка, то нужно идти к барину на поклон

Те земли, на которые мог бы уйти мужик, были разграблены или недоступны для бедного крестьянина: они были отделены от него тысячами верст бездорожья и голода по дороге по этому бездорожью Это был трудный путь для крестьянской лошади — крестьянам как бы предлагали каторжные земли, не давая им техники

Лев Николаевич мечтал о прошлом, верил в прошлое, но он жил в настоящем. Его непризнание истории, представление мира неподвижным делало его несчастливым. Он уже говорил «в телефон», получал телеграммы со всего мира; Москву начинали освещать электричеством, появилась фотография, пошли разговоры об авиации В научно-фантастических романах был объявлен тот мир, который мы уже оставили за собой. В романе Жюля Верна через космическое пространство неслось ядро, в котором летели два американца как хозяева и француз — веселый, бесстрашный спутник.

Лев Николаевич читал и прежде детям для практики французского языка Жюля Верна и сам сделал к нему рисунки

Жизнь для Толстого разделилась на то, что должно было быть, и на то, что было.

Было разорение, было движение вперед В Россию пришел капитализм, его отрицали народники, по-другому отрицал Толстой, и Ленин писал книгу «Развитие капитализма в России», видя, что капитализм пришел, и зная, что он пройдет.

Мир несся в будущее, в космическое будущее Лев Николаевич видел развал, безнравственность, бедноту и, смотря на сегодня из прошлого, утверждал, что завтра будет — вчера. Мгновенье — миганье, движение ветра. Не успеешь увидеть, как мгновенье проходит. Многие люди не умеют смотреть, они прищуриваются, как Анна Каренина, как Левин, как графиня Александра Андреевна Толстая — старый друг Толстого, фрейлина императорского двора, воспитательница царевых детей.

Толстой не мог прищуриваться, он поневоле смотрел открытыми глазами на то, что было ясно, до боли в глазах, и видел безобразие существующего

Его реализм был реализмом крестьянина, пришедшего в город и здесь видящего эту жизнь вне предрассудков, которые принято называть здравым смыслом

Реализм Толстого стал новым шагом в мировом развитии искусства Он был необходим для мира, для России, для русской революции.

Он утверждал его в одновременной борьбе с Шекспиром и с декадентами Для него Шекспир — талантливый, опытный актер, который умеет изображать и изображает что-то странное, небывалое, но изображает выспренним языком. Он упрекает Шекспира в том, что все герои его говорят не так, как люди времен Толстого, и действуют так, как не действует никто в русской деревне.

Но искусство вечно, оно идет и не проходит, потому что в сцеплении понятий постигает сущность явлений И самое большое чудо из созданных человечеством — это непреходящее значение произведений искусств, которые создаются на основании определенных условий и переживают эти условия

Лев Николаевич смеялся над «Королем Лиром» Шекспира Так не бывает в мире, думал он, чтобы король, говоря какие-то странные слова, разделил между детьми королевство и был изгнан этими детьми и скитался в бурю со своим слугой

Советский актер Михоэлс, готовясь играть роль короля Лира, читал статью Толстого о Шекспире, восхищался ею и говорил, что Лев Толстой, отрицая «Короля Лира», сам сыграл его роль, раздав имущество и уйдя в изгнание

Шекспир описан Толстым зорко и правильно, а опровергнут неправильно, потому что он опровергается с точки зрения неподвижности истории, вечности эстетических норм

Уйти из жизни было невозможно Толстовцы пытались основать земледельческие колонии, заняться мозольным трудом, интеллигенты пахали, отказыва-

лись от науки, от всяких знаний, набивали неумело обручи на бочки. Среди этих бондарей был Иван Бунин, а учил его неумелый человек Файнерман, который потом стал журналистом под именем Тенеромо.

Люди бросали кафедры, уходили пахать землю и, конечно, пахали ее плохо.

Сам Лев Николаевич этому делу не больно верил. Он говорил:

«Удаление в общину, община, поддержание ее в чистоте, все это — грех, ошибка. Нельзя очиститься одному или одним — чиститься, так вместе; отделить себя, чтобы не грязниться, есть величайшая нечистота, вроде чистоты дамской, добываемой трудами других. Это все равно, как чистить или копать с края, где уже чисто».

Колонии существовали от двух до трех лет, не больше. Писали люди письма о труде своем, как о чуде, и в этом не было правды.

Лев Николаевич записывал в 1892 году: «Получил от Алехина письмо нехорошее. Все хочет сделать что-то необыкновенное, когда признак настоящего труда есть «обыкновенное». Не козелкать, а тянуть».

А. В. Алехин — человек с университетским образованием, химик, захотел сделать в жизни больше Толстого. В конце жизни стал, однако, городским головой города Курска, что можно считать для обыкновенного и плохого человека того времени удачей.

Так что же делать, когда тебя окружают чужие близкие, когда они с тобой спорят — спорят ежедневно, смотрят на тебя глазами твоего прошлого и похожи на тебя потому, что они твои дети?

Лев Николаевич писал в тогдашнем дневнике, что он и сам когда-то мечтал, что царь ему подарит леса засеки, которые так красиво растут вокруг Ясной Поляны. Не в мечтах он сам купил дальние самарские земли — для воли, для поэзии, но покупка обращалась в богатство.

Осенью 1890 года поймали мужиков на порубке леса. Лес отошел к помещикам, и крестьяне дворянский лес не щадили. Срубят липу, покроют листьями,

потом вывезут. Елочку посаженную срубят — продадут на рождество в Тулу, осину срубят — избу подопрут колом. Поймали мужиков, они просили Софью Андреевну, она их не простила. Их судили, дело обычное: присудили к шести неделям тюрьмы.

Льва Николаевича это подвинуло на то, чтобы оформить отдачу земли семье. То Софья Андреевна с мужиками говорила по его доверенности, а так она будет говорить от себя.

Софья Андреевна в дневнике спорила, что если собственность есть грех, то почему она должна брать грех на себя.

Но поездка в Петербург и слухи о том, что в царской семье ее очень хвалили, говорили, что она красивая, умная, все это Софью Андреевну подымало. Рыбу можно поймать не только на наживку, но и на блесну. Сыновья Толстого были либеральными или консервативными молодыми людьми. Лев Николаевич, Сергей Николаевич презирали в свое время «благородное крапивенское дворянство», а сыновья Толстого просили у него доверенность, чтобы участвовать в дворянских выборах.

Собрались и быстро решили произвести раздел, будто умер Лев Толстой или в монастырь ушел.

У Льва Николаевича запись о разделе приурочена к 18 апреля 1891 года. Про раздел не много — треть страницы, а запись две странички. Говорится, что Соня приехала: «Она стихийна, но добродушна ко мне, и если бы только помнил всегда, что это препятствие — оно, но не она, и что сердиться и желать, чтобы было иначе, нельзя».

Оно — это общее обстоятельство, она или они — жена и семья. Все взяли доли, разделили, только Маша отказалась. Ей говорили, что она отказывается только на словах — ее ругали. Толстой пишет Н. Н. Ге в письме от 17 апреля 1891 года: «Теперь все собрались дети. Илья все хозяйничает и живет распущенно, и денежные столкновения с матерью, и решили все делить именье. Илья рад, остальные спокойно равнодушны. Маша озабочена тем, как бы отказаться так, чтобы ее часть не была ее. Я должен

буду подписать бумагу, дарственную, которая меня избавит от собственности, но подписка которой будет отступлением от принципа. И все-таки подпишу, потому что, не поступив так, я бы вызвал зло...

Пишу нехорошим почерком, потому что приехал из Ясенков и руки озябли, а не хорошо по содержанию, потому что не совсем хорошо настроен. Но хочется поскорее написать.. »

Холод был только апрельский; озноб был внутренний.

Как всегда при разделе в дворянских семьях, сперва устанавливали по оценке доли, уравнивая их друг с другом, а потом доли пускали на жеребьевку, чтобы было меньше споров.

Всего было девять жребиев. Земельные участки оценили в пятьсот пятьдесят тысяч и разделили на девять жребиев. То, что нельзя было выровнять по цене, уравнивалось доплатами. Привожу результат раздела:

«1. Сергей Львович — около 800 десятин земли при селе Никольском-Вяземском, с условием уплатить в продолжение года Татьяне Львовне 28 000 руб., а матери, в продолжение 15 лет, 55 000 руб., с уплатой 4% с этой суммы годовых.

2. Татьяна Львовна получила Овсянниково и 38 000 руб. денег.

3. Илья Львович — Гриневку и 368 десятин части имения при с. Никольском-Вяземском.

4. Лев Львович — дом в Москве, 394 десятины земли в Самарском имении при с. Бобровне и 5 000 руб. в продолжение 5 лет.

5. Михаил — 2 105 десятин в Самарском имении с обязательством уплатить 5 000 руб Льву.

6—7. Андрей и Александра — 4 022 десятины земли в Самарской губ. (пополам), с обязательством уплатить 9 000 руб. Татьяне Львовне.

8. Ивану — 370 десятин Ясной Поляны.

9. Софье Андреевне — остальную часть Ясной Поляны и 55 000 руб., долю Марьи Львовны».

Стоимости доль наследства впоследствии оказались неравномерными. Мы знаем, что Самарское имение, земли которого были куплены Львом Николаевичем по семь и по тринадцать рублей десятина, были проданы наследниками вскоре за четыреста пятьдесят тысяч рублей. Таким образом, Андрею Львовичу, Михаилу Львовичу и Александре Львовне досталось по сто пятьдесят тысяч.

В 1899 году Лев Николаевич сказал Гольденвейзеру:

«Мне теперь смешно думать, что выходит, как будто я хотел хорошо устроить детей. Я им сделал этим величайшее зло. Посмотрите на моего Андрюшу. Ну что он из себя представляет?! Он совершенно неспособен что-нибудь делать. И теперь живет на счет народа, который я когда-то ограбил, и они продолжают грабить. Как ужасно мне теперь слушать все эти разговоры, видеть все это! Это так противоречит моим мыслям, желаньям, всему, чем я живу... Хоть бы они пожалели меня».

Жизнь одного человека так вплетена в жизнь всего общества, что высвободить свою линию, выплести нитку своей судьбы из ткани без насилия невозможно. Положение Льва Николаевича было противоречиво; его обвиняли, над ним смеялись, он говорил, что это унижение полезно для него, и постепенно в его дневниках появляется выражение, которое потом, не зная толстовских дневников, применил к Толстому Ленин (1908 г.). «Часто мне приходило в голову, и я писал это, что юродство (во Христе), т. е. умышленное представление себя худшим, чем ты есть, высшее свойство добродетели». Так записал Толстой 29 мая 1893 года.

Слово «юродство» повторяется затем на той же странице: «Юродство нарочно притворяться порочным хотя и полезно может быть себе, но думаю, что вредно, как есть гнилое; но не разрушать установившегося дурного мнения и радоваться ему, как освобождению от величайшего соблазна и привлечению к истинной жизни исполнения воли бога, естественно и должно — Эту тему надо разработать в Сергии. Это стоит того».

«Отец Сергий», который писался в то время, это

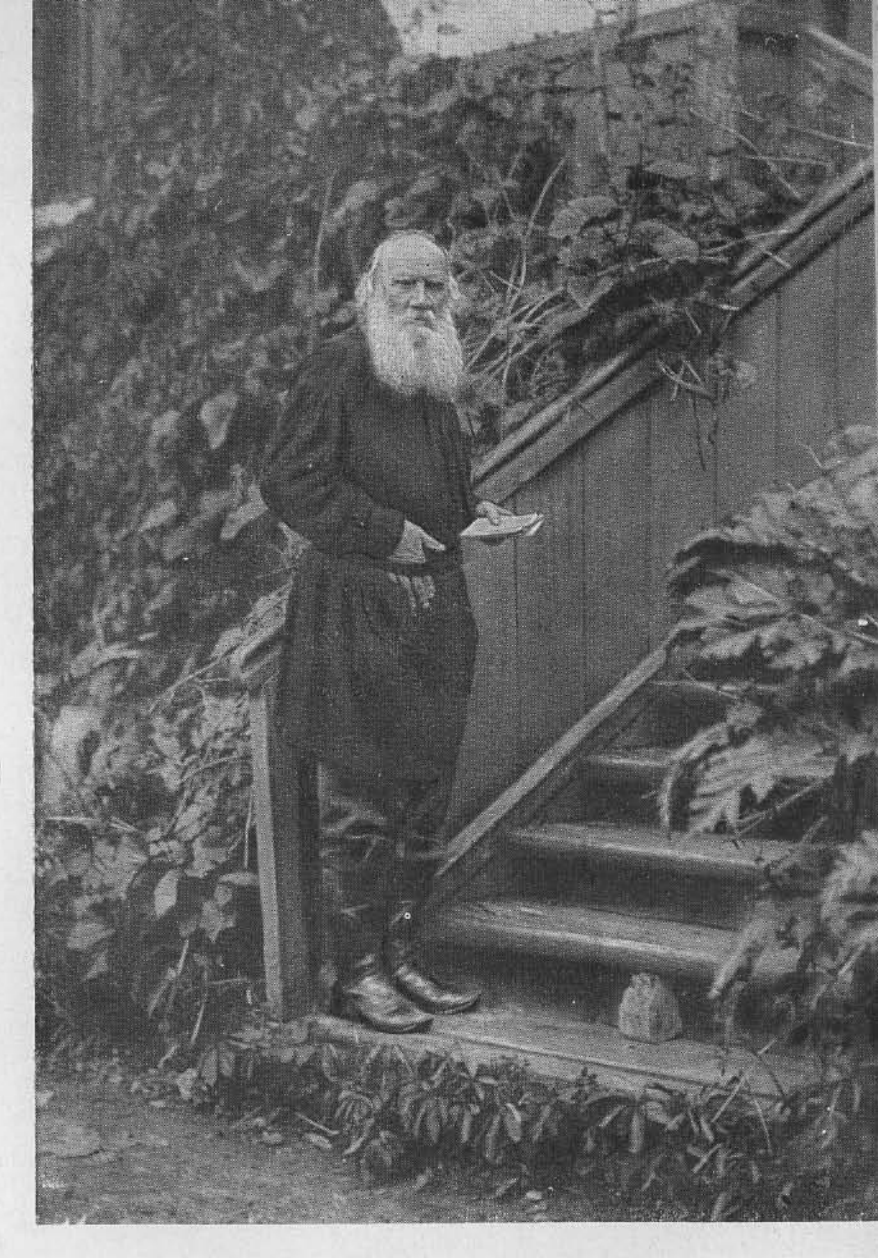
тоже дневник Толстого. Он складывался постепенно и становился все более трагическим. Первоначально женщина, с которой пал монах, была чувственна, но не отвратительна. Толстой все время пытался осудить мир как грех, он проклинал чувственную любовь в «Крейцеровой сонате» и в «Отце Сергии» и не мог отодвинуть от себя соблазна красоты. Он продолжал помнить «дьявола». Он любил жизнь, любил лес, в котором гулял. Рядом с ним еще жил последний сын, любимый сын — Ванечка.

После раздела земли нужно было решать, как быть с авторскими правами.

Шел 1891 год. Лев Николаевич сказал жене, что пишет письмо в газеты и в письме отказывается от прав на свои сочинения. Софья Андреевна промолчала. Прошло несколько дней. Толстой заговорил опять об этом. Софья Андреевна записывает в дневнике: «На этот раз я не подготовилась, а первое чувство было опять дурное, т. е. я прямо почувствовала всю несправедливость этого поступка относительно семьи, и почувствовала в первый раз, что протест этот есть новое опубликование своего несогласия с женой и семьей. Это больше всего меня встревожило. Мы наговорили друг другу много неприятного. Я упрекала его в жажде к славе, в тщеславии, он кричал, что мне нужны рубли и что более глупой и жадной женщины он не встречал. Говорила я ему, как он меня всю жизнь унижал, потому что не привык иметь дело с порядочными женщинами; он упрекал мне, что на те деньги, которые я получаю, я только порчу детей... Наконец, он начал мне кричать: «Уйди, уйди!» — Я и ушла».

Пока дело шло только об отказе от авторских прав на последние сочинения. Одиннадцать томов оставались за богатой семьей. Но одновременно спор шел о правильности жизни, о праве на собственность для Софьи Андреевны, а для Льва Николаевича шел спор об «ослаблении того действия, которое могла бы иметь проповедь истины».

Софья Андреевна пошла, плача, по саду, стыдясь сторожа, который видит ее слезы. Потом она в ябло-



Л. Н. Толстой. Кочеты, 1910 г.



Л. Н. Толстой в магазине Циммермана

В гостях у Гольденвейзера. 1905 г.



невом саду села и подписала все объявления карандашом, который был у нее в кармане, а в записной книжке записала: «...я убиваюсь на Козловке, потому что меня измучил разлад в жизни со Львом Николаевичем».

Еще в молодости во время ссор она думала о самоубийстве и сейчас бежала на Козлову засеку, добежала до мостика у большого оврага. Ей хотелось вернуться, но было стыдно вернуться. Видит, что идет Александр Михайлович Кузминский. Он шел и случайно повернулся, потому что на него напали летучие муравьи.

Софья Андреевна решила, что это божья воля, но все-таки хотела утопиться, пошла через лес, в лесу испугалась какого-то зверя — какого, она не знала, потому что была близорука, вернулась домой. Так записано Софьей Андреевной 21 июля, а у Толстого записано 22-го: «И вчера же был разговор с женой о напечатании письма в газетах, об отказе от права авторской собственности. Трудно вспомнить, а главное, описать все, что тут было». Дальше вымарано девятнадцать строк. Остался лишь конец записи:

«Начал же я разговор потому, что она сказала как-то вечером, когда мы уже засыпать собирались, что она согласна. Мне ее жалко».

Тянулось время. В августе была опять попытка Льва Николаевича отправить письмо в редакции. Он как будто собирался отказаться от всех прав на все сочинения. Дело тянулось медленно, а в это время пошли страшные слухи, которые скоро превратились в явь: на Россию надвигался голод.

В июле Ясная Поляна была полна гостей, приехал Репин, рисовал картину: Толстой в его рабочем кабинете. Приехала Александра Андреевна Толстая — уже очень старая и по-прежнему умная женщина. В семье ее принимали с почетом. Она заметила, что человек, которого она долго любила, мрачен. Однажды она сказала: «Подумали ли вы когда-нибудь серьезно об ответственности перед вашими детьми? Все они производят на меня впечатление блуждающих

среди сомнений. Что вы дадите им взамен верований, вероятно отнятых у них вами?»

Толстой омрачился так, что Александра Андреевна поспешила выйти из комнаты.

А дело все тянулось. Наконец 16 сентября 1891 года Лев Николаевич написал и послал в газеты свое отречение в такой форме:

«Милостивый государь,

Вследствие часто получаемых мною запросов о разрешении издавать, переводить и ставить на сцену мои сочинения, прошу вас поместить в издаваемой вами газете следующее мое заявление:

Предоставляю всем желающим право безвозмездно издавать в России и за границей, по-русски и в переводах, а равно и ставить на сценах все те из моих сочинений, которые напечатаны в XII томе издания 1886 года и в вышедшем в нынешнем 1891 году XIII томе, так равно и мои не напечатанные в России и могущие впоследствии, т е. после нынешнего дня, появиться сочинения».

ГОЛОД

1. Сомнения Л. Н. Толстого

Недороды, систематически случавшиеся в России, в 1891 году приняли форму голода.

Царапали истощенную, испаханную землю сохами; скот перевелся, поля не унавоживались. Урожай приходил редко, как счастливая случайность, и не мог покрыть огромных дефицитов в хозяйстве. Все быстро шло под гору.

В. И. Ленин писал в 1902 году в статье «Признаки банкротства»: «Хищническое хозяйство самодержавия покоилось на чудовищной эксплуатации крестьянства. Это хозяйство предполагало, как неизбежное последствие, повторяющиеся от времени до времени голодовки крестьян той или иной местности... С 1891 года голодовки стали гигантскими по количеству жертв, а с 1897 г. почти непрерывно следующими одна за

другой... Государственный строй, искони державшийся на пассивной поддержке миллионов крестьянства, привел последнее к такому состоянию, при котором оно из года в год оказывается не в состоянии прокормиться».

О голоде заговорили все. Это сперва раздражало Льва Николаевича, так как голод не был неожиданностью. Голод ставил перед Толстым вопрос: что делать сейчас? Правило говорило, что помощь бесполезна.

Еще франклиновский журнал, в котором молодой Толстой ставил сам себе отметки и вел ежедневный тщательный самоанализ, становился иногда между Толстым и жизнью: он за общим правилом не хотел видеть отдельного события.

Правилом было — духовное самоосвобождение. Это не могло помочь голодным.

Толстой не знает, что делать Он пишет 4 июля Н. С. Лескову о голоде. Соглашаясь с тем, что голод уже есть и станет сильнее, дальше пишет скорбные слова: «Когда кормят кур и цыплят, то если старые куры и петухи обижают, — быстрее подхватывают и отгоняют слабых, — то мало вероятного в том, чтобы, давая больше корма, насытили бы голодных. При этом надо представлять себе отбивающих петухов и кур ненасытными. Дело все в том, — так как убивать отбивающих кур и петухов нельзя, — чтобы научить их делиться с слабыми. А покуда этого не будет — голод всегда будет».

Но как учить без принуждения сильных не давить слабых — непонятно

Надо не лечить — надо ломать. Но правило мешает говорить о ломке

Кончается июнь 1891 года. Лев Николаевич записывает:

«Нынче 25. Встал в 8. Дождь, ливень. Один пил кофе. Все слабость — хотя нынче немного лучше. Еще ночью думал о предисловии к вегетарианской книге, т е о воздержании, и все утро писал не дурно. Потом ходил гулять, купаться. Теперь 5 часов Все

слабость. Я дурно сплю. И я гадок себе до невозможности».

После следует рассуждение по параграфам.

«1. Все о том же, что спасение жизни материальное — спасение детей, погибающих, излечение больных, поддержание жизни стариков и слабых не есть добро, а есть только один из признаков его, точно так же как наложение красок на полотно не есть живопись, хотя всякая живопись есть наложение красок на полотно. Матерьяльное спасение, поддержание жизней людских есть обычное последствие добра, но не есть добро. Поддержание жизни мучимого работой раба, прогоняемого сквозь строй, чтобы додать ему его 5 000, не есть добро, хотя и есть поддержание жизни Добро есть служение богу, сопровождаемое всегда только жертвой, тратой своей животной жизни, как свет сопровождаем всегда тратой горючего матерьяла»

Л Н. Толстой хочет не сомневаться.

Здесь надо рассказать о старом друге Льва Николаевича — Иване Ивановиче Раевском. Толстой был с ним дружен, познакомившись еще в залах московского гимнастического общества. Лев Николаевич по природе был силен и силу свою развивал: до старости ездил верхом и гимнастикой занимался всю жизнь Он уважал силу, ловкость и мужество. Раевский родился в дворянской семье с свободолюбивыми традициями; мать его хорошо знала поэта Полежаева, писала его портрет.

Сам Иван Иванович был мирным помещиком и легендарным силачом, о котором долго помнили в округе; хотя Раевский на двенадцать лет моложе Толстого, и он Толстому и Толстой ему говорили друг другу «ты».

Иван Иванович умел разговаривать и умел слушать; беседы его с Толстым не были беседами ученика с учителем Иван Иванович во время голода заехал в Ясную Поляну и уговорил Толстого поехать посмотреть, как дела у крестьян, чтобы написать о голоде статью.

Толстой поехал на два дня и остался у Раевского

на два года, решив вместе с другом организовать для голодающих крестьян столовые.

Одним из препятствий оказалась суетливая энергия Софьи Андреевны. Она то соглашалась, то резко отказывалась принять материальное участие в помощи голодающим; деньги были у нее

М. Л Толстая в письме к Л. Ф. Анненковой сообщает о планах Толстого поехать к Раевскому в Бегичевку Данковского уезда:

«Уже приготовили часть провизии, топлива и т. п. Мамà обещала дать нам две тысячи на это, мы так радовались возможности хоть чуть-чуть быть полезными этим людям, как вдруг мамà (как это часто с ней бывает) совершенно повернула оглобли... Она мучила себя, и папà, и нас так, что сама, бедная, стала худа и больна... Папà сделал все уступки, какие только мог, и обещал в Москве прожить часть зимы, и теперь уже все предоставил ей решить».

Софья Андреевна опять заговорила об авторских правах, заявив, что денег нет; предоставим слово ей самой.

«Когда Левочка не печатал еще своего заявления о праве всех на XII и XIII том, я хотела дать 2 000 на голодающих, предполагая где-нибудь, избрав местность, выдавать на бедные семьи по стольку-то в месяц пудов муки, хлеба и картофеля, на дом. — Теперь я ничего не знаю, что я буду делать По чужой инициативе и с палками в колесах (заявление) действовать нельзя»

Не одна Софья Андреевна была недовольна тем, что Толстой втягивается в борьбу с голодом В октябре Татьяна Львовна пишет в дневнике. «Мы накануне нашего отъезда на Дон Меня не радует наша поездка, и у меня никакой нет энергии Это потому, что я нахожу действия папà непоследовательными и что ему непристойно распоряжаться деньгами, принимать пожертвования и брать деньги у мамà, которой он только что их отдал»

В это время Лев Николаевич уже жил в Бегичевке, работал решительно и умело, предвидя события и будущие нужды.

Он знал, что голод затяжной и безнадежный, и писал не об ужасах голода, а о самом страшном — о полном упадке деревни.

Он старался выяснить, сколько хлеба в России, хватит ли его до весны, где можно его закупить. Одновременно решалось, как организовать питание: как ставить столовые.

Вот одна из инструкций Толстого:

«Изберите место в середине самых голодных деревень, припасите в это место муки, отрубей, картофелю, капусты, свеклы, гороху, чечевицы, овсяной муки, соли или хотя то, что можно из этого, и потом пойдите в одну из деревень, выберите в середине деревни, если она не больше 30, 40 дворов, одну самую бедную семью, а то две, если деревня вдвое больше, и предложите хозяевам, получая от вас продовольствие, печь хлебы и варить на самых нуждающихся — слабых, старых, малых, а то и не старых, но голодных, от 30 до 40 человек».

Средства поступали с разных сторон.

II. Решение С. А. Толстой. Дела и труды Толстого

Бездеятельность не была свойственна Софье Андреевне: она вступила в дело помощи голодающим очень энергично, отправив 2 ноября 1891 года «Письмо в редакцию»:

«Благотворительность и денежные пожертвования в пользу голодающих так велики, что страшно приступать к этому вопросу. Но и бедствие народное оказывается гораздо бо́льшее, чем предполагали все. И вот еще и еще надо давать и еще и еще надо просить.

Вся семья моя разъехалась служить делу помощи бедствующему народу. Муж мой граф Л Н. Толстой, с двумя дочерьми находится в настоящее время в Данковском уезде».

Дальше идет перечисление членов семьи. Воззвание кончается так:

«Принужденная оставаться в Москве с четырьмя малолетними детьми, я могу содействовать деятельности семьи моей лишь материальными средствами».

О голоде сообщается так: «Но все это видела теперь семья моя». Дальше: «И вот решаюсь и я обратиться ко всем... с просьбой способствовать материально деятельности семьи моей». Дальше идут адреса: сперва Татьяна Львовна, потом Сергей Львович, потом Лев Львович и московский адрес Софьи Андреевны.

Письмо составлено в стиле благотворительных воззваний. Кончалось оно словами: «Не мне, грешной, благодарить всех тех, кто отзовется на слова мои, а тем несчастным, которых прокормят добрые души».

Все написано умело, энергично; даются подсчеты: если два раза кормить человека в день, и то это вместе с топливом обойдется от девяноста пяти копеек до одного рубля тридцати копеек в месяц: «Следовательно, за 13 рублей можно спасти от голода до нового хлеба — человека».

Пожертвований с 3-го по 12-е число прибыло девять тысяч рублей. Воззвание действовало так потому, что в нем ставилась близкая и ограниченная цель. Такое воззвание не нарушало общего благополучия.

В числе приславших Софье Андреевне пожертвования находился даже протоиерей Иоанн Сергеев, прозванный Кронштадтским: он прислал двести рублей.

Но у людей, боровшихся с голодом, тотчас появились враги.

«Московские ведомости» напечатали ироническую статью, названную «Семейство его сиятельства графа Л. Н. Толстого».

Дело, конечно, здесь шло не о том только, чтобы снизить значение выступления Софьи Андреевны.

Широта действия самого Толстого поражала правительство. Лев Николаевич без всякого аппарата, без служащих кормил голодающих. Это становилось народным делом: в четырех уездах организовалось население. Толстой ставил столовые в избах наибо-

лее бедных крестьян, зная, что хозяйки будут работать самоотверженно перед глазами односельчан.

Ездить и пробираться пешком приходилось много. Марья Львовна рассказывала, как ходили «два старичка», Раевский и Толстой, как они дружно разговаривали, пересмеивались и делали большое дело.

В ноябре в слякоть возвращался Раевский с Епифанского земского собрания; деревенская нищета бродила в то время по дорогам, ища хлеба, собирая милостыню: были дети, старики.

Раевский брал к себе в телегу измученных пешеходов; жалея лошадь, сходил сам, особенно тогда, когда приходилось ехать в гору; промочив ноги, Иван Иванович на другое утро почувствовал себя больным; но надо было ехать в Данков на другое земское собрание за сорок верст опять в телеге. Вернулся из Данкова Раевский совсем больным.

Р. А. Писареву — тульскому помещику, участвующему в помощи голодающим, Лев Николаевич писал из Бегичевки: «Дорогой Рафаил Алексеевич. Пишу вам под диктовку Ивана Ивановича, который заболел инфлуэнцой и лежит в жару, но хочет сообщить вам следующее: 1) что он сделал все то, о чем вы его просили относительно Протопопова».

Друг Толстого по 4-му севастопольскому бастиону, Николай Петрович Протопопов, в это время закупал для голодающих рожь.

Дальше писалось:

«2) Посылаем 6 000, чтобы положить на текущий счет в Рязанский банк... 3) Предлагаемый вами вагон ржи мы надеемся быть в состоянии взять.

Все это я писал под диктовку Ивана Ивановича, а теперь пишу от себя: он лежит 4-й день в жару...»

В жару писал Иван Иванович жене в Тулу:

«Мой милый ангел! Простишь ли ты меня? Первый раз в жизни я скрыл от тебя, не написал тебе, что я болен».

Получив письмо, Е. Л. Раевская помчалась в деревню и застала мужа в агонии.

Иван Иванович Раевский погиб, но Толстой продолжал работать.

Он работал «радостно, молодо, восторженно». Вспоминая о Раевском, он пишет Александре Андреевне Толстой: «Говорят, что в Петербурге не верят серьезности положения. Это грех. Я встретил у Раевского моряка Протопопова, с которым мы вместе были 35 лет тому назад на Язоновском редуте в Севастополе. Он очень милый человек, теперь председатель управы, хлопочет, покупает хлеб. Он очень верно сказал мне, что испытывает чувство, подобное тому, как бывало в Севастополе». «Спокоен, т. е. перестаешь быть беспокоен, только тогда, когда что-нибудь делаешь для борьбы с бедой».

Работали среди собственников, которые зарабатывали на голоде: помещики продавали сухую ботву от картофеля по цене пять рублей с десятины, причем уборка была не их.

Толстой старался не только накормить людей, но и противодействовать окончательному разорению крестьянского хозяйства, сохранив хотя бы лошадей. Между тем правительство боялось, как бы не создалась могучая организация и как бы на Западе не узнали, что Россия бедствует. Император соизволил произнести: «В России нет голода, а есть местности, пострадавшие от неурожая».

Переписи запасов хлеба в России не было сделано. Толстой работал спокойно, организованно, неутомимо. Опасность была очень сильная: приходилось ездить в метель, в мороз из деревни в деревню; в церквах проповедовали против Толстого. Был тиф. Репин описывает, как он с Толстым ехал по чуть замерзшему Дону. Под тонким льдом видно было, как течет вода; легкий снег поднимался над льдом; казалось, что это полыньи дышат паром; розвальни как будто летели над пропастью.

III. Сомнения правительства

Толстой написал свою первую статью о голоде для довольно академического журнала «Вопросы философии и психологии», редактируемого профессором

Гротом. Статья давала анализ хозяйства нескольких уездов Тульской и Рязанской губерний. Приводился бюджет крестьянина, указывалась чрезвычайная напряженность положения. Толстой писал:

«Народ голоден оттого, что мы слишком сыты. Разве может быть не голоден народ, который в тех условиях, в которых он живет, то есть при тех податях, при том малоземельи, при той заброшенности и одичании, в котором его держат, должен производить всю страшную работу, результаты которой поглощают столицы, города и деревенские центры богатых людей? Таково его положение всегда. Нынешний год только вследствие неурожая показал, что струна слишком натянута».

Толстой говорит о вырождении народонаселения, о смертности детей, о том, что привилегированный класс «должен пойти в среду народа с сознанием своей вины перед ним».

Статья не была напечатана в журнале «Вопросы философии и психологии». Отрывок появился в январском номере «Книжек Недели», и здесь цензура долго держала гранки, требуя все время поправок. Лев Николаевич передал переводчику Диллону гранки для напечатания за границей, откуда ждали притока пожертвований.

Статья появилась в датских, французских и в английских газетах.

«Московские ведомости» поместили отрывки в обратном переводе с английского в передовой статье 22 января. Статья по тону и содержанию не отличалась от тех, какие прежде писал Толстой. Дело было в международном значении выступления Льва Николаевича Газеты ужасались.

«Граф Толстой, — писала реакционная газета, — задается «самоважнейшим вопросом», понимают ли сами крестьяне серьезность своего положения и *необходимость вовремя проснуться и самим предпринять что-нибудь,* ввиду того, что никто другой им помочь не может, ибо если они *сами* ничего не предпримут, «они передохнут к весне, как пчелы без меду».

Письма графа Толстого не нуждаются в комментариях: они являются открытой пропагандой к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя, который, с весьма понятною целью, приписывается графом одной только России. Пропаганда графа есть пропаганда самого разнузданного социализма, перед которым бледнеет даже наша подпольная пропаганда.

На днях нам прислали по почте один из подпольных печатных мерзких листков, в котором так же, как у графа Толстого, говорится, что «спасение русской земли в ней самой, а не в министрах, генерал-губернаторах и губернаторах, которые привели Россию к самому краю пропасти». В этом листке высказывается также нелепая мысль, будто «правительство довело Россию до голода», как и у графа Толстого, который, хотя и не имеет ничего общего с подпольными агитаторами, тем не менее тоже твердит, что правительство является «паразитом народа», высасывающим его соки ради собственного удовольствия!

Но подпольные агитаторы стремятся к мятежу, выставляя в виде приманки «конституцию», как средство к тому хаосу, о котором они мечтают, а граф открыто проповедует программу социальной революции, повторяя за западными социалистами избитые, нелепые, но всегда действующие на невежественную массу фразы о том, как «богачи пьют пот от народа, пожирая все, что народ имеет и производит!»

Статья «Московских ведомостей» была более доносом, чем клеветой.

Давая точную картину положения деревни, Толстой невольно делал последовательно революционное дело, может быть не давая себе отчета в том, что это дело — уже сопротивление.

«Московские ведомости» прямо обвиняли Толстого в революционной агитации, пропаганде.

Во второй фразе статьи слово «пропаганда» сознательно подчеркивается троекратным употреблением подряд.

Опасность была реальна, Софья Андреевна беспокоилась.

Шли письма к Льву Николаевичу: «Погубишь ты всех нас своими задорными статьями, где тут *любовь и непротивление?* И не имеешь ты права, когда 9 детей, губить и меня и их». Суетились и другие Берсы.

Из Петербурга писала сестре Т. Кузминская: «...собирался комитет министров и уже решали предложить выезд за границу».

Писала Софье Андреевне А. А. Толстая. Лев Николаевич ответил жене: «...вижу, что у них тот тон, что я в чем-то провинился и мне надо перед кем-то оправдываться. Этот тон надо не допускать. Я пишу то, что думаю, и то, что не может нравиться ни правительствам, ни богатым классам».

Софья Андреевна написала письма министру внутренних дел Дурново, своей высокопоставленной знакомой Шереметьевой, которая недавно помогла ей встретиться с императором, товарищу министра Плеве, Александре Андреевне Толстой, Кузминской и поехала сама к великому князю Сергею Александровичу: тот сразу предложил Льву Николаевичу написать опровержение.

Софья Андреевна послала опровержение в «Московские ведомости», которые через агентство Рейтер снеслись с редакциями заграничных газет, заявив, что Лев Николаевич отрицает подлинность текста письма, напечатанного 26 января н. ст.

Переводчик Диллон немедленно отправился в Бегичевку к Толстому; он застал Льва Николаевича в работе по организации новых столовых для голодающих. По словам Диллона, граф сказал, что «графиня действительно написала такое письмо в его присутствии, но против его желания».

Взволновался Н. Лесков, который проклинал то крыло, из которого было вырвано перо для написания злополучного опровержения. Лев Николаевич дал Диллону в Бегичевке 29 января 1892 года собственноручное письмо: «Я никогда не отрицал и никого не уполномачивал отрицать подлинность статей, появившихся под моим именем».

При двукратном переводе статьи Толстого (с рус-

ского на иностранный и опять на русский) и при отсутствии подлинного опубликованного текста «Московские ведомости» старались довести мысли Толстого до явного криминала. Теперь они писали:

«Мы самым положительным образом подтверждаем достоверность и подлинность тех социалистических мыслей графа Толстого, которые нами напечатаны в № 22 нашей газеты».

Правда, делали оговорки.

«Сам граф Толстой, конечно, далек от того, чтобы своею пропагандой побуждать кого-либо к *насильственному* социальному перевороту; только он, по-видимому, не понимает, что пропаганда его *сама по себе,* даже без его желания, может подготовлять *такой* именно переворот».

Эти оговорки объяснялись фактической невозможностью для правительства арестовать Льва Толстого, да еще по такому поводу, как его работа для помощи голодающим; газета поэтому старалась унизить великого писателя.

«Перед нами другой Толстой, — несчастный старик, находящийся в состоянии умственного и нравственного распадения, опустившийся до миросозерцания малограмотных анархистских листков и брошюр».

В это время Толстому было шестьдесят четыре года, и он находился в новом расцвете, что, вероятно, было понятно даже черносотенной газете.

Александра Андреевна Толстая утверждала, что граф Дмитрий Толстой ездил к Александру III с готовым докладом о заключении Толстого в суздальскую тюрьму, но Александр III был заранее предупрежден ею и доклада не подписал.

Дело было не так, это указал еще П. Бирюков; в то время Дмитрий Толстой уже умер и с докладом ездить не мог. Вероятно, правительство хотело и не решалось арестовать Толстого; оно не было для этого достаточно сильным.

Арест Толстого снял бы все упреки, которые кто бы то ни было мог делать этому великому человеку. Это было бы не только мученичество, на которое он

сознательно шел, было бы освобождение от того, что сам Толстой с такой горечью называл своим юродством.

Полемика продолжалась до февраля 1892 года. Газета отступала с бранью и клеветой. Толстой отправил в «Правительственный вестник» письмо, которое в этой газете не напечатали. Привожу наиболее существенное: «Писем никаких я в английские газеты не писал. Выписка же, приписываемая мне и напечатанная в «Московских ведомостях» мелким шрифтом, есть не письмо, а очень измененное (вследствие двухкратного, — сначала на английский, а потом на русский язык — слишком вольного перевода) место из моей статьи *о голоде,* приготовленной для русского журнала, но не пропущенной цензурой и после того отданной по моему обыкновению иностранным переводчикам в их полное распоряжение. — Место же, напечатанное крупным шрифтом вслед за выпиской из неверного перевода моей статьи и выдаваемое за мысль, выраженную мною во втором, будто бы, письме о том, как должен поступить народ для избавления себя от голода, есть сплошной вымысел».

Восемь газет напечатали опровержение.

Часть V

«ВОСКРЕСЕНИЕ»

I. Замысел

Разрастались деревья в яснополянском парке. Весной цвел ухоженный, перекопанный яблоневый сад, летом наливались соком желто-зеленые яблоки, к осени среди зелени сада начинали синеть дымы костров караульщиков, потом арендаторы на телегах вывозили яблоки.

Убирали тощие нивы яснополянские крестьяне.

Старели дети Толстого, покупали имения, играли в карты, любили своих жен или разводились с ними.

Семьи были несчастливы. Много записей о рождении мертвых детей. Отрава мира жила и в семье Толстого

Непрерывно приезжали посетители, смотрели на Толстого, говорили с ним и смотрели на него, как на восход солнца в Альпах из гостиницы.

Он не изменил мира, но стал одной из достопримечательностей его. Умер толстый, бородатый, самоуверенный Александр III, неглупый человек, в часы отдыха игравший на медной трубе генерал-бас, пивший водку и боявшийся революции и Толстого.

Воцарился другой царь — Николай II; у него борода маленькая, держится он, как строевой офицер. В день коронации в Москве на Ходынском поле ар-

тельщики раздавали подарки, гостинцы и жестяные кружки с напечатанным на них рисунком — царскими орлами, царским вензелем. Не знали, что Москва уже не та, которая была при Александре III и II. Московское население неожиданное, не сосчитанное пришло на поле, люди давили друг друга, проваливались в плохо закрытые колодцы, над Ходынским полем серым облаком стоял потный пар человеческого дыхания.

Новое царствование началось давкой.

Молодой царь в ответ на скромное заявление земства о конституции ответил словами, что все это «бессмысленные мечтания». Он заказал знаменитому художнику картину, в которой царь разговаривает с пристойно одетыми волостными старшинами, объясняя им, что никакой прирезки земли не будет и что собственность священна.

Это вызвало гнев и горечь у Толстого. Он не надеялся на царя, не верил в революцию, но необходимость изменения была ясна для него.

«Много ли человеку земли нужно?» — спрашивал когда-то Толстой, думая о самарских землях, о жадности земледельцев. Место дома, чтобы вытянуться, когда отдыхаешь, место в поле, чтобы можно было повернуться с сохою, конечно, нужно.

Лев Николаевич жил в солнечных комнатах верхнего этажа, старел. Вокруг него толкались толстовцы. Вот что рассказывает о них врач, его друг Шкарван, словак, которого судили, держали в венгерской тюрьме, а потом отпустили в Россию.

«Ах, его друзья! Вся эта больная «ватага». Он вел себя очень хорошо по отношению к вам. А о них я даже не осмеливаюсь произнести свое суждение. Какими бы они там ни были, одно только ясно — по отношению к нему они были неделикатны, каждый из них хотел его поправлять; усовещевали его, бедняжки! Его друзья были для него сущим наказаньем!» *

---

* Рукопись доктора А Шкарвана «О Л Н Толстом» предоставлена нам в переводе со словацкого проф П Г. Богатыревым.

Это были слабые и нарочно неряшливые люди. Среди них жил Толстой — сильный, делающий гимнастику на турнике, жадный к жизни. Шкарвану рассказывал Дунаев, что раз Толстой косил луг вместе с Алехиным. Алехиных было два брата — оба ярые толстовцы. Один из них впоследствии открыл спиртной завод и стал курским городским головой, другой вернулся в православие, стал монахом.

Дело было на сенокосе. Косили Толстой и Алехин «Алехин упрекал Толстого, зачем он живет с своей женой, говорил, что ему надо ее оставить, что оставить ее он должен, этого требует от него евангелие и этого ждут от него и люди».

Тут А. Шкарван прибавляет: «Отметим, что так более или менее думали все русские толстовцы, начиная с красного папы Черткова и до последней *переписчицы.* Толстой защищался против алехинских нападок, как только мог, до тех пор, пока не переполнилась чаша терпения, и он, у которого тоже не вода текла в жилах, заревел, поднял косу и хотел зарубить своего противника».

Толстой не зарубил Алехина, бросил косу, упал ниц на землю и заплакал.

Льву Николаевичу, огражденному славой от насилия, женою от деловой суеты и друзьями от всего мира, жить было тяжко. А. Шкарван — человек умный, хотя наивный, но и он замечает, что, провожая Толстого, потом отвечает на расспросы Черткова и таким образом оказывается соглядатаем.

Но и он не понимал глубины отчаяния Толстого. Он записывает: «При всей своей серьезности Лев Николаевич любил иногда пошутить и с удовольствием играл с детьми. Раз мы у шлагбаума ожидали поезд, который должен был здесь проехать. Бешено, безудержно приближался скорый поезд, и когда он был от нас на расстоянии лишь нескольких метров, Лев Николаевич перебежал через рельсы. Мы все думали, что его уже нет в живых, а когда поезд проехал, увидели Льва Николаевича, который на другой стороне пути смеялся и кивал нам. Черткову эта шутка очень не понравилась».

Так не шутят счастливые люди, так не шутят философы, руководители движения, так не шутят умиротворенные люди, верящие в бога.

Так пробуют судьбу отчаявшиеся люди.

Кроме того, Лев Николаевич, вероятно, проверял свои силы, молодея от риска.

Когда Бирюков писал биографию Толстого, то Лев Николаевич посоветовал ему обращать внимание на художественные произведения как на биографический материал.

Дело не в том, что эпизоды из «Утра помещика», или «Севастопольские рассказы», или «Анна Каренина» являются отражением эпизодов жизни Льва Николаевича. Вернее думать, что в художественных произведениях остается явственный след мыслей и решений писателя. Это золото, которое промыто от золотоносного песка, это корабельный журнал, в котором рассказывается, как трудно было плыть для того, чтобы делать открытия.

В письмах человек невольно скрывает себя от того, кому пишет. Письма к разным людям по-разному окрашены отблеском цвета адресата. В дневниках Толстой воспитывает себя; его дневники похожи на старые школьные кондуиты — журналы, в которые записывались проступки гимназистов. Дневники эти читались Софьей Андреевной, переписывались ею, читались Чертковым, копировались у него.

В художественном произведении человек отделяется от сегодняшнего своего дня, от элементов случайности, он сопоставляет факты и иногда достигает истинного знания о предмете.

Роман «Воскресение» писался в 1889—1890, 1895—1896, 1898—1899 годах. Три раза по году; с перерывами.

Сперва он назывался «Коневской повестью», потому что в июне месяце 1887 года А. Ф. Кони рассказал при Толстом, как один из присяжных заседателей во время суда узнал в обвиняемой за кражу проститутке ту женщину, которую он когда-то соблазнил. Эта женщина носила фамилию Они, была проституткой самого низкого разряда, изуродованная болезнью. Молодой человек попросил свидания с ней; женщину привели из карцера: это был опустившийся человек.

Но соблазнитель, вероятно, когда-то любил эту женщину, он решил жениться на ней, хлопотал. Подвиг его не получил завершения: женщина умерла в тюрьме.

Эта ситуация трагична, она обнажает сущность проституции и отдаленно напоминает рассказ Мопассана «Порт» — любимый рассказ Толстого, который он перевел, назвав «Франсуаза». Матрос приехал из дальнего плавания, в порту нашел публичный дом, взял женщину и узнал в ней сестру только тогда, когда она начала расспрашивать его, не видал ли он в море такого-то матроса, и назвала ему его собственное имя.

Толстой заинтересовался ситуацией: он попросил Кони написать маленькую книжку для «Посредника». Кони обещал и не сделал.

Через некоторое время Лев Николаевич попросил А. Кони отдать ему тему.

Он начал развертывать жизненную ситуацию в конфликт, и эта работа заняла несколько лет писательского труда и одиннадцать лет раздумий.

Первоначально Толстого поразила решимость молодого человека искупить свою вину. Героем должен был стать толстовец.

Нужно сказать, что ни в одном из своих произведений (за исключением неоконченной слабой пьесы «И свет во тьме светит») Лев Николаевич Толстой толстовца не изобразил. Здесь образ Черткова подразумевался в повести, как прототип Нехлюдова.

Н. Н Страхов в письме к Толстому от 22 августа 1895 года так передал свое впечатление от первоначального наброска:

«В том или другом виде это будет история Черткова, и если бы вы уловили эту фигуру и ее внутреннюю жизнь — дело было бы удивительное. Но пока — лицо героя остается бледным и совершенно общим. Какой захват вашего рассказа! Великодушные мечты молодости, домашний разврат, увлечение пу-

стой жизнью, публичный разврат, суд, пробуждение совести и крутой поворот на новую жизнь — как важны все эти точки рассказа».

II. Переключение замысла

Как бы поневоле Толстой все время отходит от первоначального замысла, изменяет его центр.

5 ноября 1895 года он записывает в дневнике: «Сейчас ходил гулять и ясно понял, отчего у меня не идет «Воскресение». Ложно начато... я понял, что надо начинать с жизни крестьян, что они предмет, они положительное, а то тень, то отрицательное. И то же понял и о «Воскресении».

Центром романа становится восприятие мира Катюшей Масловой. Образ возвышается. Весной из грязной, вонючей тюрьмы выходит под конвоем солдат женщина в котах — мы знаем только ее имя. Мы можем отнестись к ней так, как относится прохожий: какую-то разбойницу ведут два солдата с обнаженными саблями.

Женщина шла по камням «отвыкшими от ходьбы и обутыми в неуклюжие арестантские коты ногами, и она смотрела себе под ноги и старалась ступать как можно легче».

Она проходит мимо мучной лавки, «перед которой ходили, перекачиваясь, никем не обижаемые голуби, арестантка чуть не задела ногой одного сизяка; голубь вспорхнул и, трепеща крыльями, пролетел мимо самого уха арестантки, обдав ее ветром. Арестантка улыбнулась и потом тяжело вздохнула, вспомнив свое положение».

Женщина характеризована походкой — неловкой, как будто переваливающейся, ее мучают, ее ведут, а голубей никто не мучает, и голуби характеризованы одним только словом, что они ходили «перекачиваясь».

Полет голубя как бы сметает пыль с лица Катюши Масловой. Она сама голубка. Дальше начинается

анализ судьбы Катюши: этот анализ занимает вторую главу, пересыпанную цифрами. Она погублена прежде всего деньгами.

Третья глава посвящена Нехлюдову. В дальнейшем история Катюши Масловой рассказана в XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII и XVIII главах. Это не продолжение истории — это исследование истории с разных точек зрения.

Софья Андреевна в 1898 году записывает в дневнике: «Я мучаюсь и тем, что Лев Николаевич, семидесятилетний старик, с особенным вкусом, смакуя, как гастроном вкусную еду, описывает сцены прелюбодеяния горничной с офицером».

Софья Андреевна не была права в характеристике произведения. Любовь Нехлюдова к Катюше связана с весенним цветением земли, с еще неполным пониманием влечения любящих друг друга, с кустами сирени и неожиданным поцелуем. «Падение» Катюши показано вместе с ранней весной и вскрытием реки.

Если в своих статьях и в дневниках Лев Николаевич говорил, что любви вообще нет и половой акт так отвратителен, что его нельзя совершить с любимым человеком, если он отрицал до конца какую-нибудь поэтичность любви и считал ее злым порождением ложного искусства, то любовь Катюши воспета им дважды — как первое пробуждение и как любовная трагедия — все это дано вместе. Но еще больше возвышена любовь в том, что воскресает не религиозно настроенный Нехлюдов, а просто любящая и ставшая счастливой Катюша.

Нехлюдов с Толстым хотят дать Катюше в руки евангелие; она отказывается, говорит, что уже читала. Религиозные чувства не играют в отношениях Катюши к Нехлюдову ни трагической, ни лирической роли. Религия остается в прологе и в эпилоге у Нехлюдова. Нехлюдов — красивый, полный, сохранивший сытую свежесть, — вызывает у Катюши ненависть, она как будто знает его тайные мысли, вернее Лев Николаевич ей рассказал эти мысли, защищая ее от обмана.

Нехлюдов в главе XVIII молится, и на глазах у него были «и хорошие и дурные слезы; хорошие слезы, потому что это были слезы радости пробуждения в себе того духовного существа, которое все эти годы спало в нем, и дурные потому, что они были слезы умиления над самим собою, над своей добродетелью».

В главе XLVIII Катюша, пьяная, разговаривает с Нехлюдовым. Нехлюдов говорит, что он сделает для Катюши все. Она отвечает:

«— Уйди от меня. Я каторжная, а ты князь, и нечего тебе тут быть, — вскрикнула она, вся преображенная гневом, вырывая у него руку. — Ты мной хочешь спастись, — продолжала она, торопясь высказать все, что поднялось в ее душе. — Ты мной в этой жизни услаждался, мной же хочешь и на том свете спастись! Противен ты мне, и очки твои, и жирная, поганая вся рожа твоя. Уйди, уйди ты! — закричала она, энергическим движением вскочив на ноги».

Я не верю в прототипы.

Маслова кричит это не только в лицо толстеющему, похожему на Александра III, аристократическому Черткову, — это она отказывается от толстовства, от сладости их подвига, основанного на самовозвеличивании.

Катюша любила и продолжала любить Нехлюдова. Мне рассказывал замечательный лингвист Евгений Дмитриевич Поливанов, живший в Японии, что «Воскресение» Толстого пришло в Страну восходящего солнца как опера, превратилось в песню и показало народу новую сущность любви. Об этом недавно писал нам превосходный очеркист Н. Н. Михайлов: Катюша Маслова живет в сознании народа более пятидесяти лет. Дело не в том, что Маслова была проститутка, дело в том, что она отказалась от любимого, потому что любила его и, считая себя сильнее его, не нуждалась в жертве.

Роман не аскетичен. Сцена, когда Нехлюдов овладевает Катюшей, огорчала на Западе некоторых французских издателей, и они, люди, знакомые с литературой, привыкшие к эротическим сценам, выкидывали эту поэтическую сцену, которая у Льва Николаевича связана со вскрытием реки, с луной, грозно висящей над землей.

III. Что увидел Толстой, взглянув на Катюшу

Любовь Катюши является центром романа «Воскресение», но это не рассказ о том, как богатый и сильный обидел слабого и бедного. Ситуация вещи — первое видение противоречия, в ней развитого, — дана в записной книжке Толстого 1857 года. Запись говорит следующее: «Гордость и презрение к другим человека, исполняющего подлую монархическую должность», похожи на такую же гордость и самостоятельность проститутки.

Эта тема развивается Толстым в книге «Так что же нам делать?», которая имела и другое название — «Как я живу». Анализируя нравственное состояние людей «дна» Москвы, Лев Николаевич интересуется не столько их падением, сколько тем, как их самосознание похоже на моральное состояние так называемого высшего общества. Люди живут в ужасающих, унижающих их условиях, но считают, что их состояние нормально и даже заслуживает уважения. Толстой пишет об одной проститутке: «Женщина эта, самым простым образом пожертвовавшая, как евангельская вдова, всем, что у ней было, для больной, вместе с тем, так же как и другие ее товарки, считает положение рабочего человека низким и достойным презрения. Она воспиталась так, чтобы жить не работая, а тою жизнью, которая считается для нее естественной ее окружающими».

Нехлюдов хочет спасти Катюшу, но Катюша считает свое положение нормальным.

В главе XIV Нехлюдов удивляется: «Преимущественно удивляло его то, что Маслова не только не стыдилась своего положения — не арестантки (этого она стыдилась), а своего положения проститутки, — но как будто даже была довольна, почти гордилась им. А между тем это и не могло быть иначе. Всяко-

му человеку, для того, чтобы действовать, необходимо считать свою деятельность важною и хорошею И потому, каково бы ни было положение человека, он непременно составит себе такой взгляд на людскую жизнь вообще, при котором его деятельность будет казаться ему важною и хорошею».

В стихах неожиданная рифма освещает целую строфу. Толстой, показывая первоначальную самоуверенность Масловой, вскрывает ложность положения всей торжественной строфичности тогдашнего, казалось бы устойчивого, общества.

Чехов считал, что в «Воскресении» самое неинтересное — это история Катюши, а интересно все, что видит Нехлюдов. Но Нехлюдов видит то, что хочет показать Толстой, скрестив его судьбу с Катюшиной. Мир Нехлюдова освещен Катюшей, это свет беспощадный. Нехлюдов и люди, его окружающие, — тени.

Так решил сам Толстой.

В XXVIII главе Нехлюдов после суда сидит в своем кабинете, вспоминает о матери: «Желая вызвать в себе хорошее воспоминание о ней, он взглянул на ее портрет за 5000 рублей, написанный знаменитым живописцем. Она была изображена в бархатном черном платье, с обнаженной грудью. Художник, очевидно, с особым старанием выписал грудь, промежуток между двумя грудями и ослепительные по красоте плечи и шею. Это было уже совсем стыдно и гадко. Что-то было отвратительное и кощунственное в этом изображении матери в виде полуобнаженной красавицы».

Все окружение Нехлюдова, весь состав суда, дом генерал-губернатора, светские женщины, которые разговаривают с Нехлюдовым, пьеса, которую он видит в театре, — все это связано с Масловой, но не с Катюшей Масловой, а с другой, привыкшей к проституции женщиной, которую звали Любовью в публичном доме.

Чертков был огорчен тем, что Толстой с таким уважением описал революционеров, идущих по этапу, тех людей, которые переменили настроение Ка-

Один из черновых вариантов портрета Катюши Масловой.

тюши. Он писал Толстому 24 февраля от имени своего и жены дипломатическое письмо: «Есть один пункт, о котором и Гале и мне давно хотелось вам высказать свое впечатление в связи с содержанием этой повести; нас очень радует и трогает то, что вы так симпатично описываете и выставляете «политических» заключенных, потому что это привлекает к вам целый многочисленный и искренний разряд людей...» Далее следовали советы усилить отрицательные черты.

Толстой сделал некоторые изменения в тексте романа: снизил образ Новодворова, с осуждением начал говорить о любовных отношениях революционеров друг к другу, но в целом мир политического этапа, мир рабочего, который в холщовой сумке несет с собой на каторгу том «Капитала» Маркса, оказался не включенным в разоблачительную силу. Роман — это мир не воскресения, а жизни.

С этим миром Катюша Маслова, вернувшаяся к жизни, ставшая поэтичной, составляет одно целое; с его людьми она согласна.

Катюша забыла о тех ста рублях, которые Нехлюдов сунул ей при отъезде. Между тем эти деньги были первой платой, которую она получила за любовь, и тем самым были началом проституции. Она прощает ему, прощает тяжелую свою жизнь, унижение, тюрьму, суд, этап; ее воскресение происходит как оживание любви, и тем самым оно противорелигиозно и нравственно.

Побеждают любовь, река, луна — жизнь побеждает «Крейцерову сонату».

Лев Николаевич не смог придумать воскресения для Нехлюдова.

Сперва он думал, что Нехлюдов женится на Катюше, что они уедут в Англию. Нехлюдов будет заниматься религиозной проповедью, а Катюша станет работать на огороде.

Такая развязка неестественна, никому не нужна тем более, что для нее понадобился отъезд из России, — это является первым указанием на искусственность.

Потом Толстой сообщил Софье Андреевне, что Нехлюдов не женится на Катюше. Она обрадовалась, не понимая, что это происходит не потому, что Нехлюдов выше Катюши, а потому, что Катюша выше Нехлюдова и он ей не нужен.

Не нужен ей, хотя она его любит; он должен остаться в воспоминании, потому что это ее очищает. Но Катюша выходит не только из публичного дома — она уходит из того строя жизни, который для Толстого весь подобен публичному дому. Не все в нем продают любовь, но все продают правду.

Лев Николаевич рассказывает про эту жизнь спокойно и внимательно, но не употребляя ее терминов или употребляя их пародийно: так перечисляет он многочисленные и непонятные статьи закона, которые в результате приводят невинную Катюшу на каторгу.

Публичный дом совсем не описан, а содержательница публичного дома на суде показана человеком не хуже других: она хорошо говорит о Катюше, дает ей деньги. Другие же участники суда — глупый прокурор, неумелый адвокат, самолюбивые и самовлюбленные присяжные, думающие каждый только о своем чиновники — все они для Толстого проститутки.

Лев Николаевич изменяет смысл слов, сталкивая их. Он говорит, что председатель объяснил присяжным их права и обязанности.

«Права их, по его словам, состояли в том, что они могут спрашивать подсудимых через председателя, могут иметь карандаш и бумагу и могут осматривать вещественные доказательства. Обязанность состояла в том, чтобы они судили не ложно, а справедливо».

Слова о справедливости приставлены к фразе о карандаше и бумаге, и показано этим самым, что эта справедливость маленькая, неверная.

Описание Толстым богослужения, вероятно, послужило одним из предлогов для отлучения Льва Николаевича от церкви. Говорили о богохульстве этого описания обряда, не дали напечатать его в России, пропускали даже в переводах. Между тем оно

целиком вытекает из художественной манеры, из художественного метода Толстого, связано с сущностью его видения мира, с его сердечной биографией.

Умение видеть мир привело его к отрицанию обычного понимания.

Толстой не богохульствует, то есть не старается оскорбить религиозные чувства других людей, но он заменяет религиозные термины, греческие слова или слова устаревшие словами прямого значения так, как он это делал при описании войны или при описании оперного представления Мир распадается так, как распался он на куски перед глазами едущей на смерть Анны Карениной. Он распадается потому, что он мертв и склеен только ложью

Воскреснуть он может на полном восстановлении человечности — слов «любовь», «труд», «равенство», но не на религии, хотя бы и обновленной

Главная вина друзей Нехлюдова, вернее — общества, к которому он принадлежал по своему рождению, для Толстого состоит в том, что эти люди не только эксплуатируют чужой труд, но считают себя нравственными Они думают, что богатство и чины так же свойственны им, как свойственны птице перья

Этот мир мертв, и целиком даже при раскаянии он не может воскреснуть. Вот почему Толстой не мог написать второй части «Воскресения»

Достоевский написал о бунте одиночки Раскольникова. Мы видим, что Раскольников не имел права убивать, но не знаем, что же он должен был делать Тогда Достоевский дает Раскольникову в руки евангелие

Соня Мармеладова дает ему молча евангелие Раскольников думает, что убеждения Сони должны стать его убеждениями

«Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, — но теперешний рассказ наш окончен».

Через 33 года Толстой кончал «Воскресение». Катюша Маслова уходит вместе с политическими заключенными в новую жизнь, простив Нехлюдова, отвергнув его жертву. Нехлюдов остается один. Он берет евангелие 28-я, последняя глава «Воскресения» заключает в себе 33 цитаты из евангелия Нехлюдов продолжает читать. Он говорит: «Так вот оно, дело моей жизни Только кончилось одно, началось другое».

«С этой ночи началась для Нехлюдова совсем новая жизнь, не столько потому, что он вступил в новые условия жизни, а потому, что все, что случилось с ним с этих пор, получало для него совсем иное, чем прежде, значение Чем кончится этот новый период его жизни, покажет будущее»

Это полное повторение неудачи развязки, потому что дальше авторы не пишут. Авторы открывают дверь туда, куда нет хода.

О ДУХОБОРАХ И О «ВОСКРЕСЕНИИ»

То, что человек думает сам про себя, не является прямой разгадкой и обоснованием его действий Яснее всех это показал Толстой в своих художественных произведениях он отделял рассуждения человека, его самооправдания, его попытку логизировать свои действия от истинных причин поступков

Люди, верящие в свою логичность, — это безнравственная Элен и тупой немец Берг, но и их поступки объясняются в конечном счете не их логикой Для себя Лев Николаевич думал и надеялся найти строгое обоснование поступков. Он считал таким обоснованием свое религиозное построение, хотя не решил для себя, кто такой бог, к которому он иногда обращается, хотя сам записывал, что молитва — это самовнушение, хотя сам показывал Горькому рукопись, в которой было написано: «Бог — это мое желание».

«Воскресение» должно было быть написано как строго логически проверенное произведение, с подведенными итогами для отдельных эпизодов.

Человек сделал преступление: соблазнил девушку и не женился на ней — первой, с которой сошелся. Женщина погибла, но человек раскаялся, раскаялся сознательно, найдя истинную религию, перестроил свою жизнь и воскрес. Таков логически определенный замысел.

Но та весна, в которую любил Катюшу Нехлюдов, лучше того воскресения, в котором Нехлюдов, все еще красивый, но уже потолстевший и самодовольный, кается и умиляется перед своим покаянием.

Повесть о любви оказалась сильнее повести о раскаянии.

«Воскресение» было пожертвовано Толстым в пользу духоборов. Лев Николаевич отдал не только русский гонорар, но и гонорары за переводы. Деньги должны были передать английские и американские квакеры — люди, близкие Толстому по своей идеологии. Но здесь произошло странное недоразумение: квакеры, конечно, сочувствовали Льву Николаевичу и очень его уважали, но они были квакерами, пуританами, и в 1901 году Лев Николаевич получил осуждающее письмо от квакера Джона Беллоуза. Беллоуз, прочитав роман, пришел к заключению, что он не может принять участие в его распространении, и высказался против принятия в духоборческий фонд квакеров денег, вырученных от переводов «Воскресения».

Беллоуз выражал особенное недовольство сценой соблазнения Катюши Масловой.

Толстой ответил квакеру: «Еще могу сказать, что писал эту книгу, всем сердцем *ненавидя похоть*, и что выразить это отвращение было одной из главных целей этой книги. Если мне это не удалось, очень об этом сожалею и признаю себя виноватым, если был так неосмотрительным в сцене, о которой вы пишете, что мог произвести на вас такое плохое впечатление».

«Воскресение» вне воли Льва Николаевича оказалось книгой любви. Поэтому книгу эту на Западе принимали по-разному. Судя по П. И. Бирюкову, в Англии один квакер, прочтя сцену падения Катюши, даже сжег книгу. В Америке была тоже исключена глава XVII, изображающая падение Катюши. Парижская газета «Echo de Paris» печатала «Воскресение». Редактор получил письма от читателей, что Нехлюдов «...недостаточно занимается Катюшей». Поэтому роман был сокращен.

Были выброшены также в отдельных западных изданиях нападки на религию, на армию, разговоры о земельной собственности. То сцепление сцен, тот лабиринт мыслей, который служит для Толстого способом анализа жизни, был неприемлем для западного читателя. Мы говорили уже, что Лев Николаевич сопроводил сцену соблазнения Катюши могучими средствами поэзии. Я сказал бы, способами народной песни с параллелизмами, взятыми из показа природы; могучая весна, лед, взломанный на реке, луна в небе; жестокий и прекрасный мир окружает любовь.

Отвергнутая, забытая любовь — черта мира Нехлюдова. Измена Нехлюдова, его забвение и деньги, которые царствуют в мире, губят Катюшу, а судьба Катюши служит как бы образцом всей неправды мира. Катюша — центр романа, она тоже виновата, но она одна восстанавливает свою истинную любовь и показывает ложность мира.

Что касается последних глав, в которых Нехлюдов читает евангелие, то хотя Толстой утверждал, что именно для этих глав написано все произведение, но он просто ошибался, потому что он не знал тех глав, когда начинал произведение. Кроме того, эти главы не действенны, они заключают роман, когда судьба Катюши уже решена ею самой: она отказалась от брака с Нехлюдовым, отказалась сама, без чтения евангелия, а та судьба Нехлюдова, которая могла бы объяснить читателю, что же такое для человека Нехлюдова прочтенные главы евангелия, — эта судьба не описана, оборвана, и хотя Лев Николаевич упоминал о том, что он собирается писать о дальнейшей судьбе Нехлюдова, но не написал.

При покупке права на издание перевода «Воскресения» американские издатели запросили у Толстого конспект романа. Чертков, который был тогда посредником, дал согласие на присылку конспекта, вероят-

но, потому, что он считал, что в «Воскресении» будет изображено именно то, что предполагалось первоначально и что по своей идейной сущности вполне удовлетворяло Черткова.

Но Толстой ответил резким отказом. Он писал:

«...конспекты для меня представляют что-то невообразимое... потому что первая часть написана, вторая же пока не напечатана, не может считаться окончательно написанной, и я могу ее изменить и желаю иметь эту возможность изменить. Так что мое возмущение против конспектов и предварительного чтения есть не гордость, а некоторое сознание своего писательского призвания, которое не может подчинить свою духовную деятельность писания каким-либо другим практическим соображениям. Тут что-то есть отвратительное и возмущающее душу».

Возмущение Толстого вызвано не самим фактом требования конспекта. Конспекты, то есть планы, Толстой составлял, но для себя; он от них потом отказывался, он перерешал свои планы. Закрепление плана было бы отказом от свободы творчества.

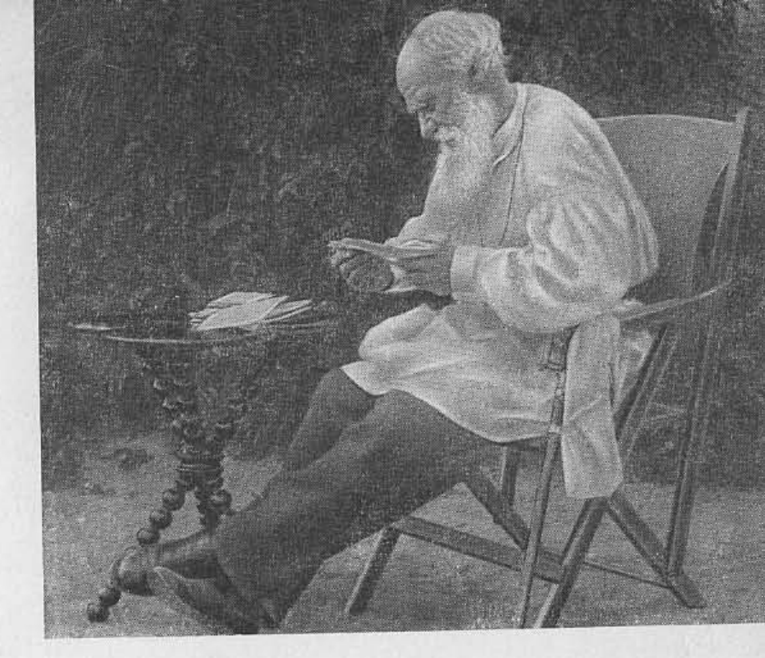
Познание дается Толстому в результате художественной работы. Хотя он хотел думать, что познание раз навсегда дано ему религией, что правда религии и искусства совпадают, но оказалось, что религия не дает возможности предусмотреть даже конспект хода жизни героев художественного произведения.

Лев Николаевич отказался от авторских прав на книги, напечатанные после 1881 года.

Он надел на себя, я решаюсь сказать, венок из живого терновника.

Шипы на этом терновнике вырастали с каждым художественным произведением. Он страдал за «Смерть Ивана Ильича», за «Хозяина и работника», за статью «Что такое искусство?» — остальные статьи семью интересовали меньше.

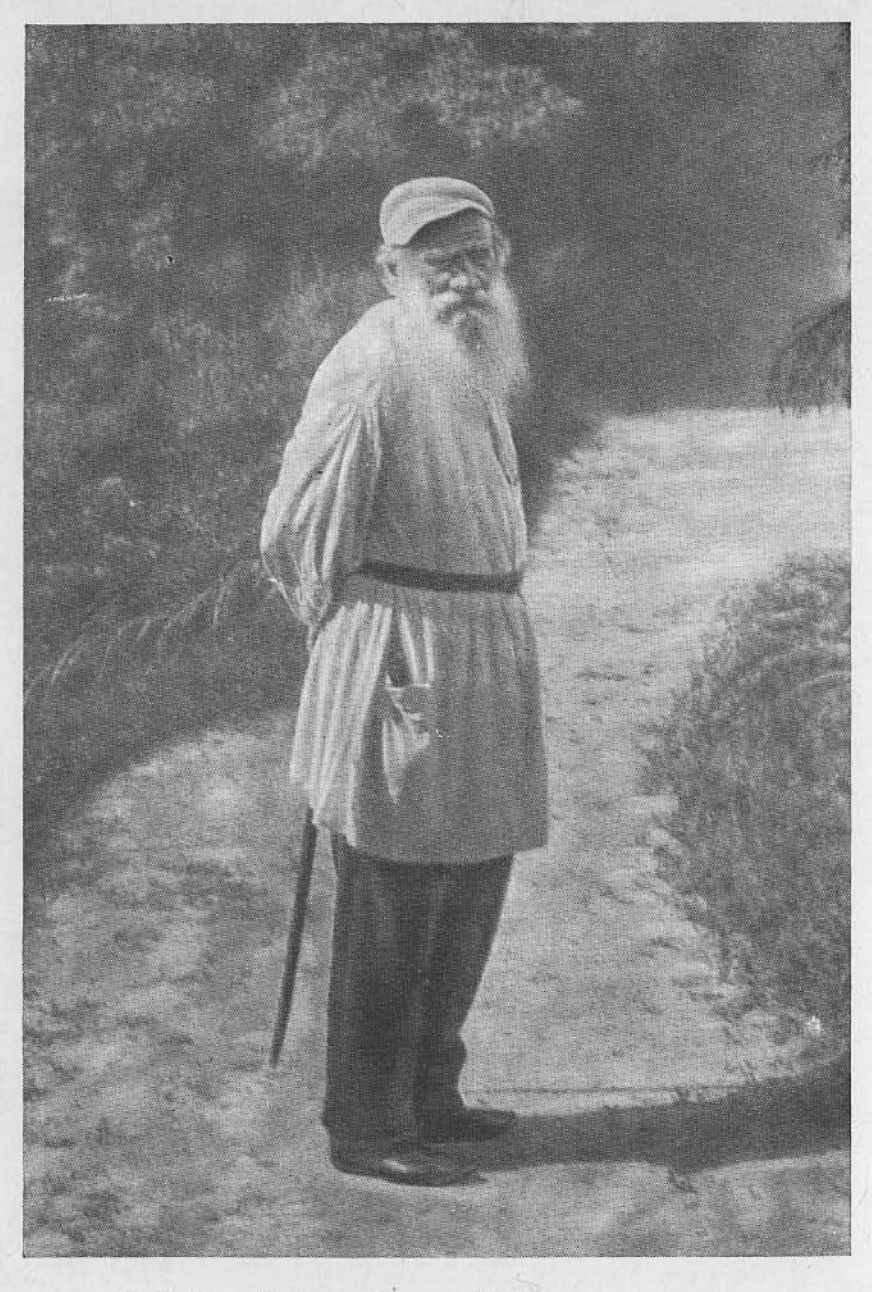
Вы спросите, разве он мало писал художественных произведений? Он их боялся, искал предлогов, чтобы не писать. Он хотел помочь духоборам, и эта необходимость получить деньги, мотивировка необходимости писать помогли ему дописать «Воскресение»



За разбором утренней почты. Ясная Поляна, 1908 г.

На прогулке. Ясная Поляна, 1908 г.





Л. Н. Толстой. Ясная Поляна, 1906 г.

и как-то помогли в споре с семьей. Духоборы и молокане то мирно существовали в далеких окраинах России, то тихо осваивали пустынные места, то подвергались новым гонениям; у них отбирали детей, их преследовали за то, что они уничтожали оружие, их переселяли, они принуждены были продавать скот за десятую долю цены и, наконец, решили переселиться. Переселиться за границу хотело более семи тысяч человек. Для оплаты проезда и на первое обзаведение нужны были деньги, а у семей было приблизительно по сто рублей, и Лев Николаевич писал напряженно, целеустремленно, он торговался с издателем Адольфом Марксом, который купил роман для журнала «Нива», торговался с заграничными издательствами.

Была предпринята попытка устроить сбор денег на переселение духоборов. В ответ на два месяца запретили розничную продажу газеты, которая опубликовала воззвание.

Лев Николаевич разослал двадцать писем богатым людям с просьбой помочь. Самым крупным жертвователем оказался он сам. Письмо об этом написано к Черткову и содержит как бы извинение: «Так как выяснилось теперь, как много еще недостает денег для переселения духоборов, то я думаю вот что сделать: у меня есть три повести: Иртенев, Воскресенье и О. Сергий (я последнее время занимался им и начерно написал конец). Так вот я хотел бы продать их на самых выгодных условиях в английские или американские газеты... и употребить вырученное на переселение духоборов. Повести эти написаны в моей старой манере, которую я теперь не одобряю. Если я буду исправлять их, пока останусь ими доволен, я никогда не кончу. Обязавшись же отдать их издателю, я должен буду выпустить их tels quels. Так случилось со мной с повестью «Казаки». Я все не кончал ее. Но тогда проиграл деньги и для уплаты передал в редакцию «Русского вестника». Теперь же случай гораздо более законный. Повести же сами по себе, если и не удовлетворяют теперешним требованиям моим от искусства, — не общедоступны по форме —

то по содержанию не вредны и даже могут быть полезны людям, и потому думаю, что хорошо, продав их как можно дороже, напечатать теперь не дожидаясь моей смерти, и передать деньги в комитет для переселения духоборов».

Лев Николаевич говорил, что прежде народ был связан цепями, а теперь он связан тонкими, словно нити, путами — как лилипуты связали Гулливера. Он сам был так связан.

Лев Николаевич хотел писать, хотел издаваться, хотел писать то, что он думает, и этому мешала тысяча причин — ничтожных. Софье Андреевне казалось, что Лев Николаевич делает не то, и в то время, когда она переписывает статью Льва Николаевича, «работает над «Воскресением» — ненавистной мне повестью».

12 сентября записывает Софья Андреевна разные мелочи: о гостях, о том, как лакей влюбился в портниху, о том, как кухарку свезли в больницу и дальше пишет: «Л. Н. читал вечером ту повесть, над которой он теперь работает: «Воскресение». Я раньше ее слышала, он говорил, что переделал ее, но все то же».

Софья Андреевна уличает Льва Николаевича в том, что он ткет паутину своей славы, что он лицемер. «И, описывая и рассказывая людям эти свои прекрасные чувства, он сам над собой расчувствовался, а жил по-старому, любя сладкую пищу, и велосипед, и верховую лошадь, и плотскую любовь».

Лев Николаевич упрекал Софью Андреевну, что она не любит дело духоборов. Софья Андреевна отвечала ему: «И теперь, если кому помогать деньгами, то только своим смиренным, умирающим с голоду мужикам, а не гордым революционерам — духоборам».

Два близких человека ссорятся друг с другом, режут друг друга острыми нитями, которыми оба связаны.

Софья Андреевна невольно и безумно лжет: «Не могу я вместить в свою голову и сердце, что эту повесть, после того, как Л. Н. отказался от авторских прав, напечатав об этом в газете, теперь почему-то надо за огромную цену продать в «Ниву» Марксу и

отдать эти деньги не внукам, у которых белого хлеба нет, и не бедствующим детям, а совершенно чуждым духоборам, которых я никак не могу полюбить больше своих детей. Но зато всему миру будет известно участие Толстого в помощи духоборам, и газеты, и история будут об этом писать. А внуки и дети черного хлеба поедят».

Внуки и дети имели состояние больше, чем полмиллиона, и права на одиннадцать томов собрания сочинений, а белый хлеб стоил четыре копейки фунт, и они могли купить поезд ситного хлеба.

А на другой день Софья Андреевна плакала и желала быть дружной.

Люди вплетены в ткань отмирающей жизни, и Лев Николаевич не может распутать эти нити и сам путается в них. Он приглашает всех заняться мозольным трудом, всем пахать землю, а к нему приходит финн, земледелец из Америки, случайно разбогатевший, рассказывает, что в Америке землю пашут только десять процентов людей, а хлеба много, и Лев Николаевич поражен. Он говорит про гостя: «Очень невзрачный, но много рассказал интересного, гораздо больше, чем утонченные американцы».

Люди пашут плугами, которые хватают на сажень ширины. Толстой записывает: «Что это значит? К чему это ведет? Важно это чрезвычайно, но я еще не уяснил себе всего этого значения».

Тот остров крестьянской утопии, на который зовет Толстой людей, исчез, распахан. Лев Николаевич думает, что заводы и фабрики делают только предметы роскоши, именно такой роскоши, какая нужна только женщинам, что дело не в восьмичасовом рабочем дне, а в возвращении всех на землю. Но земле все не нужны. Нужна иная правда, иная жизнь, и он к ней пробивается и не может пробиться.

Хочется работать, хочется писать. Он пишет Черткову:

«Мне кажется иногда, что в «Воскресении» будет много хорошего, нужного, а иногда, что предаюсь своей страсти...» И еще: «Я теперь решительно не могу ничем другим заниматься, как только «Воскресе-

нием». Как ядро, приближающееся к земле все быстрее и быстрее, так у меня теперь, когда почти конец, я не могу ни о чем, нет, не не могу — могу и даже думаю, но не хочется ни о чем другом думать, как об этом».

Он думал о жизни, о Катюше Масловой, о себе самом молодом, о городе, о революционерах и оправдывался сам перед собой тем, что он жертвует деньги. Он летел в медленной своей работе, гудя как ядро.

Он думал, что уже летит к концу, а он все еще только поднимался.

12 октября 1898 года подписан был договор с издателем «Нивы» Адольфом Марксом, получено двенадцать тысяч рублей авансом.

Для того чтобы духоборы могли уехать из России, нужны были не только деньги, но хлопоты и проводники. Лев Николаевич в качестве проводников отправил сына своего Сергея и Леопольда Антоновича Сулержицкого — художника, певца, будущего режиссера, человека более талантливого, чем птица, потому что птица поет одну и ту же песню, а Сулержицкий создавал свои песни сам.

Он разбивал скуку Ясной Поляны шуткой и цыганской песней, не боясь Толстого, понимая его. Сулержицкого звали в доме Толстых Сулер. Про Сулера писал Горький: «Что он сделает завтра? Может быть, бросит бомбу, а может — уйдет в хор трактирных песенников. Энергии в нем — на три века. Огня жизни так много, что он, кажется, и потеет искрами, как перегретое железо».

Лев Николаевич относился к Сулержицкому с нежностью, но упрекал его за мечту о свободе, за то, что Сулер не был связан с жизнью и людьми.

Сулержицкий жил на Кавказе, где он хлопотал о найме пароходов для духоборов. Неожиданно он прибыл в Ясную Поляну. В Ясной Поляне в это время юрист Суриков проверял «Воскресение» с точки зрения процессуального кодекса. Лев Николаевич уже вложил в книгу все свои знания, требовал все новых и новых уточнений. Толстой выслушал Сулера

и попросил его вернуться на Кавказ, присоединив к нему своего благоразумного сына Сергея — честного, толкового человека, хорошо знающего языки. Было написано письмо князю Голицыну. Сулержицкий был уже выслан из Тифлиса; начальство возненавидело все хлопоты о духоборах и в то же время боялось Толстого, в какой-то мере уважало его и мечтало, чтобы, наконец, духоборы уехали.

В середине ноября Сулержицкий и Сергей Львович в лунную ночь приехали в местечко Скра под Батумом; духоборы жили в землянках, друг друга они называли уменьшительными именами: Алеша, Вася, маленькие дети называли и родителей уменьшительным именем; вырастая, они называли отца — родитель, или старичок, а мать — няней.

Людей призывного возраста не было — их не выпускали за границу. Были старики, женщины, пожилые люди и один почти столетний старик, бывший севастопольский солдат, которого звали Гриша Боковой.

Это были люди крупные, усатые; женщины ходили в казакинах и шапочках, в одежде преобладал синий и красный цвет.

Все устали, мечтали об отъезде, но дело все задерживалось.

8 декабря в Батуме был солнечный теплый день, в порт прибыла на императорской яхте «Держава» вдовствующая императрица Мария Федоровна. Князь Голицын поехал ее встречать. Сергею Львовичу удалось передать Голицыну письмо, и дело, наконец, было окончательно решено. Сулержицкий начал размещение духоборов на пароходе «Гуров»; по жребию разместили кому где быть, половина мест была совсем темная, свет проходил только через люки, когда они были открыты, а плыть надо было почти месяц. Разместили, разметили мелом, кому где жить. Духоборы, стоя на верхней палубе, запели протяжные псалмы, аджарцы, подвязанные башлыками, провожали переселенцев.

Пароход отходил в море, в далекую «Канадию», где люди говорят на другом языке, где пашут широ-

ко, а жить придется узко. Пароход плыл в обыкновенную жизнь через бесконечный океан.

Сергей Львович нанимал второй пароход, оборудовал его нары. Высокогорные пастбища, на которых так долго жили духоборы, опустели.

НАЧАЛО ВЕКА

I

Наступление XX века в городах праздновалось хвастливо.

Начиналось новое столетие, последнее столетие перед концом второго тысячелетия европейской эры.

Городским людям казалось, что пора подводить итоги, что теперь, когда они вымостили города, летают на воздушных шарах, ездят на поездах и автомобилях и говорят по телефону, — теперь наступает торжество благоразумия.

В газетах печатали рисуночки, изображающие будущую технику: воздушные шары с крыльями, автомобили, самолеты, очень непохожие на будущие. В далекой Африке англичане стреляли в буров, буры — в англичан. В Китае империалисты сражались с народными восстаниями. Через моря, перегоняя друг друга, плыли огромные пароходы. На пароходах играла музыка. Пароходы плыли сквозь туманы, хвастливо, могущественно и погибая иногда.

В мире уже шуршали искровые передатчики беспроволочного телеграфа, цветные отражения диапозитивов, которые недаром назывались тогда «туманными картинами», сменялись на серых экранах черными прыгающими, неизвестно куда бегущими изображениями синематографа.

Умножались фонари в городах, небо над городом ночью становилось розовым; в розовом ночном тумане исчезли над городом звезды.

Увеличились дымы. В городах России зимой почернел снег. Мир менялся стремительно и горестно.

Время как будто убыстрялось. Изобретение сменялось изобретением, события событиями, горе горем. Появлялись прививки против болезней, большие тиражи книг, иностранные газеты.

Вокруг Ясной Поляны вырастали деревья, чаще приезжали гости. Лев Николаевич все еще считал, что все люди должны жить в деревне, что в России девяносто восемь процентов — крестьяне.

Время не было правильно увидено Львом Николаевичем Толстым. Большой корабль его утопий пытался плыть в прошлое кормой вперед, но ветер выгибал паруса к носу, к будущему, непонятному, чужому, враждебному. Я хотел сказать — непонятому.

Но Толстой во многом понимал больше других. Он писал, что возникнут угрозы войн такой силы, при которых могут погибнуть девяносто девять процентов обитателей земли, но даже это не остановит безумие богачей.

В то же время он каждый день писал в своих дневниках одни и те же заклинания о несопротивлении, о том, что надо жить для души. Человек, который показал общую душу народов, показал, как силовое поле общего бытия определяет мысль отдельного человека, как мало значит эта отдельная мысль, утверждал, что мысль может повернуть бытие. Человек этот хотел переделать жизнь, руководя ею из усадьбы, в которой женщины не слушались великого старика.

Век начинался войнами. Воевали на Филиппинах и в Трансваале. Это были войны по-новому отвратительные. Толстой говорил: «Войны американцев и англичан среди мира, в котором осуждают войну уже гимназисты, ужасны».

13 января 1900 года пришел на Хамовники ко Льву Николаевичу литератор В. А. Поссе, издатель «Жизни для всех». Он привел с собой молодого писателя Алексея Максимовича Пешкова. Пешков только что прославился под именем Максим Горький. В доме Толстого Горького ждали. Сперва принимала пришедших Софья Андреевна и дочери, потом вышел из спальни Лев Николаевич, на его сгорбленные плечи был накинут большой шерстяной платок.

Лев Николаевич был нездоров, казалось, что он даже уменьшился в росте. Большая рука его при пожатии казалась горячей. Поссе спросил:

— Ну, как себя чувствуете, Лев Николаевич?

— Хорошо, хорошо... — ответил Толстой, — все ближе к смерти; это хорошо; пора уж.

Высокий, голубоглазый, длинноусый, широкоплечий Алексей Максимович слегка робел, покашливал и проводил большой своей рукой по густому русому ежику Сперва говорили о политике, о литературе. Лев Николаевич, посмеиваясь над собой, говорил, что он невольно радуется победам буров, хотя знает, что это грешно: и буры и англичане занимаются тем массовым убийством, которое они называют войной.

Разговаривая, Лев Николаевич несколько раз взглядывал на Горького. Тот достал папиросу, чиркнул уже спичкой, но вдруг остановился, заметив на стене надпись: «Просьба здесь не курить».

— Ничего, не обращайте внимание на надпись. Кури, коли хочется, — сказал Толстой.

Алексей Максимович закурил и спросил Толстого:

— Читали вы, Лев Николаевич, моего «Фому Гордеева»?

«Фома Гордеев» был первой большой вещью Горького.

Толстой ответил:

— Начал читать, но кончить не мог, не одолел. Больно скучно у вас выдумано. Ничего такого не было и быть не может.

— Детство Фомы у меня, кажись, не выдумано, — возразил Горький.

— Нет, все выдумано. Простите меня, но не нравится. Вот есть у вас рассказ «Ярмарка в Голтве». Это мне очень понравилось. Просто, правдиво. Его и два раза прочесть можно.

Толстой продолжал, что эта вещь напомнила ему Гоголя и заставила еще раз пожалеть о том, как мало у нас юмора.

Дальше разговор перешел на рассказы Горького «Варенька Олесова» и «Двадцать шесть и одна».

Варенька Олесова — девушка, которая, увидав, что за ней подсматривают во время купания, избила за это молодого человека. Лев Николаевич был рассказом недоволен: в деревнях бывают такие девки, которые вечно носятся со своей девственностью, стараясь выставить ее напоказ: «Я девственница...» Девственность девушки хороша, когда она о ней не думает и даже не знает...»

Потом он начал говорить о девушке из «Двадцати шести», произнося одно за другим «неприличные слова» с простотою, которая мне показалась цинизмом и даже несколько обидела меня».

Алексей Максимович рассказывал мне подробно об этом свидании. Лев Николаевич спросил у Горького, какой ширины топка печки, как сидели пекаря, и, отмеряя границы света на столе, проверял, правильно ли Горький осветил лица людей, про которых хотел рассказать. Ему нужна была точность, потому что точное правдивее. Он говорил в то же время, что можно выдумывать все, кроме психологии. Психология должна быть точной; деталь тоже должна быть точной. Деталь — это знак правды. Последние слова я говорю по памяти, уже менее уверенно.

Разговор был интересен.

С интересом смотрели на Горького и женщины толстовского дома.

16 января в дневнике появляется: «Был Горький. Очень хорошо говорили. И он мне понравился. Настоящий человек из народа.

Какое у женщин удивительное чутье на распознавание знаменитости. Они узнают это не по получаемым впечатлениям, а по тому, как и куда бежит толпа. Часто, наверное, никакого впечатления не получила, а уж оценивает, и верно».

Приход Горького как бы возродил раннего Толстого.

Вместительная, многодорожная судьба Толстого укладывается в повествование. Человек все время начинает новое, но это новое для него — проверка основного.

II.

Лев Николаевич, как говорил про него В. И. Ленин, жил в Москве «на два этажа». Он жил вместе со своей семьей и ближайшими знакомыми, и в то же время он жил отдельно.

Одним из последствий являлось то, что вещи Льва Николаевича при своем появлении были странны для окружающих; они противоречили тому, что, по их мнению, должен был думать и писать Толстой.

Очень любопытно это проследить на драме «Живой труп». Сам Лев Николаевич в дневнике называл вещь «Труп»; в дневнике от 29 декабря 1897 года записано: «Думал о Хаджи Мурате. Вчера же целый день складывалась драма-комедия «Труп».

Следующие два года Толстой был занят «Воскресением».

В начале 1900 года 2 января Толстой записывает: «Ездил смотреть «Дядю Ваню» и возмутился. Захотел написать драму «Труп», набросал конспект».

После этого записи о работе над «Трупом» идут одна за другой.

15 августа Толстой отмечает: «Писал «Труп» — окончил, и втягиваюсь все дальше и дальше».

Конца не было. Шел поиск.

Отвергались варианты, иногда ослепительные по своей правдивой неожиданности.

В дневнике 7 сентября записано: «Федя говорит: а может быть, я ошибся? Ну, да что сделано, то сделано. Несите».

Эта реплика не сохранилась в том тексте, который мы можем считать окончательным.

Сразу появляется новое воплощение темы — бегство в настоящую жизнь от жизни ложной, хотя бы ценой смерти, ценой отказа от всего, и сразу же появляется новое решение, как создавать диалоги, в которых не будут договорены мысли, а передается живой разговор с перебивкой; сразу появляется представление о многоэпизодной драматургии без актов.

По дневнику получается так, будто Толстой

включился в работу над «Трупом», как бы полемизируя с Чеховым.

Он и спорил и шел вместе с ним, открывая новую художественную дорогу для драматургии.

В литературной форме «Живой труп» представляет собой наиболее острое произведение Льва Николаевича. «Плоды просвещения» и «Власть тьмы» написаны манерой традиционной драматургии, это пятиактные классические драмы. «Живой труп» создан уже человеком, который видит опыт Чехова и, хотя с ним не согласен, его учитывает.

А. Ф. Кони в статье «Живой труп» в действительности отмечает: «Одни видят в «Живом трупе» новое слово на новых путях драматического искусства, другие сравнивают короткие, быстро сменяющиеся драматические сцены чуть ли не с лентой кинематографа».

Сохранились известия, идущие от не очень разбирающихся в искусстве людей, что Толстой в это время был сильно заинтересован вращающейся сценой.

Таким образом, есть ряд указаний на то, что перед Львом Николаевичем как важнейшие стояли вопросы чисто художественного порядка. Об этом писал и Гольденвейзер в книге «Вблизи Толстого». Толстой отмечал отрывистость реального разговора, недоговоренность реплик и говорил, что это надо использовать в драматургии.

Председатель Московского окружного суда Н. В. Давыдов в книге «Из прошлого» настойчиво подчеркивал детальное сходство истории, рассказанной в драме, с судебным делом об одном опустившемся человеке, который, желая освободить жену, прибег к мнимому самоубийству. Кони в статье, которую я цитировал, делает по этому поводу несколько скептических замечаний. Он осторожно говорит о знаменитом деле Гимера, что ему «во всяком случае принадлежит некоторая роль в происхождении «Живого трупа».

Оказывается, Давыдов рассказал дело неточно. Кони обобщает эту неточность, говоря: «В последние

годы экспериментальная психология, устанавливая опытные приемы для оценки объективной правдивости свидетельских показаний, приходит к выводу, что человеческая память, по прошествии некоторого времени от события, в большинстве случаев утрачивает конкретную точность и стремится восполнить образующиеся в ней пробелы представлениями, которые будучи совершенно добросовестными, в то же время совершенно далеки от истины. В этих случаях человеческая мысль незаметно для самой себя переходит от шаткого «так могло бы быть» к определенному «так должно было быть» и к положительному «так было».

Мы можем сказать, что в литературных делах человек, прочитавший литературное произведение и вспоминающий о так называемых прототипах, дополняет историю жизни прототипов по литературному произведению, сближая их, считая, что так было, потому что так должно было быть.

У Толстого Федя Протасов — развитой человек состоятельный, любящий искусство; к следователю он приходит в сюртуке, говорит с ним вызывающе; семья его жены — состоятельная, полуаристократическая. Человек, который влюблен в жену Протасова, аристократ по фамилии Каренин; имя его — Виктор, имя его матери — Анна. Правда, она Анна Дмитриевна, а не Анна Аркадьевна, как героиня «Анны Карениной», но возвращается тема невозможности развода. Она принадлежит кругу, который уже был воспроизведен в «Анне Карениной».

Дело Гимеров было, но оно было не в этом.

Гимер, про которого рассказывает Давыдов, был опустившийся, малоразвитый человек. Он брал у своей жены на квартиру, занимал у нее по мелочам. Человек, которого полюбила жена Гимера Екатерина, был крестьянин, который хотел пойти вместе с ней на поселение.

Как мы знаем, когда пьеса уже была написана, к Толстому пришли люди, которые просили ее не публиковать. Это был сын Н. Гимера, а потом он сам. Дело в том, что следствие было притушено. Екатерина Гимер, обвиненная в двоемужестве, не была послана в ссылку, а отбывала годичный срок заключения в качестве фельдшерицы. Получается так, что Толстой слыхал о деле Гимера, а увидал его после того, как пьеса была написана, и тогда же узнал об обстоятельствах дела точно.

Сходства немного. Сходство с делом Гимера было, так сказать, вчитано людьми, которые видали пьесу и, зная о каких-то связях ее с судебной историей, изменили эту историю. Об этом и говорил Кони.

Толстовское окружение считало пьесу неудачной. Кони замечал в статье: «. мне думается, что нельзя особенно порадоваться оглашению и постановке «Живого трупа», к которому не приложена окончательно творческая рука автора».

Возник даже спор: Толстой ли написал пьесу? Об этом писал, защищая подлинность пьесы, К И. Арабажин: «Возникли сомнения в подлинности пьесы, хотя при всей бесспорной добросовестности госпожи Киндяковой, заявившей, что идет на сцене пьеса не та, которую написал Л. Н. Толстой, нужно признать эти сомнения и подозрения лишенными всякого основания».

Арабажин ссылается на рукопись пьесы, испещренную заметками Толстого.

Объясняя, почему пьеса не была напечатана, Арабажин приводит мнение Александры Львовны· «Лев Николаевич познакомился с действительными «героями» процесса, и «действительность» оказалась ниже ожиданий Толстого».

Тенеромо (Файнерман) уверял, что «Толстого неприятно поразило сходство с романом «Что делать?», который он совершенно забыл; при этом Толстой сравнивает себя с тигром, который бросает добычу, если первая хватка неудачна».

Подробностей про тигров мы не знаем, но если говорить про Толстого, то он обычно делал попытки точно написать задуманное по многу десятков раз. Кроме того, его не могло поразить сходство с романом «Что делать?», потому что этот роман упоминается в самой драме.

Приведем этот разговор Маши с Федей:

«*Маша.* ...Читал ты «Что делать?»?

Федя. Читал, кажется.

Маша. Скучный это роман, одно очень-очень хорошо. Он... этот, как его, Рахматов, взял да и сделал вид, что утопился. И ты вот не умеешь плавать?

Федя. Нет».

В пересказе цыганки завязка «Что делать?» передана неточно, неверно названо действующее лицо, но сущность дана точно. Добрый, нравственный человек, для того чтобы освободить свою жену от себя как от мужа, симулирует самоубийство.

Современники Толстого, в том числе и профессор Евгений Аничков, сближали роман «Что делать?» и «Живой труп» и по другим чертам обоих произведений.

Истинная история «Живого трупа» заключается не в том, что Толстой в ней захотел описать трагическую историю неудачной попытки самоубийства какого-то бывшего человека. Лев Николаевич вымыслил излюбленную свою историю о бегстве из жизни. Это бегство из жизни здесь было оформлено как потеря имени. Таких фабул в то время существовало довольно много. Потеря имени путем подмены паспорта. На этом основан, например, роман Ахшарумова «Чужой мир».

Для Толстого этого периода необходимость уйти из жизни, стать не самим собой, вырваться из ложных обязательств жизни осуществляется в его литературных произведениях самыми разнообразными способами. Мысль об уходе из жизни мы видим и в «Отце Сергии», и в «Записках старца Федора Кузмича», и в «Корнее Васильеве», и в «Живом трупе». Обоснования ухода разные, но все они положительные — уходит хороший человек, уходит он потому, что жизнь, в которой он находился, неправильная, дурная.

Пьеса не была закончена Толстым.

Не могло заставить Толстого отложить рукопись то, что заставляло его не издавать «Хаджи Мурата» и многие другие вещи: вопрос об авторском праве.

Драматургические произведения были выделены у Толстого, и деньги, получаемые за «Плоды просвещения» и «Власть тьмы», считались лично ему принадлежащими и после раздела. Это были те деньги, которые он раздавал.

Всего вернее, что «Живой труп» не был отдан на сцену потому, что художественная практика Толстого в данном случае противоречила его художественной теории. Если взять теоретические работы Толстого и, в частности, «Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана» (1894 г.) или «Что такое искусство?», то мы увидим, что в этих произведениях создана очень интересная теория, в которую творчество Толстого, однако, никак не укладывается. В разговорах Лев Николаевич делал исключение для «Кавказского пленника» и народных рассказов. В дневнике есть запись, что, может быть, «Труп» будет читаться и произведет хорошее впечатление. Но «Труп» по всей своей идеологии, по сюжетным решениям, по характеристикам героев противоречит толстовской теории искусства и морали толстовства и действительно совпадает с тем, что предлагал как норму жизни в своем романе Чернышевский. Толстой только не знает, что надо делать после того, когда вырвешься из старого уклада жизни, если ты не будешь пахать землю. Но все здесь неожиданно. Положительный герой — пьяница, вопрос о разводе решается совсем не так, как думал создатель «Крейцеровой сонаты». Толстой в какой-то мере считал Анну Каренину виноватой, как нарушительницу семьи. Федя Протасов герой: он освобождает свою жену.

«Живой труп» был поставлен в МХАТе и в Александринском театре после смерти Толстого. По договоренности между театром и издателем посмертных произведений Толстого вся драма была целиком напечатана в одном номере «Русского слова». Номер оказался занят целиком, кроме телеграмм. Вопрос о «Живом трупе» сплелся с вопросом об авторской собственности. Наследники не отпустили «Живого трупа» без выкупа.

III

«Грех материализма» существовал.

Можно сделать так, чтобы стрелки часов показывали то время, которое тебе хочется, но для этого нужно оторвать стрелки от их материальной базы — от механизма, от часов.

Тогда можно ставить стрелки, и у тебя будет или вечный полдень, или вечный вечер, но не будет течения времени.

Между тем даже дурные часы можно научиться проверять и исправлять их показания. Стрелки, которые отделены от материального мира, бесполезны.

Зиму 1901 года Лев Николаевич проводил в Москве. Он даже собирался издавать художественный журнал, но толстовцы во главе с Чертковым запротестовали: они говорили, что для такого журнала надо войти в отношения с жизнью, надо тратить деньги, а между тем в Англии есть люди, которые уже живут без денег — целыми семьями, один даже живет в чужом городе.

Неизвестно, что этот человек в этом городе делал. Но Лев Николаевич выслушал и согласился. Он извинялся в письме к Черткову и сказал о причинах соблазна: «...очень меня подкупало то, что это побуждало бы меня писать художественные вещи, которые я без этого не буду писать, и то, что огромный материал этического характера вещей, получаемых мною, собранных в букет, могли бы быть полезны людям. Но я все-таки рад, что не удалось, тем более, что я как будто кончил, особенно для художественных вещей, и что, наверное, было бы много неприятного и, как вы пишете, невольно втянулись бы участвующие в нехорошие компромиссы.

О жизни без денег я все внимательно прочел и обдумал».

Лев Николаевич, конечно, не был прав, когда он утверждал, что кончил для художественных вещей. Если взять изданные теперь дневники того времени, то упоминание о работе над «Хаджи Муратом» встречается двадцать девять раз в одном 53-м томе; художественная работа шла непрерывно.

Лев Николаевич не мог оторваться от жизни, с которой он был связан художественно-философским пониманием. Он только что кончил «Воскресение» — вещь, вмещающуюся в жизнь дня и жизнь века.

«Воскресение» говорило царской церкви, во главе которой стоял чиновник Победоносцев в мундире и епископы в золотых ризах: «Вы мертвы».

«Воскресение» обострило борьбу вокруг Толстого.

22 февраля 1901 года состоялось определение синода, опубликованное во всеобщее сведение через «Церковные ведомости». Лев Николаевич в этом постановлении объявлялся врагом церкви и сообщалось, что он от этой церкви отлучен.

Отлучение это произведено не очень торжественно и уверенно и даже носило характер некоторого компромисса; оно было не столько отлучением, сколько отречением от церкви. В нем сообщалось следующее: «И в наши дни, божиим попущением, явился новый лжеучитель, граф Лев Толстой, известный миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на господа и на Христа его и на святое его достояние...» Сообщалось, что Лев Николаевич не признает загробной жизни, отвергает таинства и не содрогнулся «подвергнуть глумлению величайшее из таинств, святую евхаристию».

Евхаристия — это причащение. Дело в данном месте идет об определенной главе «Воскресения».

Грозное отлучение написано не без дипломатии: «Многие из ближних его, хранящих веру, со скорбию помышляют о том, что он на конце дней своих остается без веры в бога и господа спасителя нашего, отвергшись от благословений и молитв церкви и от всякого общения с ней» Дальше следуют подписи церковных вельмож — епископов.

Отлучение Лев Николаевич в дневнике своем называет «странным».

Оно произвело на всех впечатление неожиданное.

Софья Андреевна ответила 24 марта на отлучение через газеты лично, презрительно говоря об угрозе лишения церковного погребения, которое содержалось в отлучении: «Если это угроза, то кому и чему? Неужели для того, чтобы отпевать моего мужа и молиться за него в церкви, я не найду — или такого порядочного священника, который не побоится людей перед настоящим богом любви, или непорядочного, которого я подкуплю большими деньгами для этой цели».

По неспокойной России прошли протесты. Всеобщие протесты.

Лев Николаевич на отлучение ответил не сразу и очень спокойно. Он ответил: «Я начал с того, что полюбил свою православную веру более своего спокойствия, потом полюбил христианство более своей церкви, теперь же люблю истину более всего на свете. И до сих пор истина совпадает для меня с христианством, как я его понимаю».

Лев Николаевич получил тысячи писем с выражением сочувствия; телеграмма из Киева от студентов киевского техникума была подписана более чем тысячей студентов. Рабочие стекольного завода прислали Льву Николаевичу глыбу стекла, в которую влита надпись золотыми буквами:

«Вы разделили участь многих великих людей, идущих впереди своего века, глубокочтимый Л. Н-ч. И раньше их жгли на кострах, гноили в тюрьмах и ссылке. Пусть отлучают вас как хотят и от чего хотят фарисеи, первосвященники. Русские люди всегда будут гордиться, считая вас своим великим, дорогим, любимым».

На передвижной выставке был портрет Толстого. Портрет сперва украсили цветами; когда портрет убрали, то цветы клали на то место, где он висел. На улицах Льва Николаевича встречали овациями; извозчика, на котором он ехал, окружала молодежь, останавливали.

В. И. Ленин писал в 1910 году: «Святейший Синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше. Этот подвиг зачтется ему в час народной расправы с чиновниками в рясах, жандармами во Христе, с темными инквизиторами, которые поддерживали еврейские погромы и прочие подвиги черносотенной царской шайки».

Шли годы. Толстой старел, работая больше всех и видя больше всех, работая по-новому. Старое существует в новом, оно не только себя доживает, но и освещается новым, смотря на него и строя его.

Пустел дом. Ушли из дому Татьяна Львовна и Марья Львовна. Была у родителей такая сердечная боль, которую старики Толстые не переживали со времени смерти Ванечки. Уехала из дому Таня — надела серое платье, серую шляпу и уехала с совсем обыкновенным старым мужем. Лев Николаевич записал в дневнике, что он двадцать лет все снижает свое мнение о женщинах, а теперь, после замужества Тани, еще снизил.

А когда Таня возвратилась на время домой, Лев Николаевич смеялся, радовался и повторял: «Приехала! Приехала!»

Шла сырая осень. В Ясную Поляну приходили приветствия и ругательства. Лев Николаевич продолжал работать над «Хаджи Муратом». Ему казалось, что кончить легко, если только перестанут мешать.

7 мая 1901 года Лев Николаевич записывает подряд: «Смерть, казавшаяся невероятной, становится все более и более вероятной, и не только вероятной, но несомненной». И сразу же: «Видел во сне тип старика, который у меня предвосхитил Чехов. Старик был тем особенно хорош, что он был почти святой, а между тем пьющий и ругатель. Я в первый раз ясно понял ту силу, какую приобретают типы от смело накладываемых теней. Сделаю это на Хаджи Мурате и Марье Дмитриевне».

Мысль о новом мастерстве, еще не достигнутом, все время приходит Толстому.

Лев Николаевич зимой заболел; зима теплая, сырая, все ходили вялыми, грустными, даже Андрей Львович, приехавший с собачьей выставки, не шумел и не хвастался. Льва Николаевича трясла малярия:

его знобило, он тяготился жизнью, которую никак не мог вырвать из колеи размякшей, а потом замерзшей дороги.

В конце января Софья Андреевна справляла свадьбу младшего сына Миши: свадьба пышная, великосветская, пели певчие Чудовского монастыря, среди цветов и дам в нарядных платьях красовался великий князь Сергей Александрович, специально приезжавший на свадьбу, вероятно с мыслью увидеть великого старика.

Великий князь был особенно любезен с Софьей Андреевной, в толпе восхищались моложавостью матери жениха.

Молодые поехали в Ясную Поляну.

Весной поехал туда сам Лев Николаевич и начал болеть; прописали ему хину и кофеин.

Врач П. С. Усов посоветовал везти Толстого на юг, создать вокруг него старческий образ жизни, чтобы не было ни волнений, ни работы. Все это было сделать трудно.

Льву Николаевичу уже минуло семьдесят три года. Он знал, что две жизни не прожить: утром писал, потом ходил по саду, выезжал верхом в лес. Вечером сидел с близкими.

Быстрая, решительная и энергичная Софья Андреевна решала все сама, но не знала еще, где снять дачу для больного. Вспомнили о графине Паниной, у которой было имение под Ялтой, и решили обратиться к ней — не отдаст ли она внаймы дом. Скоро получили ответ от графини Паниной, что она с величайшей радостью предоставит свое имение в распоряжение семьи Льва Николаевича и что приказание об этом уже послано управляющему. Из министерства путей сообщения получено было разрешение взять удобный вагон и прицепить его к любому поезду, чтобы доехать до Севастополя, или в случае надобности отцеплять вагон от поезда и жить в нем на железнодорожных путях.

Здоровье Льва Николаевича ухудшалось. Но попрежнему он был аккуратен в ответах на письма, и люди, которые получали от него ответы, вероятно, не

представляли себе, каково состояние их корреспондента.

Уже существовало тайное распоряжение министерства внутренних дел в случае кончины Толстого не допускать никаких демонстративных речей, действий и манифестаций.

5 сентября решили ехать. Льва Николаевича одели в шубу, посадили в коляску и отправились в Тулу. Дорога осенняя, ночная; от усадьбы до шоссе ехали, освещая березовую аллею факелами. Часов в десять вечера приехали в Тулу и сейчас же посадили Льва Николаевича в ожидающий его вагон. Толстой задыхался: у него был жар; собрался консилиум: врачи решили, что лучше везти больного на юг в удобном вагоне, чем опять возвращаться в Ясную Поляну по бездорожью. Никто не спал; к ночному поезду прицепили вагон Толстого.

В Курске утром погода была теплая, сухая. Отправили телеграмму в Харьков, чтобы приготовили на станции три бутылки молока.

Приехали в Харьков, оказалось, что станция забита людьми; по телеграмме о молоке догадались, что едет Толстой: о болезни его уже писали в газетах. Толпа не шумела, но просила, чтобы Лев Николаевич показался в окне. Он сделал это с трудом.

Поехали дальше. Утром стало совсем тепло, даже жарко; по обеим сторонам железнодорожного полотна синел Сиваш. Лев Николаевич просил открыть окна, достал записную книжку, начал работать.

В Симферополе купили виноград и поехали дальше.

Лев Николаевич узнавал места, в которых побывал во время осады Севастополя.

В самом Севастополе Льва Николаевича встретила небольшая толпа и много полиции.

Оказалось, что Толстого ждут давно и уже изверились в приезде.

Посмотрели город, бухты. Толстой вспоминал, как переправлялись под огнем по этим бухтам, как переезжали по наплавным мостам, поросшим длинными лохмами водорослей.

Полицмейстер построил колонну экипажей, сам сел на передний экипаж и понесся впереди к гостинице, показывая усердие и готовясь разогнать незаконные сборища. Ночевали в Севастополе.

Из города выехали рано.

Было тепло, пахло полынью, степь медленно подымалась. Следы великой осады были почти сглажены и поглощены сухой травой и невысоким лесом.

Лев Николаевич волновался; выходил на шоссе, смотрел на расположение редутов.

Дорога не спеша изгибалась в желтеющих лесах. Крымское небо было сине изо всех сил. Поднялись к Байдарам, и здесь за воротами распахнулся вид на Южный берег, обрыв, море, которое стояло, как будто подымаясь вверх. Спокойные орлы медленно летали над обрывом, не обращая внимания на полицмейстера. Желтизна степного Крыма сменилась синевато-багровым цветом осенних буковых лесов; внизу зеленело.

Ехали по могуче изгибающейся дороге долго. Обгоняли линейки с господами и дамами, ахающими на красоту Крыма.

Дом графини Паниной в Гаспре находится на верхней дороге, почти под самым Ай-Петри. Горы за домом поднимаются стеной. Рядом небольшая татарская деревня в пятьсот жителей и развалины старинного укрепления Гаспра Исар. Дом — шотландский замок, сложенный из дикого камня, у него две башни. Такой замок изображался на иллюстрациях к «Детям капитана Гранта» Жюля Верна. Огромный дом весь оплетен глицинией, которая вросла в камни и поднималась уже к крыше дома.

В письме к сыну Лев Николаевич восторженно и несколько иронично так все это описывает: «Гаспра, имение Паниной, и дом, в котором мы живем, есть верх удобства и роскоши, в которых я никогда не жил в жизни. Вот-те и простота, в которой я хотел жить. Ну, как тебе сказать: въезд через парк по аллее, окаймленной цветами, розаны и другие, все в цвету, и бордюрами к дому, с двумя башнями и домовой церковью. Перед домом круглая площадка с гирляндами из розанов и самых странных красивых растений. В середине мраморный фонтан с рыбками и статуей, из которой течет вода. В доме высокие комнаты и две террасы: нижняя вся в цветах и растениях, с стеклянными раздвижными дверями и под ней фонтан. И сквозь деревья вид на море. Наверху терраса с колоннами, шагов 40 в длину, с изразцовым полом, и внизу овраги, деревья, дорожки, дома, дворцы и огромный вид на море. В доме все первосортное: задвижки, нужники, кровати, проведенная вода, двери, мебель. Такой же флигель, такая же кухня, такой же парк с дорожками, удивительными растениями, такой же виноградник со всеми самыми вкусными, съедобными сортами».

Лев Николаевич изумлялся и на то, что газоны поливают, и на мраморные лестницы, и на то, что «со всех сторон богачи и разные великие князья, у которых роскошь еще в 10 раз больше».

Сам Толстой в Ясной Поляне и в Москве жил в комнатах с потертыми крашеными полами.

Здесь он удивлялся на все и просил Софью Андреевну, Таню и Буланже, который его сопровождал, чтобы они как-нибудь не задели большие вазы, красовавшиеся по углам дома.

Спуск от Гаспры вниз к морю долог и труден: он идет мимо могучих кедров с пологими ветками; они кажутся не выросшими из зерна, а вырезанными из драгоценных минералов.

Внизу проходит так называемая «горизонтальная дорожка», соединяющая дворцы великих князей с царской резиденцией в Ливадии. Управляющий графини выхлопотал Льву Николаевичу право ходить по этой высочайшей тропе: право это потом было отобрано Дорога шла над виноградниками, огибала острые скалы и была украшена золотой пестротой осени

Еще ниже было другое шоссе, обвалы камней и могучее, знакомое Толстому море.

В конце сентября 1901 года Чехов перед деловой поездкой в Москву был в Гаспре у Льва Николаевича. Об этом он пишет А. М. Пешкову: «Перед отъез-

дом из Ялты я был у Льва Николаевича, виделся с ним; ему Крым нравится ужасно, возбуждает в нем радость, чисто детскую, но здоровье его мне не понравилось. Постарел очень, и главное, болезнь его — это старость, которая уже овладела им. В октябре я опять буду в Ялте, и если бы Вас отпустили туда (Горький в это время жил в ссылке в городе Арзамасе, болел, и друзья хлопотали о разрешении ему отправиться в Ялту. — *В. Ш.*), то это было бы прекрасно. В Ялте зимою мало людей, никто не надоедает, не мешают работать — это во-первых, а во-вторых, Лев Николаевич заметно скучает без людей, мы бы навещали его».

В ноябре Чехов вернулся в Ялту.

Лев Николаевич здесь начал хворать, собирался писать письмо царю — новая бесполезная попытка. Начал он писать царю о том, что народу надо дать землю, что нельзя преследовать за веру, а кроме того, вообще один человек не может управлять большой страной, и в результате ею управляют очень плохо случайные люди.

Письмо брался передать великий князь Николай Михайлович — человек, хорошо воспитанный.

Толстой потом сам сказал, что написал человеку, держащемуся за свое место зубами, чтобы тот помог поднять тяжелое бревно.

Солнечные дни чудной крымской осени великолепны. Лев Николаевич поместился в нижнем этаже, в комнате, прилегающей к залу, окна выходили на запад и на юг, с юга окна были защищены от солнца крытой верандой.

Лев Николаевич гулял однажды в имении Воронцовых. Прекрасный дом Воронцовых представляет собой своеобразный архитектурный кентавр: сторона, обращенная к горам, сделана как английский замок, сторона, обращенная к морю, построена как мусульманская мечеть, и на мраморном портале по мрамору написано золотом по-арабски: «Богатство — от бога».

Мраморные львы спокойно лежали на уступах

лестницы, идущей к морю, как будто охраняя дорогу к богатству, обеспеченному богом.

Лев Николаевич ходил по темным комнатам дворца, смотрел портреты Воронцовых, портреты тех людей, которых в молодости он знал, но издали.

Он писал «Хаджи Мурата».

Здоровье Толстого всех тревожило.

Чехов писал 17 ноября 1901 года:

«Милая моя супружница, слухи о Толстом, дошедшие до вас насчет его болезни и даже смерти, ни на чем не основаны. В его здоровье особенных перемен нет и не было, а до смерти, по-видимому, еще далеко. Он, правда, слаб, на вид хил, но нет ни одного симптома, который угрожал бы, ни одного, кроме старости... Ты ничему не верь. Если не дай бог случится что, то я извещу тебя телеграммой. Назову его в телеграмме «дедушкой», иначе, пожалуй, не дойдет».

Письма распечатывались и просматривались, и Чехов о Толстом писал осторожно и скупо.

Но болезнь старика еще не определилась.

Внезапно по каким-то важным соображениям закрыли для него под Гаспрой царскую тропу. Лев Николаевич на смирной татарской лошадке начал ездить по нижнему шоссе. Шоссе это окружено толстыми каменными стенами, увитыми ломоносом, за стенами кипарисы, дворцы, минареты, цветы. Однажды Лев Николаевич ехал по нижней тропе. Горький рассказывает это так:

«В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге; он ехал верхом в направлении к Ливадии; под ним была маленькая татарская, спокойная лошадка. Серый, мягкий, лохматый, в легонькой белой войлочной шляпе грибом, он был похож на гнома».

Толстой ехал тихо. Горький, разговаривая со стариком, шел у стремени. Разговор был обыкновенный для Толстого: о боге, о семье.

«У границы имения великого князя А. М. Романова, стоя тесно друг ко другу, на дороге беседовали трое Романовых: хозяин Ай-Тодора, Георгий и еще один, — кажется, Петр Николаевич из Дюльбера, — все бравые, крупные люди. Дорога была загорожена

дрожками в одну лошадь, поперек ее стоял верховой конь; Льву Николаевичу нельзя было проехать. Он уставился на Романовых строгим, требующим взглядом. Но они, еще раньше, отвернулись от него. Верховой конь помялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская лошадь Толстого.

Проехав минуты две молча, он сказал:

— Узнали, дураки.

И еще через минуту:

— Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому».

Он спокойно презирал Романовых, и в то же время в какой-то степени ему был близок великий князь Николай Михайлович со спокойными и привычно широкими движениями гвардейца. Он даже называл в письмах к Черткову Николая Михайловича «вашим приятелем»: В. Чертков и Николай Михайлович в юности встречались. Но он давно уже пережил близость к этим людям, которые так нравились ему в молодости, когда он тянулся за Горчаковыми. Теперь для него лошадь стала почтеннее царских родственников.

Горький, Чехов были бесконечно понятнее аристократии.

Чехова Толстой любил нежно, ревниво и требовательно. Антон Павлович не укладывался в толстовское представление об искусстве.

Год тому назад Толстой записал (13 марта 1900 года): «Искусство, поэзия: «Для берегов отчизны дальной» и т. п, живопись, в особенности музыка, дают представление о том, что в том, откуда оно исходит, есть что-то необыкновенно хорошее, доброе. А там ничего нет. Это только царская одежда, которая хороша только тогда, когда она на царе жизни — добре» В скобках приписано: («что-то нехорошо, но так записано»).

Лев Николаевич требует от поэзии прямого добра. Пушкинская верность любви для него еще не добро, потому что эта любовь для себя, для мира. В черновике (записная книжка) записано яснее: «Искусство [музыка], поэзия — Чехов, живопись, в особенности [поэзия] музыка [цыганская] дают представление о том, что что-то прекрасное, поэтическое, доброе в том, откуда оно исходит. А там ничего нет. Это только царская одежда, которая прелестна на царе жизни — добре».

Чехов оказался не только рядом с музыкой, но и с цыганским пением. В то же время он рядом с Пушкиным, он рядом с жизнью, которая сама для себя царь.

Искусство Толстого и Чехова не одевает жизнь, а поясняет, доказывает, что сама по себе неизвращенная жизнь и есть добро и есть красота. Это понимал Толстой, когда он писал «Хаджи Мурата», это понимает народная песня, но Лев Николаевич в противоречивости своей хотел облечь в царские одежды искусства догму, и это даже ему — могучему человеку — мешало.

В Гаспре он много говорил о Чехове. Горький записывает: «Вот вы, — он обратился к Чехову, — вы русский! Да, очень, очень русский!»

И, ласково улыбаясь, обнял А. П. за плечо, а тот сконфузился и начал баском говорить что-то о своей даче, о татарах.

Чехова он любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо А. П. взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Однажды А. П. шел по дорожке парка с Александрой Львовной, а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на террасе, весь как-то потянулся вслед им, говоря вполголоса:

— Ах, какой милый, прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня! И ходит, как барышня. Просто — чудесный!»

Вокруг Толстого собралась его семья и толстовцы. Было шумно и суетливо.

Чехов про Толстого говорил, что он, Чехов, не верит в то, что Толстой несчастлив.

О Льве Николаевиче в Крыму сохранились записки Горького, из которых я приведу еще несколько отрывков. Записки эти очень хороши, и всякий человек, который хочет понять Толстого, должен их прочесть полностью.

«Он любит ставить трудные и коварные вопросы.

— Что вы думаете о себе?

— Вы любите вашу жену?

— Как, по-вашему, сын мой Лев — талантливый?

— Вам нравится Софья Андреевна?»

Софья Андреевна Горькому внушала уважение. Он писал: «Если не ошибаюсь, в Гаспре собралась вся семья Толстого: дети, зятья, снохи; мое впечатление: там было очень много беспомощных и больных людей. Я мог хорошо видеть, в каком вихре ядовитейших «мелочей жизни» кружилась Толстая — мать, пытаясь охранить покой больного, его рукописи, устроить удобнее детей, отстранить шумную назойливость «искренне сочувствующих» посетителей, профессиональных зрителей и всех накормить, напоить... В этом вихре ослепляющей житейской пыли Софья Андреевна носилась с утра до вечера, нервно оскалив зубы, зорко прищурив умные глаза, изумляя своей неутомимостью, умением всюду поспеть вовремя, всех успокоить, прекратить комариное нытье маленьких людей, взаимно недовольных друг другом».

Задыхался и хрипел Сухотин — муж Татьяны Львовны, уныло и безуспешно искал партнеров для преферанса Сергей Толстой.

Здоровье Льва Николаевича ухудшалось.

Все требовали внимания и забот Софьи Андреевны. Что касается Льва Львовича, то он был очень похож на своего отца в молодости, но имел до удивительности маленькую голову.

Лев Львович сам писал все время, споря с отцом, поправляя его; в противовес «Крейцеровой сонате» он написал повесть «Ноктюрн Шопена»: в этой повести женщина, которую пытался убить муж, оставалась живой: вместо нее хоронили куклу, а она уходила в монастырь. Он писал самые невероятные вещи и всегда антитолстовские, с разоблачениями; печатался он в «Новом времени»; фельетонист Буренин тут же высмеивал Льва Львовича, называя его «Тигр Тигрович Соскин-Младенцев». Льву Львовичу было, однако, уже 32 года.

Выздоровев, Лев Николаевич написал сыну письмо, он тяготился его ничтожеством, обижался и все же хотел примириться с ним. Получив письмо, Лев Львович вышел в соседнюю комнату, разорвал конверт, прочел письмо, недовольно качая маленькой головой, потом сложил все вместе, изорвал мелко-намелко и бросил в сорную корзину.

Судьба жестоко покарала Льва Львовича. После революции он уехал в Америку и на старости в картинах играл роль Льва Толстого. Гримироваться ему почти не приходилось, а голову увеличивали подкладкой под парик.

22 ноября 1901 года Чехов писал жене: «Толстой здоров, температура у него нормальная и пока нет ничего такого, что особенно бы пугало, кроме старости, конечно».

9 декабря Чехов говорил с Толстым «в телефон».

В декабре Толстой зашел к Горькому: было тепло. Лев Николаевич принес розово-лиловый крупный полевой цветок и рассказал, что миндаль собирается зацвести.

Новый, 1902 год встречали в Гаспре. Управляющий графини Паниной, немец Классен, пришел с фиалками. Лев Николаевич играл с ним, Гольденвейзером и сыном Сережей в винт.

Вскоре Толстой заболел серьезно.

Погода в Крыму испортилась: выпал снег и лежал долго.

Настроение в доме было выжидательное и тяжелое. Ухаживала за Львом Николаевичем жена — умело и внимательно. Приходил Горький, Сулержицкий, приехал врач Бертенсон; стали бояться, что Толстой умирает. Он спрашивал о Соне, беспокоился, спала ли она, ела ли, засыпал опять.

Впрыскивали камфару.

Он бредил: «Севастополь горит». Раз, когда дежурил Буланже, Толстой, проснувшись, спросил его:

— Граф или князь?

Потом объяснил, что наместник на Кавказе Воронцов был графом, а потом получил княжеское звание, и он боится, что в рукописи неверно назвал его князем; попросил навести справку.

К февралю положение стало совершенно безнадежное. Толстой был спокоен и просил: «... не загадывайте вперед, я сам не загадываю».

Вокруг Толстого было несколько врачей: Альтшуллер, земский врач Волков, Савицкий и Амазасп Органджаньян.

Лев Николаевич тосковал. Софья Андреевна настойчиво требовала, чтобы он ел рыбу и курицу, а не морковь. Она была убеждена, что вся беда от вегетарианства. Толстого лихорадило, но он дописал и отправил Николаю II смягченное, хотя для царя все же жестковатое, письмо.

Из Петербурга в конце января приезжали доктора Бертенсон и Щуровский. Софья Андреевна смягчилась; она записывает 26 января: «Мой Левочка умирает... И я поняла, что и моя жизнь не может остаться во мне без него... Сколько любви, нежности я отдала ему, но сколько слабостей моих огорчали его! Прости, господи!.. На днях он где-то прочел: «Кряхтит старинушка, кашляет старинушка, пора старинушке под холстинушку». Потом Толстой заплакал и прибавил: «Я плачу не от того, что мне умирать, а от красоты художественной...»

Впрыскивали морфий, давали шампанское. Потом воспаление начало разрешаться со всех сторон. Температура начала спадать.

Софья Андреевна записывает 10 февраля о том, что Лев Николаевич послал Льву Львовичу примирительное письмо. Дальше Софья Андреевна пишет: «Взволновали мою маленькую душу разные объявления о концертах, об исполнении вещей сочинения С. И., и я, как голодный хочет пищи, вдруг страстно захотела музыки и музыки Танеева, которая своей глубиной так сильно на меня действовала».

Потом опять произошло ухудшение; об этом узнали в столице. Софья Андреевна получила письмо от петербургского митрополита Антония, увещевающего убедить Льва Николаевича примириться с церковью. Софья Андреевна сказала мужу: «...если бог пошлет смерть, то надо умирать, примирившись со всем земным и с церковью тоже», на это Л. Н. ей

сказал: «О примирении речи быть не может. Я умираю без всякой вражды или зла, а что такое церковь? Какое может быть примирение с таким неопределенным предметом?»

Толстой приказал жене ничего не отвечать. Потом узнали, что в домовой церкви находится в засаде священник со святыми дарами, который должен попытаться прорваться к умирающему Толстому или в крайнем случае выйти после смерти его с чашей и сказать, что великий грешник примирился с богом и умер прощенным.

Было туманно, под Гаспрой в море гудел пароход. Лев Николаевич балансировал между жизнью и смертью и то был бодр, то тосковал. Наконец здоровье начало поправляться.

Наступила весна 1902 года. Зазеленели деревья, зацвели и начали отцветать персики. Цвело иудино дерево и засыпало землю цветами, как красным снегом.

Голубой пеной цвела глициния на камнях панинского дома.

2 апреля 1902 года Чехов пишет академику Н. П. Кондакову: «Л. Н. Толстому лучше, это несомненно, болезнь (воспаление легких) миновала, но все же он слаб, очень слаб, только недавно стал сидеть в кресле, а то все лежал. Ходить будет еще не скоро. Я был у него третьего дня, и он показался мне выздоравливающим, но очень старым, почти дряхлым. Много читает, голова ясная, глаза необыкновенно умные».

В апреле Софья Андреевна поехала в Ясную Поляну проверить, как яблоневые сады и хозяйство. Вернулась она в Гаспру, и оказалось, что здоровье Толстого ухудшилось: началась новая болезнь, которую через некоторое время определили, как брюшной тиф. Состояние духа Льва Николаевича угнетенное. Он сам сказал жене: «Устал, устал ужасно и желаю смерти».

В начале июня Лев Николаевич стал поправляться, ходил по саду с палочкой. Он был покорно-кроток, начал опять писать.

Стали собираться обратно в Ясную Поляну.

Лев Николаевич выздоравливал медленно. Софье Андреевне казалось, что жизнь Толстого кончена; настанет другая жизнь — старца. Она чувствовала усталость, перебиваемую нежностью воспоминаний, думала, что теперь Лев Николаевич будет жить стариковской жизнью — завернутый в теплое, переходя с дивана на кресло для того, чтобы поесть кашку. Внимательно следил за болезнью Толстого Чехов, который сам был врачом, и хорошим. Он не верил в полное выздоровление.

Толстой, по словам Чехова, мог еще прожить несколько лет и мог умереть внезапно. Прожил Лев Николаевич еще восемь лет, пережив Чехова.

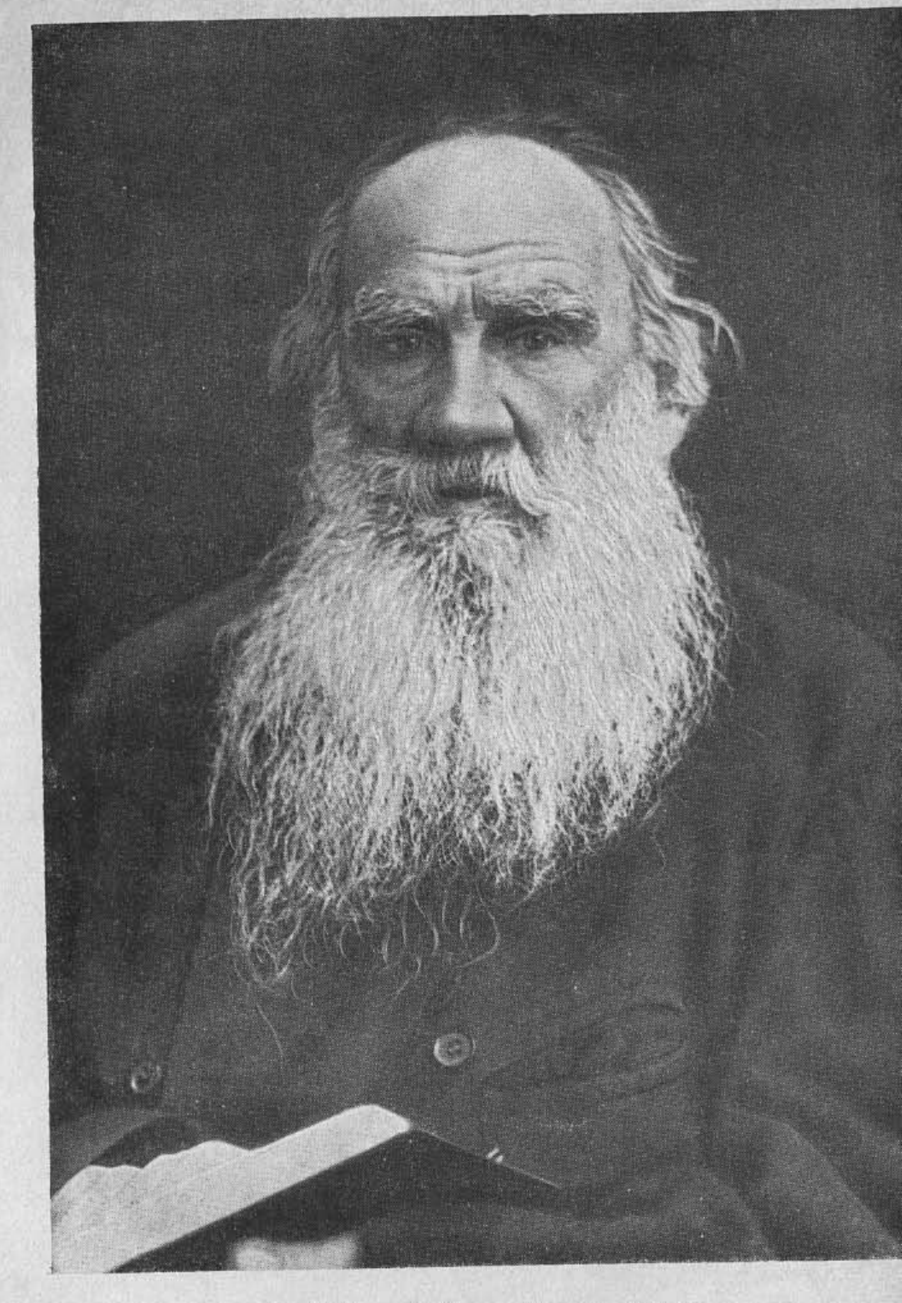
25 июня Лев Николаевич решил возвращаться в Ясную Поляну. До Севастополя ехал он пароходом для того, чтобы избежать тряски. На пароходе «Святой Николай» встретил его Куприн. Утро было веселое, море беспокойное. Лев Николаевич приехал на двуконном экипаже с поднятым верхом. Из коляски показалась нога в высоком болотном сапоге. Она постарчески искала подножки, потом медленно вышел Толстой. В коротковатом драповом пальто, в подержанной шляпе котелком на изселена-седых волосах.

Куприна, как писателя, Толстой любил. Куприн подошел к нему. Толстой пожал ему руку своей большой, холодной, негнущейся старческой рукой и заговорил утомленным, старческим голосом.

За Толстым шел Максим Горький; люди — все снимали шляпы.

Толстой шел спокойно, веселея от моря, ветра, от людей, от подъема лебедки. Прозвонили второй и третий звонки. От ялтинской пристани отвалил неуклюжий, приземистый грузовой пароход «Святой Николай». Лев Николаевич сидел на палубе в кресле. С парохода его приняли в Севастополе на лодку и подвезли к вокзалу. До отхода поезда оставалось часа четыре.

Лев Николаевич хотел отдохнуть в маленьком садике вокзала. Он очень устал. Но вышла дама и сказала ему:



Л. Н. Толстой. Ясная Поляна. 1908 г.



Л. Н. Толстой.
Ясная Поляна,
1909 г.



У «дерева бедных».

— Это сад начальника дистанции.

П. А. Буланже, несколько мистифицируя, ответил:

— Позвольте больному немного отдохнуть.

— Проходите, проходите, — ответила дама, — иначе позову сторожа.

— Оставьте, — сказал Лев Николаевич, — не будем ей делать неудовольствие, я могу уйти.

Прошли в вагон. Вокруг вагона начали скопляться люди, потом образовалась давка. Минут за пять до отхода поезда две дамы подошли к вагону и вызвали проводника. Старшая дама сказала:

— Я хочу просить прощенья. Он был у нас сегодня в саду. Я сказала, что в саду нельзя быть. Но я же не могла думать, что это сам Толстой.

Пробил второй звонок.

— Мы приготовили букет из нашего сада. Передайте и попросите от меня прощенья.

Поезд поехал. Ехал Лев Николаевич усталый. Ехали цветы.

Осенью в Ясную Поляну приехал писатель С. Я. Елпатьевский, который в Ялте ухаживал как доктор за Толстым. Толстого он в доме не застал. Лев Николаевич был на своей обычной прогулке. Спустились сумерки, зажгли огни в доме, когда внизу хлопнула дверь.

Елпатьевский сидел на втором этаже в большой гостиной. Толстому сказали, что у него гости. Он взбежал по лестнице через ступеньки, еще с лестницы сказал доктору:

— Здравствуйте!

Потом показалась знакомая фигура Толстого, его седые волосы, раздвоенная борода.

— А ну-ка, присядьте! — сказал Толстой, поднявшись в зал.

Елпатьевский не сразу понял, что хочет Лев Николаевич.

— Вот так! — сказал Толстой и присел сам быстро и умело, почти до пола, потом легко и эластично вскочил.

— Где за вами, Лев Николаевич, угоняться? — сказал доктор.

Толстой был доволен и тем, что взбежал на лестницу, не задыхаясь, и тем, что доктор присел и подпрыгнул хуже его, и тем, что он сам в это время писал и кончал «Хаджи Мурата».

«ХАДЖИ МУРАТ»

26 июля 1902 года Софья Андреевна записывает в дневнике: «Лев Николаевич здоров, несмотря на 12 градусов тепла, дождь, сырость. Играл весь вечер в винт, слушал с удовольствием музыку. Пишет по утрам свой роман «Хаджи Мурат», и я радуюсь этому».

Начинаются записи о работе. 9 августа написано: «Он пишет повесть «Хаджи Мурат», и сегодня, видно, плохо работалось, он долго раскладывал пасьянс, признак, что усиленно работает мысль и не уясняется то, что нужно».

Так идут записи — неделя за неделями. Лев Николаевич здоров, ездит верхом, пишет «Хаджи Мурата». Ничто в мире как будто не может поколебать его настроения, а между тем в доме неприятностей много. В доме не забывают о литературных правах. В Гаспру собрались огорченные родственники, но они же были и наследники. В Гаспре Марья Львовна — любимая дочка Толстого — по его просьбе сделала выписку из дневника. В этой бумаге написано было следующее:

«Мое завещание приблизительно было бы такое. Пока я не написал другого, оно вполне такое.

1) Похоронить меня там, где я умру, на самом дешевом кладбище, если это в городе, и в самом дешевом гробу — как хоронят нищих. Цветов, венков не класть, речей не говорить. Если можно, то без священника и отпеванья. Но если это неприятно тем, кто будет хоронить, то пускай похоронят и как обыкновенно с отпеванием, но как можно подешевле и попроще.

2) В газетах о смерти не печатать и некрологов не писать.

3) Бумаги мои все дать пересмотреть и разобрать моей жене, Черткову В. Г., Страхову и дочерям Тане и Маше (что замарано, то замарал сам. Дочерям не надо этим заниматься), тем из этих лиц, которые будут живы. Сыновей своих я исключаю из этого поручения не потому, что я не любил их (я, слава богу, в последнее время все больше и больше любил их), и знаю, что они любят меня, но они не вполне знают мои мысли, не следили за их ходом и могут иметь свои особенные взгляды на вещи, вследствие которых они могут сохранить то, что не нужно сохранять, и отбросить то, что нужно сохранить. Дневники мои прежней холостой жизни, выбрав из них то, что стоит того, я прошу уничтожить, точно так же и в дневниках моей женатой жизни прошу уничтожить все то, обнародование чего могло бы быть неприятно кому-нибудь... Дневники моей холостой жизни я прошу уничтожить не потому, что я хотел бы скрыть от людей свою дурную жизнь: жизнь моя была обычная дрянная, с мирской точки зрения, жизнь беспринципных молодых людей, но потому, что эти дневники, в которых я записывал только то, что мучило меня сознанием греха, производят ложно одностороннее впечатление и представляют...

А впрочем, пускай остаются мои дневники, как они есть. Из них видно, по крайней мере, то, что, несмотря на всю пошлость и дрянность моей молодости, я все-таки не был оставлен богом и хоть под старость стал хоть немного понимать и любить его.

Из остальных бумаг моих прошу тех, которые займутся разбором их, печатать не все, а то только, что может быть полезно людям.

Все это пишу я не потому, чтобы приписывал большую или какую-либо важность моим бумагам, но потому, что вперед знаю, что в первое время после моей смерти будут печатать мои сочинения и рассуждать о них и приписывать им важность. Если уже это так сделалось, то пускай мои писанья не будут служить во вред людям.

4) Право на издание моих сочинений прежних: десяти томов и «Азбуки» прошу моих наследников пе-

редать обществу, т. е. отказаться от авторского права. Но только прошу об этом и никак не завещаю. Сделаете это — хорошо. Хорошо будет это и для вас, не сделаете — это ваше дело. Значит, вы не могли этого сделать. То, что сочинения мои продавались эти последние 10 лет, было самым тяжелым для меня делом в жизни...»

Софья Андреевна спокойно отнеслась к домашнему завещанию Льва Николаевича, потому что оно не имело формального характера и, в сущности, было не завещанием, а еще одним разговором о совести.

Софья Андреевна думала о своих детях, вела их дела и к этому времени, заключая договоры с типографиями, сталкиваясь с артельщиками, покупая и продавая земли, сама действуя по доверенности, хорошо знала, что такое формально составленная, обязательная для исполнения бумага. Поэтому она просто отодвинула от себя толстовское письмо, подписанное им во время смертельной болезни. Ей казалось, что опасность уже прошла; Толстой был занят: он писал «Хаджи Мурата».

Было даже какое-то удобство в том, что Толстой написал письмо. Грозное его решение как будто уже совершилось, но совершилось в форме необязательной: на это милое чудачество можно было улыбнуться.

Лев Толстой подписал это завещание. Об этом Софья Андреевна, очевидно, узнала уже в Ясной Поляне и была возмущена По ее мнению, Марья Львовна потому не имела права вмешиваться в дело наследования, что она в свое время отказалась от своей доли при разделе имений, а потом при замужестве все-таки взяла.

Произошла ссора. Марья Львовна и муж ее говорили, что она обнародовала бы бумагу после смерти Льва Николаевича.

Марья Львовна с мужем хотели уехать из Ясной Поляны. 23 октября Софья Андреевна записывает. «С Машей помирились, она осталась жить во флигеле Ясной Поляны, и я очень этому рада. Все опять мирно и хорошо».

Дальше идет запись о новой болезни Толстого и

Начало первой редакции повести «Хаджи Мурат».

о «Хаджи Мурате». «Осень, невыносимо грязная, холодная и сырая. Сегодня шел снег.

Лев Николаевич кончил «Хаджи Мурата», сегодня мы его читали: строго-эпический характер выдержан очень хорошо, много художественного, но мало трогает. Впрочем, прочли только половину, завтра дочитаем».

В следующие дни записи о том, как дочитывали книгу, нет.

Трудно распутывать историю рождения художественного произведения Вероятно, и сам автор не до конца знает, как родилась, осмысливалась тема, как найден был и затем изменялся ее основной конфликт, как она перестраивалась, напитываясь реальными подробностями.

Лев Николаевич самого Хаджи Мурата не видал, хотя был на линии в то время, когда царские войска воевали с Шамилем, и был в Тифлисе, когда туда приехал после ссоры с Шамилем Хаджи Мурат, перешедший на сторону русских.

Обычно пишут со слов Толстого, что тема Хаджи Мурата родилась тогда, когда Лев Николаевич на перепаханном поле увидел сломанный, но все еще цветущий чертополох; чертополох называют в толстовских местах татарником. Изломанный телегой, опаханный кругом, татарник отстаивал свою жизнь и напомнил Толстому о Хаджи Мурате.

Но Лев Николаевич, вероятно, никогда не забывал этой темы Он считал светлым годом своей жизни то время, когда он преподавал в своей яснополянской школе: однажды вечером зимой Толстой и трое ребят пошли в лес; шел Семка — «малый лет 12-ти», здоровенный, он «шел впереди и все кричал и аукался с кем-то заливистым голосом»; шел Пронька — «болезненный, кроткий и чрезвычайно даровитый мальчик» из бедной семьи, болезненный, как говорит Толстой, «кажется, больше всего от недостатка пищи» Шел мальчик, которого Толстой в этом очерке называет Федька: настоящее его имя Васька Морозов — чрезвычайно талантливый мальчик, который должен был бы стать писателем. Снег был глубокий, дорожка чуть виднелась, огни деревни скрылись. Дети играли в то, что они боятся: разговаривали о волках, о разбойниках, и вот тут Лев Николаевич начал опять рассказывать о Хаджи Мурате, о котором говорил не раз: «Семка шел впереди, широко ступая своими большими сапогами и мерно раскачивая здоровой спиной. Пронька попытался было идти рядом со мной, но Федька сбил его с дорожки, и Пронька, должно быть, по своей бедности всегда всем покоряющийся, только в самых интересных местах забегал сбоку, хотя и по колено утопал в снегу».

Дети держались за Толстого в бессознательной, редкой в их быту ласковости. Шли долго, меняя дорогу «кое-где проваливаясь по рыхлой и плохо наезженной дорожке; белая темнота как будто качалась перед глазами».

Толстой рассказывал о смерти Хаджи Мурата, потом как стоял он, окруженный врагами, как он пел: «..ветер шумел по голым макушкам осин, а нам было тихо за лесом. Я кончил рассказ тем, что окруженный абрек запел песню и потом сам бросился на кинжал. Все молчали. «Зачем же он песню запел, когда его окружили?» — спросил Семка. «Ведь тебе сказывали — умирать собрался!» — ответил огорченно Федька. «Я думаю, что молитву он запел!» — прибавил Пронька. Все согласились».

Разговор о страшном продолжался: «Федька остановился вдруг. «А как, вы говорили, вашу тетку зарезали?» — спросил он — ему мало еще было страхов».

Жена двоюродного брата Льва Николаевича — Федора Ивановича Толстого, Авдотья Максимовна, рожденная Тугаева, была в 1861 году, то есть за год до разговора в лесу, зарезана крепостным поваром.

Шли дальше. Иней сыпался с сучьев на шапки: «Лев Николаевич, — сказал Федька (я думал, он опять о графине), — для чего учиться пенью? Я часто думаю, право, — зачем петь?»

Толстой по молчанию остальных ребят понял законность вопроса. Песня — это то, с чем умер Хаджи

Мурат. Песня — это то, что близко Федьке, у которого чудесный голос и огромный талант к музыке. И дальше пошел разговор о том, для чего существует искусство

Кажется, Лев Николаевич именно тогда начал «Хаджи Мурата», тут и лежит зерно темы Репей, который вырос на перепаханном барском поле и один цветет среди черной, наемным трудом вспаханной земли, один сохранил себя, — это напоминание о том разговоре в лесу и, может быть, в далеком сопровождающем отзвуке память о смерти тетки, о страшном, непонятном, об отношении к народу; Федька, Пронька, Семка были и остаются настоящими наследниками литературных прав Льва Николаевича Толстого. Он жил не с ними, но он о них не забывал и год за годом писал «Хаджи Мурата» Последнее упоминание о работе — это 1906 год

К 1905—1906 году относится сообщение П. И Бирюкова: «Мне помнится, как уже в последние годы его жизни, когда я собирал биографический материал и обращался к нему за разъяснениями, я попросил его припомнить обстоятельства его последнего путешествия в Оптину пустынь Я знал, что он тогда гостил у своей сестры в Шамординском монастыре, и я спросил его, чем он был тогда занят

Совсем сконфузившись, шепотом, чтобы никто не слыхал, приблизившись ко мне и вместе с тем с заблестевшими глазами, он сказал: «Я писал «Хаджи Мурата» Это было сказано тем тоном (простите за вульгарное выражение), каким школьник рассказывает своему товарищу, что он съел пирожное Он вспоминает испытанное наслаждение и стыдится признаться в нем»

Семка, Пронька и Федька поняли бы Льва Николаевича потому, что тогда в лесу, говоря о страшном и о героическом, они спросили своего великого друга, зачем песни.

Лев Николаевич запел Хаджи Мурата полным голосом, когда надвигалась в его стране непонятная, как бы спорящая с ним, первая русская революция. Он писал «Хаджи Мурата», узнав об англо-бурской

войне, о новых войнах, которые мы теперь называем империалистическими. Он заново понял, для чего сражался Хаджи Мурат, он писал справедливую повесть о том, как невиноватые в войне, носящие на спинах рубцы от старых побоев, русские солдаты, среди которых есть люди, мечтающие о побеге в горы, идут занимать секрет, о том, как над ними горят звезды и те же звезды светят воину из мужиков, Хаджи Мурату, который мальчиком видал свое изображение только на дне вычищенного таза, а потом стал полководцем

Два любимых названия носила повесть «Хаджи Мурат»: «Репей» и «Хазават». «Репей» — это рассказ о том, как человек колюче отстаивает свою независимость, сражается до гибели «Хазават» в толковании Толстого — это война крестьян за свою землю, за право не платить подати, за право есть то, что заработал. «Хазават» для Толстого не религиозная война, а война за крестьянское право. Хаджи Мурат так рассказывает о проповеди муллы Магомета· « сначала был мулла Магомет. Я не видал его. Он был святой человек — мюршид. — Он говорил· «Народ! Мы ни магометане, ни христиане, ни идолопоклонники Истинный магометанский закон — вот в чем· магометане не могут быть под властью неверных. Магометанин не может быть ничьим рабом и никому не должен платить подати, даже магометанину»

Толстой 4 апреля 1897 года записал в дневнике: «Вчера думал очень хорошо о Хаджи Мурате — о том, что в нем, главное, надо выразить обман веры Как он был бы хорош, если бы не этот обман»

Хаджи Мурат в повести не магометанин, не христианин, не идолопоклонник — он воин за крестьянскую свободу

Ему нет пути. Путь его у Шамиля — это слава, почет, но не крестьянство, это другая тирания Путь его у Николая — это деньги, почет, но русские топчут крестьянские поля. Шамиль становится таким же тираном, как и Николай, и от тирана Шамиля к тирану Николаю бежит Хаджи Мурат, навстречу ему бежит от тирана Николая русский солдат и радуется случай-

ной пуле, которая избавила его от вины — измены на самой границе родины, радуется, что смертельная пуля была чеченской.

Обо всем этом Толстой несколько раз рассказывал в черновых редакциях вещи.

Трудно разгадать законы художественного творчества, потому что прикосновения действительности к искусству не локальны; это не удары шара о шар, это магнитное поле, которое изменяет линии, не соприкасаясь к ним, это энергия, превращающаяся в материю, и это и есть действительность

Лев Николаевич наслаждался тем, что он вернулся домой, в Ясную Поляну, к тем лесам, по которым когда-то бродил с ребятами, тогда учениками, рассказывая им про Хаджи Мурата. Ребята наслаждались страхом; они, как вы только что прочли об этом, говорили с ним о том, как убили тетку Льва Николаевича, и в то же время, жалея, переживали страх не тетки, а повара, который зарезал тетку барина, а потом шел по лесу, боясь.

Лев Николаевич писал книгу.

Он возвращался все время к одному и тому же, пересматривая старое, написанное, он умел не путаться в рукописях, в вариантах, что, вероятно, является признаком гениальности.

22 июля 1902 года Лев Николаевич приступил к работе над «Хаджи Муратом», через два дня — 24 июля — записано в «Настольном календаре»: «Пересмотрел всего Хаджи Мурата» На другой день тут же отмечено: «Начал Хаджи Мурата с его рождения», и в этот же день Лев Николаевич еще раз перечитал старые рукописи и записал: «Пересмотрел старое. Много годного».

В одном из вариантов он рассказал:

«В 1812 году в Аварском ханстве в ауле Хунзахе в одну и ту же ночь родили две женщины: одна была ханша Паху-Бике, а другая — жена одного горца красавица Фатима. Паху-Бике знала Фатиму и вперед подговорила ее в кормилицы. Фатима выкормила Омар-хана, а ее мальчик умер. Но за то с тех пор она стала приближенной к ханше, перестала нуждаться, и оба старших мальчика ее Осман и Хаджи Мурат выросли в доме ханов и росли, играли и джигитовали с ханскими сыновьями».

Это начало совпадает с началом книги, которая не была закончена, — «Труждающиеся и обремененные». Там это звучало так·

«Глава 1-я. Родится молодой князь и в то же время родится ему слуга».

Это было одно из начал романов о столкновении крестьянина с барином. Это столкновение переносилось то в самарские степи, то под Хиву, то в степи прикитайские.

Это вечная тема Толстого.

Хаджи Мурат родится мужиком, его мать отстаивает право выкормить своего сына, хан требует ее в кормилицы, но она не отдала младенца даже тогда, когда ее ударили кинжалом.

Толстой сам написал об этом песню, которая не сохранилась в последних вариантах:

«Одно солнце светит в небе, одна радость в сердце Патимат — это черноглазый Хаджи Мурат. Хотят тучи отнять у народа солнце. Но солнце разгоняет их и посылает дожди на землю. Хаджи Мурат обливается кровью на груди матери, но грудь эта кормит Хаджи Мурата, а не чужого щенка, и не заходит солнце за горы в сердце Патимат».

В «Хаджи Мурате» старая тема о том, что родился барин и родился ему слуга, изменилась. Родился мужичий сын, и мать не пошла из-за него в слуги к барину.

Вырос сын и начал сражаться; был он несчастлив, его рубили, арестовывали, ему приходилось прыгать в пропасти, но он не покорился.

Толстой описывал сцену, как сражается Хаджи Мурат, и писал 19 июля 1896 года· «Так и надо, так и надо».

Когда после десятилетий ссор, терпения, компромиссов Толстой ушел из Ясной Поляны, бежал на волю неизвестно куда в жестком ночном, дымном и полосатом от света свечей, заключенных в узкие фонари, вагоне, то, верно, он был доволен; он выходил

на холодный тамбур подышать. Бежали знакомые места, с которыми он прощался, дуло ноябрьским ветром, стучали колеса — они стучат что хочешь.

Тогда они, по-моему, стучали:

«Так и надо. Так и надо».

Много было вариантов к великой повести Толстого, но ощущение правоты сражающегося все время сохранялось и увеличивалось. «Хаджи Мурат» — это и есть та крестьянская повесть, которую всю жизнь хотел написать Толстой.

В 1878 году он сталкивал крестьянина с барином, об этом есть заметка в тетради С. А. Толстой «Мои записи разные для справок».

Где-то в Сибири или в Самаре живут засланные мужики, к ним попадает декабрист; дается «простая жизнь в столкновении с высшей». Толстой прибавлял: «Вот, например, смотреть на историю 14-го декабря, никого не осуждая, ни Николая Павловича, ни заговорщиков, а всех понимать и только описывать».

В «Хаджи Мурате» Лев Николаевич в столкновении простой жизни с высшей научился осуждать и разоблачать Николая Павловича; зло власти, тирании стало одной из главных тем повести. Для того чтобы развернуть ее, Толстой не жалел годов работы и читал для этого тысячи страниц.

В «Хаджи Мурате» у Толстого есть враг: этот враг — враг крестьян. Он враг горцев, он мешает им собирать на своем поле кукурузу, он враг русских крестьян, которых он истязает, посылая на Кавказ.

Великая трагедия крестьянских революций, трагедия, которая не кончилась ни в Азии, ни в Северной Африке, ни в Южной Африке, ни в Южной Америке, понятна Толстому; мужик сражается рядом с баем, или раджою, или с другим предводителем, носящим пышное имя, и снова становится рабом.

Опытнейший художник, Толстой ввел в свой роман о непокорном горце любовь четко и поэтично. У старого коменданта, который хотя и офицер, но тоже простой человек, — у коменданта, который связан со старым капитаном Хлоповым из «Набега», — жена, ее прозвали в крепости «капитанской дочкой». Толстой не хочет сказать про нее плохого слова. Марья Дмитриевна любит своего прокуренного табаком, всегда после двенадцати часов пахнущего вином, рябого, курносого Ивана Матвеевича. Марья Дмитриевна, вероятно, в молодости не была строгих нравов. Толстой об этом говорит мягко и любовно: «Каково ни было ее прошедшее, теперь она была верной подругой майора, ухаживала за ним как нянька...»

Марья Дмитриевна покровительствует Бутлеру — молодому офицеру, который проиграл все свои деньги в карты. Они гуляют у крепости

«Месяц светил так ярко, что около тени, двигавшейся подле дороги, двигалось сияние вокруг головы».

Марья Дмитриевна, ласково и чисто жалея, любит Хаджи Мурата.

Марья Дмитриевна человечески привлекательна, она нравится и Бутлеру и Хаджи Мурату.

«Ему нравилась и ее простота, и особенная красота чуждой ему народности, и бессознательно передававшееся ему ее влечение к нему».

Здесь в лунном сиянии Марья Дмитриевна встречает верховых: офицера Каменева и донского казака с переметными сумками за седлом.

«Каменев взял из рук казака мешок и запустил в него руку».

Голова Хаджи Мурата была показана Марье Дмитриевне. «Вот она, — сказал Каменев, доставая человеческую голову и выставляя ее на свет месяца.— Узнаете?

Это была голова, бритая, с большими выступами черепа над глазами и черной стриженой бородкой и подстриженными усами, с одним открытым, другим полузакрытым глазом, с разрубленным и недорубленным бритым черепом, с окровавленным запекшейся черной кровью носом. Шея была замотана окровавленным полотенцем. Несмотря на все раны головы, в складе посиневших губ было детское, доброе выражение».

Марья Дмитриевна уходит от этой милой отрубленной головы, от этого знака войны.

В рукописных вариантах она уводит своего мужа, заставив его взять отставку. Так отводят ребенка от места, где произошло преступление.

Повесть Толстого основана не на интересном происшествии, а на анализе жизнеотношений.

Мы знаем заранее, что Хаджи Мурат будет убит; когда описывается героическое сопротивление его и его наибов, мы помним, что его отрубленную голову уже показали Марье Дмитриевне. Но все равно мы вместе с ним сопротивляемся насилию. Это не борьба русских с горцами. С Хаджи Муратом сражаются горцы-милиционеры, его враги, люди, иначе решившие свою судьбу. Это сражается правда с неправдой, и Лев Николаевич умеет показать великую красоту правды и утверждать эту правду своим искусством.

Он долго подготовляет поэтическое торжество Хаджи Мурата.

«Перед рассветом Хаджи Мурат опять вышел в сени, чтобы взять воды для омовения. В сенях еще громче и чаще, чем с вечера, слышны были заливавшиеся перед светом соловьи. В комнате же нукеров слышно было равномерное шипение и свистение железа по камню оттачиваемого кинжала. Хаджи Мурат зачерпнул воды из кадки и подошел уже к своей двери, когда услыхал в комнате мюридов, кроме звука точения, еще и тонкий голос Ханефи, певшего знакомую Хаджи Мурату песню. Хаджи Мурат остановился и стал слушать».

Гамзат умирает: «Но прежде чем умереть, Гамзат увидал птиц на небе и закричал им: «Вы, перелетные птицы, летите в наши дома и скажите вы нашим сестрам, матерям и белым девушкам, что умерли мы все за хазават. Скажите им, что не будут наши тела лежать в могилах, а растаскают и оглодают наши кости жадные волки и выклюют глаза нам черные вороны».

Этими словами кончалась песня, и к этим последним словам, пропетым заунывным напевом, присоединился бодрый голос веселого Хан-Магомы, который при самом конце песни громко закричал: «Ля илляха

иль алла!» — и пронзительно завизжал. Потом все затихло, и опять слышалось только соловьиное чмокание и свист из сада и равномерное шипение и изредка свистение быстро скользящего по камням железа из-за двери».

Все предсказано песней и соловьиным пением; соловьиное пение слито со звуком оружия, которое точат перед боем, соловьиная песнь сопровождает его дальше. Будет бой — бой безнадежный.

Хаджи Мурат остается последним; обороняющийся, поднимается он, держась за дерево Он и сейчас страшен врагу «Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался».

Толстой охраняет тело героя, окружая его поэзией: «Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защелкали, сперва один близко, а потом другие на дальнем конце».

Мальчики в яснополянском лесу спрашивали Толстого, для чего существует песня. В «Хаджи Мурате» Толстой отвечает, что песня существует для того, чтобы серьезно жить, не сдаваться, сражаться до последнего, сражаться, хотя бы ты остался один.

Он кончает свою повесть словами: «Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля».

РЕВОЛЮЦИЯ

I. Начало нового времени

Заканчивая «Хаджи Мурата», Толстой колебался, стоит ли печатать при жизни эту повесть. Он боялся споров о литературной собственности, боялся гнева Софьи Андреевны, ревниво считающей, что деньги, получаемые с художественных произведений, должны попадать в семью на содержание детей, которые все казались ей малышами. Она видела лысину Льва

Львовича и считала ее трогательной. И неудачливый Лев Львович, и беспокойный Андрюша, и мрачный Сергей Львович казались ей еще детьми.

Жизнь менялась за пределами Ясной Поляны, но Лев Николаевич, зная жизнь, получая письма на двадцати шести языках, читая газеты, считал, что жизнь не меняется или меняется неправильно и скоро начнется другая жизнь, хорошая и добрая — справедливая.

Исчезнет государство, люди перестанут воевать, потому что никто не будет приходить на призывные пункты, люди не будут судиться, потому что суд сам по себе нелепость: почему присяжные могут обвинять или прощать человека, когда он против них ничего не сделал? Обидчики и обиженные должны сами сговариваться и мириться, потому что и те и другие виноваты.

Записи в дневнике становятся все более категоричными.

«Я сначала думал, что возможно установление доброй жизни между людьми при удержании тех технических приспособлений и тех форм жизни, в которых теперь живет человечество, но теперь я убедился, что это невозможно, что добрая жизнь и теперешние технические усовершенствования и формы жизни несовместимы. Без рабов не только не будет наших театров, кондитерских, экипажей, вообще предметов роскоши, но едва ли будут все железные дороги, телеграфы. А кроме того, теперь люди поколениями так привыкли к искусственной жизни, что все городские жители не годятся уже для справедливой жизни, не понимают, не хотят ее».

Городов, вероятно, не будет, не будет железных дорог, не будет того, что называют современной техникой, она создана по принуждению — не для себя. Города распадутся так, как рассасываются опухоли при счастливом выздоровлении. И будут спокойные, счастливые деревни, владеющие всей землей России. Но это не может быть достигнуто при помощи политической борьбы, потому что политическая борьба — это насилие. Лев Николаевич был уверен, что русский

народ созрел для того, чтобы жить без правительства. Всякое правительство, например парламент, не лучше того, что есть, потому что и это новое правительство будет обслуживать богатых — адвокатов, фабрикантов.

Праздных людей, интересующихся политикой как средством сохранения праздности, — либералов — Лев Николаевич презирал.

Правительство не нужно, но освобождение земли, которое должно произойти, как будто бы легче всего может произойти путем царского приказа. Молодой, боящийся родственников, запутавшийся царь все же может издать закон об освобождении земли при помощи введения единого налога на землю; при таком налоге частное владение землей, крупная земельная собственность станет невыгодна и невозможна.

Получалась логическая ошибка: правительство не нужно, но нужен правительственный акт — земельная революция, которой будут противодействовать, с противодействием надо бороться, но насилие не способ борьбы. Способ борьбы — убеждение.

Царь, министры, губернаторы, палачи — все тоже вызывают жалость, они жертвы строя. Но как спасти их? Неизвестно.

Лев Николаевич не был чудаком.

В. И. Ленин писал после смерти Толстого:

«В произведениях Толстого выразились и сила и слабость, и мощь и ограниченность именно крестьянского массового движения Его горячий, страстный, нередко беспощадно-резкий протест против государства и полицейски-казенной церкви передает настроение примитивной крестьянской демократии, в которой века крепостного права, чиновничьего произвола и грабежа, церковного иезуитизма, обмана и мошенничества накопили горы злобы и ненависти. Его непреклонное отрицание частной поземельной собственности передает психологию крестьянской массы в такой исторический момент, когда старое средневековое землевладение, и помещичье и казенно-«надельное», стало окончательно нестерпимой помехой дальнейшему развитию страны и когда это старое землевладе-

ние неизбежно подлежало самому крутому, беспощадному разрушению. Его непрестанное, полное самого глубокого чувства и самого пылкого возмущения, обличение капитализма передает весь ужас патриархального крестьянина, на которого стал надвигаться новый, невидимый, непонятный враг, идущий откуда-то из города или откуда-то из-за границы, разрушающий все «устои» деревенского быта, несущий с собою невиданное разорение, нищету, голодную смерть, одичание, проституцию, сифилис — все бедствия «эпохи первоначального накопления», обостренные во сто крат перенесением на русскую почву самоновейших приемов грабежа, выработанных господином Купоном.

Но горячий протестант, страстный обличитель, великий критик обнаружил вместе с тем в своих произведениях такое непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса, надвигавшегося на Россию, которое свойственно только патриархальному, наивному крестьянину, а не европейски-образованному писателю. Борьба с крепостническим и полицейским государством, с монархией превращалась у него в отрицание политики, приводила к учению о «непротивлении злу», привела к полному отстранению от революционной борьбы масс 1905—1907 гг.».

Лев Николаевич был утопист. Утопия его была направлена в прошлое. Это утопия отживающего. Стоят избы, хотя нижние венцы их подгнили; пашутся поля, хотя пашутся плохо — сохами; существует община с переделами земли, но все это только кажется, потому что внутри самой общины существуют безземельные крестьяне и крестьяне с ничтожным наделом и кулаки, которые имеют своих батраков и арендуют землю.

Россия изживала свои иллюзии.

Само правительство, жестокое, кажущееся могучим, становилось иллюзией, историческим пережитком; иллюзией было военное могущество России. Иллюзией, которую разделяло уже меньшинство интеллигенции, было то, что Россия может обновиться как чисто земледельческая страна.

II. Лев Николаевич жил в прошлом

Когда-то Лев Николаевич рассказал о старом князе Болконском, который не понимает, что происходит в России во время нашествия Наполеона. Князь стар, но не безумен, конечно, но у него есть старческий склероз; он одновременно утверждает нереальное и смутно понимает, что реальное существует Идет 1812 год. Князь Андрей предупреждает отца относительно неудобства его положения вблизи от театра войны, на самой линии движения войск и советует ехать в Москву.

Старый князь мало спит, беспокоен, но в то же время тон его разговора уверен. Близкие беспокоятся. Десаль решается заговорить:

«— Что вы об этом думаете, князь?»

Старый князь рассматривает планы старых построек.

«— Я? Я?.. — как бы неприятно пробуждаясь, сказал князь, не спуская глаз с плана постройки.

— Весьма может быть, что театр войны так приблизится к нам...

— Ха-ха-ха! Театр войны! — сказал князь. — Я говорил и говорю, что театр войны есть Польша, и дальше Немана никогда не проникнет неприятель.

Десаль с удивлением посмотрел на князя, говорившего о Немане, когда неприятель был уже у Днепра; но княжна Марья, забывшая географическое положение Немана, думала, что то, что̀ ее отец говорит, правда.

— При ростепели снегов потонут в болотах Польши. Они только могут не видеть, — проговорил князь, видимо думая о кампании 1807 года, бывшей, как ему казалось, так недавно».

Князь знает, что письмо от сына получено, но оно до него не дошло. Он спрашивает помрачнев:

«— ...Да, он пишет, французы разбиты, при какой это реке?

Десаль опустил глаза.

— Князь ничего про это не пишет, — тихо сказал он».

Лев Николаевич хорошо знал психологию старости еще тогда, когда цвел здоровьем, он понял эту психологию, и он бы не поддался старости, если бы его сознание не было определено сознанием миллионов крестьян-хозяев — недовольных, разоренных, но думающих, что старое еще продолжается, что старое можно поправить.

Лев Николаевич не понимает взаимоотношения сил, как многие не понимали тогда. Рабочие, поднятые провокатором Гапоном, пошли 9 января к царю требовать управы на заводчиков, жаловаться на угнетение.

В них стреляли. Мостовая покрылась кровавыми пятнами; Россия взволновалась. Взволнован был и Лев Николаевич, но он не понимал, почему царь должен был принять депутацию петербургских рабочих: «Что же значит для государства голос петербургских рабочих?.» Рабочие пьют каждый день чай, ходят в кожаных сапогах, живут не хуже деревенского старосты. Почему они протестуют, а не крестьяне?

Кроме того, ведь их же мало, они случайность, их не будет в той новой России крестьянства, бесправительственной.

Их было много, они были рядом со Львом Николаевичем Пламя домен с Косой горы было видно из окон яснополянской усадьбы. Время, неправильно предсказанное, продолжало свой ход, не считаясь с предсказаниями. Били часы, а Лев Николаевич не мог сосчитать количество ударов боя, как иногда это бывает в сновидении.

Заснешь вечером, есть дела, часы бьют шесть, слышишь и думаешь — шесть утра, вставать рано.

III. Война

Шел век империализма. 27 января началась русско-японская война. С 22 января по 27-е записей в дневнике Толстого нет.

27 января записано: «Сейчас ходил гулять и думал: 1) Война и сотни рассуждений о том, почему

она, что она означает, что из нее будет и тому подобное... И всем предстоит, кроме рассуждения о том, что будет от войны для всего мира, еще рассуждение о том, как *мне, мне, мне* отнестись к войне».

Три раза написано слово «мне» и последний раз трижды подчеркнуто.

Мне — это обозначает не Толстому, а каждому, но каждому в отдельности под влиянием нравственных своих убеждений. Важно одно для каждого: «Не воевать, не помогать другим воевать, если уж не удерживать их».

Удерживать можно только рассуждениями.

На следующий день Толстой поправляет свой рассказ «Фальшивый купон». «Фальшивый купон» написан на тему о том, как незначительный проступок гимназиста, подделавшего цифру на купоне, повлек за собою ряд несчастий. Это цепь новелл о преступлениях, вызванных «купоном» — деньгами. Все должно было кончаться всепрощением.

2 февраля: «Работаю над Купоном, а о войне не пишется».

Потом он пишет о войне большую статью «Одумайтесь!»

Лев Николаевич в старости собирал изречения великих людей, создавал сборники «Круг чтения» и «На каждый день». Ему казалось, что отдельно взятая мысль цельнее, округленней, что мысли, взятые вместе, сминают друг друга, как ягоды виноградной кисти: плотные, но уже не совсем круглые Толстой считал, что на людей надо действовать нравственными убеждениями и, значит, мысль — это самое важное, самое действительное. В его статьях изречения такого рода становились эпиграфами.

Статья «Одумайтесь!» разделена на главы: к первой главе даны четыре эпиграфа, начинается она эпиграфами из евангелия, библии, потом переходит на эпиграф из Молинари и Ги де Мопассана.

Вторая глава начинается четырьмя эпиграфами из Вольтера, Анатоля Франса, Летурно и Свифта. Глав двенадцать. К 11-й главе четыре эпиграфа; 12-я глава эпиграфов не имеет.

Война разгорается, люди идут на бой, как пешая саранча, которая переходит воду, идя по трупам потонувших. Идет война за чужую землю, за землю «арендованную», за концессию. В статью включены письма — рассказы о том, как провожают на войну запасных, призванных для убийства. В конце дата — 8 мая 1904 года.

Эпиграфы — мысли мудрых людей, — как будто говорили все об одном и том же: война может быть побеждена, если люди осознают ее зло. Но история шла своим путем, и от нее нельзя было загородиться старыми книгами, даже самыми мудрыми.

Старая толстовская теория о сопротивлении несопротивлением колебалась теперь даже в собственных его глазах. Он видел, как идут японцы, сминая не подготовленную к войне русскую армию.

В его сказке про Ивана-дурака солдаты и мужики поняли друг друга — они говорили на одном языке. Но если не сопротивляться, не завоюют ли Россию японцы или германцы?

У Толстого возникают патриотические воспоминания и патриотическая горечь — особенно тогда, когда пал Порт-Артур.

30 января 1905 года Толстой говорил: «Маша напала на меня за то, что я сказал, что лучше бы взорвали Порт-Артур, нежели отдали японцам... Те, кто радуется поражениям, должны действовать прямо против правительства, а не через потери народа».

В феврале Татьяна Кузминская спросила Толстого: «Как же, по-твоему, не следовало сдавать Порт-Артур?

— Я сам был военный. В наше время этого не было бы Умереть всем, но не сдать».

Так же он говорил с Ильей Львовичем.

«— Дурно... С военной точки зрения нельзя так делать».

Старой России уже тоже не было. Лев Николаевич волонтером воевал на Кавказе, мечтал о георгиевском кресте, сын его Андрей поехал на японскую войну вольноопределяющимся. Для сына знаменито-

го человека нашлось место в штабном вагоне: он ехал не как солдат, а как офицер. Андрею Львовичу дали «георгия» и отпустили с войны, потому что его ушибла лошадь.

Он на войне не был нужен: нужно было его имя.

Толстой в дневниках каялся в патриотизме. Но его патриотизм был народен и искренен.

Приезд Андрея с войны был капитуляцией, знаком слабости и поражения

Старой России не стало.

IV. 1905 год

Толстой считал городскую революцию не только ненужной, но и невозможной, он думал о невозможности всякой революции, опираясь на предшествующий исторический опыт.

В предисловии к статье В. Г. Черткова «О революции» Толстой писал о «разрушении насильственного строя» следующее:

«Но ведь для того, чтобы разрушить этот насильственный строй, нужно прежде всего иметь средства; для этого нужно, чтобы было хоть какое-нибудь вероятие в успехе такого разрушения.

Такого же вероятия нет ни малейшего».

Дальше Толстой начинает анализ: «Попытка революции 14-го декабря происходила в самых выгодных условиях случайного междуцарствия и принадлежности к военному сословию большинства членов, и что же? И в Петербурге и в Тульчине восстание без малейшего усилия было задавлено покорными правительству войсками, и наступило грубое, глупое, развратившее людей тридцатилетнее царствование Николая».

Дальше идут анализы недворянских революций; показано, что они были тоже неудачными. Толстой предлагает бороться «разумным убеждением».

Для Льва Николаевича картина Петербурга 1904 года соответствует тому Петербургу, который он знал пятьдесят лет тому назад

Между тем и в начале нашего века Петербург

уже был разрезан не только Невой, но и непрерывным красным рядом заводов. Они прерывались дворцами и особняками только на небольшом участке от Николаевского до Литейного мостов.

У взморья был порт; за Литейным мостом заводы тянулись по обеим сторонам на десятки километров, дельта Невы тоже была занята заводами. Пригороды Петербурга были заводские. Но эта новая сила была Толстому почти не известна.

Цвет, воздух и народ столицы изменился.

В яснополянских записках Душана Маковицкого отмечено, что Толстой доказывал 12 января 1905 года следующее: «Требовать от правительства, чтобы оно уступило свою власть, нельзя· оно не уступит. Остается одно из двух: или уничтожение правительственных лиц, убийства, террор, так, чтобы правительство разбежалось, и тогда наступит анархия; или самосовершенствование каждого отдельного человека. И только второе средство действительно».

Лев Николаевич указывал, что и в конституционных государствах и в государствах республиканских земельный вопрос не решен, а вопрос этот — самый главный. «Народ ждет, что царь, как отнял от помещиков крепостных, так отнимет у них и землю».

В революцию Толстой не верил, ее не зная; верил он в декабристов: «Декабристы были религиозные, самоотверженные люди; я их все более и более уважаю», — говорил он, обращаясь к Бирюкову.

Чем дальше шла революция, чем больше было видно, что толстовский путь не принят народом, тем настойчивее становился Толстой. Он заглушал сомнения, повторяя одно и то же в дневниках, говоря все время о том, что считал вечным: о боге, сознании.

Время убыстрялось, а Лев Николаевич жил прошлым, восхищаясь им, укоряя им настоящее. 24 января 1905 года он говорит о декабристах: «Это были люди все на подбор, как будто магнитом провели по верхнему слою кучи сора с железными опилками, и магнит их вытянул. Мужицкого слоя магнит этот не дотрагивался». И дальше Толстой говорит о декабристах как об «организованной силе», подсознательно противопоставляя их новой революции.

Но Пестеля не было; декабристы умерли давно. Толстой разговаривал с призраками.

Он перестал читать газеты: «Я думал, трудно будет отвыкнуть. Решив, однако, не читать, как раньше — не курить, стало даже приятно».

Годы революции для Толстого связаны с перечитыванием Герцена, с возвращением к мыслям написать роман о декабристах.

Но вот забастовали железные дороги, шли восстания.

Лев Николаевич, хотя и видел, что революция происходит, все же говорил, что ее не может быть.

Корреспондент парижской газеты «Matin» передает слова Толстого Мы, конечно, не можем верить до конца переводу, но все же перевод сделан Маковицким, который хорошо знал Толстого:

«Русский народ не думает ни о какой революции. Впрочем, революции были возможны в конце XVIII и в первой половине XIX века. В настоящее же время правительства обладают слишком многочисленными средствами для репрессии, чтобы была возможность их вообще ниспровергнуть. Посмотрите, в столицах даже мостовые заменены асфальтом; как же вы хотите возобновить баррикады»

Между тем революция была и баррикады были воздвигнуты.

Толстого потрясло восстание броненосца «Потемкин».

Колебания Толстого — это не старческое чудачество, это еще не взломанная окалина старого доверия народа к царю, которого народ считает находящимся не в плену определенной группы людей — имущих классов, а свободно решающим.

Толстой разочаровался скоро, разочаровался горько. Его беспощадная критика жизни и отсутствие опоры для того, чтобы ее переделать, — все это отразило, как в зеркале, крестьянский характер русской революции.

Окружающие его были людьми обыкновенными,

робкими, либеральными из боязни Александра Львовна Толстая, поклонница Черткова, ходя по аллеям Ясной Поляны, сказала Маковицкому: «На этих березах нас будут вешать»

Чертков умело отмалчивался. Он понимал революцию, вероятно, как трудный путь приближения к судьбе английского общества

Но то, что говорил Толстой дома, но то, что записывали, вероятнее всего неточно, толстовцы, недовольные тем, что жизнь проходит мимо и меньше стало людей приходить в Ясную Поляну, — не это определяло значение Толстого в русской революции.

Не определяло или мало определяло и то, что он сам говорил невнимательным, торопливым иностранным корреспондентам, жаждущим сенсации, жаждущим услышать что-то необыкновенное

Определяло то, что он годами приучал народ видеть сущность жизни. Он не только определил и доказал, что король голый Он долго и внятно говорил о народе — законном владельце земли.

Его планы земельной реформы по Генри Джорджу не были приняты Они не были нужны крестьянам, тем более что выкупные платежи кончались.

Как ни дорого была оценена земля, но все же и эта ростовщическая цена была выплачена.

Шел другой разговор: о всей земле во всей великой России. Идеал возвращения всей земли в руки трудящихся Толстой указал. Поняли его и либеральные, смыкающиеся с кадетами трудовики и даже сельские попики. Он стал осознанной верой.

V. Толстовцы

Еще в 1904 году по амнистии, объявленной в знак ликования о рождении наследника престола, Павел Бирюков вернулся из женевской эмиграции в Россию

После революции 1905 года манифестом 17 октября была дана некоторая религиозная свобода и разрешена регистрация сектантских общин при условии не менее пятидесяти подписей на заявлении.

Бирюков решил вместе с небольшим кругом сочувствующих подать заявление о регистрации общины толстовцев. Перехожу на цитату, так как передать строй мысли толстовца мне трудно:

«Мне было предложено составить это заявление по установленной форме, что я и поспешил сделать. Трудность и ответственность такого документа состояли в том, что нужно было удовлетворить сразу краткости и ясности изложения и вместе с тем высказать те важные основы, которые раз навсегда определяли наше отношение к властям

Ввиду важности этого дела я решился обратиться за советом ко Льву Николаевичу Он со свойственною ему мудростью и благостью понял огромное значение этого акта и собственноручно его редактировал Подлинный автограф этой редакции сдан мною на хранение в Толстовский музей в Петрограде, здесь же я привожу копию главной части его. В начале этого заявления следовали формальные ответы на вопросы о месте, составе, названии общины и проч., а затем следовало краткое изложение основных взглядов В этой-то части и были исправления Л Н-ча

Он почти заново переделал мое изложение, и после его поправок оно приняло такой вид:

«Мы, *нижеподписавшиеся,* члены общины «Свободных христиан», объединяемся на общих основах христианского учения, признавая сущностью его учение о любви не только к любящим нас, но и к врагам. Чуждое политических целей, общество наше, объединяясь в единстве верований, оставляет на совести каждого из ее членов его отношение к существующему порядку и предержащим властям, хотя вытекающее из нашего верования отношение к правительству есть полное подчинение всем его распоряжениям, не противоречащим основным требованиям христианского учения о любви к богу и ближнему».

Регистрация не состоялась, потому что собрать пятьдесят подписей не удалось. Толстовство, как не только массовое, но сколько-нибудь заметное явление, с революцией кончилось.

Вернулся постаревший Чертков — на руках у него черные перчатки, которые он не снимал. У него была экзема рук Черные перчатки не портили Владимира Григорьевича — он становился еще более похожим на пастора. Может быть, пристальное внимание Толстого к Черткову, его непрерывное общение с ним после революции связано с тем, что Чертков был остатком толстовства, спокойно утверждающим уже не существующее

Реакция впоследствии научила Толстого новому отношению к тому, что произошло в России

Он вступил с реакцией в бой Результатом был уход из усадьбы компромисса, из любимой и ненавидимой Ясной Поляны.

«РУССКИЕ МУЖИКИ». «НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!»

В 1908 году товарищество Голике и Вильберг, тогдашнее лучшее художественное издательство, прекрасно делающее репродукции, издало альбом «Русские мужики» Н Орлова

Н Орлов был малоизвестным художником, которого очень поддерживал как близкого себе по воззрению человека Толстой.

Н Орлов со своей женой и девятью детьми каждое лето жил в деревне Ясная Поляна — это был веселый, ласковый и хорошо знающий деревню человек Предисловие к альбому написал Лев Николаевич Об этом предисловии Ленин говорил, что в нем выражены худшие черты толстовщины. Вот как оно начинается:

«Прекрасное дело — издание альбома картин Орлова Орлов мой любимый художник, а любимый он мой художник потому, что предмет его картин — мой любимый предмет. Предмет этот — это русский народ, — настоящий русский мужицкий народ, не тот народ, который побеждал Наполеона, завоевывал и подчинял себе другие народы, не тот, который, к несчастью, так скоро научился делать и машины, и железные дороги, и революции, и парламенты со

всеми возможными подразделениями партий и направлений, а тот смиренный, трудовой, христианский, кроткий, терпеливый народ, который вырастил и держит на своих плечах все то, что теперь так мучает и старательно развращает его»

В предисловии Толстой не только противопоставляет русский народ, который делает «и машины, и железные дороги, и революции», этой самой революции, но он противопоставляет его тому народу, «который побеждал Наполеона»

Получается так, что народ, изображенный на картинках Н. Орлова, настоящий русский мужицкий народ, а тот народ, который изображен в «Войне и мире», не настоящий народ и народ, Толстым не любимый

Толстой дошел в отрицании революции до самоотрицания Но в этот же год Лев Николаевич по поводу массовых казней написал великую статью «Не могу молчать!» Она начинается так:

«Семь смертных приговоров: два в Петербурге, один в Москве, два в Пензе, два в Риге Четыре казни: две в Херсоне, одна в Вильне, одна в Одессе.

И это в каждой газете И это продолжается не неделю, не месяц, не год, а годы И происходит это в России, в той России, в которой народ считает всякого преступника несчастным и в которой до самого последнего времени по закону не было смертной казни.

Помню, как гордился я этим когда-то перед европейцами, и вот второй, третий год непрестающие казни, казни, казни»

Лев Николаевич писал в этой статье о терроре контрреволюции Он писал о том, что все знали из газет, каждый день получая подтверждение, но эта статья потрясла мир

Работа над статьей продолжалась с 13 мая по 15 июня 1908 года; в отрывках она была напечатана в ряде газет, которые были сейчас же оштрафованы. По словам «Русского слова», один севастопольский издатель расклеил по городу номер своей газеты с отрывками из «Не могу молчать!». Статья вышла

сразу на латышском языке и в августе полностью напечатана в нелегальной типографии в Туле. Она была перепечатана во всем мире и в Германии сразу вышла в двухстах газетах

Что поразило в этой статье мир?

Это публицистика, осуществленная со всей силой гениального художника-реалиста Толстой не просто пишет о казнях, — он изображает казнь, ее подробности, как человек, смотрящий широко открытыми и как будто впервые все-увидевшими глазами. Он рассказывает, как вешали двенадцать человек:

«Двенадцать мужей, отцов, сыновей, тех людей, на доброте, трудолюбии, простоте которых только и держится русская жизнь, схватили, посадили в тюрьмы, заковали в ножные кандалы Потом связали им за спиной руки, чтобы они не могли хвататься за веревку, на которой их будут вешать, и привели под виселицы Несколько таких же крестьян, как и те, которых будут вешать, только вооруженные и одетые в хорошие сапоги и чистые мундиры, с ружьями в руках, сопровождают приговоренных. Рядом с приговоренными, в парчовой ризе и в эпитрахили, с крестом в руке идет человек с длинными волосами. Шествие останавливается Руководитель всего дела говорит что-то, секретарь читает бумагу, и когда бумага прочтена, человек с длинными волосами, обращаясь к тем людям, которых другие люди собираются удушить веревками, говорит что-то о боге и Христе. Тотчас же после этих слов палачи, — их несколько, один не может управиться с таким сложным делом, — разведя мыло и намылив петли веревок, чтобы лучше затягивались, берутся за закованных, надевают на них саваны, взводят на помост с виселицами и накладывают на шеи веревочные петли».

Рассказывается дальше, как развращается казнями вся Россия. В восьмидесятых годах по всей России был только один палач; в 1908 году торговец-лавочник, расстроивший свои дела, предложил свои услуги для исполнения убийств и, получая по сто рублей с повешенного, поправил свои дела. Палачи

I.

„Семь смертныхъ приговоровъ: два въ Петербургѣ, одинъ въ Москвѣ, два въ Пензѣ, ~~[illegible]~~ въ Ригѣ. в четыре ~~Исполнено~~ казней: двѣ в Херсоне ~~тамъ, одна тамъ,~~ одна в Одессе. ~~и двѣ тамъ"~~. И это въ каждой газетѣ. И это продолжается не недѣлю, не мѣсяцъ, не годъ, а годы. И происходитъ это въ Россіи, въ той Россіи, въ которой народъ считаетъ всякаго преступника несчастнымъ и въ которой до самаго послѣдняго времени по закону не было смертной казни. Помню, какъ гордился я этимъ когда-то передъ европейцами, и вотъ второй, третій годъ непрестающія казни, казни, казни.

Беру нынѣшнюю газету.

Нынче, 9 мая, что-то ужасное, ~~такое ужасное, что я не вѣрю глазамъ.~~ В~~ъ газетѣ стоятъ короткія слова:~~ сегодня въ Херсонѣ на Стрѣльбицкомъ полѣ казнены черезъ повѣшеніе двадцать (двадцать) крестьянъ за разбойное нападеніе на усадьбу землевладѣльца въ Елисаветградскомъ уѣздѣ. Дв... человѣкъ изъ тѣхъ самыхъ людей, трудами которыхъ мы живемъ, тѣ самыхъ, которыхъ мы всѣми силами развращали и развращаемъ, начиная отъ яда водки и ~~[illegible]~~

Статья «Не могу молчать!» (машинописная копия с поправками Л Н. Толстого).

потом начали конкурировать друг с другом, сбивая цену. Один палач вешал за пятьдесят рублей.

«Накануне казни к распорядителю правительственных убийств пришел неизвестный человек, желающий переговорить по тайному делу. Распорядитель вышел. Неизвестный человек сказал:

«Надысь какой-то с вас три четвертных взял за одного. Нынче, слышно, пятеро назначены. Прикажите всех за мной оставить, я по пятнадцати целковых возьму и, будьте спокойны, сделаю как должно».

Они играют в повешенье: так развращается народ.

В этой статье Лев Николаевич не говорит, что борющиеся, то есть правительство и революционеры, равно виноваты; он говорит правительству, что революционеры рискуют, что они верят в свою правоту. Показав палаческое дело правительства как ремесло, Толстой разоблачает преступления правительства. Он пишет:

«Нельзя так жить. Я по крайней мере не могу так жить, не могу и не буду.

Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России, и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или уничтожилась бы моя связь с этими делами, чтобы или посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются все эти ужасы, или же, что было бы лучше всего (так хорошо, что я и не смею мечтать о таком счастье), надели на меня, так же, как на тех двадцать или двенадцать крестьян, саван, колпак и так же столкнули с скамейки, чтобы я своей тяжестью затянул на своем старом горле намыленную петлю».

Он заявляет правительству:

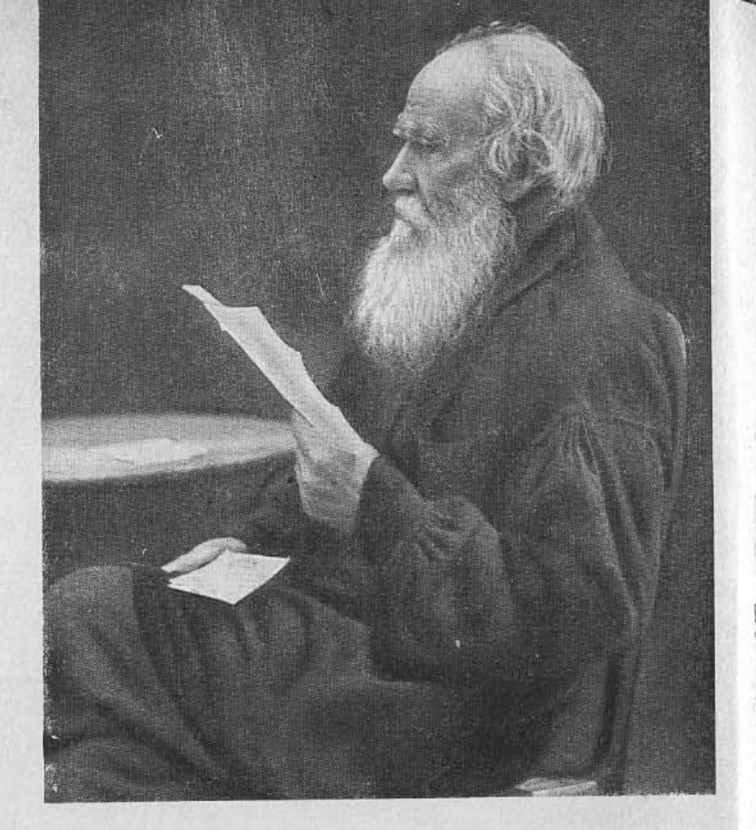
«Вы говорите, что это единственное средство успокоения народа и погашения революции, но ведь это явная неправда. Очевидно, что, не удовлетворяя требованиям самой первобытной справедливости всего русского земледельческого народа: уничтожение земельной собственности, а напротив, утверждая ее



В деревню Ясная Поляна на открытие народной библиотеки. 1910 г.



На открытии народной библиотеки. Ясная Поляна, 1910 г.



Л. Н. Толстой
1910 г.

С яснополянскими детьми.



и всячески раздражая народ и тех легкомысленных озлобленных людей, которые начали насильническую борьбу с вами, вы не можете успокоить людей, мучая их, терзая, ссылая, заточая, вешая детей и женщин. Ведь как вы ни старастесь заглушить в себе свойственные людям разум и любовь, они есть в вас, и стоит вам опомниться и подумать, чтобы увидать, что, поступая так, как вы поступаете, то есть участвуя в этих ужасных преступлениях, вы не только не излечиваете болезнь, а только усиливаете ее, загоняя внутрь».

Могучая статья эта поразила мир, имела неисчислимые последствия.

Индусский революционер Таракнатх Дас написал Льву Николаевичу из Америки 24 мая 1908 года:

«Ваша моральная сила ослабила даже самодержавную власть русского правительства, всегда преследовавшего все передовое, — оно запугано Вашей деятельностью и вынуждено мириться с Вами и молчать.

Действительно, русский народ порабощен, но он не самый угнетенный народ, если сравнить условия его существования с положением народов Индии. Вам известна история народов всего мира, и Вы знаете, в каком порабощении мы живем. В книге сэра Уильяма Диглея «Процветающая Британская Индия» неопровержимо устанавливается, что за десять лет, с 1891 по 1900 г., от голода в Индии погибло 19 миллионов человек, в то время как за последние 107 лет, с 1793 по 1900 г., от войн во всем мире погибло всего 5 миллионов человек. Вы ненавидите войну, но голод в Индии страшнее всякой войны. Он происходит там не из-за недостатка продовольствия, а вызван ограблением народа и опустошением страны британским правительством. Разве это не позор, что миллионы людей в Индии голодают, а английские торговцы вывозят оттуда тысячи тонн риса и других продуктов питания?!

Население Индии тяжело страдает. Политика Британии в Индии представляет собой угрозу всей христианской цивилизации.

Своими публицистическими выступлениями Вы принесли огромное благо России. Мы умоляем, если только у Вас будет время, написать статью и высказать свое мнение о горестном положении Индии».

Лев Николаевич начал составлять ответ, и ответ этот занял у него полгода работы. Сохранились четыреста тринадцать листов черновиков автографов и исправленных машинописных копий.

Пока Лев Николаевич писал, он получил еще письмо от одного индусского интеллигента, учителя Г. Д. Кумара, который эмигрировал в Канаду. Привожу отрывок из этого письма:

«Вы родились русским, но Вам принадлежит весь мир. Вы великий человек, и Ваше величие проявляется в заботе об обездоленных. Верьте, народы Индии еще более угнетены, чем русский народ. С надеждой на Вашу помощь я присоединяю к поздравлениям других людей и свое сердечное поздравление по поводу Вашего 80-летия и умоляю Вас от имени моих соотечественников помочь им, насколько это будет возможно».

Лев Николаевич написал свое знаменитое «Письмо к индусу», которое, хотя в нем говорилось о том, что насилие не может освободить народ, было немедленно запрещено английскими властями в Индии.

На «Письмо к индусу» откликнулся своим письмом к Толстому Мохандас Карамчанд Ганди.

«Беру на себя смелость, — так начинает Ганди свое письмо, которое я цитирую по книге А. Шифмана «Лев Толстой и Восток», — обратить Ваше внимание на то, что делается в Трансваале (Южная Африка) вот уже почти три года. В этой колонии живет около 13 тысяч британских индийцев. Эти люди уже многие годы страдали от различных правовых ограничений. Предубеждение против цветных, а в некоторых отношениях и против азиатов вообще, очень сильно в этой стране. Поскольку это касается азиатов, оно объясняется соперничеством в торговле. Это предубеждение достигло своей высшей степени три года назад, когда был проведен закон, специально предназначенный для азиатов, рассчитанный, как думаю я и многие другие, на то, чтобы унизить и лишить человеческого достоинства тех, против которых он применялся».

Лев Николаевич отметил в своем дневнике 24 сентября 1909 года: «...получил приятное письмо от индуса из Трансвааля».

Писем Ганди было несколько. Ганди прислал Толстому свою книгу «Самоуправление Индии». Книга эта сохранилась в яснополянской библиотеке. Ганди издал «Письмо к индусу» Толстого со своим предисловием.

«Письмо к индусу» отличается от других статей Толстого, между прочим, и тем, что Лев Николаевич не доказывает в этой статье, что индусы, которых угнетают англичане, и угнетатели англичане равно виноваты, а между тем в письме к польской женщине он как раз доказывал, что немцы, угнетающие поляков в исконных польских землях, и поляки, ненавидящие немцев, равно возбуждают его сострадание.

В «Письме к индусу» Лев Николаевич говорит об иной вине народа — двухсотмиллионный высокоодаренный народ позволяет себя угнетать небольшому кружку людей, который стоит ниже его по своему развитию, по своим физическим и нравственным силам. Лев Николаевич говорит, что нужно освободиться в сознании своем «от тех гор чепухи, которые скрывают теперь от них истину».

Надо выбросить религиозные и научные суеверия и надо понять, что не англичане, а сами индусы поработили себя, выполняя приказания англичан. Толстой говорит: «Не противьтесь злу, но и сами не участвуйте во зле, в насилиях администрации, судов, сборов податей и, главное, войска, и никто в мире не поработит вас».

Толстой развернул программу гражданского неповиновения. В патриархальной Индии с еще не вполне распавшимися общинами, с населением, которое противопоставляло себя завоевателям, он помог народу выиграть битву — освободиться.

«ЛЕВ ТОЛСТОЙ, КАК ЗЕРКАЛО РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

Восьмидесятилетний юбилей Толстого официальная Россия отметила треском лицемерных фраз. Человека, много страдавшего, много пережившего, пытались представить человеком, не знающим колебаний и внутренних противоречий.

Самыми вредными восхвалениями были восхваления либералов.

В газете «Пролетарий» В. И. Ленин писал по этому поводу: «Легальная русская пресса, переполненная статьями, письмами и заметками по поводу юбилея 80-летия Толстого, всего меньше интересуется анализом его произведений с точки зрения характера русской революции и движущих сил ее. Вся эта пресса до тошноты переполнена лицемерием, лицемерием двоякого рода: казенным и либеральным. Первое есть грубое лицемерие продажных писак, которым вчера было велено травить Л. Толстого, а сегодня — отыскивать в нем патриотизм и постараться соблюсти приличия перед Европой. Что писакам этого рода заплачено за их писания, это всем известно, и никого обмануть они не в состоянии. Гораздо более утонченно и потому гораздо более вредно и опасно лицемерие либеральное. Послушать кадетских балалайкиных из «Речи» — сочувствие их Толстому самое полное и самое горячее. На деле, рассчитанная декламация и напыщенные фразы о «великом богоискателе» — одна сплошная фальшь, ибо русский либерал ни в толстовского бога не верит, ни толстовской критике существующего строя не сочувствует. Он примазывается к популярному имени, чтобы приумножить свой политический капиталец, чтобы разыграть роль вождя общенациональной оппозиции, он старается громом и треском фраз *заглушить* потребность прямого и ясного ответа на вопрос: чем вызываются кричащие противоречия «толстовщины», какие недостатки и слабости нашей революции они выражают?

Противоречия в произведениях, взглядах, учениях, в школе Толстого — действительно кричащие. С одной стороны, гениальный художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы. С другой стороны — помещик, юродствующий во Христе».

Либералы подменивали высказывания Толстого. Патриотизм «Войны и мира» ничего общего не имел с их патриотизмом. Толстовское отношение к русской действительности ничего общего не имело с принятием этой действительности русскими либералами. Газеты вырывали отдельные места из Толстого и огромную глыбу народного гнева, ненависти обездоленного крестьянства, нависшую над еще существующей царской Россией, представляли как величественный, но благополучный пейзаж.

Либералы восхищались пафосом вещей Толстого. М. Неведомский писал, рассказывая про европейских поклонников Толстого, о том, «какой величавой, какой мощной, вылитой из единого чистого металла, фигурой стоит перед нами этот Толстой, это живое воплощение единого принципа».

Ленин говорил с негодованием:

«Уф! Говорит красно — и все, ведь, это неправда. Не из единого, не из чистого и не из металла отлита фигура Толстого. И «все эти» буржуазные поклонники *как раз* **не** за «цельность», как раз за отступление от цельности «почтили вставанием» его память».

Ленин не мог знать дневников Толстого, но увидел противоречия Толстого в его художественных произведениях и публицистике, увидел их историческое происхождение, их конкретность, увидел в них зеркало русской революции и предсказание ее победы. Даже резкие выражения Ленина, примененные к Толстому, такие выражения, как «помещик, юродствующий во Христе», сейчас для нас звучат иначе, потому что слово «юродство» неоднократно встречается в дневниковых записях самого Толстого. Он знал о порочности того положения, в котором находился, искал иных слов, чем те, которые он произносил, но старался замазать противоречия верой, не всегда сохраняемой, в своего абстрактного толстовского бога.

Ленин писал:

«Но противоречия во взглядах и учениях Толстого не случайность, а выражение тех противоречивых условий, в которые поставлена была русская жизнь последней трети XIX века. Патриархальная деревня, вчера только освободившаяся от крепостного права, отдана была буквально на поток и разграбление капиталу и фиску. Старые устои крестьянского хозяйства и крестьянской жизни, устои, действительно державшиеся в течение веков, пошли на слом с необыкновенной быстротой. И противоречия во взглядах Толстого надо оценивать не с точки зрения современного рабочего движения и современного социализма (такая оценка, разумеется, необходима, но она недостаточна), а с точки зрения того протеста против надвигающегося капитализма, разорения и обезземеления масс, который должен был быть порожден патриархальной русской деревней. Толстой смешон, как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества, — и поэтому совсем мизерны заграничные и русские «толстовцы», пожелавшие превратить в догму как раз самую слабую сторону его учения. Толстой велик, как выразитель тех идей и тех настроений, которые сложились у миллионов русского крестьянства ко времени наступления буржуазной революции в России. Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как *крестьянской* буржуазной революции. Противоречия во взглядах Толстого, с этой точки зрения, — действительное зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции. С одной стороны, века крепостного гнета и десятилетия форсированного пореформенного разорения накопили горы ненависти, злобы и отчаянной решимости. Стремление смести до основания и казенную церковь, и помещиков, и помещичье правительство, уничтожить все старые формы и распорядки землевладения, расчистить землю, создать на место полицейски-классового государства общежитие свободных и равноправных мелких крестьян, — это стремление красной нитью проходит через каждый исторический шаг крестьян в нашей революции, и несомненно, что идейное содержание писаний Толстого гораздо больше соответствует этому крестьянскому стремлению, чем отвлеченному «христианскому анархизму», как оценивают иногда «систему» его взглядов.

С другой стороны, крестьянство, стремясь к новым формам общежития, относилось очень бессознательно, патриархально, по-юродивому, к тому, каково должно быть это общежитие, какой борьбой надо завоевать себе свободу, какие руководители могут быть у него в этой борьбе, как относится к интересам крестьянской революции буржуазия и буржуазная интеллигенция, почему необходимо насильственное свержение царской власти для уничтожения помещичьего землевладения. Вся прошлая жизнь крестьянства научила его ненавидеть барина и чиновника, но не научила и не могла научить, где искать ответа на все эти вопросы».

Ненависть к старому сказалась во всех предреволюционных вещах Толстого, но еще молодым человеком, на Кавказе, Лев Николаевич увидел в терских казаках свободных крестьян без помещика, хотел сам стать таким, как они, хотел жениться на казачке, потом, вернувшись в Ясную Поляну, хотел жениться тоже на крестьянке, хотел создать в Ясной Поляне заповедник старого, патриархального крестьянства — и не смог этого сделать.

Ленин писал:

«Учение Толстого безусловно утопично и, по своему содержанию, реакционно в самом точном и в самом глубоком значении этого слова. Но отсюда вовсе не следует ни того, чтобы это учение не было социалистическим, ни того, чтобы в нем не было критических элементов, способных доставлять ценный материал для просвещения передовых классов.

Есть социализм и социализм. Во всех странах с капиталистическим способом производства есть социализм, выражающий идеологию класса, идущего на смену буржуазии, и есть социализм, соответствующий идеологии классов, которым идет на смену бур-

жуазия Феодальный социализм есть, например, социализм последнего рода, и характер *такого* социализма давно, свыше 60 лет тому назад, оценен был Марксом наряду с оценкой других видов социализма.

Далее Критические элементы свойственны утопическому учению Л. Толстого так же, как они свойственны многим утопическим системам Но не надо забывать глубокого замечания Маркса, что значение критических элементов в утопическом социализме «стоит в обратном отношении к историческому развитию». Чем больше развивается, чем более определенный характер принимает деятельность тех общественных сил, которые «укладывают» новую Россию и несут избавление от современных социальных бедствий, тем быстрее критически-утопический социализм «лишается всякого практического смысла и всякого теоретического оправдания».

Он хотел войти в жизнь, которая исчезала. Он хотел идти вперед, возвращаясь назад. Но это хотел сделать не он один. Крестьянство боялось будущего. Оно видело, какое горе и какое разорение приносит им господин купон, капитал, город. Город выворачивался, раскрывался перед крестьянами Хитровым рынком, нищенством, бесправием. Но крестьянство увидело ясно несправедливость своего положения, училось ненависти и протесту. Революция показала русскому народу, что царь, как в сказке Андерсена, «голый». Эту сказку любил вспоминать Толстой.

О ДНЕВНИКАХ И ПИСЬМАХ; НЕЧТО ВРОДЕ ПРЕДИСЛОВИЯ К ПОСЛЕДНИМ ГЛАВАМ КНИГИ

I

Революция прошла не так, как гроза, про которую неизвестно, когда она повторится, а как день: известно, что вернется.

Лев Николаевич ждал, что будет вторая революция, которая решит земельный вопрос: ту, которая прошла, он считал еще не настоящей.

Умер Сергей Николаевич Толстой — брат Льва Николаевича, умер, мрачно сдерживая отчаяние. У него был рак лица. Лев Николаевич ездил к нему и был тронут, когда брат сказал ему:

— Друг мой...

Братья Толстые были дружны, но относились друг к другу сурово. «Друг мой» — это были между ними самые ласковые слова.

Умерла Марья Львовна: она лечила в Ясной Поляне, заболела сама Когда она умирала, Лев Николаевич сидел рядом с ней, держал ее руку до последнего момента. Умерла Маша — женщина, полная обаяния, хорошо певшая, иногда становящаяся красивой, верный друг отца, самоотверженный человек.

Человек, не увидавший счастья.

Как будто в доме уже подводились счеты. Людей было много, но все знакомые Своих нет.

Может быть, свой — Чертков в черных перчатках.

Человек с холодным разумом и твердой рукой.

Софья Андреевна пережила тяжелую операцию; во время операции Лев Николаевич ушел в лес, сказав, что если все будет благополучно, пусть позвонят в колокол два раза.

Колокол висел рядом с балконом яснополянского дома на старом вязе, в него звонили перед обедом.

Колокол и сейчас там, но вяз окружает его своей шершавой корой, поглощает его, как забвение.

Тогда колокол позвонил: Софья Андреевна пережила операцию. Она постарела, но все еще занималась хозяйством, составляла меню, волновалась изза детей, думала о внуках, говорила про прошлое и не обижалась, что ее не слушают.

Она стерегла достояние детей и здоровье мужа.

Иногда она просыпалась с неожиданной энергией, и тогда казалось, что старость прошла, но это была агония истерики.

Чертков собирал толстовский архив и требовал, чтобы дневники, «клеенчатые тетради», в которых Толстой записывал всю жизнь, были в архиве Черт-

кова. Тетради Толстого полны сомнений, упреков, извинений.

Эти дневники были созданы не только волею Толстого; в дни его молодости люди приучались анализировать себя, говорили друзьям о самом сокровенном. В кружке Станкевича люди все время проверяли себя, готовясь к чему-то новому.

Так же исповедуются друг перед другом герои «Юности», повести Льва Николаевича Толстого, упрекают друг друга, напоминая о признаниях.

Все несчастливые дома несчастливы по-своему. Дом Льва Николаевича был полон прозрачным несчастьем; обитатели его говорили, что живут в стеклянном доме.

В 1908 году готовился юбилей Толстого: 28 августа должно было ему исполниться восемьдесят лет, и этот день Лев Николаевич всегда отмечал, считал важным, очень обижался, когда его не замечали.

Перед юбилеем Толстой сообщил через газеты, что он просит юбилея не праздновать.

Шло лето. Лев Николаевич просыпался веселый, как ребенок, работал, долго пил чай с Софьей Андреевной и потом ехал на легконогом Делире на свою обычную прогулку.

Он ехал по фруктовому саду, потом переезжал через окоп сада на дорогу и ехал прямо лесом по густой траве в темный овраг.

Высокая трава оплетала ноги верного Делира. Толстой ехал, лавируя между ветвями — то пригибаясь к седлу, то отстраняя ветки рукой. Он выезжал в дубовый лес: когда-то здесь добывали железную руду и подкопали лес. Лет семьдесят тому назад земля провалилась, высокие дубы провалились в воду и видны только вершинками.

Стоят клены. Мелко стрекочут листьями осины. Делир легко перескакивает через речки.

Ветер разделяет бороду Льва Николаевича надвое. Он едет. Что он думает, мы не знаем; чувствует он себя, как будто ему сорок лет, видит небо и драгоценную явь жизни и радуется ей.

II

Рассказывая жизнь Толстого, мы пользуемся его дневниками; дневниками Софьи Андреевны, более поздними ее записями, носящими характер оправданий; дневниками детей и письмами Толстого.

В XVIII веке письмо иногда оказывалось литературной формой, и не только сочиняли романы в письмах, в которых переписывались вымышленные герои, но собственные письма к друзьям в какой-то мере предназначали для опубликования и публиковали их иногда рядом со стихами. В «Письмах русского путешественника» Карамзин описывает встречи с людьми, которых не было в тех местах в то время, в которое он с ними разговаривает.

Дневник и письмо жили рядом; дневники конца XVIII века Дмитрия Болотова написаны как письма к неизвестному, вымышленному другу.

В дневники вставлялись целые новеллы — так делал Жихарев.

Толстовские дневники одновременно и биографические документы и литературные произведения с записями кусков сюжетов, с пейзажами. Литературные заготовки и жизнь в них существуют рядом.

Рождение новых тем иногда переплетается с записями снов. В письме к Черткову почти как сон рассказывается начало повести «Отец Сергий».

Лев Николаевич в вопросе о наследстве попал в положение сложнейшее: он всю жизнь хотел выделить свое дело, свою судьбу из общей судьбы мира. Пытался разжечь совесть мира растопками своей судьбы. В то же время он старался не противиться злу, добровольно идти на компромисс, даже если он приводил к упреку в юродстве.

Для того чтобы показать, что такое толстовское несопротивление, расскажу следующий, почти анекдотический факт. Один тульский купец, считая себя последователем Толстого, приносил ему в дар свои очень плохие картины: привозил их в рамах и сам вешал на стенках. Лев Николаевич считал, что их

со стены не надо снимать, потому что это было бы уже сопротивлением.

Так они и висели.

Дело быта семьи еще сложнее.

Лев Николаевич прожил суровую молодость, но ему нравилось, когда его дочери ездили на лошадях в амазонках, он добросовестно и подчеркнуто записывал в дневниках, что его похвалы бедности не искренни.

Ему нравился дом Татьяны Львовны Сухотиной — просторный, удобный, спокойный, нравилось имение Олсуфьевых. Ясная Поляна ему одновременно была мучительна, и в то же время она была его домом, как бы раковиной, в которой он вырос.

Но дом этот все больше и больше приходил в противоречие с тем, что Толстой не только думал, но и тяжело переживал. Можно было не снимать картин, повешенных другим на стене, но картины, которые происходили на дворе с живыми людьми, — от них нельзя было отвернуться. В доме жили стражники: они поместились в передней за перегородкой, в доме пахло полицией и дешевым табаком. Стражник избил крестьянина, который ловил рыбу в пруду: он уверял, что крестьянин бреднем зашел на господскую сторону. Человек был избит, арестован, потом его освободили, сговорившись с Софьей Андреевной. В соседних имениях стражников не было.

От жизни нельзя уйти, нельзя спрятаться. Лев Николаевич когда-то в письме к своему другу Александре Андреевне Толстой говорил, что в его толстовской душе вера и неверие живут вместе, как кошка с собакой в одном чулане.

Совести, разбуженной революцией, стало плохо, неспокойно жить в привычном домашнем укладе.

III

В одной из ранних своих вещей — «Юности» — Лев Николаевич в конце главы «Дружба с Нехлюдовым» рассказывает о том, что его герои Ниленька и Дмитрий решили говорить друг другу правду.

Поссорившись, они упрекают друг друга, приводя бесстыдные свои признания. Толстой заканчивает главу так:

«Так вот к чему повело нас наше правило *говорить друг другу все, что мы чувствовали, и никогда третьему ничего не говорить друг о друге.* Мы доходили иногда в увлечении откровенности до самых бесстыдных признаний, выдавая, к своему стыду, предположение, мечту за желание и чувство, как, например, то, что я сейчас сказал ему; и эти признания не только не стягивали больше связь, соединявшую нас, но сушили самое чувство и разъединяли нас; а теперь вдруг самолюбие не допустило его сделать самое пустое признанье, и мы в жару спора воспользовались теми оружиями, которые прежде сами дали друг другу и которые поражали ужасно больно».

Признания и в дневниках договаривали и часто домысливали мимолетные мысли. Люди в дневниках к самим себе относились как к героям художественных произведений, написанных о посторонних.

Дневники Толстого документальны, но они аналитичны до такой степени, что уже, так сказать, романны.

В дневниках Лев Николаевич часто невольно наговаривал на себя, доводя намерения до ясности; упреки Софьи Андреевны, в сущности говоря, должны были быть отнесены не столько ко Льву Николаевичу, сколько к героям его произведений, действия которых были уже освобождены от случайности.

Дневники Софьи Андреевны искренни, но не документальны. Она вспоминает и толкует как хочет.

Она говорит, подменяя одну систему отношений другой; пользуется, например, любовно бытовым словарем для передачи драмы, в основе которой лежат экономические отношения.

О чтении Софьей Андреевной повести «Дьявол» Толстой записал в дневнике 13 мая 1909 года:

«За завтраком Соня была ужасна. Оказывается,

она читала «Дьявол», и в ней поднялись старые дрожжи, и мне было очень тяжело. Ушел в сад. Начал писать письмо ей то, что отдать после смерти, но не дописал, бросил, главное, оттого, что спросил себя: зачем? сознал, что не перед богом, для любви. Потом в 4 часа она все высказала, и я, слава богу, смягчил ее, и сам расплакался, и обоим стало хорошо».

«Бог», «богу» встречается в толстовских дневниках постоянно и довольно часто с сомнением. Бог — значит знак общего, нужного, определяющего.

Черновик письма «из-за гроба» сохранился в записной книжке.

Приведу главное: «Прости меня за это, прости и за все то, в чем я перед тобой был виноват во все время нашей жизни и в особенности в первое время. Тебе мне прощать нечего, ты была, какою тебя мать родила, верною, доброю женой и хорошей матерью. Но именно потому, что ты была такою, какою тебя мать родила, и оставалась такою и не хотела изменяться... ты много сделала дурного другим людям и сама все больше и больше опускалась и дошла до того жалкого положения, в котором ты теперь».

Толстой не был коллекционером своих рукописей. Часть рукописей «Воскресения» при переноске дивана была выброшена в канаву и в ней не скоро была найдена, но «Дьявола» он сохранил.

Толстой был уже стариком, но его любовь сохранилась в записи; она могла быть живой так, как жива была повесть.

Что такое ревность Софьи Андреевны?

И в старости Софья Андреевна, как обыкновенно говорят, ревновала.

13 апреля 1909 года она «переписывала новое художественное произведение Льва Николаевича, только что написанное.

Тема — революционеры, казни и происхождение всего этого. Могло бы быть интересно. Но те же приемы — описания мужицкой жизни. Смакование *сильного* женского стана с загорелыми ногами девки, то, что когда-то так сильно соблазняло его; та же *Аксинья* с блестящими глазами, почти бессознательно теперь, в восемьдесят лет, снова поднявшаяся из глубины воспоминаний и ощущений прежних лет. — Все это как-то тягостно отозвалось во мне. И, вероятно, дальше будет опоэтизирована революция, которой, как ни прикрывайся христианством, Л. Н., несомненно, сочувствует, ненавидит все, что высоко поставлено судьбой и что — власть».

Казалось бы, здесь прямая ревность. Мы можем выяснить, о каком рассказе идет речь: это незаконченный рассказ «Кто убийцы? Павел Кудряш». Вещь напечатана в томе 37, стр. 293. Здесь повествуется о молодом парне, хорошем и развитом, который в городе стал революционером и экспроприатором. В городе у него невеста, которая в черновике называется действительно Аксинья.

Но это не мощная женщина, а девушка-невеста. Совпадает лишь имя.

Но в чем же совпадает отношение Софьи Андреевны к этой старой истории в это время с ее прежней женской ревностью?

Софья Андреевна мыслит в терминах ревности и как будто переживает ревность, но все мысли ее — о революции и о ненависти Толстого к тому, что «высоко поставлено судьбой и что — власть». У нее не любовная история, не ревность, а спор с революцией.

В то же время это вопрос о собственности, и Аксиньино имя всплывает не случайно.

В это время Литературный фонд хотел издать сборник в честь наступления 50-летия организации. Здесь собирались напечатать «Дьявола»; рукопись Софья Андреевна нашла зашитой в кресле.

Повесть эта вызвала ревность, но в то же время Софья Андреевна доказывала, что так как «Дьявол» написан *до 1881 года* (что было неверно), то, следовательно, «Дьявол» этот как литературная собственность принадлежит семье Толстого и может быть напечатан только в Собрании сочинений — с тем, чтобы деньги пошли Толстым.

Об этом и извещал Чертков Толстого в письме от

19 июня 1909 года. На это письмо Толстой ответил Черткову недовольно, невнятно и как бы для самого себя:

«Разочаровало, и даже неприятно было о моих писаниях, до от какого-то года Провались все эти писания к «дьяволу», только бы не вызывали они недобрых чувств»

«Дьявол» перестал быть элементом ревности, «Дьявол» стал одной из частей собственности, как и ревность к Черткову

Софья Андреевна пятнадцать раз была беременна от Льва Николаевича, годами ревновала его к женщинам, знала его дневники наизусть, переписывала их, хранила, но ревновать Тостого к мужчинам стала только в 1909 году, когда Льву Николаевичу исполнился восемьдесят один год.

В формах ревности к мужчинам и женщинам жил другой ее спор с мужем — спор о жизни, о том, как сохранить старый уклад жизни, явно отвергнутый Толстым.

Чертков в этом споре гораздо больше похож на Софью Андреевну, чем это можно подумать; и для него вопрос идет о собственности, о собственности фирмы «Посредник»

В большом письме 11 августа 1910 года он пишет Льву Николаевичу о праве первого печатания рукописей: «Затрудняясь, кому в этих случаях отдавать предпочтение, и зная, что обращаются к вам с подобными просьбами не наиболее заслуживающие поддержки учреждения и лица, а наиболее предприимчивые и смелые, вы скоро решили раз навсегда предоставить всю выгоду от первого издания ваших писаний только что основанному нами с вами народному издательству «Посредник», нуждавшемуся для своего развития в материальных средствах. С тех пор все вновь написанное вами, подлежавшее изданию, вы стали передавать в мои руки для напечатания, согласно моему усмотрению, в интересах «Посредника», а всех обращавшихся к вам за литературным сотрудничеством вы стали направлять ко мне».

Издание дешевых книг «Посредника» было убыточным Художественные произведения, которыми Чертков не дорожил, должны были покрыть убыток.

Чертков был богат, но дело шло о фирме

Чертковцы не позволяли Толстому издавать журнал, потому что для издания журнала надо было бы подписывать бумаги, вступать в деловые отношения с правительством, то есть как бы признавать его. Однако завещание Чертков решил провести законным порядком, а не как домашнее: оно должно было быть составлено в установленных формах, по всем юридическим правилам, при правомочных свидетелях

На этот компромисс Чертков пошел с легкостью, компромисс для Толстого оказался трудным

Когда Лев Николаевич заявил, стоит ли обеспечивать «распространение своих мыслей при помощи разных таких мер», — ведь мысли учителей жизни не пропали, — посланный Чертковым Ф А Страхов сказал на это, что Христу «действительно не надо было заботиться о беспрепятственном распространении своего слова. Но почему? Потому, что он писал и по тогдашним условиям гонорара за свои мысли не получал А вот вы пишете и гонорар за свои писания получали, и теперь ваша семья получает...» *

Этот бесхитростный рассказ явно не подделан, он показывает, что чертковцы, как и Софья Андреевна, целиком стояли на почве юридических понятий тогдашнего общества Спор между Чертковым и Софьей Андреевной — это спор равных.

Споры идут публично, с намеренной оглаской.

Софья Андреевна не только делает попытки совершить самоубийство при людях, но и оформляет план бегства из дому в заметке под заголовком «Факты можно проверить на месте»

---

* Показания Ф Страхова цитирую по обширным примечаниям Василия Спиридонова к «Автобиографии С А Толстой» («Начала» № 1, 1921 Петербург, стр 169—185) Примечания носят характер документальной статьи, подробно разбирающей вопрос о том, как создавались различные редакции завещания Толстого

Софья Андреевна вписала в ночь с 24 на 25 июля 1910 года в свой дневник следующее, как бы из будущих газет взятое, сообщение (оно не осуществилось):

«В мирной Ясной Поляне случилось необыкновенное событие. Покинула свой дом графиня София Андреевна, тот дом, где она в продолжение 48 лет с любовью берегла своего мужа, отдав ему всю свою жизнь. Причина та, что ослабевший от лет Лев Николаевич подпал совершенно под вредное влияние господина Ч....ва, потерял всякую волю, дозволял Ч...ву говорить грубые слова Софье Андреевне и о чем-то постоянно тайно совещался с ним.

Проболев месяц нервной болезнью, вследствие которой были вызваны из Москвы два доктора, графиня не выдержала больше присутствия Ч...ва и покинула свой дом с отчаянием в душе».

Не отставали чертковцы. Они снимали копии с документов, записывали разговоры, готовили книги, судились, разоблачали и нападали

Второй том книги «Вблизи Толстого» А. Б. Гольденвейзера — это целое судоговорение против Софьи Андреевны с приведением свидетельских показаний и документов.

ОСЕНЬ 1909 ГОДА. МОСКВА — КРЕКШИНО — МОСКВА

Девять лет не был Толстой в Москве Так как Черткову был запрещен полицией въезд в Тульскую губернию, а Лев Николаевич хотел с ним встречаться, пришлось на время покинуть Ясную Поляну.

Те ограничения, которые применили к В. Г. Черткову, были обидными, но минимальными: ему разрешалось жить во всей России, кроме Тульской губернии и, в частности, Ясной Поляны Поэтому он жил или на границе Тульской и Калужской губерний, или в имении своего отчима, отставного гвардии полковника, великосветского религиозного сектанта В. А. Пашкова — Крекшине Звенигородского уезда.

В Крекшино ехали через Москву.

На Долго-Хамовническом переулке Толстого не ждали. Солнце светило через запыленные окна.

Сергей Львович, который должен был встретить Льва Николаевича, опоздал.

Лев Николаевич лег в гостиной наверху.

Приехал Гольденвейзер, привез обед и начал разогревать его на керосинке.

Лев Николаевич узнал от Гольденвейзера, что в магазине Циммермана появилась новинка — механическое пианино «Миньон». На ленте механического пианино записывали исполнение знаменитых пианистов, которое потом точно воспроизводилось.

Решили поехать утром на извозчике на Кузнецкий мост в магазин.

Лев Николаевич давно не был в Москве, и все его поразило: высокие дома, трамваи, движение. Он с ужасом смотрел на изменившийся город и, по словам А. Б. Гольденвейзера, «на каждом шагу находил подтверждение своей давнишней ненависти к так называемой цивилизации».

Фирма Циммермана устроила торжественную встречу; Александре Львовне поднесли букет.

Приглашенный магазином фотограф снял группу.

Фирма была довольна посещением и выпустила впоследствии иллюстрированное описание как рекламу механического пианино.

Пианино было отправлено в Крекшино на время пребывания там Толстого.

В Москве прокладывали трамвай; улицы были разрыты Посмотрели вновь открытый памятник Гоголю у тогдашних Арбатских ворот. Андреевский памятник Льву Николаевичу понравился, хотя ему говорили, что скульптуру очень бранят.

На другой день поехали в Крекшино тогдашней Брянской железной дорогой. Крекшино находится почти под Москвой.

Дом Пашкова — большой, кирпичный, двухэтажный, в стиле английских загородных домов конца прошлого века. Парк, тоже английский, — большие рощи с купами деревьев, расположенных посреди широких полян, не соединенных русскими поме-

щичьими липовыми аллеями. Если бы деревья, которые росли среди полян, не были березами, то русского в имении Пашкова было бы совсем мало.

Кончался сентябрь. Березы желтели, поляны покрыты слабо-желтыми опавшими листьями.

Лев Николаевич приехал к Черткову по делу: он собирался подписать завещание, с тем чтобы авторские права на вещи, написанные после 1881 года, были переданы в общее пользование уже юридическим порядком.

Сперва в Крекшине жили мирно. К Толстому приезжали учителя, музыканты, он гулял по окрестностям, разговаривал с крестьянами. Чертков с рыжеусым англичанином-фотографом делал с Толстого снимки.

13 сентября в Крекшино приехала с Александрой Львовной Софья Андреевна. Софья Андреевна была не совсем здорова — она ушибла ногу. Приехала повидаться и побыть с мужем в день своих именин — именины Веры, Надежды, Любови и Софьи приходятся на 17 сентября старого стиля, и поговорить о делах.

Лев Николаевич нервничал. Софья Андреевна надеялась, что Толстой не подтвердит свое старое завещание и тогда, естественно, дети останутся полными наследниками.

Но и сейчас надо было устраивать дело: издательство «Просвещение» предлагало очень большие деньги за переуступку прав на издание. Софья Андреевна сперва полагала, что дело может решить она сама, но вскоре узнала, что доверенность, выданная ей Львом Николаевичем, хотя и действительна для того, чтобы иметь дела с типографией и с книжными магазинами, но на основании этой доверенности нельзя продать права на Собрание сочинений Сыновьям нужны были деньги: кроме Сергея Львовича, из них не зарабатывал почти никто. Миша был еще почти мальчиком, Илья занимался только охотой, Андрей Львович развелся с первой своей женой, увез жену тульского губернатора, у которого было шесть душ детей, передал свое имение первой

жене, жил на жалованье чиновника особых поручений и, кроме того, играл в карты. Лев Львович за границей занимался то скульптурой, то живописью, проживал много, не зарабатывая ничего.

Между тем издательство «Просвещение» предлагало за Собрание сочинений Толстого миллион рублей, а подписать договор нельзя. Софья Андреевна переходила от бурных сцен к ласковости, все надеялась сломить сопротивление Льва Николаевича. В более позднем дневнике 1910 года она прямо писала, что угроза смертью — это ее оружие.

В крекшинском доме было напряженно. Софья Андреевна сидела в своей комнате больная и ласково настороженная

Именины Софьи Андреевны праздновались торжественно: приехал струнный квартет. Играли Моцарта, Бетховена, Глазунова.

Потом Лев Николаевич гулял по саду. За ним в нескольких десятках шагов сзади шел Чертков: он говорил, что делает так, чтобы не беспокоить уединенных размышлений Льва Николаевича. Если Лев Николаевич ехал куда-нибудь, то с ним ехал кто-нибудь из друзей, которого потом Чертков все расспрашивал, что говорил Лев Николаевич Слова великого человека, конечно, интересны, но, вероятно, великим людям иногда бывает скучно от постоянного надзора Один из ближайших друзей Льва Николаевича, Д. П. Маковицкий, даже нарезал куски плотной белой бумаги, клал в карман и записывал, что говорил Лев Николаевич, коротким карандашом, положивши руку в карман. Записи эти сохранились, они интересны, но в них виден не только Лев Николаевич, но и Маковицкий, и они кажутся душными.

Прошел именинный вечер, наступило 18 сентября Уехали музыканты Лев Николаевич их ласково проводил; потом Чертков снял Льва Николаевича вместе с детьми Андрея Львовича — Сонечкой и Илюшей.

Потом Лев Николаевич пошел работать — а писал он каждое утро, никогда не нарушая распорядка.

Друзья волновались: Софья Андреевна могла встать и догадаться, что что-то готовится.

Но вот Лев Николаевич вышел. Его провели в маленькую комнату, где его все ждали. Он сел за стол, бегло взглянул на переписанный текст, взял перо и подписал. Вслед за ним подписались свидетели: А. Б. Гольденвейзер, А. Б. Калачев и Сергеенко-сын.

Спустилась Софья Андреевна в неплохом настроении. Лев Николаевич захотел еще раз послушать механическое пианино, и оно заиграло.

Потом вышли на улицу, но тут уже были фотографы и кинооператоры с шумливой деревянной машиной на высокой треноге, которую тогда почему-то звали верблюдом.

Лев Николаевич ушел в лес.

В этот раз Софья Андреевна ничего не заподозрила.

Поехали обратно в Москву.

В Москве Толстые переночевали.

Тут друзья снова приехали к Толстому и сообщили ему, что завещание, которое было так торжественно составлено, недействительно: по тогдашним законам оставить имущество «никому» было нельзя, а Лев Николаевич как раз так и сделал. Он в завещании просто отказался от авторских прав на вещи, написанные после 1881 года Адвокат Муравьев объяснил, что надо создать иную форму документа. Решили, что завещание будет составлено на имя Александры Львовны, с тем чтобы она совместно с Чертковым уже передала издания в общее пользование

Лев Николаевич волновался.

В доме звонил телефон, все время спрашивали, когда Лев Николаевич поедет из Москвы. Софья Андреевна обвиняла Черткова, что это он сказал об отъезде в одиннадцать часов утра.

Чертков обвинял в этом Софью Андреевну.

Когда открытое ландо с Львом Николаевичем, Софьей Андреевной, Александрой Львовной и Чертковым выехало из дома на Долго-Хамовническом

переулке, на улице уже стояли люди: небольшая толпа — все сняли шапки и шляпы, приветствуя Льва Николаевича

Повернули направо, пересекли Зубовский бульвар; высокие густые деревья уже желтели. Поехали по Пречистенке: одноэтажные, штукатуренные дома за палисадниками, каменные дворянские особняки — все чернело окнами: люди смотрели на Толстого. Гремели московские булыжные мостовые.

Пересекли бульварное кольцо: с правой стороны над домами виднелся огромный белоснежный храм Христа Спасителя с пятью золотыми главами. Через Боровицкие ворота въехали в тихий Кремль, проехали мимо старых соборов. За мелкой Москвой-рекой, за невысокими кокоревскими складами в зеленых садах и огородах стояли деревянные дома Замоскворечья и поднимались старые храмы.

Повернули налево Софья Андреевна смотрела на соборы, дома и площади Кремля, где прошла ее молодость; проехали мимо Ивана Великого, мимо темно-медной горы — Царь-колокола, выехали через Спасские ворота Справа, как цветущий куст, пестрел храм Василия Блаженного, мост и опять мелкая река с баржами.

Люди с Лобного места смотрели на Толстого.

Проехали по Ильинке мимо Торговых рядов, выехали на Маросейку. На красных стенах выделялись московские черно-золотые вывески, блестели тускло-золотые церковные колокола.

При проезде Льва Николаевича в ландо извозчики вставали с козел пролеток, снимали шляпы, кланялись.

На тротуарах кланялись священники, с империалов конки свешивались люди: смотрели на Толстого Все больше людей на панелях.

Москва гремела мостовыми Выехали на Садовую. Здесь толпа.

Рядом с ландо со стороны Толстого долго бежала восторженная румяная курсистка, размахивая соломенной шляпкой, плача и что-то крича; потом остановилась, радостно улыбаясь.

Снова дома чернели окнами, сверкали вывесками. В окнах пестрели люди, приветствующие Льва Николаевича.

Огромная площадь перед Курским вокзалом полна народу. Больше всего учащихся.

За толстовским ландо ехали его друзья на извозчичьих пролетках: доктор Беркенгейм, Сергеенко, корреспонденты от разных газет и многие другие.

Толпа на площади, говорят, была тысяч десять-пятнадцать, может быть, и двадцать.

Когда ландо показалось в начале площади, раздался крик. Все сняли шапки. Проехать к вокзалу было невозможно. Лев Николаевич вышел на площадь. Толпа кричала:

— Слава Толстому! Да здравствует великий борец!

В 1908 году, как мы уже писали, Лев Николаевич обнародовал свою статью «Не могу молчать!». Человек, проповедующий несопротивление, сам того не зная, оказался великим борцом, заступником народа.

Толстой стоял. Перед ним площадь мелькала черным, синим, зеленым: это студенты университета и студенты Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии махали своими фуражками.

Лев Николаевич пошел с Чертковым, Александрой Львовной и Софьей Андреевной. Чертков — большой, плотный, Александра Львовна сильна была, как мужчина, и чуть повыше Толстого.

Толпа хотела все время пропустить Льва Николаевича: делала цепи, но цепи разрывались.

Толпа сама расступалась перед Львом Николаевичем. Он шел по длинному узкому проходу, держа под руку Софью Андреевну; охраняя отца, спокойно ступала Александра Львовна. За ними шел Чертков в белой панаме; согнувшись, нес чемодан с толстовскими рукописями А. П. Сергеенко.

Около подъезда в зал на ступеньках толпа сгрудилась. Плотный Чертков пошел таранить толпу. Цепи образовывались и опять рвались. Толпа двигалась рывками. Вдруг кто-то открыл окно вокзала. Часть

толпы бросилась к окну, и Лев Николаевич с сопровождающими успел войти в вокзал.

Огромное здание гудело от возбужденной многотысячной толпы. Кругом были люди — кричащие, улыбающиеся, возбужденные: студенты, рабочие, курсистки, барыни, военные и даже несколько священников. Через головы толпы передавали цветы, завернутые в белую бумагу и перевязанные голубыми лентами. Толпа внутри вокзала вскакивала на мягкие диваны, на подоконники.

Никаких железнодорожников, никаких жандармов.

Среди толпы виднелась белая панама Черткова, который шел, продавливая толпу, как пресс, чувствуя и в этот момент свою значительность и необходимость.

Шел Лев Николаевич. Вокруг него образовывались и распадались цепи. Рядом с ним — раскрасневшаяся Софья Андреевна с блестящими, счастливыми, возбужденными глазами раскланивалась направо и налево.

Лев Николаевич вошел в вагон. В вагоне началась суетня. Провожающие спрашивали:

— Где вещи? Где клетчатый портплед? Где чемодан? Все ли едут в одном вагоне?

Лев Николаевич сел у окна. На лице его не было заметно ни усталости, ни недовольства.

Может быть, он был печален.

Софья Андреевна в восторге повторяла:

— Как царей... как царей нас провожали!

В окно врывался гул бушующей толпы:

— Ура! Ура! Слава!

— Как царей... — сказал Лев Николаевич, — значит, мы плохие...

Чертков произнес спокойным и рассудительным голосом:

— Мне кажется, Лев Николаевич, хорошо было бы вам подойти к окну и попрощаться с толпой.

— Ну что же, — сказал Лев Николаевич, легко поднялся, вышел в коридор, подошел к окну.

Гул и шум усилились вдесятеро. Сотрясались ты-

сячи рук, махая носовыми платками. Летели в воздух фуражки.

Лев Николаевич снял шляпу и сказал, раскланиваясь во все стороны:

— Благодарю! Благодарю за добрые чувства!

— Тише! Тише! — закричали в толпе. — Он говорит!

Лев Николаевич заговорил вдруг окрепшим голосом:

— Благодарю! Никогда не ожидал такой радости, такого проявления сочувствия со стороны людей. Спасибо! — твердым голосом прокричал он.

— Вам спасибо! — заревела толпа.

Толпа кричала:

— Ура! Слава!

Поезд тронулся.

Толпа, как загипнотизированная, потянулась за поездом. Потом побежала. Поезд набавлял ходу. Главная масса уже отстала, продолжая издали кричать, но отдельные группы еще бежали крича: «Ура! Слава!»

Чертков сидел в изнеможении на диване и вытирал платком мокрые от пота лицо, шею, уши.

В письме Лев Николаевич написал потом:

«Эти проводы разбередили во мне старую рану тщеславия».

Через несколько часов, уже по приезде в Ясную Поляну, Лев Николаевич впал в глубокий обморок, длившийся два часа.

ЗИМА, ВЕСНА И ЛЕТО 1910 ГОДА

Ясная Поляна жила, как всегда полная народу; Софья Андреевна впоследствии, жалуясь на денежные затруднения, говорила, что она на деньги Толстого должна была кормить тридцать восемь человек. Она не считала при этом своих служащих. Тут были сыновья с женами, разведенные жены сыновей, дети сыновей, внуки сыновей, просто родственники и приживалки. Дом был полон людей, которые привыкли, чтобы им все подавали, за ними убирали, им стлали, после них оправляли постели. Жили просто, но бездельно, на это шло много хлопот и много денег. Жизнь катилась, как заведенная, и этого, кроме Толстого, никто не замечал.

Толстой томился. Записано в дневнике 17 февраля 1910 года:

«Получил трогательное письмо от киевского студента, уговаривающего меня уйти из дома в бедность».

Через Ясную Поляну шли бродяги на Москву.

Шли без цели, без надежды найти работу. Оттуда бедняков гнали домой, по местожительству, по этапу: звали таких Спиридонами-поворотами. Деревня принимала на ночлег путников, если вечер заставал их в Ясной Поляне. Десятский разводил бродяг по домам: он не вел их ни к священнику, ни к дьякону, ни к лавочнику, а о доме графа Льва Николаевича Толстого никто, конечно, и не думал. Дом стоял за белыми башнями, к нему вела аллея, зимой лежали чистые сугробы, окаймляющие разметенные дороги, весной перед ним цвели крокусы, а летом — розы.

Обутых в опорки, одетых в тряпье бродяг разводил десятский по крестьянским домам. Нельзя не пожалеть человека — бродяге давали вечером кусок хлеба, кипяток, которым был заварен много раз один и тот же чай.

Бродяга рассказывал:

— Есть везде нечего. Везде заборы. Работы нет. Если потеряешь работу, то потом не получишь.

Утром бродяга уходил дальше

Лев Николаевич этих людей видел, с ними разговаривал.

Зимой подкатывал к яснополянскому подъезду какой-нибудь из сыновей Льва Николаевича, бородатый, сытый мужчина. Сани с медвежьей полостью. Трое коней запряжены цугом, чтобы легче было лихо проезжать по узким зимним дорогам. Кучер — красавец, хорошо одетый, сытый — протягивает умелые руки к коням.

Румяный барин, улыбаясь, сам отстегивает полость, выходит, здоровается с матерью.

Бедность и богатство в деревне видны рядом незаглушенными. Это он, Лев Николаевич, создал богатство своих сыновей. Это он, Лев Николаевич, ничего не сделал для деревни. Была яснополянская школа, но это было давно. Дети выросли, и он, Лев Николаевич, остался с сознанием мерзости своей жизни среди работающих для того, чтобы еле-еле избавиться от холодной и голодной смерти.

Что делать, не знал не только Толстой.

Лев Николаевич просыпается апрельской ночью и записывает:

«Проснулся в 5 и все думал, как выйти, что сделать? И не знаю. Писать думал. И писать гадко, оставаясь в этой жизни. Говорить с ней? Уйти? Понемногу изменять?..» Ничего нельзя сделать. Ничего нельзя переменить.

«Безумно приятная весна. Всякий раз не веришь себе. Неужели опять из ничего эта красота».

Для Льва Николаевича весна — чудо.

Было трудно. Рядом с большим парком, в котором жили прекрасные и праздные деревья, зеленела трава, цвели цветы, — деревня бедная, в ней не хватало кирпича для труб. Из каменных изб торчали железные трубы, взятые откуда-то из города. На каменных избах были соломенные крыши. И камень был не от радости, не от богатства.

Деревня нищает.

Толстой записывает 10 апреля:

«Какой большой грех я сделал, отдав детям состояние. Всем повредил, даже дочерям. Ясно вижу это теперь».

Софья Андреевна тогда же записывает в своем дневнике:

«Дома. Прелестный весенний день с солнцем. Вечером гроза. Бегала всюду, наслаждалась весной. Цветут белые крокусы на лугу и полевые желтенькие цветы, и Таня нашла распустившуюся медуничку. Днем коротко шел дождь. Овес посеяли немного, только на бугре. Устала».

Потом зацвели фиалки. Зацвел яблоневый сад, огромный сад, посаженный Львом Николаевичем, один из самых больших яблоневых садов Европы. Оживали пчелы. Черно-золотые, гудели они в беловато-розовых цветах.

Лев Николаевич любил смотреть, как пчела залетает в один цветок, в другой, в третий и так берет мед с двенадцати, потом улетает.

Он любил смотреть, как вырастают и сменяются деревья. Посадил березовую аллею, потом подсадили внизу елки. Елка первые пять лет растет, как человек: двухлетняя елка — как двухлетний мальчик, трехлетняя — как трехлетний, и так до пяти лет; потом ель набирает силы, становится деревом быстрорастущим. Березы сперва охлестывали елки, боролись с ними, но елки росли дружно, начали теснить березы, и вот уже из Ясной Поляны вниз, туда, к шоссе, идет еловая аллея, которая захватила как в плен распускающуюся цветущую березу и, вероятно, сменит ее с годами.

Весна, опять весна! Старик восхищался весною.

1 мая выходил Лев Николаевич на дорогу, смотрел автомобильную гонку. Вездесущий кинодеятель Дранков с деревянным своим легким киноаппаратом системы Патэ успел прибежать и снять сцену: Лев Николаевич, немного подняв левое плечо, идет в подпоясанном пальто. Он такой, каким мы его знаем по сотне портретов. Такой, как будто он жив и сейчас: мимо него бегут смешные, короткие, с прямыми рулями автомобили; кажется, что они идут не пятьдесят лет тому назад, а двести пятьдесят лет: так они изменились.

Добровольно или из-за неполадок один автомобиль остановился. Лев Николаевич подошел. Гонщик открыл машину и показал Льву Николаевичу устройство этой новинки.

Шли дни, принося горе. Давно опали лепестки яблонь на дорогу. Цвели липы. К балкону нанятый Софьей Андреевной сторожить яснополянские владения объездчик в черкеске, Ахмед из Дагестана, 5 июня привел привязанного к нагайке рыжего ста-

рика Прокофия Власова. Лев Николаевич Прокофия знал. Это был его ученик, и ученик любимый. Это ему он рассказывал про войну 1812 года и про то, как Жилин, русский офицер, убежал из черкесского плена к своим; рассказывал про Хаджи Мурата.

Это к нему, к Прокофию, Толстой водил французского журналиста Деруледа, когда тот приехал разговаривать о русско-французском союзе.

Прокофий не то что был против французов, но он не знал, зачем нужно воевать, когда на свете столько работы и у него, Прокофия, не убрано сено, а уже приближается жатва.

Француз белыми ручками трогал посконную рубаху Прокофия и объяснял, как с двух сторон русские и французы возьмут в тиски немцев.

Прокофий иронически не понимал самомнения француза. Он знал шкурой и посконной рубахой, откуда берется преступление. Теперь Прокофий стоял перед Толстым связанный: он в лесу Толстого срубил слегу — амбар падал, надо было подпереть.

Лев Николаевич в дневнике записал: «Ужасно стало тяжело, прямо думал уйти». И утром 5 июня повторил, что считает не невозможным свой уход.

В доме было неспокойно. Лев Николаевич тревожно старел. Вечером сидел, позевывая, в белом колпаке у окна: день утомлял. Время жизни его уже обозначилось, и наследники заботились о том, что будет дальше, заботились не слишком ласково. Он устал оттого, что за ним все время смотрели. Его дневники уходили к Черткову. Его дневники просматривала Софья Андреевна.

Завел Толстой маленький собственный дневник и носил его у себя в голенище. В большом доме не было места, где спрятать.

Однажды у Льва Николаевича случился обморок. Софья Андреевна за ним ухаживала, раздевала, над ним горевала.

Сняла с него сапоги — нашла книжечку. Конечно, просмотрела. Так узнали в доме, что есть какое-то завещание. А между тем издатели приходят, просят продать Собрание сочинений. В доме будет почти

что миллион, который хоть на время развяжет все дела, всех накормит, позволит все продолжать, как шло, а старик, который так долго живет, что-то придумал новое.

Льва Николаевича допрашивали, беспокоили. Сыновья поняли, что если он не говорит «нет», то значит «да»: завещание есть. Казалось бы, можно уехать к Татьяне Львовне, или к Олсуфьеву, или в монастырь к Марье Николаевне — переждать, или уехать в деревню. Лев Николаевич заехал к старому знакомому крестьянину М. П. Новикову. Попросил его, нельзя ли нанять хотя бы маленькую, но чистую, теплую избу. Новиков не советовал Льву Николаевичу менять жизнь.

А между тем к Льву Николаевичу шли письма. Россия изменилась, народ узнал, как его обидели.

Все то, что раньше маскировало насилие — царская мантия, корона, золотые купола церквей, документы на владение, заборы, стражники, — все осталось, только все это стало прозрачным.

Лев Николаевич понимал, что народ созрел для чего-то нового, и приветствовал это. Он сам увидел, что мир, в котором он живет, мир неправильный, что пережидать, пока он изменится, нельзя. Нельзя отписаться от этого мира документами, переводящими имущество на чье-то другое имя, потому что, кроме владения, есть пользование, и он недалеко ушел от тех людей, которые просто живут в старых своих домах, ни о чем не заботясь.

Живут на покое.

ЗАВЕЩАНИЕ ОФОРМЛЕНО

Трудно понять, почему так сложно и так безжалостно по отношению к Толстому было организовано подписание им завещания.

В. Г. Чертков был человек английской выучки, привыкший к точности английского судопроизводства. Русские законы он знал плохо. Остальные чертковцы, окружающие Толстого, были старательные, но бестол-

ковые люди. После того как Лев Николаевич подписал в Крекшине свое завещание, сразу же были проведены три совещания с адвокатом Муравьевым. Оказалось, что все сделано не так, как надо. Решили подписывать завещание заново. Для этого опять отправились к Толстому.

Лев Николаевич был тревожен, но бодр. Тяготясь домом, он каждый день ездил по пятнадцать, по двадцать километров.

Дороги выбирал крутые, не боясь подъемов, на которых надо было держаться за холку лошади, чтобы не упасть. Он наслаждался верховой ездой и в то же время стыдился ее. Он видел, что у мужиков нет лошади для пахоты, а он, старый барин, держит коня для потехи. Однажды Толстой велел расковать Делира и отправить его в табун. Потом его уговорили ездить. Это была его единственная радость, единственное наслаждение, единственное время, когда он мог один думать для себя.

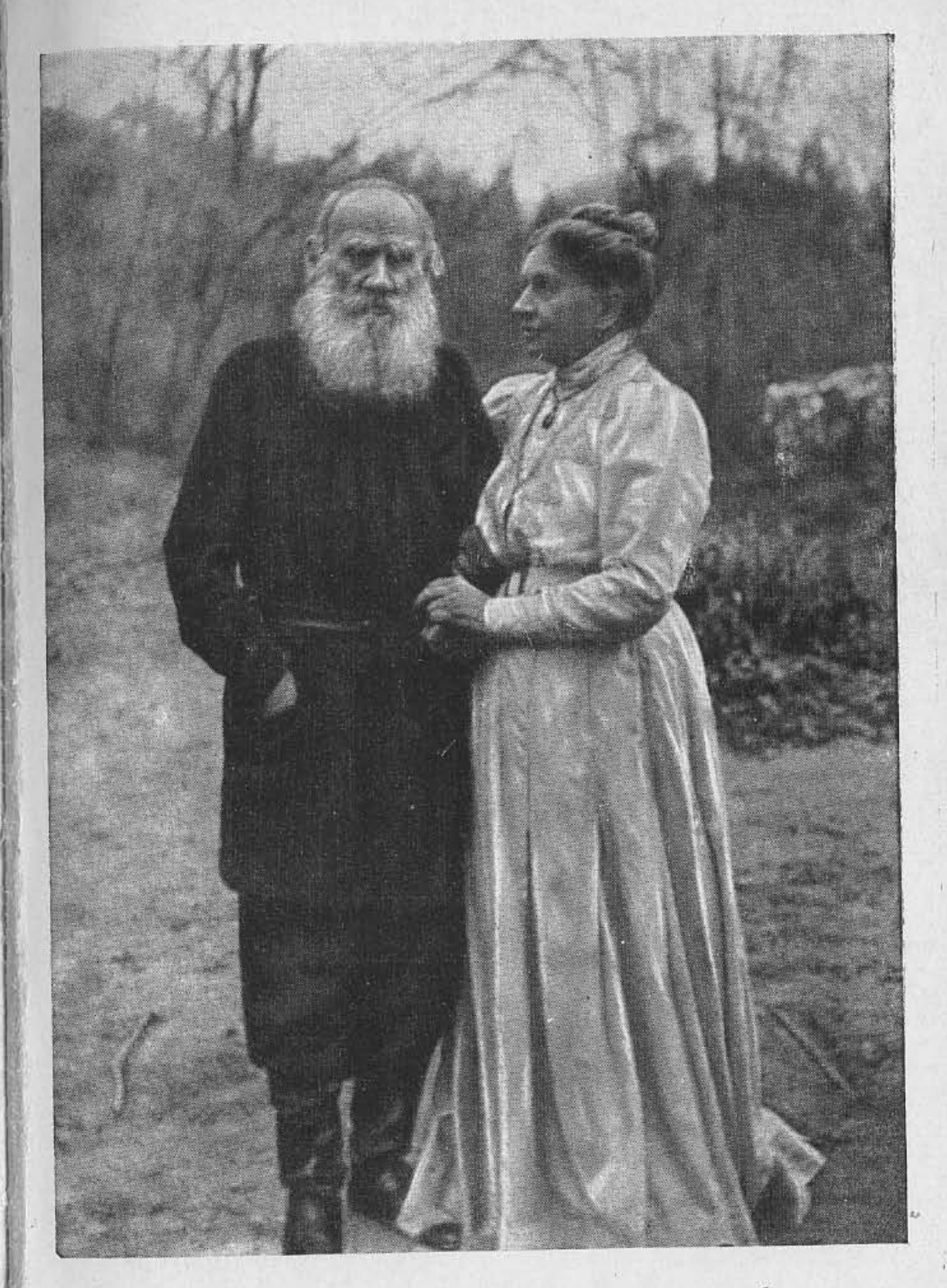
Старость настигла Льва Николаевича. Только на коне он себя чувствовал так, будто ему не восемьдесят два года, а сорок лет.

В конце октября 1909 года Ф. А. Страхов приехал к Льву Николаевичу и рассказал о всех затруднениях. Он показал текст нового завещания, которое уже было составлено адвокатом.

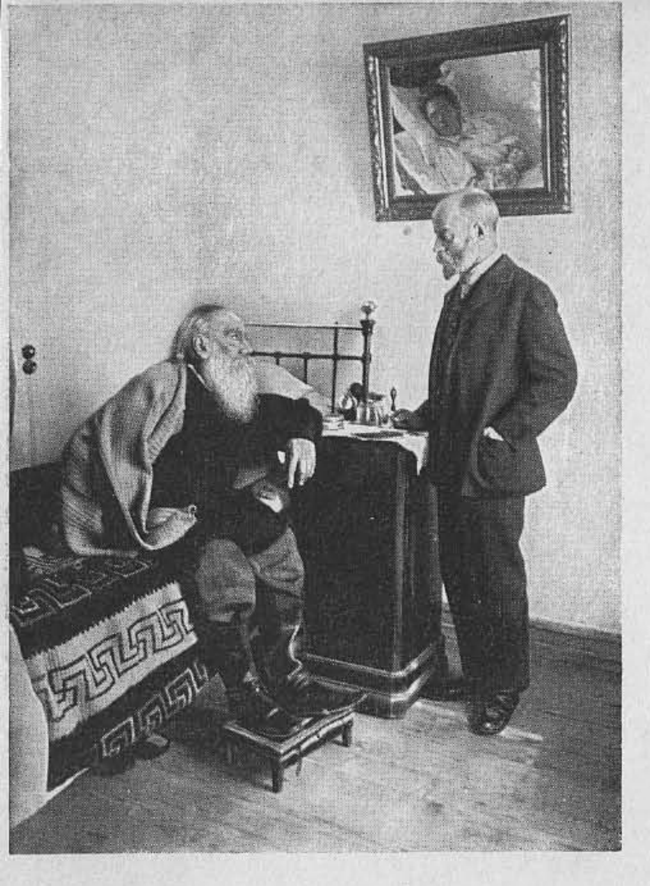
Так как Чертков отказывался стать юридическим наследником, то наследником была объявлена Александра Львовна, которой и поручалось распоряжаться литературной собственностью после смерти Толстого.

Вернувшись из поездки в Ясную Поляну, Ф. А. Страхов рассказал Черткову, что Толстой неожиданно выразил желание оставить в общее пользование не только сочинения, написанные им после 1881 года, как предполагалось раньше, но вообще все им написанное. Это было для Черткова ново и неожиданно.

Прежде сам Лев Николаевич иногда шутя говорил, что его старые вещи — это только разговоры балаганного деда перед балаганом, они и служат для



Л. Н. Толстой и С. А. Толстая в годовщину свадьбы.
Ясная Поляна. 1910 г.



Л. Н. Толстой и Д. П. Маковицкий. Ясная Поляна, 1909 г.

Дом начальника станции Астапово, в котором скончался Л. Н. Толстой (ныне музей Л. Н. Толстого).



того, чтобы заманить людей в место, где будет показано совсем другое. Лев Николаевич в разговорах, так сказать, официального характера считал, что главное им сделанное — это статьи и религиозные поучения.

1881 год — это был водораздел, как бы превращение Толстого. То, что до 1881 года, — принадлежало его старой дворянской семье, после — всему человечеству, которое должно было религиозно перестраиваться.

Конечно, это было неправдой. Жизнь и творчество Толстого непрерывны.

Над тем, о чем он говорил в старости, он начал задумываться еще в эпоху написания «Утра помещика». Между «Казаками» и «Войной и миром» нет разрыва.

Левин в «Анне Карениной» мучается теми же сомнениями, о которых Толстой рассказывает в своей «Исповеди».

Кроме того, и после 1881 года Лев Николаевич продолжал писать художественные произведения, произведения великие. Правда, он старался заканчивать их нравоучением. Так, нравоучением кончаются «Крейцерова соната», «Воскресение»; один «Хаджи Мурат» начат и кончен поэтически.

Объявление новой воли — это результат нового сознания Толстого, что он весь один, весь целый, это признание Львом Николаевичем своего художественного творчества.

Связано это и с тем, что Толстой теперь снова захотел писать *художественные вещи,* а с этим ожило и прошлое отношение к своему творчеству.

Толстой с зимы 1909 года думал о новой художественной форме. Незадолго до смерти он записывает о надеждах создать новую вещь. «О, как хорошо могло бы быть! И как это влечет меня к себе. Какая могла бы быть великая вещь. И вот именно задумываю без всякой мысли о последствиях, какие и должны быть в каждом настоящем деле, а также и в настоящем художественном. О, как могло бы быть хорошо».

Это мечта о «настоящем художественном деле» и без прямой мысли о выводах, о «последствиях», это восторг перед новым освобождением.

Он составлял черновики, задумывал новые вещи и писал с необыкновенной ясностью, зрелостью, даже молодостью.

Торопя новую волю Толстого, Чертков на 1 ноября попросил А. Б. Гольденвейзера с Ф. А. Страховым заехать к Льву Николаевичу.

Лев Николаевич закрыл двери в соседних комнатах, прочел текст завещания очень внимательно, удивился мертвому юридическому языку документа. Текст его он переписал сам, без помарок, что ему вполне удалось. В качестве свидетелей подписались Гольденвейзер и потом — Страхов, который приехал через несколько минут. Все время боялись, что может войти Софья Андреевна. Но, наконец, завещание подписано и спрятано Гольденвейзером в портфель

На этом дело не кончилось. Лев Николаевич пожелал упомянуть в завещании, что в случае смерти Александры Львовны он назначает наследницей свою дочь Татьяну Львовну Сухотину. Для этого необходимо было написать новое завещание. Это было произведено 17 июля 1910 года.

Но и в этом завещании оказалась ошибка: последние строки — о свидетелях составления завещания — были написаны не рукой Толстого. Таким образом, юридически получилось, как будто завещание не целиком написано в присутствии завещателя.

Возникло еще одно завещание.

Рассказ о подписании последнего завещания сохранился, и он настолько драматичен, что я его приведу, хотя сокращенно.

Это было 22 июля 1910 года. В Телятинскую усадьбу верхом приехал пианист А. Б. Гольденвейзер. Он сообщил, что Лев Николаевич выехал на прогулку и теперь находится в старом лесу, в Заказе, близ деревушки Грумант, ждет свидетелей для того, чтобы подписать новый текст завещания. Лев Николаевич

просил привезти Анатолия Радынского, которого шутливо назвал «сыном полковника», и Алешу Сергеенко. Сергеенко он знал с детства.

Были оседланы лошади. Трое людей поскакали к Льву Николаевичу.

Ехали кратчайшей дорогой, сквозь березовый лес, вдоль ручья. Стали искать Льва Николаевича — увидели не сразу. Проехали дальше. Увидели Льва Николаевича верхом на Делире, в белой шляпе, белой рубахе; белая борода его развевалась на легком летнем ветру. Всадник стоял на пригорке и виден был на фоне летнего темно-голубого неба.

Поздоровались. Поехали гуськом. Лев Николаевич поехал легкой рысью через скошенное ржаное поле, мимо копен, к старому казенному лесу — засеке.

Подъехав сюда, он на минуту задержал лошадь: колебался, куда ехать, но места были знакомые. Он направил Делира прямо в лес по узкой дороге, потом, оставив дорогу, избрал неожиданное направление прямо вглубь Верный, близорукий и смирный Делир, привыкший в течение многих лет возить хозяина по лесам, подчиняясь малейшему движению руки всадника, проносил его под ветками деревьев, не изменяя своей рыси, как будто шел по хорошо знакомой дороге. Но лошади спутников отставали. Свидетели нагибали головы под сучьями или отстраняли ветки в сторону.

В глубине леса Лев Николаевич остановился у большого пня и слез. Слезли и свидетели. Лев Николаевич сел на пень, вынул английское самопишущее перо, которое называли тогда «резервуарным пером», и попросил дать ему бумагу. Сергеенко приготовил бумагу и картон, на чем писать. Александр Борисович держал перед собой черновики завещания.

Перекинув ногу на ногу, сидя на пне, положив картон с бумагой на колено, Лев Николаевич стал писать:

«1910 года, июля дватцать второго дня...»

Он сейчас же заметил описку, которую сделал, написав слово «двадцать» через букву «т», захотел пе-

реправить и взять чистый лист,—но потом улыбнулся и сказал:

— Ну, пускай думают, что я был неграмотный...

И прибавил:

— *Я поставлю рядом цифру, чтобы не было сомнения.*

Ему было трудно, сидя на пне, следить за черновиком, и текст начал читать Александр Борисович.

Лев Николаевич писал старательно, делая двойные переносы — в конце и в начале строк, как делалось в старину. Сперва он писал сжато, потом увидел, что остается много места, и стал писать разгонисто. Кроме того, Лев Николаевич написал бумагу, в которой были выражены дополнительные распоряжения.

Потом Лев Николаевич встал с пня и подошел к лошади.

— Как тяжелы все эти юридические придирки,— сказал он.

Потом с необычайной для восьмидесятидвухлетнего старика легкостью вскочил на лошадь.

— Ну, прощай, — сказал он, протягивая руку Сергеенко.

Об этом событии Лев Николаевич в тот день кратко заметил в своем дневнике: «Писал в лесу».

В. Булгаков рассказывает о вечере того же дня — 22 июля.

К Толстому случайно заехала гостья — финка, был Чертков.

«Потом все сошли пить чай на террасу, в том числе и Софья Андреевна.

Последняя была в самом ужасном настроении, нервном и беспокойном. По отношению к гостю, да и ко всем присутствующим держала себя грубо и вызывающе. Понятно, как это на всех действовало. Все сидели натянутые, подавленные. Чертков — точно аршин проглотил: выпрямился, лицо окаменело. На столе уютно кипел самовар, ярко-красным пятном выделялось на белой скатерти блюдо с малиной, но сидевшие за столом едва притрагивались к своим чашкам чая, точно повинность отбывали».

ОСЕНЬ. ЯСНАЯ ПОЛЯНА

I

Читая письма Софьи Андреевны к Льву Николаевичу, видишь, что она его любила и даже по-своему хотела его беречь. Между тем то, что происходило в доме, было ужасно.

Читая письма Черткова к Толстому, видишь, что он его уважал и у него не было другой гордости, другого места в жизни, кроме положения ученика Толстого. Между тем он мучил Толстого. Помогали мучить Толстого и люди, связанные с Софьей Андреевной и Чертковым.

Завещание было подписано, и довольно скоро оно было обнаружено: дом распался.

Сыновья по-разному мучили отца.

Андрей Львович был человеком резким, безжалостным, ослепленным своими желаниями. Он стрелял собак на улицах деревни Ясная Поляна. Добыча неинтересная, а шуму и огорчений для отца много.

В «Дневнике для одного себя» 29 июля 1910 года Толстой писал:

«Андрей просто один из тех, про которых трудно думать, что в них душа божия (но она есть, помни)».

У Андрея душа была, и, вероятно, страстная, но он отдал ее в 1910 году в заклад чистогану.

Лев Николаевич записывал 27 июля:

«Андрей приходил спрашивать: есть ли бумага? Я сказал, что не желаю отвечать. Очень тяжело. Я не верю тому, чтобы они желали только денег. Это ужасно. Но для меня только хорошо».

«Только хорошо» — писал Толстой потому, что это отделяло его от семьи, как бы освобождало от нее.

Про Софью Андреевну в «Дневнике для одного себя» Лев Николаевич говорил: «Я совершенно искренно могу любить ее, чего не могу по отношению к Льву».

Лев Львович представлял собою явление не болезненное, но поразительное.

В записи от 2 февраля 1907 года Толстой ужасается на сына. «Удивительное и жалостливое дело — он страдает завистью ко мне, переходящей в ненависть».

Подписание завещания раздело перед Толстым душу его семьи — душу собственников.

Только тем Лев Львович оказался хуже Андрея Львовича, что формально принадлежал к искусству и, будучи плохим писателем, плохим скульптором, сгорал от зависти к отцу и в своих дневниках, перебивая изложение, писал о том, как он ненавидит своего отца.

Софья Андреевна писала к Льву Николаевичу письма, умоляя уничтожить завещание, и угрожала самоубийством. Издатели приезжали, предлагали деньги. А тут еще были друзья, была В. М. Феокритова — стенографистка, которая дружна с Александрой Львовной и подчиняется Черткову; Александр Гольденвейзер, пианист, доверенное лицо Черткова. Все вмешивались в семейные дела Толстых и обостряли взаимоотношения мужа и жены. Семейная ссора, которая идет под стенограмму, которая вся записывается, фиксируется, — ужасна. А так делалось. Льву Николаевичу рассказывали о безумных выкриках Софьи Андреевны. Начиная с 4 сентября Гольденвейзер пересылал записи, сделанные с речей Софьи Андреевны. Софья Андреевна угрожала, что она с сыновьями объявит Льва Николаевича состарившимся, потерявшим разум. Она говорила, что царь рассудит ее с Толстым. Шел разговор не совсем безумный — это разговор об опеке. Но это все же и болтовня, это истерические выкрики. Гольденвейзер с добросовестностью маленького почитателя великого человека пересылал эти выкрики Толстому. Толстой отвечает: «Как ни тяжело знать все это и знать, что столько чужих людей знают про это, знать это мне полезно. Хотя в том, что пишет В. М. и что вы думаете об этом, есть большое преувеличение в дурную сторону, недопущение и болезненного состояния и перемешанности добрых чувств с нехорошими».

Ясная Поляна разделилась на две партии. Одна, во главе которой стоял Чертков, имела в числе своих приверженцев Александру Львовну, Варвару Михайловну Феокритову, Гольденвейзера. Другая партия состояла из Софьи Андреевны и ее сыновей.

Всецело на стороне Софьи Андреевны был Андрей Львович; Илья и Михаил мало бывали в Ясной Поляне Сергей Львович, как порядочный человек, старался утишить спор; он не был жаден. Татьяна Львовна, мало бывавшая в Ясной Поляне, стояла несколько в стороне и могла бы быть хорошей посредницей между ссорившимися. Но это было невозможно· люди не слушали друг друга. Татьяна Львовна ссорилась с Александрой Львовной. Приходила старуха Шмидт, умоляла людей помириться — ее выгоняли Все это происходило на глазах очень старого человека.

Теперь представьте себе, что за человек был Толстой восьмидесяти двух лет.

Восемьдесят два года — это почти предел человеческой жизни Лев Николаевич к этому времени написал столько книг, создал столько черновиков к этим книгам, столько работал, и работал ежедневно, что если какого-нибудь писателя заставили просто переписать все черновики Толстого, то я думаю, что человек этот заболел бы стенокардией.

Этот человек был вдохновенным тружеником. Но в свои восемьдесят два года он был человеком крепким, и это его вводило в заблуждение. Он думал, что он еще не состарился. Глубокой осенью он поехал на охоту — это было 27 октября. Ехал с Душаном Маковицким шестнадцать верст. Пришлось переправиться через глухой, глубокий овраг с крутыми краями: ползком перебрался через замерзший ручей и вылез на крутой берег. Это был крепкий человек.

Это был великий человек, не потерявший представления о мире и в какой-то мере продолжающий изменять дела мира. Но он же старик, который вечером сидел, играл в шахматы, слушал музыку, играл в карты, жался к чужим людям, потому что они его защищали от домашних ссор.

II

Тем временем борьба индийских патриотов в Трансваале обострилась. Сотни семей индусов сидели в тюрьмах. Об этом Ганди писал Толстому 15 августа 1910 года.

Ганди писал:

«Милостивый государь, очень благодарен Вам за Ваше ободряющее и сердечное письмо от 8 мая с. г. Я весьма ценю Ваш общий отзыв о моей брошюре «Indian home rule» и буду ожидать, что, когда у Вас найдется время, Вы выскажетесь о моей работе более подробно, как Вы были столь добры обещать мне это сделать в своем письме.

Калленбах пишет Вам о «Толстовской ферме». С Калленбахом мы друзья уже многие годы. Могу сказать о нем, что он также прошел через большинство тех испытаний, которые Вы так образно описываете в Вашей книге «Исповедь»».

За Ганди стояла угнетенная Индия — деревни, от которых были отняты общинные земли, разоренные ремесленники. В Индии патриархальное крестьянское хозяйство сохранилось. В Индии главным врагом, всем видным, был англичанин, угнетатель. То, что говорил Толстой про несопротивление, в Индии прозвучало как призыв к сплоченности. Индийцы перестали покупать английские ткани. В деревнях опять зажужжали веретена ремесленников, опять заработали старые ткацкие станки. Индийцы не покупали английской мануфактуры, не покупали соли — выпаривали соль из морской воды. Они изолировали англичан в порабощенной стране. Так пчелы воском залепляют мышь-воровку, ворвавшуюся в улей.

Друг Ганди Калленбах писал в письме 1910 года:

«Не испросив Вашего разрешения, я назвал свою ферму «Толстовская ферма»... Воспользовавшись Вашим именем, считал обязанным Вам об этом сообщить и могу прибавить в свое оправдание, что буду прилагать все свои усилия к тому, чтобы жить согласно тем идеям, которые Вы столь бесстрашно вносите в мир».

Не только ферма, но благодаря Таракнатх Дасу и Ганди и вся индийская освободительная мысль и борьба с англичанами объединялись именем Толстого и бесстрашно договаривали его мысль.

Письмо пришло в Ясную Поляну в сентябре.

В длинном ответном письме к Ганди Лев Николаевич в заключение писал:

«Правительства знают, в чем их главная опасность, и зорко стерегут в этом вопросе уже не только свои интересы, но вопрос быть или не быть».

Победа приближалась, но достигли индийцы ее после той революции, которую Толстой так упорно отрицал.

В доме своем он тоже пытался победить несопротивлением. В ответ его рвали на части, как добычу.

Устраивала шумно лицемерные сцены Софья Андреевна, убегала в сад, ложилась в траву, угрожая простудиться, позорила старика перед сторожами и всей деревней; мучили сыновья, объявляя гения безумцем, потерявшим разум.

К великому человеку можно привыкнуть, потерять представление о его масштабе. Дома Лев Николаевич казался уже стариком, доживающим свою жизнь. И для себя он был стариком, хотя и в восемьдесят два года не только ездил на коне, но и пытался заняться гимнастикой и, подтягиваясь, уронил на себя шкаф. Он был полон художественных намерений и не только читал те упреки, которые присылали к нему читатели, но считал, что эти упреки справедливы, что на них надо ответить делом.

Не хочется рассказывать о всех перипетиях семейных ссор, о том, что Лев Львович кричал на отца, «как на мальчишку», о том, как Софья Андреевна на глазах у мужа подносила склянку с опием к губам и ночью стреляла из пугача два раза, симулируя самоубийство.

Лев Николаевич считал себя виноватым. Он думал, что надо было бы собрать всех наследников, явно заявить им о своей воле. Он даже говорил, что Чертков подвел его, устроив дело так конспиративно. Чертков об этом был извещен.

III

Чертков был ближайшим другом Толстого. Учеником, который ревниво хотел быть равным учителю.

Письма Черткова к Толстому относятся к литературе деловой. Большое письмо Черткова к Льву Николаевичу занимает по печатному тексту в книге Гольденвейзера двенадцать страниц. Письмо это передано Чертковым для опубликования в дневнике пианиста. Письмо разделено на части, в него вписаны диалоги Софьи Андреевны с репликами Льва Николаевича.

Чертков пишет Толстому о его собственных действиях; он как бы согласовывает показания, утверждая, что Лев Николаевич все время действовал самостоятельно.

Чертков хотел от Толстого немного большего, чем то, чего хотела от мужа Софья Андреевна.

Формально очень большое состояние Черткова принадлежало не ему, а его матери. Он был не выделен, он был подчинен религиозной даме, которая считала, что при вере в Христа можно жить, будучи праведной, не изменяя уклада жизни, а изменяя только внешность жизни. Чертков хотел одного, чтобы произведения Льва Николаевича, напечатанные после 1881 года, не стали наследством семьи Толстого.

Первоначально борьба шла только вокруг этого.

Прямой заинтересованности в художественных произведениях Толстого у Черткова не было. В огромной переписке Толстого с Чертковым «Война и мир», «Казаки», «Анна Каренина» не упоминаются; «Кавказский пленник» упоминается ввиду того, что Чертков хотел сделать Жилина совсем положительным героем, который бы не хитрил с горцами, которые его пленили, даже тогда, когда это необходимо для освобождения.

Итак, первоначально дело шло только о поздних вещах Толстого. Напомню, что наш теперешний превосходный знаток произведений Льва Николаевича, биограф Толстого Н. Н. Гусев в молодости был секретарем Толстого, близким к нему человеком. Гусева арестовали, увезли от Толстого, и Александра Львовна дала ему на дорогу «Войну и мир», чтобы он прочитал это произведение: до этого он его знал мало, считая, что произведение это не имеет религиозно-нравственного значения. Казалось, что так же, по крайней мере для посторонних, относился в то время к «Войне и миру» сам Толстой.

Чертков напоминает в начале своего многостраничного августовского письма, цитату из которого я уже приводил, об интересах «Посредника» и об обязательствах Толстого к этому издательству.

Затем говорит о материальной необходимости для фирмы иметь *все* произведения Толстого позднего периода. Это давало «приход».

«Впоследствии этот приход шел на покрытие некоторой, очень, впрочем, незначительной, доли весьма крупных расходов по распространению ваших неразрешенных в России писаний в возможно доступной для людей неимущих форме».

Здесь Чертков напоминает и о своей «*доле* расходов».

Затем говорит о рукописях: владение рукописями гарантировало право первого печатания.

Особенно волновали Черткова дневники: они были не только автобиографией Толстого, но содержали оценку окружающих и раскрывали его мировоззрение.

Дневники были у Черткова. Софья Андреевна требовала их возвращения. Лев Николаевич вернул дневники и положил их в тульский банк, чтобы их никто не читал.

Он тяготился нарушением тайны записи.

Надо сказать, что Лев Николаевич несколько раз просил, чтобы были уничтожены в дневниках те недоброжелательные слова, которые относятся к Софье Андреевне, к сыновьям. Он даже вырывал страницы, но их подбирали, подбирал Буланже, Чертков, — они остались. Зачеркнутое — почти все прочитано.

Он писал Софье Андреевне письма, в которых опровергал то, что написал в дневниках. Он пони-

мал больше, чем можно было понимать при ссоре, то есть он понимал логику безумия Софьи Андреевны, и это его обезоруживало. В схватке он был над схваткой.

Но время шло. В октябре Лев Николаевич записывает в «Дневнике для одного себя»: «Нынче живо почувствовал потребность художественной работы и вижу невозможность отдаваться ей, от нее, от неотвязного чувства о ней, от борьбы внутренней. Разумеется, борьба эта и возможность победы в этой борьбе важнее всех возможных художественных произведений».

Когда Толстой пишет «ей», «ее», «ней», то это, как мне кажется, одновременно и художественная работа, и борьба с Софьей Андреевной, и сама Софья Андреевна. Он хотел быть в этой борьбе правым и выбирал. Хотел выбрать трудное, а труднее всего было, как ему казалось, остаться.

Софья Андреевна, вероятно, любила Льва Николаевича. Сыновья, во всяком случае, гордились фамилией Толстого: они не какие-нибудь только графы, а сыновья графа Льва Николаевича Толстого из Ясной Поляны. Но еще больше Софья Андреевна хотела, чтобы все знали, что Лев Николаевич ее любит. В сорок восьмую годовщину свадьбы она заставила мужа сняться с ней — чувство справедливое, снимок законный, обычный. Лев Николаевич стоит суровый, прямой, смотрит прямо на аппарат. Софья Андреевна, подтянутая дама, стоит боком к нам, лицо ее обращено к Толстому. Она держится за него рукой, — нет, она его держит рукой. В дневниках она выражала удовлетворение тем, что увидят этот снимок.

IV

Лев Николаевич хотел уйти. Он уже тридцать лет хотел уйти из дому. Однажды в Ясную Поляну пришел солдат с «Потемкина».

Лев Николаевич с ним пошел гулять. Хотел его устроить «на передышку» в имение Черткова, но

Чертков беглого отказался принять. Для Льва Николаевича это был свой брат — беглец, который перешел границу, который может рассказать, как уходят, как преодолевают препятствия. Они ходили вдвоем долго.

Лев Николаевич не знал, куда ехать: спрятаться ли в деревне или бежать к Денисенко под Новочеркасск — у Денисенко были возможности достать паспорт; или поехать на Черноморское побережье, где была колония толстовцев. Мы не знаем до конца, куда хотел уехать Толстой. Его стерегли. Для него не было своих. Александра Львовна, мужественная, крепкая, преданная, телом была похожа на Толстого, но разумом, характером на Софью Андреевну. Она тоже истерична, но только спокойно истерична. И она оказалась для отца самой милой, дорогой среди чужих!

На своих надо было «торнуть», даже пригрозить.

21 октября Лев Николаевич записывает в дневнике: «Очень тяжело несу свое испытание. Слова Новикова: «походил кнутом, много лучше стала», и Ивана: «в нашем быту вожжами», все вспоминаются, и недоволен собою. Ночью думал об отъезде. Саша много говорила с ней, а я с трудом удерживаю недоброе чувство».

У Новикова, хорошо грамотного крестьянина, друга Толстого, была родственница, которая сильно пила; Новиков спроста рассказал, как муж усмирял ее кнутом.

Когда Софья Андреевна бегала по саду, то старик сторож Иван сказал Толстому: «В нашем простом быту мы вожжами».

Лев Николаевич оказывался смешным для мужиков, а их логика была для него понятна, и ему было стыдно не того, что он не бьет свою жену, а того, что он — мужик, который не может справиться с женщиной, которая, как он сам говорил, «выскочила из хомута».

25 октября: «Все то же тяжелое чувство. Подозрения, подсматривание и грешное желание, чтобы

она подала повод уехать. Так я плох. А подумаю уехать и об ее положении, и жаль, и тоже не могу».

Дело шло к концу. В Ясную Поляну в это время приехала Наталия Алексеевна Альмединген, редактор детского журнала «Просвещение», которая предложила Льву Николаевичу продать Собрание сочинений. Софья Андреевна успокаивалась. Она говорила, что Лев Николавич здоров и спокоен. Когда он раздражался, она думала, что виною всему его печень. Софья Андреевна читала Альмединген свои записи о девичьей жизни и о своей свадьбе. Шел дождь, было десять градусов тепла. Софья Андреевна гуляла среди елочек, посаженных ею когда-то в присутствии маленького сына Ванечки.

Выпал и сошел снег. Опять стало тепло. Приехал сын Андрей. Вероятно, разговаривал с Альмединген. Софья Андреевна была рада: Андрей «свой», свой сердцем, не то, что Саша. Готовилось новое наступление.

Лев Николаевич записал после ухода из дому:

«Лег в половине 12. Спал до 3-го часа. Проснулся и опять, как прежние ночи, услыхал отворяние дверей и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, нынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это Софья Андреевна что-то разыскивает, вероятно читает. Накануне она просила, требовала, чтоб я не запирал дверей. Ее обе двери отворены, так что малейшее мое движение слышно ей. И днем и ночью все мои движенья, слова должны быть известны ей и быть под ее контролем. Опять шаги, осторожное отпирание двери, и она проходит. Не знаю отчего, это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажег свечу и сел. Отворяет дверь и входит Софья Андреевна, спрашивая «о здоровье» и удивляясь на свет у меня, который она видит у меня. Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать. Пишу ей письмо, начинаю укладывать самое нужное, только бы уехать. Бужу Душана, потом Сашу, они помогают

мне укладываться. Я дрожу при мысли, что она услышит, выйдет — сцена, истерика, и уж впредь без сцены не уехать. В 6-м часу все кое-как уложено; я иду на конюшню велеть закладывать; Душан, Саша, Варя доканчивают укладку. Ночь — глаз выколи, сбиваюсь с дорожки к флигелю, попадаю в чащу, накалываясь, стукаюсь об деревья, падаю, теряю шапку, не нахожу, насилу выбираюсь, иду домой, беру шапку и с фонариком добираюсь до конюшни, велю закладывать. Приходят Саша, Душан, Варя. Я дрожу, ожидая погони. Но вот уезжаем. В Щекине ждем час, и я всякую минуту жду ее появления. Но вот сидим в вагоне, трогаемся, и страх проходит, поднимается жалость к ней, но не сомнение, сделал ли то, что должно. Может быть, ошибаюсь, оправдывая себя, но кажется, что я спасал себя, не Льва Николаевича, а спасал то, что иногда и хоть чуть-чуть есть во мне».

V

Лев Николаевич уехал из дому в ночь на 28 октября, в 5 часов утра.

Денег в кармане у Толстого было тридцать девять рублей, у Маковицкого — триста — их успела сунуть ему Саша.

Все так и было, как он рассказывал. Софья Андреевна потом писала ему, оправдываясь, что она не искала завещания, а только тронула портфель, думая, что в нем лежит дневник Толстого, и что она потому вошла, что новая желтая собачка, взятая в дом, забежала в кабинет, а она хотела ее оттуда выгнать, увидала портфель и его потрогала.

Как уехал Толстой?

28 октября в три часа утра Лев Николаевич в халате и туфлях на босу ногу пришел к Маковицкому, разбудил его и сказал:

— Я решил уехать. Вы поедете со мной. Я пойду наверх, и вы приходите, только не разбудите Софью Андреевну. Вещей много не будем брать.

Маковицкий поднялся наверх. Лев Николаевич

сидел одетый, на столе лежало письмо Софье Андреевне:

«Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится, стало невыносимым. Кроме всего дурного, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни.

Пожалуйста, пойми это и не езди за мной, если и узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твое и мое положение, но не изменит моего решения. Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобой, так же как и я от всей души прощаю тебя во всем том, чем ты могла быть виновата передо мной. Советую тебе помириться с тем новым положением, в которое ставит тебя мой отъезд, и не иметь против меня недоброго чувства. Если захочешь что сообщить мне, передай Саше, она будет знать, где я, и перешлет мне что нужно; сказать же о том, где я, она не может, потому что я взял с нее обещание не говорить этого никому.

Лев Толстой.

28 окт.

Собрать вещи и рукописи мои и переслать мне я поручил Саше».

На конверте: «Софье Андреевне».

УХОД ТОЛСТОГО

Между спальней Льва Николаевича и спальней Софьи Андреевны было три двери. Их Софья Андреевна ночью открывала, чтобы слышать Льва Николаевича. Толстой закрыл все три двери, тихо вышел, разбудил кучера, велел закладывать.

Ночь была темна: сыро, грязно.

Лев Николаевич помог кучеру запрячь коней. Поехали. В деревнях уже зажигали робкие огни, растапливали печи. В серое утреннее небо из труб поднимались спокойные голубые, вверху распадающиеся столбы дыма.

При выезде из деревни у одной из лошадей развязались поводья. Остановились. Из изб начали выходить мужики.

Выехали из деревни на большак. На шоссе заговорили. Лев Николаевич спросил:

— Куда бы нам подальше уехать?

Маковицкий предложил ехать в Бессарабию к московскому рабочему Гусарову, который там живет с семьей на земле. Лев Николаевич Гусарова хорошо знал, но ничего не ответил.

Ехали в Щекино. Ехали долго.

Приехали. Оказалось, что до отхода поезда на Тулу двадцать минут, а поезд на Горбачево пойдет через два часа. Лев Николаевич спросил у буфетчика и у дежурного, есть ли сообщение из Горбачева на Козельск.

Владимир Короленко говорил, что Лев Николаевич вышел в мир с детской доверчивостью. Ни он, ни Душан Маковицкий не считали возможным солгать: например, они могли взять билет дальше той станции, до которой собирались ехать. Поэтому они оставляли после себя очень ясный след для погони. Один момент Лев Николаевич хотел поехать на Тулу, потому что поезд на Тулу шел скоро, ему казалось, что он может так запутать погоню. Но из Тулы надо было бы ехать обратно. Лев Николаевич, очевидно, собирался ехать к Марье Николаевне Толстой в Шамордино, значит надо было бы проехать опять через Козлову Засеку, где его знали. Поэтому решили ждать на вокзале.

Просидели в Щекине полтора часа. Каждую минуту Толстой ждал появления Софьи Андреевны.

В 7 часов 55 минут утра Лев Николаевич сел в поезд вместе с Маковицким. Маковицкий не знал, куда они едут, и не спрашивал Толстого. По словам Маковицкого, Лев Николаевич сел в отдельное купе в середине вагона 2-го класса. Маковицкий вынул подушку, устроил Льва Николаевича. Лев Николаевич

молчалив, очень утомлен, говорил мало. Маковицкий ушел. Когда он через полтора часа вошел в купе, Толстой дремал. Доктор согрел кофе на спиртовке. Выпили вместе. Толстой сказал:

— Что теперь Софья Андреевна? Жалко ее.

Доехали до станции Горбачево.

Лев Николаевич решил, что от станции Горбачево он поедет 3-м классом. Перенесли вещи к поезду Сухиничи — Козельск. Оказалось, что это поезд товаро-пассажирский, смешанный, с одним вагоном 3-го класса, который был переполнен. Больше половины пассажиров курили. Некоторые, не найдя места с билетами 3-го класса, уходили в вагоны-теплушки.

Наступал ветреный осенний день. Лев Николаевич сел посредине вагона. Маковицкий, не сказав ничего, пошел хлопотать, не прицепят ли еще вагон. На станции уже знали, что едет Лев Толстой. На просьбу прицепить вагон, так как едущих очень много, дежурный начал нерешительно и неохотно отговариваться: вероятно, ему надо было согласовывать этот вопрос. Но через несколько минут по вагону прошел обер-кондуктор и сказал, что прицепят другой вагон. Вагон, в котором сидел Толстой, переполнен. Многие стояли в проходах и на площадке. Но раздался второй звонок, через минуту третий — вагон не прицепили. Маковицкий побежал к дежурному. Ответили, что лишнего вагона нет.

Поезд тронулся.

Маковицкий описывает вагон так:

«Наш вагон был самый плохой и тесный, в каком мне впервые пришлось ехать по России. Вход несимметрично расположен к продольному ходу. Входящий во время трогания поезда рисковал расшибить лицо об угол приподнятой спинки, который как раз был против середины двери; его надо обходить. Отделения в вагоне узкие, между скамейками мало простора, багаж тоже не умещается. Духота; воздух пропитан табаком».

Вероятно, Толстой попал в вагон, которые тогда назывались «4-й класс». В них скамейки были только с одной стороны. Внутри вагон окрашивали в мутно-

серую краску. Когда верхние полки приподнимались, то они смыкались.

Маковицкий хотел постлать Льву Николаевичу плед. Тот отказался.

В вагоне было душно. Толстой разделся. Он был в длинной черной рубашке до колен, высоких сапогах. Потом надел меховое пальто, зимнюю шапку и пошел на заднюю площадку: там стояли пять курильщиков. Пришлось идти на переднюю площадку. Там дуло, но было только трое — женщина с ребенком и мужик. Лев Николаевич приподнял воротник, сел на свою палку с раскладным сиденьем.

Дверцы площадки открыты, на улице легкий мороз, поезд шел не быстро, но дул ветер.

Минут через десять вышел на площадку Маковицкий, спросил Толстого, не войдет ли он в вагон.

Лев Николаевич ответил, что он к ветру привык.

Так просидел Толстой три четверти часа; потом вошел в вагон, лег на лавочку.

Но тут поезд остановился, нахлынула толпа новых пассажиров. Как раз напротив Льва Николаевича остановилась женщина с детьми. Лев Николаевич дал им место и больше не ложился; оставшиеся четыре часа то сидел, то выходил постоять на переднюю площадку.

В вагоне спорили об отрубах, о притеснениях.

Рассказывали о том, как недавно пороли крестьян за то, что они рубили лес у своей межи. Выпороли, а потом по суду оказалось, что они правы.

Лев Николаевич вернулся с площадки, привстал и вступил в разговор. Постепенно вокруг него собралась толпа — мещане, рабочие, интеллигенты, гимназистка.

Подъехали к станции Белево. Тут Льва Николаевича опять узнали: он выходил, пил чай.

Вернулся в вагон. Толстой разговаривал с крестьянами, гимназистка Таманская сперва записывала его слова, потом начала защищать значение науки.

В вагоне играли на гармошке, подпевали. Поезд шел медленно: сто пять верст — шесть часов двадцать пять минут. Эта медленная езда по российским

железным дорогам в холодный осенний день помогала убивать Льва Николаевича. Вдали показался синеющий сосновый бор; поезд шел долиной реки Жиздра.

В 4 часа доехали до Козельска. Толстой вышел первый. Маковицкий с носильщиком начали выносить вещи на вокзал.

Козельск город тихий и даже по тогдашнему времени небольшой, в нем было пять тысяч жителей. Стоит на железной дороге, протекает мимо него, коленами переламываясь, сплавная река Жиздра.

Лев Николаевич пришел и сказал, что он уже нанял ямщика в Оптину пустынь.

От Козельска до Оптиной пустыни пять километров.

Почему Лев Николаевич поехал в Оптину пустынь? Ему важно было где-нибудь переждать время, причем переждать, меняя местопребывание, чтобы Софья Андреевна не могла его разыскать. Паспорта с собой у Льва Николаевича не было, и, кроме того, паспорт с обозначением, что ты граф Лев Толстой, подать было невозможно, потому что немедленно вокруг собирались толпы. Ехать некуда, а в монастырской гостинице, он знал, можно было остановиться, паспорта не спрашивали.

От Оптиной пустыни до Шамордина восемнадцать километров, а в Шамордине жила сестра Толстого, с которой он был очень дружен, хотя она и была монахиней. Все Толстые его поколения уже умерли, это был последний близкий человек, потому что от яснополянской семьи Лев Николаевич уехал.

Подкатил ямщик на паре с пролеткой. За ним другой ямщик, с вещами. Дорога была грязная. Приехав в Козельск, ямщики стали совещаться, дорогой ли ехать или лугами, и так плохо, и так плохо. Уже было темно. Месяц светил через обрывы облаков.

Въехали в монастырскую ограду. За оградой опять колдобины и низкие ветки деревьев.

Дорога к монастырю сперва идет пригородными лугами. В лугах начинается аллея из старых ветел. Аллея разрослась, и нижние ветки задевают за

старый верх пролетки. Ветки отрубают, но к осени они опять вырастают, а Толстой ехал глубокой осенью.

За аллеей осенняя холодная река. К городскому берегу пристал старый мокрый паром. На пароме монах-паромщик, очень старый, спокойный, явно из крестьян.

Пролетка въехала на паром. Паром осел. Паромщик начал перебирать холодную мокрую решетку. Вокруг парома зажурчала осенняя холодная вода с шугою — маленькими, тонкими пластинками льда.

Монастырь хмуро охвачен бором.

За переправой дорога идет вверх: монастырь стоит на холме. По обеим сторонам дороги старый яблоневый сад, с которого сняли яблоки, но еще не сгребли с земли листву.

Беленые стены монастыря. С правой стороны над башнями тусклым золотом сверкают ангелы-флюгеры.

Въехали хозяйственным входом, через старые ворота. Внутри монастыря гостиницы, церкви.

Остановились у гостиницы. Гостиник отец Михаил, рыжий, почти красный, бородатый, приветливый, отвел просторную комнату с двумя кроватями и широкими диванами. Лев Николаевич сказал:

— Как хорошо!

И сейчас же сел писать.

Написал длинное письмо и телеграмму, которую подписал «Николаев», сам вынес телеграмму и письмо ямщику Федору, попросил его отправить и подрядил его одного завтра на Шамордино, свезти к сестре.

Потом сели пить чай с медом. Взял яблоко на утро. Спросил, куда на ночь поставить самопишущее перо, спросил, какое число, и записал в дневнике:

«С 27—28 произошел тот толчок, который заставил предпринять. И вот я в Оптиной вечером 28. Послал Саше и письмо и телеграмму».

После этого старик лег спать.

Что же в это время происходило в Ясной Поляне?

Утром Софья Андреевна проснулась, оделась, заглянула в комнату Льва Николаевича — и не нашла его.

Пошла наверх в «ремингтонную» (это комната, в которой стояли пишущие машинки, на которых перепечатывали рукописи Льва Николаевича и где он диктовал письма). Там Льва Николаевича тоже не было.

Софья Андреевна пошла в библиотеку. Тут ей сказали об уходе Льва Николаевича и подали письмо.

Софья Андреевна разорвала конверт и прочла строчку: «Отъезд мой огорчит тебя...», бросила письмо на стол и побежала шепча:

— Что же мне делать?..

— Да вы прочтите письмо! — закричали вдогонку Александра Львовна и Варвара Михайловна.

Но Софья Андреевна бежала. За ней побежал молодой секретарь Толстого В. Булгаков.

Серое платье Софьи Андреевны мелькало вдали между деревьями. Она быстро шла по липовой аллее, вниз, к пруду, прячась за деревьями. Булгаков побежал за ней. Потом она побежала.

За ними шли повар, Семен Николаевич, лакей.

Софья Андреевна свернула вниз, скрылась за кустами.

Мимо Булгакова стремительно пробежала, шумя юбками, Александра Львовна. Софья Андреевна была у самого пруда. В пруд вели мостки, на которых полоскали белье. Пруд был глубок, в нем несколько раз тонули люди. Софья Андреевна бежала по мосткам. Вдруг поскользнулась и упала на спину. Потом зацепилась руками за доски, перевернулась и перекатилась в воду. Александра Львовна, на ходу скинув теплую вязаную кофту, прыгнула тоже вниз.

Булгаков посмотрел — Софья Андреевна с открытым лицом захлебывалась в воде, беспомощно разводя руками.

Булгаков был человеком рослым, вода доходила ему до шеи. Александра Львовна помогала. Подоспел лакей. С трудом они подняли тяжелую, мокрую Софью Андреевну и вынесли ее на берег. Она говорила, бессильно опускаясь на землю:

— Дайте мне посидеть... Я только немножко посижу...

Сложили руки в виде сиденья, посадили Софью Андреевну, понесли

Внесли в дом. В дверях дома Софья Андреевна дала поручение Ване Шураеву съездить на станцию и узнать, куда были взяты Львом Николаевичем билеты. Потом пошла переодеваться с помощью Варвары Михайловны и экономки. Потом сбежала вниз.

Софья Андреевна, великая путаница во всей своей жизни, немедленно отправила телеграмму: «Вернись скорей. Саша», то есть подписалась именем дочери. Телеграмму Ваня показал Александре Львовне — не из лакейского подхалимства, а потому, что вообще в доме любили Льва Николаевича и не любили Софью Андреевну. Александра Львовна уже получила от отца телеграмму и отправила ему свою с просьбой верить только телеграммам, подписанным именем «Александра».

На станциях уже работал телеграф. Толстые шарили по всем дорогам. Ваня, вернувшись со станции Ясенок, сообщил, что на поезд № 9 выдали четыре билета: два второго класса до станции Благодатная и два третьего класса до станции Горбачево.

Александра Львовна телеграфно вызвала Андрея Львовича, Сергея Львовича и Татьяну Львовну.

Из Овсянникова случайно приехала старуха Шмидт и осталась.

Софья Андреевна говорила, что она отравится, била себя в грудь пресс-папье, говорила, что зарежется. У нее отбирали все вещи.

В течение дня приехал Андрей Львович, дал телеграмму тульскому губернатору и обещал Софье Андреевне завтра же утром узнать, где находится Лев Николаевич.

Дети Льва Николаевича совещались у него дома — что делать? Собрались все, кроме Льва Львовича.

Младший, Миша, сел за рояль играть и сказал, что он в общем со всеми согласен. Может быть, это была какая-то застенчивость, а не только равнодушие.

Волновались другие.

Самое длинное письмо отцу написал Андрей Львович. Письмо это должно было вернуть Льва Николаевича угрозой самоубийства его жены. Письмо начиналось так:

«Милый папа, только самое доброе чувство, о котором я тебе говорил в последнее наше свидание с тобой, принуждает меня сказать тебе мое мнение о положении матери. Здесь собрались Таня, Сережа, Илья, Миша и я, и сколько мы ни судили, никакого выхода, кроме одного — это оградить мать от самоубийства, на которое, я уверен, она в конце концов окончательно решится. Способ единственный — это охранять ее постоянным надзором наемных людей. Она же, конечно, этому всеми силами противится и, я уверен, никогда не подчинится. Наше же, братьев, положение в данном случае невозможно, ибо мы не можем бросить свои семьи и службы, чтобы находиться неотлучно при матери».

Поэтому предлагалось самому Льву Николаевичу вернуться домой, чтобы мать успокоилась.

Письмо кончалось так:

«Относительно же того, что ты говорил мне о роскоши и материальной жизни, которой ты окружен, то думаю, что если ты мирился с ней до сего времени, то последние годы своей жизни ты бы мог пожертвовать семье, примирившись с внешней обстановкой».

После этого опять говорится о положении матери, которую невозможно видеть без глубочайшего страдания.

Конечно, Андрею Львовичу было неприятно смотреть на то положение, в каком находилась Софья Андреевна. Но письмо все же необычайно по своей невнимательной сухости.

Письмо Ильи Львовича лучше, но в нем тоже предлагается Толстому потерпеть до смерти. Письмо давит на отца рассказом о страдании матери, говорится, что после отъезда отца мать «...вторые сутки ничего не ест и только вечером выпила глоток воды... Как всегда это бывает, многое — напускное, отчасти — сентиментальность, но вместе с тем так много искренности, что нет сомнения в том, что ее жизнь в большой опасности. Страшно и за насильственную смерть, и за медленное угасание от горя и тоски. Я так думаю, и мы должны это сказать тебе, чтобы быть правдивыми. Я знаю, насколько для тебя была тяжела жизнь здесь. Тяжела во всех отношениях. Но ведь ты на эту жизнь смотрел, как на свой крест, и так относились люди, знающие и любящие тебя. Мне жаль, что ты не вытерпел этого креста до конца. Ведь тебе 82 года и мама́ 67. Жизнь обоих вас прожита, но надо умирать хорошо».

Письмо Татьяны Львовны коротко; про мать она пишет, что Софья Андреевна «жалка и трогательна».

«Она не умеет жить иначе, чем она живет. И, вероятно, никогда не изменится в корне. Но для нее нужен страх или власть. Мы все постараемся ее подчинить, и думаю, что это будет к ее пользе. Прости меня. Прощай, друг мой. Твоя Таня».

Льва Николаевича растрогало письмо Сергея Львовича.

Сергей Львович был человеком обыкновенным, либеральным, думающим, что дарвинизм — это закон жизни, ценящим свое небольшое музыкальное дарование, свое университетское образование, но в трудный час в семье Толстых обыкновенный человек оказался лучшим человеком. Он написал отцу следующее:

«29 октября 1910 г. Милый папа́, я пишу потому, что тебе приятно было бы знать наше мнение (детей). Я думаю, что мама́ нервно больна и во многом невменяема, что вам надо было расстаться (может быть, уже давно), как это ни тяжело обоим. Думаю также, что если даже с мама́ что-нибудь случится, чего я не ожидаю, то ты себя ни в чем упрекать не должен. Положение было безвыходное, и я

думаю, что ты избрал настоящий выход. Прости, что так откровенно пишу. Сережа».

Лев Николаевич был очень тронут этим письмом и в ответ благодарил сына.

Может быть, получение этого письма было лучшим моментом в скорбных днях толстовского ухода.

ТОЛСТОЙ ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ ПУТЬ

В Оптиной пустыни Лев Николаевич через Сергеенко получил письма Черткова и Александры Львовны Толстой с известием из Ясной Поляны. Он и в гостинице работал, диктовал Сергеенко поправки к письму К. Чуковскому о смертной казни.

В 6 часов вечера он уехал с Маковицким и Сергеенко в Шамордино к сестре.

О пребывании в Шамордине остались воспоминания дочери Марьи Николаевны, Елизаветы Валерьяновны Оболенской, гостившей у матери в то время, когда туда приехал Лев Николаевич с Маковицким.

«29 октября днем монахиня, приехавшая из Оптиной пустыни, сказала нам, что видела там Льва Николаевича и что он нынче будет у нас. Известие это нас очень взволновало. То, что он вздумал приехать осенью, в дурную погоду, по дурной дороге, казалось очень странным».

Шел ледяной дождь: наступала тяжелая, безнадежно-суровая осень. В шестом часу в переднюю дома Марьи Николаевны вошел Лев Николаевич. Голова его была повязана коричневым башлыком, борода торчала вперед, казался он очень слабым.

Марья Николаевна сказала:

— Левочка, я очень рада тебя видеть, но боюсь, что это значит, что у вас дома нехорошо.

Толстой ответил:

— Дома ужасно.

Он рассказал о том, что Софья Андреевна бросалась в воду, потом — как он жил последнее время в Ясной Поляне. Сестра и племянница плакали, его слушая.

— Я болен, — сказал Лев Николаевич.

Рассказал о своем последнем припадке и продолжал:

— Еще один припадок, и, наверное, будет смерть; смерть приятная, потому что полное бессознательное состояние, но я хотел бы умереть в памяти.

Дальше рассказывал Лев Николаевич, как много раз приходила Софья Андреевна к нему в кабинет ночью шарить, искать завещание, а когда он просыпался, она спрашивала о здоровье Левочки.

Лев Николаевич заплакал.

— Притворялась она, должен был притворяться и я, что верю ей, и это было ужасно.

— Она больна, — сказала Марья Николаевна.

Лев Николаевич подумал и ответил:

— Да, да, разумеется; но что же мне было делать, надо было употребить насилие, а я этого не могу, вот и ушел; и хочу теперь этим воспользоваться, чтобы изменить совершенно свою жизнь.

Мало-помалу старик успокоился и сказал, что в гостинице остались Сергеенко и Маковицкий.

Пообедал с аппетитом. Расспрашивал сестру о монастыре, рассказывал об отказавшихся от воинской повинности. Говорил, что думает пожить в Шамордине. Спросил, сколько будет стоить домик. У Льва Николаевича денег осталось совсем мало: они уже несколько раз платили ямщикам.

Ушел Лев Николаевич в гостиницу рано, сказав:

— Я сделаю свою обычную прогулку, потом позаймусь и приду к вам.

Утром он не пришел.

Елизавета Валерьяновна пошла к нему.

Толстой лежал на диване и читал, сказал, что у него ничего не болит, но что он слаб и заниматься не может; но ходил по деревне, смотрел, нельзя ли нанять избу: пока подходящего ничего не нашел.

Потом Елизавета Валерьяновна пересказала, что она прочла об уходе Толстого в газетах; было напечатано, что Софья Андреевна просила Андрюшу во что бы то ни стало его найти и привезти; Андрей Львович, значит, может приехать.

Лев Николаевич очень взволновался и сказал:

— Возвращение — это смерть. Еще одна сцена — и конец.

Он попросил, чтобы ему прислали кресло, значит еще не собирался уезжать

В 2 часа Елизавета Валерьяновна вернулась к Толстому. Поговорили о «Круге чтения», о газетах. Жара у Льва Николаевича не было. Он обедал. Говорил, что осмотрит монастырь, приют, типографию.

Приехали к Марье Николаевне Александра Львовна и Варвара Михайловна с новыми дурными вестями; как раз в это время пришел Лев Николаевич; взволновался, растерялся

Ему опять рассказали, что делается в Ясной Поляне.

Стали строить планы, куда ехать На юг, на Кавказ, в Бессарабию?

Лев Николаевич выслушал молча и сказал:

— Мне все это не нравится.

Сели пить чай. Александра Львовна утешала:

— Не унывайте, папенька, все хорошо.

— Нет, — ответил Толстой, — нехорошо. — И опять повторил: — Нехорошо.

Потом ушел с Душаном.

Когда пришли к нему в гостиницу, Лев Николаевич сидел в комнате и писал письмо Софье Андреевне.

Вот это письмо:

«Свидание наше и тем более возвращение мое *теперь* совершенно невозможно. Для тебя это было бы, как все говорят, в высшей степени вредно, для меня же это было бы ужасно, так как теперь мое положение, вследствие твоей возбужденности, раздражения, болезненного состояния, стало бы, если это только возможно, еще хуже. Советую тебе примириться с тем, что случилось, устроиться в своем новом, на время, положении, а главное — лечиться.

Если ты не то что любишь меня, а только не ненавидишь, то ты должна хоть немного войти в мое положение. И если ты сделаешь это, ты не только не будешь осуждать меня, но постараешься помочь мне найти тот покой, возможность какой-нибудь человеческой жизни, помочь мне усилием над собой и сама не будешь желать теперь моего возвращения. Твое же настроение теперь, твое желание и попытки самоубийства, более всего другого показывая твою потерю власти над собой, делают для меня теперь немыслимым возвращение. Избавить от испытываемых страданий всех близких тебе людей, меня и, главное, самое себя никто не может, кроме тебя самой. Постарайся направить всю свою энергию не на то, чтобы было все то, чего ты желаешь, — теперь мое возвращение, а на то, чтобы умиротворить себя, свою душу, и ты получишь, чего желаешь.

Я провел два дня в Шамордине и Оптиной и уезжаю. Письмо пошлю с пути. Не говорю, куда еду, потому что считаю и для тебя и для себя необходимым разлуку. Не думай, что я уехал потому, что не люблю тебя Я люблю тебя и жалею от всей души, но не могу поступить иначе, чем поступаю. Письмо твое — я знаю, что писано искренно, но ты не властна исполнить то, что желала бы. И дело не в исполнении каких-нибудь моих желаний и требований, а только в твоей уравновешенности, спокойном, разумном отношении к жизни. А пока этого нет, для меня жизнь с тобой немыслима. Возвратиться к тебе, когда ты в таком состоянии, значило бы для меня отказаться от жизни А я не считаю себя вправе сделать это. Прощай, милая Соня, помогай тебе бог. Жизнь не шутка, и бросать ее по своей воле мы не имеем права, и мерить ее по длине времени тоже неразумно. Может быть, те месяцы; какие нам осталось жить, важнее всех прожитых годов, и надо прожить их хорошо.

Л. Т.».

Оболенская и Александра Львовна пошли к Душану. Душан сидел над картой.

Немного погодя пришел Лев Николаевич и, увидев Душана над картой, сказал:

— Только не поеду ни в какую колонию, ни к каким знакомым, а просто в избу к мужикам.

Потом поговорили о поездах, когда ехать. Лев Николаевич начал зевать и сказал:

— Я очень устал. Хочу спать. Утро вечера мудренее. Завтра видно будет.

Елизавета Валерьяновна пошла домой.

В пять часов утра она услышала звонок. Побежала к дверям с мыслью, что Лев Николаевич заболел Вышла в прихожую, видит — стоит Душан с фонарем и говорит:

— Мы сейчас уезжаем.

— Что? Почему? Куда?

— Лев Николаевич в три часа проснулся, стал будить и торопить, чтобы поспеть на восьмичасовой поезд, который идет на юг. Я пришел спросить, где нанять ямщика

Елизавета Валерьяновна послала на конный двор разбудить работника, чтобы велели монастырскому кучеру заложить пролетку Ей жаль было будить мамашу — Марья Николаевна наволновалась, устала и поздно заснула. Е. Оболенская рассчитывала, что пройдет около часа, пока приедет ямщик

Когда Марья Николаевна и Елизавета Валерьяновна пришли в гостиницу к Толстому, его уже там не было Он уехал с ямщиком, которого оставила за собой Саша.

Он оставил ласковую, нежную записку сестре и племяннице: «Милые друзья, Машенька и Лизанька. Не удивляйтесь и не осудите меня за то, что мы уезжаем, не простившись хорошенько с вами. Не могу выразить вам обеим, особенно тебе, голубушка Машенька, моей благодарности за твою любовь и участие в моем испытании Я не помню, чтобы, всегда любя тебя, испытывал к тебе такую нежность, какую я чувствовал эти дни и с которой я уезжаю».

ЕЩЕ ДОРОГА

Что было перед отъездом из Шамордина?

Предполагалось ехать до Новочеркасска, остановиться у Денисенко, дочери Марьи Николаевны от второго брака, и попытаться взять с помощью ее мужа Ивана Васильевича Денисенко заграничный пас-

порт. Если это удастся, поехать в Болгарию, а если не удастся — уехать на Кавказ.

Лев Николаевич сидел над картой, разбирался при открытой форточке. Он увлекся, строил планы. Потом встал и сказал:

Последняя запись Л. Н Толстого в дневнике.

— Ну, довольно. Не нужно никаких планов. Завтра увидим. Завтра все увидим. Я голоден. Что бы мне съесть?

Александра Львовна и Варвара Феокритова

с обычной своей заботливостью и хлопотливостью привезли с собой грибы, яйца, овсянку-геркулес, спиртовку и живо сварили овсянку. Лев Николаевич поел, похвалил стряпню, вздохнул, сказал: «Тяжело», — и пошел спать.

Ранним утром, вернее ночью, он разбудил всех:

— Едем! Едем скорей!

Он боялся приезда Софьи Андреевны или Андрея Львовича.

Было темно. Зажгли свечи. Лев Николаевич все торопился. Вот его запись в Астаповском дневнике 31 октября:

«Саша забеспокоилась, что нас догонят, и мы поехали. В Козельске Саша догнала, сели, поехали».

На станциях стучали телеграфные аппараты, передавали слова простых телеграмм и цифры шифрованных. По дорогам ехали сыщики, жандармы и корреспонденты всех газет.

Измученную Софью Андреевну в Ясной Поляне расспрашивали корреспонденты «Русского слова». Постаревшая, осунувшаяся женщина говорила охотно, потому что в «Русском слове» был напечатан фельетон Власа Дорошевича, очень уважительный по отношению к Софье Андреевне. Старая женщина оправдывалась перед миром.

Толстой ехал. В поезд сели без билетов в 7 часов 40 минут утра, а в 2 часа 34 минуты получили билеты на станции Волово до станции Ростов-на-Дону.

Толстой сам с огорчением узнал из газет, как его ищут.

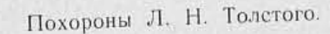
Между 4 и 5 часами дня Толстой почувствовал озноб. Температура поднялась до 38,1.

В 5 часов 30 минут жандармское управление получило донесение унтер-офицера станции Данков, Дыкина, что Толстой едет в поезде № 12.

В 6 часов 35 минут вечера поезд № 12 остановился у какого-то вокзала. Через окно прочитали надпись: Астапово. Душан Маковицкий куда-то убежал, поезд задержали; через некоторое время он вернулся с начальником станции. Толстого подняли, одели, и он, поддерживаемый Душаном Маковицким и на-



На смертном одре. Астапово, 1910 г.

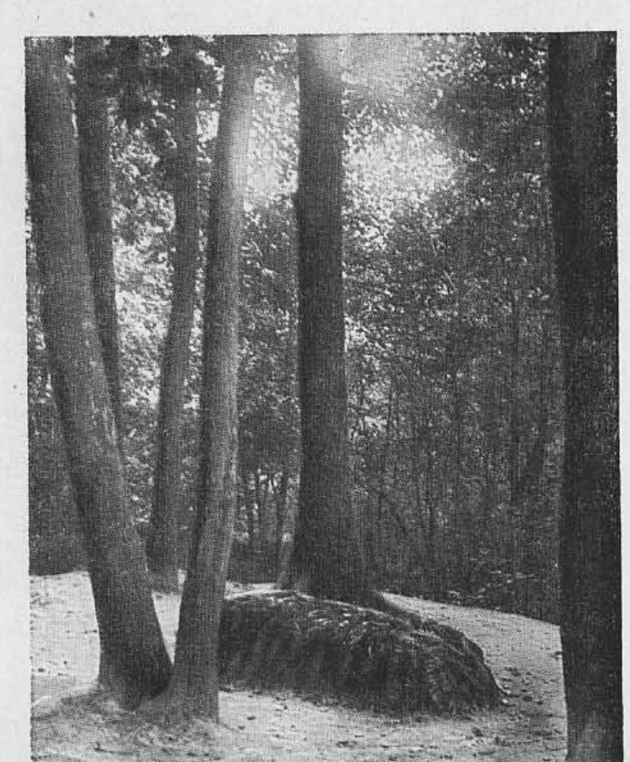


Похороны Л. Н. Толстого.





У могилы Л. Н. Толстого. Ясная Поляна, 1910 г.



Могила
Л. Н. Толстого
Ясная Поляна

чальником станции, вышел из вагона. Варвара Михайловна Феокритова осталась, чтобы собрать вещи.

Вынесли вещи. Поезд ушел. Александра Львовна пошла в вокзал и нашла отца сидящим в дамской комнате. Он сидел на диване в уголке и дрожал весь с головы до ног. Около двери стояла толпа любопытных: в комнату то и дело врывались дамы, извиняясь, оправляли перед зеркалом прически и шляпы, смотрели на отражение Толстого и уходили.

Душан Маковицкий, Варвара Михайловна и начальник станции ушли приготовлять комнату для Толстого.

Вскоре вернулись; подняли Толстого, повели под руки через зал. В зале было много народу. Все сняли шапки, кланяясь; Лев Николаевич, дотрагиваясь до шапки, отвечал на поклоны.

У начальника станции в комнате, которая служила ему гостиной, уже была поставлена пружинная кровать, у стены разложены чемоданы. Варвара Михайловна стлала постель. Лев Николаевич сидел в шубе на стуле и зяб.

Александра Львовна видела, что вот-вот у Толстого начнется обморочное состояние.

Лев Николаевич сказал:

— Поставьте ночной столик у постели, стул; на столик свечу, спички, фонарик.

Толстой лег. Лицо его подергивалось, подергивались левая рука и нога.

Пришел станционный доктор: дал Льву Николаевичу вина. Часам к девяти больному стало лучше; Лев Николаевич тихо лежал, дыхание становилось ровнее, спокойнее.

Поставили термометр: жар быстро спадал.

Среди ночи Толстой позвал Александру Львовну и спросил:

— Мы сможем завтра ехать?

Дочь ответила, что надо будет ждать еще день.

Лев Николаевич тяжело вздохнул, ничего не ответил. Потом начал засыпать и бредил. Потом он заснул.

Утром померили температуру — оказалось 36,2.

Лев Николаевич очень боялся, что о болезни сообщат в газетах. Он послал телеграмму Черткову: «Ясенки Черткову Срочная Вчера захворал пассажиры видели ослабевши шел с поезда Боюсь огласки Нынче лучше Едем дальше Примите меры Известите Николаев». Подпись «Николаев» была условной. Это была довольно детская конспирация, задуманная Чертковым.

Александра Львовна тоже послала телеграмму Черткову: «Ехать немыслимо Выражал желание видеть с вами Фролова» (это был ее псевдоним).

1 ноября Лев Николаевич написал из Астапова письмо в Ясную Поляну. Вот начало этого письма:

«Милые мои дети Сережа и Таня,

Надеюсь и уверен, что вы не попрекнете меня за то, что я не призвал вас. Призвание вас одних без мамá было бы великим огорчением для нее, а также для других братьев. Вы оба поймете, что Чертков, которого я призвал, находится в исключительном по отношению ко мне положении. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому и я служил в последние 40 лет моей жизни. Дело это не столько мне дорого, сколько я признаю — ошибаюсь или нет — его важность для всех людей, и для вас в том числе...»

Потом начался озноб. Лев Николаевич стонал, метался. В 4 часа утра было уже 39,8.

На другой день прибыл В. Г. Чертков.

В 8 часов приехал Сергей Львович. Он сказал отцу, что случайно узнал в Горбачеве от кондуктора, что Лев Николаевич в Астапове. Сергей Львович сказал отцу, что он приехал из Москвы, что мать в Ясной Поляне, что с ней доктор, сестра милосердия и младшие братья. Он поцеловал отцу руку.

Когда Сергей Львович ушел, Толстой сказал дочери:

— Как он нас нашел! Я ему очень рад, он мне очень приятен. Он мне руку поцеловал!..

И Толстой заплакал.

Трудна была жизнь в мире и дома в разговоре с женой, которая беспокойно любила и так спокойно

не понимала. Трудна была жизнь в семье, и то, что сын поцеловал руку Толстого, и то, что он не учил ничему отца в последние часы его жизни, было радостно для человека, который знал, что сам он во многом руководит мыслями мира.

Жизнь кончалась...

Кончались мучения и колебания. Льву Николаевичу казалось, что какая-то женщина смотрит на него из-за наглухо забитой двери.

Софья Андреевна писала 2 ноября 1910 года в $5^1/_2$ часов утра в Ясной Поляне:

«Прежде чем нам расстаться, может быть навсегда, я хочу не оправдаться, а только *объяснить* тебе мое то поведение, в котором ты обвинил меня в письме к Саше». Письмо заканчивается словами:

«Но ты все равно уехал бы, я это предчувствовала и страшно боялась».

В Астапово собирались доктора. Начальник станции Озолин с семьей перешел в одну комнату. Весь мир говорил об уходе Толстого, о его болезни. Корреспонденты пили и шумели в станционном буфете. Посылали телеграммы. Боялись опоздать с известием о смерти. Придумывали красивые слова, как известить о смерти одного из величайших людей мира. Писали губернаторы, писали жандармы, писали о том, может ли Толстой умирать в помещении станции, которое для этого не предназначено, и нельзя ли его водворить на место его постоянного жительства или в больницу; водворили бы, но руки были коротки, потому что на Астапово смотрел весь мир и поезда проходили мимо этой станции тихо, замедляя ход, умеряя голоса свистков.

Приехала Татьяна Львовна.

Сыновья пили с корреспондентами и беспокоились.

3 ноября Лев Николаевич в дневнике записал последние слова:

«Вот и план мой. Fais ce que doit, adv... *. И все на благо и другим и, главное, мне».

---

* Делай, что должно, и пусть будет, что будет.

Уже определили врачи, что у Льва Николаевича воспаление легких.

Софья Андреевна специальным поездом приехала в Астапово, но ее не пускали к мужу; она жила в вагоне.

«Утро России» сообщило 3 ноября:

«Телеграф работает без передышки. Запросы идут министерства путей, управления дороги, калужского, рязанского, тамбовского, тульского губернаторов. Семья Толстого забрасывается телеграммами всех концов России, мира».

Здоровье Толстого все ухудшалось. Он не спал, но впадал в забытье, бредил. Сознание было ясное.

В ночь на 4 ноября Лев Николаевич привстал на кровати и громким голосом сказал:

— Маша! Маша!

Это была его любимая дочь, умершая в 1906 году.

4 ноября жандармский унтер-офицер Филиппов сообщил телеграммой по начальству. «5 утром прибыть в Астапово с оружием и патронами».

Тамбовский губернатор Н. П. Муратов телеграфировал рязанскому губернатору: «Если нужна помощь поддержки порядка, то городовых, стражников могут выслать из Лебедяни, Козлова».

В Астапово секретно приехал исполняющий должность вице-директора департамента полиции Н. П. Харламов.

Ждали беспорядков. И вообще начальству надо же что-нибудь делать. Смерти начальство предотвратить не может, а полицию выслать всегда полезно.

Сергей Львович вспоминает вечер 6-го числа.

«Отец метался, громко и глубоко стонал, старался привстать на постели.. Не помню, когда именно он сказал: «Я пойду куда-нибудь, чтобы никто не мешал. Оставьте меня в покое». Тяжелое, даже, скажу, ужасное впечатление на меня произвели его слова, которые он сказал громко, убежденным голосом, приподнявшись на кровати: «Удирать, надо удирать».

Софью Андреевну допустили к мужу очень поздно. Лев Николаевич задыхался. Ему давали кислород Хотели впрыснуть морфий, он сказал:

— Не надо.

Ему впрыснули камфару.

Он призвал Сергея, шептал ему что-то. Сын разобрал следующие слова:

— Истина... люблю много... все они...

Изменилось дыхание: стало похоже на звук пилы.

Засыпая, Лев Николаевич говорил:

— Я пойду куда-нибудь, чтобы никто не мешал. Оставьте меня в покое.

Ему давали пить. Он даже брал стакан в руки и пил.

Пульса уже не было. Произошла остановка дыхания. Доктор Усов сказал:

— Первая остановка.

Потом:

— Вторая остановка...

Агонии не было.

Лев Николаевич умер 7 ноября (20 ноября по н. ст.) в 6 часов 5 минут утра.

ОБРАТНО В ЯСНУЮ ПОЛЯНУ

Душан Петрович Маковицкий закрыл Толстому глаза. В Астапово тогда явился тульский архиерей Парфений; доложил жандармскому ротмистру Савицкому, что прибыл-де он по личному желанию государя императора и командировке Святейшего синода, чтоб узнать, не было ли во время пребывания Толстого в Астапове какого-нибудь обстоятельства, указывающего на желание покойного графа Толстого раскаяться в своих заблуждениях, или не было ли по крайней мере каких-нибудь намеков на то, что граф Толстой был не против погребения его по православному обряду.

Того же 7 ноября пошло донесение к товарищу министра внутренних дел, что миссия преосвященного Парфения успеха не имела· никто из членов семьи не нашел возможным удостоверить, что умерший выражал желание примириться с церковью.

Парфений расспрашивал и Андрея Львовича.

Тот сказал, что он сам человек православный и был бы счастлив, если бы отец раскаялся, но никаких оснований сказать, что Лев Николаевич перед смертью свои убеждения изменил, — нет.

Напечатано было, однако, в черносотенной газете «Колокол» письмо «отца Эраста» из Шамордина, будто бы Лев Николаевич собирался затвориться в монастырской келье и готовиться к смерти.

По этому случаю в Шамордино приехал корреспондент «Нового времени» А. Ксюнин. Он беседовал с сестрой Толстого и другими монахинями. Оказалось, что «отец Эраст» сам не старец и не монах и в скиту не живет Слов Толстого не слышал, а письмо, которое напечатано в «Колоколе», он писал по слухам.

О том, чего искал Толстой, уйдя из Ясной Поляны, спрашивал Марью Николаевну тогда же из Парижа Шарль Соломон. Она ответила ему 16 января 1911 года:

«Вы хотели бы знать, что мой брат искал в Оптиной пустыни? Старца-духовника или мудрого человека, живущего в уединении с богом и со своей совестью, который понял бы его и мог бы несколько облегчить его большое горе? Я думаю, что он не искал ни того, ни другого. *Горе его было слишком сложно; он просто хотел успокоиться и пожить в тихой духовной обстановке...* Я не думаю, что он хотел бы вернуться к православию...»

Марья Николаевна очень опечалена была тем, что любимый брат не раскаялся. Спрашивала у старших разрешения молиться за него, но сообщить о том, что брат изменил свой путь, не могла.

Долгий путь Льва Николаевича Толстого был кончен.

Телеграммы, одна красноречивее другой, перегоняя друг друга, бежали по проводам, сообщая, что умер Толстой. Газеты всего мира печатали печальную весть.

Короленко утром вышел на грязную улицу Полтавы, прошел до угла, газетчик передал ему газету, сказав одно слово:

— Умер.

Двое прохожих резко остановились. Все знали, кто умер.

Короленко писал: «Легендарные титаны громоздили горы на горы. Толстой наяву двигал такими горами человеческих чувств, какие не под силу царям и завоевателям».

Начальство торопилось похоронить Толстого.

Толстой лежал в гробу. У гроба дежурили железнодорожники. Один из них нарисовал на стене профиль покойного по тени от лампы. Потом прибыли скульпторы из Москвы, сняли маску с покойного.

Приехал художник Леонид Пастернак.

Утром открыли двери дома Озолина Народ потек рекой

Потом дубовый гроб перенесли в товарный вагон, украшенный еловыми ветками.

8 ноября в 1 час 15 минут вагон с телом Толстого и второй вагон с двадцатью пятью газетными корреспондентами прицепили к экстренному поезду.

В Москве запрещено было вывешивать траур, приказано было следить за цветочными магазинами, проверять, какие ленты они готовят для венков. Установлено наблюдение за вокзалами. Из Москвы запрещено отправлять экстренные поезда. Тысячи желающих остались на вокзалах. И все же в Ясную Поляну попало не меньше пяти тысяч человек — студенты, крестьяне, интеллигенты.

Из Парижа в Ясную Поляну прямо на похороны вернулся Лев Львович.

Корреспондент «Биржевых ведомостей» в № 12017 от 11 ноября 1910 года сообщает: «Темно, до рассвета еще далеко. Отовсюду черные точки. Одинокие и группами. Кто тихо, а кто с говорком ползут к засеке. Видимо-невидимо разбросано по полю этих точек!

Миновали пригорок, вызвездились на нас огоньки станции... Горят костры, много костров... У костров мужики в нагольных тулупах, студенты, курсистки. У женщин через плечо чемоданчики и сумочки с провизией...

На вокзале столпотворение вавилонское. К телеграфу приступа нет... Молодежи — яблоку упасть не-

где. Повсюду синие студенческие фуражки... Учащейся молодежи из Москвы приехало ровно 5 тысяч. Из них — 906 универсантов.

Дорога в Ясную Поляну — живописная. Пригорки, перелески, мостики. Общий фон светло-серый, и резко, и черно выделялась на нем толпа. В этих похоронах не было внешнего блеска. Представьте себе мужицкие похороны, увеличенные до исполинских размеров... Уж меркнет день, а вереница ждущих очереди растет, растет и конца-края нет. Народ все прибывает и прибывает добавочными поездами».

В яснополянском доме хотели поставить наряд полиции, но Сергей Львович попросил этого не делать; в доме остался только один полицейский чиновник. Речей было решено не произносить. В одну дверь входили, проходили мимо гроба, выходили в противоположную дверь в сад.

В 2 часа 30 минут сыновья и друзья подняли гроб, передали крестьянам. Крестьяне несли на березовых палках белую полосу, на которой было написано: «Лев Николаевич, память о тебе не умрет среди осиротевших крестьян Ясной Поляны».

Могила Льва Николаевича — на том месте, где он приказал себя похоронить, в Заказе — в лесу, который он когда-то велел не рубить, близ оврага, где, по услышанной в детстве легенде, зарыта зеленая палочка. Ученик яснополянской школы Фоканыч вырыл могилу, глубокую, с крутыми стенами.

Толпа стояла вокруг. Когда опустили гроб, толпа встала на колени.

Раздались возгласы: «Полиция, на колени!»

Полиция сперва стояла среди людей, но им было трудно стоять одним выделенными, как будто лишенными скорби. Страх, чувство вины, чувство оторванности заставили и их согнуть колени.

Был снежный день. Был грустный день всего мира.

Я посмотрел вырезки из газет того времени, — они остались у меня от покойного Б. М. Эйхенбаума из его библиотеки. Все это напоминает сдержанный шум и мелкий шепот. В газетах относились к смерти как к интересной новости. «Санкт-Петербургская газета» печатала интервью с книгоиздателями, стоит ли Собрание сочинений Льва Николаевича миллион рублей.

Издатель Корбасников говорил, что миллион — деньги большие и тратить их он бы не стал. Были издатели, которые говорили, что такие деньги потратить стоит, хотя бы даже для рекламы.

Но и в газетах прорывались живые слова горя.

На фабриках, в университетах решено было бастовать. Кадетская партия обратилась с воззванием воздерживаться от всяких выступлений.

11 ноября было выпущено запрещение московского градоначальника публике скопляться и мешать действиям полиции.

Так поступали и в Петербурге, и в Варшаве, и в маленьких городах.

Я был тогда семнадцатилетним юношей. Пришел на Невский. Мы знали, что рабочие идут с окраин на Невский со знаменами, что их не пропускает полиция. Снега в Петербурге, насколько я помню, тогда не было. Невский был полон от края до края. Таким он не был с 1905—1906 годов. Невский гудел. Полиции всякой было много — пешая, конная, жандармерия, были казаки. Полиция тонула в огромной толпе.

Был день солнечный. Демонстрация пришла со знаменами против смертной казни. Много было рабочих — в прямых, ненарядных пальто. Светило солнце, и непразднично одетая слитная толпа наполнила Невский от Знамения до Адмиралтейства. Над народом, как пробковые, торчали конные жандармы с прямыми, белыми, жесткими волосяными метелками. Они метались в толпе, стараясь отогнать ее в сторону. Их было много... но их было и мало: они были не страшны, они могли топтать только тех, кто был рядом. Они метались в толпе. Когда толпа отбегала, между черными пальто появлялась полоса желтых торцов, как глиняная мель. Толпа сливалась — и мели торцов исчезали. Полицейские лошади гнали толпу на тротуары, скользили копытами на серых каменных плитах. Плескался черный Невский, занятый толпой, кричавшей: «Долой смертную казнь! Долой самодер-

жавие!» Забравшись на чугунный пьедестал памятника Екатерине II, жандармы, спасаясь от толпы, поджав ноги, толпились вокруг шлейфа императрицы.

Светило желтое осеннее солнце. Как репьи, не срезанные плугом, возникали в толпе, держась за черные чугунные фонарные столбы, ораторы в прямых пальто. Они пытались поднять скомканные в руках красные флаги. Человек, который всю жизнь говорил о непротивлении, смертью вызвал волну сопротивления. Через несколько лет я узнал, что Ленин напечатал об этой демонстрации статью в «Социал-демократе» под названием «Не начало ли поворота?».

ОГЛЯНЕМСЯ НАЗАД

Величие писателя не всегда воспринимается сразу.

К величию надо привыкнуть, надо ввести его в свою жизнь, раздвинуть для него место.

Толстой рассказывал в «Казаках» про то, как Оленин увидел впервые Кавказские горы; повторим для себя тот урок величия, который когда-то получил Оленин: «Оленину виднелось что-то серое, белое, курчавое, и, как он ни старался, он не мог найти ничего хорошего в виде гор, про которые он столько читал и слышал. Он подумал, что горы и облака имеют совершенно одинаковый вид и что особенная красота снеговых гор, о которых ему толковали, есть такая же выдумка, как музыка Баха и *любовь* к женщине, в которые он не верил, — и он перестал дожидаться гор. Но на другой день, рано утром, он проснулся от свежести в своей перекладной и равнодушно взглянул направо. Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидел, шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между им и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это

призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были все те же».

Горы рождаются просто. Лопаются и сдвигаются, подымая вверх пласты изверженных пород; подымаются в холодное небо, выпивают облака, покрываются снегом, освещаются солнцем, оттеняются синими тенями, рождают реки.

Они освещают сознание человека, хотя они та же земля, та земля, по которой он ходит.

Великий человек — это простой человек, но выразивший в себе противоречия своего времени и по-своему их решивший, человек, не примиряющий, а как бы обостряющий разломы противоречий.

Гоголь в эпоху создания «Мертвых душ» в 1844 году писал П. Анненкову: «*Передовые* люди не те, которые видят одно что-нибудь такое, чего другие не видят, и удивляются тому, что другие не видят; *передовыми людьми* можно назвать только тех, которые именно видят все то, что видят другие (все другие, а не некоторые), и опершись на сумму всего, видят все то, чего не видят другие, и уже не удивляются тому, что другие не видят того же».

Человечество видит в великом человеке самого себя поднятым, выясненным. Человечество создает великого человека своим страданием.

В стране кончалось старое, обострялись противоречия; протест подготовлялся давно и все не мог осуществиться.

Но медленно подымались горы. Толстой писал в 1910 году:

«Революция сделала в нашем русском народе то, что он вдруг увидал несправедливость своего положения. Это — сказка о царе в новом платье. Ребенком, который сказал то, что есть, что царь голый, была революция. Появилось в народе сознание претерпеваемой им неправды, и народ разнообразно относится к этой неправде (большая часть, к сожалению, с злобой); но весь народ уже понимает ее. И вытравить это сознание уже нельзя».

Гол не только царь — обнажилась несправедливость земельной собственности, солдатчины, чиновни-

чества, брака, ложной науки, служащей для богатых. Это новое понимание встало над человечеством и оказалось новым путем искусства.

«Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества», — так сказал Ленин в статье «Л. Н. Толстой».

Изменилось понимание человеческой психологии. Раньше писатель объяснял действия человека его мыслями и влиянием среды; Толстой обнажил корни мыслей, вскрыл обусловленность, противоречивость мыслей, то, что Чернышевский назвал диалектикой души.

Толстой не думает, что мир непознаваем, но он подымает обычное, разламывает его, освежает разломы и дает истинное познание, основанное на новом опыте; в этом познании Толстой показывал прошлое и настоящее, снимая с них маски привычного. Мир вставал в новой, прекрасной, очищенной своей сущности.

Горы высоки, пути в горы утомительны. К горам надо привыкать. В старых религиях думали, что горы — это подножье бога. На вершинах гор ставили храмы.

Старый Толстой иногда боялся тех противоречий, которые обнажал; тогда он мыслями обращался к богу, заслоняясь богом.

Но сам Толстой превышал веру в своего бога и часто ее отвергал.

2 сентября 1909 года Толстой записывает в дневнике: «Ночью и поутру нашло, кажется, никогда не бывшее прежде состояние холодности, сомнения во всем, главное, в боге, в верности понимания смысла жизни. Я не верил себе, но не мог вызвать того сознания, которым жил и живу».

18 декабря Толстой записывает: «Все больше и больше становится непонятным безумие жизни и явно бессилие высказать свое понимание его».

24 декабря того же года он пишет: «Видел во сне отрицание бога и еще возражение на свое представление об общем лучшем устройстве жизни вследствие отказа от борьбы».

Горький записывает: «В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм: «Бог есть мое желание».

Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его, что это?

— Незаконченная мысль... Должно быть, я хотел сказать: бог есть мое желание познать его... Нет, не то... — Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге».

Отказ от прошлого, стремление к ясности, к полной ясности, полное расставание с прошлым и поиск нового пути, который был бы понятен всему народу, создали величие Толстого и подняли его над горизонтом, как снеговую гряду.

Он сделал душу человека познаваемой и в старом нашел такое новое, которое было не только правдиво, но и было новой красотой.

Он бросил дом своих отцов, друзей, семью, он отказался от их верований и нашел новое понимание мира, хотя и не мог переделать его, потому что это требовало новой борьбы.

Он оказался на границе новой земли, которую увидел и в которую не смог войти.

Уход Толстого из Ясной Поляны не был бегством старого человека в чужой, холодный, сырой мир.

Это было решение художника отрезать себя от старого, преодолев жалость к близким.

ПОСЛЕ СМЕРТИ ТОЛСТОГО

Наступила зима, упал снег на Россию, покрыл снег могилу Толстого. В Париже речь о Толстом говорил Жорес.

Из-за экватора к мертвому Толстому, как к живому, шло запоздавшее письмо Ганди.

Яснополянский дом опустел; в кабинете с белым

бюстом Николая Николаевича у стены лежали серебряные венки.

Софья Андреевна в черном платке, в черном платье, сгорбленная, постаревшая, ходила, рассматривая сквозь лорнет опустевшие комнаты. Приезжали близкие. Софья Андреевна плакала и спрашивала: «Что же это было, как это случилось?»

Она ходила на могилу, фотографировала насыпь, срисовывала ее. Жена Толстого стала теперь очень старой женщиной, заботящейся о своих внуках. Она писала бесконечные мемуары, оправдываясь, обвиняя и не освобождаясь от своего близорукого благоразумия. Писала она и прошения на имя императора: «Кончина моего мужа, графа Льва Николаевича Толстого, и его завещание обездолили многочисленную его семью, состоящую из семи детей и двадцати пяти внуков, настолько, что некоторые из детей моих не в состоянии не только воспитывать, но просто прокормить своих детей». Поэтому она просила о приобретении Ясной Поляны, «колыбели и могилы» великого человека, в государственную собственность.

Сыновья Толстого хотели продать Ясную Поляну правительству. Совет министров в двух заседаниях 26 мая и 14 октября 1911 года обсуждал вопрос.

Наследники запрашивали сперва два миллиона, потом пятьсот тысяч. Казенная оценка была сто пятьдесят тысяч, но на первом заседании решено было приобрести Ясную Поляну за пятьсот тысяч.

На втором заседании взяло верх мнение обер-прокурора синода В. К. Саблера и министра просвещения Л. А. Кассо, которые находили недопустимым, чтобы правительство прославляло своих врагов и обогащало их детей за счет государства.

Резолюция государя Николая II была наложена 20 декабря 1911 года: «Нахожу покупку имения гр. Толстого правительством недопустимою. Совету министров обсудить только вопрос о размере могущей быть назначенной вдове пенсии».

Тогда, опираясь на завещательное распоряжение Льва Николаевича, которое уже было утверждено судом, Александра Львовна продала право на Собрание сочинений Сытину за двести восемьдесят тысяч; сто двадцать тысяч рублей было получено от продажи трех томов посмертных художественных произведений Льва Николаевича. Александра Львовна купила четыреста семьдесят пять десятин имения Ясная Поляна за четыреста тысяч рублей; двести десятин с яблоневым садом и с парком остались за Софьей Андреевной; кроме того, она продала дом в Долго-Хамовническом переулке городской управе за 125 тысяч.

Софья Андреевна пишет об этом так: «Живу в Ясной Поляне, охраняя дом с той обстановкой, какая была при Льве Николаевиче, и его могилу. Оставила себе 200 десятин с яблочным садом и частью тех посадок, которыми мы с такой любовью украшали свои владения. Большую часть своей земли (475 десятин) с тщательно сбереженными, прекрасными лесами продала я дочери своей Александре Львовне для передачи крестьянам.

Продала я и свой московский дом городу и последнее мое издание сочинений гр Л. Н. Толстого и все эти деньги отдала своим детям. Но их, и особенно внуков, так много! Включая невесток и меня, всей нашей семьи 38 человек, и помощь моя оказалась далеко не удовлетворительна.

Глубокую благодарность всегда приношу в душе государю императору за дарованную мне пенсию, с помощью которой могу жить безбедно и содержать усадьбу Ясной Поляны».

Так писала графиня Софья Андреевна Толстая 28 октября 1913 года. Ей казалось, что, хотя дети получили только половину того, что они могли получить, если бы Толстой был благоразумен, но ее благоразумием сохранено благосостояние семьи.

Люди, которые знали Толстого, в статьях и в книгах оправдывали и нападали.

Знакомые и последователи Толстого писали о нем воспоминания, каждый по-своему стараясь приблизить его к себе, к своему пониманию жизни.

Мы читаем их, но не всегда и не во всем им верим.

Через четыре года произошла Октябрьская революция. Крестьяне постановили сохранить во имя Толстого имение и усадьбу в пользовании Софьи Андреевны, и это было подтверждено декретом, подписанным Лениным.

Люди из Тулы пришли на могилу Толстого, и Софья Андреевна с удивлением увидала, как почтительно они относятся к тому человеку, который, как ей казалось, дорог только ей и людям ей близким.

Софья Андреевна пережила мужа на девять лет.

Андрей Львович умер раньше ее; Лев Львович эмигрировал, эмигрировала потом Александра Львовна.

Ленин писал в статье «Толстой и пролетарская борьба» 18 декабря 1910 года·

«Толстой с огромной силой и искренностью бичевал господствующие классы, с великой наглядностью разоблачал внутреннюю ложь всех тех учреждений, при помощи которых держится современное общество: церковь, суд, милитаризм, «законный» брак, буржуазную науку. Но его учение оказалось в полном противоречии с жизнью, работой и борьбой могильщика современного строя, пролетариата. Чья же точка зрения отразилась в проповеди Льва Толстого? Его устами говорила вся та многомиллионная масса русского народа, которая *уже* ненавидит хозяев современной жизни, но которая *еще* не дошла до сознательной, последовательной, идущей до конца, непримиримой борьбы с ними.

История и исход великой русской революции показали, что именно таковой была та масса, которая оказалась *между* сознательным, социалистическим пролетариатом и решительными защитниками старого режима Эта масса, — главным образом, крестьянство, — показала в революции, как велика в ней ненависть к старому, как живо ощущает она все тягости современного режима, как велико в ней стихийное стремление освободиться от них и найти лучшую жизнь.

И в то же время эта масса показала в революции, что в своей ненависти она недостаточно сознательна,

в своей борьбе непоследовательна, в своих поисках лучшей жизни ограничена узкими пределами.

Великое народное море, взволновавшееся до самых глубин, со всеми своими слабостями и всеми сильными своими сторонами отразилось в учении Толстого».

Лев Николаевич в яснополянской школе, здание которой сохранилось, любил детям рассказывать библейские мифы и притчи.

Закончу и я одной притчей.

Жил в древние времена человек, славный своей силой; имя его было Самсон. Страна, в которой он жил, была крестьянская, царей не было, когда народу приходилось воевать, он сам выбирал вождей. Жил в молодости Самсон не как святой.

Однажды в городе Гаазе зашел он к блуднице; жители города — филистимляне хотели уничтожить богатыря, заперли ворота и хотели утром убить Самсона.

Самсон спал до полуночи, в полночь же встал, схватил городские ворота с обеими вериями — столбами и с запорами, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы.

Женился на филистимлянке Самсон, жена пыталась лишить его силы: для этого воткала она волосы Самсона в холст и закричала ночью:

— Филистимляне идут на тебя!

Он пробудился и выдернул тканую колоду вместе с тканью.

Преданная своему племени, благоразумная жена, прознав про источник силы, остригла богатыря, и он стал, как все. Филистимляне выкололи ему глаза и оковали медными цепями, и он молол зерно в доме узников, но волосы Самсона росли. Люди, которые его обессилили, радовались, стоя на крыше своего храма, и велели привести ослепленного Самсона

Сказал скованный Самсон своему поводырю-отроку:

— Подведи меня, чтобы я мог прислониться к столбам. Я устал.

Люди смотрели на скованного богатыря: они были

благоразумны и думали, что будут жить десятки лет и переживут узника.

Самсон уперся левой и правой руками в столбы и сказал:

— Умри, душа моя, с филистимлянами!

И обрушился храм со всеми людьми, которые смеялись над Самсоном, считая себя в безопасности.

Великая скорбь, негодование и прозрения народа выразились в силе творений Толстого.

Его учили благоразумию, но он был среди тех, которые разрушили храм старого.

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Л. Н. ТОЛСТОГО

1828, 28 августа (9 сентября) — Рождение Льва Николаевича Толстого (в имении Ясная Поляна Тульской губернии).

1830 — Смерть матери Толстого Марии Николаевны.

1837 — Переезд семьи Толстых из Ясной Поляны в Москву. Смерть отца Толстого Николая Ильича.

1840 — Первое литературное произведение Толстого — поздравительные стихи Т. А. Ергольской: «Милой тетеньке».

1841 — Смерть в Оптиной пустыни опекунши детей Толстых А. И. Остен-Сакен.
Толстые переезжают из Москвы в Казань, к новой опекунше — П. И. Юшковой.

1844 — Толстой принят в Казанский университет на восточный факультет по разряду арабско-турецкой словесности.

1845 — Толстой переходит на юридический факультет.

1847 — Толстой оставляет университет и уезжает из Казани в Ясную Поляну.

1848, октябрь — 1849, январь — Живет в Москве «очень безалаберно, без службы, без занятий, без цели».

1849 — Экзамены на степень кандидата в Петербургском университете. (Прекращены после удачной сдачи по двум предметам.)

1850 — Замысел «повести из цыганского быта».

1851 — Написан рассказ «История вчерашнего дня».
Начата повесть «Детство» (окончена в июле 1852 года).
Отъезд на Кавказ.

1852 — Экзамен на звание юнкера, приказ о зачислении на военную службу фейерверкером 4-го класса.
Написан рассказ «Набег».
В № 9 «Современника» напечатано «Детство» — первое опубликованное произведение Толстого.
Начат «Роман русского помещика» (работа продолжалась до 1856 года, оставшись незавершенной. Фрагмент романа, отделанный для печати, опубликован в 1856 году под названием «Утро помещика»).
Начата работа над повестью «Отрочество» (закончена в апреле 1854 года).

1853 — Участие в походе против чеченцев.
Начало работы над «Казаками» (завершена в 1862 году).
Написан рассказ «Записки маркера».

1854 — Толстой произведен в прапорщики.
Отъезд с Кавказа. Рапорт о переводе в Крымскую армию.
Проект журнала «Солдатский вестник» («Военный листок»).
Для солдатского журнала написаны рассказы «Дяденька Жданов и кавалер Чернов» и «Как умирают русские солдаты».
Приезд в Севастополь.

1855 — Начата работа над «Юностью» (окончена в сентябре 1856 года).
Написаны рассказы «Севастополь в декабре месяце», «Севастополь в мае» и «Севастополь в августе 1855 г».
Приезд в Петербург. Знакомство с Тургеневым, Некрасовым, Гончаровым, Фетом, Тютчевым, Чернышевским, Салтыковым-Щедриным, Островским и другими литераторами.

1856 — Написаны рассказы «Метель», «Разжалованный», повесть «Два гусара».
Толстой произведен в поручики Отставка.
В Ясной Поляне попытка освободить крестьян от крепостной зависимости
Начата повесть «Отъезжее поле» (работа продолжалась до 1865 года, оставшись незаконченной).
В журнале «Современник» напечатана статья Чернышевского о «Детстве» и «Отрочестве» и «Военных рассказах» Толстого

1857 — Начат рассказ «Альберт» (закончен в марте 1858 года).
Первое заграничное путешествие по Франции, Швейцарии, Германии
Рассказ «Люцерн».

1858 — Написан рассказ «Три смерти».

1859 — Работа над повестью «Семейное счастье».

1859—1862 — Занятия в яснополянской школе с крестьянскими детьми.

1860 — Работа над рассказами из крестьянского быта — «Идиллия», «Тихон и Маланья» (остались неоконченными).

1860—1861 — Второе заграничное путешествие — по Германии, Швейцарии, Франции, Англии, Бельгии. Знакомство с Герценом.
Начало романа «Декабристы» (остался незавершенным) и повести «Поликушка» (закончена в декабре 1862 года).
Ссора с Тургеневым.

1860—1863 — Работа над повестью «Холстомер» (завершена в 1885 году).

1861—1862 — Деятельность Толстого мировым посредником 4-го участка Крапивенского уезда.
Издание педагогического журнала «Ясная Поляна».

1862 — Жандармский обыск в Ясной Поляне.
Женитьба на С А. Берс.

1863 — Начата работа над «Войной и миром» (закончена в 1869 году).

1864—1865 — Выходит из печати первое Собрание сочинений Л Н Толстого в двух томах (Изд Ф. Стелловского, Спб).

1865—1866 — В «Русском вестнике» напечатаны две первые части будущей «Войны и мира» под названием «1805 год».

1866 — Знакомство с художником М. С Башиловым, которому Толстой поручает иллюстрирование «Войны и мира».

1867 — Поездка в Бородино в связи с работой над «Войной и миром»

1867—1869 — Выход из печати двух отдельных изданий «Войны и мира».

1868 — В журнале «Русский архив» напечатана статья Толстого «Несколько слов по поводу книги «Война и мир».

1870 — Замысел «Анны Карениной».

1870—1872 — Работа над романом о времени Петра I (остался незавершенным)

1871—1872 — Издание «Азбуки».

1873 — Начат роман «Анна Каренина» (завершен в 1877 году).
Письмо в «Московские ведомости» о самарском голоде.
И Н Крамской пишет в Ясной Поляне портрет Толстого

1874 — Педагогическая деятельность, статья «О народном образовании», составление «Новой азбуки» и «Русских книг для чтения» (вышли в 1875 году)

1875 — Начало печатания «Анны Карениной» в журнале «Русский вестник».
Во французском журнале «Le temps» напечатан перевод повести «Два гусара» с предисловием Тургенева Тургенев писал, что по выходе «Войны и мира» Толстой «решительно занимает первое место в расположении публики»

1876 — Знакомство с П. И Чайковским.

1877 — Отдельное издание последней, 8-й части «Анны Карениной» — ввиду разногласий, возникших с издателем «Русского вестника» М. Н Катковым по вопросу о сербской войне

1878 — Отдельное издание романа «Анна Каренина».

1878—1879 — Работа над историческим романом о времени Николая I и декабристах

1878 — Знакомство с декабристами П. Н. Свистуновым, М. И. Муравьевым-Апостолом, А. П. Беляевым.
Знакомство в Петербурге с В. В. Стасовым.
Написаны «Первые воспоминания»

1879 — Толстой собирает исторические материалы и пытается писать роман из эпохи конца XVII — начала XIX века.
Посетивший Толстого Н Н Страхов нашел его в «новом фазисе» — антигосударственном и антицерковном.

В Ясной Поляне гостит сказитель В. П. Щеголенок. Толстой записывает с его слов народные легенды.

1879—1880 — Работа над «Исповедью» и «Исследованием догматического богословия».
Знакомство с В. М. Гаршиным и И. Е. Репиным.

1881 — Написан рассказ «Чем люди живы».
Письмо к Александру III с увещанием не казнить революционеров, убивших Александра II.
Переезд семьи Толстых в Москву.

1882 — Участие в трехдневной московской переписи.
Начата статья «Так что же нам делать?» (закончена в 1886 году).
Покупка дома в Долго-Хамовническом переулке в Москве (ныне Дом-музей Л. Н. Толстого).
Начата повесть «Смерть Ивана Ильича» (завершена в 1886 году).

1883 — Знакомство с В. Г. Чертковым.

1883—1884 — Толстой пишет трактат «В чем моя вера?».

1884 — Портрет Толстого работы Н. Н. Ге.
Начаты «Записки сумасшедшего» (остались незаконченными).
Первая попытка уйти из Ясной Поляны.
Основано издательство книг для народного чтения — «Посредник».

1885—1886 — Для «Посредника» написаны народные рассказы: «Два брата и золото», «Ильяс», «Где любовь, там и бог», «Упустишь огонь — не потушишь», «Свечка», «Два старика», «Сказка об Иване-дураке», «Много ли человеку земли нужно» и др.

1886 — Знакомство с В Г. Короленко.
Написана драма для народного театра — «Власть тьмы» (запрещена к постановке).
Начата комедия «Плоды просвещения» (закончена в 1890 году).

1887 — Знакомство с Н. С. Лесковым.
Начата «Крейцерова соната» (закончена в 1889 году).

1888 — Начата повесть «Фальшивый купон» (работа прекращена в 1904 году).

1889 — Работа над повестью «Дьявол» (второй вариант окончания повести относится к 1890 году).
Начата «Коневская повесть» (по рассказу судебного деятеля А. Ф. Кони) — будущее «Воскресение» (закончено в 1899 году).

1890 — Цензурное запрещение «Крейцеровой сонаты» (в 1891 году Александр III разрешил печатание только в Собрании сочинений).
В письме к В. Г. Черткову первый вариант повести «Отец Сергий» (закончена в 1898 году).

1891 — Письмо в редакцию «Русских ведомостей» и «Нового времени» с отказом от авторских прав на сочинения, написанные после 1881 года.

1891—1893 — Организация помощи голодающим крестьянам Рязанской губернии. Статьи о голоде.

1892 — Постановка в Малом театре «Плодов просвещения».

1893 — Написано предисловие к сочинениям Ги де Мопассана.
Знакомство с К. С. Станиславским.

1894—1895 — Написан рассказ «Хозяин и работник».

1895 — Знакомство с А. П. Чеховым.
Представление «Власти тьмы» в Малом театре.
Написана статья «Стыдно» — протест против телесных наказаний крестьян.

1896 — Начата повесть «Хаджи Мурат» (работа продолжалась до 1904 года).

1897—1898 — Работа над трактатом «Что такое искусство?».
Замысел «Живого трупа».

1898 — Организация помощи голодающим крестьянам Тульской губернии. Статья «Голод или не голод?».
Решение напечатать «Отца Сергия» и «Воскресение» в пользу духоборов, переселяющихся в Канаду. В Ясной Поляне Л. О. Пастернак, иллюстрирующий «Воскресение».

1898—1899 — Осмотр тюрем, беседы с тюремными надзирателями в связи с работой над «Воскресением».

1899 — В журнале «Нива» печатается роман «Воскресение».

1899—1900 — Написана статья «Рабство нашего времени».

1900 — Знакомство с М. Горьким.
Работа над драмой «Живой труп» (после просмотра спектакля «Дядя Ваня» в Художественном театре).

1901 — Определение синода об отлучении Толстого от церкви.
Статья «Ответ на определение синода».
В связи с болезнью отъезд в Крым, в Гаспру.

1901—1902 — Письмо Николаю II с призывом ликвидировать частную собственность на землю и уничтожить «тот гнет, который мешает народу высказать свои желания и нужды».

1902 — Возвращение в Ясную Поляну.

1903 — Начаты «Воспоминания» (работа продолжалась до 1906 года).
Написан рассказ «После бала».

1903—1904 — Работа над статьей «О Шекспире и о драме».

1904 — Статья о русско-японской войне «Одумайтесь!».

1905 — Написаны послесловие к рассказу Чехова «Душечка», статьи «Об общественном движении в России» и «Зеленая палочка», рассказы «Корней Васильев», «Алеша Горшок», «Ягоды», повесть «Посмертные записки старца Федора Кузмича».
Чтение записок декабристов и сочинений Герцена.
Запись о манифесте 17 октября: «В нем ничего нет для народа».

1906 — Написаны рассказ «За что?», статья «Значение русской революции», закончен начатый в 1903 году рассказ «Божеское и человеческое».

1907 — Письмо П. А. Столыпину о положении русского народа и о необходимости уничтожить частную собственность на землю.
В Ясной Поляне М. В. Нестеров пишет портрет Толстого.
1908 — Статья Толстого против смертных казней — «Не могу молчать!».
В № 35 газеты «Пролетарий» напечатана статья В. И. Ленина «Лев Толстой, как зеркало русской революции».
1908—1910 — Работа над повестью «Нет в мире виноватых».
1909 — Толстой пишет рассказ «Кто убийцы? Павел Кудряш», резко критическую статью о кадетском сборнике «Вехи», очерки «Разговор с прохожим» и «Песни на деревне».
1909—1910 — Работа над очерками «Три дня в деревне».
1910 — Написан рассказ «Ходынка».
В письме к В. Г. Короленко восторженный отзыв о его статье против смертных казней — «Бытовое явление».
Толстой готовит доклад для конгресса мира в Стокгольме.
Работа над последней статьей — «Действительное средство» (против смертных казней).
Отъезд из Ясной Поляны.
Болезнь и смерть.
В № 18 газеты «Социал-демократ» напечатан отклик В И Ленина на смерть Толстого — статья «Л. Н. Толстой».

БИБЛИОГРАФИЯ

Сочинения Л. Н. Толстого

Полное собрание сочинений. Юбилейное издание Тт. 1—90. М., 1928 — 1958.
Собрание сочинений в 14 томах. М., 1953.
Собрание сочинений в 20 томах. М., 1961—1963. (Изд. продолж)

В. И. Ленин о Л. Н. Толстом

Лев Толстой, как зеркало русской революции. — В. И. Ленин Полн. собр. соч, изд. 5-е, т. 17, стр. 206—213.
Не начало ли поворота? — Там же, т. 20, стр. 1—3.
Л. Н. Толстой. — Там же, т. 20, стр. 19—24.
Л. Н. Толстой и современное рабочее движение. — Там же, т 20, стр. 38—41.
Толстой и пролетарская борьба. — Там же, т. 20, стр. 70—71.
Герои «оговорочки». — Там же, т. 20, стр. 90—95.
Л. Н. Толстой и его эпоха. — Там же, т. 20, стр. 100—104.
Гонители земства и аннибалы либерализма. — Там же, т. 5, стр. 21—72.
О литературе и искусстве. Изд. 2-е, доп. М., 1960.

Материалы о Л. Н. Толстом

Дело III отделения о графе Льве Толстом. Спб, 1906.
Л. Н. Толстой и А. А Толстая, Переписка. Спб., 1911.
Толстовский ежегодник 1912. М., 1912.
Толстовский ежегодник 1913. Спб, 1914.
Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов, Переписка. Спб., 1914.
Автобиография С. А. Толстой. — «Начала. Журнал истории литературы и истории общественности». П, 1921.
Лев Толстой и В. В. Стасов, Переписка. Л, 1929.
И. Ильинский, Жандармский обыск в Ясной Поляне в 1862 году. — «Звенья», т. I. М, 1932.
С. А. Толстая, Письма к Л. Н. Толстому. 1862—1910. М.—Л, 1936.

Сборник Государственного толстовского музея. М., 1937.
Литературное наследство. Лев Толстой, тт. 35—36, 37—38. М., 1939; т. 69, кн 1 и 2. М., 1961.
И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. Материалы. М.—Л., 1949.
Письма А. П. Чехова. — А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, тт. XVIII и XIX. М, 1949—1950.
Письма Н. А. Некрасова. — Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч. и писем, т. X. М., 1952.
Музей-усадьба Л. Н. Толстого в Москве. М, 1955.
Библиотека Льва Николаевича Толстого в Ясной Поляне. Часть первая М., 1958
Письма И С. Тургенева за 1855—1883 гг. — И. С. Тургенев. Письма. М. — Л., 1962 — 1963; Толстой и Тургенев, Переписка. М., 1928.

Воспоминания о Л. Н. Толстом

С. А. Толстая, Моя жизнь (рукопись).
А. Фет, Мои воспоминания, ч. I—II. М., 1890.
С. А. Берс, Воспоминания о гр. Л. Н. Толстом. Смоленск, 1893.
А. С. Пругавин, О Льве Толстом и толстовцах. М., 1911.
П. Сергеенко, Толстой и его современники. 1911.
О Толстом. Воспоминания и характеристики представителей разных наций. Под ред П. А. Сергеенко, изд. 3-е, тт. I—II. М, 1911.
А. Ф. Кони, На жизненном пути, т. 2. М., 1916.
В. С. Морозов, Воспоминания о Л. Н. Толстом ученика яснополянской школы. М, 1917.
А. Б. Гольденвейзер, Вблизи Толстого. Записи за пятнадцать лет, тт. I—II. 1922—1923.
Д. П. Маковицкий, Яснополянские записки, вып. 1—2. М., 1922—1923.
Л. Л. Толстой, В Ясной Поляне. Прага, 1923.
С. Л Толстой, Мать и дед Л. Н. Толстого. М., 1928.
Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891. М, 1928.
Дневники Софьи Андреевны Толстой 1891—1897. М, 1929.
Дневники С. А. Толстой 1897—1909 М, 1932
Дневники С. А. Толстой. 1910. М, 1936.
Е. М. Феоктистов, Воспоминания. За кулисами политики и литературы. 1848—1896 Ред. и прим. Ю. Г. Оксмана. Л., 1929.
И. Л. Толстой, Мои воспоминания. М, 1933.
С. Л. Толстой, Очерки былого. М., 1949.
М. Горький, Лев Толстой (Заметки). О С. А. Толстой. — М Горький, Собр. соч, т. 14, М., 1951.
Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, в двух томах. М., 1955 (изд. 2-е, 1960).
В. Булгаков, Л. Н. Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Л. Н. Толстого. М., 1957 (изд. 2-е, 1960).
Л. Ф. Пантелеев, Воспоминания. М., 1958.

Т. А. Кузминская, Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Воспоминания. Изд. 3-е. Тула, 1960.
П. В. Анненков, Литературные воспоминания. М, 1960.
А. Шкарван, О Л. Н. Толстом, в перев. со словацк. проф. П. Г. Богатырева (рукопись).

Литература о Л. Н. Толстом

Н. Г. Чернышевский, «Детство и отрочество. Сочинение гр. Л. Н. Толстого. Военные рассказы гр. Л. Н. Толстого». — Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч, т. III. М., 1947.
Ф. М. Достоевский, Дневник писателя за 1877, 1880 и 1881 годы. М. — Л., 1929.
В. Короленко, Очерки и статьи литерат.-критическ. — В. Короленко, Полн. собр. соч, т. XXIV. Харьков, 1927.
Р. Левенфельд, Граф Л. Н. Толстой, его жизнь, произведения и миросозерцание. Спб, 1896.
П. И. Бирюков, Лев Николаевич Толстой. Биография. Т. I, изд. 2-е. М., 1911; т. II, М., 1913; т. III, М., 1922; т. IV, М., 1923.
Б. Эйхенбаум, Молодой Толстой. П. — Берлин, 1922.
Его же, Лев Толстой, кн. 1, 50-е годы. Л., 1928.
Его же, Лев Толстой, кн. 2, 60-е годы. М, 1931.
Его же, Лев Толстой. Семидесятые годы. М, 1960.
Его же, Из студенческих лет Л. Н. Толстого. — «Русская литература», 1958, № 2.
В. Шкловский, Материал и стиль в романе Льва Толстого «Война и мир». М., 1928.
Его же, Заметки о прозе русских классиков. М, 1955.
Его же, Художественная проза. Размышления и разборы. М., 1961.
Н. К. Гудзий, История писания и печатания «Анны Карениной», «Воскресения», «Крейцеровой сонаты», «Дьявола». Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч. Юбилейн. изд., тт. 20, 27, 33.
Его же, Лев Толстой. М., 1960.
А. Ф. Ефремов. Народный элемент в языке повести Л. Толстого «Казаки». — Ученые записки Саратовского пединститута. Вып. 3, 1938.
Н. Родионов, Москва в жизни и творчестве Л. Н. Толстого. М., 1948.
Б. С. Виноградов, Повесть Л. Н. Толстого «Казаки» и народное творчество гребенского казачества. — Изв. Грозненского обл. пед. института и музея краеведения, вып. 2—3. Грозный, 1950.
Его же, Жизнь Л. Н. Толстого на Кавказе. — Изв. Грозненского обл. краеведч. музея, вып. 6. Грозный, 1954.
С. Бычков, Л. Н. Толстой, Очерк творчества. М., 1954.

Н. Н. Гусев, Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М., 1954.
Его же, Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год. М., 1957.
Его же, Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. М., 1963.
Его же, Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1828—1890. М, 1958.
Его же, Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого, 1891 — 1910 М, 1960.
В. Жданов, Творческая история «Анны Карениной». Материалы и наблюдения М., 1957.
Его же, Творческая история романа Л. Н. Толстого «Воскресение». М., 1960.
Я. Билинкис, О творчестве Л. Н. Толстого Очерки. М., 1959.
Б. Мейлах, Уход и смерть Льва Толстого. М. — Л, 1960.
А Опульский, Л. Н. Толстой на Кавказе. Орджоникидзе, 1960.
А. Шифман, Лев Толстой и Восток. М, 1960.
Л. Д. Опульская, Творческая история повести «Холстомер». — «Литературное наследство», т. 69, кн. 1. М., 1961.
Ее же, Творческая история повести «Казаки» — Л. Н. Толстой, Казаки М, 1963 (серия «Литературные памятники»).
М. Б. Храпченко, Лев Толстой как художник. М., 1963.

СОДЕРЖАНИЕ

Шкловский Виктор Борисович

ЛЕВ ТОЛСТОЙ. М., Молодая гвардия», 1963.

864 с., с илл. («Жизнь замечательных людей». Серия биографий. Вып. 6(363).

8Р1

Редактор *Ю. Коротков*
Обложка *Ю. Арндта*
Худож. редактор *А. Степанова*
Техн. редактор *Н. Михайловская*

А02014. Подп. к печати 22/I 1964 г. Бум. 84×108¹/₃₂. Печ. л. 27(44,28)+ + 27 вкл. Уч.-изд. л. 43,2. Тираж 165 000 экз. Заказ 888.
Цена 1 р. 52 к.

Типография «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия», Москва, А-30, Сущевская, 21.